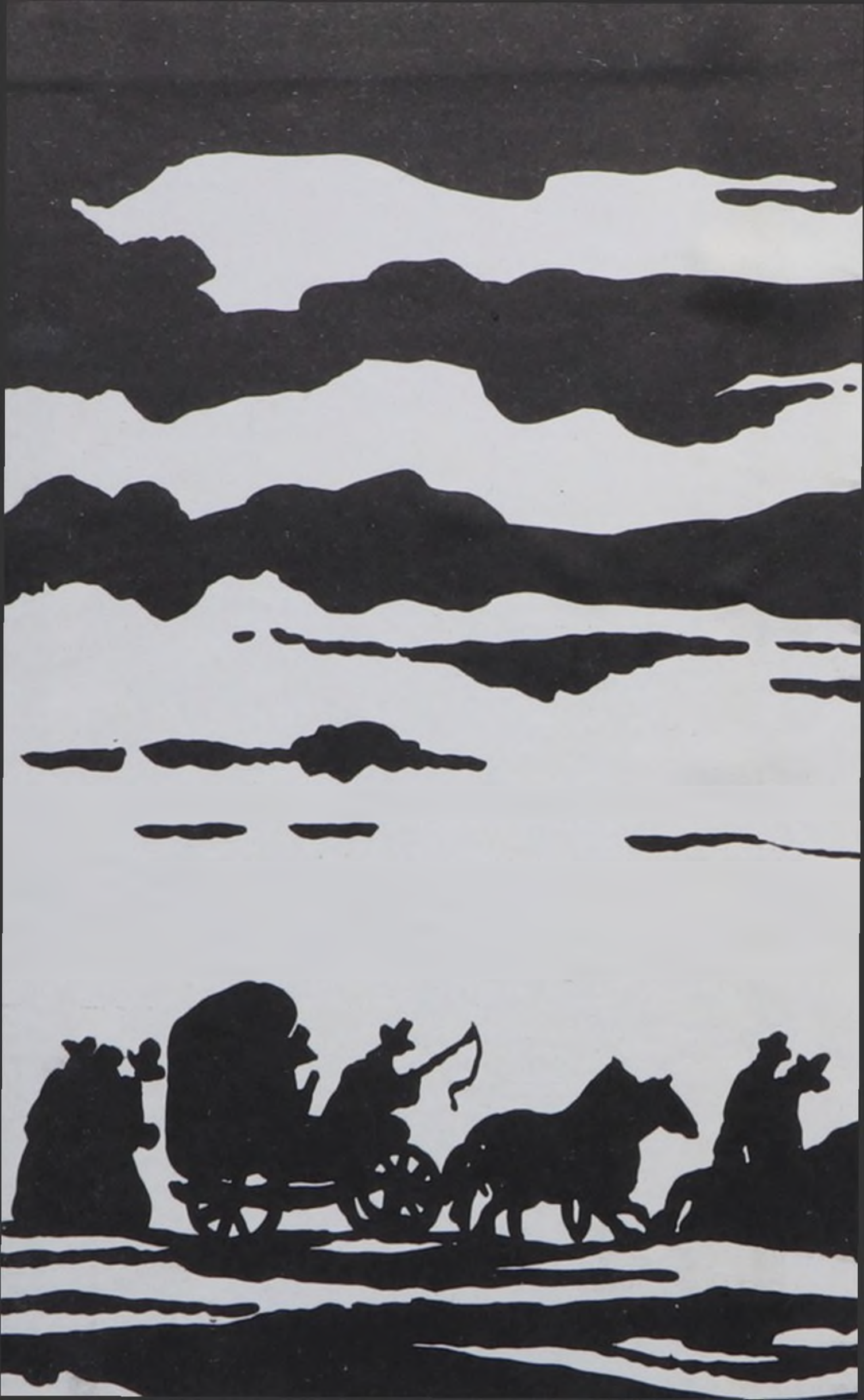
АБИШ
КЕКИЛЬБАЕВ

ВСПОЛОХИ



АБИШ
КЕКИЛЬБАЕВ

ВСПОЛОХИ

АБИШ
КЕКИЛЬБАЕВ

ВСПОЛОХИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

Перевод с казахского
Герольда Бельгера

АЛМА-АТА «ЖАЛЫН» 1991

ББК 84Каз7—44
К38

А $\frac{4803250201-033}{408(05)-91}$ 38—90

ББК 84Каз7—44

ISBN 5—610—00501—9

© А. Кекильбаев, 1991
© Г. Бельгер, перевод на русский язык, 1991.

Часть первая

РИСК

Соломон:

Род минует, род приходит, а земля
во веки стоит.

Кн. Екклезиаста, гл. 1, ст. 4.

Третьего дня были такожде недавно сюда прибывшие киргиз-кайсаки и башкирцы в императорской кунсткамере и всеобретающиеся там редкие вещи с великим интересом смотрели.

«Санкт-Петербургские ведомости», 1934 г.

— Астафиралла!..

Возглас изумления вырвался резко и неожиданно, точно взмыла, хлопнув крыльями, в гулкой тишине сумрачного, со множеством закутков и запутанных ходов, помещения напуганная чем-то летучая мышь. Пестроликая толпа, и без того ошеломленная невиданными доселе чудесами, замерла в оцепенении.

Глаза султана Нияза, шествовавшего, вытянув шею, впереди всех, округлились от страха. Как завороженный, уставился он на два стеклянных сосуда под стрельчатым витражным окном. В сосудах в прозрачной, будто переливающейся, жидкости плавали срубленные под самый подбородок две головы — мужчины и женщины. Сопровождавший толпу остроносый, краснолицый человечек с длинной указкой в руке что-то бойко протараторил, и Мамбет-мурза начал тотчас услужливо переводить на казахский язык каждое его слово.

— Вот этого красавчика звали Вилим Монс. Он был приближенным царицы Екатерины. Его обвинили во взяточничестве, и по приказу царя Петра был обезглавлен. И вот видите, где он очутился. А вот эту барышню звали Гамильтон. Ее красой пленился сам великий царь. Обезглавлена она была по распоряжению царицы Екатерины. Оба наделены были необыкновенной красотой, не правда ли?

Стоявший позади рослый, багроволицый батыр Оразкельды из рода уйсун буркнул:

— Дьявольщина! Выходит, и излишняя смазливость к добру не приводит...

Казахи и башкирцы в высоких меховых шапках-бориках при этих словах простодушного батыра, как бы придя в себя, дружно крякнули. И тут же всей гурьбой двинулись дальше. Однако уже через несколько шагов султан Нияз опять изумленно воскликнул:

— Астафиралла!

Оказалось, что-то холодное, неприятное коснулось его лица и будто лоб облизнуло. По-детски непосредственный султан ахнул, отпрянул в сторону, глянул вверх. О, аллах!.. Серая, пятнистая, толщиной с руку змея, угрожающе высунув жало, зависла над ним.

Толпа тоже замерла, уставилась в потолок. Оттуда, с вышины, завиваясь кольцами, свисало бессчетное количество змей. А еще выше в зыбком свете, казалось, плыла стая диковинных рыб с выпученными глазами.

Остроносый человечек с указкой в руке усмехнулся. Потом объяснил, что и змеи, и рыбы хоть и настоящие, но давным-давно уже не живые, их заспиртовали, высушили и выставили для обозрения, и, узнав об этом, вконец пораженные степняки ошарашенно переглянулись. Султан Нияз цокнул языком. В застывших было его зрачках вновь блеснули искорки.

Чего только не довелось лицезреть в многочисленных залах и каморках просторного трехэтажного здания императорской кунсткамеры! Степняки диву давались. Вот уж поистине сколько чудес на белом свете! Кто бы мог подумать, что бывают ягнята с тремя головами, с восемью ногами, с двумя хвостами, или дети — малютки двухголовые, трехногие, и аллах знает что еще?! А эти женщина и мужчина так и появились на божий свет сросшимися. А вон тот бесформенный волосатый комок — двухнедельный плод, извлеченный из материнского лона.

— Вот уж действительно: поездишь по белому свету — не то еще увидишь...

Степняки уже не удивлялись, а обескураженно вздыхали.

Вообще с того времени, как они прибыли сюда, колеса повозок, в которых их возили, крутились без устали. Все это время, можно сказать, не закрывался и рот Мамбета-мурзы. Куда бы их ни привозили, он становился посередине,

и, попеременно оглядывая всех, все говорил и говорил без умолку. Все было им, степнякам, незнакомо и непривычно в этом шумном, странном, все еще строящемся городе, раскинувшемся не только вдоль берега неоглядного, неприветливого моря с накатывавшимися свинцовыми волнами, но и на крохотных, словно потники, островках, где повсюду под ногами белели щепы, а в воздухе неистребимо пахло сыростью, смолой и прелью. Здесь они впервые увидели, как божью землю вымащивали булыжниками, по которым цокали копыта лошадей и грохотали колеса карет. Здесь они любовались зыбким светом фонарей, которые в сумерках зажигали не в домах — это еще куда ни шло!— а на улице, на столбах. Здесь их привели однажды в огромный — хоть конные скачки устраивай!— сарай, из каждого закутка которого клубился дым, вырывались языки пламени, доносились треск и грохот, лязг и скрежет и из края в край гулким эхом раскатывались людские голоса. Пожалуй, даже хивинский базар не бывает столь оживленным и многошумным! Раскаленный огненный ручей, шипя и плюясь, лился по каменному желобу. Попробуй подступись к этому багровому потоку — обожжет, испепелит, знойным дыханием обдаст, точно нещадное июльское солнце в открытой степи. Здесь, рассказывали, отливали грозные пушки, те самые чугунные чудища, которые в ясный день громом грохочут, сотрясая землю и небо...

Степняки не успевали обдумать, даже запомнить то, что видели и слышали, как их снова везли куда-то спешно в легких, пружинящих каретах. Как-то привезли их на громадную строительную площадку рядом с заливом. Она напомнила им муравейник: вокруг во все стороны, казалось, в каком-то диком беспорядке ошалело сновало, суетилось, бегало и кричало несметное количество народу. Бывало, в ауле болела голова и от вечернего шума, когда скотина возвращалась с выпаса, начиналась дойка, и блеянье овец и рев коров сливались с крикливыми голосами женщин, детей и пастухов, а здесь стоял такой невыносимый, немыслимый грохот, что было непонятно, как только люди не сходили с ума, находясь день-деньской в таком аду. Степняки испуганно озирались, жались друг к другу. Всюду громоздились ошкуренные бревна, шпалы, доски. Беспрестанно визжали пилы. По углам строительной площадки возвышались просторные дома. И в них — на какой этаж ни поднимайся, в какую комнату ни загляни — всюду одно и то же: гвозди, скобы, пакля, пленка, рулоны холста, пару-

сины, канаты, чурбаки. И неистребимый запах масел, красок, смолы. В одном просторном помещении несколько сот отборных молодцов, ловко орудуя аршинными иглами, сшивали громадные куски холста.

— А это еще что?

— Паруса для морских кораблей.

Казахи и башкирцы, пораженные бесконечными чудесами, устали качать головами и цокать языками от удивления. И все же их любопытству не было предела. Достаточно было ранним утром появиться Мамбету-мурзе и сказать «Поехали!», как они, спотыкаясь о полы длинных чапанов, беспрекословно следовали за ним.

Каждый день несколько экипажей под звон бубенцов выезжало из ограды на Васильевском острове, а вечером в том же порядке под тот же веселый перезвон возвращалось назад, подкатывая к одноэтажному дому. И юноше, зорко и внимательно поглядывавшему вокруг из окошка головной кареты, вновь и вновь мерещился тот знаменательный, до мелочей запомнившийся день.

Это было в середине прошлой зимы.

Оставляя за собой глубокие черные борозды на только что выпавшем рыхлом снегу, кареты с киргиз-кайсацкими посланниками лихо подкатывали к нарядному трехэтажному дворцу. Сам дворец, правда, на гостей особого впечатления не произвел: за последнее время они видели и более внушительные и красивые здания. Зато отливавший зеркальной гладью каток неподалеку и причудливые ледяные фигурки сразу привлекли их внимание. «Странно... какая в том надобность?»— недоумевали степняки.

— Вот мы и прибыли к царскому дворцу,— торжественно объявил Мамбет-мурза.

Все уставились на него, как бы спрашивая: «Неужели?!»

Немного смущенных, обескураженных степняков встретил и куда-то спешно повел добрый косяк вертких, подтянутых, одетых с иголочки молодых людей.

— Апыр-ай, глядите, глядите... Неужели все эти смазливые джигиты — родные сыновья царицы?

— Вряд ли... Будь царица хоть какой любвеобильной и плодовитой, а стольких родить, однако, и ей не под силу...

— Как знать... Ханского наследника, прибывшего сюда из-за тридевять земель, думаю, встречать обязаны одни царевичи.

— А то как же? Откуда у черни такие наряды? Видно, царевичи и есть.

Пышно одетые поджарые молодцы не сопровождали дорогих гостей, а вытянулись в струнку по обе стороны, пропуская их вперед. Степняки, негромко переговариваясь, шествовали тесной гурьбой, а поднимаясь по мраморным ступенькам, особенно внимательно смотрели себе под ноги и по привычке шептали: «Бисмилля!». Шествие продолжалось долго. Одна за другой распахивались перед ними высоченные резные двери. И тотчас у косяков застывали разнаряженные в пух и прах привратники. Возглавляли шествие трое — тоже в сплошь позолоченных одеждах. У всех троих на широких поясах висело по одному массивному золотому ключу. Когда приблизились к еще одной двери — особенно огромной, массивной, в изразцах и лепнине,— двое из шедших впереди круто свернули в разные стороны, а третий весь напружинился, выпятил грудь, вытянул шею, точно гусак, и, не сбиваясь с шага, вступил в огромный, залитый светом, ослепительно нарядный зал. Степняки притихли. Им почудилось, что шаги их доносились откуда-то с вышины, гулким эхом раскатывались под многоцветным сводом. В правой стороне зала сбились в косяк разнаряженные женщины, смущая степняков оголенными плечами, шеями, руками и необъятными, полуоткрытыми грудями.

— Помилуй, аллах...— прошептал кто-то из казахов.

И слева толпились люди в туго обтянутых штанах, отчего ноги казались нелепо тонкими, а туловище огромным, в каких-то украшениях, блестящих железках, и длинные локоны лохматились до плеч, и потому нельзя было разобрать, то ли это мужчины, то ли женщины.

Пышные, в пух и прах разодетые толпы помимо воли притягивали взор, вызывали любопытство, завораживали, и юноша-ханзада изо всех сил крепился, стараясь не поддаться соблазну, и держался напряженно, неестественно прямо, будто проглотил аршин. Тот, что возглавлял шествие, вдруг остановился, стукнул посохом об пол и громко, будто кому-то угрожая, выкрикнул:

— Посланник хана киргиз-кайсацкия орды Абулхаира Махамбета Казы бахадура султан Ералы!

Ералы поспешно опустился на колени, трижды коснулся лбом пола. Вслед за юным султаном грохнулась на пол и вся свита, неуклюже задрав зады. Наконец наследник «кайсацкого» хана встал, сложил руки на груди и проговорил врастяжку, без запинки, словно суру из корана, слова обращения к царице, которые ему всю долгую дорогу

из самой Уфы усердно вдалбливал в голову предупредительный Мамбет-мурза.

— Всепресветлейшая, державнейшая императрица, всемилостивейшая государыня! Отец мой Абулхаир-хан, со всею своею киргиз-кайсацкою ордою, по прошению своему и по вашему монаршескому милосердию, удостоился высочайшей вашего императорского величества протекции и принятия в вечное подданство. И ради должного своего верного рабства прислал меня к высочайшему двору вашего императорского величества милость, именем отца моего, припадая к стопам вашего величества, благодарение приношу и всенижайше прошу — содержать нас в неотменной своей императорской милости и защищении...

Все вокруг, затаив дыхание, внимали дрожащему от волнения голосу юноши. Нарядная толпа по обе стороны его с удивлением и сочувствием уставилась на юного султана, протараторившего что-то на непонятном наречии. Пухлые щеки его раскраснелись, черные глаза лучились. Впереди, недалеко от него, бугрилось на возвышении что-то ослепительно яркое, пестрое, похожее на неряшливо сложенный тюк, и от неожиданности и в смятении юноша никак не мог понять, что же это такое. Однако он старался глядеть именно в эту сторону, куда перед тем как начать речь жестом указал ему Мамбет-мурза. Юноше чудилось, что нарядный тюк укрыт, окутан прозрачной кисеей. Все там золотисто переливалось, струилось. Точно перемигивались многоцветные алмазные блики, смущая и ослепляя любопытный взор.

Господин в розоватом, с пышными оборками на груди, камзоле, повернувшись к юноше, важно заговорил. Мамбет-мурза старался каждое его слово тотчас перевести на казахский язык. Однако султан, как ни напрягал внимание, ничего не мог понять из тягучей и туманной речи могущественного вельможи. Об одном только — и то смутно, приблизительно — догадался: пресветлейшая царица милостиво принимает их под свое покровительство.

Потом юношу подхватили с двух сторон и повели туда, к возвышению, где все мерещился ему ослепительно нарядный и богатый, но небрежно сложенный тюк. В сплошном блеске и сверкании он по-прежнему ничего не мог толком разглядеть. Ему лишь на мгновение показался смутно-белый лик, похожий на обведенную кругом луну. Он вспомнил наставление взрослых: «Никогда не смотри прямо на луну с темным ободком. Это тень ведьмы с медными ког-

тями. Глянешь на нее — она выдернет твои ресницы и ослепит тебя». И юноша не осмелился поднять свой взор на белевший в двух-трех шагах от него загадочный лик. И все же краешком по-степному зорких глаз успел заметить и выпуклый невысокий лоб, и надменный, несоразмерно большой нос, и устремленный вдаль, поверх голов, немигающий жгучий взгляд. Ему почудилось, будто сюда, в этот пышный дворец, внесли одну из многочисленных статуй, которые он впервые увидел здесь, в русской столице, и, обрядив ее в дорогие шелка, обвесив драгоценностями, водрузили на почетном возвышении.

Вдруг его дернули за рукав. И юноша, догадавшись, чего от него хотят, опустился на колени. Что-то воздушно-пышное, белое, как пороша, мелькнуло перед его лицом. Он коснулся губами холодного, струящегося шелка и тотчас ощутил на плече тяжелую, словно увесистую дубинку конокрада, длань.

Потом, после высочайшей аудиенции, Мамбет-мурза ему объяснил: таков ритуал. Выражая свою благосклонность, царица Анна Иоанновна милостиво похлопывает по плечу своих верноподданных — особливо посланцев с Востока.

То мгновение не выходило из памяти юного султана. С тех пор утекло немало воды. За это время пластами слежавшийся снег стал добычей затяжных туманов. Затяжные туманы обернулись потом занудливым дождем. Занудливые дожди сменились обвальными грозовыми ливнями. Вспучилась, вскрылась река. Оглушительно трещал лед. В водомоинах гремели ручьи. Талые воды, пенясь, потоками устремились в море. И все это время они, посланники степи, не знали покоя. Каждый божий день они куда-то спешили. Каждый день они от удивления качали головами, цокали языками и вечером, вконец усталые, переполненные впечатлениями, возвращались на ночлег. Поражало многолюдье. В степи, бывало, за весь день едва ли промелькнет у горизонта одинокий путник, или отбившаяся от стада скотина, а здесь кишмя кишело людьми, будто каждый день играли свадьбы или справляли поминки. Многолюдно было не только на суше, но и на воде. Их, степняков, грузили в утлые плоскодонки и доставляли к парусникам, темневшим далеко в море. Степняки диву давались: на крутых волнах покачивались корабли, похожие на дворцы. На них можно было плыть за моря, за океаны, в далекие, неведомые страны и возвращаться вновь к родным причалам,

не опасаясь провалиться в морскую пучину, и все это, как им объяснили, благодаря вольному ветру, надувающему трепетные, как ноздри строптивого неука, холщовые паруса на высоченных мачтах. Чудеса! Какие-то горластые молодцы с лихо закрученными усами, покрикивая, заставляли растелешенных по пояс ловких и шустрых служивых с тряпками и щетками на ногах дочиста, до блеска драить вновь и вновь палубу. И хотя она уже отливала зеркальной гладью, они продолжали ее драить старательно, неистово, обливаясь черным потом. Время от времени осипшие усачи доставали из карманов белоснежные носовые платки, проводили ими по палубе, и, если на платке оставалось малейшее пятно, заставляли ее мыть, драить, окатывать водой снова. Самое удивительное, никто при этом и не думал роптать или возмущаться. С покорностью коняшки на току, понуро волочащего молотильный брус по кругу, шоркали и шоркали они жесткими щетками гладкий настил под ногами. Кто в степи согласился бы на столь муторную работу? Да, пожалуй, каждый голодранец тотчас взъерепенится, предложи ему только такое, будто кто непотребным словцом прошелся по бороде усопшего предка. Не всякого степняка соблазнишь «мужской» работой, вроде как навьючить верблюда или связать строптивого неука, не говоря уж о разной там нудной «бабьей» возне; тут еще надобно подольстить ему, попросить хорошенько, ласково да с почтением, не то оскорбится, вытащит плетку из-за голенища, плюнет тебе под ноги и отвернется с возмущением. У этих же пот градом катится по бокам, поджилки трясутся, а усталости не знают, работают как заведенные. При этом еще и щерятся во весь рот, будто не дело тяжкое делают, а на свадьбе старших братьев пируют-гуляют. Но попробуй подойди к ним да спроси о чем-нибудь. О, тут каждый из них горделиво выпрямится, вскинется весь, уставится сверху вниз, будто говоря: «Неужто ты, дурень такой, и этого не знаешь?!» Вообще в этом спесивом городе степнякам не встретилась ни одна живая душа, которая не смотрела бы на них свысока. Даже дома, когда ходишь по улицам, казалось, взирали на них с нескрываемым высокомерием, словно вопрошая им вслед: «Господи, а эти ряженые откуда еще взялись?!» Даже бородатый кучер на козлах или страж у подъездов, и те глядели на них так, точно козел на собаку. Можно подумать, что они не такие же двуногие существа, которыми всевышний заселил грешную землю. Казалось, невидимый недобрый колдун встрял между ними и не позво-

лял им сблизиться, переступить некую грань, радуясь взаимному недоверию, отчуждению и настороженности.

В самом деле, до чего все было непохожим,— все-все, даже травы и камни!

Во всем огромном, непонятном городе единственным близким и понятным человеком чудился Мамбет-мурза. Но и он здесь, в столице, неузнаваемо преобразился, затянувшись в тесный мундир и приняв неприступно-надменный вид. Это смущало простодушных степняков, и они в своих просторных чапанах, широких стеганых штанах, шапках-ушанках, громоздких сапогах поневоле робели перед затянутыми в заморский атлас, сукно и шелка важными господами, будто опасаясь замарать их невзначай. Тягостное состояние... Юный султан чувствовал себя неуютно. Все вокруг было чужим, непривычным. В многолюдном, неуютном городе посреди надсадно гудящих волн такая вдруг охватывала неуверенность и беспомощность, что трудно было поверить в то, что ты вообще встал на ноги.

— Астафиралла!

Юноша, погруженный в тягостные думы, вздрогнул и с недоумением посмотрел, обернувшись, на султана Нияза.

— Ералыжан, ты посмотри-ка на это диво!— радостно воскликнул султан Нияз, шире раздвигая шторку на окошке кареты.

Юноша вначале ничего не понял. Он только увидел, что сгустились вечерние сумерки и что в смутно темнеющих домах — то здесь, то там — робко вспыхивали огни.

— Нет, нет... ты туда... вон на небо посмотри!

Находясь здесь, юный султан, кажется, впервые обратил внимание на небосклон. Скупо мерцали далекие северные звезды.

— Смотри... Это ведь созвездие Плеяд!.. Да, да!..

В самом деле... Плеяды! Бледные, редкие, они напоминали горсть золы, вынесенную из-под очага в бедном доме.

Казалось, крохотный жаворонок, таившийся долгое время в груди юного султана, вдруг встрепенулся и расправил крылья. Здесь, в чужом городе посреди болот, где все еще до костей пробирала студеной сыростью слякотная, чахлая северная весна, султану вдруг явственно послышалась приятная, безмятежная трель веселой птахи, выпорхнувшей из-под застрехи кошомной кибитки в жаркое полуденное небо над раздольной степью. То был смутный голос тоски, проснувшейся в неурочное время. Впервые он ее почуял еще тогда, когда путники выехали из урочища

Найзакескен. Перед глазами юноши живо встал хмуросдержанный отец посреди группы всадников, молча глядевших им вслед. В последние годы у хана спина заметно ссутулилась и плечи поникли, и только длинная, жилистая шея казалась по-прежнему неподвластной времени. Суровый и неподвижный, громоздился он в седле, и, как бы скрывая от свиты душевное смятение и даже взор свой, устремил взгляд к горизонту, окутанному зыбкими тенями. Глядя со стороны, можно было подумать, что он даже не видел сына, который, без конца озираясь, удалялся в русском посольстве в неведомые края. Последнюю ночь юный султан, почти еще мальчик, провел без сна, крепко прижимаясь к безутешной матери, и сердцу его, охваченному тревогой и страхом перед разлукой, становилось тесно в груди, а в тот миг, когда он оглянулся в последний раз на отца, в нем впервые больно кольнуло. От неосознанного еще горя, от жалости к отцу. И чем напряженнее отец вытягивал длинную шею, суровея серым, бескровным лицом, тем заметнее давил на его плечи невидимый, но неимоверно тяжелый груз, и султан это впервые почувствовал с такой пронзительной явственностью. Внушительная группа верховых с отцом посередине застыла на краю березового колка и не шелохнулась, пока путники не растворились, перевалив за холм, в вечерней сутемени. И удрученный разлукой султан без конца все оборачивался назад, бросая тоскующий взгляд туда, где за холмом, сгрудившись в круг, безмолвно стояли хан и его свита. И когда в густеющих сумерках уже ничего невозможно было разглядеть, султану вдруг послышалось слабое пение степной птахи. Он вздрогнул и растерянно заозирался вокруг... Но что можно было увидеть в глухой темени?.. И невидимый этот жаворонок, и неумолчное его пение неотступно преследовали опечаленного султана до самой Уфы. Здесь в ожидании отправившегося к царице Мамбета-мурзы степняки томились шесть долгих зимних месяцев, и все это время таинственное пение жаворонка, навевая грусть и тоску, назойливо звучало в ушах ханского наследника. Лишь в начале года, когда после долгого пути послы прибыли, наконец, в столицу русской императрицы и начались суматошливые дни с бесконечными приемами, обедами и экскурсиями, пение загадочной птахи, поселившейся, казалось, в его душе, оборвалось, смолкло. И вот спустя длительное время вновь сегодня возобновилось.

Надо же... полтора года уже минуло с тех пор, как они

выехали из степи. Вторую весну встречают вдали от родного края. Степь сейчас, должно быть, вся в зелени. Кончился весенний расплод овец. Скотина на вольных выпасах входит в тело. Молодняк резвится на лугах. Надои обильные. Молоко густое, жирное. В такую, как сейчас, вечернюю пору в аулах особенно оживленно. Женщины доят коз и овец, разбирают по загонам ягнят и козлят. Шум, гвалт, суета. Хорошо!..

А здесь... здесь все еще сыро, промозгло. Лед тронулся только недавно. Вышла из берегов река, гремят ручьи, ревет неподалеку море. Казалось, потоп обрушился на землю. Люди отчаянно сражаются с водой, защищают, отстаивают каждый клочок суши. Роют канавы, строят дамбы. Степняков поселили в доме редкобородого сероглазого старика-татарина, выходца из Казани. Бедняга целыми днями листал-перелистывал толстый засаленный Коран и потихоньку сетовал на безалаберных, бесцеремонных своих постояльцев, захламивших за зимние месяцы его аккуратный, ухоженный дворик. Но что, однако, возьмешь с кайсаков, привыкших к степной воле?.. Старик терпел и только услужливо распахивал перед гостями ворота, и те, случалось, отмечали про себя его усердие и даже похваливали: «Хороший, видно, человек!», на что Мамбет-мурза, ухмыляясь, отвечал каждый раз: «А кто он такой, чтобы не отворять ворота, когда едет сам наследник хана?!» Хм-м... Кто знает, может, этим объясняются услужливость и усердие татарина? Как-то, по пути в царский дворец, завернули кайсаки в Хивинское посольство и поразились. Оказалось, жизнь этих бедолаг ихней не чета. Их изо дня в день кормили той же травяной похлебкой, что и солдат. Узнав о том, что кайсаков определили в дом мусульманина, где они всю зиму лакомились конской колбасой и брюшным салом толщиной в пять пальцев, исхудавшие на казенной баланде хивинцы от зависти и обиды едва не взвыли. «В свое время урусы, помнится, калмыков так потчевали, теперь, видно, решили вас ублажать»,— с грустью заметили они.

Что ж... Встретили их действительно честь по чести и потчуют — грех жаловаться. Но чужбина, как ни крутиверти, все равно чужбина. Все уже здесь опостылело. Каждое утро кайсаки с надеждой всматривались в лицо Мамбета-мурзы, как бы допытываясь: «Ну чем же, благодетель, обрадуешь?» И тот, хитрец, конечно же, обо всем догадывался, но виду не подавал, только губы кривил в

скользкой ухмылке. А сегодня подошел, тронул юношу-султана за плечо: «Не огорчайтесь. Еще чуть-чуть потерпите...» Сердце юноши учащенно забилось. А теперь еще и дядя Нияз вдруг отыскал, высмотрел на блеклом, грязноватом небе созвездие Плеяд. Может, это добрый знак? Может, он сулит обратный путь в степь? Ну конечно! С какой стати в этом шумном, грохочущем городе, где людям недосуг даже посмотреть на небо, в их крытую повозку, в крохотное окошко, задернутое шторками, слабо мерцая, заглянуло вдруг далекое созвездие Плеяд — созвездие надежды?! И почему именно сегодня? Нет, аллах свидетель, неспроста это! Мамбет-мурза только что пересел в другую карету и куда-то умчался. И каждый день вот так. С раннего утра он неотступно сопровождает степняков, но после полудня вдруг всполошится и несется неизвестно куда, едва успевая кивнуть на прощание. Бог весть, куда он так спешит. Точно мать-кормилица к своему дитяти. Правда, сегодня он был непривычно улыбчив. И, даже прощаясь, загадочно усмехнулся. Вообще до чего здесь люди замкнутые, скрытные! Пока не спросишь по несколько раз, ничего у них не выведаешь. Видно, не считают нужным заранее предупреждать тебя, поставить в известность — что да как. Даже куда тебя повезут завтра — и то накануне не скажут. И при этом не спросят, угодно тебе куда-то ехать или нет. «Поехали!»— объявляет с утра деловитый, вечно чем-то озабоченный Мамбет-мурза, и ты покорно трусишь за ним, не осмеливаясь спросить, куда и зачем. Во всех его повадках есть что-то от аульных мальчишек-ловкачей, которые так и норовят облапошить тебя и выманить все твои асыки. Ох, и лиса, должно быть! Любого играючи околпачит, с носом оставит. Сегодня, однако, он не такой, как всегда. Обходительный, предупредительный уж больно. Да и улыбка весь день не сходила с его лица. Ясно: не случайно это...

Юный султан, не отрываясь от окошка, пристальнее всматривался в небо. Казалось, из уголка стылого небосвода кто-то очень близкий и родной так же нежно и ласково глядел на него. Султану не хотелось, чтобы исчезло это сладкое видение. Да, да... Это Плеяды... Точно. Созвездие Плеяд... Бледным отсветом мерцает в бездонной вышине.

Выходит, не на болотах и воде они обитают, а на той же земле. Выходит, на одной и той же земле находятся и крохотный, затерявшийся в неоглядной степи казахский аул, о котором они уже столько времени тоскуют и во

сне, и наяву, и этот холодный и самодовольный каменный город. Выходит, жители этого города, несмотря на их надменность и спесь, отнюдь не с неба свалились. Они такие же земляне, такие же двуногие грешные существа, копошащиеся на единой для всех земле. Как все, они приходят в этот мир, а в сужденный час так же безропотно из него уходят. Все ступают по одной земле. Над всеми простирается единое небо. И всюду та же извечная суета. И каждый, глядя на звезды, тщетно пытается предугадать свою судьбу...

Юный султан, вглядываясь в созвездие Плеяд, рассыпавшееся у краешка тускло-серого небосвода, мысленно видел родной аул в далекой пустынной степи, по которой так истомилось его пылкое сердце.

Кареты, следовавшие за его повозкой, казалось, окунулись в сумрак.

В просторном царском покое медленно густела по углам вечерняя сутемень.

• • •

В середине покоя на широком пышном ложе, погруженная в думы, возлежала императрица. Не дожидаясь слуги, она потянулась к тяжелому бронзовому канделябру у изголовья и зажгла свечу.

В ярко вспыхнувшем язычке пламени остро блеснули черные, жгучие зрачки полнеющей, в летах, женщины. Брови ее были сурово насуплены; на властном, изрытом оспинами лице застыло выражение не то тайной радости, не то сдерживаемого гнева. Она резко вскинулась, поднялась с ложа, по-мужски, широкими шагами подошла к круглому, из красного дерева выточенному безымянным венецианским мастером столику и, легко подняв его, перенесла к постели. Потом с трудом повернула шею с массивным подбородком, глянула на дверь.

Резные створки массивной двери оказались приоткрытыми: видно, недавно вышедший на цыпочках из покоев вице-канцлер неплотно прикрыл их. Императрица, досадливо морщась, направилась к двери, рывком, крепко их притянула. После этого развернула свиток, лежавший на столе, но, не читая, погрузилась в думы. Перед мысленным ее взором тотчас выстроились ближайшие ее советники.

«Сие тщательно обдумать надлежит,— важно цедил граф Остерман, почему-то не опуская, что было его при-

вычкой, глаз.— Отношения с Китаем, Индией, Джунгарией немыслимо строить независимо от киргиз-кайсаков».

«Европа открывает Америку через моря-океаны, Россия откроет Америку у себя под боком»,— со значительным видом изрек Бестужев-Рюмин.

«Надобно действовать решительно и наверняка»,— двусмысленно заметил Бирон, заглянув к царице в покои и разметая ее косы, чтобы прильнуть губами к ее обнаженной пышной груди.

И все трое при этом имели в виду обстоятельное представление, которое императрица держала сейчас в своих руках.

Развернув, царица поднесла свиток к глазам. Нанизанные старательной рукой обер-секретаря Сената аккуратные, ровные буковки увели внимание царицы, не склонной к напряженным раздумьям, с привычной колеи, упорно завлекая в неведомые дебри. Читала с паузами, с усилием вникая в смысл обстоятельной промемории.

Хм-м... Выходит, киргиз-кайсаки — никому не подвластный, многочисленный, дикий сброд, разбросанный, точно птичий помет, по раздольной степи. Да еще и строптивый, воинственный. И еще выходит, что их хан Абулхаир со своею ордой и многими старшинами численностью в тридцать тысяч человек приняли в 1731 году русское подданство. И теперь прислал в державную столицу своего брата и одного из сыновей. Так, так... Все это ясно и понятно...

Царица, вчитываясь дальше, вдруг опешила. Батюшки! Что же это получается? «Та орда разделяется на три орды». Как изволите это понять? Почему три? Выходит, этот... как его... Абулхаир — не единовластный киргиз-кайсацкий хан, так, что ли?..

Императрица, недоумевая, оглянулась вокруг. Потом вновь погрузилась в чтение. «Первая называется Большая, в которой тысяч пять десят собратца может, имеют особливого своего хана, а кочуют на полдень и восток близ Бухар, Ташкента и Туркестана и зенгорского калмыцкого владельца Галдан-Черень».

Черт бы их всех побрал! Попробуй разберись тут... Императрица имела лишь смутное представление о том, что все эти места находятся на востоке, где-то очень далеко, за тридевять земель. Но какое из них расположено от другого к югу или востоку — убей ее гром, и понятия не имела.

«Вторая — Средняя орда, в которой Шемяки-хан, в ней

тысяч двадцать, оные еще в противности стоят и подданства не приняли».

Гляди-кось!... Выпуклый лоб царицы избороздила тяжелая складка. Закусив нижнюю губу, ненадолго задумалась.

«Однако ж, как увидят порядочныя с российской стороны поступки с Абулхаир-ханом и с Большой ордою, то скоро склонятца к подданству, потому что кочуют между теми обоими ордами по реке Торгай и по другим, которыя реки башкирцы называют своими».

На этом месте сбоку была сделана помета. Судя по всему, рукою Остермана. «С присланною копиею получены ведомости с Уфы и ис Казани, что та Средняя орда хотела напасть на башкирцев в 20000 человеках, от которых башкирцев разбиты и осажены были, и тем принуждены просить подданства ж российского...»

Вот где, оказывается, собака зарыта! Помнится — тому уже четыре года прошло — пожаловал в столицу Башкирии Таймас Шаимов, привез презенты, тюки дорогих шкурок, драгоценных мехов, просил взять под свое покровительство и выклянчил-таки немало земли за Каменным поясом. Выходит, хитрая бестия принял подданство поневоле, дабы сберечь себя от притеснений киргиз-кайсаков! Выходит, эти степняки в мохнатых шапках только искусно прикидываются простаками, а на самом деле так и норовят обвести тебя вокруг пальца. С ними приходится ухо держать востро. Четыре года назад ее императорское величество уверяли посланники, будто Абулхаир — верховный хан всей киргиз-кайсацкой орды, а теперь выясняется, что он всего-навсего владелец одной из трех орд. Вот и верь им после этого!..

«А третья — Меньшая орда, о которой выше упомянуто, что оная в подданство принята, кочует близ Аральского озера, которое называют морем, и каракалпаков, и между Яика и Средней орды к башкирцам же и к калмыкам, кои по Ембе и Яику рекам кочуют, самые близкие соседи и немало башкирской земли захватили...»

Императрица несколько раз прочитала этот абзац про себя, силясь представить место обитания Меньшой орды, но тщетно. Должно быть, грамотей Кирилов, составивший эту промеморию, полагает, что киргиз-кайсацкие просторы изъездил вдоль и поперек не мурза Мамбет Тевкелев, а самолично она, самодержица российская Анна Иоанновна...

Царица привычно потянулась было рукой к колокольчику на столе, но тотчас раздумала, вздохнув про себя. Промемория оказалась длинной.

«В тех ордах не столько ханы власти имеют, сколько их старшина, и для того они ни людьми, ни богатством своих ханов усиливатца не допускают и грамотных в ханы не выбирают, однако ж ведут наследственных ханов, а детей ханских называют салтанами.

Оныя орды, когда были в согласии, то имели во владении своем знатные провинции и городы Туркестан, Сайрам, Ташкент, и иныя к ним принадлежащия местечка, кои лежат по Сыр-Дарье, впадающей в Аральское море. И в том владении в вершинах оной и других рек берут золото, а как между собою не в давных годах вошли не в согласие, то зенгорской-калмыцкой владелец контайша у них все оные провинции отнял.

Часто упомянутый Абулхаир-хан изо всех киргиз-кайсацких ханов знатной и умной человек, имеет одну жену и от нее пять сынов (из которых один здесь). Он, будучи таким вольным, и, почитай, диким народом, сам в подданство ее императорского величества пришел, и не только одних своих подданных склонил, но и каракалпакского хана со всем народом к тому же подданству привел. Да чрез ево ж пересылки и Большая орда прислала о подданстве просить. И сам желает, чтоб российской город близ ево владения и устья Орь-реки, впадающей в Яик, сделать, где обещает временем жить и службу свою оказывать...»

Возле слов «у устья Орь-реки» стояла канцелярская помета, на которую императрица обратила особое внимание: «Та река исстари во владении российском, между башкирцами и киргиз-кайсаками, от Яицкого казачья города верстах в 400 и от Уфы верстах в 300, от сакмарского нового казачья ж городка — с 150 верст».

Императрица довольно хмыкнула. Ну, вот... так бы сразу и написал! Тут, по крайней мере, все ясно и понятно.

Царица поудобнее улеглась на широком ложе, подмяв под бок большую пуховую подушку. Почему-то живо представился ей тот миловидный, разодетый, точно куколка, кайсацкий вьюноша, отрок ханский, вытянувшийся в струнку перед нею на аудиенции. Вдохновенный блеск в глазах, тонкая мальчишечья шея, торчащие уши, высокий, срывавшийся от волнения голос, в котором чувствовались, однако, и достоинство, и самообладание — все-все до мелочей сохранилось в памяти ее императорского величества. Осанка,

жесты, манеры юноши-подлетка свидетельствовали о благородстве и воспитанности. Глядя на него, царица подумала тогда еще про себя, что кочевники, видно, не только послушно бредут за скотиной в бескрайних степях своих, и отнюдь не дик и не невежествен их хан, коли он просит о построении города на границе своих владений. Ладно... Зачем, однако, понадобился ему этот город? Какие же цели он преследует при этом?..

«... то явно в журнале того Тевкелева, между которыми знатное его представление было:

1. Что они от зенгорских калмык обижены и когда под протекциею ее императорского величества будут, то могут свое владение от них со временем возвратить».

Что ж... вполне резонно и разумно. Царица погладила мясистый свой подбородок.

«2. Сам себя в ханстве безопасно содержать может, ссылаясь на волжских калмык, как ее императорское величество между таким же диким народом ханов утверждает и народ в покорение приводит».

Так, так... Допустим, и в этом совершенно здраво размышляет.

«3. Могут соседей своих хивинцов и аральцов в подданство ее императорского величества привесть и за то в милости быть».

Ишь ты! Куда этот кайсацкий хан метит! Себе на уме... Царица чуть приподнялась, подминая подушку. Рябое лицо ее побагровело. Губы скривились в ухмылке. Она несколько раз покачала головой. И как бы заглушая неожиданную радость российской самодержицы, Кирилов далее аккуратно вывел: «И хотя по легкомыслию сего народа подданство их ненадежное...» (!)

Царица точно споткнулась на этом месте и нахмурилась. Словно опасаясь, что кто-нибудь невзначай подсмотрел ее невольную радость, она подозрительно заозиралась и, лишь убедившись, что в огромных покоях не было, кроме нее, ни одной живой души, успокоилась и снова уткнулась в промеморию.

«... однако ж есть способ ко удержанию их в подданстве, не так как природных подданных, напротив привилегированных народов для нужных с российской стороны резонов».

Царица вновь потерла подбородок. Она почувствовала какую-то неясную досаду — уж больно витиевато излагает свои хитроумные мысли обер-секретарь Кирилов и вообще чересчур все запутано. Ей расхотелось читать дальше.

Отрешенно полежала, прикрыв веки с длинными, изогнутыми ресницами, потом рассеянно пробежала еще несколько строк:

«1. Поныне они были неприятели и непрестанно российским, казанским, яицким, волжским, уфимским, сибирским граничным жителям, воровския малыми партиями нападении чинили, и ежегодно, как скот, пленников отгоняли и продавали в работу в Бухарию и Хиву, купецкие караваны разбивали и многия пакости делали, о чем хотя публично неведомо и невидно, но токмо одно разсудить надлежит, что в Хиву и в Бухары таких русских пленников натаскано и обретается там в работах многия тысячи, опричь иных владений, куда також-де разводятца. А как будут оныя киргиз-кайсаки в российском подданстве, которых во всех ордах больше ста тысяч человек есть, тогда гораздо покойнее в российских помянутых владениях будет».

Последняя мысль привлекла внимание ее императорского величества, и она, обмакнув перо, подчеркнула это место.

«2. Понеже калмыки давно ль подданныя ее императорского величества, также и башкирцы, а к тому ныне прибыли третей народ — киргиз-кайсацкой, а один с другим весьма несогласных, да и впредь всегда их в том содержать надобно. И ежели калмыки какую противность покажут, то мочно на них киргисцов обратить, а напротив того, буде киргиз-кайсаки что зделают, то на них калмык и башкирцов послать, и тако друг друга смирять и к лутчему послушанию приводить без движения российских войск».

Царица Анна опять резко вскинула голову. И, словно поджидая этого момента, в покои вошел слуга и зажег свечи в канделябрах по углам. И то ли ярко освещенные покои были тому причиной, то ли промемория все более захватывала ее, царица оживилась, повеселела.

«О котором городе сами Абулхаир-хан и башкирцы просят, чтоб построить у устья Орь-реки, тот весьма нужен, не только для одного содержания киргисцов, но и для отворения свободного с товарами пути в Бухары, в Водокшан, в Балх и в Индию, чего император Петр Великий весьма домогался и не жалел ни казны, ни людей, князя Александра Черкаского послал от Астрахани, но он своею оплошкою в Хиве пропал. А в место оному городу самое удобное около 52 градусов северной широты, во всем изобильное, откуда до Аральского озера сухим путем и реками только в 500 верст и гораздо ближе и безопаснее, как ходят из Астраха-

ни, а озером Аральским и рекою Аму до самой Бухарии и Водокшана и почитай до границ индейских судами».

Царица вновь оторвалась от бумаги, задумчиво обвела покои. Свечи уютно потрескивали, перемигивались в бронзовых канделябрах и серебряных шандалах, точно говоря: «Да, да... все верно. Поистине так!»

«Водокшанская провинция нужна в российское владение для многова в ней имеющагося богатства, что золота, лалов, лапис, лазори в ней довольно. Та провинция принадлежала и всегда была во владении самаркандских, а потом бухарских ханов. А за несколько лет, слабостию бухарских ханов, отложилась и хана своего не имеют, но наподобие республики старшины народных содержут, которых около 40 человек есть. И как говорят, что во время бухарского владения одного золота бухарскому хану приходило пуд по 500 и больши, опричь дорогих каменьев. А ныне оныя старшины уставили между себя, что им в каждом году съезжатца с своими людьми в одно время и десять дней в тех горах золото и каменья доставать, и кому сколько по щастию достанется, тем во весь год и довольствуютца. Чего ради, не веря друг другу от каждой старшины крепкия караулы содержут и никого в те горы и места не впускают. Однако ж и по такому худому распорядку в городе жители богатства много имеют, продавая золота и каменья, к тому ж изобильны плодами земными и рукодельем, чего ради зенгорской владелец, яко ближней сосед, желает добратца до них. А в российскую сторону допускать и такова богатова места своему опасному соседу отдавать не надлежит. А лутче бы, ежели бог допустит, в свое владение чрез вышепомянутые чюжия войски достать и богатство, так как из Америки гишпанцы и португальцы получают, сюда вывозить, что при добром начале и прилежном попечении, буде нечаянных случаев не воспоследует без движения больших российских войск исполнитца может».

Смелые прожекты, изложенные в промемории, захватили императрицу. Она, точно не веря своим глазам, перевернула листы, заглянула в начало представления и, убедившись, что оно зарегистрировано главной имперской канцелярией, что на нем стоит круглая печать, стала читать дальше.

«Ежели сие дело кто б хотел опровергать, представляя опасности от башкирцев и киргисцов или иных тамошних народов, такому мочно многия примеры представить. Первое, ежели в Казань и Астрахань царь Иоанн Василье-

вич у татар не завладел и башкирцы сами в подданство не пришли, то бы всегда блискими могли быть неприятельми, каких ныне уже за ними в степях имеем, а по щастию ее императорского величества и те приходят в подданство; второе: башкирцы утверждены в подданстве одною Уфою, коя так малолюдна, что сотой доли против башкирцов людей в ней нет, и всегда верно служивали, не только против шведов и поляков, но и против турков и крымцов, а о бунте бывшем, ежели зрело разсудить, то больши зделалось от того, что хотели прежняя привилегии опровергнуть, рыбныя ловли, мельницы отнять и подати лишния наложить и многим лутчих людей Сергеев с товарищи опоили и топили; третье: вся великая Сибирь чюжая была и в такой же ко овладению неудобности в те времена казалось, как ныне о рассыпаных бухарских провинциях, но ее Ермак с шестьюстами человеками взял и путь до Китаи отворил, а ныне надеятца можно, что до Японии достигнуть могут, когда б те три знатные владении заранее к России не присовокуплены и не застарели и тамошний народ с русскими не перемешались, то бы всегда того ж надлежало бояться, как от Батыя и Темерлана и иных махометанов, выходящих с великими войски, от которых Россия терпела».

Императрица вдруг почувствовала странную дрожь в теле; даже сердце кольнуло ни с того ни с сего несколько раз кряду. Глаза от волнения затуманились; нанизанные на ровный ряд аккуратные, с завитушками, буквы расплылись, и она пальцами провела по лицу, словно убирая невидимую паутину. Ну надо же!.. Этот Кирилов, оказывается, не только ландкарты чертить горазд, но он еще — видит бог — вдохновенный пиит. Ишь, как все обрисовал! В каких тонах и красках все подать сумел! Как он печется о славе и могуществе России! Видно, от всех этих Батыев и Темерланов, как и от возродивших и восславивших их тьма-тьмущих кочевников счастье и удача отвернулись отныне на веки вечные...

Императрица обратила свой взор на кудрявистую помету сбоку, от которой загадочный трепет охватил все ее существо. «Батый и Темерлан — цари Золотой Орды — великие владении и воинства имели, а столица их была близ Волги, на Ахтубе, которыми местами купно с Астраханью царь Иван Васильевич завладел».

Поистине так: мир переменчив, изменчива судьба. Можно ли поверить в то, что киргиз-кайсацкие посланники, которые уже несколько месяцев томятся здесь, изнывая от

безделья, в ожидании ее монаршей милости и благосклонности,— потомки тех самых необузданных, свирепых кочевых племен, той самой Орды, наводившей когда-то ужас на священную Русь. А ведь это так! Вчерашние униженные и посрамленные ныне обуяны гордостью за свою мощь и силу, а те, что некогда опьянены были славой и властью, ныне пали лицом ниц. Вот как все обернулось!

Царица скосила надменный взгляд на бумагу.

«Еще в случай разсуждения такого, ежели б кто представил, что слагается надежда в таком великом деле на такой народ, которой еще в верностях не опробован, и на сие многие примеры древних историй, а особливо Александра Великого победы и подобрание славных владетельств под свою державу более чюжими азиатскими, нежели своими природными европейскими войски, за что ж и России терять, когда такой счастливой случай пришел, чюжими людьми чюжее в свою вечную пользу доставать, а хотя б, паче чаяния, ничего дального владения и богатства не получим, да ничего ж и не потеряем, но всегда от нового города прибыль останетца на нашей стороне.

Теперь многим покажетца неимоверно, подобно сысканию Америки, чему никто из владетелей не верили, а когда гишпане щастие сыскали и лутчими частьми Америки не одним годом завладели, то после всем жаль стало. А и вышеупомянутые места опасны от зенгорско-калмыцкого владельца, которой и так уже несколько городов завладел, а как все в свое владение подберет, тогда России с таким соседом труднее управлятца, к тому ж и персы знают о богатстве водокшанском и часто от трухменцов озлоблены бывают, как и российския границы от киргизцов; ежели они, окончив с турками войну, или в кое ни есть время, оборотятца и завладеют сими землями, тогда опаснее с ними быть в соседстве».

При этих словах недавняя ликующая радость императрицы вмиг развеялась. Рука ее судорожно потянулась к перу, чтобы особо пометить это место в промемории. Вспомнились слова Бирона: «Надо действовать решительно и наверняка, без промедления». Ясно, что неспроста напоминал о том постоянно.

Императрица задумалась, глядя на ровные, буковка к буковке, точно бисером вышитые строчки. Потом грузно повалилась на спину, будто зарываясь в пышную перину, и задумчиво вперила взгляд в потолок. Она силилась вспомнить все, о чем в последнее время так настойчиво твердили

ей Бирон, Остерман, Миних, Бестужев-Рюмин. Однако многое из того, что внушали ей советники, не всегда доходило до сознания российской самодержицы. Кирилов в своем представлении все изложил обстоятельно и убедительно. И не случайно обер-секретарь ссылается на Турцию и Персию. Неспокойно на юге России: давным-давно попахивает оттуда порохом. Того и гляди разразится пожар да и охватит большую часть Азии. Попробуй потом с ним сладить. Великий царь Иван Васильевич покорил Казань и Астрахань, благодаря чему Волга стала — от истока до устья — русской рекой. Петр Великий вывел русский флот на Балтийское море и воочию доказал, что и Ближний Восток находится отнюдь не за тридевять земель. Одной ногой Россия крепко уперлась в западное побережье Каспийского моря, а вот укрепиться второй ногой на его восточном побережье дерзкий царь при жизни своей не успел. Черное и Каспийское моря, вбирающие в себя воды двух великих рек славянского мира Днепра и Волги, являются как бы двумя строптивыми неуками, которых еще не совсем удается взнуздать и оседлать могущественному Российскому государству, простирающемуся ныне от Балтики до Камчатки. И мешают тому две искусные подстрекательницы — Турция и Персия. Обе они мусульманские страны. Обе издавна полны ненависти к России. Но, слава всевышнему, и между собою никак не поладят, грызутся, как кошка с собакой. Накинешься на одну, другая ни за что не заступится. Наоборот, злорадствует втихомолку, дескать, так тебе и надо. Петр искусно воспользовался этим, пошел в 1722 году войной против Персии. С помощью грузинского царя Вахтанга VI и армянского католикоса Есая Хасан-Джалаяна за весьма короткий срок добился блистательной виктории. Кавказские христиане, люто ненавидевшие правоверных падишахов, их давних притеснителей и захватчиков, послужили русскому оружию не щадя живота. По договору, заключенному 12 сентября 1723 года в Петербурге, города Дербент и Баку, а также провинции Гилан, Мазандеран и Астрабад, расположенные по западному и южному побережью Каспийского моря, перешли во владение России. Разумеется, Турции это было не по нутру, несмотря на ее исконную вражду с Персией. Распространение влияния России насторожило и напугало не только Турцию в Азии, но и Англию, Францию, Австрию, Венецию в Европе. Особенно усердствовала Англия, усиленно нашептывая то на левое, то на правое ушко турецкому султану, и без того

сидевшему точно на раскаленных угольях. Понятно, что забеспокоилась и Франция. Но дальновидный и предусмотрительный русский посол в Порте Николай Иванович Неплюев мигом успокоил французского посла из Бонана, заткнув его глотку двумя тысячами рублей и тысячью тремястами соболиных шкурок. И когда царь Петр, захватив Дербент, отступил назад, в султанском дворце в Порте, наконец, облегченно вздохнули. Но мир продлился недолго. Коварный турецкий султан под видом содействия Грузии, враждовавшей с персидским шахом, вновь вступил в российские владения. Царь Вахтанг, забыв про недавнюю ссору, снюхался с султаном. Тайный сговор оказался на руку Порте. Перетянув на свою сторону непоследовательного, изменчивого грузинского царя, султан намеревался выбить русские войска из Дагестана и тем самым восстановить и укрепить свое влияние среди мусульманских народов Кавказа. И в самом деле, турецкому султану удалось взбудоражить крымских, кубанских и прикаспийских мусульман. Он даже заключил союз с далекой Хивой. И хотя две давние соперницы — Турция и Персия — по-прежнему косились друг на дружку и при случае так и норовили вцепиться друг другу в глотку, однако заметно уняли свою прыть, с опаской поглядывая на могучую северную державу, которая неуклонно, по-кошачьи подкрадываясь, подбиралась к их владениям. В коротких передышках между частыми стычками они лихорадочно укрепляли свои северные границы. И можно быть уверенным, что будут это делать и впредь. Словом, отношения сейчас с Турцией и Персией отнюдь не прекрасные. И вся Европа так и норовит направить их на Россию, боясь все возрастающего ее могущества. Нетрудно себе представить, что эти две мусульманские страны попытаются установить и наладить взаимоотношения со всеми разбросанными в закаспийских степях разрозненными правоверными ханствами. Следовательно, пока они еще погрязли в междоусобной возне, необходимо, действуя решительно и дальновидно, опередить их и первыми дотянуться до ханств в Средней Азии. Многоопытные, искушенные в государственных делах политики европейских стран верно подметили, что Петр Великий с западными своими соседями вел переговоры языком алмазного клинка, а к сердцам восточных соседей подбирал какой-то таинственный ключ. И вот этим загадочным ключом Россия завладела только ныне. Это — киргиз-кайсацкое ханство, решившее вступить в подданство русского государства. Именно в

этом причина ликующей радости Тевкелева. Именно в этом залог тех успехов и побед, которые для вящей славы России усмотрел в грядущем дальновидный Кирилов. И прежде чем принять столь важные государственные решения по его предложениям, ее императорскому величеству Анне Иоанновне необходимо, пожалуй, еще раз все обговорить с ближайшими своими советниками.

На другой день, 1 мая 1734 года, составленное обер-секретарем Иваном Кириловым представление с высочайшей резолюциею Анны Иоанновны было спущено «вниз», и прошло оно поочередно через те самые руки, которые накануне отправляли его «наверх». Резолюция императрицы гласила:

«Вышеописанное представление всемилостивейше опробуется и ныне указали по оному учинить: 1) город при устье Орь-реки строить и дать ему имя впредь; 2) пристойную привилегию сему городу написав, представить нам для конфирмации; 3) к строению и работе нарядить тептерей[1] и бобылей[2], сколько по разсмотрению потребно будет; 4) для первого случая и содержания города перевесть из гарнизонов: ис уфинского половину полка да ис казанского — один или два полка; 5) которые из уфинского полку взяты в армейские полки, тех для сей экспедиции возвратить, а вместо их употребить рекрут, которыми надлежало было комплектовать гарнизоны; 6) ис Уфы половины дворянских рот и казаков и недорослей уфинских и мензелинских взять туда ж, а яицких и сакмарских казаков же снарядить сколько возможно; 7) башкирских тарханов[3] и мещеряков[4] нарядить столько, сколько нужда требовать будет; 8) пушки, мартирцы и фальконеты с принадлежностью и с амуницией, также работником и инструменты, какие потребно, зделать в Екатеринбурхе, а порох и свинец отпускать ис Уфы и ис Казани; 9) уфинских прибылых доходов кои собираются сверх прежнего окладу, никуда не отсылать, а употреблять для сей экспедиции; 10) взятых башкирцами киргискайсацкого старшины Букенбая батыря людей, собрав, возвратить, так же каракалпака, сосланного

---

[1] *Тептери (щептери)* — податное население.

[2] *Бобыли* — зависимые люди, обложенные вследствие маломощности хозяйства меньшим оброком.

[3] *Тархан* — титул, пожалование которого освобождало от налогов.

[4] *Мещеряки* — часть волжских татар, живших в Башкирии и Приуралье в XVII в.

в Рогервик, буде не умер, и сына ево к Яику отдать; 11) к отправлению вышеописанных всех дел определить обер-секретаря Ивана Кирилова и с ним быть мурзе Алексею Тевкелеву, которых туда отправить немедленно и дать полную инструкцию и указы за нашим подписанием, а сколько каких людей потребно, отсюда и из Москвы о том донесть нам. Анна».

Бумага с резолюцией ее императорского величества обрадовала многих. Особенно ликовал обер-секретарь Иван Кирилов.

Вот уже полмесяца, как в его скромном жилище все было перевернуто вверх дном. Все необходимое для дальней дороги было сложено, упаковано. Часть вещей, представлявших какую-никакую ценность, хозяева снесли на базар, кое-что раздали соседям, разный житейский хлам безжалостно выкинули на свалку. И только в небольшом кабинете обер-секретаря Сената творился жуткий тарарам. Бесчисленные книги, папки с бумагами, рулоны ландкарт, которыми обычно были завалены стол, шкафы, кресла, подоконники, теперь в величайшем беспорядке валялись на голом полу. Вечно куда-то спешащий, вечно озабоченный, рассеянно-суетливый Иван Кирилов, возвращаясь из канцелярии, торопливо стягивал с себя служебный мундир, облачался в просторный простой халат, в каких обычно ходят мастеровые и кладовщики, и принимался за работу. Однако, несмотря на все его старания, беспорядок в кабинете, от которого можно было прийти в отчаяние, не уменьшался, ибо вместо того, чтобы привести свой объемистый архив в надлежащий вид, хозяин часами просиживал в глубоком раздумье возле раскрытого посреди комнаты обитого железом вместительного ларя. Его канцелярскую душу, привыкшую к многолетним тихим и усердным трудам, необычайно радовали бесчисленные и столь необходимые, всегда — и дома, и на работе — неизменно находившиеся под рукой предметы его повседневного бытования, как-то: ножницы и ножички, линейки и циркули, карандаши и перья, резинки и скрепки, иголки и нитки, чернила и клей, папье-маше и тетради, альбомы и газетные вырезки и многое-многое другое, разложенные по коробкам, банкам, папкам, футлярчикам. Трудно было со всем этим враз расставаться. И ничего из этих привычных вещей Кирилову не хотелось оставить здесь. Все чудилось: лиши его вдруг всех этих — совсем вроде незначительных — канцелярских принадлежностей, и он превратится в ничто и сам себя не

узнает, не говоря уже о других. Ведь что там ни говори, а именно эти милые его сердцу вещички связывают нынешнего везучего, поднявшегося на головокружительную высоту важного господина с недавним заурядным, мало кому известным писаришкой Кириловым, день-деньской копошившимся в бумагах. Ныне, хвала господу, он достиг и чести, и славы, и кое-какого состояния. И подчиненных, внимающих каждому его слову, предостаточно. То злосчастное время, когда он, без чинов и званий, униженно гнул спину и чувствовал себя одиноким пешим, бредущим в обшарпанных, скособяченных сапогах по пустынному льду, ежеминутно опасаясь поскользнуться и шлепнуться посреди белого дня, осталось, кажется, навсегда позади. Теперь, через год-другой, бог даст, огромная часть великой империи за Волгой окажется в полновластном его подчинении. И никто в том краю ему не указ! Горделивые мысли эти пьянили Кирилова, и тогда все эти невинные канцелярские вещички, ставшие за долгие годы неотъемлемой частью его существа, чудились еще более близкими и дорогими. И он чувствовал себя на распутье, не зная, какие из них ему оставить здесь, а какие забрать с собой.

В самом деле, своей удаче, своей неожиданной карьере он всецело обязан им. Подумать только: вся его судьба зависела от этих мелких вещичек, сопровождающих непритязательную жизнь канцеляриста. Кем бы он стал без них, сын скромного, безвестного писаря, еле-еле сводившего концы с концами? Да что там, и в люди-то он выбился благодаря чернилам и перьям. Иначе и поныне маялся бы на окраине большого города, в мазанке-завалюшке на отшибе, в тесных, грязных улочках, где ютились сапожники, извозчики, истопники, прачки и кухарки и прочий бесталанный люд, и никогда, никогда не добиться бы ему тех почестей и славы, которыми вознаградила его судьба, должно быть, за прилежание и старательность.

Теперь, размышляя об этом, Кирилов нередко ощущал в груди странную слабость, и сердце сладко щемило то ли от гордости за себя, то ли от жалости к себе. Ему, долгие годы заботившемуся, главным образом, о хлебе насущном, не вылезавшему из нужды, женившемуся лишь по горькой необходимости, разные нежные чувства были непозволительной роскошью, даже о любви ему доводилось читать только в романах, поэтому душевное волнение он склонен был считать скорее блажью или неожиданным телесным недомоганием и всячески избегал его. Однако теперь, дос-

тигнув высокого положения при царском дворе, он мог изредка позволять себе расслабляющую дух чувствительность.

Да, всех этих благ он добился с помощью обыкновенного гусиного пера, которым натер себе мозоль на среднем пальце правой руки, и не избавиться ему от этой мозоли, должно быть, до конца дней своих.

Покойный отец, тоже не расстававшийся с пером и ослепший над бумагами, мечтал об иной судьбе для сына, не хотел, чтобы он прокоротал свою жизнь в четырех стенах, а вырвался на вольный, свежий ветер и познал чужедальние страны. С этой целью он определил тринадцатилетнего бледного отрока в открывшуюся впервые в Москве школу навигации. Но не вышло из сына отважного мореплавателя. Хотя и окончил старательный юнец школу успешно, но по причине хилого здоровья был вынужден довольствоваться местом письмоводителя в захолустном Елецке. Однако в пору крутых преобразований в годы царствования Петра стольник Холопов собрал в Москве двенадцать способных юношей, выказавших прилежание и усердие в канцелярском деле. Среди них оказался и Кирилов. Потом, при распределении, ему выпал жребий трудиться в канцелярии по расследованию особо важных преступлений. Здесь ему, однако, не сразу доверили стол, и он вынужден был некоторое время слоняться бездельно и бесцельно по улицам. О том времени он и ныне вспоминал с содроганием. И от этой тайной канцелярии, наводившей на многих знобкий трепет, он в конце концов отделался опять-таки благодаря гусиному перу. Иначе, кто знает, может, он и поныне слонялся бы по углам и подворотням, часами высматривая и выслеживая опасных преступников или подозрительных лиц, разделяя незавидную судьбу множества шпиков и соглядатаев. В руки кому-то из начальства, должно быть, случайно попало одно из его тайных донесений. Бог весть, как он отнесся к содержанию того донесения, но уж очень приглянулся начальнику почерк. Кирилов и сейчас еще живо помнит, как вместе с многими сыщиками торчал, бывало, в очереди с утра в огромном зале серого сумрачного дома и нетерпеливо ждал, когда из-за тяжелой окованной двери с решетчатым окошком вызовут их и дадут задание, после чего они, точно тараканы из всех щелей остывшего запечья, разбегутся врассыпную кто куда. Помнится, они друг друга даже и в лицо не знали. Приподняв воротник и отворачивая лицо, проходили к начальнику.

Так же, молча и хмуро, выходили от него. Потом незаметно, тихо разбредались по улочкам и закоулкам, словно растворялись в тумане, в сумраке... В тот день его вызвали последним. Насупленный, с толстой бычьей шеей начальник, сидевший за деревянной перегородкой, выпучил большие, с красными прожилками глазища на тщедушного робкого агента, словно тот не за поручением пришел, а занимать деньги, и буркнул себе под нос:

— Кирилов, валяй к следователю!

— Зачем?

Но ответа не последовало. Осторожно, словно боясь оступиться, робко озираясь по сторонам, он пробрался в кабинет следователя. Следователь сидел в просторной выстуженной комнате в толстой шубе, бугрясь за столом, и, не глядя на вошедшего, кивнул подбородком в сторону маленького столика в углу. С этого дня ему поручили записывать показания преступников и свидетелей во время допроса. Новой своей должности Кирилов был несказанно рад.

Потянулись однообразные, тусклые дни. Каждый божий день одно и то же. Крики, ругань, мордобой, плач, стон, угрозы, кровь, проклятия. Казалось, бесконечно длился кошмарный сон. Кирилов, прямой как кол, сидел в своем углу за маленьким столиком и, не поднимая головы, старательно водил пером по бумаге, записывая вопросы следователя и ответы допрашиваемых. В сумрачной, с низкими потолками комнате стояла ледяная стынь, но ражие детины, свирепо вращая глазами, разгоряченные, потные, приводили каких-то людей, избивали, понемногу сатанея, их в кровь, потом куда-то их выволакивали, а Кирилов все строчил и строчил, стараясь не упустить ни одного слова и, конечно, не знал, не ведал о том, что во время допросов заходившие ненадолго разного рода высокие чины в белых воротничках обратили внимание на молчаливого и старательного писаря. Однажды, знакомясь с делом важного расследования, какое-то высокородие невольно воскликнуло: «Ах, какой, однако, почерк! Истинный бисер!» Этого было достаточно, чтобы вскорости Кирилов очутился в только что образованном Сенате. Некоторое время он ходил в простых переписчиках. Потом дорос до секретаря. В то время сенат не пустовал, как ныне. В нем бывало оживленно, людно. Двери его не закрывались с утра до вечера. Сюда заглядывали не только важные господа по делам службы, но и разношерстный люд со всех уголков необъятной России в

поисках правды и справедливости. Понятно, что вельможам и высокородным господам было недосуг всех встречать-привечать, выслушивать все просьбы и жалобы, разводить с каждым встречным-поперечным тары-бары. И многие из посетителей довольствовались тем, что выкладывали душу перед каким-нибудь заштатным чиновником вроде Ивана Кирилова, быстро усвоившим бюрократические замашки и научившимся выпроваживать докучливых просителей чаще всего ни с чем.

Однажды, в обеденное время, в кабинет, где он сидел, ворвалась вдруг свора зверей — куница, соболь, рысь, корсак, барс и бог весть еще кто. Кирилов опешил. Потом это оказалась диковинных размеров шуба из дорогих мехов на саженных плечах бородатого верзилы. В маленьком затхлом кабинете тотчас запахло хвоей и смолой. Верзила, не говоря ни слова, горой двинулся к нему. Половицы заскрипели под ним. Он подергал-подергал широченный кожаный пояс, резким движением сбросил огромную шубу, грубо сшитую из дорогих шкурок разного таежного зверья, сложил ее пополам и швырнул небрежно на стул возле стола, а потом и сам взгромоздился сверху. Лишь после этого хмуро уставился из-под кустистых бровей на чиновника за столом, будто спрашивая: «А ты кто такой будешь?!» Смотрел долго, пристально; наконец потянулся рукой к поясу, наброшенному на спинку стула, взял пузатенький, расшитый бурдючок, пристегнутый к поясу, побултыхал его содержимое, откинулся вдруг всей тяжестью на спинку так, что стул затрещал, застонал под ним, потом широким жестом протянул бурдюк Кирилову. Тот отшатнулся, чуть осклабился, замотал головой:

— Покорнейше благодарю.

Широкое обветренное лицо гостя побагровело, точно распаренное в бане. Светло-голубые глаза-буравчики вновь нацелились на Кирилова. Потом верзила отвел взгляд, сделал рукой короткий жест, как бы говоря: «Ну и черт с тобой! Не хочешь — не надо!» и поднес горловину бурдюка к широкой пасти под густыми рыжими усами. Огромный, с кулак, кадык задвигался взад-вперед, в горле забулькало, точно в бездонной бочке. Потом верзила шумно выдохнул, вытер рукавом рот, потянул носом. Так же, не торопясь, повесил пояс снова на спинку стула, хлопнул себя с силой по правому колену, утробно забубнил. Представился он казачьим атаманом Афанасием Шестаковым. Приехал из Якутска, что на краю земли. Дело у него

небольшое, но важное. Он считает нужным сообщить правительствующему Сенату вот что. Стоит только шаг ступить за пределы избяной, соломенной, прокопченной, нищей России, как наткнешься на несметные богатства. На нем ныне сидят ни сном ни духом о том не ведающие малочисленные таежные, лесные, степные племена. И, кроме русских, пока что на всех просторах Российской империи не видать такого народа, который мог бы с умом и пользой для отечества и сограждан своих воспользоваться наземными и подземными сокровищами, коими щедро наделена неоглядная ширь между двумя великими океанами. И если за освоение этих богатств не примемся мы, русские, еще долгие годы лежать кладу без какой-либо пользы. И сколько еще можно ждать, сколько еще медлить, изнывая от тоски, точно ядреная неутешная баба, дожидающаяся возвращения мужа из солдатчины? Разве не настала пора всерьез думать о неслыханном дармовом добре, без толку пропадающем на широких ковыльных просторах, а также в непроходимых сибирских лесах, в которых обитает одно лишь зверье? Разве не кощунственно не брать того, что само просится в руки? Какой в том смысл — торчать в этом туманном, сыром городе, тесных каменных мешках этих, прислушиваясь к лепету горстки безродных чужеземцев, ловко задуривших матушке-царице голову и жадно ловящих мерзопакостные сплетни из ее спальни, вместо того чтобы бросить клич расторопному и предприимчивому русскому мужику: «Давай, ребята, подавайтесь на север, на восток, на волюшку вольную и гребите богатство, сколько душе угодно!»

Все более распаляясь, грохоча утробным басом, Афанасий Шестаков высказал все, что накопилось, видно, в его душе за многие годы и напоследок разразился отменным русским матом, неизвестно кому адресованным — то ли Кирилову, с разинутым ртом уставившемуся на его крупные, желтые от махорки зубы, то ли самодержавной русской царице, то ли самому господу богу.

Широко, по-медвежьи ступая по скрипучим половицам, казачий атаман, подхватив пеструю, мохнатую шубу, вышел, однако задел какие-то затаенные струны в душе невзрачного, услужливого секретаря, пробудил что-то сокровенное в нем, оставив после себя стойкий, дразнящий запах хвойных лесов и вольных сибирских просторов.

С той поры Кирилов с особым рвением и пристрас-

тием начал выпытывать у каждого посетителя: откуда он родом, из каких краев прибыл, каковы особенности и приметы той местности, с каким народом или племенем соседствует. Особенно радовался он встрече с людьми бывалыми, пожаловавшими в столицу из далеких диковинных окраин. И уж вовсе Кирилов не оставлял в покое тех, кто участвовал в дальних военных походах или выезжал куда по поручению коллегии иностранных дел, прямо-таки преследовал их по пятам, выспрашивая всевозможные подробности. Разузнав все, тут же по свежей памяти аккуратно заносил на бумагу. Именно в эту пору появилась в нем страсть к географическим картам. Отныне он уже не довольствовался устными рассказами собеседников, а настойчиво упрашивал их по своему разумению начертить карту тех мест, где они накануне побывали.

К его просьбам привыкли. И вскоре те частые посетители Сената, имевшие обыкновение приходить к иным чиновникам с туго набитой мошной, к Кирилову заглядывали со свитками бумаг и рулонами карт под мышками. В ящиках его письменного стола и в шкафах, на настенных полках за короткое время накопились целые вороха подобных самодельных ландкарт со всех уголков Российской империи.

Старания его не прошли даром. Великий царь Петр был тогда всецело поглощен баталиями на севере и в столице своей бывал лишь изредка, но при этом каждый раз непременно заглядывал в правительствующий Сенат.

Тот день запомнился Кирилову на всю жизнь... На одном из заседаний Сената в декабре 1724 года возник вдруг разговор о Сибири... Петр, закинув ногу на ногу, сидел во главе стола и рассеянно смотрел в окно, точно любуясь причудливой изморозью на стеклах. Совершенно неожиданно для всех буркнул:

— Имеется ли карта сибирского края? Принесите.

Сидевшие за столом украдкой переглянулись. Все знали, что такой карты не существует, но никто не осмелился сказать о том царю. Царь же обо всем сразу догадался, но сделал вид, будто ничего не замечает, и продолжал отрешенно смотреть в окно. Наступила тягостная пауза. Все, затаив дыхание, краешком глаз следили за царем. Вот, наконец, дрогнул в ухмылке кончик тонких усов. Сейчас царь, продолжая ухмыляться, повернется лицом к ним. И когда сам грозный император обращает на тебя

свой взор, разве ты посмеешь опустить голову и прятать глаза? Нет уж, извольте глядеть прямо! Далее произойдет то, что бывало уже не раз. Черные, лоснящиеся, точно шерсть выдры, усы вдруг затрепещут, задергаются и ощетинятся, разом лишаясь блеска; большие черные глаза округлятся в гневе, в бешенстве, выкатываясь белками; горделивая голова надменно вскинется, и царь скажет сквозь зубы, как пригвоздит:

— Дерьмо вы, а не Сенат!

Но на этот раз до этого не дошло. Царь только открыл было рот, как поднялся с места Кирилов и сказал:

— Ваше величество! Такую карту можно изготовить, используя имеющиеся схемы по Сибири и Камчатке.

Воцарилась тишина. Никто не посмел шелохнуться. Поступок Кирилова был неожиданностью для всех. Не успевший разразиться яростью царь вскочил и устремил свой бешеный взгляд на дерзкого чиновника. Он раза два судорожно повел кадыком, как бы сдерживая вырывавшееся наружу едкое словцо, потом мгновенно побагровел лицом, а в черных зрачках полыхнул огонь.

— В таком разе требую собственноручно вычертить сию ландкарту за сутки! В противном случае считай, голубчик, что дни твои на этом свете сочтены!

И вышел, широко, по-журавлиному ступая.

На другой день, мельком взглянув на новенькую, аккуратно вычерченную карту, царь грохнул кулачищем об стол и громко воскликнул:

— А ты, Кирилов, я чую, упрямее самого осла!

Свечи затрепетали в канделябрах. Казалось, обрушится сейчас потолок. Указка выпала из дрожащих рук Кирилова. Царь уткнулся в развернутую перед ним огромную карту и довольно похохатывал.

У присутствовавших глаза полезли на лоб. И Кирилов почувствовал, как две холодные капли пота, стекая от висков, точно превратились во что-то острое, грозя вонзиться в горло под самым подбородком.

Царь еще более потемнел лицом.

— Брюс!

Шотландец Брюс, сидя в углу, с любопытством разглядывал явно растерянных русских вельмож и от неожиданности вздрогнул, точно со сна.

— Подойди сюда!

Брюс, заплетаясь ногами, робко двинулся к царю.

— Ну, чего скукожился? Живей, живей!

Бедный Яков Виллимович засеменил сноровистее. Подбородок его мелко-мелко дрожал.

— А еще слывешь президентом Берг- и Мануфактур-коллегии! А то делать не можете, на что горазд простой письмоводитель. До сего дня Кирилов исправно переписывал все ваши зело многие прошения и реляции, в коих вы печетесь о процветании российской науки. Теперь настал черед вам переписывать то, что во имя вящей славы отечества сочиняет Кирилов. Уж коли вам несподручно изготовлять ландкарты, может, приложите усердие их переписать и умножить?

— Как прикажете, ваше императорское величество,— дрожащим голосом ответствовал Брюс.

— Кирилов!— вновь вскрикнул царь.

Кирилов еще более вытянулся, замер, ни жив, ни мертв. Невидимые иголки под подбородком обжигали холодом, больно впились в горло.

— С сегодняшнего дня быть тебе обер-секретарем Сената!

Вздох облегчения, казалось, прокатился по залу правительствующего Сената. Царь скрутил в тугой рулон ландкарту, самолично сунул ее под мышку Брюсу, потом подошел к стоявшему в стороне Кирилову, ободряюще хлопнул его по спине и, круто повернувшись, зашагал к выходу. Вслед за царем один за другим подошли к Кирилову и остальные вельможи, на мгновение застывали перед ним, отвешивали поклон и направлялись к своим экипажам у подъезда.

В огромной зале Сената Кирилов остался один. Он еще никак не мог прийти в себя и сообразить, что же случилось. Повернулся было в ту сторону, куда только что направился царь, и опять почувствовал, будто что-то вонзилось ему в горло. Он вздрогнул, похолодел весь. Неужели, перед приходом царя, волнуясь, впопыхах воткнул иголку, которой сшивал бумаги, в ворот мундира? Он поднес руку к подбородку и опешил: весь ворот его был мокр. Только теперь он догадался, что все это время он беззвучно плакал. Крупные слезы катились по его щекам, скапливались у подбородка, потом тонкой струей стекали под ворот.

Вконец измученный, он плюхнулся в рядом стоящее кресло, согнулся, как подкошенный, скрючился и, давясь от слез, затрясся всем телом, не в силах сдержать себя, успокоиться.

Первый раз в жизни он плакал навзрыд от радости и счастья.

С тех пор при слове «Сенат» всем прежде всего вспоминалось имя Кирилова. В кабинете обер-секретаря появился еще один широченный стол, на котором изготовлялись российские ландкарты. За этим столом, не разгибая часами спину, и проводил Кирилов отныне основную часть своего времени. Целыми днями не расставался он с линейкой, карандашом, циркулем и резинкой. Каждый, кто отправлялся в далекий путь или хотя бы намеревался совершить путешествие, считал своим долгом непременно заглянуть в кабинет обер-секретаря Сената. С какими только людьми не сталкивался Кирилов в то время! Однажды к нему ввалился плотный, широкогрудый человек, вырубленный, казалось, из цельной породы. Весь его облик говорил о том, что он мореплаватель. Капитан первого ранга. Лицо круглое, розовое. Брови густые, вразлет. И подбородок мягкий, круглый. И только мощный, с горбинкой, нос и небольшие щетинистые усики под самым носом придавали его женственному лицу грозное, волевое выражение. Кирилов узнал его: Витус Беринг! Датский мореплаватель, честно и преданно служивший России. Однако за двадцать лет безупречной службы, проливая кровь и стойко вынося немало испытаний, он не мог подняться выше капитана второго ранга, и тогда, махнув на все рукой, вышел в отставку. Но не уехал на родину, а поселился в Выборге. И лишь выйдя в отставку, он стал, наконец, капитаном первого ранга. Слыл он человеком честолюбивым, обидчивым и вспыльчивым. И было неожиданно, что этот гордый, знающий себе цену морской волк зашел именно к нему, Кирилову, а не к какому-нибудь высокородному начальству.

Гость заговорил первым, без лишних церемоний:

— Слышал я, что готовится экспедиция на Камчатку. Это верно?

— Верно.

— Коль попрошусь, отправите ли? В том краю, сказывают, пушнины много. Я бы купил по дешевке да и перепродал бы здесь, чтоб семью содержать. А то нужда заедает. Невмоготу стало. Что посоветуете, господин обер-секретарь?

Кирилов сначала решил, что норовистый, язвительный мореплаватель смеется над ним, однако полное лицо его оставалось серьезным и в глазах не мелькнуло лукавинки.

Кирилов с тайным восхищением оглядел знаменитого мореплавателя. Сразу было видно: волевой, деятельный. В отличие от своих коллег немногословен. Казалось, каждый шаг, каждый жест, каждое слово на строгом счету. Прямодушен. Предельно откровенен. Не всем это по душе. Потому, видно, и нажил немало недоброжелателей и неприятностей. Трудно, ох, трудно в холопской России с таким характером! Кому здесь надобны дерзкие прожекты, смелые деяния, решительные действия! Даже тщательно обдуманные, всесторонне взвешенные предложения и те раздражают знатных вельмож, пристроившихся к царскому трону. Не жди, чтобы они поддержали чьи-то добрые начинания. Наоборот, каждый, кто обладает властью, начинает ставить тебе подножку, находить в помыслах твоих изъян, какой-нибудь промах, или норовит приложить свою вельможную руку, всячески раздувая, возвеличивая свои заслуги. К подобным нехитрым уловкам прибегают сейчас в России все, кто только сподобился восседать в креслах. И усугубилась эта напасть особенно со смертью Петра Алексеевича. Крутонравный император мог любого вельможу поставить на место, оглушив его монаршим гневом, и вознести безродного, но усердного писаря до высот небывалых. Тому сам Кирилов бывал не однажды свидетелем. Нынешних вельмож больше занимает какая-нибудь побрякушка на камзоле, нежели чьи-то высокие помыслы и разумные речи. Повальная слежка и дворцовые сплетни-интриги — вот чем заняты их умы, вот что они считают управлением государством. Что ж... так бывает всегда, когда величие подменяется ничтожеством.

Вот и этому упрямому мореходцу вряд ли есть резон обивать чьи-то пороги. Для того, чтобы осуществить ему давнее намерение, наверняка придется многое начать с азов...

К счастью для России, Витус Беринг внял тогда здравому рассудку, прислушался к добрым советам и тем самым получил возможность своевременно отправиться в камчатскую экспедицию.

Глядя на прославленного мореходца, с детской непосредственностью радовавшегося своей удаче, Кирилов про себя горестно усмехнулся. В душе скромного и прилежного канцеляриста, выше всего в жизни ставившего учтивость и исполнительность, послушание и усердие, равно как беспрекословное чинопочитание, словно очнувшись вдруг, тоскливо заскулил щенок. То была тайная зависть.

В самом деле, скольких сынов России он подвигнул на дерзновенные деяния, способствуя тем самым приумножению могущества и славы отечества! А сам-то? Когда же он сам отправится в неведомые дали? Или ему, как опасался покойный отец, суждено всю жизнь сидеть в четырех стенах, точно прикованному к письменному столу? Он, Кирилов, никогда не чуравшийся никакой работы, равнодушный ко всяким житейским страстям и соблазнам, и не предполагал, что в его душе способна угнездиться какая-то еще зависть. Он испытывал стыд от того, что низменное чувство это проснулось в нем не к кому-либо, а именно к знаменитому мореплавателю, который сам за свою жизнь хлебнул горя с лихвой. И, должно быть, потому достохвально отзывался о Беринге где только мог. Даже в недавнем поданном царице представлении о планах и целях новой экспедиции Беринга Кирилов не пожалел красок, восторженно описывая значение его первого путешествия на Камчатку. Только так, полагал он, можно вытравить из себя недостойное чувство зависти. Иначе она подспудно, незаметно завладеет всем твоим существом и лишит тебя покоя, пока не ввергнет в пучину беды. Человек и отличается от животного тем, что может подавить в себе подлую, холопскую зависть и подчинить свои чувства холодному, здравому рассудку. Тот, кто становится рабом зависти, уподобляется злому псу, которому рано или поздно выбьют клыки. Поборов в себе черную зависть, кто знает, может, ты и изведаешь со временем настоящую удачу. А если и не повезет, то по крайней мере никому не причинишь горя и никому не станешь в тягость.

И вот, кажется, тот желанный миг настал: фортуна улыбнулась тебе, и ты нынче в фаворе.

Кирилов достал из ларя два увесистых фолианта. Полистал с благоговением первый из них. Над этим трудом он, не жалея сил и тщания, корпел долгих десять лет. И на издание его едва не угробил все свое состояние. Что только ни приходилось изучать ради создания этого фолианта! И историю, и географию, и математику, и основы геодезии и картографии, которые прилежно усваивал в адмиралтействе и военной коллегии. А скольких людей, отправляющихся в дальние походы и путешествия, он терпеливо обучил азам картографии, дабы могли они его снабдить необходимыми сведениями о всех землях Российской империи. Главной его мечтой было соз-

дать и издать трехтомный «Атлас Российский», включающий сто двадцать карт. И вот с превеликим трудом увидел нынче свет его первый том из двадцати шести ландкарт. Ни одной ржавой копейки не выделил Сенат на его издание. Все немалые расходы понес лично он, Кирилов.

Он погладил добротный переплет, прочитал, шевеля губами, длинное название: «Атлас Всероссийской Империи, в котором все царства, губернии, провинции, уезды и границы, сколько возмогли российские геодезисты описать оныя и в ландкарты положить по длине и широте, точно изъявляются и городы, пригороды, монастыри, слободы, села, деревни, заводы, мельницы, реки, моря, озера, знатные горы, леса, болота, большие дороги и протчая со всяким прилежанием исследованные русскими и латинскими именами подписаны имеются трудом и тщанием Ивана Кирилова». Что и говорить, зело длинным получилось название, зато исчерпывающе ясно и понятно. Он старался, чтобы его атлас отразил все, чем примечательны необъятные российские просторы. Даже малой малостью не пренебрег.

Нынешний год выдался на редкость удачливым. Не успела высохнуть краска первого тома «Атласа», как вышел из типографии второй его значительный труд с надписью на русском и латинском языках: «Генеральная карта о Российской империи, сколько возможно было исправно сочиненная трудом Ивана Кирилова, обер-секретарем Правительствующего Сената, в Санкт-Петербурге, с 1734 г.».

Обе книги произвели фурор в столице. Ученые Петербурга и Москвы разобрали их мигом. Ими заинтересовались и иноземцы. Они умоляли своих петербургских знакомых раздобыть для них хотя бы один экземпляр трудов Кирилова.

По одному экземпляру своих книг автор изготовил в золотом тиснении, положил в дорогой ларец и все ждал случая, чтобы вручить их самой императрице. Случай этот вскоре подвернулся. Вызвал обер-секретаря как-то Остерман и сообщил, что царица заинтересовалась его трудами. Кирилов несказанно обрадовался своей дальновидности и предусмотрительности. Он долго умолял искусного художника снабдить титульный лист «Атласа Всероссийской Империи» символической картиной. Россия была изображена в образе миловидной женщины в золотой короне, в пышном белом платье и с распущенными по

плечам волосами. Перед мудрыми очами женщины простиралась неоглядная даль с морями, горами, лесами, городами, селами, а у ног ее лежали глобус, карты, разные приборы и инструменты, необходимые для геодезистских и географических исследований.

Многое из того, что заключали в себе два увесистых тома, оказалось для понятия императрицы малодоступным, но живописная символическая картина явно пришлась по душе. Некоторое время спустя Остерман вновь пригласил к себе Кирилова и сообщил, что всероссийская самодержица осталась зело довольна щедрым подарком и с любопытством расспрашивала об авторе «Атласа». В это же время обер-секретарю Сената было поручено составить представление о поездке русского посольства во главе с Тевкелевым в киргиз-кайсацкую орду. Он это сделал с обычной для него исправностью и был приглашен на аудиенцию ее императорского величества.

До этого Кирилову доводилось видеть императрицу только на многолюдных собраниях.

На этот раз царица пригласила его в свои апартаменты. Крупная, грузная, она громоздилась на хрупком диванчике с тоненькими точеными ножками. Ниже пояса обернулась пышным пуховым платком. Вид у нее был весьма домашний, и всем своим обликом она скорее походила на дородную барыню, уставшую от помыкания непослушными холопами с раннего утра и теперь присевшую малость отдохнуть, нежели на венценосную владычицу империи.

Остерман, едва переступив порог, вытянулся было, готовясь со всей подобающей церемонией доложить о визите, но царица не дала ему раскрыть рот.

— А-а... это ты, Андрей Иванович,— протянула она снисходительно-ласковым голосом, каким обычно разговаривают женщины, только что заимевшие внуков.— Проходи же, голубчик... милости прошу.

Видно, столь размягченно-любезный тон был неожиданностью и для Остермана. Переминаясь с ноги на ногу, он растерянно пробормотал:

— Ваше величество... извольте представить...

— Знаю, голубчик, знаю... Проходи, Иван Кирилович, не робей!..

Легким жестом царица указала на кресла, стоявшие перед ней. У Кирилова затряслись поджилки. Он с трудом

передвигал ноги. Уж лучше бы ему быть на официальной аудиенции. Зашел бы, постукивая каблуками, четко доложил бы суть дела и вышел бы тут же. А теперь... Вот уж никак не рассчитывал на такую милость. Не приведи господь, еще осрамишься невзначай...

Голова царицы была туго повязана платком, словно ее мучила мигрень. И как бы еще более удивляя визитеров, она вдруг схватилась за щеку и пожаловалась:

— Со вчерашнего дня зуб ноет — мочи моей нет...

И такой у нее был кроткий, невинный вид, а в голосе — столько нежности и усталости, что, казалось, и не царица она вовсе, и не ведомы ей ни властность, ни монарший гнев, ни тем более жестокость.

Столь неожиданная перемена поразила Кирилова. К этому-то, должно быть, и стремилась царица. Вообще-то Кирилов знал, что венценосцы охотно прикидываются агнцами. Но никак не ожидал он, что ее императорское величество именно к нему проявит такую любезность.

Императрица точно прочла его мысли. Тотчас перешла на спокойный, деловой тон.

— Иван Кирилович, я внимательно ознакомилась с вашей промеморией...

И сделала выжидательную паузу, устремив взор на обер-секретаря.

В облике полнеющей, с признаками усталости женщины, закутанной ниже пояса в пушистую шаль, томно жаловавшейся на зубную боль, Кирилов все же углядел нечто загадочное, властное, что внушало невольный решпект. Когда она, наряженная в пышные царские одежды, увешанная бесчисленными драгоценностями, вплывала в торжественный зал, собравшиеся первым долгом обращали внимание на несуразно большой ее нос. Как все монархи, облеченные непомерной властью, она имела обыкновение глядеть поверх голов толпившихся вокруг, величественно вскинув голову, отчего нос ее будто упирался ввысь и казался еще мощней. И тем не менее именно эта ее поза, чудилось Кирилову, внушала трепет и почтение и как-то враз обессмысливала, обесценивала и величие мраморного зала, и блеск и сверк хрустальных люстр, золотой короны и трона, а также бриллиантов и жемчугов, которыми щедро была увешана дворцовая знать. И теперь было странно, непривычно ее видеть вблизи, не в торжественной обстановке. И не выделялись, не бро-

сались в глаза какие-то особые черты ее лица. Правда, изъеденное оспой, грубой ковки лицо царицы никак нельзя было назвать красивым. Да и думалось невольно все время о том, как такую тяжесть выдерживает хрупкий диванчик с точеными тонкими ножками. И непонятно было, каким образом эта в общем-то вполне обыкновенная, уже в летах женщина достигала внушительности и властности. Неужели благодаря одной лишь царской короне? Кирилов, мельком взглядывая в лицо императрицы, никак не мог это для себя определить, но смутно находил какие-то знакомые черты.

— Предложения твои, любезный Иван Кирилович, не лишены основания. Более того, они столь резонны, что не терпится увидеть все это скорее осуществленным.

Императрица скосила на него пытливый взгляд. Он хотел было встать, но она остановила его легким жестом.

— Покорно благодарю, ваше величество,— пролепетал только он.

— В ближайшее время будет выработана инструкция о надлежащих претворению задачах экспедиции и о мерах их осуществления. Не так ли?

Остерман встал.

— Поистине так, ваше величество!

— Сиди, сиди, голубчик...— И, выждав, пока Остерман снова сел, поинтересовалась:— Из скольких регул состоит инструкция?

— Из сорока одного.

Императрица чуть улыбнулась.

— Иван Кирилович, ты ознакомился с проектом?

— Конечно, ваше величество.

— И как изволишь судить?

— Полагаю, все по делу и уместно.

— О, сие лепо слышать!

Хотя обе стороны расположились примерно на одном уровне, но беседа протекала отрывисто, сбивчиво, на короткий вопрос тут же следовал короткий ответ, словно одна из сторон находилась на вершине горы, а другая — у ее подножия.

— Положение в оных краях тебе, Иван Кирилович, более ведомо, нежели нам,— продолжала царица после недолгой паузы.— По приезде осмотрись и действуй согласно обстоятельствам. Однако ж главную цель из виду упускать не следует. Прежде всего нельзя спускать глаз с башкирцев и киргиз, кои хотя и подданные наши,

но проявляют легкомыслие и строптивость. Разумно, дабы состояли они между собой в явной противности. Что принадлежит до Хивы, с которою ныне наш подданный Абулхаир-хан имеет войну, в том ему не токмо не мешать, но и поощрять. Помогать ему порохом и ружьем, токмо наших собственных войск в помощь не давать. И еще помнить надобно об аманатах. Не так ли, Андрей Иванович?

Остерман с готовностью кивнул. Стало понятно, что они предварительно обо всем договорились. Кто знает, сколько советников скрывалось за каждой фразой, слетавшей сейчас с уст ее императорского величества. Кирилов сразу же заметил, что главные положения инструкции основаны на его же представлении, составленном недавно. Часть этих мыслей он с прошлого года усердно внушал Бестужеву-Рюмину. Ему же, Кирилову, о том в свое время говорил Тевкелев, который, надо полагать, заимствовал их у степных заправил в мохнатых шапках-треухах. Потом эти мнения, суждения, мысли, кое-как пережеванные Остерманом и Бироном, дошли до царицы и теперь через ее уста вновь возвращаются в форме высочайшей инструкции к Кирилову. Самое поразительное, что царица ни сном ни духом о том не ведает и говорит с таким убеждением и уверенностью, будто прошлой ночью сам святой дух нашептал ей про все на ушко. «Да-а,— подумал про себя Кирилов.— Власть — всемогущая сила. Обладая властью, можно себе позволять многое. Можно присвоить себе чужие мысли, чужие деяния, и никто перечить тебе не посмеет. Ибо ты — власть. Ты волен казнить или миловать. Услышав свои же суждения из монарших уст, едва ли не каждый чувствует себя облагодетельствованным и начнет твердить о том с холопским усердием. Поистине: слово владыки — свято...»

Кирилов спохватился, поняв, что невзначай поддался течению еретических размышлений. Весь напрягся, принял учтивый вид, точно послушный ученик перед суровым наставником.

— В аманатах башкир мы много неудобств претерпели. Аманатами нам был представлен всякий низкий и непристойный люд, а на нас потом за него ответственность налагали. По неразумению нашему мы оных аманатов даровой амуницией и харчами обеспечивали, а башкирцам они и не нужны были. Впредь такому не быть. Брать надлежит от ханов и от старшин кайсацких лучших

детей под образом аманатства, чтоб вернее и надежнее были. И еще резонно создать суд из аманатов, дабы согласно своим обычаям и законам кайсаки промежду себя сами справедливость чинили. Негоже нам в каждую их ссору вмешиваться. Пусть то сами рассудят. Однако ж надобно, чтоб каждый гостинец или чин, даруемый нам оным кайсакам, крепкой петлей захлестывал им горло. Не так ли, Андрей Иванович?

Вице-канцлер усердно закивал головой, всем своим видом показывая, что весьма доволен правильным ответом старательной выученицы.

— Совершенно верно примечено тобой, любезный Иван Кирилович, в представлении, что нам не долженствует выражать свой гнев к новоподданным. Пусть наш гнев обрушится на них под образом калмыцкой плетки, казачьей секиры или башкирской пики. Нам же следует более чинить им милость, ласку, справедливость и удовольство показывать и между тем к распорядку приводить, дабы к службе нашей против наших неприятелей были удобнее. Новоподданные туземцы — не российские мужики, коих можно в любое время бить батогами за непослушание и дерзость. От битья российский мужик становится только покладистее. А кои самые дерзкие, убегают в неведомые края, поселяются там, и тем самым российские владения приумножаются. С дикими же туземцами надобно осмотрительнее быть. Иначе они отвернутся и примкнут к Китаю или к мусульманским ханам на юге, кои их всякими посулами прельщают. С новоподданными придется пока несколько поцеремониться, дабы нам никакой худобы чинить не помышляли. А ежели они, зарвавшись, станут строптивиться, то надлежит дать им знать, сколько весит наш кулак, дабы пред российским могуществом достойного решпекту имели.

На этот раз одобрительно закивали головами Остерман и Кирилов одновременно.

Императрица, судя по всему, осталась весьма довольна своей речью. Сделав паузу, сказала:

— Ну, говори теперь ты, Иван Кирилович!

— Ваше величество, не пожалею сил и живота своего ради исполнения высочайших указаний. А за оказанное мне доверие обещаю по возможности своей до конца дней своих со всяким усердием и верностию служить.

Кирилов вскочил, и голос его прозвучал уверенно, громко. И императрица на этот раз не просила его сесть.

Поднялся вслед за ним и Остерман.

— О чем же просишь?

— Ваше величество! Смею напомнить: киргиз-кайсацкия степи — дикий, неизученный край. Посему экспедиции необходимы искушенные в науках люди. Позвольте включить в нее нескольких преуспевающих учеников из Греко-славяно-латинской академии в Москве, а также аглицкого капитана, астронома и математика Эльтона и профессора ботаники Гейнцельмана.

Императрица задумалась.

— Подумать надобно. Еще о чем просить намерен?

— Ваше величество, о Тевкелеве за его службы, усердия и старания пред империею милостиво рассмотреть и, ежели возможно, пожаловать каким чином...

Императрица чуть усмехнулась. И тут только Кирилова осенило: так, бывало, ухмылялся царь Петр Алексеевич. Но его ухмылку, помнится, смягчали, как бы скрадывали тонкие блестящие усы. Ухмылка же Анны Иоанновны придавала ее грубому лицу еще большую холодность и суровость. Вообще в лице царицы можно было заметить схожие черты с ее великим дядей. Только черты эти очень украшали властный и вдохновенный лик царя Петра, а лицо императрицы Анны уродовали, придавая ему мужеподобность.

— Да, Тевкелев с честью выполнил возложенное на него задание. И мы, Андрей Иванович, разве не пожаловали ему чин полковника? Ну, вот... Теперь положим ему еще две тысячи рублей жалования. Заслуги перед империею всегда будут оценены по достоинству. Не так ли?

— Поистине так, ваше величество.

Кирилов не сразу понял, на что намекала императрица, но, выходя из ее апартаментов, вице-канцлер приоткрыл завесу тайны.

— Всего доброго, ваше превосходительство,— сказал на прощание Остерман, особо подчеркивая голосом последнее слово.

— До свидания, ваше сиятельство!

И тут только дошло до сознания. Что он сказал? Ваше превосходительство? Какое еще превосходительство? Однако вице-канцлер не из тех, кто может оговориться... Выходит, ее величество императрица произвела его сразу в статс-советники?! Да возможно ли такое?! Статс-советник...

И все-таки... В канцелярских делах он, Кирилов, собаку

съел, и уж кому, как не ему, доподлинно знать, что по табели о рангах, введенной Петром Великим, «превосходительством» надлежит называть лишь чинов третьего и четвертого разряда, а именно генерал-майора, генерал-лейтенанта, правительствующего статс-советника и тайного советника. Следовательно, он, обер-секретарь Сената, в одночасье произведен в статс-советники. Вот это карьера! Это называется — одним махом семерых побивахом... Не было ни гроша, да вдруг алтын.

Он шел домой — не чуял земли под ногами. Широко, рывком, распахнул дверь, глянул в круглое настенное зеркало в прихожей и увидел в нем не унылого, скучного обер-секретаря, а моложавого, с румянцем во всю щеку, незнакомого мужчину, который, несмотря на свои сорок пять лет, казалось, только что вернулся со свидания с юной девой. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» — проникновенно и с нежностью сказал ему Иван Кирилов, которому еще лишь считанные дни оставалось ходить в обер-секретарях.

Конечно, Кирилову было ведомо, что всегда, во все времена бывали такие баловни судьбы, редкие счастливчики, которым удавалось разом вспорхнуть на непостижимые высоты. Но нельзя было не удивляться тому, что на этот раз капризная птица счастья, никогда не отличавшаяся разборчивостью, безошибочно избрала достойного. А в том, что он достоин такой судьбы, Кирилов не сомневался.

Где власть, там кипят страсти. Там роятся и слухи-сплетни. Одному создателю ведомо, о чем начнут перешептываться в стольном граде, когда завтра будет объявлен указ императрицы. Пусть!.. Пусть говорят что хотят. Главное, он, Кирилов, своего достиг! И главная цель его — отнюдь не высокое положение, не титулы, не выгодная служба и даже не те три тысячи рублей, которые ему положены с завтрашнего дня. Высшая его мечта — получить возможность всецело заниматься любимым делом во славу отечества, все силы и порывы без остатка посвятить России. И вот теперь, кажется, мечта его так близка, как никогда.

У Кирилова сладко кружилась голова, горели щеки и мечтательно туманились глаза, точно у девы, выходящей замуж за возлюбленного. Далекие, неведомые края... Вдохновенный труд... Великие деяния, столь необходимые великой державе и народу российскому.

Непритязательным, неприметным с виду Кириловым руководило непомерное честолюбие. Его не привлекала скоротечная слава царей, которая вспыхивала и угасала вместе с их короной. Он грезил о славе стойкой, неменркнущей, неотделимой от славы России. И до славы этой было теперь рукой подать. Первый к этой славе шаг — его предстоящая экспедиция в неведомые киргиз-кайсацкие дали. В экспедицию он возьмет с собой самых нужных ему, дельных людей, самые необходимые, дорогие ему вещи. Там, в экспедиции, он осуществит, наконец, самые сокровенные свои намерения и планы.

Вот она, рукопись, над которой корпит он уже столь давно — «Цветущее состояние Всероссийского государства». В этом труде обстоятельно, со всеми подробностями будет рассмотрено и изложено состояние двенадцати губерний России. Сюда будут также включены подробные сведения о новых провинциях, землях, вступающих в российские владения, а также о разных народах и племенах, их нравах и обычаях. Наверняка допишет он и новые главы о башкирах и киргиз-кайсаках, к которым намерен отправиться в ближайшие дни. И с этой рукописью он уже не расстанется до тех пор, пока не будет поставлена в ней последняя точка. Теперь уже ни на минуту не выпустит он ее из виду. А вот материалы по «Гистории Свейской войны», которые он собирал по поручению кабинет-секретаря в царствование Петра Алексея Васильевича Макарова. Какая, однако, досада! Когда вчера ее императорское величество спросила «Что еще желаешь?», он от растерянности промолчал. Прямо напрочь вылетело из головы. Многие редкие, ценные книги из архива Сената в свое время перетащил к себе домой бывший вице-канцлер Павел Петрович Шафиров, чтобы написать книгу по истории России. Но сие намерение не осуществилось. Бедняга навлек на себя грозный гнев императора. Доступ к наследию подобных мужей затруднен: на то надлежит иметь разрешение самой венценосной правительницы либо верховного прокурора. Теперь уже неудобно вновь обращаться с такой просьбой к императрице. А вот решится ли дать такое дозволение обер-прокурор Анисим Маслов — это еще как сказать.

Иван Кирилов посмотрел на громадный сундук в углу кабинета, в котором хранилась всякая всячина. Это — разные пособия, учебники, необходимые для открываемых им в будущем башкирских, киргиз-кайсацких, каракалпак-

ских школ. Хочешь не хочешь, а учить-обучать туземцев придется. Кое-кто считает, что образование инородцев бедой же обернется для России. Сущий вздор! Неуч не способен понять простых слов. Это все равно что строптивый неук. Попробуй удержать его все время на привязи. Рано или поздно аркан оборвется. И неук умчится куда глаза глядят. А объезженный, обученный конь — что дворняга у порога. Отнюдь не железная узда укрощает дикого коня, а та сытая кормежка, которую суют ему под храп после того, как загонят его в кровавую пену и поставят на привязь. Такой же кормежкой следует соблазнить и инородца. Только кормежка эта — учение, образование. Вкусив однажды его плод, инородец никуда уже не денется, а — смирный и покорный — будет увиваться вокруг тебя, словно завороженный. Образование для него — что путы. И обучать инородцев следует как на русском, так и на их природном наречии. Лишь тогда они познают истинный вкус образованности. Только в таком случае откроются у них глаза и они воочию убедятся в том, насколько пусты их собственные тощие карманы и как туга мошна великой русской державы. Доверять полностью только пушке — неразумно, опрометчиво. Пушкой можно инородцев скорее всего отпугнуть. А в разумных письменах на белой бумаге заключена колдовская сила, подобная красе юной обольстительницы. Она тебя одурманит, приворожит и в рабство обратит. За ней ты покорно затрусишь хоть на край света.

Ах, отправиться бы скорее и благополучно в долгожданную экспедицию! Первым долгом он принялся бы за открытие школ для туземцев.

Кирилов с упоением предался сокровенным мечтам, совершенно забыв, что все это время без дела сидит у раскрытого сундука с самыми дорогими для него вещами.

В кабинете царил все тот же тарарам.

Предстояли спешные сборы в дальнюю дорогу.

* * *

Необычно оживленно и шумно было и в тесном дворике при особняке, в котором остановилось киргиз-кайсацкое посольство. Бий Куттымбет и туленгут[1] Байбек собирались в обратный путь, в степь. Им предстояло скорее добраться до хана, сообщить ему тутошние новости.

---

[1] *Туленгут* — зависимый от феодала человек, дворовый.

Успокоить, обрадовать. Доставить грамоту императрицы, передать ее приветы-наказы. Ее императорское величество благодарила киргиз-кайсацкого хана за верную службу России и просила его сообщить биям Большой орды Тюлебию, Кодару, а также батырам Сатаю, Хангельды и Булебеку о том, что милостиво вняла их просьбе принять российское подданство. До Уфы двух кайсаков будут сопровождать трое башкирских биев. Со вчерашнего дня и кайсаки, и башкиры — и те, что готовились в путь, и те, которые пока оставались,— шумной гурьбой слонялись по базару и магазинам столицы. Разношерстный городской люд — как отечественный, так и заморский — с удивлением пялился на шумных, бесцеремонных степняков в просторных чапанах и мохнатых треухах.

— Эй, посмотри! Как думаешь, влезет в них моя баба или нет?

— Мне-то откуда знать? Я ведь твою бабу не лапал.

— Черт знает что! Не пойму никак: для бабы это или для мужика?

— А что тут понимать? Если с разрезом впереди — значит, для мужика. Без разреза — для бабы.

— Каковы сапожки-то, а?! Как раз! Сафьяновые... Таких, думаю, и на базарах Хивы и Бухары не сыщешь.

— Какая жалость, что года уже не те! А то пощеголял бы в таких сапожках, всех аульных красоток свел бы с ума.

— Интересно, какой у русских насвай?

— Насвай покупай вон у той толстозадой рыжухи. С ног сбивает!

— Неужели?! У них ведь изень не растет. Да и золы такой нет...

— Эй, эй! Чего раззевался? Гляди: завязка на штанах болтается. Наступит кто невзначай — и заголишься перед всем честным народом. А кругом — бабы.

— Ничего... Пусть смотрят. Здесь обрезанных небось еще не видели.

— Глянь: ну и бородища! Сколько, думаешь, в ней вшей?

— А зачем тебе знать? На развод, что ли, хочешь взять? Или своих тебе мало?

— Смотрите, вон в карете Мамбет-мурза промчался. Собирайтесь давай! А то еще заблудимся.

— Это не он. Здесь таких карет и золотопогонников — тьма-тьмущая. А Мамбет-мурза вон с башкирами калякает.

— Слушай, будь другом, одолжи мне одну пестренькую. Знал бы, что в них будет нужда, загнал бы на Уфимском базаре добрый косяк бегунцов.

Так шумели, колготали, пугая прохожих, со вчерашнего дня вольные степняки в российской столице. Шум не смолкал и перед самым отъездом путников.

— Куттеке, дорогой, ради аллаха, доставь мои гостинцы сам в мой аул, а? Не доверяю я этому туленгуту.

— А ты сегодня спать ляжешь — положи узелок под бочок. Пусть пропитается твоим духом. Вдыхая его, баба твоя там, в ауле, хоть утешится.

— Ой, не напоминай. А то тебе смешно, нам же, мытарям, хоть плачь.

Укладывая коробки, узелки, баулы с гостинцами на задок повозки, степняки тараторили без умолку.

— Эй, туленгут кривоносый! Доберетесь до Уфы, сам тщательно пересчитай наши подарки. А то у Куттеке сердце мягкое. Выбегут ему навстречу башкирки-красотки, и он мигом им все раздарит.

— Не волнуйся! Башкир и кайсак могут только табун угнать, а на барахло не позарятся.

Наконец с шутками-прибаутками были уложены все вещи. Степняки приутихли. Отъезжающих отводили в сторонку, негромко наказывали, кому что — из родных и близких — передать. У каждого за время разлуки многое накопилось в душе.

К бию Куттымбету тихо подошел башкир Токшара Туйтеев — бий Тлеу-Кубаканской волости, что по Ногайской дороге[1]. Держался он всегда особняком, был хмур и озабочен. На вопросы отвечал нехотя, говорил неопределенно, дескать, с желудком нелады, должно быть, городская еда не впрок. Чувствовалось, что его что-то постоянно заботит. И на базаре, и в магазинах он стоял все время в сторонке, словно отбившийся от косяка мерин. Совершенно не интересовался покупками, не встревал в разговоры. Интересно, что же ему вдруг понадобилось передать? И почему он избегает своих соплеменников и обращается с просьбой к кайсацкому бию?

Простодушный батыр Куттымбет не стал, однако, о том задумываться. Мало ли какие у человека могут быть тайны?..

---

[1] Башкирия тогда делилась на четыре части-дороги: Гонайская, Сибирская, Казанская и Осинская.

— Куттеке,— вкрадчиво начал башкирец,— будете в Уфе — наверняка не проедете мимо тамошнего правителя. Там работает дворником один старик башкирец. Не смогли бы вы передать ему эту книгу? Еще перед выездом сюда Кылмак-Абыз очень просил меня раздобыть в Казани священную книгу «Мухтасар». А кто знает, задержимся ли мы на обратном пути в Казани или нет, и будет ли время искать там книги. Вот я и выпросил ее здесь у одного татарина. Передайте ее тому дворнику и скажите: скоро прибудет к нему человек от Кылмак-Абыза, вот пусть ему и отдаст книгу в руки. Будьте добры...

Бай-башкир отчего-то смущенно озирался по сторонам и переминался с ноги на ногу.

— Ну ладно... Чего там?..— сказал Куттымбет.— Священная книга, думаю, не тяжелее других гостинцев. Не беспокойся, доставлю кому надо.

— Тысяча и одно спасибо! Да поддержит вас в пути всевышний!

Путники еще раз простились со всеми и уселись в повозку. Кайсаки и башкиры, только что весело и громко подтрунивавшие друг над другом, мигом посерьезнели, поутихли и грустно уставились вслед отъезжающим. В глазах стыла тоска: «Эх, когда же, наконец, и мы тронемся в обратный путь?..»

Желанный день, о котором так долго и страстно мечтал Кирилов, настал. 10 июня 1734 года с утра в дверь Кирилова постучал посыльный ее императорского величества.

— Ваше превосходительство, императрица и самодержица всероссийская желает вас видеть.

Кирилов вскочил, спешно собрался.

На этот раз императрица приняла его в мраморном зале. По обе ее стороны выстроились, точно на параде, одетые по официальному уставу Бирон, Остерман, Бестужев-Рюмин, президент Российской академии Корф.

У императрицы был особенно строгий, даже грозный вид. Она чуть склонила голову, через силу изобразила подобие улыбки и, явно стараясь смягчить грубоватый, как из бочки, голос, коротко бросила Остерману:

— Начинай!

Подчеркнуто исполнительный, услужливый, верткий и, как всегда, безукоризненно одетый вице-канцлер принял еще более напряженную позу и заговорил высоким, четким голосом, словно выступал не перед горсткой прибли-

женных царицы, а на многолюдном сборище. Он сначала объявил указ венценосной императрицы о постройке города в устье реки Орь, коего следовало снабдить людьми и артиллериею, пушками и мортирами и прочим воинским снаряжением. Повелением ее императорского величества новый город надлежало именовать Оренбургом. Остерман хлопнул кожаной папкой и застыл в выжидательной паузе. Императрица слегка откашлялась.

— Надеюсь, ты не возражаешь против такого названия города?

— Никак нет, ваше величество!

Императрица знаком показала Остерману читать дальше. Вице-канцлер все тем же четким, беспристрастно-проникновенным голосом перечислил все меры наибыстрейшего возведения нового города, а также предоставляемые ему привилегии, и опять остановился, точно разгоряченный конь на всем скаку.

— Ты знаком с проектом указа? Что желаешь добавить? Или одобряешь полностью?

— Всецело одобряю, ваше величество!

Императрица вновь кивнула. Остерман взял с круглого столика перед ним еще одну плотную папку с изящным тиснением. То была грамота императрицы Анны хану Абулхаиру. Дочитав ее, Остерман перевел дыхание.

— С проектом сей грамоты тебя также ознакомили? Значит, можно надеяться, что в состоянии растолковать киргиз-кайсацкому хану каждое слово и каждую букву нашего соизволения?

— Несомненно, ваше величество!

Остерман тотчас потянулся к следующей папке. В ней находилась грамота императрицы Анны хану Семеке по поводу его повторной просьбы о российском подданстве.

— Сей документ тебе также известен?

— Разумеется, ваше величество!

Засим была зачитана грамота императрицы Анны старшинам, батырам Большого жуза Кодару, Тюле, Ханкельды, Сатаю и Булеку о согласии на принятие их в российское подданство.

— Согласен ли с сей грамотой?

— Не смею возражать, ваше величество!

В заключение вице-канцлер прочитал указ императрицы о составе Оренбургской экспедиции. Большинство названных лиц оказалось Кирилову знакомо. Почти все они были предложены им самим. Для постройки прис-

тани на Аральском море и налаживания перевоза судов в состав экспедиции, помимо его начальника Кирилова и полковника мурзы Тевкелева, входили один морской поручик, один мичман, один штурман, два кондуктора, один боцман, один помощник-боцман, шестеро матросов, несколько корабельщиков и лодочников в чине капитана, один поручик, двое кондукторов; для организации и налаживания городского хозяйства — один майор, десять прапорщиков, два унтер-офицера, тринадцать капралов; для проведения геодезистских работ и исследований — два поручика, четверо подпоручиков и два прапорщика; для конторских работ — один бухгалтер, один делопроизводитель, один помощник и один писарь; для артиллерийской службы — два бомбардира и четверо канониров. Всех этих участников экспедиции Кирилов заблаговременно отобрал сам. К тому же в Москве к экспедиции должны были присоединиться один горных дел мастер, один аптекарь, один ботаник, один историк, один художник и чертежник, один штык-юнкер; один прапорщик, один комиссар, семнадцать унтер-офицеров, один конторский служащий с помощником, четыре переписчика, один хирург с ассистентом, один священник, а также несколько прилежных студентов из Греко-славяно-латинской академии. Такая представительная, многочисленная экспедиция доныне в России еще не создавалась. Но и это еще далеко не все! Кирилов получил право включить в свой отряд Пензенский пехотный полк, Уфимский гарнизон, Вологодский полк, половину дворянских рот и казаков из Уфы, Мензелинска, Бирска, равно как и недорослей оттуда же. Столь многочисленное и доблестное русское войско никогда еще не вступало в степи за Яиком. И вся эта грозная, мощная сила доверялась всецело еще недавно никому не известному, скромному и робкому писарю Ивану Кириловичу Кирилову! Было отчего кружиться голове!

Новоиспеченный статс-советник так расчувствовался и разволновался, что с трудом удерживал недостойную дрожь в ногах и едва не пропустил мимо ушей вопрос императрицы. К счастью, успел расслышать последнее слово.

— ...доволен?

— Еще как, ваше императорское величество!

— Полагаю, тебе понятно, что в киргиз-кайсацкие степи отправляетесь вовсе не на свадьбу. Должно быть, подстерегут вас и опасности, и суровые испытания. Готовы

ли не уронить чести русского мундира и, ежели в том нужда будет, ради славы российской животом лечь?

— Несомненно, ваше величество!

— В таком случае можете ни на миг не сомневаться в том, что Россия, российский народ, российская корона и трон державный никогда не забудут и всегда по достоинству оценят верную службу и доблесть своих славных сынов.

— Да воздаст господь наш за милость вашу, ваше величество!

У Кирилова затуманились глаза, в горле запершило. Господи, дожил, дожил, наконец, до славного, долгожданного часа! Только понимают ли, в состоянии ли понимать всю значительность этого мгновения застывшие сейчас у трона разодетые в парчу и золото сановники? Ай, вряд ли! Разве что один Бестужев-Рюмин? А эти трое чужеземцев бог весть о чем помышляют. Им-то, понятно, какое дело до славы и могущества России? Вон застыли, вытянулись, выражая подобострастие и усердие. А может, и им хоть в какой-то мере открылась историческая значимость предстоящей экспедиции в Степь? Если они хотя бы смутно это чувствуют, то с какой стати они с такой важностью и апломбом втолковывают, внушают ему то, что ему давным-давно до мелочей известно и о чем он уже столько лет с упорством и настойчивостью сам ратует? С какой стати эти господа столько времени с серьезной миной на равнодушно-спесивых лицах зачитывают ему документы, которые и родились-то под его пером и каждое слово, каждую фразу, даже каждую точку-запятую в которых он успел выучить назубок? Не смешно ли?! Разве не разумнее было бы — вместо долгих речей — просто пожелать ему удачи и доброго пути? Да что о них-то, иноземцах, говорить? Неизвестно еще, разумеет ли сама царица в полной мере о том, какой исторический день для России наступил ныне. Ведь сегодня, если судить здраво,— самый знаменательный день за все пять лет ее государствования. Сегодня осуществилось то, о чем до самой своей кончины так страстно мечтал сам император Петр Алексеевич. Беспредельные просторы Азии, занимающие половину света, окажутся вскорости по божьей воле под могущественной десницей России. О таком счастливом времени никто даже из самых дальновидных и достославных — российских монархов, предшественников Анны Иоанновны, не мог и по-

мышлять. Никогда еще с самого сотворения мира своенравная косоглазая Азия ни одному из европейских владык не покорялась. Доступно ли это твоему бабьему разуму, о, венценосная самодержица российская?! В состоянии ли ты осознать выпавший на твою долю дар судьбы, по которой не кому-нибудь, а именно тебе довелось, восседая на троне в Европе, накинуть подол платья на азиатские равнины? Открылся ли тебе сокровенный смысл той картины на титульном листе многолетнего труда моего, переданного от меня Остерманом? А может, поняв намек, вложенный в картину, ты и решилась на столь величественный жест? Воля твоя, самодержица российская, мне нет дела до твоих тайных побуждений и помыслов, а за благо твое щедрое, за доверие неслыханное ко мне остаюсь благодарным и обязанным тебе до самого гроба. Торжественная церемония, заимствованная твоим двором у иноземцев, сковывает мои чувства, клокочущие во мне бурным потоком. Как мне совладать сейчас с собой и выйти в столь счастливый, знаменательный для меня, для всей России час отсюда, сохранив на лице одно лишь холопское усердие и равнодушие? Ведь в таком кругу, в такой обстановке даже проникновенное, от всей души «спасибо» не выразишь. Стоишь точно истукан...

Императрица опять кашлянула. Видно, что-то еще намерена сказать. Дай-то бог...

— Ну, ступай, голубчик! Счастливого тебе пути...

Видно, торжественный миг взволновал все же и императрицу: как она ни крепилась, а голос дрогнул.

От радости у Кирилова едва не разорвалось сердце. Он, точно подкошенный, рухнул на колени, благоговейно приник губами к подолу пышного платья. То, что не в силах был выразить словами, он вложил в свой непроизвольный порыв. Сдерживая рыдания, вздрагивая плечами, он выбрался из зала сам не свой от обрушившегося вдруг на него счастья.

Пять дней спустя от берегов полноводной, широко раскинувшейся Невы торжественно отплыли пять парусников. Небо было чистое, ясное. Ветер упруго надувал паруса. У пристани плотными рядами стояли экипажи. Толпились провожающие. Кто-то вытирал слезы. Кто-то беспрестанно махал вслед удалявшимся по водной глади кораблям.

Собравшиеся в далекий путь, в неведомые чужедальние края сбились на палубе и, притихнув, зачарованно глядели на еще долго тянувшиеся по обеим берегам

знакомые мощеные и политые с утра пораньше широкие проспекты, на прямые, точно линейкой выверенные, каналы, на зеленые островки разбитых там и тут садов и скверов, на величественные дворцы и шпили, возвышавшиеся над бесчисленными приземистыми и неказистыми постройками.

За каких-нибудь тридцать лет из непролазных мертвых болот и топей по несокрушимой воле императора Петра вымахнул на глазах Кирилова этот величественный город. Со стороны, с моря, с открытой палубы славный Петербург казался особенно внушительным и прекрасным. И — главное — чувствовалось, как в нем зрела с каждым годом горделивая мощь. Ах, как бы обрадовался великий царь Петр, глядя на творение воли и рук своих! Нетрудно себе представить, какой была бы теперь столица державы российской, будь жив сам император!

Куда бы ни глядел сейчас Кирилов, он всюду явственно видел так и не осуществившиеся дерзкие мечты своего кумира. Вон — вдалеке, в Финском заливе, виднеется остров Котлин. После Полтавской битвы, закончившейся славной победой русского оружия, Петр Великий замышлял именно на этом острове построить центр своей столицы. Были вырыты прямые перекрещивающиеся каналы, вдоль которых планировалось воздвигнуть фешенебельные дворцы и особняки для знатных дворян, купцов и крупных промышленников. Более того, в 1712 году был обнародован указ о переселении на остров около тысячи семей богатых вельмож. Список знати рассмотрел и утвердил сам Сенат. Но осуществить сей грандиозный прожект так и не удалось: помешала затянувшаяся Северная война. К тому же выяснилось, что остров уязвим и стратегически — не очень удобен для защиты от возможных нашествий северных соседей. Теперь там вырос Кроншлот — надежная крепость для защиты Петрова града с моря.

Кирилов с любовью обозревал любимый город. Однако со смертью императора столица не особенно изменилась. Большинство домов одноэтажные, глиняные. Снаружи их выкрасили в темно-коричневый цвет, чтобы придать им вид построек из жженого кирпича. Как ликовал царь Петр, когда эти приземистые глинобитные жилища появились заместо сосновых, наспех сколоченных лачуг! И как не терпелось ему увидеть на их месте благопристойные прочные кирпичные здания! Живо помнится Кирилову, как в 1716 году император самолично пожаловал в Сенат,

дабы полюбоваться на генеральный проект застройки города, предложенный французским архитектором Леблоном. Внушительный, живописный макет на просторном, во всю залу, столе притягивал взор, радовал глаз. Император, возбужденный, лукаво ухмыляясь, вышагивал длинными ногами вдоль стола и все расспрашивал-расспрашивал архитектора. Простодушный француз отвечал велеречиво, все более распаляясь. Да, да, столица российской державы не должна быть похожей ни на одну из величайших столиц мира — ни на Рим, ни на Париж, ни на Вену, в которых за тысячелетия причудливо смешались многочисленные архитектурные стили. Петербург должен отличаться строгостью, стройностью, соразмерностью, компактностью и опрятностью, как чудо, сотворенное дерзким гением в одночасье и непременно в форме выверенного эллипса, точь-в-точь как на макете. Далее... все здания на острове Адмиралтейства следует выстроить в ровный ряд вдоль прямых, как копье, улиц, а на Васильевском острове вместо подобных улиц необходимо прорыть также прямые, прекраснодивные каналы.

— М-м...— хмыкнул царь.

— Для этого,— еще более воодушевился архитектор,— мы снесем все нынешние постройки, засыплем все прежние каналы и проложим новые.

— М-м...

Кошачьи усы императора поблескивали умиротворенно. В глазах полыхали озорные огоньки. Архитектор, довольный собой, задрал голову. Царь вдруг резко взмахнул правой рукой и с силой хлопнул француза по плечу:

— Чудесно, ничего не скажешь! Великолепно! Новая Венеция, а?!

Француз вначале опешил было, но тут же от царской хвалы весь рассиял лицом.

— Н-но-о...— царь сделал значительную паузу.

Длинные ресницы Леблона, затрепетав, недоуменно застыли.— Н-но-о, мон шер, наш северный климат не располагает к прогулкам на гондолах. И к тому же...

И царь, хохотнув, выразительно похлопал себя по карманам.

С дивной мечтой о северной Венеции пришлось таким образом расстаться. Истаяло видение, как мимолетный сон. И все же в стремительно воздвигавшемся городе Кирилов узнавал потом кое-какие очертания того величественного макета на огромном столе в Сенате. Теперь с

открытой палубы парусника он убеждался в том воочию. Как широк и великолепен прямой, как стрела, Невский проспект! Как красиво обрамляют его высаженные в три-четыре ряда деревья! Как прелестны змеей извивающиеся между ними выложенные камнями тропинки! И все это появилось по воле царя и с живым его участием. По его распоряжению каждый воз обязан был доставить в город три булыжника весом не менее пяти фунтов, а корабли — по двадцать-тридцать таких камней, иначе никому не разрешалось въезжать в столицу. И таким простым способом были вымощены все улицы Санкт-Петербурга. А вон тот зеленый райский уголок на острове Адмиралтейства, окруженный каналами,— Летний сад. Краса и гордость царской столицы! Там на каждом дереве, на каждой скульптуре, на каждой скамейке можно найти отпечатки мозолистых Петровых рук. Все это диво — разных пород деревья и экзотические цветы, доставленные со всех уголков света; умело — в виде прямоугольников и шаров — подстриженные кусты; многоцветные, аккуратные клумбы, похожие на изящную вышивку, белоснежные стройные колонны и статуи; разбросанные там и тут зеленые лужайки, причудливо извивающиеся тропинки для уединенных прогулок; бьющие упругими струями в небо фонтаны; таинственные, сумрачные гроты, мраморные беседки и фонарные столбы — все это проплывало мимо, оставалось позади, зыбясь в легкой хмари и сливаясь в четкий прямоугольник.

А вот и Адмиралтейство, сплошь в парусах. Между Адмиралтейством и Летним садом вытянулись в ряд пышные дворцы, построенные еще Петром Великим. Набережные каналов укреплены могучими бревнами, обросшими лохмами ила. Напротив мрачно насупилась Петропавловская крепость. Над крепостью взметнулись, слепя взор, медью покрытые шпили собора Павла и Петра.

Васильевский остров еще почти пустует. Возле дворца Меншикова, издалека бросающегося в глаза, прогуливаются редкие зеваки. Дом Коллегии уже достраивается. Вдали видны очертания воздвигающегося здания Биржи. У нового здания Кунсткамеры толпится многочисленный люд. На пустыре острова пасутся разморенно-томные пятнистые буренки. Ватага вихрастых мальцов, задрав подолы чумазых рубах, в которые собирали грибы, с разинутыми ртами глазеет на торжественно проплывающие мимо парусники.

Большинство мостов при выходе каналов к реке покры-

лось ржой. При жизни император ревностно следил за состоянием мостов. Однажды в поездке по городу сопровождал его главный полицмейстер столицы генерал-адъютант Девиер. Родом из Португалии, ловкий, ушлый, готовый в своей услужливости пролезть через ушко иголки, Антон Девиер отличался к тому же необычайной говорливостью и назойливостью. Видно, успел-таки он изрядно прожужжать уши императору. Проезжая мимо Мойки, царь заметил какой-то непорядок на мосту и грозно спросил:

— Что это?

Только что заливавшийся соловьем полицмейстер осекся, будто рот набили песком.

— Что ж, голубчик,— ухмыльнулся царь.— Встань на том мосту и спусти портки.

Средь бела дня при всем честном народе император всыпал полицмейстеру несколько горячих и, передавая окровавленную плетку кучеру, сказал:

— Надеюсь, милейший, ты теперь будешь помнить, что мосты следует содержать в исправности хотя бы до тех пор, пока заживут раны на твоем заду.

Потом, усаживаясь в карету, оглянулся на посрамленного генерал-полицмейстера, которому никак не удавалось натянуть на себя штаны, крикнул как ни в чем не бывало:

— Пошевеливайся, браток! Аль не пора ехать?!

Случай этот распространил по городу сам Антон Девиер. Он рассказывал об этом с гордостью, со смаком, со всеми подробностями. И при этом сам похохатывал. В самом деле, надо ведь кем-то быть и заслужить такой чести, чтобы сам император собственноручно, плеткой стегал тебя по мягкому месту! Не всякий удостаивается подобной царской милости. Для честолюбивого чужеземца даже наказание государя оказалось высшей наградой.

А ныне сколько их развелось, нерадивых правителей и служак, которым и дела нет до разрушенных и разрушающихся мостов. И некому их приструнить, некому всыпать им за распущенность и разгильдяйство. «Эх... бедный император!»— вздохнул про себя Кирилов. Конечно, был бы теперь жив царь Петр, он бы собственной персоной проводил их экспедицию в этот далекий, государственной важности путь.

Сухой комок подкатился к горлу Кирилова, в глазах защипало. Столь знакомые и дорогие очертания родного

города, тускнея, зыбясь, точно растворились в далекой хмари.

Вдали от города Нева становилась все внушительней и величественней. К небосводу, клубясь, потянулись отовсюду пухлые, кудлатые тучки. Деревья, густо стоявшие по обоим берегам, поредели, а глухие сосновые боры отступали все дальше. Зато стеной встали плотные заросли камыша. Простор обнажился, открылись дали. С глаз точно спала пелена. Все виднелось вокруг далеко-далеко. Ах, милая сердцу вольного степняка ширь! Значит, еще существует она в своем первозданном виде. Значит, не удалось еще, оказывается, запрятать ее в тесные улочки каменного града, загнать за деревянные заборы...

Сердце молодого Ералы, все это время молча стоявшего возле Кирилова и оглядывавшегося окрест, радостно забилось. Полноводная река, густо раскинувшийся вдоль берегов рослый камыш, неоглядные дали вновь напомнили ему родную вольную степь.

Кайсацкому наследному принцу-ханзаде живо вспомнилась весна в степи. В эту пору заканчивался весенний расплод овец. В барханах становилось душно и жарко. Размножались клещи и пауки, распространяя неприятный запах. Скотники стригли овец, верблюдов. Громадные тюки шерсти весенней стрижки тотчас отправлялись с караванами в Бухару и Хиву. Аулы снимались с насиженных, теплых мест и откочевывали к летовкам на севере. Ханский аул, покидая родовое зимовье в песках возле реки Адам-ата, почти у самой границы с Хивой, по пути на летовку перебирался обычно через Сырдарью в том месте, где она впадала в Арал-море. Должно быть, и сейчас многолюдное ханское кочевье привычной тропой пробивается на север — на раздольные выпасы Золотого свода — Сары-арки! И Сырдарья в эту пору так же полноводна и величественна, как и эта северная река, по которой сейчас стройным рядом плывут парусники. Дойдя до широко разлившейся, своенравной реки, кочевье останавливается на привал. Верблюдов развьючивают. Тюки переносят на плоские плотики, связанные и сплетенные из сухого тальника. Деловитые загорелые жатаки, бедные жители прибрежных кишлаков, высоко закатав штанины и ловко орудуя шестами и баграми, переправляют на утлых плотиках стариков и детей, а также многочисленный домашний скарб на противоположный

берег. Могучие, в мыльной пене дромадеры-нары, одолевшие тяжкий путь через барханы, косясь на бушующую у их ног реку, испуганно рявкают и упираются изо всех сил, не решаясь войти в воду. Но им не дают воли, их понукают, нещадно бьют плетьми и соилами — березовыми палками, и нары, обезумело выкатив глаза, обреченно плюхаются в белопенные крутые волны. Связанные между собой, огромные, неуклюжие, они, бедолаги, заваливаясь на бок, бугрясь в воде, отчаянно гребут всеми четырьмя ногами и в ужасе напряженно вытягивают длинные шеи. И чудится людям и животным, что они избавились, наконец, от назойливой мошки и комарья южного края, но не тут-то было: и на том, северном, берегу, точно нетерпеливо поджидая их, ошалело налетает, набрасывается тотчас туча комаров и слепней. Перебираться в пору кочевки через реку — все равно что пройти через узенький, как волосок, адов мост. Сколько мук и мытарств изведаешь! Да еще комары искусают тебя в кровь. А все равно, когда вспоминаешь ту суматошливую пору, душа ликует и сердце замирает от блаженства и восторга. И вот, кажется, теперь уже совсем немного осталось до тех желанных, благодатных дней. Кочевка весной — самая счастливая пора в степи. Сколько радостей и забав! Дети и подростки в многодневном пути укрощают и объезжают стригунков, скачут наперегонки на жеребятах по третьему году. А сколько привалов, сколько взаимных угощений, встреч и знакомств случается в пути, пока кочевье доберется до пастбищ Золотого свода! Пока взрослые ставят походные юртешки, готовят ужин, малышня разбегается врассыпную окрест, собирает по низинам дикий лук, выкапывает дикую морковь и возвращается к привалу усталая и довольная. Потом, неторопливо цедя из деревянной чаши терпкий перебродивший айран вперемешку с диким луком, подолгу смотришь вдаль, туда, за зыбящийся горизонт, и предаешься причудливым мечтам. Ах, благодать! Нет более счастливого, безмятежного мгновения...

— Ханзада!

Это еще кто? Кто-нибудь из забияк, приглашающих его пуститься вскачь наперегонки?

— Ханзада!

Нет, голос взрослого мужчины. Ералы вздрогнул, очнулся от дум. Он, оказывается, совсем забылся, не помнил, где стоит. Вокруг все изменилось, посветлело. Отку-

да этот призрачный белесый туман, точно зыбкой кисее нависший над озером? А что это вон то громоздкое, темнеющее, устремившееся ввысь, грозно прорвавшееся сквозь невесомую пелену? Откуда эти люди, усевшиеся в длинный ряд на плоских лодках и гребущие все в лад? Куда они спешат? Что хотят? Почему огибают их парусники?

— Ханзада...

Ералы, недоумевая, повернулся к стоявшему слева Мамбету-мурзе.

— Вон перед нами Шлиссельбургская крепость!

Ералы посмотрел вперед, все еще ничего не соображая.

— Здесь находилась русская крепость под названием Орешек. Несколько лет ею владели шведы. Тридцать лет тому назад Петр Великий вернул ее России.

При приближении к крепости на острове вспененная Нева разделилась на два русла. Многочисленные лодки, по двенадцати гребцов в каждой, окружили парусники с двух сторон и направили их по правому рукаву. Крепость занимала весь остров. Каменные стены, казалось, поднимались круто прямо из воды, и проникнуть в крепость представлялось невозможным: только птица могла перелететь через такие стены. Высоко, из бойниц, грозно высовывались жерла пушек. Острые зубчатые башни поблескивали на солнце, будто отделанные жестью. Рассказывали, что толщина крепостных стен в добрый кулаш — расстояние между пальцами двух раздвинутых в стороны рук. Захватить эту крепость было необычайно трудно. Русские, окружив ее, обстреливали из пушек трое суток. Потом, подплыв на лодках, точно муравьи, поползли на канатах и веревочных лестницах по крутой стене. Много солдат погибло. Но русские после отчаянного штурма все-таки выбили шведов из крепости.

Вот и она — грозная, неприступная — проплывала мимо. Ералы она почудилась похожей на одинокого, рыжей масти нара-дромадера, застывшего в широкой степи. Накануне вечером, на прощальном банкете, императрица еще раз подтвердила, что по просьбе кайсацкого хана она распорядилась построить город-крепость при устье Орь-реки. Надо полагать, и тот город будет похож на эту старинную крепость. И он будет так же возвышаться над степью, ввергая врагов в оторопь. И из бойниц его стен, очевидно,

так же будут высовываться жерла грозных пушек, нагоняя на всех страх. Ханзада встрепенулся: он увидел вдруг своего отца в ханских доспехах, стоящего у стен неприступной крепости, выставив могучую грудь свежему степному ветерку. Эх, скорее бы все это осуществилось! Тогда никто бы не осмелился противостоять его отцу — хану Абулхаиру. Смешно было бы глядеть на самоуверенных джунгарцев, размахивающих пиками и в бессильной злобе скачущих вокруг неприступной каменной крепости у устья реки Орь. Все равно что шавка, тявкающая на верблюда. Можно себе представить, как обрадуется отец при виде такой крепости. Конечно, его удивит, поразит даже сам подробный рассказ сына о подобном чуде...

Словно догадавшись о затаенных думах юного наследника принца-ханзады и подтверждая их, разом, дружно пальнули в это время все пушки Шлиссельбургской крепости. Один за другим последовало десять залпов. Огромная крепость окуталась пороховым дымом. Приятное видение, только что мелькнувшее перед глазами ханзады, мигом исчезло, растаяло. Почудилось, будто отец в медном шлеме, с нежностью глядевший на своего сына, вздрогнул от неожиданного грохота и, хмурясь, с недовольством спросил: «Это еще что за напасть?!»

Вновь донесся до Ералы назойливый мужской голос:

— Это в вашу честь, дорогой ханзада, пушки из крепости палят...

Юный ханзада узнал голос Мамбета-мурзы. «Тоже мне честь...»— с ухмылкой подумал было Ералы, но тут опять оглушительно грохнуло.

Юноша опять вздрогнул и старался больше никуда не смотреть: ему наскучили эти почести. Отчего-то закружилась голова, и тошнота подкатила к горлу. Вчера, возвращаясь с прощального банкета, Мамбет-мурза сообщил ему, что половина экспедиции до Москвы доберется сушей, а другая половина — на парусниках. Кайсацкое посольство отправилось в путь вместе с караваном. Где-то за этой крепостью на берегу реки его должны поджидать кареты. Хоть бы скорее добраться до этого условленного места...

От порохового дыма и пушечной пальбы ханзаде стало не по себе. Ему не терпелось скорее миновать крепость. Он крепко зажмурился, стараясь подавить в себе тошноту. И тут же ожили в нем знакомые степные звуки. Точно засипели кузнечики, запели цикады... Нет, то вновь залился зачарованный жаворонок в вышине... Звонко, ликующе...

Вот так, охваченные нетерпением и волнением, добрались, наконец, и до Москвы. Оттуда в дальнейший путь отправились уже не на пяти кораблях, а на одиннадцати. Ханзада и кайсацкое посольство поехали сушей. В начале осени, громыхая на ухабах и вздымая дорожную пыль, проехали через огромный город, над которым, высоко вздымаясь, ослепительно поблескивали позолоченные кресты вперемежку с серебряным мусульманским полумесяцем над многочисленными минаретами. Это был прославленный город Казань, воспетый в многочисленных сказах и киссах. А когда уже повалил снег и плотно укутал землю, и мороз схватил реки и озера, и звонче зацокали копыта коней, вдалеке, на склонах горбатых холмов, показался живописный город Уфа, запестрел приземистыми домишками вразброс, словно широко разбредшийся табун лошадей, радуя глаз путника тянувшимся из всех труб уютным дымком.

В душе ханзады вновь чарующе запела таинственная птаха. До родных степей отсюда было уже рукой подать.

Долгую снежную зиму провели в этом городе, раскинувшемся по склонам бурых холмов и увалов. Вновь пришла весна, осели и потом растаяли сугробы, обернулись грохочущими ручьями. С оглушительным треском разрывался лед, сковавший опоясавшие город две реки. Широко разлились они в половодье.

Когда лед сошел и реки, успокоившись, вошли в русла, на восточном берегу полноводной Ак-Едиль грозно ощетинились белые пики. Потом потекли туда из города — под грохот барабанов и литавр — многочисленные военные отряды. Туда же строем двинулись казаки в высоких папахах и широченных шароварах, волоча на боку длинные шашки. Казаки расположились по флангам. Головную часть лагеря заняли пехота и артиллерия. В противоположной части, ближе к реке, обосновался штаб, здесь же было поставлено несколько кошомных юрт для офицеров. Потом привели сюда верблюжий караван. Тяжело навьюченных верблюдов опустили на землю по четырем краям военного лагеря. Часть солдат принялась тотчас развьючивать животных, развязывать огромные тюки. Другие взялись растаскивать груз по отрядам и отделениям. Третьи сноровисто ставили юрты и шатры. Верблюды, освободившись от поклажи, отдыхали, отрешенно жуя жвачку и не обращая внимания на суету вокруг. За какие-нибудь пятнадцать — двадцать минут явственно обозначились контуры огромного военного лагеря.

Жители Уфы, и стар и млад, собравшись на противоположном берегу, с изумлением глазели на это чудо. За действиями русских солдат издали, с вершин холмов, наблюдали с любопытством и рассеянные группки степняков в мохнатых халатах. Солдаты, казалось, не обращали на них внимания и трудились еще сноровистее, словно подогревая их любопытство. Вдруг взмылся резкий раскатистый голос:

— Выгнать скот на выпас!

Тотчас, тяжело, неуклюже качнувшись, поднялись тысячи верблюдов. Десятки верховых казаков с шашками на боку, с длинными кнутами в руках, покрикивая и посвистывая, погнали верблюдов подальше от лагеря на выпас. С другого конца лагеря погнали к водопою лошадей. С подветренной стороны вмиг вырыли несколько земляных печек; на них водрузили огромные котлы. Забойщики скота, посверкивая длинными ножами, направились к откормленным бычкам, томившимся в сторонке на привязи. В нескольких местах палили соломой только что заколотых кабанов. Часть солдат, растелешившись, с бреднями вошла в реку. Кто-то уже устроился на бережку с удой.

Над равниной за рекой там и тут курчависто взвился дымок; запахи варящегося мяса, лука и чеснока, перца защекотали ноздри. Любопытствующий люд постоял, повздыхал да и поразбрелся по домам.

Радовались и солдаты, выбравшись из постылой городской тесени на вольный простор. В течение шести зимних месяцев отовсюду прибывали армейские полки и части, выделенные указом ее императорского величества в Оренбургскую экспедицию. Вынужденные покинуть привычные обжитые гарнизоны, солдаты роптали, терпели лишения и неудобства, мыкались в поисках мало-мальски пригодных зимних квартир для себя, стойла и фуража для лошадей, помещения и складов для продовольствия и оружия.

Всю долгую зиму не знал покоя и Кирилов. В сопровождении воеводы Кошелева, полковника Тевкелева, секретаря-помощника Петра Дьякова он объехал и тщательно осмотрел все улочки-проулки, все дома-мазанки тихого, невзрачного городка. Были взяты на строгий учет каждый двор, каждое жилище, где можно было поставить хотя бы десяток коней и определить на постой хотя бы десяток служивых. И не только город, но и ближайшие деревни объехал неутомимый Кирилов. Вызвал и лично поговорил со всеми биями всех четырех башкирских частей-дорог — Ногайской, Сибирской, Казанской и Осинской. Выяснилось что среди

башкир, обосновавшихся на этих четырех дорогах, одна тысяча четыреста тридцать одна семья отнесена к так называемым тарханам, освобожденным от всяких податей, а восемь тысяч триста девяносто пять семей причислены к низкосословным и обложены податями в виде лисьих, собольих, куньих шкур, а также меда. По распоряжению Кирилова каждая из этих низкосословных семей была теперь еще обязана доставить в экспедицию по два воза сена, двух овец или одного телка. От дополнительной подати освобождались только те, кто обязался в будущем обеспечивать экспедицию необходимой подводой, кошмой, волосяными арканами и канатами. Всю зиму вереницами тянулись в Уфу обозы с сеном.

Теперь, судя по всему, и эти мытарства остались позади. Прибыли все воинские части, за исключением Вологодского полка. Чувствуя, что Уфа изнемогла от непосильного бремени по содержанию столь многочисленных отрядов, Кирилов принял решение выступить в путь. Горожане, наблюдавшие с берега за устройством военного лагеря, тихо радовались про себя: «Слава всевышнему, может, избавились от ненасытных обжор... Мочи уж нет!..»

И то верно: столь огромное войско было городу в тягость. Нелегко было содержать его всю зиму, но еще труднее — обеспечить его запасами продовольствия еще на шесть месяцев. Всю зиму в каждом дворе готовили сухари, складывали их впрок в берестяные туески. Двойные холщовые мешки набивали ячменем, овсом, различной крупой. Крепкие шестиведерные дубовые бочонки наполнялись водкой и спиртом. Запасы соли, перца, табака были и вовсе неисчислимы.

Чего только не надо было огромной экспедиции, отправляющейся в малолюдную дикую киргиз-кайсацкую степь! Надо было позаботиться заблаговременно о легких деревянных корытах, из которых в долгом пути можно было поить рабочих верблюдов и лошадей. А сколько тюков кошмы понадобилось для юрт и походных шатров! А разве можно было сосчитать необходимые в столь ответственном деле лопаты, ведра, таганы-треноги, топоры, молотки, арканы, разную утварь? Даже кузню предстояло везти с собой вплоть до наковальни, горна и угля.

Громадные тюки всякой всячины отводились специально на подарки для родоправителей и прочей кайсацкой знати: сукно, шелк, парча, пряжа, золотые и серебряные вышивки, аппликации, орнаменты, искусно отделанные

роговые шакши-табакерки, платки, гребни, зеркальца, иголки, холст, разные украшения и безделушки, до которых столь падки туземцы.

А главное — сколько понадобилось оружия на случай, если туземцам захочется вдруг исподтишка напасть на Оренбургскую экспедицию! Можно себе представить, какой ужас наведет на степняков этот доселе никем не виденный, не слыханный караван, когда он завтра выступит в путь. Как говорится, земля осядет под такой мощью. Дай бог, чтобы только наступил скорее тот желанный час! И да не оставит всевышний их своими милостями!..

Так думал, так горячо молился в своем походном шатре, ворочаясь ночь напролет, не один Кирилов. Не сомкнуло глаз в ту ночь и кайсацкое посольство, расположившееся в трех кошомных юртах. Знакомые картины, запахи и звуки взбудоражили душу степняков. Фырканье лошадей, пасущихся вдоль реки; тяжелые вздохи верблюдов, монотонно жующих жвачку; плеск воды, шелест трав — все волновало их. Все казалось им, что в одночасье очутились они вдруг в родной степи, которая в последние три года им так часто снилась. Да и ночь, как назло, выдалась лунная, ясная. Все окрестности были залиты молочным светом, а степь, безбрежно раскинувшись, дышала разморенно, спокойно, отдаваясь неге и блаженству.

Наутро, едва взошло солнце, раздалась оглушительная барабанная дробь. Солдаты выскочили из шатров и толпою ринулись к реке.

Ближе к обеду войско выстроилось на торжественный молебен. На площади посередине был установлен походный алтарь. Дородный, величественно-важный священник, облаченный в дорогую, до пят, рясу, с тяжеленным позолоченным крестом на брюхе степенной поступью обошел строй. Он останавливался перед каждым солдатом и казаком, благословлял их и окроплял священной водицей. Солдаты шевелили губами и неистово крестились. Когда священник окончил молебен, грянул тысячеустый русский гимн. От торжественного, многоголосого и ладного пения пробежали мурашки не только по напряженным спинам солдат, но и тех любопытных горожан, которые собрались разрозненными кучками с утра пораньше, чтобы насладиться невиданным зрелищем. Едва утих торжественный рокот гимна, с четырех сторон пальнули пушки. И не успел рассеяться дым, как взмыла к небу звонкая походная дробь. Строй дрогнул, зашевелился. Потом отряды — один за дру-

гим — прошли перед Кириловым и построились возле своих шатров. Вновь прокатилась над равниной барабанная дробь и раздалась команда:

— Грузить поклажу!

В одно мгновение были разобраны походные юрты и шатры. В следующее мгновение были сложены и связаны тюки и навьючены нары-дромадеры, длинным рядом опущенные на колени. За полчаса весь лагерь был готов сняться с места. Караван выстроился в цепь. Обоз подготовился к пути.

Кирилов на белом коне под посеребренным седлом легкой рысью подъехал сначала к сибирским казакам, потом к пешим солдатам и артиллерии, пожелал доброго пути в предстоящем походе. Войско, выдержав паузу, откликнулось четким, многоголосым «ура».

— Марш!

Трубачи и барабанщики заиграли походный марш. Всех охватили волнение и радость. Войско двинулось в поход. Вперед выехал конный дозор — три казачьи сотни. Кони нетерпеливо приплясывали под ними. Когда казаки отъехали примерно на полверсту, двинулись в путь четыре роты пеших солдат. За ними, тяжело колыхаясь, поползли девять пушек. Вслед за ними покатились кареты Кирилова и принца-ханзады Ералы. Далее следовал обоз с офицерской поклажей, потом — санитарный обоз. И лишь затем доходил черед до основных частей войска. При этом половина его шла впереди верблюжьего каравана, а вторая половина — за ним. В караване шли две тысячи верблюдов. Их вели двести караванщиков по десять верблюдов в поводу. За караваном потянулся, поскрипывая и колыхаясь, обоз с необходимым снаряжением для строительства города-крепости у устья реки Орь. Обоз зорко охраняла вооруженная стража.

По обе стороны многоверстового кочевья на строгом расстоянии друг от друга двумя рядами шла конница. А замыкали столь внушительную экспедицию шесть казачьих сотней и девять пушек.

Все было заблаговременно и тщательно продумано и исполнено неукоснительно.

Надрывались флейты и трубы. Грохотали барабаны и литавры. Пели во всю мощь глоток солдаты и казаки. Так начался желанный, долгожданный поход в Степь. Вдалеке, у самого горизонта, маячили группы всадников. Время от времени они пускались вскачь, словно сопровождая великое кочевье в сторону юга.

Огромное, пустое пространство под ясным небосводом казалось застеленным зеленым плюшевым ковром. На западе, выплескиваясь из берегов, белела Ак-Едиль. На востоке простирались, темнея, леса. Позади, со склонов живописных холмов, молча и долго глядела вслед как бы затихшая Уфа.

Сияло высоко благодатное апрельское солнце. Казалось, и оно стремилось приукрасить и без того красочное шествие: лучи весело вспыхивали на эфесах казачьих шашек и штыках ружей.

Любопытствующая толпа осталась позади. Только верховые в башкирских шапках-малахаях еще долго сопровождали вдалеке войско, скача наперегонки. Временами они приближались к казакам на флангах, гоготали, улюлюкали, но тотчас удалялись врассыпную. Потом вдруг скрывались, исчезали в глухой чащобе у горизонта, но через некоторое время вновь выскакивали на простор.

— Чего они там резвятся?— спросил Кирилов у своего помощника-секретаря Петра Дьякова. Отъехав на несколько верст от вчерашнего привала, Кирилов передал повод своего походного коня адъютанту и пересел в карету. Дьяков, внимательно следя за игрой верховых башкир вдалеке, ответил:

— Такая вот забава. С приближением весны затеваются в степи веселые игры. Говорят, такой обычай. Называются эти игры... дай бог памяти... да, да... Каргатой. Недавно мы — Алексей Иванович, Серегей Костюков и я — объездили несколько аулов в поисках кошмы, и вот всюду говорили, что готовятся к весеннему празднику.

Кирилов удивленно вскинул брови:

— Как? ...Каргатой?

— Да... Карга — вроде как наши грачи. Той — по-ихнему значит пир, праздник. Весной, перед прилетом грачей, устраивается всюду такой праздник — каргатой. Уезжают на полверсту за аул, выкапывают земляную печку, продолговатую такую ямину, на которой устанавливают котел. Варят какую-то похлебку. Мужчины в празднике не участвуют. Только дети-подростки да бабы-молодки. Весь день бегают, суетятся, резвятся.

— Как это?

— Ну, по-всякому. Устраивают борьбу, загадывают загадки, поют песни, острят. Девушки и молодицы, сказывают, закатывают штанины шальвар и бегают наперегонки.

Подростки устраивают скачки. Одним словом, не скучают, забавляют себя, кто на что горазд.

Кирилов с тайным восхищением уставился на своего секретаря. Каких-нибудь пять-шесть месяцев он в этом краю, однако на любой вопрос отвечает обстоятельно, будто всю жизнь занимался изучением местных обычаев и нравов. Среди всех писарей ему с самого начала приглянулся именно этот круглолицый, добродушный увалень. Был он необыкновенно легок на подъем, быстр в движениях и исполнителен. Любую просьбу выполнял беспрекословно. И во всем можно было на него положиться. И когда речь зашла о надежном письмеводителе для экспедиции, Кирилову первым долгом вспомнился он. Ему же он дал задание: если среди его знакомых есть способные, энергичные молодые люди, их следует немедленно привести в экспедицию. И вот, уже в Москве, Дьяков привел однажды к Кирилову рослого, светлолицего, улыбчивого парня с внимательным, цепким взглядом.

— Ну, и как зовут тебя, молодой человек?

— Михайло Ломоносов.

— Где служишь?

— Учусь.

— Ах, вон как! И где учишься?

— В Греко-славяно-латинской академии.

Кирилов поговорил было с ним, расспрашивая о том, о сем, и удивился: высоколобый, светловолосый юноша оказался сведущим во многих науках. Однако руководство академии не отпустило его, сказав, что он является одним из способнейших учеников и его намереваются отправить на учебу за границу. Петр Дьяков, как выяснилось, знал его еще по Архангельску. Отец Дьякова был купцом, поставлявшим зерно из Вологды и Архангельска через Сухон и Северную Двину для продажи за рубеж. Петр нередко сопровождал отца в его деловых поездках, и там, в северных портах, выучился немецкому и голландскому языкам. Желание учиться привело его в Москву. Здесь он познакомился с директором стеклозавода Эльмсеном, устроился к нему на службу. В это время и обратил на него внимание Кирилов, помог ему определиться толмачом в торговую таможню. И вот теперь, в двадцать два года, Петр Дьяков — секретарь-делопроизводитель, начальник канцелярии и бухгалтер Оренбургской экспедиции.

Открытый, общительный, Дьяков тянулся к молодежи, и молодежь тянулась к нему. Должно быть, по этой причине

и приглянулся ему сразу любознательный Ломоносов. Здесь, в экспедиции, он привлек к себе долговязого, худющего Сергея Костюкова. Его для канцелярских дел рекомендовал и разыскал сам Мамбет-мурза. В свое время Костюков сопровождал его в первую поездку к киргиз-кайсакам. Отличался парень покладистостью, добрым нравом, безотказностью. Вечно ходил с разинутым от удивления ртом, выставляя напоказ длинные молодые зубы. С Дьяковым он подружился с ходу. Были они неразлучны. При виде Костюкова сразу оживилось и обрадовалось и казахское посольство. «Эй, да это же Сартайлак! Да, да, он самый!» — и окружили, обступили его со всех сторон. Прозвали Костюкова казахи метко: Сартайлак, то есть рыжий годовалый верблюжонок. Был он и в самом деле похож на годовалого, еще не стриженного верблюжонка: длинноногий, рослый, неуклюжий, добродушный. Любопытству его не было предела и, казалось, он знал все, что было связано со степным краем. А экспедиции очень нужны были люди, которые пристально изучали обычаи, нравы и быт, традиции кочевников. Не зная все это, трудно управлять инородцами. Такого мнения Кирилов придерживался давно. Находясь еще в Петербурге, он изучил немало сведений и документов о башкирах. Но здесь, в самой Башкирии, он с горечью убедился, что все они были составлены поверхностно, приблизительно, без конкретных, достоверных знаний.

Кирилов, погруженный в думы, вдруг вздрогнул от многоголосого крика:

— Крупа! У кого крупа? Дайте крупу!

Справа открылось маленькое башкирское поселение с сосновой мечетью в середине. Между домами, шумно галдя, металась ватага малышни. Рядом на стригунках неслись подростки.

— Крупа! Дай крупу!— горланила ватага.

Петр Дьяков улыбнулся.

— Видно, самая пора для весенней пахоты. Посмотрите вон туда, на гребень холмов: сохи стоят наготове. Значит, земля прогрелась, пора пахать и сеять. Через день-другой приступят. А перед пахотой полагается провести сабантуй. Вот и скачут подростки по домам, по селам, собирают крупу по ларям и сусекам, оставшуюся от семян. Потом с добычей скачут в степь, высыпят крупу в котел, сварят кашу, чтобы хватило на все окрестные деревни. И начнется потеха — борьба, скачки, разные конные игры. И еще затевают кокпар. Это их самая любимая забава. Раньше для

кокпара использовали волчью тушу. Соберутся всадники в круг и начинают друг у друга отнимать, вырывать тушу матерого волка. Кто выхватит да ускачет из круга, доставит тушу до намеченной межи, тот и победитель. Ему честь и слава. Теперь же для кокпара используют и овечью или козлиную тушку. А вон, ваше превосходительство, видите молодку с коромыслом? С речки идет. Ее окружили добрые молодцы, требуют, чтобы она им дала вышитый платок. Попробуй только откажи. Могут и плетьми огреть. Посмотрите, посмотрите... Вот молодуха достала из-за пазухи платочек. Видите, белеет?.. А сунула его вон тому, самому отчаянному и нетерпеливому, на игреневом скакуне. Эх! Понесся, поскакал во весь дух, ошалев от радости. Остальные пустились в погоню. Отними-ка платок, если смелый... Такая вот игра. А жители аула все высыпали из домов, смотрят, дивятся, радуются и переживают. Даже сама молодка опустила ведра, сняла с плеч коромысло, загляделась, аж рот до ушей. Простодушный, веселый народец, точно дети!

Должно быть, прав Петр Дьяков: в самом деле, склонный к веселью народ. С самого утра сегодня и стар, и млад носятся как угорелые...

Кирилов задумался: он был о башкирах совсем другого мнения. Полагал, что они скрытные, необщительные, недоверчивые. Может, хмурый молчун старик, что дворником у него, тому причиной?..

Усмешка покривила губы Кирилова. Перед глазами его предстала привычная картина, которую он в последнее время наблюдал изо дня в день...

Каждое утро настежь распахиваются огромные, из сосновых плах, ворота с фигурными наличниками, и из двора выскакивает одномастная тройка, запряженная в легкую санную кибитку. Медлительный, сосредоточенный, вечно хмурый старик башкирец, даже не удостоив вниманием статную тройку лошадей, из ноздрей которых вырывается упругий пар, и кибитку на скрипучих полозьях, и самих пассажиров, укутанных в толстые шубы с поднятыми воротниками, снова — все так же неторопливо, как бы нехотя — закрывает ворота.

Каждый раз — при выходе или входе в этот особняк — Кирилов непременно бросает пытливый взгляд на старика. Когда-то он ходил в дворниках у воеводы. Старик был необычайно тощ и долговяз. О таких в народе говорят: о скулы его можно наточить нож. Усы его, прикрывая запав-

шие щеки, по краям топорщились и всегда подрагивали, точно уши у кота, подстерегающего у норки мышь. И острая бороденка росла клочками, чем-то напоминая хвост задиристого петуха. Серые, глубоко запрятанные глаза никогда не смотрели прямо. Большой, с горбинкой, точно клюв, хищный нос мощно нависал над тонкими губами под вызывающе щетинистыми усами. Под скулами виднелись, выступая, мелкие красные прожилки, и оттого старик казался краснощеким. Вообще во всем его облике было что-то затаенно-ершистое, задиристое, однако поведение старика ничуть не соответствовало его внешнему облику. Он был необыкновенно покладист, незаметен и тих, даже кроток. За пять-шесть месяцев Кирилов ни разу не заметил, чтобы старик кому-то перечил, с кем-то ссорился или буянил. Да какое там! Он даже ни разу не видел его говорящим, беседующим с кем-нибудь. Целыми днями старик копошился в ограде, топтался по двору, не расставался почти с такой же длинной, как он сам, метлой, грузил на сани дубовые бочки и бадьи и возил с реки воду, или, покрякивая, колуном и топором ловко раскалывал на дрова кряжистые, промерзлые чурбаки.

А хлопот у старика было действительно предостаточно. Сколько за день приезжало кибиток, запряженных в пары и тройки с колокольчиками-бубенцами! Все важные персоны. У всех спешные дела. Одеты в дорогие меха. И мехами укрыты. А то еще и медвежьей полостью запахнуты. С такими господами шутки плохи. И путь у них неблизкий. Одни — аж из далекого Екатеринбурга. Владельцы горных заводов и рудников. Другие — из Казани и Вологды, Мензелинска и Самары, считай, представители военных гарнизонов. Третьи — атаманы яицких казаков и их нарочные. Попробуй тут не быть расторопным или недостаточно усердным и учтивым. Тут уж не мешкай. Успевай вовремя открывать и закрывать ворота, стоять по струнке, не то и по роже схлопочешь. Но и при этом долговязый старик башкирец не спешит, не суетится. И когда на всем скаку приближается к особняку разгоряченная тройка, ворота, словно по мановению волшебника, точно к сроку широко распахиваются настежь: «Добро пожаловать, господа хорошие!»

Но Кирилову будто мало было русского начальства на Волге и на Урале — к нему со всех сторон стекались еще и башкирские родоправители. Одни прибывали из степей, где гуляет-свищет вольный ветер,— в поярковых шапках, в мерлушковых тулупах; другие — из глухих, непроходимых

лесов, в соболях и бобрах. И таким полным спеси бекамбиям угодить, пожалуй, посложнее, чем родовитым вельможам из русских. Но молчаливый старик башкир и перед ними ничуть не робел. Все, что положено было ему делать, делал безукоризненно. Встречал учтиво, под уздцы заводил лошадей во двор, помогал спешиться, а, провожая, так же чинно подводил коня и подсаживал гостя в седло.

Хмурый старик никогда не спешил, но все успевал делать. И его, вечно озабоченного, сумрачного, ни в чем нельзя было упрекнуть.

У Кирилова, прибывшего в Уфу, было сложившееся мнение и представление о башкирах. Первым поколебал их старый дворник-молчун. По описаниям русских землепроходцев получалось, что башкиры — праздный народ, совершенно не приспособленный к труду, единственная способность которого проявляется в том, чтобы до багровости лица дуть хмельной кумыс и слоняться по аулам. Но более исполнительного и трудолюбивого дворника, чем этот старый башкирец, было не сыскать. И еще говорили, что башкиры дерзки и вздорны. Чуть что не по нему — затеет свару. Однако, глядя опять-таки на этого старика, можно думать, что более покладистого и робкого народа и нет на свете.

И постоянно наблюдая за старым дворником, Кирилов понемногу уверовал в то, что все башкиры холодно-замкнуты и неприступны. И в этом предположении его еще более укрепили те башкирские правители, которые и приходили к нему и уходили от него со спесивым выражением на лицах. Однако сборщики, выезжавшие в башкирские деревни, в один голос утверждали, что местные жители очень добродушны и приветливы, что на все просьбы откликаются живо и сердечно. А Сергей Костюков и вовсе часами может о них рассказывать с восторгом. Видно, его восторг передался уже и Петру Ивановичу Дьякову. Вон сидит и глядит во все глаза, аж рот разинул, точно мальчишка. Того и гляди из кареты невзначай вывалится.

— Ваше превосходительство!..

Кирилов искоса взглянул на секретаря-помощника. Эх, молодо-зелено! Чего ты хочешь: двадцать два годика всего-то парню. Все ему в диковинку. Все его волнует.

А вокруг в самом деле простиралась краса неописуемая. Поблескивая под солнцем, причудливо извиваясь, катила воды Ак-Едиль. Противоположный берег был крут, обрывист. Вдоль него тянулись березовые и сосновые леса. Другой берег, наоборот, был пологим, совершенно голым и

открытым. Волны Ак-Едиль выплескивались далеко, и порой чудилось, что река, выйдя из берегов, захлестнет всю степь. Колки, темневшие у горизонта восточной части, все более редели, открывая неоглядное равнинное пространство. Вдали виднелись поляны, покрытые белыми тюльпанами. Казалось, там резвились стайки белых бабочек. На лугах — здесь и там — мирно паслись табуны лошадей. Всадники, словно издали сопровождавшие войско по обоим флангам, тоже никак не могли угомониться, продолжали скакать наперегонки. Неподалеку, в открытой местности, торчал длинный шест. На вершине его трепыхались разноцветные лоскутки. Возле него толпились люди. Рядом, сбившись в круг, стояли заседланные кони. Туда же со всех сторон стекались верховые.

— Видите, ваше превосходительство, тот шест? Его украсили лоскутами, чтобы видно было издалека. На том месте и состоится сабантуй. Далее — сплошная равнина. Там пройдут скачки,— пояснил Петр Дьяков.

Кирилов видел: несколько человек вышло из толпы возле шеста, село на лошадей и быстрым скоком примчалось к дозорным впереди войска. Размахивая короткими плетьми, всадники что-то горячо говорили, показывая то на кареты посередине войска, то в сторону шеста. Наконец в сопровождении трех казаков подъехали к карете начальника экспедиции.

— Ваше превосходительство,— загундосил казачий есаул.— У этих чечмеков, оказывается, большой праздник. То ли сабантуй, то ли кабантуй — дьявол их разберет. Представьте себе: все войско приглашают на пир. Иначе, говорят, мы вас задержим. Я им говорю: дурачье, разве можно приглашать в гости целое войско, вам же самим ни крошки не достанется! А они настаивают на своем. Отведи, шумят, к своему начальнику, пусть, дескать, поздравит нас с праздником и даст шашу, подарок, значит. Не то, говорят, растянем на вашем пути пеструю веревку. Кто переступит ее, тому удачи не видать.

Два гладколицых башкира усердно закивали головами, как бы подтверждая слова бородатого казака, и при этом щурили глаза и улыбались.

Кирилов пристально посмотрел на одного, на другого башкира и сказал:

— Поздравляю вас с праздником. Желаю удачи. И да будет урожайным год! Пусть всего уродится вдоволь!

Башкиры выслушали благопожелания русского началь-

ника, переглянулись между собой, потом благодарно поклонились, прижимая правую руку, в которой держали плеть, к груди.

— Есаул!— приказал Кирилов.— Отведи их к обозу и распорядись подарить им к празднику пару ящиков кренделей.

Есаул и башкиры тотчас круто завернули лошадей и поскакали прочь. Петр Дьяков, радостно посмеиваясь, посмотрел им вслед.

Кирилов про себя подумал: «Видно, прав мой секретарь. Эти инородцы и впрямь простодушны, как дети. Чудно́! Это надо же додуматься — пригласить на торжество тысячное войско!..»

Ну, впрочем, это, вероятно, и к лучшему. Пусть будут простодушны и доверчивы. Гостеприимны — значит, общительны. А простодушны — значит, покладисты, покорны, и легче ими управлять. Все остальное со временем само собой образуется. Великой России нужны не только новые, богатые владения, но и послушные, дешевые работники. А если туземцам дать небольшое русское образование и воспитание, из них, судя по всему, выйдет кое-какой толк. Разве молчаливый старик дворник тому не свидетельство? Надо только поскорее — пока царит тишь да благодать — расселиться по всей степи, прибрать к рукам огромные просторы. Тогда этот неразумный народец, не имеющий ни ремесла, ни образования, легче поддастся управлению и вскоре будет безропотно делать то, что ему прикажут.

От этой мысли уставшему за последние дни Кирилову стало приятно и покойно на душе, и он погрузился в дрему. Но вскоре снова очнулся от чьих-то возбужденных голосов. Оказалось, что к восточному флангу опять подъехало полсотни башкир и, размахивая плетками, о чем-то громко колготало. Кирилов досадливо поморщился. Ну, теперь эти чечмеки, обнаглев, будут всю дорогу путаться под ногами и клянчить подарки. Видно, и эти решили пригласить на сабантуй. Пусть только сунутся! Он им прямо скажет, что выпрашивать милостыню — унизительно, позорно для всякого народа, что не надо забывать и о достоинстве и приличии и что если они и впредь намерены мешать продвижению войска, то он, Кирилов, вынужден будет их строго наказать.

По приказу Кирилова адъютант, ехавший верхом рядом с каретой, флажком подал знак дозорным: «Приведите башкир сюда!»

И на этот раз из группы всадников выехали двое и в сопровождении того же казачьего есаула подскакали к начальнику экспедиции. Двое башкир — пожилые, с окладистой черной бородой, круглолицые — осадили коней в нескольких шагах от кареты, почтительно приложили руки к груди. Они не улыбались, как те безбородые юнцы, были строги и хмуры и сдержанно-холодно взглянули на есаула, требуя, чтобы он передал начальнику их просьбу. Есаул был заметно смущен, отчего гундосил еще сильнее:

— Ваше превосходительство, они пожаловали не с добрым намерением. Они требуют, чтобы мы убирались отсюда. Говорят: знаем ваши помыслы, вы хотите здесь построить еще один город и выжить нас из родной земли. Этого не будет. Убирайтесь, откуда пришли. Все равно превратим ваш город в пепел и прах. А если исполните наше требование, останемся верными подданными русской царицы.

Едва есаул закончил речь, оба чернобородых башкира молча кивнули, дескать, все верно, ждем ответа.

Для Кирилова это было совершенно неожиданно. Он быстро повернулся к своему секретарю. Петр Дьяков, точно не веря своим ушам и глазам, недоуменно уставился на башкир. Есаул беспокойно заерзал в седле. Лица башкир оставались непроницаемыми.

Кирилов с трудом овладел собой:

— Мы прибыли сюда по приказу и высокой воле ее императорского величества. Башкиры являются подданными великой Российской империи. А подданные обязаны беспрекословно подчиняться указам благодетельницы-государыни. Следовательно, ваши требования возмутительны и незаконны. За дерзость и непослушание вы заслуживаете серьезного наказания. Однако на первый раз я вас прощаю. Но если подобное повторится впредь — пощады не будет. Я приказываю все мои слова точь-в-точь передать тем, кто осмелился прислать вас сюда.

От гнева и ярости голос Кирилова задрожал. Оба башкира, не проронив ни слова, повернули коней назад.

Дьяков растерянно глядел им вслед. Кирилов со злорадной ухмылкой смерил взглядом своего помощника: «Вот тебе и сабантуй!»

Вскоре исчезли, точно провалились сквозь землю, и те всадники по обоим флангам, которые всю дорогу неслись наперегонки. Погас огонь под котлами возле длинных шестов, украшенных разноцветными лоскутами. Верховые башкиры, сбившись в тесные кучки, молча глядели на подви-

гавшееся в степь войско с вершин ближних и далеких холмов. Они стояли там и после полудня. И их становилось все больше и больше. И лица их все более суровели, а в глубине зрачков вспыхивали недобрые огоньки.

Торжественное шествие, начавшееся утром так бодро и безмятежно, к вечеру явно приуныло и пригорюнилось. Солдаты и казаки все тревожнее косились по сторонам и жались друг к другу, словно на них были нацелены стрелы.

Широкий лоб Кирилова глубоко изрезала продольная складка. Радостный с утра блеск в глазах потух. Зрачки точно покрылись ледяной коркой. Временами он вздрагивал, зябко ежился, будто по спине пробегали холодные мурашки.

Через несколько перевалов почудилось вдруг, что опасность грозила не с флангов, а сзади, будто затаившие злобу башкиры молча преследовали теперь их по пятам. Солдаты помимо воли без конца оглядывались, и ощущение страха неотвратимо росло и росло. Голубые холмы и бугры позади, казалось, недобро глядели вслед, становились все сумрачнее, напоминая опухоль под глазами обуянного гневом человека. Чудилось, будто и за плоскими, пологими косогорами кто-то затаился. И караульные вышки впереди будто таили неизбежную опасность. Мерзкий страх закрался в душу, сковал волю.

Огромная экспедиция продвигалась молча и будто на ощупь. Она уже не казалась столь могущественной, как утром. И травы были уже не так густы и сочны, и все окрестности поблекли, лишились первозданной красы, и мелкая пыль все плотнее окутывала войско, делая его невзрачным. Уже не поблескивали воинственно шашки на боку казаков, а просто неприглядно болтались на поясах. Жалобно скрипели арбы. Даже пушки потерянно покачивались, колыхались на ухабах и в рытвинах и в беспредельной степи смахивали скорее на старый рыдван сбившегося с пути старьевщика.

В первый день пути экспедиция упорно одолевала перевал за перевалом, углублялась во все более пустынную степь, словно стремясь как можно дальше уйти от тех преследовавших ее недобрых взглядов, и ни разу не остановилась на привал, пока не зашло солнце. На привале обошлись без торжественных церемоний. Не стали ставить ни юрт, ни шатров. Только развьючили верблюдов, расседлали лошадей и отпустили на выпас под присмотром усиленной охраны. Усталые, измученные дорогой солдаты и казаки, не

раздеваясь, повалились прямо на землю возле пушек и телег. Однако сон не шел. Никто не мог уснуть толком. Глядели в безмолвное небо, словно считали звезды. От любого звука или шороха испуганно вздрагивали, озирались по сторонам. И, не заметив ничего, снова вглядывались в таинственный небосвод. И на следующий день все обошлось благополучно. Никакая опасность ниоткуда не грозила. Однако не стали продвигаться до глубоких сумерек, а расположились на привал еще засветло.

По тому же порядку, как и под Уфой, поставили походные юрты и шатры, скотину отпустили на выпас. И хотя тоже спали настороженно, чутко, ночь прошла тихо, без каких-либо происшествий. И скот, и люди в экспедиции приободрились. Понемногу рассеялся страх. Почти исчезли березовые колки. Бурые холмы и бугры остались далеко позади. Степь становилась все ровнее, шире. Усатые казаки и солдаты, с самой Уфы шедшие молчком, словно проглотили языки, встрепенулись и завели дружную, во всю мощь глоток, песню, от которой, казалось, вздрогнула степь. На этот раз для привала избрали уютное, тихое озерцо величиной с площадь для конных скачек. Напоили скот, поразмялись, порезвились, с бреднями прошлись по озеру.

В широкой, раздольной степи всем показалось, что опасность окончательно миновала. Да и откуда ей быть, когда вокруг — куда ни посмотри — ни одной живой души? Солдаты все увереннее всматривались в горизонт. Некоторые уже начали прикидывать, сколько еще примерно осталось пути. Редкая птица пролетала в небе, редкий зверек шмыгал в траве. Но по-прежнему выезжали вперед дозорные и выставлялась надежная охрана. Особенно казаки не спускали глаз с коней. Бдительно стерегли их ночью. Стоило мелькнуть под луной какой-нибудь тени, как тотчас выхватывали из ножен шашки. А утром, на рассвете, выяснялось, что то было или валуном, торчавшим из земли, или кустом тамариска. Раздосадованные дозорные, ругаясь по-черному, гнали лошадей обратно в стан.

Но вскоре кончились и лунные ночи, в которые золотисто-матовый, точно только что вытопленное сливочное масло, свет щедро заливал всю степь, придавая ей таинственность и причудливую красу. Сразу же с заходом солнца обрушивалась на степь непроглядная ночь, черная и косматая, как подгрудная шерсть верблюда-самца, и окрестности сужались до размера каменистой ниши в могиле. В темноте невозможно было различить табуны лошадей на выпасе, и

пастухи и дозорные ночь напролет кричали до хрипоты, устраивая перекличку. И это, как выяснилось, было серьезным промахом...

Однажды, когда изнуренные дневным походом, расляженные и расседланные лошади при ночной прохладе разбредались по пастбищу, с наслаждением и жадностью хрустя густо разросшейся молодой и сочной овсяницей и прибрежницей, впереди, в непроглядной тьме, одновременно в разных местах ярко вспыхнули огоньки. Вспыхнули и, рассыпаясь искрами, тотчас погасли. Лошади на мгновение подняли морды, застригли ушами и в ужасе отпрянули, повернулись, будто перед ними разверзлась земля, и сплошняком поскакали назад. Степь вздрогнула. Казалось, в ночной степи в единый миг образовалась гора и тотчас рухнула. Гул прокатился по всем окрестностям.

Казаки с перепугу припали к ружьям и принялись беспорядочно палить. Табуны и вовсе обезумели. Лошади, разом забыв про безмятежный выпас, про медовую прибрежницу, захрипели, заржали и, сталкиваясь, сшибаясь, понеслись наметом в сторону погруженного в глубокий сон лагеря.

Совершенно не соображая, что стряслось, откуда обрушилась нежданная напасть, сонные солдаты выскочили из юрт и шатров в одном исподнем, забегали, заметались из края в край. А табун, разрывая в клочья ночную мглу, ураганом понесся по лагерю, круша и сметая все на своем пути. Грохот, треск, стон, крики, свист, пальба, ругань. Только что тихий, безмятежный лагерь превратился в ад. Опрокидывались, словно игрушечные, юрты. Рушились шатры. Наткнувшись на неожиданную преграду, кони и вовсе ошалели. Падали на всем скаку. Перепрыгивали через телеги. Брыкались, попав в скопище людей. В отчаянии солдаты продолжали беспорядочно стрелять, усугубляя переполох и панику. С табуном не было никакого сладу. Опрокинув лагерь, диким наметом понесся в неведомую даль. И неизвестно, сколько бы продолжались эти безумные скачки, если бы впереди не сверкнули вновь зловещие огоньки. Табун шарахнулся вспять. Задние ряды на всем скаку наталкивались на передние. В неслыханной толчее было затоптано немало лошадей. Теперь табун, вконец обезумев, все той же сплошной массой вновь пронесся по растерзанному лагерю, довершая разрушение. Казалось, над ним прокатился смерч. Не только четвероногие твари, но и дву-

ногие грешники так и не поняли, что же такое произошло в эту страшную ночь.

На рассвете открылось жуткое зрелище. Перевернутые телеги, разбросанные тюки. В клочья изорванные шатры. Перебитые остовы юрт, сломанные решетки. Здесь и там бугрившиеся туши лошадей. И среди солдат были убитые и раненые.

Откуда нагрянула лихая беда, в чьем и в каком обличье,— неизвестно. Пересчитали лошадей вместе с убитыми — число сходилось, чужих не было. Так что же такое могло напугать табун? Что за безумие охватило их?!

Начальник Оренбургской экспедиции в сопровождении Тевкелева и Дьякова, а также башкиров-проводников объехал ближайшие окрестности. На том месте, где накануне пасся табун, наткнулись на старое, заброшенное кладбище. И на другой стороне лагеря, неподалеку, обнаружили надмогильные памятники — серые камни-стояки, осевшие в землю и обросшие ржавым мхом. Белобородые старики заметили: «Известно, что на старых могилах ночью вспыхивают огоньки. Может, они и напугали лошадей?» Кирилов недоверчиво посмотрел на казахов из посольства, как бы спрашивая: «Так или не так?» Те во главе с султаном Ниязом и прибывшим к ним навстречу в Уфу Мырзатаем неопределенно пожали плечами.

Понеся неожиданные и чувствительные потери, погрузив раненых на телеги и оставив в степи все, что было перебито и переломано, экспедиция двинулась снова в путь. Кирилов, оглядываясь на место злополучного привала, удрученно покачивал головой. Был он хмур. Глубокая бороздка на челе так и не разгладилась. По его распоряжению шли весь день, без остановки, до самого заката. Для выбора места стоянки были высланы вперед дозорные. Те внимательно смотрели, чтобы поблизости не было ни кладбищ, ни старых могильников. Была усилена охрана. Спали солдаты поочередно. По краям лагеря выставили пушки, заряженные ядрами. Ночь прошла в тревоге, но благополучно. Думали: нечистая сила отступила, сгинула.

Но в одну из темных ночей все повторилось. Снова точно с неба обрушился грохот. Вскочили солдаты, прислушались: содрогая землю, лавиной мчался на стан табун. Жуткое ржание коней вспарывало аспидно-черную тьму. Чтобы отпугнуть обезумевший табун, выстрелили несколько раз в воздух, но тщетно. Казалось, никакая сила не в состоянии остановить эту страшную лавину. Еще несколько мгно-

вений — и она, как и в тот раз, грозила смести весь лагерь. Кирилов в отчаянии крикнул пушкарям:

— Пли!

Пять пушек, грохнув почти одновременно, взорвали глухую ночь. На мгновение все точно оглохли. Все, казалось, провалилось в тишь. Но тут же явственно донеслись храп, хрип, ржание коней и дробный, сливавшийся в сплошной гул цокот копыт. Черная лавина, горным селевым потоком накатывавшаяся на лагерь, тотчас отхлынула, откатилась назад, все стремительнее удаляясь. Умчавшихся в степь лошадей казаки, собрав в табун, пригнали назад. На месте, где ночью упали ядра, громоздились туши мертвых лошадей. Кирилов подосадовал на себя: «Надо было заряжать пушки одним порохом...»

Поголовье лошадей в экспедиции с каждым днем, вернее, с каждой ночью катастрофически таяло. Обоз отяжелел и шел все медленнее. Многим пришлось плестись пешком. Какие бы меры предосторожности не предпринимали, все тщетно: черная напасть преследовала табун по пятам.

Люди устали от постоянных тревог. Все были подавлены и раздражены. Особенно мрачен был юный ханзада. До самой Уфы он ни разу не был столь угрюмым. Наоборот, он испытывал радость от приближения встречи с родным краем. А под Уфой его ожидало и вовсе приятное событие. Однажды ханзада глазам своим не поверил, встретив на пути живописную группу всадников. Все были, как на подбор, в пышных лисьих треухах-тымаках. На всех одинаково толстые бараньи шубы, выкрашенные хной. У всех в руках короткие толстые плети-доиры, сплетенные из сыромятных ремешков. И все внимательно глядели в сторону Казанской дороги, по которой стремительно катились сотни саней. Когда несколько кибиток круто остановились возле всадников, их, казалось, охватила оторопь. Наконец казахи недоверчиво приблизились к одной из кибиток. Верзила в красной шубе, крепче стиснув в одной руке увесистый доир, другой рукой притенив глаза, защищаясь от слепящего снега, подошел к повозке, нетерпеливо высматривая кого-то.

— Дядя!— раздался восторженно-изумленный возглас.

Чернолицый верзила, не поняв, откуда донесся столь знакомый и родной голос, неуклюже заворочался, переминаясь с ноги на ногу.

Ханзада рывком распахнул дверцу кибитки, вприпрыжку, словно спасаясь от жгучего мороза, пронзившего все

его щуплое тельце, кинулся к детине в красной шубе, под сапожищами которого скрипел, взвизгивая, снег, и прильнул к нему, припал к груди, исчез в его огромных объятиях. Знакомые запахи ударили в ноздри ханзады, всколыхнули душу — запахи пота, дубленой кожи, степного ветра, хны, дымного очага. Голова сладко закружилась, в глазах все поплыло. Охрана, приставленная к ханзаде, не позволила ему поздороваться с другими верховыми в лисьих треухах, поспешно затолкнула дядю с племянником обратно в теплую кибитку.

Дядя Мырзатай, кое-как втиснувшись в тесную для него кибитку, пристально оглядел племянника с головы до ног. В больших, воспалившихся на ветру и морозе глазах вспыхнули лукавые искорки. Дядя не скрывал своей радости. Широкой, как лопата, ладонью энергично провел разок-другой по повлажневшему лицу, обтер руку о штанину, придвинулся плотнее к племяннику.

— Ну, бала, как съездил? Уж не окрутила ли тебя царицына дочка? А то мы там, в ауле, не на шутку встревожились: а вдруг оженили джигита и превратился он в приблудного зятька, а?! Три года как уехал, будто в воду канул. Встревожишься тут! Ну, слава аллаху, свиделись! И до этого дня дожили!

И словно не веря своим глазам, опять в упор выставился на смущенного и взволнованного встречей племянника.

— Слушай, а что у тебя на губе? Сажей вымазался, что ли? Уах! Да у тебя, видно, усики пробиваются! Должно быть, в материнскую родню пошел. У нас в роду все волосатые. А у отцовской родни подбородки гладкие, как облезлая шкурка.

Похохатывая и балагуря, Мырзатай приобнял ханзаду, пощупал как бы невзначай ребра.

— А отощал-то как! Впроголодь, что ли, живешь?

— Не-ет...

— И дух от тебя идет незнакомый. Должно быть, свинину ешь?

— Что вы?! Аллах упаси!

Дядя, казалось, не верил. Бурно задышал, раздувая широкие ноздри. Лукавые искорки в глазах разгорелись ярче.

— Нет, что ни говори, а запахи от тебя исходят не нашенские. Как в лавке бакалейщика. Может, душистым мылом моешься? Или от русской одежды такой дух? Не узнать тебя!

Юный ханзада от души рассмеялся над словами бесцеремонного дяди-степняка.

— Ну а гостинцев много везешь?

Ханзада весело кивнул.

— Что же мне подаришь?

— Приедем — покажу.

— Ладно. Я, конечно, не надеюсь на подарки, какие везешь отцу и матери. Но если подарок для меня окажется дешевле, чем тот, который для Нуралы, тогда смотри... пеняй на себя. Я ведь тоже на базары выезжаю. И в отместку могу и обделить гостинцами. Нынче осенью собираюсь в Хиву торговать лошадьми. Могу заехать к сватам и шепнуть им, что ты, мол, берешь в жены царицыну дочь. Мигом твою невесту против тебя настрою. Понял?

Ханзада еще пуще развеселился.

И с того дня радость не угасала на его лице. Среди той большой группы всадников, которая встретила его на Казанской дороге, находились и его двоюродный брат султан Клыч-Мухамбет и хаджи Мухамбет. В сопровождении нескольких биев они направлялись в Петербург на прием к царице. Остальные примкнули к Оренбургской экспедиции.

Разговорам не было конца. Ханзада все расспрашивал и расспрашивал обо всем, что произошло в родных местах за три года его отсутствия. И дядя Мырзатай с удовольствием рассказывал. Слушая его, султан Нияз светлел лицом, приходил в возбуждение и азартно хлопал себя по коленям:

— Э, то-то же! Вот так и должно было быть!

И не зря ликовал султан Нияз. Повод для этого имелся достаточный. Оказалось, после того, как казахское посольство отправилось в далекий путь в Петербург, хан Самеке так же спешно заслал своих послов в Уфу. Но русские правители без обиняков напомнили ему злодеяния, учиненные против посольства Мамбета-мурзы в казахской степи, и отправили доверенных людей Самеке назад, не удостоив их тем самым чести быть принятыми ее императорским величеством. Конечно, это было на руку хану Абулхаиру. Вес его среди казахов сразу возрос. Не говоря уже о других, сам контайджи без конца отправлял к нему нарочных, прося перемирия. Да и всех жен и наложниц из ханского окружения отпустил из джунгарской неволи домой; и не просто отпустил, а доставил с почестями и подарками. Галдан-Церен передал правление подвластным ему Большим жузом младшему брату Абулхаира хану Джульбарсу и бию Туле из рода уйсунь, а сам отправился воевать с

китайцами. Словом, между казахами и джунгарами ныне не происходит никаких стычек. Воспользовавшись этим, иные пронырливые султаны из династии Жадика то и дело совершают вылазки в Туркестан.

— И твоего будущего тестя миновало лихо,— осклабился Мырзатай, глядя на племянника.— Влиятельные хивинские инаки, ханские придворные, значит, попытались сместить с трона Джульбарса. Только ничего из этой затеи не получилось, так как сами, как псы, перегрызлись между собой.

Не осталось новостей, о которых не поведал бы словоохотливый Мырзатай за долгий путь из Уфы.

Каждый такой рассказ глубоко западал в чуткую душу юного ханзады, будил воспоминания и усугублял тоску по родному краю. Взбираясь на очередной перевал, он каждый раз приподнимался, вглядывался вдаль, стремясь увидеть родной аул. Но не увидев знакомых окрестностей, вновь обессиленно опускался на сидение, свешивал голову на грудь. Глаза тотчас наполнялись грустью. Нетерпенье охватило ханзаду. Все уже ему наскучило. И вдобавок угнетали еще эти тревожные ночные происшествия... Столько лет томился он на чужбине, а теперь, когда уже, считай, до родных мест, где он, наконец, обнимет мать, отца, многочисленных родных и близких, осталось почти рукой подать, подстерегла их еще одна нежданная напасть, и самому всевышнему неведомо, чем все это кончится. Горькие думы доводили юношу до отчаяния, и он ночи напролет проводил без сна. Но и днем он не мог избавиться от дурных предчувствий. Уж кого-кого, а наймитов-татар и калмыков в экспедиции было достаточно. Немало было и проводников-башкир. Неугомонный Мырзатай приглашал их в повозку ханзады, затевал с ними бесконечные беседы, расспрашивал обо всем на свете. И они охотно рассказывали, ловко сочиняя всякие небылицы.

— Слушайте, братцы,— настаивал Мырзатай.— Объясните толком, что это творится с табуном?

— Должно быть, происки несыти...

— Несыть? Это что еще такое?

Словоохотливые башкиры, видя искреннее удивление верзилы-казаха, однако, не спешили с ответом, загадочно помалкивали, щурили глаза, принимали непроницаемый вид, медлили, точно скряга-купец, которому неохота возвращать старый должок. Поговорить, однако, в долгом пути все же хотелось, да и не приличествует важничать перед

юным наследным принцем, и они начинали плести такие были-небылицы про всякую нечисть, от которых знобило тело.

«Про несыть спрашиваешь?.. Так вот, слушай... Когда умирает обыкновенный смертный, который жил скромно и почитал аллаха, его душа в самое последнее мгновение покидает бренное тело. А тот, кто при жизни творил разные пакости в угоду верховному дьяволу Иблису, в час смерти оборачивается несытью. Башкиры считают несыть оборотнем. Несыть можно разглядеть еще при жизни. Тот, кто ненасытен, обжорлив, кто время от времени ест сырое мясо и пьет кровь, это и есть, считай, несыть. Он иначе не может. Иначе он сразу лишится силы и зачахнет. Увидишь человека, едящего сырое мясо, заставь его тотчас поднять руку. И если под мышками у него сквозная дыра, так и знай — оборотень, несыть. Э-э... чего только не бывает на свете! Рассказывают, в старину один джигит взял себе в жены небывалую красотку. В первую же ночь она обратилась к нему с мольбой: «Об одном прошу тебя: если хочешь, чтобы я не погибла, никогда не смотри мне под мышки». Джигит дал слово. И когда жена-красотка раздевалась или одевалась, каждый раз отворачивался. Ну, вот... выехал он как-то на охоту, но едва выбрался за аул, захромала под ним лошадь. Делать нечего, вернулся домой. Откинул, значит, полог, заглянул в юрту, а там... Представьте себе: сидит на почетном месте, на ковре и подушках совершенно лысый дьявол и милует-ласкает на коленях молодку-красотку. Джигит в ярости кинулся к жене, заломил ей руки назад и обомлел: под мышками ее зияла дыра! Он сунул в дыру руку, вырвал черное сердце, и жена тотчас испустила дух. Вот тебе и красотка! Колдуньей оказалась. Несытью...»

«Апыр-ай, а!»— изумлялся простодушный Мырзатай.

«Слушай дальше... Когда подобные колдуны умирают, им в пятки загоняют иголку. Это для того, чтобы не вырвался из тела дух оборотня, чтобы несыть не вырвался на волю. Случается, таких закопают в могилу, а там невзначай иголка выпадет из пятки. Значит, несыть и из могилы вырвется. Поэтому таких выкапывают из могилы и в прах вгоняют железный кол. Тогда уж несыти деваться некуда. Считай, конец. Вот если бы тогда, в ту ночь, когда лагерь остановился неподалеку от старого кладбища, мы бы вскрыли одну могилу и проткнули бы останки железным колом, могли бы наверняка избавиться от всякой напасти...»

«Ну и ну! А увидеть несыть можно?»

«Конечно!.. Запросто... Если увидишь днем, при свете, какого-нибудь плюгавенького старикашку по пояс, без нижней части тела, так и знай — несыть! Вечером он превращается в летучую мышь. А темной ночью мельтешит там и тут блуждающим огоньком. Мается, мечется по степи, присосется ко всему живому, кровь пьет, всякие хвори-недуги распространяет...»

«Выходит, это несыть преследует наших лошадей? В лагерь пролезть, видно, боится. Пушки, ружья, порох и пули — страшно ведь. Вот и нападает на лошадей на выпасе...»

«Вполне может быть... А может, совсем не несыть, а обыкновенные чий-хоботы...»

«Чий-хоботы?!»

«Да, есть и такая нечисть. С длинными, как песчаный тростник, носами. Вот и прозвали их чий-хоботами. Они ведь очень бойкие, резвые. Страсть как любят скакать ночами на лошадях. А здесь, в безлюдной, пустынной степи, должно быть, надоело, осточертело им плестись-тащиться пешими. Ни аулов вокруг, ни скота, и караваны не проходят. И вдруг — на тебе!— целый табун пасется. Вот и решили всласть поскакать на резвых лошадях под покровом ночи. Чий-хоботы, сказывают старики, по своему обличью похожи на людей. Только глаз у них один во лбу. И еще, говорят, отменные провидцы. Если поймать чий-хобота и заставить его погадать, он тебе точно предскажет судьбу всех твоих потомков до седьмого колена».

Видя, что у верзилы-казаха округляются глаза, а юный ханзада аж разинул рот, башкиры все более распалялись и, выставив кадыки на тощих шеях, продолжали рассказывать с жаром, перебивая в нетерпении друг друга.

«Вообще, сказывают, нечисть нынче необычайно расплодилась. В лесах на каждом шагу тебя подстерегают разные лешие, шурали. В горах под каждым камнем, в каждом ущелье — ведьмы, джинны и пери. Одинокие путники исчезают бесследно. Был человек — и нет его. В иных аулах поголовно сгинули все мужчины. Отправились, говорят, на сбор кошмы, арканов, шкур и как сквозь землю провалились. Одно бабье и детвора стоном стонут в осиротевших аулах. Видно, настали дурные времена...»

«Да, да... Тяжко, не приведи аллах!.. А какая была нынче зима?! Буранило — жуть. Вой стоял — ошалеть, свихнуться можно. Такое бывает, когда ведьмы свадьбы играют. Если

уж они в самую стужу так куролесят, то можно себе представить, что они вытворяют летом!»

«Верно, верно... Страх, что делается в аулах, особенно вблизи озер и рек. Как только заходит солнце, налетает, говорят, косматая туча, опускается к воде, выхватывает из волн дракона-аждаху и куда-то уводит».

Казахи высоко вскидывали брови.

«Как уводит?.. По воздуху, что ли?.. Разве аждаха летает?»

«Сказал!.. Обыкновенную гремучую змею знаешь? Ну вот, когда она проживет сто лет, то превращается в аждаху и обитает где-нибудь в омуте, болоте, озере или реке. А еще через тысячу лет становится страшилищем-джухой, таится в воде и подстерегает зазевавшихся девиц и молодух. Но всемилостивейший создатель не допускает, чтобы змея жила тысячу лет. В облике косматой черной тучи хватает ее из воды и переносит далеко-далеко за Капские горы. И в том наше спасение. Иначе бы джуха на корню истребила бы башкир в горах Урала».

«Надо же, а! Столько дней в пути, а ни одной змеи так и не увидел. Значит, надо полагать, все, прожив сто лет, превратились в аждаху...»

«Ай, кто знает... Когда по степи прет такое войско, наверняка всякая змея в нору прячется. Шутка ли...»

«Вряд ли... При всякой суматохе нечисть ликует. Людям — горе, дьяволу — радость».

«Это уж так!.. Добрые духи на нас в обиде. Мимо скольких кладбищ проехали, сколько одиноких могил в пути встретили, а ни одной молитвы не сотворили, ни одного святого не помянули, словно нечестивцы какие...»

«Скажешь тоже! Неужто тебе хочется, чтобы начальник русского похода опустился на колени возле заброшенной могилы в степи, зарезал жертвенную скотину да сотворил мусульманскую молитву?! От такого кощунства все святые из могилы встанут!»

«Это еще куда бы ни шло! А ведь нынче под Уфой солдаты вместо дров сожгли все надмогильные шесты. Не побоялись аруахов. А сколько мечетей осквернили в поисках укромного местечка, чтобы справить нужду!»

«Но, видно, не все бесчинства сошли им с рук. И аруахи, должно быть, не дремали. Вот, сказывают, зимой сто пятьдесят солдат отправились в аул Шортали добывать мяса, а пятьдесят из них так и не вернулись. А дело было так. Согревшись в теплых домах и всласть наевшись мяса,

солдаты потребовали истопить им баню. Ну, истопили баньки, значит, во всех дворах. Жарко, хорошо, смолой пахнет, березовыми вениками. Мылись-парились солдаты долго-долго. За такое время можно было конину в казане сварить. Первая партия вышла благополучно, все живые-целехонькие остались. А те, что пошли париться следом, уже за полночь, так в бане и околели. Ни один не уцелел. То ли угорели, то ли в горячем пару обварились. А виноваты оказались сами. Хозяева их предупреждали: «За полночь в баню не ходите. В это время обычно моются невидимые духи. Того, кто парится вместе с ними, непременно постигнет беда». Но солдаты, говорят, не послушались».

«Да, да... И я слышал, аруахи сурово карают за кощунство. Похожий случай произошел и в горах Кырыкты. Там, на снегу, нашли двадцать застывших солдат с оголенными задами. И у всех из них, сказывают, торчали, трепыхаясь на ветру, разноцветные тряпицы. Вначале никто не мог понять, что за напасть такая. Потом сообразили. Оказывается, неподалеку от ущелья росли деревца. По поверью, здесь обитал горный дух. Задабривая его, девушки на выданье привязывали к веткам деревьев разноцветные лоскутки и серебряные монетки. Здесь же они проводили свои игрища, пели, плясали. А солдаты, возвращаясь из аулов, решили тут справить большую нужду. Сорвав с веток по одной тряпице, тут же, под деревьями, и присели. Ну, дальше все ясно. Здесь и нашли свою погибель».

Башкиры в ужасе покачивали головами. Казахи от удивления языками пощелкивали.

Ханзада поначалу слушал эти жуткие истории, словно причудливые сказки. Но постепенно в него вселился страх. А потом ужасные видения стали преследовать его во сне. Стоило ему только коснуться подушки и закрыть глаза, как мерещились зияющие чернотой пещеры. А у входа в пещеры сидели, греясь на солнце, полногрудые обнаженные светлолицые девы. Телом белые, пышные. Глазища — синие, бездонные. Раз взглянешь — глаз не оторвешь. А они, искусительницы-колдуньи, томно улыбаются, непристойно изгибаются, заманивают, пальчиком указывая в глубь пещеры. Он, не в силах устоять против соблазна, уступает им, направляется к пещере, хватает одну из дев, но она ловко спрыгивает с валуна, и он тут с ужасом видит, что дева одноногая и одноглазая. Холодея, он пытается дать деру, унести ноги поскорее да подальше, но не тут-то было. Одноногая дева одним прыжком настигает его и

взбирается ему на спину. А он все бежит, бежит из последних сил, кричит-надрывается: «Спасите! Спа-а-си-и-ите!» И тут, весь в поту, просыпается. Голова его запрокинута. Постель истерзана. Подушка, вся измятая, где-то под спиной. Одеяло у изголовья. Сердце сильно-сильно колотится, подкатившись к горлу. Шепча молитву, он переворачивается на бок и старается снова уснуть.

Отныне сон для него превратился в муку. Что только не мерещилось ему в плену наваждений! Как-то раз мальчишка с длинной челкой на лбу повел его собирать землянику. «Вон за той топью земляники навалом»,— уверял мальчишка. А он — это все во сне — засомневался: «Как же так? Разве на топи земляника растет?!» «Не бойся,— все твердил мальчишка с челкой.— Пойдем напрямик, через топь. Скорее дойдем». Ну и идут они, идут. А под ногами зыбко. С каждым шагом топь засасывает все глубже. Вот он погрузился по щиколотки. Вот уже — по колено. Еще через мгновение — по брюхо. И холод подкрадывается к ногам, обжигает пятки стужей. «Эй! Куда ты меня привел?!»— кричит он своему напарнику. А тот бежит себе вприпрыжку, улепетывает по трясине, будто заяц. Ханзада глянул на его следы и обомлел. Следы шли к нему, а не от него. Выходит, мальчишка шел пятками вперед, и, значит, то был оборотень, заманивший его в глубокую гиблую топь. Обливаясь потом, ханзада проснулся. Одеяло, оказалось, сползло с него.

Еще один сон преследовал его особенно часто. Пышнотелая баба с распущенными волосами — откуда ни возьмись — усаживалась на него верхом и совала ему попеременно в рот непомерно огромные груди, столь огромные, что она закидывала их за спину, точно косы. Даже сосцы были величиной с большой палец дяди Мырзатая. И во сне ханзада понимал, что это была ведьма-албасты, несчастная женщина, лишившаяся когда-то детей. С тех пор она, как неприкаянная, ходит по степи и ищет среди спящих людей своих малюток. Груди ее распухли от обилия молока, от тоски и боли, и немало людей задохнулось от них во сне во время кормления. Неужто и ему, ханзаде, уготована такая участь? Он начинает задыхаться, вырываться из-под распатланной грудастой женщины. Он просыпается, отшвыривая одеяло, натянутое на голову. Попробуй уснуть теперь, после такого...

Приуныл юный ханзада. Бесконечная однообразная

дорога усугубляла тоску. А дни становились все длиннее, солнце припекало все заметнее. Далеко в степи зыбились причудливые миражи. В долинах вдруг возникали безбрежные голубые озера, которые сливались с таким же безбрежным небом. Исчез душистый, настоянный на весенних травах запах. Пахло сильно разогретой пылью, паленой кошмой и острым конским и верблюжьим потом.

Нескончаемые думы о родном ауле изнурили, извели юношу. Истомился он за три года разлуки с отцом-матерью. Сон и явь — все смешалось. Беспорядочные, затейливые видения преследовали его неотступно. Стряхивая нудную дрему, он приоткрывал глаза и видел беспредельное водное пространство. По ровной голубой глади — и спереди, и по краям — все куда-то плыло, плыло. То здесь, то там виднелись небольшие островки. И на них невесомо высились белые башни... багрово-красные крепостные стены... Откуда они?.. Уж не опять ли очутились они в Петербурге?.. А может, эти башни и минареты относятся к Казани?.. Как могло случиться, что все вокруг залито водой? Неужто наступил второй вселенский потоп? Может, слились воды Едиля и Яика?.. Может, это плывут по воде белые русские церкви с золочеными крестами?.. Но как они очутились здесь, в степи?.. И почему в степи не видать аулов? Куда подевались табуны лошадей, отары овец, гурты верблюдов?.. Странно... Все плывет-плывет куда-то... Где плывут? По степи или по неведомой пустыне?.. Куда плывут?.. Зачем плывут? Нет ответа... Порой мерещилось, что бредет покорно и молча огромное скопище скота, гонимое удачливыми степными разбойниками-барымтачами. А что это там, позади, темнеет?.. О, так это же каменная крепость вблизи Петербурга. Да, да... Она!.. И, должно быть, сейчас начнется пальба из пушек... Нет, не слышно грохота... Видно, при такой воде и порох отсырел... Плывет каменная крепость спокойно-величаво... Из зияющих бойниц выставились жерла пушек... Э, да это и не пушки вовсе, а верблюды. Бедняги, тянут длинные шеи из бойниц... Но как они попали в крепость на острове? Может, спасаясь от воды туда попрятались?.. Ну и чудеса!.. Для верблюдов, пожалуй, лучшего загона не сыскать... За крепостные стены уместилась бы не одна тысяча голов. Почему, однако, не видать лошадей?.. А-а... вон и они, далеко впереди плывут... Ушикамышинки торчком... А овцы? Их не видать. Этих беспомощных, безропотных бедолаг, кроме человека, никто и ничто не спасет. Давно, небось, погрузились на дно моря

разливанного... Вон виднеются какие-то наносы на поверхности воды. Что это? Сено или всплывшие со дна бараньи туши? Ни звука... Молчаливые и покорные всегда обречены. Другое дело — строптивые. Лошадь или верблюд за свою жизнь сражаются отчаянно. Какая-то часть из них непременно выживет и во вселенском потопе. А овцы?.. Эта беспомощная тварь первая гибнет при любой смуте. Как и большинство слабого человеческого рода. В пору величайших потрясений надежду на выживание получают лишь сильные и ловкие, хитрые и пробивные, у кого горячее сердце в груди и буйная головушка на плечах. Да, да... только так... искони так. И в этой заварухе наверняка уцелеют козы и лисы. Дуралей-верблюд заберется в лучшем случае в крепость и будет тянуть длинную шею из бойницы, а прыткие козы, подергивая острыми бородками, вверх-вверх по ступенькам-лестницам нахально заберутся на самую крышу царского дворца. С них станется! А кто, воспользуясь суматохой-паникой, заберется втихаря на золотой царский трон? Хитрый лис, держащий мордочку по ветру, или оглядчивый, осторожный барсук, что вечно печется о своем брюхе? Как бы там ни было, шустряки и пройдохи доли своей не упустят. Они всегда хозяева жизни. Так постоянно говорит дядюшка Мырзатай... Но что же это происходит? Неужели ему уже не суждено увидеть родной край? Неужели мать в приливе нежности не обнюхает ему лоб, а отец не прижмет к своей могучей груди? Неужели ему уже не скакать на строптивых стригунках, не бегать босиком по траве, не собирать в степи дикий лук и не выкапывать клубни марьиных кореньев? Конечно, какие тут клубни какая трава, если и травянистые долины, и песчаные взгорья — все осталось под водой?! Веселенский потоп обрушился на землю, и все перевернулось вверх тормашками. Иначе откуда бы здесь, у степных дорог с редкими, одинокими могилами вдоль обочины, появились вдруг неприступные крепостные стены? И если бы не нарушился вдруг извечный ход бытия, с какой стати он, потомок кочевников, жизнь которых искони мерится переходами на верблюдах и скачками на лошадях, оказался в каменной крепости?.. Почему он не кочует по вольной степи? Зачем понадобились казахским просторам эти чугунные пушки с зияющими жерлами, похожими на ступку, если степняки тысячелетиями вполне обходились дубинками и длинными шестами для ловли строптивых неуков? Для чего, в самом деле, казахам пушки? Чтобы заквашивать

молоко? Чтобы варить кислый сыр? Чтобы из трав, приобретенных у проезжего торговца, толочь зелье-насвай, который закладывают за губу? Куда ведет он этих людей со всеми доспехами-причиндалами, которые его предкам до седьмого колена и не снились? За что ему, безусому юнцу, такие почести? А не играет ли он роль заблудившегося паршивого ягненка, который ведет за собой шакалью стаю в овечий загон? Да, да... он всего лишь несчастный ягненок... Он пытается заблеять, но не может. У него нет голоса. Что такое? Горло на месте. Глотка на месте. И рот, и ноздри, и язык — все на месте. А голоса нет. Для чего ему тогда горло? Для чего рот? Неужто только для того, чтобы молча проглатывать все, что в него пихают? О, нет! Ему нужен голос. Он хочет кричать. Но он не знает, куда подевал в забытьи голос. Он отчаянно шарит вокруг себя, ищет лихорадочно, но тщетно: голоса нет. ему хочется петь. Громко, во всю мощь легких. Но и него вырывается только беспомощный хрип, а поют другие. Поют ладно, грозно. Поют незнакомую песню. Словно поток обрушился с гор. Не селевый поток, а людская лавина. А поют-то как! Неистово, отчаянно вытягивая шеи. Рты распахнулись до ушей. Лица побагровели. Идут, будто на смертный бой. Не оглядываясь. Напролом. Все сметая на своем пути. Ну, точь-в-точь как тот табун в ночи, охваченный смертным ужасом. Грозная, несокрушимая сила чувствуется в их пении. Грозная, несокрушимая сила в их поступи. Ханзаде хочется открыть глаза, посмотреть на эту лавину. Но ничего ему не видно. Ни воды, залившей всю сушу. Ни многочисленных наносов, плывущих на поверхности. Только мощный, несмолкающий гул. Все нарастающий. Все более неистовый. Оглушающий. Нет от него спасу... «Эй! Да перестаньте же вы!» Так он кричит. Вернее, так он хочет крикнуть. Но слышен голос не его — чужой. И тут же песня обрывается. Глохнут разом все звуки. И он погружается в вязкую тишину. И неизвестно, сколько времени он наслаждается тишиной, как бы купается в полном безмолвии. Или предается благостной дреме... Перед глазами простирается водная гладь. Чуть-чуть зыбится... И так лежит он долго, долго. И вдруг издалека вновь накатывается — поначалу приглушенно, потом все явственнее — дробный цокот копыт... Потом вроде как сухой треск, словно в раскаленном сале жарят кукурузу... Странно, что это такое может быть?.. И опять исчезли звуки. Кто-то осторожно похлопал его

по плечу, потом ко лбу приложил холодную ладонь... Потом поднесли что-то к губам, влили в рот. Что-то горькое, невыносимо горькое. Вроде как молоко объевшейся полыни верблюдицы... Нет, не молоко... Что-то совсем уж горькое. Не различить. «Пей, пей!»— монотонно настаивает кто-то. «Возьми в рот. Соси!»— твердит еще настойчивее. О, аллах! Что же от него хотят? Что-то белое, большое, податливо-мягкое склоняется над его лицом... Неужто его опять оседлала ведьма-албасты? До чего же непомерно огромные у нее груди. Раньше она их закидывала за спину, а теперь еще и вокруг шеи обмотала. По белым грудям ее ползут к нему два мохнатых каракурта. Сейчас ужалят его. Он с омерзением отпихивает, отталкивает от себя набухающие белые груди ведьмы, старается стряхнуть с них ядовитого паука и в страхе открывает глаза. Белая пелена отодвигается, рассеивается, и вдруг, стремительно приближаясь, возникает у изголовья знакомый облик дяди Мырзатая.

— Ну что... очнулся, душа моя?!

Он не помнил, что пролепетал в ответ. Не услышал собственного голоса. С трудом раздвинул губы в улыбке, и вновь зыбкая муть обволокла его.

Он не знал, сколько дней был в забытье. Однажды, открыв глаза, увидел неподалеку от себя идущих в ряд людей с высоко поднятыми руками. Они были изнурены. Ноги заплетались. Руки их были привязаны к длинному волосяному аркану, концы которого крепко держали вооруженные всадники по краям. Мужчины были обнажены по пояс. Под мышками их, казалось, зияли черные дыры. Неуж то это те самые несыти, о которых рассказывали жуткие истории? Неужели у них под мышками и в самом деле дыры? Да нет... вроде обыкновенная волосня... И дух от них идет тяжелый, прелый, как от ночных конокрадов после трудного набега. Почему, однако, их связали? Почему заставили поднять руки?

— Кто эти?

— О, слава всевышнему! Да стану тебе жертвой! Очнулся, наконец! А эти? Это и есть оборотни-несыти, о которых нам всю дорогу толковали башкиры...

Несыти, говорит? Выходит, все-таки не люди, а оборотни? И под мышками у них чернеют не волосня, а дыры? Тогда, значит, сейчас через эти дыры вырвут из груди их трепещущие сердца, швырнут их в белесую дорожную пыль и раздавят колесами?

В глазах ханзады опять потемнело. Снова он будто оглох. Исчезли все звуки — треск, скрип, топот, крик. Сплошная темень. Мертвая тишь. Он только смутно, как во сне, чувствовал, что весь горит, что пересохли губы, горло и нестерпимо хотелось пить. Он отчаянно искал воду, но во все стороны простиралась бесконечная пустыня. Что-то там, далеко впереди, неясно голубело, и он из последних сил брел и брел в ту сторону. Язык во рту распух, точно одеревенел. «Воды!.. Воды!..— шептал он, но голоса по-прежнему не было. Кто-то лишил его голоса. А вон показалась голубая кромка воды. «Пить... пить... Дайте же, наконец, пить...»— срывалось с его губ, но голос слышался другой. Что-то поднесли ему ко рту. Что-то большое, бесформенное. Уж не опять ли ведьма-албасты сует ему в рот свою безобразно огромную, вислую грудь? И уже не молоко сочится из ее сосков, а вроде как вода... Нет, и не вода вовсе, а песок... раскаленный, шелестящий, шуршащий, струящийся песок... Он сделал рукой резкое движение. Что-то отлетело, громыхая, в сторону. А он продолжал идти-брести туда, где смутно голубела желанная кромка воды. И вдруг споткнулся. Глянул под ноги: оловянная солдатская фляжка в холщовом футляре. Видно, уронил кто-то. Наверняка в фляжке есть вода. Он открутил крышку, поднес горлышко к губам. Нет, опять песок... раскаленный, струящийся. В досаде отшвырнул он фляжку. Она не громыхнула, а упала с глухим стуком. Пить... пить... Он чувствовал, что горло его от жара распухло, точно баранья брюшина, подсушенная на дымном огне. Сейчас треснет, лопнет... Пить... пить... Неужто во всем этом огромном мире не осталось спасительного глотка воды? Один, один торчит он, точно пень, в безбрежной пустыне. Голо вокруг, куда ни посмотри, гладко, безжизненно. И даже небо над головой безучастно к нему и не вселяет никакой надежды. Что же делать? Он опустился на корточки, потом лег на живот и начал в отчаянии руками разгребать песок. Он вспомнил: под верблюжьей колючкой песок всегда влажен. И если прижаться губами к влажному, прохладному песку под янтаком, то можно хотя бы на время утолить жажду. Ах, как хорошо, что он это вспомнил! Дети кочевников с малолетства знают все, что касается скотины, трав, дороги и пастбищ. Все приметы им известны. А тут, куда ни глянь, ни свежего помета, ни сухого кизяка. Значит, не пасется здесь скот. И давным-давно не обитали в этом краю люди. Тогда, выходит, можно найти верблюжью колючку. Вон вроде как ли-

ловый пучок торчит из-под песка... Он подполз, подобрался к нему... Точно: янтак... Даже уколол ся о его колючки... Из пальцев рубиновыми капельками выступила кровь. Дотронулся губами до ранок и почувствовал солоноватый привкус. Он начал лихорадочно копать податливую супесь под янтаком. Наткнулся на ворох старых разноцветных тряпок. Он начал их брезгливо отшвыривать от себя. Что за дьявольщина! Конца-краю нет этим тряпицам. Что за янтак такой, выросший на тряпках?! Он перестал копать, склонился над лиловым пучком и только теперь разглядел, что то был не янтак, а бутылка с разбитым горлышком. Вот, оказывается, о что он порезался... Потеряв последнюю надежду, он уткнулся лицом в песок и безутешно заплакал. Плакал долго, трясясь всем телом. Потом он почувствовал полное изнеможение. В висках покалывало. Разламывалась голова. Он перевернулся на спину и уставился в небо. В это мгновение блеснула молния, прогрохотал гром. Что за чудо? Какая молния, если на небе ни единого облачка? Но тут опять ярко сверкнуло, даже глазам больно стало, и тотчас раскатисто громыхнуло. Дробно зашлепали, застучали по иссохшей земле дождевые капли. Он жадно принялся ловить их ртом, но тщетно: никакой влаги не почувствовал... Опять блеснуло в глазах. Значит, все-таки разыгралась гроза. А при грозе даже нечистая сила, сказывают, ищет укромное местечко. Но где его тут, в пустыне, найдешь? Разве что возле него найдет спасение разная нечисть? Пусть идет. Пусть хоть сам дьявол придет к нему и ляжет в страхе рядом. Все веселее. Не так одиноко. А если он еще и мокр, то, может, принесет ему, страждущему, облегчение... Вновь раздался оглушительный грохот. Далеко, у горизонта, всклубилось черное, как копоть на котле, облако пыли. Оно разрасталось, взбиралось все выше и становилось все косматей и мрачнее. Вон оно уже сплошняком укрыло весь западный небосклон и устремилось к зениту. А там, за облаком, выплывало какое-то бесформенное чудище. Оно тоже стремительно приближалось, ширясь и раздуваясь. Чем-то оно походило на черного беркута. Только вместо головы и крыльев виднелось что-то клубящееся, словно огромный клок шерсти. А вот когти — непомерно большие, острые — различались явственно. В когтях, трепыхаясь, извивалось страшилище. Круглые, как деревянная чаша, огненные глазищи свирепо вращались, вылезали из орбит. Того и гляди покатятся по земле. Хвост страшилища был раздвоен. А туловище поблескивало, переливалось, конвуль-

сивно дергалось, как у гигантского питона. Страшилище отчаянно отбивалось, стараясь вырваться из железных когтей. Пружинисто сжимаясь, оно хлестало похожее на орла чудище сильным раздвоенным хвостом. Но когти не разжимались, не выпускали жертву. Тогда страшилище начало растягиваться, едва не доставая до земли, раскачиваться длинным, упругим телом. Тщетно. Страшилище вонзало раздвоенный хвост в землю, пропахивало по ней, точно сохой, глубокие борозды. И опять напрасно. Когти вцепились в него насмерть. Страшилище протяжно стонало, утробно урчало, свистело и шипело. Наконец, резко сжимаясь, неистово заколотило себя по бокам. Но и это не помогло. Между тем страшилище, волочась хвостом по земле, приближалось все стремительнее. Вот-вот оно заденет и его и полоснет по нему, лежащему, острым, как нож, кончиком хвоста. Но тут страшилище вдруг резко вскинулось, сжалось, подтягиваясь кверху, и с его тела что-то посыпалось. Может, блестящие серебристые чешуйки?.. Вот и на лицо его просыпалось. Он поймал одну чешуйку губами. Странно, это оказалась капля влаги с медовым привкусом. Из страшилища вдруг струйками потекла вода. Вот оно что!.. Это, видно, и есть тот самый дракон-аждаха, что обитает в воде и которого черная, кудлатая туча выхватила из пучины, чтобы увести и вышвырнуть за Капские горы. Значит, где-то поблизости должна быть пресная вода? Не случайно он почувствовал облегчение от нескольких капель, попавших на его пересохшие от жажды губы. Он осторожно приоткрыл глаза. Черная кудлатая туча так же стремительно удалялась. Страшилище, поняв, что ему уже не высвободиться из железных когтей, перестало сопротивляться и всем длинным, обмякшим телом покорно втягивалось в тучу, словно растворяясь в ней. Чешуйки на туловище серебристо поблескивали, будто вспыхивали в лучах солнца. И туча постепенно окрасилась разноцветными полосками. Голубая, алая, желтая... Внизу под тучей украсила небосвод яркая радуга... И оттого почудилось, что страшилище с выпученными огненными глазищами обернулось радугой...

Пораженный этим видением, он долго лежал с широко распахнутыми глазами. На гладком крупе сивой пристяжной, как в зеркале, отражалась радуга. Цвета радуги играли, переливались в пышной гриве и хвосте шедшего ровной рысью коренника. Туча, истаивая, темнела вдалеке у горизонта. Радуга сияла вполнеба и напоминала новую разно-

цветную пряжу-ленту, опоясавшую белую нарядную юрту. Воздух был чист и влажен.

Ханзада чуть приподнял голову и высунул руку в открытое боковое окошко кареты. Прохладные струи воздуха мягко окатили его горячую ладонь, и ему стало приятно и радостно, как от прикосновения холодной мордочки любимого щенка.

— Слава всевышнему! Слава всем святым духам! Ну, вот и пришел в себя, мой родной!..

Дядя Мырзатай суетливо склонился над ним.

— Что случилось-то, дядюшка?

— Э, милый, чего только не случалось?!

Обычно шумный, бравурный дядя Мырзатай сказал это тихо и подавленно.

Болел ханзада, оказалось, более недели. И все это время он метался в жару. И дядя Мырзатай всерьез встревожился: может, во время ночевок в степи под открытым небом нечистые силы навлекли порчу на его племянника?

Испугавшись, он обратился за помощью к бухарскому мулле Мансуру-ахуну, сопровождавшему караван. Тот сотворил молитву, взывая ко всем известным ему святым духам и покровителям. Может, она и исцелила бедного юношу? А может, удалось спасти его стараниями русского лекаря, ни на шаг не отходившего всю неделю от больного? Такой он неусидчивый, суетливый, минуту на месте не усидит. И потому Мырзатай решил, что ему можно разве что доверять коз пасти, а никак не хворых врачевать. Однако оказался старательным и внимательным. Как бы там ни было, слава создателю, все благополучно обошлось. Мырзатай был совершенно уверен, что племянника его или сглазили, или в сердце его вселился страх от жутких россказней башкир. Могли и сглазить... Шутка ли, едва выбравшись из детской люльки, он уже сподобился с белой царицей за одним столом заморские яства вкушать. Кто еще из племени кочевников удостаивался такой чести?! То-то же... А восхищение, восторг искони соседствуют с черной завистью. Зависть же — первый признак вражды. А сколько на свете недобрых, завистливых людей! Такие сглазят кого хочешь. Так и норовят сотворить какую-нибудь пакость. Глянут на верблюжонка, покачают головой, цокнут языком и тем самым накличут на неокрепшую животину какую-либо хворь. А разве мало колдунов? Русский лекарь, однако, оказался опытен и сведущ. А по части знахарского искусства, пожалуй, не уступал и прославленным степным баксы-

шаманам. Видно, знахарство у всех народов одинаково. Надо было прочесть молитву из Корана, русский лекарь достал из сундука книгу и тотчас что-то прочел. Надо было дать какое-то снадобье, русский лекарь извлек из мешочка порошки. Нужен был травяной настой, русский лекарь и его мигом сготовил. Словом, применил все виды лечения, которые известны и доморощенным врачевателям. Правда, заговоров не шептал, слюной в лицо больного не брызгал, амулета на шею не вешал. Все остальное делал. Смочив в холодной воде белую тряпицу, клал больному на пылающий лоб. Влажной белоснежной ватой без конца смачивал пересохшие губы. Днем и ночью хлопотал у постели больного. Что только не вытворял ханзада в бреду! Вскакивал, размахивал руками, отпихивал все, что подносили ему ко рту, выплевывал лекарство, отчаянно сопротивлялся всякому лечению. Его неистовство и напугало больше всего Мырзатая. Он очень опасался, что в племянника вселился какой-нибудь бес, которых в степи, особенно в знойную, летнюю пору, пруд пруди...

Ну, а дождило не только в тот день, когда ханзада, наконец, пришел в себя. Оказалось, трое суток без передышки бушевала гроза. От обвального ливня не было никакого спасу. Куда денешься, где спрячешься в открытой степи? Много лишений и мук вынесла за эти дни экспедиция. Но и до грозы было неспокойно. Все меньше и меньше лошадей возвращалось по утрам с выпаса. И тогда в ночной дозор отправился сам Мамбет-мурза. Он сам расставил казаков и метких стрелков, приказал им не шелохнуться и не смыкать глаз. И вот, когда уже перевалило за полночь, вдруг в темной ночи — там и тут — зловеще замигали огоньки. Застывшие настороже солдаты открыли пальбу. Послышались крики, стоны. Предоставив напуганный табун казакам, Мамбет-мурза с ротой солдат ринулся в густую темень, туда, где только что вспыхивали огоньки. Послышался впереди топот лошадей. Казаки стреляли в том направлении без умолку. Многих разбойников застрелили на месте. Многих ранили. Некоторые с перепугу свалились с коней. Человек семь удалось схватить. Их, связанных по рукам, Мамбет-мурза утром пригнал в лагерь, собрал всех правоверных, участвовавших в походе, за исключением казахского посольства, и разразился перед ними гневной, обличительной речью.

Тут и открылась тайна ночных событий, нанесших экспедиции столь тяжкий урон. Выяснилось, что конный

башкирский отряд преследовал экспедицию всю дорогу, держась позади на расстоянии двух-трех перевалов. Под покровом ночи башкиры неслышно подкрадывались к табуну на выпасе и, достав из-за пазухи кресало, начинали высекать огонь. Этой нехитрой, но древней и испытанной уловкой опытных конокрадов-барымтачей они нагоняли на табуны страх. Способ этот известен всем степнякам, однако башкиры помалкивали, не решаясь выдавать единокровников, а казахи делали вид, что им нет дела до того, что происходит вокруг. «Ну их всех к шайтану!— рассуждали они про себя.— Пусть сами разберутся. От греха подальше».

Поведение башкир и казахов в экспедиции и вывело из себя Мамбета-мурзу. «Смотрите, смотрите!— кричал он в ярости.— Вот они, ваши несыти! Вот они, ваши чий-хоботы! А ну, поглядите внимательней, есть ли у них под мышками дыры? Давайте, кто смел, вырвите из них сердца да поднесите мне на ладонях!»

Обычно уравновешенный и улыбчивый, уже успевший облиться жиром, Мамбет-мурза от негодования побагровел и дышал бурно, клокотал весь, как раскаленный самовар. Когда, не помня себя от ярости, он топал ногами на смущенных правоверных, его упругие, округло выпиравшие ягодицы вздрагивали, точно курдюк жирной ярочки.

Долго, рассказывают, не мог уняться Мамбет-мурза. Заставил-таки захваченных ночных разбойников поднять руки, а башкирам и казахам в экспедиции приказал уткнуться носами в подмышки пленников, дабы убедиться, несыти ли они или обыкновенные злодеи.

«Ну что?! Зияют у них дыры под мышками? Может, сейчас их не видно? Может, они обнаружатся через некоторое время, а?!»

Пленников заставили раздеться догола, руки их привязали выше головы к длинному волосяному аркану, концы которого с двух сторон крепко держали двое всадников, а сзади приставили еще четверых, которые подгоняли несчастных ударами плеток. Так их вели для устрашения всех смутьянов трое суток — без пищи, без глотка воды, в дождь и под нещадным солнцем. Должно быть, это и увидел ханзада тогда, за короткий промежуток, когда он ненадолго пришел в сознание.

После того как тайное стало явным, башкиры перешли к открытым действиям. Стали совершать набеги на арьергардные части. В коротких стычках нанесли урон обоим флангам. Эти неожиданные, дерзкие наскоки сбивали с

толку. Растерянность и страх охватили экспедицию. Башкиры были неуловимы. Они появлялись словно из-под земли и так же бесследно исчезали. А тут еще, к их везению, трое суток неистовствовала неслыханная гроза. Казалось, смешались небо и земля. Башкиры, воспользовавшись суматохой, теперь бесшабашно нападали на основные части русского войска. Они даже подбирались к обозу с порохом и швыряли в него пылающие головни. Но бог миловал, искры не смогли пробить толстую мокрую кошму, которой укрывали ящики с порохом. В обозе находилось много раненых солдат. Их башкиры захватили в плен. Многие аулы за эти дни, должно быть, обзавелись дешевыми слугами.

Начальник Оренбургской экспедиции отправил всех своих ближайших помощников в маневренные отряды арьергарда и флангов, отдав в их распоряжение все пушки. Башкиры, не ведая о том, затеяли крупный натиск одновременно по обоим флангам и попали под пушечный обстрел. Мятежники понесли огромные потери. Ханзада понял: оказывается, то не гром раскатывался по небу, а пушки громыхали на земле.

Ханзада высунул голову из кареты. Небо прояснилось. Недавние черные косматые тучи уплыли за горизонт. Аромат степного разнотравья, омытого дождем, дурманил голову, щекотал ноздри. Все вокруг, казалось, ликовало после отшумевшей грозы. И только экспедиция — измученная, изнуренная — понуро брела-плелась вдаль. Люди молчали, скорбно свесив головы. Только и слышно было, как чавкала грязь под ногами людей и копытами коней, да как жалобно поскрипывали колеса.

Наконец, окончательно вымотавшись, добрались до огромного мыска, как бы вклинившегося между двумя реками. Когда экспедиция взобралась на вершину огромного черного крутояра, издали походившего на чело насупившегося великана, то все первым долгом увидели на противоположной стороне такой же внушительный, мрачный увал. А между ними раскинулось во всю ширь голубое море. Только нельзя было сразу различить: истинное ли то было море или просто мираж. И посреди этого голубеющего, зыбящегося, переливающегося пространства смутно виднелось что-то темное. Казалось, лошадь забрела в озеро, чтобы всласть напиться чистой водицы, да так и застыла там, наслаждаясь прохладой, по брюхо в воде.

Кирилов и Тевкелев приказали войску остановиться, а сами с вершины крутояра, оживленно размахивая руками,

всматривались вдаль, туда, где посреди безбрежной сини неясными очертаниями темнел островок. К ним подошли юноша-ханзада, султан Нияз, Мырзатай, и, указывая рукой на западную часть темневшей вдали полоски, Мамбет-мурза торжественно произнес:

— А вот и Орынбор!

На бледном, осунувшемся лице ханзады вспыхнул румянец. Перед глазами его всплыла неприступная крепость на острове посреди свинцовых волн, которую он увидел при выезде из Петербурга. И еще ему померещился отец: спокойный и довольный, упоенный властью, он величественно стоял у стен крепости и вглядывался в далекую степь. А там, за крепостью, по кустам и лощинам во все стороны трусливо разбегались ничтожные фигурки верховых и пеших, размахивая потрепанным бунчуком-древком с привязанным к концу конским хвостом. Страх охватил их при виде грозных русских пушек и ощетинившихся стальных штыков. Нет, не сунутся они к крепости, когда им не под силу одолеть даже водную преграду. А если и найдутся такие безумцы, то, когда из-за крепости загрохочут пушки, изрыгая дым и пламя, они ударятся в бегство, бросая убитых и раненых вдоль берега реки, и вся окрестность окажется усеянной вражьими трупами, точно кизяком в степи...

Ханзада улыбнулся про себя, живо вообразив эту картину. В голове, непослушно-тяжелой после болезни, вдруг зашумело, и сквозь этот гул и тошнотную слабость он вновь явственно услышал ликующую трель невидимого жаворонка.

Но прекрасное, столь милое сердцу ханзады видение быстро исчезло, развеялось. Первым словно испарилось море между двумя увалами. Оказалось оно миражем. Не успели головные части экспедиции спуститься в долину, как вместо безбрежной водной глади открылась степная ширь, густо заросшая молодой черной полынью. Она еще не успела затвердеть: лилово отливала нежными кудрявистыми верхушками. Посреди этого полынного раздолья могуче темнел длинный сумрачный увал с гладкими, лоснящимися плотным разнотравьем склонами, чем-то напоминая разморенную сытостью и дикой волей лошадь, которая, всласть наевшись сочной травы, напившись чистой речной воды, теперь с наслаждением валялась на зеленой лужайке. Омывая с двух сторон могучий увал, сливались две реки: с севера — Яик, с юга — Орь, у самого устья, на месте

слияния двух рек, и остановилась заметно потрепанная в долгом и опасном пути экспедиция.

По нежным нетронутым травам, словно по только что сотканному пышному ковру, вдоль и поперек пролегли глубокие, как шрамы, борозды — следы от колес пушек и арб. Девственно-нетронутый увал, растянувшийся посреди долины в первозданной красе, мигом обезобразился, истерзанный тысячью ног и копыт. Вековую сонную тишь тотчас изорвали в клочья крики, скрип телег, грохот и хлясканиe. Скрежет стоял с утра до вечера, будто тысячи мясников одновременно правили ножи о точильные камни. В нежную и пышную, как девичья грудь, плоть земли нещадно вгрызались сотни и сотни лопат, ее терзали и долбили кайлами, пешнями, ломами. Топча и уничтожая на корню травы, рыли рвы, сооружали насыпи, валы. Страшная железная сила, точно божья кара, неистово обрушилась на покорную, не знавшую насилия землю, сокрушила ее, исхлестала, перевернула вверх дном, грубо надругалась над ее вековой целомудренностью. Казалось, сильные руки безжалостного мясника в мгновение свалили сильную, упитанную лошадь, связали ей ноги, полоснули стальным ножом по горлу и, не дождавшись, когда прекратятся предсмертные конвульсии, ловко содрали с нее шкуру. Словно освежеванная туша лошади, простерся посреди степи истерзанный людьми черный увал. Осталось только расчленить, разрубить, распотрошить, искромсать огромную тушу на части. Как освежевывают и расчленяют скотину на части, степняки видели и наблюдали испокон веку. Но что и землю можно так же освежевать, живьем содрав с нее покров, выворачивать ее нутро и рубить на части, такое приходилось им видеть и наблюдать впервые. Они полагали, что кромсать тело земли такое же кощунство, как исцарапать ногтями лицо родной матери. И, видя такое кощунство, такое надругательство над молчаливо-покорной землей, они поначалу растерялись и даже как бы онемели. Но нет на свете более пугливого и одновременно более покладистого и терпеливого народа, чем казахи! Кого и чего только они не боялись? К кому и к чему только потом они не привыкали! И не такое видали, и не к такому привыкали, и не к такому притерпелись... Привыкнешь тут, когда изо дня в день видишь одно и то же: засученные рукава, потные лица, лязг и скрежет железа, плотный, как бы дымящийся глинозем, напоминающий внутренности только что зарезанной скотины, черные, как пропасть, рвы, тысячи и тысячи измазан-

ных с головы до ног глиной землекопов, похожих на мифические существа мади, что в концесветный час ошалело выскакивают из-под земли. Казалось, солдаты задались целью вывернуть степь наизнанку. Уже холмы глины образовались на равнине. Уж и солнце тускло виднелось сквозь завесы пыли. Степные травы по всей окрестности давно лишились свежести. Даже реки по обе стороны увала помутнели. И когда поднимался ветер, крылья пыльной бури простирались от горизонта до горизонта. И тучи, проплывая над этой местностью, становились грязными, чумазыми, словно подол похотливой бабенки, повалившейся прямо на зольную кучу за юртой. И на юрких ящерицах, сновавших поблизости, пыль слоилась толщиной в два пальца. И не видать было конца-краю работе. И нескончаемым казался грунт. И неутомимыми казались упрямые солдаты, которые, не щадя себя, днем и ночью лопатили и перелопачивали неистово, исступленно многотерпеливую божью землю.

Казахское посольство каждый день поднималось на восточное взгорье и, опустившись на корточки, часами глазело на копошившихся внизу, точно муравьи, людей. Даже глядя на эту монотонную работу, степняки испытывали нестерпимую скуку. От одного только глазения на этот нескончаемый труд у них ныли поясницы и руки-ноги тяжелели от неведомой усталости. Они, позевывая и поплевывая по сторонам, только диву давались: до чего же неутомимы и горазды на всякие выдумки эти чужеземцы! Все вновь и вновь придумывают себе заботы и находят работу за работой. Уже по пояс углубились в сырую землю, а все еще чего-то копошатся и суетятся, как угорелые. Вон опять что-то вымеривают, прикидывают, размечают, забивают в ряд колышки, натягивают на них бечеву. И когда все это проделали, получился огромный четырехугольник, внутри его хоть конные скачки устраивай.

И вот однажды солдаты, горланя песню, торжественным строем направились к четырехугольной площадке. Каждый держал в руках лопату или кайло. Шли как на праздник, с блеском в глазах. В середину вступил дородный бородатый священник в дорогой рясе. Рядом шел еще один бородач, весь в черном, и держал в руках серебряную чашу со святой водицей. Священник рокочущим басом прогнусавил молитву, потом, обмакивая персты в чашу, окропил святой водой солдат и границу будущей крепости.

После торжественного молебна солдаты раздвинули, растянули цепь, встав друг от друга на расстоянии двух

саженей. Трое усатых барабанщиков, стоявших на бугре в стороне, бешено заколотили палочками, оглушая окрестность дробью. И тут же, как по команде, тысячи штыковых лопат разом вонзились в плотный пласт земли. Только и слышно было тяжелое сопение, кряхтение землекопов и лязг, скрежет железа. За трое суток вокруг четырехугольной площади образовался ров шириной в один, а глубиной в два человеческих роста. С внутренней стороны рва соорудили насыпь высотой с верблюда и укрепили ее вокруг пластами.

— Эй, это еще что такое?— любопытствовал Мырзатай, встречаясь с татарами и башкирами.

— Это и есть крепостной вал. Вот так защищаются от врагов.

— Помилуй, аллах! Раньше сражались человек против человека, мечом против меча, копьем против копья. А теперь что же? Воздвигают стены, роют рвы, а сами отсиживаются в крепости и играют в нарды, что ли? Степняки прибегают к такому лишь при крайней опасности. Случается, прячутся в горах и ущельях, и то созданных самим всевышним. Но чтобы человек заранее зарывал себя в землю, спасаясь бог весть от каких врагов, такое я вижу впервые!

— Э, братец, поживешь — не то еще увидишь...

Искреннее удивление простодушного Мырзатая не разделяли, однако, ни татары, ни башкиры. Даже племянник Ералы укоризненно покачал головой при этих словах дяди: «Ай, ай, дядюшка!.. Какой ты все-таки наивный...»

Пока Мырзатай удивлялся, прищелкивая по привычке языком, была переделана уйма дел. Солдаты и казаки еще сооружали ров, а башкиры уже въехали с обозом в будущую крепость и занялись его разгрузкой. Развьючили верблюдов, живо распотрошили тюки. Поставили юрты и походные шатры для штаба и старших офицеров. Из крепких плах на сухом, возвышенном месте соорудили подставку и аккуратными, ровными штабелями — длиной в двенадцать, высотой в три аршина — сложили мешки с продовольствием. Чтобы сберечь от дождя и пыли, штабеля укрыли сначала холстом, потом — плотным войлоком, а сверху еще и парусиной.

После недолгой передышки обоз снова потянулся в Уфу за необходимым для строительства крепости снаряжением.

Люди же из экспедиции не знали покоя. Их разделили на небольшие группы. Каждый человек знал, в какой он

находится группе и что ему надлежит делать. Одни в огромной ямине, ведя коней по кругу, замешивали глину. Другие раскладывали ее по формам, лили кирпичи. Третьи складывали подсохший кирпич в кучи. Еще одна группа копала ров, в котором должен был быть ледник. Другая — строила складские помещения. Где-то подводили фундамент под казармы. На краю крепости, на возвышенном месте, недалеко друг от друга поднимались стены будущих пекарни и столовой. Из кузни доносился деловитый перестук молотков.

На четырех углах крепости, по краям рва и земляного вала, грозно возвышались кирпичные башни, на которых были установлены четыре пушки. Они, казалось, зорко следили за всеми четырьмя сторонами света. В середине крепости был построен центр-цитадель. Там обосновались основные части войска.

Острые штыковые лопаты, поблескивая в лучах солнца, продолжали неумолимо терзать землю. Вскоре за первым рвом на почтительном от него расстоянии вырыли еще один. Потом и вдоль него соорудили еще один земляной вал и так же обложили дерновыми пластами. Над внешним валом возвышались девять башен. С девяти башен бдительно сторожили окрестность девять пушек. Над валом должна была подняться еще одна стена. Получилось как в детской загадке: в одной большой норе пять маленьких норок. В подобном лабиринте рвов и стен не мудрено было заблудиться не только врагу, но и коренному жителю крепости. Девять башен с пушками, нацеленными на все стороны света, поневоле наводили на степной люд оторопь и страх.

Мырзатай перестал недоумевать, как прежде, и не ругал уже в хвост и в гриву тех, кто заблаговременно защищался от невидимого врага, зарывая себя в землю. «Да, да,— восторженно говорил он.— Разве какой-нибудь безумец сюда сунется?! Да от одного только вида этих длинношеих страшилищ, изрыгающих пламя, он наложит в штаны!»

И начищенные до блеска пушки словно в ответ на восторг простодушного степняка еще ярче засияли на солнце.

Столь огромная работа была проделана за какой-нибудь месяц. И вот опять выстроили войско на торжественный парад. Священник окропил святой водицей из серебряной чаши вновь построенные башни и крепостные стены. Потом тремя залпами прогрохотала тридцать одна пушка. И всколыхнулась вековая тишина в степи. И многие казахи впервые в тот день познали запах пороха. Рыбы обеих рек,

лакомившиеся на мелководье ряской и камышом, в испуге шарахнулись прочь и нырнули вглубь. Зашевелились, заколыхались верхушки трав. Врассыпную, куда глаза глядят, разбежалась в ужасе степная тварь — лисы, барсуки, корсаки, тушканчики, суслики, спрятались змеи и ящерицы. Косяками понеслись, срываясь с окрестных холмов, охваченные смертельным страхом куланы, каракуйруки и джейраны. Все живое в извечно тихой и мирной степи вдруг разом обратилось в бегство. Даже воды в реках точно поспешили стремительней.

Ни страха, ни волнения не испытывали, казалось, только рыжеусые солдаты, вновь сменившие лопаты на ружья. Еще недавно, когда не было вокруг ни рвов, ни стен, ни башен, когда во все стороны простиралась голая, всем ветрам открытая, всем врагам доступная степь, они боязливо озирались, как-то притихли даже, теперь же за надежной крепостью они почувствовали себя вольготно, вольно, словно в родных стенах. И голоса их звучали бодро, зычно. Весь свой скарб, привезенный сюда издалека, они ловко растащили, рассовали по ими же вырытым землянкам, а землянки и халупы разметили на улицы и переулки, и каждый усердно убирал, подметал свой закоулок, придерживаясь единого строгого порядка. Бойкий, трудолюбивый и неугомонный оказался народ, склонный к тому же к веселью, будто не в заботах живет, а на ярмарке гуляет.

Ханское посольство истомилось от безделья. Всеобщие оживление и радость в крепости ему не передавались. Все с нетерпением ждали того дня, когда можно будет вновь вдеть ноги в стремена. И вот прошел однажды слух, что начальник Оренбургской экспедиции намерен направить своих гонцов к Абулхаиру с приглашением пожаловать со своей свитой на торжество по случаю основания у устья реки Орь новой крепости.

Узнав об этом, ханзада Ералы обрадовался так, что, как говорится, едва не уперся макушкой в небо. Он был уверен, что теперь-то, аллах даст, совсем уж скоро он свидится с родными и близкими, а потом вместе с ними вернется в родной край. Он был готов отправиться домой хоть пешим. Разулся бы, закатал бы штанины повыше и побежал бы, как мальчишка, не чуя под собой ног. Только известно: человек лишь предполагает...

Прошло всего несколько дней, и вдруг вечером, совершенно неожиданно, начальник экспедиции пригласил ханзаду к себе и заявил: «Строительство крепости мы окончатель-

но завершим к будущей весне. Тогда и пригласим на торжество твоего отца. И тебя отправим домой. Пока же пробудешь здесь». Обычно начальник разговаривал с ханзадой мягко, приветливо, а сейчас он был холоден, резок, и в голосе послышались раздражение и недовольство. И лицо его было хмурое. Глубокие морщины изрезали его.

Ханзада был в недоумении. Начальника после отъезда из Уфы он увидел сильно состарившимся. В глазах плескалась муть. Щеки запали. От носа по краям пролегли две тяжелые, как рубцы, складки. Высокий голый лоб холодно поблескивал, будто обтянутый бараньей брюшиной. Всем своим видом начальник выражал непреклонность и неприступность. Говорил отрывисто. Накануне стало известно, что в крепость прибудет Нуралы. Возможно, начальник опасался, что ханзада начнет выказывать капризы в присутствии старшего брата...

Действительно, за праздничным столом юного ханзаду усадили между самим начальником экспедиции и Мамбет-мурзой. К брату, по которому он так соскучился, и близко не подпустили. Нуралы окреп, возмужал, держался с подчеркнутым достоинством. Изредка бросал пытливый взгляд на младшего братишку. Во всем облике Нуралы чувствовались уверенность и грозная сила. Говорил мало, но весомо. Жесты были скупы и степенны. Видно, вошел во вкус власти. Пообтерся за последние годы, управляя народом. С златопогонным начальством держался на равных. Напряженно выпячивал крепкую грудь. Вольно расправлял плечи. Важно вскидывал бровь. Не чаявшего в своем племяннике души Мырзатая в эти дни вообще как бы от него отстранили. В последнее время он и не видел-то его толком. Зато возле ханзады особенно усердно увивался бухарский мулла по имени Мансур, который сопровождал экспедицию от самой Уфы. Еще один долговязый вертлявый чужеземец приставал к нему с листом бумаги и карандашом в руках, уверяя, что он нарисует его облик и преподнесет вскорости рисунок хану-отцу, с которым намерен встретиться. Шустрый, как воробей, лекарь пообщупал ханзаду с головы до ног, проверил зубы, уши, заставил высунуть язык. И вся эта возня продолжалась три дня... Как-то утром, едва он очнулся от сна, с ворохом дорогих тканей вошли к нему трое и принялись снимать с него мерку. А вчера на него напялили новую, с иголочки, одежку, покрутили-повертели перед большим круглым зеркалом. И когда группа всадников перед полуднем поднялась на вершину перевала за крепост-

ными стенами, к ней навстречу повезли разодетого в пух и прах юного ханзаду. Обветренные, загорелые, пропыленные путники-степняки, увидев худощавого, бледнолицего подростка в ярких, разноцветных одежках, похожего на только что раскрывшийся тюльпан, поневоле застыли и обомлели. Какого казаха ладная одежка оставляет равнодушным! К тому же с тех пор, как джунгары оттеснили казахов подальше от привычных базаров, им не удавалось разжиться обновой, и потому ладное новое обмундирование юного ханзады вызвало у соплеменников неподдельное восхищение. Некоторые от любопытства принялись ощупывать его. И вот теперь, красный от смущения, он сидел, будто на иголках, между двумя высокими начальниками. Казахи-степняки заметно отличались от него: лица их были цвета вяленого на горячей золе конского мяса. Он же был хил и бледен, точно недопеченная лепешка. Бледного лицом человека казахи искони считали хворым. И степняки при встрече, сочувственно глядя на него, спрашивали: «Ты что такой бледный, дорогой? Не болен ли?» При виде его щуплой, тощей фигуры они укоризненно качали головами, а при виде его добротной одежды восхищенно цокали языками. И сейчас, за столом, ханзада ловил на себе их восторженные взгляды. И ему это доставляло удовольствие, однако когда он думал о том, что после торжественной трапезы эти люди тут же оседлают коней и отправятся в обратный путь, оставив его здесь, среди чужаков, одного, жесткий комок подкатывал к горлу, а глазам становилось жарко от сдерживаемых слез.

За огромным столом, сколоченным вчера солдатами из струганых досок, было много народу, но все взгляды были устремлены туда, где сидело начальство экспедиции. Кирилов, одетый во все парадное, встал и заговорил торжественно, высокопарно, напрягая голос. Едва он закончил, все за столом заполошенно вскочили и заорали во всю мощь глоток.

— О, алла! Что с ними случилось?!— недоумевали казахи.

— Начальник произнес здравицу в честь ее императорского величества,— пояснил Мамбет-мурза торопливо и тоже присоединился к общему ору.

Грозный гул, все разрастаясь, накатываясь, как морская волна, гулким эхом разнесся далеко и задрожал, завис надолго в воздухе. Так и не позволив ему оборваться и угаснуть, грянул вслед залп из тридцати одной пушки. И не

один раз громыхнуло, а несколько раз кряду... Над ночным небом зажглись яркие огни. Шипя, разлетались во все стороны искры. Даже звезды на небе поблекли, точно с испугу попрятались. Казалось, что задрожал от грохота диск луны и что от следующего залпа она разлетится на куски, словно фарфоровое блюдце. А пушки все продолжали грохотать. Когда утих очередной залп, далеко за окрестностью послышался глухой гул. Будто что-то тяжелое, огромное покатилось по земле. Но тут же все прояснилось. На пологом холмике неподалеку от крепости возвышалось древнее сооружение с куполом. Было оно сложено из собранных в степи камней. От пушечного грохота оно вдруг обвалилось с одного края. Камни, громыхая, покатились с холмика в долину. Солдаты и казаки весело расхохотались и поспешно поднесли ко ртам бокалы с прозрачной жидкостью. Степняки-казахи опешили. Лица их вытянулись и побледнели. Губы беззвучно шевелились. Видно, испуганные не на шутку, степняки лихорадочно поминали аллаха.

Начальник экспедиции, весь побагровев лицом, еще раз поднялся с места. И на этот раз говорил так же напыщенно и громко. Ханзада не все понял, но четко расслышал слова: «Хан Абулхаир».

— Эта здравица в честь твоего отца-хана,— шепнул юноше Мамбет-мурза.

Опять все вскочили и загорланили. И пушки вновь загрохотали. Снова вспыхнули на небе разноцветные огни, с шипением рассыпаясь искрами. Звезды тотчас в испуге заметались и исчезли. И луна, вздрогнув, все же уцелела, не разлетелась на черепки.

Теперь пришел черед говорить Мамбету-мурзе. Он также произнес две здравицы — в честь наследников хана Нуралы и Ералы. И все повторилось точь-в-точь: крики «ура», оглушительные залпы из пушек, гирлянда разноцветных огней на небе, звон бокалов за столом.

Торжество продолжалось до полуночи. Потом неистово заколотили барабанщики, словно норовя отыграться за долгое молчание, долго били отбой.

На другой день казахское посольство двинулось в обратный путь. Ералы, бледный и растерянный, стоял между начальником экспедиции и Мамбетом-мурзой и долго махал рукой вслед землякам. На прощание он только и успел шепнуть на ухо расстроенному дяде Мырзатаю: «Присылайте кого-нибудь хоть изредка. Хоть весточку подайте». При ханзаде оставили батыра Котыра из рода табын.

Рябой, шумный верзила успокаивающе рокотал: «Ничего-о... Аллах даст, весной и мы с ханзадой подадимся в аул». Юноша кивал головой, с трудом сдерживая дрожь в теле.

С тех пор прошло еще десять месяцев. Из родного аула ни слуху, ни духу. Да и не было никаких надежд на какую-либо весть. В прошлом году, пока посольство добралось до родных мест, наступила осень, и аулы, снявшись с летовок, перебрались на зиму в теплые края, в спасительные барханы пустыни. Оттуда они возвращаются обычно ближе к лету, после весеннего расплода овец. Лишь покончив с весенней стрижкой, кочевье соберется в обратный путь, к северным пастбищам. В эту пору в лучшем случае прибывает на летние пастбища Золотого свода лишь головная часть кочевья. С наступлением весны юный ханзада и вовсе лишился терпения. С раннего утра по его просьбе приводили заседланную лошадь, и он отправлялся на прогулку по окрестностям. Он поднимался на каждый холм, на каждый бугорок и, затаив дыхание, вглядывался в голубеющие дали, надеясь увидеть какого-нибудь путника. Но тщетно... Не то что одинокий путник, даже какой-нибудь зверек, и то не попадался ему на глаза. Ни одной живой твари вокруг! Все живое унесло отсюда ноги как можно подальше. Да и как же иначе, если многочисленные обитатели нежданно-негаданно возникшей будто из-под земли крепости у устья двух рек огласили ружейной пальбой все окрестности на много верст и отравили воздух едким запахом пороха?! Да они, голодные и ненасытные, разом прихлопнут любую божью тварь, словно муху. Прихлопнут — и волоком волокут в свои бесчисленные землянки-норы. Ведь с прошлого года, считай, они и питаются только что дичью да зверьем. Что же еще им остается? Все пути-дороги как отрезаны... И если бы не зверье, искони обитавшее в этих краях, вряд ли двуногое племя, забившееся, точно суслики, в свои норы за крепостным валом, дотянуло бы до весны... Лживым оказалось и обещание начальника экспедиции о завершении строительства крепости к весне. С прошлой осени ничего почти не изменилось. Все работы были приостановлены. Судя по всему, не до стройки было высокому начальству.

Через несколько дней, как Нуралы со своей свитой покинул крепость, простившись с огорченным юным ханзадой, оставшимся заложником-аманатом, к Кирилову прискакали нарочные — человек двадцать на взмыленных лошадях. В тот же день они так же неожиданно исчезли, будто сквозь землю провалились. Должно быть, не с доброй вестью

они пожаловали... Кирилов стал неузнаваем: потемнел лицом. В глазах появилась лютость. На всех глядел волком. По любому поводу приходил в раздражение. На подчиненных рычал свирепо. По его приказанию были тотчас приостановлены все земляные работы. Солдаты занялись спешной чисткой оружия. Казаки приводили в порядок сбрую. Обозники подладили телеги, смазали колеса. Злой и сумрачный, метался Кирилов по лагерю с утра до вечера. Все понимали: случилась беда. Судя по всему, предстоял поход. Глядя на своего начальника, развил небывалую деятельность и Мамбет-мурза. И если Кирилов яростно покрикивал на солдат и казаков, то Мамбет-мурза с тем же рвением нагонял страху на башкир и татар. Никому не давал спуску. И вот однажды, на рассвете, протрубили команду: всем встать в строй. Кирилов с Тевкелевым обошли строй, придирчиво осмотрели снаряжение каждого солдата. И если находили неполадки, то нерадивого солдата тут же сурово наказывали и заставляли немедленно исправить все огрехи. В тот день солдаты протомились в строю до самого обеда. А вечером образовали два вооруженных отряда. Под покровом ночи они спешно выступили в поход. При этом в разных направлениях. Один под предводительством самого начальника Оренбургской экспедиции, второй — во главе с Мамбетом-мурзой.

В недостроенной крепости у развороченного устья реки Орь осталось всего около двух тысяч солдат. Сухопарый, носатый Чемодуров, оставленный ими командовать, долго вышагивал на следующий день перед куцым войском, важно заложив руки за спину. Наконец решительно вскинул голову, подбородком указал на сложенные в кучу лопаты и кайла и зычным голосом выкрикнул:

— Приступить к работе!

Еще более тоскливо и уныло стало в крепости, окруженной гладкобокими сумрачными холмами. Что там происходит за перевалами у горизонта, кто там затаился за холмами и в лощинах — все было тайной. Только тянулись вдаль следы тех, кто отправился вчера ночью в спешный поход. Но и они обрывались у подножья северных холмов. Куда отправились отряды, с какой целью — тоже загадка. В бытность начальником экспедиции Чемодуров целыми днями слонялся по крепости, дымил с казаками самосадом, слушал солдатские байки, а теперь, сам став начальником, держался особняком, все шнырял по закоулкам, будто проглотивший отраву пес, все чаще увивался возле складов

со снаряжением и продовольствием. Был он озабочен и хмур: все что-то прикидывал, пересчитывал вплоть до штыковых и совковых лопат. Солдаты гадали, недоумевали: что с ним? Или свихнулся? Или делать нечего? Чего он вдруг ни с того ни с сего застывает столбом, одной рукой подперев бок, другой — потерянно почесывая затылок? Непонятно. Все-все непонятно...

И работа вся разладилась. Поковыряются-поковыряются бравые солдатушки лопатками да кайлами и тут же усаживаются в кружок, цигарки смолят, беседы разные затевают. В разговорах этих не принимают участия только двое — ханзада Ералы и батыр Котыр. Им нет дела до всяких кривотолков, ибо ничего не понимают. Только и делают, что озираются вокруг да глазами хлопают. Выяснилось, что солдаты за глаза потешаются над двумя неразлучными казахами в поярковых треухах, называя их промежду собой «третьим постом». Первый и второй посты, с которых нельзя спускать глаз, понятно — военный и продовольственный склады, ну а третий пост, выходит, ханский наследник, принц Ералы, что взят русскими в аманаты. Казахи вначале оскорбились было такому прозвищу, но потом, когда бухарец Мансур-ахун все им растолковал, вполне успокоились.

— Э, ладно... Пусть хоть как называют. Главное, что эти нечестивцы головой отвечают за нас перед самой царицей,— простодушно похохатывал батыр Котыр.— Значит, если с меня упадет хоть один волос, сама русская царица будет отчитываться перед моей бабой. Каково?! И вообще здорово эти братцы-урусы придумали, что за малейшую провинность тут же расплачиваются головой, а!

Бухарец-мулла, разинув рот, долго глядел на то, как хохочет простак-батыр, а потом открывал книгу и начинал учить ханзаду священным словам пророка. Батыр Котыр почтительно слушал и крошил-толок при этом насвай или плел из сыромятных ремешков камчи, а когда уж совсем становилось скучно, отправлялся к знакомым башкирам и татарам в пекарню и столовую. Вернувшись оттуда, делился с юным ханзадой впечатлениями и слухами. «У этих, по всему видать, дела застопорились. Не замечаю что-то прежней прыти».

Чувствовалось, что казакам не нравилось, когда ханзада со своим спутником отправлялись верхом на прогулку. Делать, однако, было нечего, и они поневоле усилили сопровождающую их при поездке по окрестностям охрану. При этом татар и башкир в охране, с которыми можно было в

пути вступать в беседу, заменили исключительно русскими солдатами и казаками. А какие с ними разговоры?! У них разговор короткий: стоит только отъехать чуть подальше от крепости, как они, размахивая плетками и окружая плотным кольцом, заворачивают поспешно назад. Даже не позволят всласть поскакать по ровной степи, споря с вольным ветром, настоянным на запахах знакомых трав. И к ближайшим холмам норовят не подпускать, опасаясь невесть чего. Была бы их воля, они вообще загнали бы ханзаду в клетку, точно воробья.

Раньше ханзада неизменно ощущал себя почетным гостем. Он напряженно вытягивал тощую шею, стараясь высоко, с достоинством держать гордую голову. Ведь не простой же он казах в конце концов, а ханский сын, наследный принц! Но в последнее время это приятное ощущение поубавилось. Чем он лучше обыкновенного невольника? Тем, что не в кандалах ходит и работать не заставляют? А так он — тот же подневольный. Скажут «Встань!»— встанет, прикажут «Садись!»— сядет. Вот тебе и принц. Даже поговорить — и то не с кем. Этак не мудрено и онеметь. О чем все вокруг шушукаются — ему неведомо. К сборищам, которые проводятся в крепости время от времени, его не допускают. Даже индийский купец в высокой белой чалме, и тот по сравнению с казахами в более выгодном положении. Он свободно разгуливает по крепости и все время находится среди людей. Вступает в беседу, улыбается белозубо. По-русски говорит довольно бегло. Выучился, должно быть, из года в год приезжая по торговым делам в Астрахань. И к непритязательной походной жизни тоже привык. Единственное, к чему ему никак не удается привыкнуть,— это холод. С наступлением осени кутается во все возможные одежды. Разве что в верблюжью попону не заворачивается. Но и при этом мерзнет безбожно, зуб на зуб не попадает, как при лихорадке. Жаль беднягу: в самые свирепые морозы ему предстоит возглавить торговый караван на родину. По пути, сказывают, завернет в Бухару. Начальник экспедиции уговорил его направлять отныне индийских купцов с караванами не в Астрахань, а непременно в Оренбург, суля большие барыши. Солдатам бдительный заморский купец пришелся по душе, и, казалось, он был им ближе, чем наследный принц кайсацкого хана.

А вообще в Оренбургскую экспедицию народ собрался поразительно разношерстный. Кого только здесь не было! Помимо крещеных и некрещеных татар, башкир, остяков,

чувашей и вогулов, в крепости у устья степной реки Орь находились и другие узкоглазые и скуластые представители многочисленных сибирских племен. Бог весть для какой цели неуемный Кирилов собрал всех в одну кучу. Даже суетливый лекарь-попрыгунчик, и тот, как выяснилось, оказался не из русских. Тоже, видно, пришелец из теплых стран: постоянно зябнет, даже рыжие бакенбарды топорщатся от холода. При этом трудно найти более деятельного и беспокойного человека. В день один раз непременно проведает ханзаду, осмотрит, ощупает его, заставит показать язык, потом ободряюще хлопнет по плечу. Вертлявого лекаря необыкновенно почитают в крепости все; за ним все бегают, каждое его слово ловят, на все лады повторяя: «Доктор Родэ!», «Доктор Родэ!»

И только казахи воспринимали его как назойливого, болтливого чудака. Почему-то лекарь охотно приходил к ним и начинал бесконечно расспрашивать о том, о сем. При одном только его приближении ханзада испытывал нечто похожее на озноб. Ему было неприятно, что лекарь каждый раз заставлял его раздеваться. Неприятны были и прикосновения его всегда холодных пальцев. Батыр Котыр, завидев его, тоже поневоле морщился. Едва переступив через порог, лекарь стремительно бросался к казахскому батыру и приветливо протягивал ему руку. Батыр приходил в негодование:

— Прочь, негодник! Небось не правоверный, совершивший паломничество в Мекку. То чьи-то подмышки чешешь, то кому-то пах погладишь, а теперь мне руку свою опоганенную тянешь? Иди, вымой сначала!

И указывал подбородком на кумган с теплой водой, приготовленный для омовения.

Лекарь, улыбаясь, опускался на корточки, мыл над медным тазом руки, тщательно вытирал их платком. Только после этого у батыра по обыкновению теплело лицо.

— Ну, козел егозливый, о чем же еще спросить хочешь?

Вот и сегодня лекарь начал что-то быстро-быстро лопотать, а постоянно сопровождающий его пронырливый башкирец Юмаш услужливо переводил его слова:

— Почтенный батыр, этот человек, оказывается, собирает сведения о разных способах лечения, распространенных среди киргизов, то есть, я хотел сказать, среди казахов. Он просит вас рассказать, что вы об этом знаете. Вам это, говорит, зачтется.

— Ну ты, трепло, тоже скажешь! Зачтется! Чего ради

стану я распинаться перед каким-то волосатым иноверцем?! Разве что лишь забавы ради?.. Пусть спрашивает!

Юмаш посмотрел на длинноносого, бледнолицего юнца лет двенадцати. Рассказывали, что он из немцев. Длинноносый юнец посмотрел на волосатика-лекаря. Тот что-то прохрипел, точно задыхающийся хворый верблюжонок. Его лепет тотчас подхватил длинноносый юнец и усердно зашлепал губами, будто жевал жвачку. Едва он умолк, услужливо забалабонил проныра башкирец, с улыбкой глядя на насупившегося батыра Котыра.

— Господин доктор Родэ интересуется, какое применяют лечение киргизы, то есть казахи, при...

— Ты что это, неуч, заладил тут «то есть», «то есть»?! Ты что, до сих пор киргиза от казаха не отличаешь?!

— Ради аллаха, не сердитесь, батыреке! Это просто привычка у меня такая...

— Да пусть баба моя помочится на такую твою привычку! Говори по-человечески! А то стрекочет, как сорока... «то есть», «то есть».

Юмаш угодливо захихикал, стараясь унять гнев вспыльчивого батыра.

— Батыреке, этот человек спрашивает, как казахи лечат глазные болезни?

— Э, болезни ведь разные бывают. Вот по-разному и лечат. Если, скажем, глаз наветрен, к нему прикладывают ветку, смоченную в растопленном масле или в кипяченом верблюжьем молоке. Можно просто приложить теплую печень только что зарезанной ярки. Или, на худой конец, следует баранье ребрышко подогреть на огне и осторожно прижать к глазу. И опухоль снимет, и гной выдавит. Если, скажем, глаз ослепило яркое солнце или снег блескучий, то следует носить повязку из старого войлока. А бельмо снимают так: дробят и растирают в порошок жемчуг, перемешивают с рыбьим жиром, мазь накладывают на тонкий кругляшок из кожи и накрепко прикладывают к больному глазу. Или заставляют дуть в глаз единственного у матери ребенка непременно натощак. Если же образуется ячмень, то привязывают иголку или заставляют промывать глаз мочой ребенка.

Проныра Юмаш, растягивая слова, будто читал суру из Корана, тщательно пересказал ответ батыра длинноносому юнцу. Длинноносый юнец еще более многословно изложил его пересказ волосатому лекарю. Волосатый лекарь, склонившись над тетрадью, принялся быстро-быстро строчить

пером. Батыр Котыр, весьма довольный собой, насыпал из роговой шакши-табакерки большую горсть бурого насвая на ладонь, помял, уплотняя, зелье большим указательным пальцем и, заложив насвай за губу, привычно цвиркнул тонкой струйкой меж зубов в сторону двери.

Через некоторое время, по обыкновению поерзав, Юмаш вновь залебезил:

— Лекарь-мурза спрашивает, что киргизы...

— У, затопчу твою дочь! Сколько баранов скормили тебе казахи, а ты все про киргизов долдонишь...

— Ойбай, батыреке, виноват, виноват... Господин Родэ спрашивает, к каким лечениям прибегают казахи при головной боли.

— Это когда башка, что ли, болит?..

Батыр задумался. Он не нашелся сразу, что ответить, ибо представления не имел, что такое головная боль. Правда, в стычках раза два хватили его дубинкой по темени, но то не в счет. Тут он вспомнил, что старшая его жена часто мучается «кольцевой хворью», при которой, как говорила она, голову будто обручем стягивает. И, вспомнив это, обрадовался, заговорил уверенно, важно, с видом знатока:

— Значит, когда болит голова, делают вот что. Чашку чистой воды выплескивают в потолок юрты у входа. Потом капли собирают и увлажняют ими волосы. Если это не помогает, надевают на палец новое серебряное кольцо. Или: если голова болит у женщины, надо зарезать барана, если у мужчины — ярку и обернуться в теплую шкуру и улечься спать... Впрочем, так лечат простуду, а не головную боль... Да, да, ошибся малость, запамятовал... Вот, вспомнил еще одно средство от головной боли. При восходе солнца или на закате наполни деревянную чашу водой и брось туда по три зернышка перца и гвоздики. Потом усади больного лицом в сторону священной Мекки и, набрав из той чаши полный рот воды, обрызгни ему грудь, бока и спину. Потом трижды проведи пустой чашей по голове больного и выбрось ее подальше...

— Голову, что ли?!

— Чашку, дурень! Неужто не понятно?..— Батыр ожег взглядом башкирца.— Потом... это... укрой больного девятью одеялами и оставь его одного. Понял?..

Волосатый лекарь удивленно вскинул брови, даже на минуту застыл с открытым ртом, потом, продолжая покачивать головой, склонился над тетрадкой.

Батыр, выковыряв поблекшую жвачку насвая из-за отвисшей губы, поплевал еще усерднее, вытер подбородок и принялся щипать-теребить жесткие усы.

— Батыреке, а что делают, когда разболится зуб?

— О, аллах, неужели твой нечестивец и этого не знает?! Как же он до сих пор людей лечил?! Это проще простого. Белену знаешь? На каждом шагу в степи растет. Берут зерна белены, высыпают в раскаленное в сковороде сало и заставляют вдыхать горячий пар. Голову при этом укрывают чапаном, чтобы пар не рассеялся. Рядом ставят чашу с водой. Слюна должна капать в чашу. Потом начинают заговаривать боль — кликать червя, который точит корень зуба. Вот так! Слушай!

Батыр опустился на колени, затянул-завыл высоким голосом:

Стервятник-ястреб, ястребок!
Кликни родичей в кружок.
И этих, и тех,
Собери всех!
И желтоглавого,
И черноглазого,
И шипящего,
И свистящего,
И когтистого,
И задиристого.
Ворог подлый захватил летовку,
Ворюга подлый захватил зимовку.
Прилети, ястреб, через море,
Одолей долины-горы,
Приди-приди,
Червя схвати,
Раздави,
Боль уйми!

Глаза батыра страшно выпучились. Рябое одутловатое лицо посерело. Длинноносый юнец застыл на месте, точно вбитый в землю кол. Не посмел шелохнуться и вертлявый лекарь. И только у Юмаша от сдерживаемого смеха затрясся-задергался живот под мерлушковым полушубком, точно хвост годовалой козы, дорвавшейся до сочной травки на лужайке. Батыр люто скосился на него и оборвал песню-заклинание.

— Эй, чего трясешься, балбес?! Или тещину стыдуху подглядел? А?!

Юмаш задохнулся от смеха, поперхнулся, побагровел весь от натуги.

— Ойбай, батыреке... разве я над вами смеюсь? Над собой я смеюсь! Как я им, скажите на милость, все это объясню?!

— А-а... Ну, это уж твоя забота!..

Батыр, успокаиваясь, вновь потянулся за шакшой-табакеркой. Двое толмачей и лекарь смиренно перешептывались, точно провинившиеся дети перед суровым отцом. Глядя на них, батыр Котыр самодовольно усмехнулся, почувствовав себя храбрецом, обратившим толпу врагов в бегство.

Еще некоторое время спустя Юмаш, заметно робея, спросил:

— А как поступают казахи при ножевых ранах? Или от сабли, меча?

— Что значит — как поступают? Как положено, так и поступают. Ну, лист лопуха к ране прикладывают, или сухой кизяк, лепеху коровью, обернутую в тряпицу, или еще паленую кошму.

Лекарь старательно заскрипел пером по бумаге.

— Еще этот человек интересуется, какие применяются средства против укусов змеи, собак?

— Если ужалила змея, укрывают потником. Укушенного собакой проводят промежду ног ядреной бабы.

Толмачи и лекарь двусмысленно ухмыльнулись.

Юмаш, явно боясь разгневать батыра, перевел очередной вопрос любопытного чужеземца.

— А встречаются ли в вашем народе больные падучей или бешенством?

Батыр метнул на гостей недобрый взгляд, как бы удостоверяясь, не смеются ли над ним. Юмаш весь сжался и опустил глаза, точно провинившийся мальчишка.

— Ну как же? В любом народе всякие встречаются. И юродивые, и бешеные. В кого вселился бес, тому за пазуху суют живого зайца.

Ответ батыра Юмаш кончиками губ, тихо изложил немцу-подростку, а тот, лопоча по-своему, кое-как пересказал лекарю.

А вопросы лекаря сыпались, как из дырявого мешка. Он погрыз в задумчивости кончик пера и выдал очередной вопрос, от которого у бедного Юмаша глаза на лоб полезли.

— Ба-ба-батыреке,— начал он, запинаясь.— Этот человек спрашивает, что вы знаете о женских болезнях?

— Что-о?!

— Ну, это... о женских болезнях что, говорит, знаете?..

— Вот шельмец! Откуда мне знать про женские болезни? Он меня за бабу, что ли, принимает? Или думает, что бабы про свои хворости мне доверчиво рассказывают?! Я-то полагал, что он меня всерьез расспрашивает, а выходит, он надо мною потешаться вздумал?!

Батыр не успел в гневе вытащить камчу из-за голенища, как Юмаш юркнул за дверь. За ним поспешно ретировались и остальные двое.

Ханзада Ералы, присутствовавший при этой беседе, весело расхохотался и схватился за живот. Батыр поначалу опешил, не зная, возмутиться ему или обидеться. Но потом передумал, сунул камчу вновь за голенище и хвастливо усмехнулся:

— Слава аллаху, хоть ханзаду развеселил...

Чудаковатый лекарь и после этого случая наведывался не раз к казахам, но уже не осмеливался задавать неуместные вопросы.

В самом деле, странный какой-то народец! Всякого, кто не из ружья палил, а шкрябал пером по бумаге, они были склонны называть ученым или даже мудрецом. Но разве мудрец так себя ведет? Мудрец, насколько это известно батыру Котыру, держится степенно, отрешенно, ходит в высоком тюрбане и не расстается с медным кумганом. Несколько раз на дню он удаляется на почтительное расстояние от аула, неторопливо совершает омовение, потом, вернувшись в юрту, открывает огромную, тяжеленную книгу в кожаном переплете, которую не всякий и поднимет, начинает ее листать и благоговейно шевелить при этом губами и тихо бормотать что-то. Истинный мудрец, мусульманский книжник, никогда ни о чем не расспрашивает. Он постиг все науки, и потому с вопросами все обращаются к нему. И мудрец, оглаживая длинную белую бороду, отвечает многословно и витиевато, со множеством туманных слов, и люди внимают ему затаив дыхание, с восторгом и благодарностью. Мудрецы же этих нечестивцев, аллах свидетель неучи какие-то. Сами ничего не знают, а только и делают что других про всякую чепуху расспрашивают. Особенно поразил казахов один долговязый чудак, напяливший на глаза огромные, под стать колесам кокандской арбы, очки. Бедняга, бывало, часами томился у какой-нибудь сусличьей норки. Целыми днями зарисовывал жучков-паучков, ящериц и мышей и приставал с назойливыми расспросами: «А как

это называется по-казахски?» «А как по-башкирски?» Спасу от него не было. К счастью, уехал в поход с начальником экспедиции, дав тем самым покой ушам. Не то замучил бы дурацкими вопросами: «Какая из них женская особь, а какая — мужская?», будто у скотоводов только и забот, что лягушек и жучков разводить. Этот долговязый очкарик тоже слыл у них ученым, говорили, что про травы и животных якобы все на свете знает. Тоже мне знаток нашелся, если, дожив до зрелых лет, не ведает, как происходит случка у верблюдов!

Котыр-батыр горделиво ухмылялся: шутка ли, он, безграмотный степняк, конокрад-барымтач, который всю жизнь только и делал, что скакал на лошади и размахивал увесистой дубиной, знал то, что и не снилось этим яйцеголовым мудрецам! Поневоле возгордишься тут!

Хвастливый, шумный казахский батыр и в самом деле привлекал внимание своей колоритной фигурой и непосредственностью. В последнее время к нему зачастил еще один чудак-рисовальщик. Он был неразлучен с конторским служащим по прозвищу Сартайлак. Оба худощавые, длинноногие, они охотно слонялись по землянкам и мазанкам и тоже обо всем на свете расспрашивали и делали зарисовки. Они поразительно подходили друг другу. И как-то обходились без услуг толмача Юмаша. Объяснялись с горем пополам, мешая русские, казахские, башкирские, татарские и бог весть еще какие слова. Говорили, что неизменный спутник Сартайлака — чужеземец, из англичан. Вроде как купец. Прибыл в эти края с единственной якобы целью: выяснить, чем и как следует торговать со степняками. Но, судя по всему, умел он многое. В том числе охотно и умело рисовал.

Иногда он нежданно-негаданно вваливался к ханзаде и Котыру и ошарашивал с ходу:

— Ради бога, умоляю вас, не двигайтесь, не шелохнитесь. Я мигом запечатлею вас в такой позе!

И начинал быстро-быстро водить по листу плотной бумаги то карандашом, то углем. Сколько бумаги он извел, рисуя попеременно то батыра, то юного ханзаду! А кончив работу, совал лист под нос и назойливо допытывался:

— Ну, как? Похож или не похож? А?!

И что тут скажешь? Может, и похож. Во всяком случае, по тощей, длинной шее ханзаду узнать вполне можно было.

И чего только не рисовал этот мазила! И огромные, войлоком отделанные изнутри сапожищи Котыра, и его

короткую, увесистую плеть-доир, и замызганный, драный малахай — все точь-в-точь изобразил на бумаге. Ни одной степняцкой одежки не оставил. При этом каждую одежку рисовал на отдельном листе, подписывал его, расспросив у батыра название той или иной вещицы, и аккуратно складывал в папку.

— Для чего это нужно?— недоумевал батыр Котыр.

— Как для чего? Для науки это очень-очень важно,— внушал ему Сартайлак.

— Неужели для твоей науки нет ничего важнее моих портков с болтающейся мотней?— простодушно смеялся батыр.

И долговязый мазила вместо того, чтобы оскорбиться, начинал тоже хохотать.

Как бы там ни было, эти посещения и беседы на многое открыли ханзаде и батыру глаза, к чему в последнее время не подпускали татар и башкир. О многом получили они достоверные сведения. Выяснилось, что прошлой осенью начальник экспедиции и Мамбет-мурза вовсе не прогулки ради сорвались вдруг с места и отправились с вооруженным отрядом в далекий поход. Оказалось, башкиры, преследовавшие экспедицию по пятам с самой Уфы, совсем уж разбушевались. Вот Кирилов и Мамбет-мурза и отправились спешно на усмирение дерзких мятежников. Поговаривали, что волнения охватили всю Башкирию. Потому-то они здесь, в недостроенной крепости, и сидят столько времени на голодном пайке. В прошлую осень Мамбет-мурза снарядил в крепость обоз — аж шестьсот саней!— с оборудованием и зимней одеждой; так на этот обоз возле реки Ай напала шайка башкир во главе с батыром Кулеке и разграбила его. А вот совсем уж недавно жители села Саян-тес едва не перебили весь отряд Мамбета-мурзы, собиравшего продовольствие для оставшихся в крепости голодных солдат. Сам толмач, сказывают, поджег все зимовье, в котором располагалась часть отряда Мамбета-мурзы. На следующий день исчезли в огне еще пятьдесят кишлаков.

Послушать — так волосы дыбом встают. В декабре прошлого года, когда особенно лютовали морозы, комендант крепости Чемодуров, как на грех, спешно отправил в поход по Сибирской дороге пятьсот солдат. Через день отряд притащился назад с ощутимыми потерями: пятеро погибли, сто пятьдесят человек были обморожены. С морозом в безлюдной степи шутки плохи. Едва перевалив один-другой перевал, люди стали падать как подкошенные. Вернув-

шись, эти несчастные навлекли на себя гнев и ярость Чемодурова. Он топал ногами и кричал на них с пеной у рта. Через два дня — хотя морозы и не ослабли — был снаряжен в путь еще один отряд. Но его постигла еще более горькая участь: из семиста пятидесяти человек остались навечно в степи пятьсот, восемьдесят человек обморозили руки и ноги. Их, оказалось, отправили в какой-то русский городок за Яиком, чтобы раздобыть зимнюю одежду и хоть какое-нибудь продовольствие. Обе вылазки кончились, таким образом, неудачно, и ждать помощи было неоткуда. Крепость была обречена на голод. Видно, этого и добивались мятежники, чтобы раз и навсегда отбить охоту у тех, кто покушался на их вольные просторы.

Ханзада и Котыр-батыр и не ведали об этих ужасах. Они по-прежнему жили в тепле, были сыты, одеты, обуты, и о том, что творится вокруг, даже не догадывались.

А зима и в самом деле выдалась на редкость жестокая. Бураны неистовствовали неделями. Пурга намела причудливые сугробы. Не так-то просто было высунуть голову на свет божий. Крохотное окошко в землянке покрылось наледью. Ветер в печных трубах завывал на все лады.

Какая уж тут работа в холоде и в голоде! Свежие рвы тут же занесло, засыпало снегом. Крепостные стены остались под сугробами. По ним голодные волчьи стаи пробирались в крепость, кружили возле землянок, жались к торчавшим из снега печным трубам, из которых струился теплый жилой дух, и выли ночами напролет, надрывая душу. Случалось, солдаты подстреливали хищников метельными ночами, но к утру никто даже следов не находил. Никто не знал, куда девались трупы.

Голод становился все ощутимей. Запасы продовольствия иссякли уже в начале декабря. Голодные солдаты косились на мешки и переметные сумы мещеряков и вогулов, которые те ревностно оберегали и на ночь клали под голову. Вскоре, однако, кончились и эти крохи. Жадные огоньки вспыхивали в голодных запавших глазах при виде тяглового скота, поголовье которого также катастрофически сокращалось. Немало людей погибло, занимаясь подледным ловом в ближних озерах и старицах. Иные проваливались в трясину на болотах и топях, где устраивали облаву на диких кабанов. Другие, охотясь на зайцев, сбивались с пути, бродили в непролазных прибрежных зарослях и становились добычей шакалов. Те, что дожили до весны, вконец ослабли и опухли от голода.

Ближе к весне юный ханзада и вовсе не находил себе места. Едва дождавшись рассвета, он отправлялся к Чемодурову и, переборов неловкость и стыд, просил лошадь для прогулки. Хмурый и раздраженный комендант, у которого голова и без того шла кругом, еще более темнел лицом от такой просьбы. Потом, пробурчав что-то, вызывал помощника. Через некоторое время появлялся помощник в скосопяченных сапогах, поправляя на ходу помятые голенища. Комендант кивком головы сумрачно указывал на ханзаду. Все сразу смекнув, помощник в скосопяченных сапогах тотчас выходил с Ералы во двор и некоторое время молча переминался с ноги на ногу, изображая, что напряженно думает. Наконец он, все так же молча, направлялся в сторону конюшни. Дойдя до нее, ожесточенно пинал-бухал в гулкие ворота. Только что угодливый, подобострастный перед своим начальством помощник принимал тут грозный вид, свирепо вращал глазами, подчеркивая свою значимость и власть. В воротах показывался рыжеусый, плосконосый казак. Помощник коменданта, подражая начальству, кивал подбородком в сторону ханзады и с чувством исполненного долга, хлюпая сапогами, убирался восвояси. Теперь важный, значительный вид принимал уже плосконосый казак — старший конюший. С откровенной неприязнью мерил он взглядом ханзаду и батыра Котыра и, витиевато выругавшись, кричал кому-то в глубине конюшни. После этого, досадливо приподняв ворот замызганной шинели, уходил прочь. Через некоторое время появлялись пятеро верховых казаков с двумя заседланными конями в поводу. Семеро всадников выезжали за крепость и направлялись легкой, ровной рысью к черным холмам, простиравшимся к востоку.

Во все стороны открывались погруженные в зыбкую синь дали. Поразительно: куда ни посмотри — ни одной живой души. Ни кочевья, перебирающегося на весенние пастбища, ни одинокого путника, ни даже спешащего по своей надобности зверька. И суслики, и барсуки сплошь повымерли. Голодные солдаты кайлами и лопатами выкопали их из норок живыми еще зимой. Мертво вокруг! Не то что зверька какого-нибудь, клубка пыли, взметенного ветром, и то, пожалуй, не увидишь.

До рези в глазах всматривался ханзада в весенние дали, но пустынны, безжизненны были окрестности. Так было вчера. Так же — сегодня. Так будет, наверное, и завтра. Ни малейшего признака жизни на холмах. Впору взвыть от тоски.

Но ханзада не терял надежды. Все с большим упорством каждый день выезжал он из крепости, взбирался на вершину холмов и, вытянув тощую мальчишескую шею, подолгу всматривался в дрожащую полоску у горизонта.

На исходе месяца мамыр вдали, у горизонта, замаячили сизые тени. Перед глазами юноши, наполненными слезами тоски, ожили полные соблазна сказочно дивные видения...

Уплывали, растворяясь в степи, дни и недели. Прошла уже и половина месяца маусым. От излучистых речушек, падавших с испещренных ущельями древних Мугоджарских гор, издали похожих на скелет растерзанной волками лошади, до могучих, полноводных рек Иргиз и Тургай тянулась неоглядная ширь. Плотный травяной покров укутал ныне степь. Зима выпала на редкость суровая и снежная, и твердый, глянцевитый, ледяной корочкой покрытый наст долго не поддавался разрушительной силе теплого и настойчивого южного и восточного ветра. Бурый ноздреватый снег долго темнел слежавшимися пластами на северных склонах Мугоджар и в ущельях, саях, густых зарослях Каракума, куда не проникали лучи благодатного весеннего солнца. Эти островки напоминали скромные запасы топленого масла, припрятанного бабой-скупердяйкой в уголочке ягнячьей брюшины. Когда солнце, поднимаясь все выше, набрало силу и растопило-таки обильные снега, талые воды залили всю степь, превратив ее ненадолго в море, сливавшееся с голубым небом. Меловые горы, разбросанные там и тут, выделялись в этом море призрачными белыми островками.

Наконец ушла и вода. Но земля никак не оттаивала, не согревалась. Размокшая, неприглядная, еще не ожившая, простиралась степь. Никак не могла проснуться, отойти от долгой зимней спячки. Но уж близок был ее час. Наливались живительной силой золотистые снопы лучей, струившиеся от раскаляющегося с каждым днем огненного диска в зените безбрежной синевы. Примчался издалека распаленный жаждой любви бурный и неистовый месяц Сарыатан, согревая истомившуюся по нему, по его ласкам и горячему дыханию землю. Уже в первые дни она смягчилась, подобрела, густой парок закурился над нею, а через неделю вся покрылась нежно зеленеющим пушком. В ней затеплилась жизнь, неистребимая, ликующая, набиравшая стремительно буйную, хмельную силу. Сразу ожили, прихорошились тальник и тростник, еще недавно зябко дрожавшие на холодном ветру, точно нищий под дырявым,

заскорузлым чапаном. Неприглядно заголившиеся песчаные дюны стыдливо прикрылись зеленым подолом и украсили макушку яркими цветами. Одинокие щербатые холмы, похожие на отбившихся от гурта верблюдов, тоже вырядились в полосатую пестрядь и как бы приосанились, точь-в-точь изрядно потрепанный вдовец, решивший по весне приударить за какой-нибудь бабенкой.

Каждый укромный уголочек земли обновился, принарядился. Девственно чистая, убранная степь застыла в томительном ожидании. И вскоре ее огласили бодрым пением перелетные птицы. Тотчас ожили пустынные равнины. Птички свили гнезда под дернистой пушицей и в ветвях ивняка, приступили к извечной заботе о потомстве. Степь наполнилась звуками — криком журавлей, кряканьем уток, гоготом гусей, клекотом орлов. В кустах бойко шебаршили рябчики.

С наступлением теплых дней буйно пошла в рост трава. Неведомо из каких щелей вылезли всякие жучки, паучки, забегали, засуетились, зашныряли вокруг. Возле норок деловито заверещали суслики, тушканчики. Озабоченно принюхивались барсуки. Зашмыгали в кустах облинявшие лисы. Подкрадывались, шевеля жалом, к птичьим гнездам змеи. Даже в безлюдной степи жмущиеся к земле осторожные черепахи, то высовывая на миг крохотные, круглые головки, то поспешно втягивая их в панцирь, тоже ползли-спешили куда-то. Быстро-быстро перебирая тонюсенькими ножками, неслись ежи и, вдруг почуяв какую-то опасность, мгновенно замирали, сворачиваясь в клубок.

Да, многообразная жизнь ликовала в степи. И все же чувствовалось: безбрежная ширь ожидала в нетерпении еще кого-то. И крутосклонные холмы, и пологие черные увалы, и прозрачные степные озера, казалось, замерли в ожидании, тоскливо глядели вдаль, туда, за южный горизонт, откуда вот-вот, со дня на день должен был появиться, вымахнув на вершину перевала, кто-то желанный, долгожданный. И пока он не появится, не объявится на этой равнине, степь при всем своем многообразии все равно не обретет своей подлинной красы и истинного смысла.

Но вот уж и весна на исходе. Степь вся преобразилась. Густой листвой покрылись кусты. Все травы в полном соку. Даже колючки на кустарниках помягчели. В низинах пылают тюльпаны. В глазах рябит от множества цветов. Разноцветные кущи караганника, терескена, реповника, чернобыльника издали притягивают взор. Воздух, пронизан-

ный синью, дрожит. Зыбится хмарь у горизонта. В размоpенную, охваченную истомой степь вереницей тянутся с юга стада диких коз и каракуйруков. Но и эти бесчисленные стада быстроногих животных не могут заполнить бескрайнюю ширь. Степь приготовилась к большому, шумному торжеству. И главный праздник еще впереди. Самые дорогие гости еще не прибыли.

И вдруг в один из долгожданных дней на вершинах далеких перевалов появляются небольшими группками всадники. Они долго кружатся на одном месте, обозревают окрестности, что-то оживленно обсуждают. Потом часть из них решительно направляется в сторону тучных выпасов вдоль Иргиза, другая часть — к темнеющим вдали отрогам Мугоджарских гор.

В руках всадников длинные копья и сверкающие секиры; они едут плотной кучкой, собранно и настороженно, будто готовясь к схватке с невидимым врагом. Это дозорные, высланные вперед приближающимся в эти края кочевьем. Дозорным полагается быть при оружии и начеку. Большинство дозорных — мужчины в летах, многоопытные, многое повидавшие. Молодежь при них ходит в коневодах. Все примечают дозорные, громко, без умолку разговаривают, делятся впечатлениями. По нутру им нынешние тучные пастбища. Радуясь про себя, то и дело поплевывают по сторонам, чтобы не сглазить, благоговейно поминают всевышнего. Иногда между дозорными вспыхивают споры: где лучше, где разумнее расположиться кочевьям. Спорят шумно, горячо. Поднявшись на вершины холмов, зорко вглядываются в дали, размахивают копьями, что-то прикидывают. Наконец, приняв решение, отправляют нарочных назад, к кочевью, с наказом, а сами едут дальше, все больше углубляясь в нарядную степь.

Приглядев удобное место для стоянки аула, кто-нибудь из дозорных спешится, отвязывает от тороков колышек, вонзает его в податливую почву и привязывает к верхушке свой пояс или камчу в знак того, что именно здесь расположится его аул. Потом садится на коня и едет с дозорными дальше выбирать удобные стойбища для других аулов.

И чем богаче пастбища, тем веселее на душе дозорных. Далеко разносится их громкий говор и смех, и все бойчее бегут под ними крутобокие лошадки.

Вскоре, вслед за дозорными, появляются из-за перевалов медленно бредущие отары. По их краям едут на рабочих ослах пастухи. На стригунках несется вскачь ошалевшая от

воли ребятня. Обычно отары отправляют на летовку пораньше, заблаговременно, чтобы овцы по пути не отощали, с частыми остановками. В отарах бредут и несколько верблюдов, груженных необходимым в долгом пути скарбом. Если вдруг задождит или становится свежо, сыро, чабаны ставят походные юрты. В теплые звездные ночи спят под открытым небом прямо в одежде, подстелив старую кошму, в центре круга за волосяным арканом, за который не проникает ни одна ползучая тварь. Самый старший из пастухов спит, намотав на руку конец аркана, к которому привязан баран-производитель, вожак отары — так надежнее: отара за ночь не разбредется.

Пища у чабанов тоже всегда при себе. В мешках из козьих шкур они хранят терпкую молочную закваску. Подоят овец, размешают в турсуках свежее молочко с айраном — получается сытный и вкусный напиток коиртпак. Из густого, жирного молока поздно оягнившихся овец готовят дрожащее, как студень, молозиво. Забавы ради стравливают круторогих баранов-кошкаров и любуются их схваткой. А то рассказывают сказы о древних батырах или загадывают друг другу загадки. Наиболее голосистые заводят песню:

На холме пологом — тенистая сосна,
Стан у любимой — тонкий, как струна.
Душа у любимой — как белая пташка,
Сокола завидев, трепещет она.

Нет лучшей поры для чабана, чем многодневная кочевка на летние пастбища! Он не только наслаждается простором и волей, не только всласть пьет терпкий коиртпак из турсуков, но и предается сладким и дивным мечтам, радуется безбрежности жизни, жадно приглядывается к чудесам природы, восторгаясь ее глубинным смыслом и мудрым созвучием и согласием. Сколько чудес и тайн природы раскрыли казахам пастуший посох да конские копыта!

Зачуханный и затюканный, познавший вдосталь и холод, и жару чабан пасет не только овец. Он всегда и всюду размышляет. За медленно бредущей отарой неотступно бредут и его думы. Когда овечки усердно пощипывают травку, нагуливая жирок, чабан, вольно развалившись на пригорке, подолгу смотрит в небо и предается бесконечным раздумьям. Рождению многих дивных сказов-дастанов, сказок, песен, загадок и скороговорок казахи обязаны непритязательному чабанскому племени.

Что и говорить, чабан с посохом в руке — примечательная фигура в неоглядной казахской степи. У него открытая душа, чуткое сердце, зоркий глаз. И это понятно. В то время, когда большинство степняков зимой прозябает в задымленных юртах, а летом прохлаждается где-нибудь в тенечке, кто неизменно остается с природой один на один? Чабан. С кого спросится за потерю паршивого козленка? С чабана. На ком срывает зло свирепый бай? На чабане. На чью долю выпадает больше всего испытаний и мытарств? На долю чабана. Кто прежде всего испытывает неустойчивость бытия и обманчивость мира? Все тот же чабан.

Он порой готов свихнуться от одиночества. Все, что происходит в степи, не минует его. Всклубится за несколько верст пыль, и чабан точно определит: скот ли пасется, враг ли скачет, и первым о том известит. Уши его обостренно ловят все новости. Ни один путник в степи не проедет мимо чабана. Отбилась ли скотина от стада — спрашивают у него. Проскачет ли смутьян какой — обратятся к нему. Путник спросит — чабан ответит. Вопрос — ответ, ответ — вопрос, и вот уж рождается слух. А слухами земля полнится.

Пора кочевок — чабанская отрада. Когда скот перегоняют с зимних пастбищ на весенние луга, потом — на летовку, потом — на осенние выпасы и, наконец, снова к зимовью, к чабанам спешат и дети, и подростки, помогая ему в трудных переходах и разделяя постылое одиночество. Сколько новостей услышит от них в эту пору чабан! Да и сам он за эти дни наговорится всласть.

Сколько разнообразных сведений о живой природе, о погоде, о животном мире, о приметах и явлениях в жизни, о дорогах-тропинках узнавало не одно поколение казахов от простых пастухов! И грубое, непотребное словцо, и соленые шутки, и непристойные остроты, скабрезные стишки, и о том, что не осмеливались говорить родители, о сокровенных тайнах в извечных отношениях между мужчиной и женщиной — все и обо всем узнавали любознательные подростки от словоохотливых чабанов во время многодневных кочевок.

Наконец отары спустились в долину, отведенную дозорными тому или иному аулу; чабаны обустроились, поставили шатры-балаганы, перевели дух после утомительного пути, и тут — вот оно, начало долгожданного торжества!— на вершине ближнего перевала показалось само красочное кочевье. Впереди длинной вереницы едет, величественно

восседая на украшенном дорогими коврами могучем дромадере, старшая жена аульной головы, хозяйка главной, большой юрты. Кочевья малых юрт, то есть юрт сыновей или младших братьев главы аула, следуют на почтительном расстоянии друг от друга. Каждое кочевье возглавляет покладистый аман, выхолощенный верблюд, а завершает черный нар-дромадер, навьюченный деревянным потолочным кругом, остовом юрты — шанырaком. Из ларей-кебеже, привязанных к бокам верблюдов, высовывает головенки малышня, точь-в-точь птенцы из гнезд. Кочевье сопровождают с обеих сторон группы верховых. Серебристо позванивают монеты, вплетенные в длинные косы девушек и молодух.

Мерно, монотонно бредет утомленное долгой дорогой кочевье, но при виде будущего становища с прозрачными озерками, с вольными выпасами, задыхающимися от разнотравья, всех охватывают радость, восторг. И тотчас вспыхивают оживленный разговор, веселый смех, шутки.

Только что безлюдный край преображается на глазах. На самом видном возвышенном месте, подальше от душной низины, от мошки и комарья, ближе к холмам и перевалам, обдуваемым свежим ветерком, неподалеку от овражка, по дну которого шумит-течет речка или днем и ночью бормочет родничок, ставятся, конечно же, белые байские юрты. Пусть манят взор, пусть издалека бросаются в глаза, чтобы по всей окрестности знали: здесь раскинулся аул знатного человека. А уже подальше от белокошомных юрт байского аула, в низине, возле лощин и у подножья холмов теснятся невзрачные, сопревшие от солнца и дождей черные юртешки и шатры-балаганчики работников и обслуги. Так уж повелось исстари: все броское, красочное, богатое лезет вверх, занимает почетные вершины, а всему уродливому, неприметному, бедному отводится укромный уголочек где-нибудь на задворках.

И все равно зимняя тесень сменяется летним простором, и, может, в этом и заключена вся прелесть кочевой жизни.

Полукругом останавливается кочевье у подножья холмов. Вот уж развьючены верблюды и выгнаны подальше на выпас, а на широком лугу, на месте будущего аула, на густой зеленой траве запестрели домотканые паласы и ковры, циновки и боковые решетки юрт, выкрашенные хной унины и потолочные круги-шанырaки. Вскоре, словно в волшебной сказке, выросли на открытом лугу белокошом-

ные, одна другой наряднее юрты, опоясанные разноцветными лентами из пряжи. Казалось, над весенней степью пролетела чудо-птица Самрук, проронив невзначай несколько пестрых своих яиц. Тонкой струйкой взвился над очагом дымок. По-домашнему затявкали собаки. Вдали, на выпасах, ревели верблюды, ржали лошади, блеяли овцы.

В летнюю пору, когда аулы расположились и поудобней устроились на джайляу, доходит, наконец, черед и до бесчисленных дел, которые все откладывались и отодвигались. Соседние аулы непременно приглашают друг друга в гости, обмениваются взаимными благопожеланиями. Детям, которые начали ходить еще зимой, теперь перерезают ритуальные путы. В честь тех, кто появился на свет нынешней весной, проводятся шильдеханы. Тех, кто покинул юдоль печали еще осенью, зимой или даже ранней весной, поминают именно летом на грандиозных асах-поминках. В эту пору к девушкам на выданье засылают сватов, а жениха для первого знакомства снаряжают в путь к родителям невесты. Проводятся сборища степных судей, биев-златоустов для решения спорных вопросов и давних тяжб. Все эти бесконечные и неотложные дела желательно решить еще до наступления самого знойного месяца шильде. Ведь когда на степь обрушится нещадный зной, ни у кого не бывает особой охоты пировать — ни у хозяина, ни у гостя.

О, да-а... всему свое время. Дай срок, и к приходу знойной поры округлятся, облившись нежным жирком, ягнята раннего расплода. И ярочки войдут в самый сок. И, обретя хмельную силу, станет кумыс густым и терпким, а слой жира под гривой коня упругим и плотным, и кость еще слаще и сочнее. А борец-палван почувствует во всех мышцах прилив мощи, и горячий скакун попросит поводья, чтобы ринуться в лихую байгу...

И это время уж не за горами. Пьянят, дурманят голову запахи луговых трав, дикого лука, прибрежницы и мяты.

Попробуй тут усидеть дома! Нет, не усидишь. Так и тянет тебя из юрты на простор вольный. А выйдешь за аул, оглянешься — дух захватывает. От горизонта до горизонта под легким ветром колышутся житняк и пырей, и чудится тебе, что волнуется безбрежное море. Живым зеленым покровом, точно тугим ворсом, покрыта земля, переплелось разнотравье — и черная полынь, и костер, и овсяница, и триостница, и лиловые еще кусты перекати-поля, и все это дрожит, будто обильное руно барана перед стрижкой. Там, где встречаются редкие такыры и впадины, все еще стоит талая вода.

Даже в безветренный день четко виднеются разноцветные полосы стоялой воды, напоминающие оборки праздничного платья молодухи. Напуганные косяком коней, пришедших на водопой, низко-низко тучей кружатся стаи диких гусей и уток. Игривые жеребята-стригунки, лоснясь гладкими боками, резво вбегают в воду, но, испугавшись сверкнувшей у ног рыбешки, ошалело шарахаются назад к берегу, заваливаясь набок, точно сноп камыша под серпом.

Дальние отроги гор густо усеяны отарами овец. Широко разбрелись они по склонам, уткнулись мордами в сочную траву, и никакая сила не отвлечет это прожорливое четвероногое племя от любимого занятия, и чабаны, получив, наконец, передышку от постылых повседневных хлопот, собрались на вершине холма, предаваясь невинным забавам: угощают друг друга напитком из квашеного овечьего молока, прикладываются попеременно к горлышку бурдюка, потом, усевшись в круг, выкопав лунки, играют в тогуз-кумалак, потом, вскочив,— в пятнашки и догонялки, потом, шалея от избытка сил, устраивают борьбу на поясах.

Овцы, что так вольно пасутся у подножья увалов,— двух- и трехгодовалые. Их стригли еще по пути на джайляу. А молодые ягнята, весенний приплод, гуртятся неподалеку от чабанских стойбищ, в затишье ущелий, возле котловин и стариц. С ягнятами раннего расплода особенно много возни. Одних, связав им ножки, стригут, других — до самой курчавой головки — купают в проточной воде. Стриженные, дрожащие всем тельцем барашки попадают в руки отборщиков — тех самых суровых, в летах, мужчин, которые еще недавно ехали дозорными впереди кочевья и определяли летовки для аулов. Они ловко и умело сортируют ягнят, выделяя отдельно самых крупных, длинноногих и ширококостных, с круглыми курдюками, с белой шерстью, наиболее крутолобых, с изогнутыми в кольца рожками. Часть барашков, которых необходимо выхолостить, тотчас передают немолодым, но сильным мужчинам, мастерам этого дела, которые стоят тут же наготове, засучив рукава. Краснолицые, усатые, с нетерпеливым блеском в глазах, они хватают перепуганных и трепыхающихся барашков, зажимают их, точно тисками, между ног, сильными узловатыми пальцами начинают шарить в теплом, нежном паху бедняг, что-то там нащупывают, старательно мнут, ухватываясь поудобней, потом делают резкий рывок и хлопком по заду отшвыривают от себя прочь. Несчастные барашки, еще не зная, что случилось, не понимая, чего лишились, на какое-то мгнове-

ние застывают, приседая на дрожащие задние ножки, ошалело водят вокруг глазенками, потом, точно спохватившись, пошатываясь, бегут прочь от места позора. Глядя на них, скалят зубы и гогочут мужчины-стригали, время от времени распрямляющие затекшие спины.

В сопровождении многочисленной свиты бай объезжает свои владения. Надо ведь знать, где и как пасется его скот и чем занимаются скотники. Группа верховых трусцой направляется к озеру, где, разбившись на косяки, дремлет на солнышке табун лошадей. Воздух дрожит от звонкого ржанья жеребят, смеха детей и подростков, грубых окриков табунщиков.

В табуне в летнюю пору особенно оживленно и весело. С восходом солнца к широкому лугу у озера, подхватив уздечку, спешат мальчишки. Они пристают к табунщикам, с важным видом волочащим за собой длинный курук — шест с петлей на конце для ловли строптивых неуков. «Агатай! Дяденька!— умоляют они, упрашивают.— Ну пойймай мне стригунка...» Табунщикам приятно, что им сейчас столько уделяется внимания; они, охальники и матерщинники, набивают себе цену, хорохорятся, непотребным словцом прохаживаются по тетушкам да по будущим тещам этих сорванцов, потом, сжалясь над ними, ловят для каждого по стригунку. И вот уже несутся по лугу, потешно брыкаясь, вскидываясь на дыбки, стригунки-неуки. И мальчишки шлепаются на мягкую траву, досадливо морщатся, гладят, потирают ушибленную попку и, спохватившись, со всех ног бросаются вслед. Нет для них более вожделенной забавы! В табуне всегда имеется десяток-другой необъезженных трехлеток и четырехлеток. Их стараются обуздать и укротить крепкие, ловкие подростки и юноши. Изловчившись, взбираются на строптивых неуков, берут их в шенкеля и пускают диким наметом по степи, по склонам холмов, по мелководью озер и речушек, по песчаному бережку, загоняя в мыльную пену.

Бай и его свита внимательно наблюдают за норовом и аллюром укрощаемых стригунков и неуков и заранее определяют, какой из них станет иноходцем, скакуном, покладистой ездовой лошадью или смиренной клячей, пастушьим одром. У почтенных аксакалов беспрестанно дергаются бороды; у горячих джигитов топорщатся усы. Тут же знатоки-лошадники бьют по рукам, заключают азартные пари.

И в самом ауле в эту пору необычайно кипит-бурлит жизнь. В стороне, на вытоптанном пятачке, на аркане,

растянутом на колышках, томятся на привязи жеребята-сосунки. В ноздри бьет запах свежего кобыльего молока. Поджарые пожилые дояры с туго завязанными белыми платками на головах, держа на запястьях кожаное ведерко и опустившись на одно колено, сноровисто дергают-тянут кобылиц за сосцы. Сильные, хваткие мужские пальцы причиняют кобылицам боль, но ноги их спутаны, голова коротко привязана, захлестнута куруком, не вырвешься, даже не дернешься. И кобылицы скалятся, страшно выкатывают глаза, сжимаются все, и дояры резким окриком тотчас их смиряют.

Возле юрт темнеют свежие вырытые земляные печки — жерошаки. Краснозем еще не успел покрыться копотью и сажей. В огромных казанах бурлит, булькает прокисшее молоко — варится курт — кислый сыр. Над котлами средней величины витает сладкий пар — варится иримшик — сладкий творог. Видно, в котел случайно попал кусочек копченого мяса — остаток зимних запасов, и запах копченки вперемежку с густой, золотистого отлива сывороткой дает особый аромат. Но, должно быть, и это лакомство, и смешанные запахи не по нутру затяжелевшей к весне служанке, и она, ублажая свою бабью прихоть, поджаривает украдкой на угле кусок вяленого мяса, завалявшийся на дне холщового мешка, наспех обтирает его подолом и без того замусоленного длинного платья и быстро-быстро грызет, ничего и никого не замечая вокруг.

На приличном расстоянии от белых байских юрт стоят рядком продымленные лачуги-кухни. Здесь на деревянных подставках расстелено множество больших и малых циновок. На них вразброс, точно овцы на выпасе, рассыпаны и сушатся под навесом разноцветные комочки белого и желтого иримшика — творога, соленого, кислого и пресного курта — сыра, густеет балкаймак — кипяченая медовая сметана, заготавливается впрок разная «белая» пища, славное украшение стола щедрого на угощение степняка-скотовода. В тени лачуг, в огромных бурдюках из жеребячьих шкурок дозревает напиток из верблюжьего и кобыльего молока. Из лачуг доносится монотонный глухой стук: то в мехах-сабах мешают, взбивают мутовкой кумыс. Сытный кисловатый дух витает, дразня аппетит, возле кухонь.

А в стороне от всех этих бесконечных житейских хлопот и забот, на возвышенности, куда не всякому положено подняться, белеют нарядные байские юрты. И здесь с утра до вечера не смолкают голоса. Шлепают губами, обсуждая

все на свете, пожилые бабы. Весело судачат, щебечут молодухи. Звонко смеются девицы. За юртами, расстелив широкую войлочную подстилку, теребят, взбивают шерсть. Рядом, набив ряд колышек, прядут пряжу и ткут узоры. Женщины ловко крутят прялку-юлу, девушки из разноцветных лоскутков стегают на шерстяной подкладке одеяла. Пока не переберут и не потеребят всю шерсть весеннего настрига, пока не спрядут ее и не выкрасят пряжу, пока не выткут из пряжи разноцветные узоры и не наложат их на войлок, пока не наделают разных ковров, паласов, дорожек, подстилок, хурджунов, мешков для пряжи, для утвари, для одежды, нарядных лент для юрт и множества других вещей, необходимых в жизни кочевника, не знать отдыха-покоя и слабой половине человеческого рода.

Многое нужно успеть переделать степняку за короткую летнюю пору. Всем забот хватает. Даже беззаботной ребятне, и той не сидится на месте. Играм-забавам нет конца от зари до зари. Избегая взрослых, вечно ворчащих и поучающих, веселые мальчишечьи ватаги собираются на лугу подальше от юрт и гомонят весь день, затевая игры в бабки, в асыки, в чеку, в догонялки, в чехарду. А то разбредаются в кустах приречья и приозерья, собирают гусиные и утиные яйца, ставят силки. После захода солнца, в сумерках, к ним присоединяются подростки, девчонки и начинаются другие игры — в «белое кочевье», в «белую кость» до глубокой ночи.

Нет, неисчерпаемы соблазны и прелести кочевой жизни в благодатную летнюю пору! Об этой поре неотступно, точно наваждение, грезилось юному ханзаде, томящемуся в постылой крепости у устья реки Орь. И на исходе месяца мамыр, когда вдали, у горизонта, замаячили сизые тени, перед наполненными слезами тоски глазами ханзады Ералы ожили полные соблазна сказочно дивные картины.

Дожить бы... дожить бы скорее до этой желанной поры...

Лето было в самом разгаре, и стар, и млад наслаждались его радостями, и только одна Бопай-ханум, старшая жена хана Абулхаира, ходила подавленная и отрешенная. Крупная, рослая, она в последнее время особенно погрузнела, а возле больших лучистых глаз появилось множество мелких морщин. В пристальном ее взгляде мелькало что-то незнакомое, движения, жесты стали неторопливыми, и, казалось, все она делала неохотно, через силу. Ребенок в люльке, искусно вырезанной из кости и укрытой легкой накидкой, беспокойно заворочался, захныкал и, наконец,

сорвался на нетерпеливый, яростный крик, и только тогда, как бы очнувшись, ханша встала и подошла к нему.

В юрту, как заполошенный, ворвался до дерзости своенравный, большеголовый, с беркутиным взором Кожахмет, запихнул за пазуху несколько горстей асыков из висевшего на решетчатой стенке мешка и тотчас бросился вон. Ханша и сыну ни слова не сказала.

У входа в юрту возилась с самодельной куклой семилетняя Зулиха. Заметив, что старший брат куда-то сорвался, точно угорелый, она тоже вскочила и затрусила было за ним, но Кожахмет только хлюпнул носом и отмахнулся на ходу:

— Да отстань ты от меня! Буду я еще с сопливыми девчонками возиться!

И, сверкая голыми пятками, во весь дух помчался к белому такыру, где играли в асыки дети большого аула.

Оскорбленная Зулиха шмякнулась оземь, заколотила ногами, заорала дурным голосом, но, видя, что от этого проку нет, вскочила и бросилась вдогонку. Упрямый Кожахмет не обернулся. Все чаще оглядываясь на ревущую девочку, Туяк некоторое время послушно сопровождал своего дружка, однако не выдержал, пожалел строптивицу и поневоле остановился. Он успокоил запыхавшуюся от бега по высокой траве Зулиху, вытер ей слезы, взял за ручку и трусцой побежал с ней вместе.

Игра была в разгаре. Возбужденный Кожахмет ринулся в самую гущу ребят, оглянулся, нетерпеливо помахал рукой Туяку, дескать, ну что же ты, давай скорей, скорей, однако, заметив рядом с ним медлительную вредину-сестренку, скривился от досады и показал ей издали кулак.

Ханша Бопай, все видевшая из-за решеток с подвернутой кошмой, чуть улыбнулась и с наигранной строгостью пригрозила пальцем озорнику сыну:

— Ну, гляди! Схлопочешь у меня!

Но какое мальчишкам, охваченным азартом, дело до материнских угроз? Проигравший лишается не только асыков, но и должен еще согнуться в три погибели и таскать победителя на закорках. Гомон и гвалт стоят на всю округу. Вон какой-то долговязый оборвыш взгромоздился верхом на ханского отпрыска и подгоняет его, похлопывая по заду, точь-в-точь хивинский торговец-старьевщик на захудалом ишачке.

— А-а... хвастунишка! Так тебе и надо!

Видя, что брат посрамлен и наказан, Зулиха сразу развеселилась и злорадно захлопала в ладошки. Туяк что-то

сдержанно внушал ей, но озорница вся оказалась во власти мстительного чувства. Задергала головой, запрыгала, ликуя пуще прежнего.

— Так тебе и надо! Так тебе и надо!..

Кожахмет самолюбив и вспыльчив. Как бы не задал сестренке трепку. Но, к счастью, Туяк ведь рядом, заступится, не даст в обиду.

Туяк, да ниспошлет создатель ему счастья-удачи, очень добр и не по годам разумен. На него можно во всем положиться. На другой же день, как только ханский аул расположился здесь на летовку, он в дар названому отцу, как того требует обычай, привел под уздцы своего единственного стригунка. Хан обрадовался смышленому мальчику, принял его подарок и распорядился оставить Туяка на все лето в своей семье, при его детях. Достаточно и того, что почти полгода томится один на постылом зимовье возле затерявшегося в степи родника. Пусть хоть летом поиграет со сверстниками, поразвеется и отведет душу.

Хан благоволил к Туяку с самого начала. Особенно после событий на холме Даурен мальчик чудился ему самим святым Хызыром, дарующим благо и радость. Туяк, которому только что исполнился один мушель, то есть двенадцать лет, судя по всему, отмечен божьей милостью. Можно было б возгордиться и потерять голову от особого расположения и внимания к нему всего ханского дома во главе с самим Абулхаиром, но мальчик держится с удивительным тактом, неизменно вежлив, добросердечен и услужлив.

Дети хана сразу же привязались к нему. Особенно Кожахмет от радости ног не чует. Сегодня утром Туяк засобирался было в табун, чтобы изловить и укротить стригунка для Айчувака, но Кожахмет настоял на своем и не отпустил его. Даже крохотный Адиль в люльке, и тот расплывается в улыбке, едва завидев Туяка.

Как только в стане мальчишек объявился Туяк, Кожахмет сразу почувствовал подмогу и начал покрикивать на своих обидчиков. Вообще, кажется, мальчик — не в пример старшим братьям — растет задиристым и ершистым. Те — покладистые, смирные, легко приноравливаются к новым условиям, а Кожахмету, судя по всему, будет трудно привыкать к незнакомой обстановке.

Ханша вздохнула. Сердце ее больно сжалось. Вспомнилось сборище, прошедшее на весенней стоянке перед откочевкой на джайляу. Для весеннего выпаса ныне были избраны пески Дадик. Обычно перед тем, как перебираться на

летовку, стригут двух- и трехгодовалых овец, подстригают гривы и хвосты годовалым жеребятам, клеймят их родовым тавром, распределяют яловых кобылиц по косякам, отделяют ягнят от маток и, подготовившись таким образом к переезду, по обычаю собирают почтенных людей и родоправителей, чтобы обговорить житье-бытье на новом месте, обсудить и решить, кому где выделить пастбища и водопой и кому с кем обустраиваться по соседству или поблизости. В кочевой жизни важно все взвесить и предусмотреть, дабы избежать потом всевозможных распрей и дрязг.

Проводить подобные сборища доверялось, как правило, тем знатным и имущим аулам, которым предстояло возглавить кочевье. На таких сборищах определялись не только будущие джайляу и порядок кочевки, но и взаимоотношения людей и родов, сложные связи и симпатии между теми или иными родоправителями. Ведь за долгие зимние месяцы, пока пережидали холода и бураны в зимовьях, разбросанных по оврагам и барханам в пустыне, между аулами, правителями, баями и биями случались дрязги и обиды, кто-то к кому-то охладевал, кто-то к кому-то, наоборот, воспылал любовью, и все это очень легко выяснялось на сборищах в канун откочевки на летние выпасы. Из витиеватых речей биев, состязавшихся за кумысом в красноречии, узнавалось все, кто чем дышит и что в данное время больше всего волнует народ.

И зная это, Абулхаир, проводивший в этом году традиционные весенние сборы, проявил особенную щедрость. В прошлом году русский правитель в Оренбурге прислал в подарок хану через его сына Нуралы несколько тюков диковинных, дорогих яств, груженых на семи нарах-дромадерах. Часть из них ушла на многочисленные пиры в зимнюю пору, однако кое-что по распоряжению хана приберегли в мешках и ларях. Выходит, еще тогда Абулхаир все задумал и предусмотрел. Слава всевышнему, за эту зиму немало перепало ханскому аулу и от Хивы и Бухары. Дважды были в те края снаряжены караваны. Они навезли всякой всячины. А сколько еще было податей в ханскую казну! Не однажды наведывался тайком, под покровом ночи, преодолев пески и барханы, доверенный самого контайджи. И тоже не с пустыми руками: привозил на верблюдах китайские товары, а из Ташкента — урюк, кишмиш, связки сушеных дынь, пастилу и много всякого прочего.

Надо отдать должное и Мамбету-мурзе: слово свое сдержал. Хоть на вершок, а все же возвысил авторитет ханского

окружения, посрамив спесивую династию Жадика. Не успел царев посланник Мамбет-мурза уехать в Уфу, как настигли его нарочные от хана Семеке с челобитной: дескать, шайтан попутал, получилась промашка, прости нашу дерзость и глупость, прими и нас в русское подданство, прихвати в Петербург и наше посольство, хотим подать в руки царице наше письмо-прошение. Так они униженно упрашивали посла русской государыни, а он был сдержан и холоден, письмо-прошение принял, но ни одного их человека в кайсацкое посольство не включил, отправил всех нарочных назад, восвояси. Тут только и спохватились незадачливые послы хана Семеке, поняли, что опростоволосились, что из-за своей недальновидности и спеси опять нечаянно возвысили давнего соперника Абулхаира, и, опозоренные, посрамленные, в лютые декабрьские морозы еле дотащились до родных мест. Особенно унизили их слова этого русского прихвостня, этого выкреста, будь он неладен, процедившего сквозь зубы на прощание: «О воле ее императорского величества узнаете от хана Абулхаира». Ну не изощренное ли издевательство это?! Мало того, целый месяц спустя с такой же просьбой и желанием примчались к нему доверенные Большого жуза, и этот чертов выкрест принял их с распростертыми объятиями и, включив их в посольство, прихватил с собой в Петербург, и тогда всем стало ясно, что таким образом род и клан Семеке наказали — наказали за строптивость, за спесь, за дерзкие и неблаговидные дела, за смуты и интриги, которые они искусно плели в течение двух лет. Может, не все о том догадались, но сам Семеке это безошибочно понял. Понял это, само собой, и хан Абулхаир. Первый от досады и боли слег, потемнел лицом, готов был укусить себя за локоть. Второй, ликуя, еще более выпятил грудь, просиял лицом, важно восседал в ханской юрте. Один скрипел зубами: «У, мерзавцы!.. Голым задом усадили на такыр... Будьте вы все прокляты!..» Другой злорадствовал: «А-а... так тебе и надо! Будет тебе урок, самонадеянный дурень!»

Вспоминая все те события, чуткая и мудрая Бопай-ханум, даже за шестью перевалами безошибочно угадывавшая настроение супруга, вспыхнула от радости и удовольствия, точно юная дева, чью нежную шейку впервые покрывал горячими поцелуями пылкий возлюбленный. Именно тогда ей стало ясно, что слава и мощь мужа крепнут с каждым днем и что отныне он не только сравнялся со многими знатными династиями в казахской степи, но и возвысился над ними.

«Слава всевышнему!— шептала ханша про себя.— Не оставь нас и впредь своей милостью...»

Абулхаир не из тех, кто, довольствуясь благодеяниями судьбы, предается праздности в ожидании новых милостей. Успехи только подстегивают его, подвигают к новым деяниям. Он, как говорится, не давал просохнуть потникам, не позволял остыть коням верных своих поручeнцев, рассылал их по всей степи и тщательно обдумывал, взвешивал их донесения. Тайком направлял он своих людей и к брату, сидевшему на ханском троне в Ташкенте, выведывал, что происходит там, во владениях джунгар и даже у самых китайских границ.

Бопай-ханум замечала, что после уединенных бесед с лазутчиками и соглядатаями у мужа явно поднималось настроение, и хмурь на его челе исчезала, уступая место тихой радости и спокойствию. На сером, осунувшемся, в последние годы постоянно озабоченном и сумрачном лице вновь появился и заиграл румянец. Морщинки возле глаз смягчились, разгладились, в усталых, глубоко запрятанных белесых глазах все чаще вспыхивали задорные искорки. От всей его крупной, сильной фигуры веяло свежестью и бодростью. Особенно радовали его вести о волжских калмыках. И на то была своя причина. Много неприятностей и хлопот доставили они хану в приезд Мамбета-мурзы в казахскую степь. Семеке и Батыр, решив загребать жар чужими руками, ловко натравливали волжских калмыков против Абулхаира, сеяли смуту и вражду, будоража неразумную толпу. И сейчас еще, вспоминая, с каким коварством расставляли они на него капканы и силки, у хана вскипала кровь, и он с трудом сдерживал радость. Твари подлые, кровожадные! Попробовали бы теперь Семеке и Батыр, коль так сильны и храбры, вновь снюхаться с волжскими калмыками! Кишка тонка! Не то теперь время... Вот уже почти десять лет прошло с кончины Аюке-хана. После него усугубилась междоусобица среди его преемников. И не видать конца этим дрязгам. Когда-то Аюке-хан был в могуществе и славе. Особенно вознесся он в тот год, когда царь Петр, возвращаясь по Волге после персидского похода, удостоил калмыцкого владыку своим посещением в городке Кара-жар. Высочайший прием оказал русскому царю Аюке-хан: под руку повел его с корабля, зарезал в его честь откормленного жеребенка, поднес в позолоченной чаше кумыс, а на ночь положил ему в постель юную калмычку — высший знак гостеприимства. Ханская вдова Дарма-бала, дочь знамени-

того Сыбана Раптана, и поныне вспоминает о том событии с умилением, облизывая губы и закатывая глаза. Рассказывают, что Аюке-хан подвел к русскому императору трех своих сыновей и высказал пожелание объявить его наследником старшего из них — Церен Дондука. Однако напрасными оказались его старания. Не успел он навеки закрыть глаза, как вспыхнула ожесточенная борьба за ханский трон. Народ пожелал иметь своим ханом внука Аюке — Дондука-Омбо. Русский же правитель на Волге предпочитал Дорджи, сына Назара, младшего брата покойного хана. И все же затяжная возня между наследниками кончилась тем, что ханом волжских калмыков был избран Церен Дондук.

Абулхаир ликовал: такой оборот дела его вполне устраивал. В душе он долгое время опасался, что новый хан волжских калмыков тотчас найдет общий язык с джунгарскими калмыками и начнет устраивать набеги на казахов, особенно на Младший жуз, еще не успевший оправиться от всех бед и невзгод. К счастью, получив в наследство шаткую власть, не угодную богу, бедолага, кажется, увяз по уши в собственных заботах. Не до жиру ему сейчас, быть бы живу. Дондук-Омбо, затаив смертельную обиду, откочевал на просторы диких заволжских степей. «Пусть жирный кус, не доставшийся мне, достанется рыжему псу». Злобствовал и Дорджи, сын Назара, дескать, тоже мне правитель, не мог настоять на своем, не смог меня возвести на ханский трон. Подливал масла в огонь раздора и его забияка-сын Лобджи. «Раз уж мои пасынки не смогли договориться по-доброму между собой, то придется мне самой взять власть в руки»,— открыто заявила строптивая, своенравная вдова Дарма-бала, не успевшая утешиться ни любовью старого Аюке-хана, ни властью юной ханши.

Полный разлад между нойонами сильно ослабил положение волжских калмыков, и их слабовольный хан, очутившись в изоляции, теперь сам затравленно поглядывал в сторону казахов, умоляя о заступничестве и помощи. И еще в первый приезд Мамбета-мурзы Абулхаир смекнул, что если он протянет руку помощи бессильному сейчас хану волжских калмыков, то русские правители этому никак препятствовать не станут. Скорее, наоборот. Но разве в то время Абулхаир имел возможность собрать джигитов под свой бунчук и двинуться в поход? Не до того было! И лишь когда до него дошла весть о том, что Ералы с казахским посольством выехал из Уфы в Петербург, хан снова навострил уши в сторону торгаутов, как казахи называли волжских

калмыков. И тут выяснилось, что Дорджи и Лобджи по-прежнему ярятся и беснуются, обрушивая на голову своего соперника страшные проклятия. По-прежнему плетет интриги, не расставаясь с мечтой о власти, самолюбивая Дармабала, облюбовавшая места вблизи Сарытау. И все так же затравленно озирается незадачливый хан Церен Дондук.

Абулхаир, довольный, поплевал на ладони, успевшие за последние годы отвыкнуть от оружия. Все складывалось отменно. Видно, пришла самая пора напомнить зарвавшимся Дорджи и Лобджи об обидах, учиненных ими некогда Абулхаиру, и наказать их за былую дерзость: силком отобрать богатые пастбища, простиравшиеся до самого Яика. Более удобного случая впредь может не выпасть. И, осознав это, Абулхаир решительно пошел на двух самонадеянных нойонов, конфликтовавших и со своим ханом, и с русскими, отбил у них благодатные выпасы вдоль рек Жем и Темир и оттеснил их к устью Яика на съедение свирепому прибрежному комарью. И чтобы в будущем обезопасить себя от возможных их набегов, поселил на всхолмленных лугах между реками Темир и Кобда многолюдные аулы батыров Есета и Букенбая, а вдоль реки Жем расположил тесно, густо, будто помет в степи, аулы строптивой и воинственной родни ханши Бопай. Понятно, против этого не возражали ни Уфа, ни Петербург. Наоборот, в душе поощряли активные действия российского подданного Абулхаира, который способствовал обузданию мятежного духа среди волжских калмыков.

По словам этих забияк и драчунов — адайцев, чьи аулы обосновались неподалеку от богатого травостоем приречья Жем, волжские калмыки, которые в течение трех последних лет сидели тише воды и ниже травы, отбивая лишь наскоки туркмен в лохматых бараньих шапках, теперь вроде как бы вновь поднимают головы. И это, должно быть, неспроста. Видно, Дондук-Омбо и Дорджи вступили в тайный сговор, явно что-то замышляют. Надо полагать, решили, объединившись, скинуть с ханского трона Церен Дондука, который и сидит-то на нем как в утлой лодчонке в бурю. У Абулхаира же свое на уме: как только переберется на просторы Золотого свода, он разузнает настроение родоправителей Среднего жуза и, если они его поддержат, соберет войско, приберет к рукам Яик и даже попытается перебраться через Волгу. С приволжскими лугами Церен Дондук, понятно, не захочет расстаться, ну а вольные выпасы до Яика он волей-неволей вынужден будет уступить. И, вероятно, даже с ра-

достью, чтобы насолить своим заклятым врагам. Для Абулхаира сейчас важнее всего оттеснить Дондука-Омбо и Дорджи за Волгу, а там пусть калмыцкие нойоны разбираются между собою сами. Пусть этого недотепу Церен Дондука хоть слопают с потрохами. Давний и тайный этот замысел следует осуществить быстро и неожиданно, не советуясь с русскими. А в случае чего можно все объяснить оплошностью, промахом, желанием помочь попавшему в беду калмыцкому хану. Пока там разберутся, что да как, казахи по крайней мере год-другой попользуются благодатными пастбищами вдоль раздольного Яика.

Когда Куттумбет и сопровождавшие его башкиры доставили Абулхаиру вести от казахского посольства в Петербурге, он их долго, с пристрастием расспрашивал и так, и этак, и из их ответов пришел к заключению, что русские не особенно возмущены тем, что он без их ведома понемногу теребит и притесняет волжских калмыков. Прошлой осенью навестил Нуралы русского правителя в крепости у устья реки Орь, и Абулхаир опасался, что начальник экспедиции упрекнет его за своевольные набеги на калмыков, но, к счастью, о том не сказано было ни словечка. Может, и нынче пронесет?.. Судя по всему, русским сейчас не до дрязг между казахами и калмыками. Они там увязли в бесконечных стычках с мятежными башкирами. Нападет сейчас на волжских калмыков мор, русские того и не заметят.

Конечно, о сокровенных своих замыслах Абулхаир распространяться не будет, а к силкам, расставленным на калмыков, никого из династии Жадика не подпустит. Завесу своей тайны он слегка приоткроет лишь перед Жанибеком из Среднего жуза и батыром Букенбаем из рода шакшак. И если заручится их поддержкой, то, пожалуй (терять-то ему нечего!), осторожно выведает, что на уме у Батыра и Барака. Если они изъявят желание выступить с ним в поход — милости просим. Абулхаиру это только на руку. Тем самым он только еще раз подчеркнет свою значимость в глазах многочисленных родов Среднего жуза. Поговаривали, что после башкирского набега хан Семеке слег. Болел он долго и тяжело и, наконец, скончался. Таким образом, Средний жуз остался теперь без хана. Абулхаир в душе издавна метит и на этот трон и, кто знает, может, именно сейчас он близок к своей мечте как никогда. Поначалу все складывалось как нельзя лучше, и благоволение русских оказалось весьма кстати, и все, возможно, давно бы уже решилось в его пользу, если бы башкирский мятеж

не спутал все карты и не смешал все планы. Но не все еще потеряно. Если, удачно воспользовавшись нынешней смутой, он проявит решительность и расторопность и отхватит половину владений волжских калмыков, то авторитет его в глазах казахов сильно возрастет, и тогда его давнее и сокровенное желание осуществится, аллах даст, не сегодня, так завтра...

Осознав эту истину, Абулхаир не сидел сложа руки. Порученцы и лазутчики его без устали шныряли и шастали по ближним и дальним аулам. И усердие их не было напрасным. Когда-то, узнав про то, что Семеке исподтишка готовил поход против башкир, Абулхаир через своего нарочного тотчас известил о том Таймаса, за что и был вознагражден сторицей. Тем самым удалось башкир втянуть во вражду с потомками Жадика, ослабить авторитет самого Семеке и его окружения и показать себя с выгодной стороны перед русскими правителями. Даже Барак и Батыр, не говоря уже о других, поспешили отмежеваться от этой неблаговидной истории, делая вид, что они лично никакого отношения к затее хана Семеке не имели. И то, что разгневанные башкиры в отместку разграбили по пути невинный аул шакшактинца Букенбая, также послужило горьким уроком для спесивых правителей Среднего жуза. Пришлось в это дело решительно вмешаться русскому правителю в Уфе, и по его настоянию башкиры были вынуждены вернуть всех шакшактинцев, которых они захватили в плен, и это обстоятельство укрепило вес и значение Абулхаира в глазах простого люда из Среднего жуза. Словом, популярность Абулхаира среди казахов в последнее время заметно возросла. А теперь, надо полагать, до слуха всех его явных врагов и тайных недоброжелателей наверняка дошла весть о том, что русские строят военное укрепление у устья реки Орь и что недавно в той крепости в честь Абулхаира, Нуралы и Ералы начальник Оренбургской экспедиции провозгласил во всеуслышание здравицу, которая сопровождалась многократными пушечными залпами.

Да, времена изменились, и теперь большинство врагов убедилось в том, что с Абулхаиром, заручившимся милостью и благосклонностью самой белой царицы и поддерживаемым русским славным оружием, волей-неволей приходится всерьез считаться. Что же о других говорить, если посланник самого хунтайчи в последнее время все чаще униженно отирается возле дверей ханской юрты?!

По слухам выходит, что ныне ветер удачи все реже дует

в его сторону. После смерти Сыбана Раптана на трон взобрался Калдан Церен, который лютым волком принялся терзать собственный улус. Говорят, весь свой гнев он обрушил на посланников Аюке-хана и на мачеху Сетержеп, обвиняя их в злоумышленном убийстве отца. Четверых посланников Аюке он приказал повесить, а мачеху и трех ее дочерей злодейски умертвил, загнав им между ног деревянный кол. Шоне Добе, рожденному от Сетержеп, удалось сбежать к волжским калмыкам. Матерый волк, некогда свирепствовавший в казахской степи, теперь, судя по всему, трусливым шакалом скрывался в прибрежных зарослях Волги. В тот год, когда Мамбет-мурза прибыл во главе русского посольства в степь, джунгары и китайцы снарядили своих послов к белой царице. И те, и другие якобы коленопреклоненно просили: «Возьми нас к себе в союзники!» Но русские не проявили к ним особого расположения и благосклонности. По свидетельству тех, кто побыл в прошлом году в Петербурге, китайцы ловко натравили Шону Добу на Калдана Церена. Это означает, что между волжскими и джунгарскими калмыками проскочила черная кошка. Так что об их объединении и совместном выступлении против казахов сейчас не может быть и речи. К тому же, как никогда, укрепились китайцы. Не случайно, едва захватив власть, Калдан Церен передал повод правления Большим жузом и Ташкентом Джульбарсу и уйсуню бию Туле, а сам, спешно собрав все свое войско, отступил в глубь страны. Поход на Халку во главе с Церен Дондоба закончился бесславно. Тридцатитысячное войско почти поголовно полегло на поле брани в чужом краю. Тех, кто, уцелев, вернулся назад, разъяренный контайджи приказал обезглавить. Ясно, что при таком положении Калдан Церен не осмелится напасть на казахов. Где у него на это сила?! Наоборот, контайджи важно сейчас не враждовать с казахами. Он будет всячески искать мир. И наверняка понимает, что нужно попытаться найти общий язык прежде всего с Абулхаиром. Ведь сильнее и влиятельнее его правителя сейчас среди казахов нет. Джульбарса, считай, он держит в своих руках. Семеке, обернувшись саваном, отправился в мир иной. В Среднем жузе пустует ханский трон. Русские уже строят крепость у устья реки Орь. И Абулхаир их верный подданный. Не исключено, что завтра он будет объявлен верховным ханом всех трех жузов. Тут, хочешь не хочешь, а придется заигрывать с Абулхаиром. Недавно контайджи прислал своего узкоглазого доверенного, и тот прозрачно намекнул, что предстоя-

щим летом джунгары отпустят домой пленников — женщин, слуг и служанок, принадлежащих сородичам хана, вместе с награбленным при набеге имуществом и скотом. В своих скользких и льстивых речах доверенный контайджи также не один раз упомянул Джульбарса, правителя Ташкента. По его словам выходило, что Джульбарс и бий Туле из рода уйсунь довольно круто обходятся с местными жителями — узбеками и таджиками. И на базарах якобы царят и властвуют едва ли не одни казахи. Даже верблюды казахов, и те вроде как обнаглели: травят посевы, житья не дают земледельцам. Народ обложили непосильными податями. Бии и беки творят произвол. Ропщут все: и купцы, и дехкане, и ходжи, и муллы. Очень тяжело держать их в узде. Но пока жестокому контайджи это удается.

Весть эта насторожила и Абулхаира, и Бопай-ханум. С досадой подумали о неосторожном, вздорном Джульбарсе: «Ну зачем ему враждовать с местными жителями? Зачем навлекать на себя их гнев? На кой дьявол сдались ему кочевники-казахи? Им и базар-то нужен раз-другой в году. Пытался бы лучше найти общий язык с теми, кто поближе, у кого, как говорится, для дружбы раскрыты объятия, а для вражды всегда при себе меч. В детстве был Джульбарс горяч и опрометчив. Руками действовал прежде, чем умом. Видно, и поныне не может избавиться от этой привычки. Как бы не натворил беды. Выходит, даже мудрый бий Туле, без труда смиряющий буянов всех трех жузов, не может найти управы на него...»

Пришлось через доверенного контайджи, приезжавшего под покровом ночи, передать необузданному Джульбарсу свои проникновенные братские наставления. Хорошо, если этот строптивец им внемлет...

Ну, а с другой стороны, что еще ему остается? Каким бы он ни был буяном и строптивцем, а без поддержки старшего брата и шагу ему не ступить. Да и Абулхаиру, признаться, без него не обойтись. Не сиди Джульбарс в Ташкенте, мог бы разве он, Абулхаир, провести многолюдное сборище в горах Ордаба под самым городом? Или восседай на этом троне какой-нибудь другой клыкастый пес контайджи, мог разве он, Абулхаир, несмотря на все интриги и происки упрямых и надменных правителей Среднего жуза, все-таки уломать, уговорить влиятельных биев Большого жуза, чтобы они подписали прошение о принятии их в русское подданство? А сколько для этого понадобилось усилий, изворотливости и ума? Чего бы без него добился Мамбет-мурза?

Трудное было время: с одной стороны, строили бесконечные козни правители из династии Жадика, с другой стороны, постоянно теребили под боком волжские калмыки, и неизвестно, как бы все это обернулось для казахов, не имей Абулхаир в эту пору всюду своих близких и надежных родственников — брата Джульбарса в Ташкенте, свата Джульбарса в Хиве, зятя Мусу в приаральском ханстве, еще одного свата, Кушука, в роду найман, который, будучи сватом Абулхаиру, не всегда послушно следовал на поводу своего задиристого и вздорного младшего брата Барака.

Верно сказывают: родственники — порой что крылья, порою — путы на ногах. Путами, правда, оказался один Батыр. Но пусть он теперь пеняет на себя! То, что он осрамился тогда прилюдно на вершине Даурен, ему долго не простят. Вряд ли кто теперь осмелится последовать за ним...

Что там говорить, судьба благоволит к Абулхаиру. И все благодаря милости русской царицы, благодаря тому, что в далеком Петербурге с почестями встретили и приняли казахское посольство. Теперь членам этого посольства, вернувшимся из русской столицы, воздают почет и уважение в степи. Сам Абулхаир следит за тем, чтобы они присутствовали на всех сборищах, торжествах, поминках и взахлеб рассказывали о том, что видели и слышали в столице и во дворце ее императорского величества. Хан обласкал и одарил их щедро. И слава об этом докатилась даже до одиноких зимовий, разбросанных вдоль рек Жана-дария, Куан-дария и Адам-ата, в чем сам Абулхаир имел ныне возможность убедиться. Даже присловье новое родилось. При виде опрятно одетого человека казахи стали спрашивать: «Оу, дорогой, ты что, в Петербурге, что ли, побывал?»

Слава создателю, удача повернулась к нему лицом. Как говорится, дымок над его юртой вьется прямо, а стрела сама настигает добычу. И если еще благополучно пройдет лето, а осенью, сдержав слово, русский правитель пригласит его в новую крепость и проведет пышный пир, то можно считать, что Абулхаир на редкость везуч: цели достиг, от напастей увернулся, куда метил — попал, предсказания — сбылись.

И еще: насколько ему ведомо, никто из известных ему правителей, за исключением разве что самой царицы, не может сейчас похвалиться такой везучестью и удачливостью. Контайджи, точно затравленный пес, мечется между Петербургом и Ханбалыком и только жалобно поскуливает. Хан волжских калмыков еле сидит на краешке трона,

и щипают и кусают его со всех сторон завистники и соперники каждый божий день. Лишившись надежды взобраться на опустевший ханский трон, захлебываются от ярости и досады спесивцы из династии Жадика... И поделом им!

«Слава всевышнему! Слава, слава...»

Слова эти твердит Абулхаир про себя и во сне, и наяву.

Слова эти шепчет Бопай-ханум по сорок раз на дню.

Как бы только не вспугнуть удачу... Сейчас надо быть, как никогда, зорким и чутким. Все видеть, замечать и не пропустить ни одной людской молвы. Вот почему нынешние торжества по случаю откочевки на джайляу Абулхаир провел с такой щедростью и с таким размахом, будто отмечал годовщину давным-давно истлевшего в могиле отца. На пир пожаловали представители всех родов — тех, что зимовали в песках за Сырдарьей. О том свидетельствовало родовое тавро на ляжках лошадей, стоявших на привязи. Из племени джетыру собрались все. Из племени байулы — тоже все. Из племени алим — почти все; отсутствовал кое-кто из рода шекты. Не видно было кое-кого из шумекейцев. По клейму можно было определить, что откликнулись на приглашение хана и некоторые кипчаки, керейцы, аргыны и найманы. Однако не из богатых и влиятельных аулов, а из тех, что победней да потщедушнее, из ближних кочевий, разбросанных там-сям.

Причудливые отметины на ляжках разномастных лошадей как бы отражали разноречивый душевный настрой самого Абулхаира. Было чему и радоваться, и огорчаться. Возвращались понемногу те, кто когда-то от него отмежевался. Но не все. Особенно огорчало, что мало кто приехал из племени бекарыс, с которым до недавнего времени были неразлучны и в походах, и в мирных сборищах. Племя это могущественное, многолюдное — как деревьев в лесу. Много еще предстоит приложить старания, чтобы привлечь его на свою сторону. А без него нет ни единства, ни цельности. Без него не то веселье на казахском пиру, не та слава на поле брани. Без него любое дело — блажь, любое сборище — пустой треп. Тот, кто мечтает объединить казахов, должен заручиться поддержкой племени бекарыс. Именно благодаря ему, вернее, его многочисленности, самонадеянные потомки династии Жадика, не будучи умными, кажутся значительными, а не будучи сильными, кажутся грозными. И к тому же, когда разноплеменные казахи вновь объединились в народ, именно они, дети племени бекарыс, заложили основу единства — подняли остов первой юрты и первы-

ми разожгли огонь под таганом. Потому их одинаково почитают и те, кто вышел к берегам Волги, и те, кто обосновался у подножья величественных гор Алатау. Хорошо понимал это славный хан Тауке, и ему единственному удалось завоевать доверие и расположение всего многочисленного племени. И если Абулхаиру в ближайшее время не удастся прикрыться хотя бы краешком этого мешковатого, длиннополого чапана, то на предстоящей встрече с русским правителем в новой крепости у него, бесспорно, будет жалкий, невзрачный вид. Значит, нынче на прохладных выпасах Золотого свода следует этим заняться всерьез. Необходимо обладать особой честью и достоинством, немалой силой и весом, чтобы заручиться благосклонностью столь могущественного племени. И кто знает, может, милостью русской царицы Абулхаир добьется и этого.

Ясно одно: к большому торжеству по случаю окончания строительства новой крепости у устья реки Орь надлежит подготовиться заблаговременно. Такова была подоплека щедрого пира, который Абухаир закатил для родоправителей накануне откочевки на джайляу.

На пиру хан держался с достоинством, спокойно, не пропускал мимо ушей ни одного словца, подмечал каждое движение и жест биев; соглашаясь с ними, едва заметно кивал; в спорных случаях возражать не спешил. Безошибочно угадывавшая настроение мужа, ханша Бопай всячески ублажала знатных родоправителей, вовремя гасила возможную вспышку страстей. Она понимала: если хан испытывал своих гостей, то и гости особенно придирчиво испытывали хозяев. Известно, что человек, чем-то выделившийся из своей среды, вынужден в окружении родичей держаться как можно поскромнее да потише. Иначе не мудрено задеть их самолюбие и противопоставить себе. Ведь не каждый обладает добрым, кротким нравом. Иной так и норовит подковырнуть исподтишка. И попробуй-ка тут не сбиться с плавной иноходи, не расплескать при этом ни капли воды. Бывает, случайная неумная выходка жены или неуместная шалость ребенка могут осрамить и унизить мудрейшего мужчину. Трудная доля быть достойной спутницей человека, вознесенного счастьем или отмеченного судьбой. И, сознавая это, Бопай-ханум на том пиру старалась вовсю и, как говорится, павой плыла перед гостями.

Сразу же выяснилось, что гости не только довольны щедрым угощением, но и ошеломлены. И действительно, было чему дивиться. Большинство яств на ханском дастархане

являлось для степняков диковинкой. И произвело впечатление не только то, что было на дастархане, а больше всего то, откуда все прибыло. Глядя на невиданные доселе яства, гости поневоле удивлялись, еще раз убеждаясь в огромной популярности Абулхаира. Это надо же, а?! Из каких только краев доставлены гостинцы! И ведь ясно, что не караваны в степи и пустыне ограбили лихие джигиты хана. Ясно, что все это кем-то привезено, доставлено, подарено в знак особой благосклонности и душевного расположения. Да-а... Силен Абулхаир, ничего не скажешь!..

На эти сборы, понятно, не прибыли самые знатные и влиятельные степные воротилы, как Букенбай, Есет, Тулебай, Алтай, Керелбай, Серке, Арал, Аджибай. Станут они тесниться в этой ораве! Они припожалуют потом, отдельно, когда уж разговор зайдет о самом важном и насущном. А что может решать крикливая толпа?! Пошумит, погалдит и разъедется. И то сказать: не курултай ведь, а обыкновенное сборище. Повременим, посмотрим, чем это все кончится. А дойдет до главного — без нас не обойдутся.

Так думали воротилы с толстыми загривками, отправив на пир старейшин родов.

Действительно, не нашлось никого за дастарханом, кто бы возглавил беседу и повернул ее в нужное русло. Разговор зашел легкий, беспредметный, о том, о сем. Поначалу больше всего говорили о диковинных яствах на ханском дастархане. Абулхаира это вполне устраивало. Пусть... пусть потреплют языками. Погалдят о яствах — выйдут непременно на разговор о базарах. А заговорят о базарах — поневоле затронут все: и ближкие улусы, и дальние страны, и отношения между собой и с другими. «Ну, поговорите, пошумите»,— снисходительно усмехнулся хан, до поры до времени не вмешиваясь в беседу.

И ханша Бопай, поблескивая большими умными глазами, горделиво вытягивая круглую, гладкую, слегка порозовевшую от волнения шею, раз-другой метнула взгляд на мужа, словно предупреждая: «Спокойствие, мой господин. Не встревай. Пусть выговорятся».

И хан без слов понял свою верную спутницу жизни, с живым интересом вслушивался в колготню, одобрительно посмеивался. Это означало: «Не беспокойся, помолчу пока».

Чувствовалось, однако, что многие выжидали, не спешили говорить о главном, осторожно кружили вокруг да около. Но характер, заложенный природой, не скроешь, он непременно даст о себе знать. Коль бог наградил тебя буйным

нравом, он проявится, сиди ты хоть в темнице. Так случилось и на этот раз. Горячий, неуемный Сырлыбай, первым примчавшийся на пир, по обыкновению побагровев крупным мясистым лицом, вдруг насмешливо хмыкнул:

— Гляжу я: почти все, что на дастархане,— русская пища. Видно, удачливый, счастливый народ, коль его бабы так вкусно готовят, а?

— А чем ты хуже Итжемеса? Подыщи себе русскую бабенку из пленниц да и женись. И на калым не потратишься.

Сырлыбай оторопел. Кто этот наглец, осмелившийся ужалить его при всех в самое уязвимое место?! Он выпучил глаза, оглянулся.

— А-а... это ты, оказывается!— рявкнул, полоснув взглядом Арыстанбая, сына Айбаса.— Чтоб жало твое ядовитое отсохло!

За дастарханом все дружно расхохотались.

— А что? Добрый совет! Вон обжора Итжемес обзавелся русской бабой и теперь, сказывают, когда кумыс пьет, даже соринки сдувает.

— Приучила, значит, чистюля баба!

— Вот как! Выходит, к совету Арыстанбая всем нам прислушаться не грех?

— Что ж... правоверному и русская бабенка не помеха. Скорее, даже благо.

— В таком случае, считай, вам повезло. Русские сами прикочевали. Вон под боком обосновались.

Сказал это Баймурат из рода жаппас. Жилы на висках его по обыкновению вздулись. Рыжеватые усы встопорщились. В глубоко упрятанных зрачках вспыхивали колючие искорки. Не понять, в шутку ли говорит или всерьез.

Хмурый важный Баимбет, восседавший на почетном месте, ехидно скривился краешком рта:

— Повезло, думаю, прежде всего тебе. Ты ведь, как известно, особенно охоч до русских чаровниц.

Гости опять дружно прыснули, но тотчас спохватились. Видя, как Баймурат весь налился краской, все не на шутку испугались: а вдруг вспыльчивый, буйный батыр, оскорбившись, затеет бузу и разом нарушит все благочиние за ханским дастарханом... Насторожились и Абулхаир с ханшей Бопай. Едкая шутка намекала на давний грех Баймурата — еще в тот приезд русского посольства во главе с Мамбетом-мурзой. Но, к счастью, все обошлось. Батыр подавил в себе вспышку гнева, только заозирался вокруг, как

бы говоря: «Да уймите же этого охальника! Что он себе позволяет в присутствии хана?!» И Бопай, мигом оценив обстановку, ласково-игривым тоном заметила:

— Ну скажите, какой же истинный джигит откажется от сладкой добычи? Вы просто завидуете удачливости моего сородича!

Все облегченно вздохнули. Мудрая Бопай-ханум во время сняла напряжение, заступившись за Баймурата. И Баимбет также поспешил сгладить опасную свою шутку

— Верно сказано: тому несдобровать, кто от своих отрекается. Своим заступничеством Бопай доказала, что Баймурат ей ближе, чем мы все остальные. И теперь нам понятны его шалости. Он, выходит, просто испытывал великодушие своего грозного зятя.

И захохотал, как бы признавая свою оплошность.

— Да, да! Именно так!— подали голос представители аулов байулы.— Коль сестра наша ханша сердцем чутка да душою мудра, отчего бы не быть великодушным зятю-хану? Знал, чуял Баймурат, что ему простят все его шалости.

От этих речей захлебывавшийся от ярости и обиды Баймурат разом помягчел, подобрел и, добродушно посмеиваясь, откинулся на подушку за спиной, принялся растирать онемевшую ногу.

Теперь, когда гроза благополучно миновала, гости перевели разговор в спокойное русло.

— Скажи, хан-повелитель, в новом городе этом, кроме солдат, еще кто-нибудь будет?

До этого момента Абулхаир сидел как бы в стороне, безучастно, и говорил, и смеялся сдержанно. Сейчас же выдержал паузу, подождал, пока все успокоятся и смолкнут за дастарханом, потом степенно откашлялся. И заговорил он не велеречиво и красочно, по обыкновению опытных златоустов-биев, не обрушил на гостей поток искусных слов, а ответил сдержанно, скупо, будто мастер-резчик снял первую стружку с дерева:

— Ну что значит «кроме солдат»?

Гости затаили дыхание.

— Ведь город-то строится вовсе не для войска. Наоборот, войско нагнали, чтобы охранять город.

— Как это?!— недоуменно переглянулись гости.

— Город прежде всего строится для того, чтобы наладить торговые отношения с кочевниками,— пояснил хан,— чтобы открывать базары.

— Так... так... Интересно...— оживились все за дастарханом.

— На базары будут приезжать с товарами не только русские купцы, но и из других далеких стран. Некоторые, говорят, уже сейчас там находятся.

— Так они, купчишки эти, и в глаза нас сроду не видели. Откуда им знать, какие нам нужны товары, в чем мы нуждаемся?

— Спрашиваешь!— хмыкнул кто-то.— Какой же он, к шайтанам, купец, если этого не знает?!

Хан согласно кивнул и добавил:

— Купцы из Индии и Китая, а также доставлявшие все необходимое нам караванщики Ташкента, Бухары, Хивы — все отныне проложат путь и к новому городу на Ори.

— Вот здорово!.. Это поубавит спеси у торгашей в пестрых чапанах. Хватит, поизмывались и над нами, и над нашими верблюдами...

Хан не рассердился на это не очень уместное замечание. Лишь чуть-чуть усмехнулся.

— Выгодно, должно быть, с русскими иметь дело. Как-никак, большое и сильное государство. Не то что наши соседи, с которыми день живешь в дружбе, день — в ссоре.

— Ну, конечно... раз мы вступили в подданство русских, значит, они и заботятся о нас. А то как же?..

— Это, положим, так-то оно так... Но для чего тогда понадобилось войско?

— Надо полагать, не для того, чтобы охранять базары...

При этих словах хан нахмурился.

— Войско это, поймите, направлено не против нас,— сказал он холодно.— Оно должно противостоять нашим противникам.

— Выходит, волжские и джунгарские калмыки отныне к нам уже не сунутся?

— Говорят, не посмеют.

Гости опять переглянулись, не зная, поверить этому или нет.

— А ведь в самом деле, с тех пор, как приезжал к нам Мамбет-мурза, ни торгауты, ни джунгары не тронули у нас даже паршивого козленка.

— Что правда, то правда. Скорее, не они нас, а мы их тормошили.

— Да. Мы их тормошили, а они даже мстить не решились. Должно быть, не нас испугались, а наших новых грозных соседей.

— Получается так...

Все на некоторое время задумались.

— А с чего бы к нам такая милость со стороны русских? Чем уж так мы им приглянулись?

Абулхаир пристально обвел всех взглядом. Вопрос открытый, честный, без подковырки. Лица у гостей насторожились. Ни на чьем лице хан насмешки не заметил.

— Ни пастбищам, ни водопоям вашим русские не угрожают. Скот будут покупать на деньги. Вы же продаете шерсть и шкуры, скажем, Хиве и Бухаре? Ну, так отныне будете продавать и русским. Разве вам не все равно?

— Это, конечно, так.

— Вот, собственно, и все, что нужно от вас русским. Больше ничего, что могло бы их привлечь, у вас и нет.

Опять воцарилась тишина. Только и слышно было напряженное сопение гостей.

— Может быть, и так...— неопределенно заметил, наконец, кто-то, явно не желая, чтобы разговор на этом оборвался.

— Если же на вашей земле обнаружится, допустим, свинец или железо, то русские его вывезут, понаделают ружья, разную там утварь, отольют пули и вам же и вернут.

— Э, это разумно. Это хорошо, когда для тебя делают то, что ты сам не можешь.

— И это все? Больше от нас ничего не потребуют?

— Почему же? Есть у них и другие требования.

И опять гости, все как один, затаили дыхание.

— Отныне мы должны не нападать на русских, а они — на нас.

— Согласны.

— Отныне мы не должны угрожать их подданным, а они — нам.

— Согласны.

— Отныне мы не должны грабить караваны, которые проходят через наши земли. Наоборот, мы обязаны быть проводниками и обеспечивать их безопасность. За это будем получать положенную плату.

Это было не совсем понятно. С чужаками сводят счеты или берут с них дань. Так бывало всегда. И это ясно. Но чтобы к чужаку пошли на службу и получали за это плату — такое уму непостижимо. Однако кто-то из гостей, не особенно вдаваясь в суть дела, неуверенно произнес:

— Ладно... Пусть будет так.

— Всех русских пленников, сирот и вдов мы должны отпустить домой.

Кое-кто из собравшихся озабоченно почесал себе затылок. Видно, накладно было расстаться с даровыми скотниками и служанками.

— Русские также обязуются отпустить наших пленников.

— О, это радостная весть!

— Это, конечно же, мы приветствуем.

За дастарханом все оживились, загалдели:

— И это все?

— Нет, еще не все!

Хан поправил соскальзывающий с плеча чапан.

— В знак верности этому уговору русские требуют отдавать в аманаты по одному сыну от каждого родоправителя.

Гости замерли. Даже сопение и кряхтение прекратилось.

— И при этом,— продолжал хан,— отдавать сыновей должны самые знатные, такие, как мы, люди.

От этой вести у гостей глаза полезли на лоб. Застыла в изумлении и ханша Бопай. Об этом она слышала впервые.

— Это как же?— спросил обескураженно кто-то.— Как это можно кровное дитя отдавать в чужие руки?!

— Что ж... обычай старый. Не только народы и страны, но и роды, договариваясь о чем-то важном, обменивались, случалось, аманатами.

Но и этот довод никого не убедил.

— Выходит, мы отдаем детей своих на веки вечные?!

— Почему же? Пройдет срок аманатства, и дети вернутся к родителям. А взамен отправят других.

— А на сколько продлится этот уговор?

— Пока не установится полное доверие друг к другу.

— Э-е-е... Вон оно что...

Опять наступило молчание. Почтенные родоправители растерянно потупили взгляд, как бы говоря: «Вот, значит, как все повернулось...»

— А не станут ли наши сыновья русскими?

— Нет, конечно! Жить и воспитываться они будут по-мусульмански, в наших обычаях. Вот, к примеру, наш Ералыжан. Он так и не прервал мусульманское учение. И в новом городе он продолжает прилежно учиться у ахуна Мансура Абдрахмана-оглы из Бухары.

— Ну, так он же — ханзада. У него положение особое. Он ведь не аманат, а посланник.

— Нет!— резко ответил Абулхаир.— В Петербурге Ералы был посланником, а в новом городе на Ори он — аманат.

Все оторопело вскинули головы. Бопай-ханум даже

вздрогнула от этих слов. Это что же? Ее сын, султан, наследник хана, и вдруг заложник у русских, аманат?!

— Аманат — не пленник,— жестким голосом продолжал хан.— Это то же, что и посланник. Почетный гость русского государства. За его здоровьем, благополучием, воспитанием следит сам царь. За жизнь аманата отвечают головой. Этому правилу русские следуют строго.

Резкий, прямой ответ хана, суровый тон его заставили собравшихся призадуматься. Кто-то робко поинтересовался:

— Так когда же вернется Ералыжан?

Бопай вновь встрепенулась, вся превратилась в слух. Гости поразились про себя, поняв, что в эту тайну не посвящена была даже ханша.

— Когда прибудет в город ему замена...

— Когда же это произойдет?

— Видно, на предстоящем торжестве.

Далее гости уже не решались задавать вопросов, боясь, что беседа за ханским дастарханом этак может превратиться в допрос. И все же нетерпеливый Сырлыбай, стремясь продолжать весьма заинтересовавший всех разговор, глубокомысленно протянул:

— Э-е-е, вон оно, значит, как...

Однако благоразумный Арыстанбай тотчас пресек его попытку, заметив:

— Как недостойны тебя мы, мой хан-повелитель, так и наши сыновья не важнее и не дороже, полагаю, твоих. Так что видно будет. Коли надо — отдадим своих детей в аманаты и мы.

Против этого никто возражать не стал. Гости сотворили благодарственную молитву и встали из-за дастархана, потянулись к выходу. Многие направились к заседланным коням на привязи. Хан, прощаясь с гостями, обратился к Арыстанбаю:

— Может, заедешь еще чуть позже?

— Ладно, хан-повелитель.

Бопай молча глядела вслед разъезжавшимся во все стороны гостям. Вид у нее был потерянный, усталый. Глаза потухли. Хан понимал ее состояние, но подошел к ней лишь после того, как последний гость исчез за перевалом.

— Что с тобой?.. Так и будем здесь торчать как пни?..

Молча и укоризненно выставилась ханша на супруга. От этого взгляда Абулхаиру стало не по себе.

После этого случая Бопай ходила сама не своя, как в

воду опущенная. И все хлопоты при кочевке взяли на себя туленгуты и слуги. А главным распорядителем пришлось стать султану Ниязу.

Равнодушие, безразличие ко всему охватили Бопай. Близким казалось, что она заболела «желтой хворью» — тоской. Однако не слегла. Как прежде, вставала по утрам, весь день слонялась по юртам, потерянная, отрешенная, а вечером, отчего-то уставшая, плюхалась в постель. Она и сама не знала, что с ней происходит. В самом деле, что это — тоска ли, горе ли, или досада, обида, раздражение, гнев?.. Одно ясно: как-то враз ушла, истаяла радость. Еще недавно она чувствовала себя легкой и бодрой, будто на крыльях носилась, а теперь невыносимая тяжесть одолела и сковала ее.

Абулхаир видел, что с женой творится что-то неладное. Однако ни разу не спросил: «Что за червь тебя точит?» Не принято это было между супругами. Ничего не говорила и Бопай. А если бы муж и поинтересовался ее состоянием, она все равно промолчала бы.

И вот за день до откочевки, когда уже сложены были тюки и пригнаны с выпаса рабочие верблюды, нагрянули неожиданно трое. Хан принял их в юрте Бопай, а не в гостевой, и это означало, что беседа состоится в присутствии и с участием ханши.

Ханша, соблюдая внешние приличия, проявила радушие, была приветлива, однако, скованная внутренне, вся ушедшая в себя, поначалу не обратила внимания ни на обличье гостей, ни на их манеры. Встреча проходила с соблюдением привычных правил гостеприимства. И гости за дастарханом ни единым словом не заикались о деле, ограничиваясь короткими замечаниями о пути-дороге, о нынешнем травостое, о выпасах и водопоях.

Напившись чаю, отведали бесбармак, потом, подавляя отрыжку, цедили кумыс, продолжая говорить о том, о сем, о незначительном и второстепенном, и хан, заметив нерешительность гостей, однако, тоже все выжидал, не торопился повернуть разговор в деловое русло. Паузы становились все тягостнее. И хан спросил напрямик:

— Ну, дорогие гости, какие заботы вас пригнали?

Тут только Бопай как бы очнулась. Сразу смекнула, что гости, видно, не желают говорить при ней, и потому метнула вопросительный взгляд на мужа, но тот незаметным движением головы дал понять, что ее присутствие в данном случае желательно.

Бопай внимательно посмотрела на гостей. Все трое были ей незнакомы. Двое из них — один пожилой, а другой совсем еще юноша с едва заметным пушком на верхней губе — были казахи. Судя по одежде и речи, из аргынов. Третий же, тот, что сидел посередке, часто взывал к аллаху и степенно оглаживал густую смоляную бороду, с огненным взором, с прямым, крупным носом, всем своим видом как бы свидетельствовал, что он не казах, хотя и, несомненно, относится к правоверным. Чувствовалось, что занесло его в казахские края явно издалека, из незнакомых, диковинных мест. Уж очень колоритная, примечательная была внешность гостя: круто изогнутые брови, открытый, высокий, без залысин лоб, узкое, смугло-матового цвета лицо, чуть вытянутый подбородок, тонкие губы, прикрытые аккуратными, блестящими, как шерсть выдры, усиками, трепетные, как у пугливого коня, ноздри. Большей частью говорили за дастарханом пожилой и юноша, а чернобородый помалкивал, ограничивался словами «аллах» и «аллах акбар». И потому Абулхаир держался настороженно, старался ничем не выдать себя, приглядывался, точно опытный наездник к незнакомому, норовистому коню.

Речь завел пожилой носатый бородатый казах в нанковом чапане, в белой чалме, не пышной и высокой, как у бухарцев, а просто, по-степенному накрученной раз-другой на голову.

Пока ханша искоса разглядывала гостей, она упустила нить разговора и потому некоторое время никак не могла вникнуть в суть, будто ехала верхом по пустыне и конь под ней шел спотыкливо, глубоко увязая в песке. И лишь потом кое-что для нее прояснилось. Она вскоре убедилась в верности своего предположения: гость с колоритной внешностью действительно не был казахом и прибыл издалека. Судя по словам «Стамбул», «славные турки», «паша», «газават», он являлся благочестивым странником, прибывшим сюда из далекой Турции. А по тому, как потом замелькали слова «Крым», «Капские горы», «ногайцы», «черкесы», «Кабарда», «долина Сулака», можно было предположить, что гость объездил едва ли не полсвета. Потом посыпались слова «туркмены», «Хива», «Бухара», «Газни», из чего можно было догадаться, что гость обшарил и ближние края. А когда неоднократно, с какой-то упорной настойчивостью, прозвучали слова «мусульмане», «иноверцы», «священная война за веру», стало очевидно, что гость пресле-

довал определенную цель. Так оно и есть: надеется, что от казахов оседлают боевых коней тысяч двадцать.

— И когда поднимутся мусульмане Поволжья и Приуралья, верные слуги пророка, обитающие в Крыму и Капских горах, объединятся с турками и кызылбашами на юге, России поневоле придется убраться отсюда восвояси. О том турецкий падишах договорился и с Китаем, и с Индией, и даже с далекими англичанами и алеманами. Главное теперь — заручиться единой волей и поддержкой мусульман кайсацких просторов. Если все мы объединимся под зеленым знаменем пророка и объявим иноверцам войну за веру, за язык, за землю, к нам придут на помощь правоверные многих стран. Полагаю, что они приложили руку и к башкирскому мятежу. Отсюда гость намерен податься к башкирам.

Пожилой казах в чалме перевел дыхание, пытливо уставился на хана. Абулхаир сидел с непроницаемым видом. Неясно было, одобряет он тайные цели гостей или осуждает.

— Дошел до меня слух, будто Кылмак Абыз прислал своего человека в Средний жуз и просил помощь. Так ли это?

— Слух, полагаю, не без основания. Завтра, когда мы перекочуем на джайляу, башкиры наверняка не дадут нам покоя, будут постоянно совершать набеги.

— А от их мятежа толк-то хоть какой-нибудь есть?

— Видно, есть. Как-никак продвижение русских они задержали. Русские войска очень надеялись на башкирских лошадей, на жилище, на продовольствие, теплую одежду, на снаряжение и оборудование, а на самом деле, ничего этого не получая, сотнями гибнут от голода, холода, меча и секиры. Это точно!

— Неужели русские не в силах с ними справиться?!

— Во всяком случае пощады не дают. Дотла выжигают деревни, огню предают и детей, и женщин. В числе тех, кто особенно свирепствует, по словам очевидцев, находится и знакомый нам Мамбет-мурза.

В юрте воцарилась долгая и тяжкая тишина. Потом пожилой казах в чалме заметил:

— Наверное, не так-то просто справиться русским с мятежниками. Иначе зачем бы русскому правителю, прибывшему строить новый городок на реке Орь, мотаться целый год по башкирским дорогам со всем своим немалым войском?!

— А какие, кстати, поступают новости из крепости на Ори?

6—1505

— Должно быть, и там далеко не все блестяще. Сказывают, от крепости до самой Уфы все дороги усеяны трупами. Зима выдалась суровая. Продовольствие кончилось. Те, что отправились на сборы, замерзли в пути. Оставшиеся пробавлялись дохлятиной, тухлятиной, ловили рыбу, выкапывали из нор сусликов. Башкиры могли бы без труда сровнять крепость с землей, да, видно, решили, что за зиму там и так все перемрут.

Бопай от этих слов вся сжалась. Абулхаир нахмурился. А в больших глазах бородатого гостя-чужеземца в это мгновение, показалось, еще ярче вспыхнули огоньки.

— Так вот, судя по всему, и у русских храбрецов душа ушла в пятки. Оказывается, они в ссоре со всеми своими северными, западными и южными соседями. Наиболее покладистым и терпеливым оказался как раз наш край. Но и тут теперь взбунтовались башкиры. Так что...

Абулхаир негромко кашлянул, словно прочищая горло, и говорливый гость в чалме тотчас осекся, решив, что беседа эта хану явно не по душе.

— Ну, и что сказали, что передали Жанибек и Букенбай?

Вопрос хана действительно прозвучал неожиданно и жестко.

— Что они могут сказать? Сказали: отвези гостя к хану. Пусть своими ушами его выслушает. И пусть, пока переберется на летовку, все обдумает. И мы, дескать, подумаем.

Абулхаир весь подался вперед.

— Что ж... разумно. Однако что же это получается? Выходит, русским нынче не до нас?

Гость в ответ лишь повел плечами. Откуда, дескать, мне о том знать...

— Ладно...— сказал в задумчивости хан.— Обо всем этом мы поговорим при встрече, с глазу на глаз. А пока только скажу, что завтра же направлю нарочных в город на Ори. Пусть, во-первых, проведают моего сына, узнают, как ему живется. Во-вторых, вызнают настроение и намерения русских правителей. А в-третьих, попрошу, чтобы снарядили к нам посольство. Пусть оно приедет и объяснит нам все положение как есть. И если окажется, что русским не до этого, то...— хан сделал паузу, подумал немного и резко заключил:— То, выходит, все сказанное вами — сущая правда.

— Может, хотите что-либо передать батырам?

— Живы будем, надеюсь, скоро свидимся. Было бы

разумно, если бы они вместе с моими нарочными направили в Орь и своих людей.

Прислушиваясь к беседе мужчин, Бопай вдруг почувствовала, что с нее спала непомерная тяжесть, что она как-то сразу взбодрилась, будто очнулась от долгого сна. Разговор за дастарханом тотчас обрел для нее очевидный смысл, и она с особым вниманием, с живой заинтересованностью прислушивалась к каждому слову мужа.

Нежданные гости спешно выехали на рассвете следующего дня, довольствуясь чаем и кумысом. Абулхаир проводил их до коновязи. Все это время он вел себя с ними сдержанно и ровно, не выказывал никаких особых знаков внимания, но и не отпугивал излишней суровостью. Гости недоуменно переглядывались, так и не поняв, как хан воспринял их весть.

Бопай всегда удивлялась спокойствию и самообладанию супруга. Недавняя обида и глухое раздражение уступили теперь место жалости и сочувствию к мужу, которому — она это чувствовала — всегда приходится держаться на краю обрыва.

В тот день Абулхаир распорядился дать кочевью передышку. Верблюды были развьючены и отправлены на выпас неподалеку. Хан пригласил к себе расторопного шурина Мырзатая.

— Отправься спешно к Букенбаю. Пусть пошлет своих порученцев к Таймасу или Алдару и узнает, как обстоят ныне дела среди башкир.

Потом хан вызвал Байбека.

— Готовься в путь. Не жди, пока устроится кочевье. Выбери себе человек пять надежных спутников. Не забудь Итжемеса. Съездишь к устью реки Орь. Остальное объясню перед самым отъездом.

Бопай отлично понимала тайный расчет дальновидного супруга. Хан, отправляя своих порученцев в путь, не хотел, чтобы об этом говорили в аулах, поэтому он приурочил их отъезд ко времени кочевки. Это исключало возможные кривотолки. Видела Бопай также, что муж встревожен вчерашним разговором с неожиданными гостями. Был он в последнее время ласков и добродушен, весь какой-то непривычно размягченный, а тут опять как бы напружинился, на переносице вновь обозначились две глубокие складки.

Хан, однако, скрывал свое смятение и тревогу от посторонних глаз и, отдав порученцам необходимые распоряжения, выехал после обеда к отарам, которые надлежало

отправить впереди кочевья. Раньше он этого никогда не делал. И Бопай догадалась: то была уловка. Хану хотелось и самому казаться спокойным, и не давать повода для тревог в аулах. Нельзя было допускать, чтобы поползли какие-либо слухи о нежданном приезде таинственных гостей. Хотя бы до той поры, пока не выяснится подлинное положение дел. Овец, малость окрепших после стрижки и весеннего расплода, погнали на джайляу тремя днями раньше. Отары обычно бредут неторопливо, с частыми остановками. Вслед за отарами, когда уже развеется и уляжется поднятая ими пыль, тронется в путь само кочевье. А вот многотысячные табуны, под копытами которых гудит земля, сплошным потоком хлынут потом, дней пять спустя, чтобы в облаках пыли, всклубившейся из-под копыт, не задохнулись в пути ни отары, ни кочевье. Табуны сопровождают обычно наиболее сильные и выносливые джигиты, способные при случае отразить вражеский набег. Хан решил проследить за продвижением огромного кочевья. Оно должно было организованно, без происшествий выйти в путь и с подобающим ему торжеством расположиться на тучных выпасах джайляу.

Осмотрев кочевье, табуны и отары, хан в сопровождении многочисленной свиты выехал вперед, предоставив тем самым своей ханше возможность и время тщательно разобраться во всех своих душевных волнениях, сомнениях и смуте.

Хотя в многодневном пути Бопай и пересаживалась то на покладистого, с размеренным ходом верблюда, чтобы отдохнуть, то на легконогого скакуна, чтобы взбодриться, однако от назойливых и надоедливых, как осенний туман, тягостных дум так и не смогла избавиться. Из головы не выходили слова чернобородого говорливого казаха в белой чалме. Взбаламутил он своими рассказами душу. Чутким женским сердцем своим она понимала, что муж ее, хотя и принял подданство русских и укреплял с ними союз, все равно постоянно терзался бесконечными сомнениями и на твердой земле ощущал себя так, будто стоит в зыбкой утлой лодчонке в бескрайнем бушующем море, а теперь вдобавок ко всему очутился еще перед одним трудным и опасным испытанием. Неспроста, надо полагать, зашастал по степи тот турок со смоляной бородой и огненным взором. Что-то недоброе замышляет. Мало было Абулхаиру казахских дрязг и интриг, теперь начнут его терзать еще и заботы всего мусульманского мира под зеленым знаменем пророка. Червь сомнения и соблазна, уснувший было в душе, вновь

проснется, вновь поднимет голову. О, это даже не червь, а змей-искуситель, с которым не так-то просто будет сладить. Вся надежда была на силу и славу русских, но, видно, и их былая мощь пошатнулась. Судя по тому, как взбунтовались вчера еще покорные, смирные башкирские тарханы, а волжские калмыки погрязли в смутах и раздорах, удача-счастье отвернулось от белой царицы. Сказывают, слава о могуществе Российского государства гремела на весь белый свет в пору правления их грозного царя. А потом на трон взобралась баба с длинными волосами и коротким умом и, должно быть, вскоре все растеряла. И неудивительно: кочевье, возглавляемое бабой, обречено на неудачу. Так говаривали еще предки...

Странно, однако! Неужели царево войско так обессилело, что не в состоянии даже укротить башкирских мятежников? Или за всем этим что-то кроется? Или еще какие-то силы мутят воду? Неужто новый городок у устья реки Орь очутился в столь трудном положении? Неужто дошло до того, что кормятся степными сурками? Как же в таких условиях живется бедному Ералыжану?..

Эти думы не оставляли Бопай. Неотступная боль разрывала ее грудь. После прошлогодних восторженных рассказов Нуралы она и не предполагала, что на голову ее сынаманата обрушатся тяжкие испытания, хотя и постоянно тосковала по нему. По словам Нуралы выходило, будто в русском стане на Ори — сплошное веселье и благоденствие. Разве мыслимо было предположить, что там начнется мор? Доводилось слышать и про башкирский мятеж. Но думалось, что это просто шалость, баловство, нечто похожее на каприз упрямца-сорванца перед добрым старшим братом. Трудно было поверить в то, что это бунт, что все это так серьезно. И не поверила бы, если бы это не касалось ее бедного Ералыжана. Подумала бы, что это обыкновенный слух, треп, до каких охочи склонные ко всякого рода преувеличениям степняки. Уж они-то мастера раздувать любую сплетню. Но Ералыжан... ее сыночек, кровиночка ее!.. Еще недавно сердце ее разрывалось от обиды, от того, что, как она случайно узнала, он заложник, аманат у русских правителей, а теперь выяснилось, что несчастный ее сын вынужден на чужбине терпеть еще и нужду и голод...

Ханша расчувствовалась, крупные слезы полились из ее глаз. Так, бывает, истекает влагой незаметный степной родник.

И вспомнился ей один давний случай. Муж вернулся

после сборища у подножья Найзакескен. Он сидел в седле прямо и спокойно. С тем же видом доехал до юрты. Так же спокойно и сдержанно спешился. Спокойно и уверенно переступил через порог. Дойдя до почетного места в юрте, не оборачиваясь, дал знак, чтобы его немедля оставили, и когда вся свита, за исключением ханши, бросилась вон и за юртой стихли шаги, хан, точно подкошенный, рухнул на горку пуховых подушек, закатил глаза, страшно оскалил зубы. Бопай, цепенея от ужаса, кинулась к мужу. Рука его, вялая, безжизненная, плетью упала ей на колени. Жилы на висках посинели, вздулись. Лицо в одно мгновение осунулось, помертвело. Скулы обострились. Губы почернели, точно обуглились. Дыхание стало тяжелым, прерывистым. Подобный припадок случился с ним и незадолго до этого, когда в юрту неожиданно вошел Туяк, накануне определенный в аманаты. И вот теперь опять... Когда было принято решение, что хан обязан отдавать в аманаты кровного сына-подростка, самообладания его хватило только на то, чтобы добраться до своего дома. И тут опустошающий плоть и душу припадок настиг его. О том, каким душевным мукам был подвержен ее внешне непроницаемый, несокрушимый супруг, знала лишь одна Бопай.

В таких случаях она не прибегала к услугам знахарей. Не пользовалась никакими заговорами. Только ни на миг не отлучалась от мужа, сидела рядом и беспрестанно гладила ему немеющие руки, холодные ладони, растирала виски. При этом она никого и близко не подпускала к юрте, приказывала соблюдать в ауле тишину, даже детей отправляла резвиться подальше, за холм. Лишь на второй, на третий день Абулхаир приходил в себя. И держался так, будто ничего не случилось. Вновь принимал людей. Потом приказывал подать коня и отправлялся в путь по своим бесконечным делам и заботам.

Бопай всегда безошибочно знала, что происходит с мужем, что тяготит его, отчего случаются с ним хоть и редкие, но всегда бурные, изнурительные припадки. По последнему его припадку она догадалась, до какой степени тернист и опасен тот путь, на который ступил ее Ералыжан. И стало ей жалко и сына, и мужа. И по обоим пролила немало слез. Отправив сына в Петербург, хан полгода ходил сам не свой. Потом, когда стало известно, что Мамбет-мурза отправил поручeнцев хана Семеке с полпути назад, осрамив таким образом давнего соперника, Абулхаир сразу встрепенулся и взбодрился. Вслед за этим собрал войско и двинулся на

волжских калмыков. С той поры Бопай не замечала в муже никаких признаков подавленности или растерянности. Проводив неожиданных гостей, приехавших от правителей Среднего жуза, хан, направляясь от коновязи в юрту, раза два неловко оступился, казалось, деревенели, заплетались его ноги, и Бопай так и обмерла, опасаясь, что муж вот-вот рухнет и забьется в припадке, но, к счастью, все в этот раз благополучно обошлось. Сердце Бопай, однако, сжалось в предчувствии беды. Значит, за скупыми словами тех ночных пришельцев скрывалась серьезная опасность. Опять, видно, сгущаются тучи над головой Абулхаира. Снова его честь и совесть оказались на зыбких весах роковых испытаний... О, всевышний, всемогущий, не оставляй его, укрепи его дух на его тяжком пути...

Бопай не раз ловила себя на том, что, думая о нелегких испытаниях, выпавших на долю ее мужа, она забывает и про себя, и про своих детей.

Так получилось, что Абулхаир с первого часа их встречи властно вмешался, вернее, как бы ворвался в ее судьбу и всецело подчинил ее себе. Вспоминая те давние события, Бопай и теперь еще вся вспыхивала, покрываясь жгучим румянцем. Давно это было... еще там, далеко за барханами Кызылкума, в одном из бесчисленных ущелий безлюдной горы, где паслись стада непуганных антилоп...

В детстве Бопай была подвержена странной болезни, которая внушала страх ее родным и близким. Впервые хворь проявилась в возрасте шести-семи лет совершенно неожиданно. Как-то, смастерив куклу из верблюжьей берцовой кости, она как ни в чем не бывало играла в свою девчоночью игру и вдруг почувствовала, как правая ее ножка задергалась в судороге, и, не зная, куда себя деть от все усиливающейся боли и неясной тревоги, она выскочила из юрты, взобралась на отцовского скакуна, стоявшего на привязи, и, точно очумелая, понеслась в степь. «О, аллах! Что с ней? Не шайтан ли в нее вселился?!»— встревожились домочадцы и кинулись было вдогонку, но тщетно. Долго мчалась она, отпустив поводья, пока скакун сам не остановился. И тут выяснилось, что скакун примчал ее в пески, где у подножья бархана, ползком взбираясь по его зыбучему склону, бился, рыдая в отчаянии, ее старший брат Бугуль. В затуманенном сознании раненого Бугуля вспыхнул ужас. Ему померещилось, будто сестренка выскочила

вдруг из-под земли, и, конечно, это была не она, а какая-то нечистая сила в ее обличье. Бугуль в испуге плотно закрыл глаза, замахал обеими руками, и близко не подпуская к себе сестренку.

Девочка не спешилась. С жалостью и состраданием посмотрела на брата, весь день ползшего по песку и в кровь ободравшего себе руки и колени, и негромко сказала:

— Коке, подсаживайся! Только не вставай, ухватись за стремя и седло и подтянись на руках.

«Это или добрый дух, или шайтан-оборотень,— промелькнуло в голове измученного Бугуля.— Все равно околеть мне в этой пустыне. Так и быть, послушаюсь...» Не открывая глаза, он пошарил руками, нащупал, ухватился за что-то, ойкнув, резко подтянулся и почувствовал тут же, как страшная боль пронзила все тело, что-то хрустнуло в позвоночнике, и мрак накрыл, захлестнул его.

Очнувшись через некоторое время, увидел сидевшую у изголовья на корточках сестренку, а рядом, волоча поводья, неторопливо топтался караковый конь отца Суюндин, на котором он обычно разъезжал по ближним аулам. Удивленный Бугуль легко вскочил на ноги. Странно: нигде ничего не болело, только горели ободранные в кровь колени. И тут ему все вспомнилось: прошлой ночью он верхом возвращался домой; вдруг услышал за спиной топот; незнакомые подскочили к нему; надвинули ему на лоб шапку; кто-то на полном скаку тюкнул его дубинкой меж лопаток, сшиб с коня; и он только помнил, как при падении щелкнуло, хрястнуло в пояснице. Пришел в себя лишь днем, когда стало припекать солнце. Нестерпимая боль в спине точно сковала его. Ноги не слушались. Смертный страх пронзил его. Неужели ему суждено погибнуть в безлюдной пустыне?.. Надо хоть ползком взобраться на вершину бархана. Может, заметит его здесь случайный путник... Сколько он полз, он не знал. Вокруг все было испещрено копытами коней — следами ночных разбойников.

Подсадив брата на коня, девочка благополучно доставила его домой.

С тех пор о Бопай стали говорить как о провидице, избраннице аруахов — священных духов. В самом деле, девочка была отмечена особым даром. Временами на нее как бы находила блажь. Непонятная тревога охватывала ее. И тогда ни с того ни с сего будто стягивалась кожа на спине, или немела рука, или ныла нестерпимо голень. И каждый раз выходило, что в этот день кто-то покалечился. И девочка

не находила себе покоя, пока не подходила к страждущему, не снимала ему боль, не облегчала страдания. Особенное беспокойство вселялось в нее тогда, когда случалась какая-либо беда с кем-нибудь из близких или родных. И покуда не приезжали за ней, она не находила себе места, мучилась головной болью, не могла ни есть, ни пить.

Таких людей, отмеченных мистическим даром, кочевники издревле и почитали, и побаивались. Бопай выросла, стала девушкой на выданье, но джигиты сторонились ее, сваты обходили ее юрту. Единственная у родителей дочь, любимица трех братьев, она так и не услышала желанных слов от многочисленных посетителей ее аула. «Увечье», «поломы», «ушиб», «вывих»— вот что приходилось ей чаще всего слышать. Скольких добрых джигитов она вылечила, скольких вновь подняла на ноги, но ни один не обмолвился словами признания, никто не решался заслать к ней сватов. И девушка уже смирилась со своей судьбой. Считала, что личного счастья ей изведать не суждено. И действительно, получилось так, что никто ее не сватал. И в дом знатных тюре, можно сказать, она вошла случайно и пришла сама, без обычных традиционных церемоний...

Давняя это история... Ныне обросла разными кривотолками. Кто-то, рассказывая о том случае, стремится возвысить ее, Бопай, в глазах людей, возвеличить ее достоинства. Кто-то, наоборот, пытается уязвить ее, задеть ее женскую честь и самолюбие. Сама же Бопай, вспоминая то время, чувствовала себя то окрыленной, то униженной. Как бы там ни было, судьба ее не была похожей на судьбу большинства ее соплеменниц и сверстниц...

Да-а... В том году в роду адай особенно влиятельными и значительными считались лишь восемь аулов. Потомки Косая почему-то не откочевывали на джайляу ни к низовью реки, ни к верховью гор, а остались на зимовье в песках Кызылкума, неподалеку от Бухарского перевала в безлюдной пустыне, среди увалов Бокентау, похожих на сбившихся в косяк испуганных коней. Почему это так произошло — Бопай не знала и поныне. Видно, и в том году случилась какая-то беда, обрушилась на их род одна из многочисленных напастей, и аул их был лишен возможности откочевать. Помнится только, что в ту памятную пору дома не оказалось ни отца, ни старшего брата Бугуля. И еще помнится, как на нее опять накатило, как она весь день не находила себе места в юрте. Она без конца заставляла братишку Курманкула подниматься на ближний холм и посмотреть, не

возвращается ли с охоты Бугуль. И действительно, вскоре донесся крик Курманкула:

— Бопай-апа, брат наш едет!..

В голосе мальчика ей почудилась тревога. Бопай тотчас выскочила из юрты. Отроги Бокентау, окутанные предвечерней хмарью, казались ниже обычного и сливались с горизонтом. А скот и люди на более ближнем расстоянии, наоборот, выделялись в лучах заката особенно крупно и отбрасывали от себя длинную тень. Со склона увала в сторону аула отчетливо пролегли две уродливо вытянувшиеся тени. Одна из них — знакомая фигура долговязого Мырзатая, брата Бопай; другая же — конь, которого он почему-то вел под уздцы. Потом Бопай разглядела, что через седло перекинуто что-то громоздкое, тяжелое. Может, туша горного барана или антилопы? Но нет, не похоже... Вроде бы человек. Да, точно... Человек. А на поводу бредет, видно, его конь. Кто же это может быть? Что же могло случиться? Уж не человека ли подстрелил Мырзатай? Не потому ли охватило ее тяжкое предчувствие? Не потому ли сегодня с утра сердце ее не на месте?..

И тут Бопай вдруг почувствовала облегчение, словно неимоверный груз спал с ее плеч. С чего бы это? С каким ее близким человеком случилось несчастье, что у нее уже столько дней ноют все кости?

Пока она стояла в растерянности и недоумении, подошел Мырзатай. Курманкул кинулся навстречу, принял из рук брата повод. Потом они вдвоем, покрякивая от усилия, сняли кого-то с лошади, неловко затащили в юрту. Вслед за братьями вошла Бопай и увидела в правой части юрты на постели для дорогих гостей лежавшего на спине рослого, крупнотелого джигита. Был он бледен, словно выстиранная в щелочи тряпка. На висках вздулись синеватые жилы. На затылок, на шею налипли комки глины, будто его выкопали из земли. Аккуратно подстриженные, блестящие, как шерсть выдры, усики тоже припорошились пылью.

— Кто это?

— Аллах знает... Выехал к Архаровой балке, смотрю, возле речки на лугу, заросшем мятой, саврасый пасется. Под седлом. В узде. Подал было голос — никто не отзывается. Что за дьявольщина, думаю. Конь застриг ушами, шарахнулся в сторону. Но не ускакал. Стоит, ногами перебирает. Подкрался к ущелью неподалеку от саврасого, гляжу: в тени под шершавым камнем распластался кто-то. Думаю, может, с лошади упал? Но нет, целехонек, ни ушиба, ни царапины.

Лежит себе на спине и будто спит. И место хорошее выбрал: подальше от овражной сырости. Опять подаю голос — не шелохнется. Кричу громче: «Эй, кто ты? Очнись!» Ни звука. Может, подумал тогда, змея его ужалила или таранвитул какой? Подошел ближе, посмотрел и так, и сяк. Не видать никаких следов. Да и упал не случайно. Нарвал мяты, соорудил лежбище. Знал, значит, что разные жучки-паучки сторонятся запаха луговой мяты. Ну что делать? Склонился к его лицу. Густые ресницы чуть-чуть вздрагивают. Слышу: тихо так, протяжно постанывает. Как я его оставлю в таком состоянии одного на безлюдье? Подвел коня и коекак забросил обмякшее тело на передок седла. А тут, слышу, и саврасый голос подает. Подошел близко и заржал. Мне удалось поймать конец повода. Вот и привел. И это все, что я знаю...— закончил свой отрывистый рассказ верзила Мырзатай.

Незнакомец лежал в забытье, являя собой неразрешимую загадку. Немногие мужчины, оставшиеся в ауле, а также женщины и дети попеременно толпились у его изголовья, разглядывали его со всех сторон и недоуменно качали головами. Никто в округе его не признал.

Губы незнакомца от сухости потрескались. Кто-то приложился ухом к груди: сердце слабо билось. Собравшиеся в юрте повернулись к Бопай, дескать, что мы можем, подойди же, посмотри. А Бопай сидела в сторонке, безучастная к тому, что вокруг происходило. Тяжесть, сковавшая несколько дней ее тело, разом исчезла. И тревоги ее тотчас покинули. «Странно,— думала девушка про себя.— Кто он мне, что я столько дней томилась душой и выходила из себя? Я ведь даже никогда его раньше не видела... А боль его, должно быть, глубокая, внутренняя. И хворь серьезная. Левое плечо вроде как выше правого. И голову склонил именно на эту сторону, как бы ища подпорки...»

Бопай подошла к его постели, опустилась на корточки, приказала снять с него кольчугу, обнажить грудь. Девушка внимательно осмотрела незнакомца. Грудь у него была могучая, бугристая. Тугие мышцы перекатывались под гладкой кожей. Видно, не расставался с луком: на левой ключице обозначалась мозоль шириной в два пальца. Значит, левша. По всему видно, обладает недюжинной силой. Плечи развернуты, широкие. В правом боку, под мышкой, Бопай вдруг обнаружила небольшую, с пуговицу, ранку. Она только-только начала затягиваться: еще виден был бледный след недавней повязки. Девушка ощупала правое плечо

незнакомца. Оно тоже было выпуклое, могучее, однако мышцы показались более вялыми, дряблыми. Она провела пальцами по бицепсам: так и есть, опасения ее оправдались. Вытянув обе руки незнакомца, девушка пригляделась к пальцам. На левой руке пальцы оказались крупней и жилистей. Выходит, у него начинает усыхать правая рука?..

Теперь Бопай вгляделась в лицо мужчины. У него был крупный прямой нос. Тонкие, чуткие ноздри. Брови густые, но неширокие. Лицо продолговатое, скулы заметно выделялись. Желваки бугрились. Между бровями пролегли две глубокие складки. Верхний ряд зубов оказался ровен и бел, зубы нижнего ряда слегка изъедены, с щербинкой. Все приметы свидетельствовали о том, что мужчина честолюбив, вспыльчив, решителен и умеет владеть собой.

Ни амулета, ни ритуальной косточки от сглазу при нем не оказалось. Ни метки или родового клейма не было ни на одежде, ни на оружии. Обычно, отправляясь на охоту в безлюдные края, мужчины наряжаются в походные или воинские доспехи. В рукава, в потайной кармашек возле плеч зашивают или амулет, или какой-нибудь священный предмет с молитвенными словами: на одном —«Сохрани, аллах, мою душу, обереги от всех напастей», на другом — «Сохрани, аллах, мою честь, обереги от позора-сраму». У незнакомца и этого не было. Еще куда ни шло, если бы он был какой-нибудь безродный странник, бродяга, низкородный дервиш, «черная кость». Так нет, седло и сбруя, одежда и оружие говорили о том, что он из рода знатного и могущественного. Кто же он? Однако очевидно: раз не побоялся безлюдья, пустыни, гор и ущелий, где на каждом шагу подстерегает опасность, значит, не из трусливого племени. Нельзя также сказать, что он разбойник с большой дороги, соблазнившийся богатой добычей. Такие благородные черты, осанка, подобная опрятность в одежде, в стати несвойственны разбойникам, обуреваемым жаждой наживы и другими низменными страстями. Нетрудно заметить, что человек он гордый и уверенный в себе. От всего его облика, даже в бессознательном состоянии, веет благородством. Нет, не простого он происхождения. Но как могли его родичи отпустить такого недюжинного джигита одного в неведомую даль? Без свиты, без надежных спутников? Куда смотрела его мать, его жена, его сестры? Неужели они не оценили его достоинств? Неужели не пользуется весом в кругу семьи? Неужто не могли зашить в его одежды какой-нибудь амулет, уберегающий его от беды и напасти, от

сглазу и недоброго слова? Судя по внешнему облику, ему давно уже перевалило за двадцать. Значит, надо полагать, не холост. Ну а если почему-либо не женат, то наверняка должны быть мать или сестры, или — на худой конец — тетки. Не может же он сам по себе бродить по степи, точно одичавший без пригляду верблюд. А может — сирота, рано лишившийся матери? Может, обделен лаской? И потому болезненно самолюбив, упрям и замкнут? По предположению Мырзатая, одинокий, самому себе предоставленный, чем-то уязвленный человек. Возможно, он прав. По всему, в семье его неблагополучно. С другой же стороны, опять-таки опрятен, чист, собран; значит, не из тех, кто опускается и дичает без женского присмотра, а чуток, самолюбив, знает себе цену и дорожит своим достоинством. Однако все эти свойства он тщательно оберегает от чужого глаза. И еще один вывод сделала для себя Бопай: не телесная хворь свалила столь сильного и выносливого джигита, и не та ранка в правом боку причина его беспамятства, а какая-то глубокая, тайная, душевная боль издавна подтачивает его могучую плоть, ввергая его время от времени в изнурительный припадок.

Недавние тревога и смятение, охватившие Бопай, теперь уступили место жалости и состраданию к незнакомцу, лежавшему в глубоком обмороке. Подобные болезни лечат не знахарством, не лекарствами, а вниманием и терпением, искренней лаской, идущей от всего сердца. Только радостное и сильное ощущение, высокий душевный порыв, подобный благодатному весеннему ветру, могут изгнать из сердца давнюю, крепко, точно снежный наст, слежавшуюся печаль и растопить, развеять изнуряющую плоть тоску. Вывих вправляют сильные искусные пальцы, раны на теле рубцуют уход и снадобья; душевную боль излечивают доброе слово и нежная ласка. Хворь этого джигита застарелая, запущенная. Ее, пожалуй, добрым словом не излечить; ее, пожалуй, и нежной лаской не победить. Хворь успела отравить сознание, пустить глубокие корни в сердце. Она — что опасный, ненасытный червь, изо дня в день неотвратимо подтачивающий душу. Такую хворь можно излечить лишь горячим, всепобеждающим чувством, идущим от сердца к сердцу, возбуждающим, воспламеняющим пылкую, чистую кровь, в упругих толчках которой задохнется, захлебнется всякая нечисть.

Бопай, поняв это, растерялась. Пришла в смятение, в оторопь. И почувствовала свое бессилие. Она побледнела

лицом. Глаза выпучились, как в безумии. Люди, испугавшись ее вида, поспешно двинулись к выходу. «Видно, духи смущаются посторонних, и она бессильна призвать их к себе».

Бопай ничего не видела и не слышала. Ее внимание было всецело поглощено лежавшим в беспамятстве мужчиной. По всем признакам, он еще не скоро придет в себя. Что же делать? Девушка знала, что чудодейственная ее сила заключена в пальцах. Те, что обращались к ней с вывихами и переломами, умоляли прикоснуться к ним хотя бы кончиками пальцев, утверждая и уверяя, что одни только ее нежные мягкие касания уже снимают боль и облегчают им муки. А у этого кости целехоньки; ни вывиха, ни ушиба. Он знал, что ему будет плохо, и потому заранее спешился, выбрал удобное место, обезопасил себя от сырости, от солнца и ядовитых гадов. И пока не свалился, был в полном, здравом рассудке. Значит, он подвержен тяжелой душевной болезни. А против нее она бессильна. Нет у нее такого дара, чтобы изгнать из сердца иссушающую дух злую хворь. И вообще, что она понимает в сердечных делах? Из-за того, что с детства прослыла провидицей и искусным костоправом, она даже лишена возможности резвиться, как все дети, со своими сверстниками. Упустила пору невинных забав. И неведомо ей до сих пор, как нужно держаться, как следует обращаться с джигитами. За свою жизнь ей приходилось иметь дело исключительно с изувеченными, ущербными мужчинами. А какой мог быть с ними разговор? Она их жалела, сочувствовала их горю, но ни нежных чувств, ни тем более душевного влечения к ним никогда не испытывала. А хворь этого видного, недюжинного джигита может излечить лишь материнская нежность или беззаветная, пылкая страсть возлюбленной, или восторг и ликование, любовь и обожание многоликой толпы. Пока смятенная душа его не расплавится в огне животворящей любви и не очистится от скверны, этот несчастный так и будет прозябать на белом свете либо душевнобольным, над которым потешается каждый, либо холодным истуканом, у которого в груди вместо живого сердца зачерствевший кусок мертвечины, либо глухим, бесчувственным чурбаном, в дремучее нутро которого не в силах проникнуть даже солнечный луч. Никто из материнского лона не является на свет законченным негодяем, злодеем, дурнем или мерзавцем. Ожесточаются сердцем, омрачаются душой, сбиваются с пути и, отторгнув добро, породняются со злом лишь после того, когда сполна изве-

дают, познают равнодушие, черствость, несправедливость, насилие, надругательство тех, кого принято называть то родными и близкими, то сородичами и соплеменниками, то толпой, то даже народом. Разве бывало такое, чтобы человек, познавший с малых лет материнскую любовь, отцовскую нежность, доброе внимание близких, уважение сверстников и почет аулчан, становился вдруг потом невоспитанным и бездарным, черствым и пакостным? В своих несчастиях и ничтожестве изначально повинен не сам человек, а его окружение, недоброе влияние чужих. Видно, нечто такое произошло и с этим джигитом. Он красив и могуч, должно быть наделен немалыми достоинствами и благородством, однако не избалован удачей и не оценен слепой и невежественной толпой. В самом деле, мы, степняки, не столь уж великодушны, чтобы воздавать почести достойным. Возможно, в этом и кроется причина тяжкой хвори самолюбивого джигита. А может, преследует его недобрая людская молва...

Бопай положила к себе на колени бесчувственную правую руку незнакомца и начала ее осторожно ощупывать от мизинчика до ключицы. Потом кончиками пальцев слегка огладила правую грудь и бок, стараясь не задеть розовый рубец заживающей раны. На внутренней части плечевого сгиба девушка нащупала дряблую, омертвевшую мышцу. Видно, следствие раны в боку. Повреждена какая-то жила. Вот отчего начала усыхать правая рука. И через каких-нибудь шесть-семь месяцев, если не рассосется опухоль, джигит может стать калекой. Это будет неожиданный и страшный удар, крах для человека молодого, честолюбивого и чуткого. Хорошо еще, если женат, если есть какая-то опора, есть кому за ним ухаживать... А так, если он холост, считай, пропал, не найти ему, увечному, ущербному, верной спутницы в жизни. И начнет он слоняться по аулам, потерянный и униженный, с ожесточившимся сердцем, с опустошенной душой, наводя на всех тоску и уныние. Не жизнь — маета, жалкое, позорное прозябание. Душевные муки приводят к озлоблению. Злоба рождает ненависть. Ненависть — жестокость. Жестокость обернется неминуемой бедой, которая захлестнет многих. Для того, чтобы обуздать жестокосердие и коварство, поставить им заслон или задушить их в зародыше, мудрая природа распорядилась так, чтобы женщина нуждалась в крохотном и беззащитном ребенке, источнике ее любви и нежности, а мужчина — в преданной и пылкой женщине, предтече его

доброты, мужества и благородства. Все в природе задумано и осуществлено разумно и целесообразно: извечно животворящие соки природы передаются в кости через кровь, в кровеносные сосуды — через пищу, а в душу человека проникают они невидимыми, как сам создатель, таинственными путями через светлые, возвышенные порывы и сердечные влечения другого человека. Как-никак, она, Бопай,— женщина, и она могла бы попытаться передать свои исцеляющие токи этому неведомому ей мужчине, прибегнуть к своим чарам, но разве может быть она убеждена в том, что именно к ней он стремился, именно о ней мечтал и только ее одну жаждал... Скажет ли он потом ей: «Ты и есть богом данная мне супруга»?

И все же не знак ли судьбы то, что тревоги и неясные томления, охватившие ее в последние годы, вдруг разом исчезли, улетучились, едва этот незнакомец появился в ее юрте? Не счастливое ли предзнаменование? И почему, сидя у постели лежащего в глубоком обмороке незнакомого ей человека, она вдруг ощутила такую поразительную ясность в душе? Куда делось недавнее смятение? Каким образом она так сразу избавилась от тягостного состояния? Чего лишилась? И что обрела? Другое дело, если бы он приходился ей братом или хотя бы близким родственником. Тогда ясно: она кровно сочувствует его горю, она рада, что он не погиб там, на безлюдье, что жизнь еще теплится в его груди и, стало быть, она может попытаться спасти его, как та ласточка, что в клюве подносит воды умирающему от жажды, спасти родственную ей душу. Но кто он ей, этот незнакомец? Чего она так близко приняла к сердцу его беду? Чего ради так всполошилась? О, всевышний, милостивый, всеблагий, что с нею происходит?.. Неужели он услышал ее тайные желания? Неужели сама судьба решила так щедро облагодетельствовать ее? Ну почему этот незнакомый ей охотник очутился именно здесь, на крохотном пятачке безлюдных гор? Мало, что ли, ему было нехоженых троп в непролазных тугаях Амударьи и Сырдарьи? И почему, когда он, потеряв сознание, лежал в ущелье один-одинешенек, его обнаружил не зверь, не птица, не случайный путник, а именно ее родной брат — Мырзатай?.. Почему, почему... Странное стечение обстоятельств и случайностей...

Думая обо всем этом, она чувствовала, как сердце ее заколотилось сильнее. Неведомая, не испытанная ею доселе дрожь разливалась по всем жилам, точно невидимые щупальца проникали в самые сокровенные уголки души, ввер-

гая ее в сладостное томление. Голова кружилась, легкий туман застилал глаза, горели ладони, мелко-мелко вздрагивали кончики пальцев, которыми она едва касалась сильного, мускулистого мужского тела. Она явственно ощущала, как никогда ею неизведанный, но столь приятный и желанный жар вспыхнул в ее крови, растекался по будто онемевшим жилам и через кончики ее чутких, трепетных пальцев переливался в обмякшее, распластанное у ее ног тело незнакомого мужчины.

По-прежнему иссиня-бледным был лоб больного. Мертвенная кожа обтянула заострившиеся скулы. Губы запеклись. Безжизненно-дряблыми казались мышцы правого предплечья. Только пальцы слегка помягчели и потеплели и под ногтями исчез синюшный цвет... О, аллах, подсоби... Не покидай...

Бопай с еще большей нежностью, охватившей ее вдруг, склонилась над несчастным, как бы желая отогреть его горячим и чистым девичьим дыханием, и все продолжала растирать, гладить безвольно лежавшую на ее коленях руку...

Между тем кончился вечер... прошла ночь... наступило утро. А она ничего этого не замечала. Только догадалась о том, когда в юрту вошла ее женге[1] с чашей молодого кумыса. Девушка поднесла было небольшую расписную чашу к губам и тут же спохватилась, скользнув взглядом по бледному лицу больного. Она попросила подать ложку, попыталась влить в рот джигиту несколько капель, но тщетно. Он не сделал глотательного движения. Тогда она смочила ему губы. Он чуть пошевелил ими и издал слабый стон. В глазах девушки вспыхнула радость. О, какое счастье! Жизнь возвращается к незнакомцу. Бопай передала чашу с кумысом женге и подала знак, чтобы она немедленно удалилась.

В беспорядочных, бессвязных думах о том, о сем прошел еще один день и наступила вторая ночь. И на этот раз просторная юрта старшего брата Бугуля была предоставлена больному джигиту и не покидавшей его все это время Бопай. Изредка к юрте подходили аулчане, чтобы узнать про состояние больного и спросить, не нужно ли что измученной сиделке.

Девушка думала: «Была бы я ему пусть не родственницей, хотя бы знакомой. Тогда могла бы передать ему не

---

[1] *Женге* — жена старшего брата.

только тайный жар моей души, но и словами сочувствия, сострадания утешить его измученное, очерствевшее от одиночества и тоски сердце... Я бы нашла такие слова...»

Больной продолжал лежать в глубоком обмороке. Не стонал, не шевелил губами. Вселяло надежду только то, что потеплела, ожила правая рука и порозовели ногти.

Бопай понемногу привыкла к незнакомому мужчине. Начала гладить, растирать не только усыхающую правую руку, но и здоровую, левую, а потом — и затылок, и грудь, и шею, и виски. И почему она не сразу догадалась? Ведь здоровые части тела более чувствительны. Может, так скорее удастся вывести его из обморочного состояния? Может, эти ласковые прикосновения оживят его, приведут в чувство?..

Должно быть, прошла половина ночи. Обе руки Бопай от усталости будто онемели. Но ей подумалось, что как только она перестанет гладить и растирать обмякшее тело джигита, как только ее спасительное тепло перестанет переливаться в его жилы, тотчас оборвется появившаяся недавно слабая надежда. И потому она еще ниже склонилась к нему, прикоснулась подбородком к его лицу и неожиданно для себя задремала. И тут же приснилось ей, будто в юрте Бугуля она разделывала тушу не то овцы, не то жеребенка. Потом, когда сняла шкуру, опешила: то был волк. Огромный, матерый волк с сивым загривком. И из него лилась не кровь, а белое-белое молоко... Она вздрогнула, отшатнулась.

Она не знала, сколько продолжался ее сон. Очнувшись, услышала тихий, слабый голос. Казалось, он доносился из-за юрты. Странно, а где же она?.. Что за голос? Может, померещилось? Ведь уже вторую ночь проводит без сна...

«Пить... пить... пить...»

Кому это понадобилось посреди ночи бегать вокруг юрты и просить пить?.. Вот безумец!..

«Пить... пить...»

О, аллах, голос-то раздается рядом.

Она поспешно вскочила, кинулась к входу, где находилась утварь, нащупала в темноте чашу с водой. Осторожно приподняла больному голову, прошептала: «Ия, бисмилля!» и поднесла край чаши к его губам.

Больной принялся судорожно пить. Он сделал несколько глотков и опять обмяк. Голова, наливаясь тяжестью, откинулась на подушку. Почудилось, будто остановилось дыхание. Бопай похолодела: «Что с ним? Уж не сделал ли он последний глоток перед кончиной?..»

Она схватила его руку, лихорадочно нащупала крове-

носный сосуд у основания кисти. Ужас! Ни намека на жизнь... Но тут под пальцами точно проклюнулись толчки. Тук-тук-тук. Значит, бьется-таки сердце. Может, придет в себя больной? Заговорит?

«Ну как?... Не лучше?»

В ответ ни звука. Бопай с нетерпением ждала рассвета.

На следующий день больной заметался в жару. Щеки его пылали. Ресницы еле-еле вздрагивали. Аулчане забеспокоились, все чаще наведывались в юрту. Весь день прошел в тревоге. К вечеру он стал стонать все чаще, все протяжней и мучительней. Казалось, его раздражали звуки, перешептывания в юрте; он часто хмурил лоб. Бопай приказала всем немедля выйти.

Наступила третья ночь, удушливая, тягучая. Над аулом низко нависла черная, всклокоченная туча. Мрак густел, слоился в юрте. Все погрузилось в тишь. Одни цикады звенели на всю округу.

Бопай охватило непонятное возбуждение. Смутное предчувствие томило ее. Она прислушивалась к каждому шороху. Ей казалось, что больной должен заговорить. И тогда и она что-нибудь сказала бы ему в ответ. Может, ей удалось бы выразить и передать словами неясное томление сердца. Говорят, многолика связь между душами, а самый короткий путь находит живое слово.

Больной метался в постели, постанывал. Видно, жизнь возвращалась к нему, но не в силах была пробиться сквозь туман мучительной хвори.

Вдруг он заскрежетал зубами и отчетливо произнес: «Ах, жаль... Такая досада!» Должно быть, начинался бред. А причиной припадка послужило какое-то потрясение, какая-то страшная досада. Что же это могло быть?

Бопай с усилием отогнала от себя всякие назойливые предположения и влажной ваткой смочила больному губы. Он зачмокал в забытьи. Она поднесла ему ко рту чашу с водой. Он сделал лишь один глоток и опять нетерпеливо зачмокал губами, будто ловил что-то. У входа брезжил слабый свет плошки. Но даже во мраке выделялось бледное лицо джигита. Она все чаще смачивала ваткой ему губы, и, видно, ему это нравилось. Он поворачивал голову в ее сторону, вытягивал шею, будто искал ее. И девушка обрадовалась, снова принялась гладить его увечную руку, перебирать, мять ему пальцы. Это успокоило больного. Он затих. А на рассвете и Бопай задремала, забылась ненадолго. Очнулась от настойчивой мольбы. «Где ты?.. Куда исчезла?..

Не уходи! Побудь со мной...» Больной, как в бреду, вновь и вновь твердил эти слова. Чувствуя прикосновение ее нежных пальцев, он затихал на некоторое время, потом снова начинал бредить: «Не обижайся... Найду тебя... Найду!» И говорил так проникновенно, с такой нежностью в голосе, что нельзя было даже допускать, будто слова эти предназначались мужчине. Бопай насторожилась: может, он, бедняга, лишился недавно возлюбленной? Может, это душевное потрясение привело к несчастью?..

У Бопай сердце сжалось от сочувствия к незнакомому.

Наконец забрезжил рассвет. И больной уснул и проспал долго и спокойно. И грудь его вздымалась и опускалась ровно, как бы свидетельствуя о том, что самая опасная пора миновала.

К обеду того же дня Бопай почувствовала облегчение. Она уверовала, что ей удастся-таки привести джигита в чувство. Он придет в себя, и тогда, возможно, сам поведает о причине своей тяжкой хвори. А то какой смысл в ее напрасных догадках? Мысли ее что спутанная лошадь: вытоптала всю окрестность, а на единственную верную дорожку так и не выбралась. До одного додумалась: в несчастье джигита повинна женщина.

После полудня больной вдруг открыл глаза. Взгляд его заблуждал вокруг, обшарил потолочный круг юрты, на миг скользнул по Бопай, застывшей у постели сбоку, потом вновь уставился на потолок. Через некоторое время, словно не поверив своим глазам, снова смежил веки и погрузился в сон.

Сердце девушки вновь затрепетало. Неведомая надежда в который раз сменилась сомнением. Она вроде как застыдилась чего-то. Может, ей просто неловко перед лежащим у ее ног незнакомым мужчиной? Или ей стыдно за недавние девичьи грезы? В самом деле, не слишком ли много возомнила она о себе? Что скажет он, когда придет в себя и узнает, кто его вылечил? Что он подумает о ее стараниях и нежной заботе? Не подумает ли, что она, засидевшаяся в девках, с отчаяния вообразила себе черт знает что?..

От этих дум она вздрогнула, будто кто-то выплеснул ей на макушку ушат ледяной воды. Она даже не искала ответа на свои сомнения и вопросы. Сидела растерянная, раздавленная. И странное равнодушие разлилось по всему телу. Лучше уж было бы ничего не знать и ни о чем не догадываться. Лучше уж было терзать себя сомнениями, изводить догадками. Неизвестность все же утешала. А теперь, когда

больной очнется и увидит ее у своей постели, ее, девушку, темной ночью, в полном уединении... о, ужас, о, позор... что он о ней подумает... и какими глазами она посмотрит на него!? О, создатель! Лучше бы он не приходил в себя до рассвета, лучше бы проспал всю ночь... И пусть уж очнется завтра, при свете дня, в присутствии людей. Если же очнется сейчас, посреди ночи, что он скажет ей? А что ответит она? Еще недавно она в мечтах своих девичьих задушевно беседовала с ним и надеялась нежными словами разбудить, всколыхнуть его измученное тоской и хворью сердце. Какая наивность! Какое кощунство даже думать об этом!

Опять послышалась слабая мольба. Уж не подслушал ли кто ее затаенные думы? Она вся сжалась, превратилась в слух.

— Ну, где ты?.. Куда исчезла?.. Пить... дай пить,— внятно и властно потребовал больной.

Она тотчас поднесла ему ко рту чашу с водой. Он сделал несколько глотков и, облизнув губы, пробормотал с усилием:

— Не уходи... Прошу тебя... посиди вот так, рядом. Какие у тебя теплые, мягкие ладони...

Что он говорит? О чем просит?.. Всерьез это, или бред?

Голос его помягчел, потеплел. Хрипы исчезли.

— Почему молчишь?.. Ну, прикоснись же ко мне... Погладь... Потри мне лоб...

Бопай в испуге отдернула руку, будто обожглась невзначай. Вся сжалась в комок. Больной беспокойно заворочался, пошарил вокруг рукой.

— Где же ты?.. Почему убрала руку?.. Виски ломит. Ну, погладь же, потри мне лоб... Прошу...

Пальцы Бопай вновь забегали по лбу больного. Он тут же успокоился, затих. Видно, ему были приятны ее прикосновения. Он удовлетворенно, протяжно постонал, как бы говоря: «Хорошо... Еще... еще... вот так... давно бы так...» Казалось, он наконец достиг того, к чему все эти дни так жадно тянулся всем сердцем, будто в подсознании встретился с той, желанной, по которой томилась душа. Он что-то бессвязно лепетал, бредил, но бред, видно, облегчал его страдания, словно тяжкая хворь понемногу отступала, покидала измученное тело...

Ну и хорошо... Пусть будет так... Пусть бредит... Пусть хоть в бреду почувствует утешение. Бопай гладила ему не только лоб, но и виски, шею, грудь...

И вдруг он весь напрягся, встрепенулся, цепкой горя-

чей рукой схватил ее кисть и поднес ее пальцы к своим губам. «Милая, родная моя... желанная...»— нежно зашептал он. Из глаз Бопай хлынули слезы. Она знала, понимала, что сокровенные, шедшие из души слова эти не ей предназначались, но они ее потрясли, взбудоражили все ее существо, и она ничего не могла поделать с собой. Бопай сама не заметила, как поддалась, подчинилась все более крепнущим, настойчивым, нетерпеливым объятиям джигита, как покорно приникла головой к его горячей, распаленной груди. Умом она еще понимала, что и нежные слова, и жадные ласки не к ней были обращены, но неведомые, не испытанные ею чувства захлестнули ее, и ей сейчас ни о чем не хотелось думать. Пусть, пусть, твердил в ней чей-то голос, будь что будет, лишь бы ему было хорошо, лишь бы он скорее встал на ноги... Нельзя сейчас его лишить сладкого видения, желанных грез... Она проявит женское терпение и покорность. Разве не радоваться она должна, что в нем ожили желание, неуемная мужская страсть и нетерпеливость — свидетельство тому, что он не поддался злой хвори, что ему еще жить?.. И не она ли тому причиной, что разбудила в нем эти силы?.. Она обмякла, обессилела, лишилась воли и ничуть не сопротивлялась, безропотно подчинилась его порыву. Ей не хотелось разочаровывать его, развеять сладостный обман, лишить его желанной радости, в ней самой вспыхнуло вдруг желание раствориться в нем, забыться, пожертвовать собой, своей честью и гордостью ради его жизни, ради его возвращения к жизни, и, отдаваясь ему с восторженной покорностью, с упоением, она еще успела поблагодарить всевышнего за то, что он сотворил ее женщиной, наделил ее такой колдовской властью и силой, высоким безрассудством, граничащим с животворной жертвенностью. Лишь потом... потом... она поняла и осознала, что подобная решимость редко посещает женщину...

Эти безумные, почти не запечатлевшиеся в памяти мгновения потом преследовали ее долго, терзали ее душу, и неутешные слезы не однажды душили ее...

Прошел год, другой... Тайна той ночи так и осталась тайной. Кроме нее, никто о ней не знал, не догадывался. Тайной остался и тот джигит. Он пришел в себя, выздоровел и покинул их аул, так и не раскрывшись. Глядя вслед удалявшемуся хмурому серолицему джигиту, аулчане удивленно качали головами: «Надо же! Везучим оказался. Что бы с ним было, не найди его в ущелье Мырзатай? Значит, милостив к нему всевышний...»

Бопай исполнилось двадцать. Прошла нежная пора девичества. Все явственней стала опасность засидеться в девках. Родные, близкие сокрушались: «И зачем только всевышний отметил ее особым даром? Передал бы лучше его ее братьям». Во всей округе по-прежнему восторгались: «Руки дочери Суюндика из рода адай творят чудо. Только прикоснется — любую хворь снимет». Зрелые бабы шептались по углам: «Ох, и мается иногда бедняжка! Как настигнет ее дурь, места себе не находит. Нашелся бы какой человек, да родила бы ребеночка — вся эта дурь и сошла бы с нее. Что ни говори, а божий дар и бабья доля — достоинства несовместимые».

Отголоски подобных разговоров доходили и до Бопай. Такие думы нередко посещали ее. Но она уже не прельщалась девической мечтой. И ниоткуда сватов не ждала уже. Почему-то упорно казалось, что тот таинственный серолицый джигит непременно к ней вернется. Вряд ли он помнил, что произошло между ними в ту темную ночь. Ведь он был болен. Все происходило в бреду. И в подспудном сознании своем он не ее ласкал, не ее любил. Другую... Душа его утешилась в жарких объятиях другой женщины... желанной возлюбленной. Для него все это был просто сон. Сладкий, дивный сон, к которому дочь Суюндика, прославившаяся своим чудотворным искусством, никакого отношения не имела. Так он считал. Но узнав, что девушка три дня и три ночи неотлучно просидела у его постели, возле него, совершенно беспомощного, сраженного глубоким обмороком, он испытал жгучий стыд, неловкость, ибо догадывался, что она слышала его бред, его лепет в бреду и была свидетельницей его затаенных желаний. И когда очнулся и собрался малость с силами, он, пряча от смущения глаза, заспешил в обратный путь. И, аллах свидетель, напрасно он так торопился. Всецело поглощенная его душевной хворью, она все эти дни спасала его душу и совершенно упустила из виду пораженную опасным недугом его правую руку. Воспользовавшись вдохновением, которое в те дни на нее нашло, она должна была прибегнуть к своему дару и попытаться оживить дряблую мышцу, спасти ее от омертвения, что со временем неминуемо приведет к усыханию руки. Ему не обойтись без ее помощи. Лишь искусные, как у нее, руки и постоянное внимание и забота в состоянии остановить разрушительную хворь. Каждый новый припадок, каждое новое потрясение лишь усугубляет ее. Смущенная тем, что произошло с нею в ту ночь, она не смогла предупредить его об этой угрозе.

А может, то был знак судьбы? Может, всевышнему была угодна ее забывчивость? Может, тем самым судьба заранее позаботилась об их новой встрече? Ведь в тот час, когда ему опять будет худо, он непременно вспомнит ее... да, да, вспомнит искусные, чудотворные руки дочери Суюндика из рода адай...

Теперь сама Бопай стала с нетерпением ждать, когда же вновь охватит ее душу тревога и начнет ломать-крутить все ее тело. И вскоре этот день настал. Опять несколько дней томило ее неведомое предчувствие и ходила она сама не своя. Она без конца выходила из юрты и подолгу вглядывалась вдаль. Однако никто не появлялся, не показывался. Однажды, глубокой ночью, ей почудилось, будто кто-то скребется в дверь, тычется в низовую кошму юрты. Бопай вскочила, накинула на плечи чапан и вышла. Неподалеку от аула рос густой тростник. Девушка скрылась в чаще и долго смотрела в сторону складчатых гор, надеясь, что оттуда вынырнет серолицый всадник на саврасом коне. Но он так и не показался. Еле дождавшись рассвета, она оседлала коня и отправилась к отрогам гор, невысоких, но крутосклонных, изрезанных причудливыми ущельями. Ни одной живой души там так и не встретила. Она объехала все горные источники, ручейки, думая, что, может, поблизости пасется саврасый конь, однако тщетно. Она и сама не заметила, как проехала горы и очутилась в неоглядной пустыне. Бурые барханы, горбясь, тянулись до горизонта. Во все стороны простиралась безмолвная ширь. Ни скота. Ни людей. Ни саксаула. Ни кустика жузгена. Ни даже чахлой травинки. Пусто. Голо. Откуда быть здесь зверью? И что в этой пустыне делать охотнику? Пустая блажь привела ее сюда, пустые надежды...

Девушка повернула коня назад. Он брел, по самые щетки увязая в зыбучем песке. И Бопай чувствовала себя вконец усталой и разбитой. Что с ней творится? Откуда и с какой стати тревога? Опять накатила на нее дурь. Только с чего бы это? С кем из ее близких, дорогих людей могла приключиться беда?

Приближаясь к аулу, она увидела у коновязи возле юрты незнакомых коней. Судя по седлам и сбруе, путники были из знатного, богатого аула. Видно, кто-то покалечился. Кому-то понадобилась ее помощь...

Когда она переступила порог юрты, ей навстречу учтиво повскакивали с мест пятеро или шестеро незнакомых муж-

чин. Должно быть, понаслышаны были о славе девицы-чудотворицы. Дух та́инства манит и пугает.

В самом деле, во всем обличье красивой и статной девушки в мужских штанах, в лисьем малахае, под которым были уложены косы, с короткой плеткой-доиром в руке, в ее больших лучистых глазах, в уверенном, пристальном взгляде было что-то внушительное и притягательное.

Она прошла к родителям, сидевшим ниже почетного места, опустилась между ними, поджав ноги, и лишь тогда шестеро мужчин, покраснев до кончиков ушей, снова плюхнулись на подстилки и одеяльца.

Суюндик-батыр, большеносый, мохнатобровый, чем-то похожий на туркмена, по обыкновению хмыкнул и повернулся к дочери.

— Эти гости из аула тюре, прикочевавших к прибрежью Адам-ата. Приехали за тобой. Зачем — пусть сами скажут!

— Дорогая,— начал один из гостей.— Нас прислал султан Абулхаир.

— А кто болен?

— Сам султан.

— Неужто султан не нашел, к кому обратиться?

— То мы не знаем, милая. Он приказал, мы — приехали.

Девушка повела плечами. Кто он для нее, султан? И с какой бы стати из-за него ей мучиться столько дней? Не родственник и даже не знакомый...

— А что с ним? Вывих, ушиб?

— То увидите по приезде.

Ответ прозвучал не как просьба, а, скорее, как наказ. Бопай тотчас собралась в путь. Даже не стала переодеваться. Она постеснялась ехать в окружении шести крепких молодых мужчин, а потому взяла с собой долговязого своенравного брата Мырзатая.

Аул тюре расположился в этом году на расстоянии одного перегона от родового зимовья на открытой песчаной местности. Видно, решили до наступления холодов поберечь зимние выпасы в глубине песков. Хотя аул и принадлежал тюре, то есть знатному феодальному роду, белой кости, однако внешне не отличался от обычного байского аула. На краю песков стояло около тридцати юрт. Далее виднелись юрты более внушительного размера. Их было примерно шесть-десять. А между двумя этими аулами, на широкой, открытой поляне с пожухлой травой, но с еще зеленым и густым жантаком — верблюжьей колючкой, белели особняком шесть нарядных юрт. В них жили султаны. На почти-

тельном расстоянии от этих юрт спутники Бопай спешились. Мырзатай тоже попридержал коня. Двое мужчин учтиво сняли Бопай с седла. Их, оказывается, ждали. От белой юрты посередине пошли им навстречу трое.

— Как доехали, бикеш?[1] Не устали?

Бопай не ответила, только покачала головой и вежливо улыбнулась.

Один из встречавших, самый долговязый, с удивлением сказал:

— О, так вы и есть наша сестренка Бопай?!

Девушка приложила руку к груди, поклонилась.

— Ну, пойдем, милая... Тебя ждут.

Только теперь Бопай заволновалась, даже дрожь ударила в коленки: впервые в жизни ей предстояло войти в юрту тюре.

Кто-то из мужчин, откинув полог юрты себе на спину, показал ей вход. Девушка вся посерьезнела, учтиво склонилась и перед тем, как переступить порог, произнесла вслух:

— Бисмилля!..

Никакого особого, богатого убранства в просторной восьмиствор чатой юрте султана Бопай не увидела. Напротив входа на видном месте висели батырские доспехи; огромный щит посередине, а вокруг него все пять видов оружия воина-степняка.

С верхних решеток юрты свисали шкуры хищников — матерого волка, барса, рыси, тигра. Справа торчало несколько рогов горных баранов. На них были повешены богато инкрустированные, серебром отделанные бухарские, кокандские, русские ружья. Юрта султана по своему убранству больше походила на хижину охотника.

На широкой приземистой постели между очагом и почетным местом кто-то лежал навзничь. У изголовья на ворсистом ковре и больших пуховых подушках не то сидела, не то возлежала светлолицая грузная, уже в летах, женщина, а ниже, у изножья, на отдельном коврике, сжавшись в комочек, сидела в напряженной позе, на корточках худощавая смуглая молодка.

— А-а, милая... Хорошо, что приехала!— звучным тягучим голосом проговорила светлолицая дородная женщина.

Бопай опять промолчала. Долговязый пожилой мужчина, сопровождавший ее, сказал:

— Да, да... К счастью, прибыла вовремя.— И обратился

---

[1] *Бикеш* — обращение к девушке.

к смуглой молодке.— Иди уж... А то там Дильмуханбет ревмя ревет.

Молодка тотчас вскочила, выпорхнула из юрты. На ее место опустилась Бопай.

Громкоголосый долговязый мужчина спросил:

— Ну, что?.. Не очнулся?..

— Нет... И глаза не открывает, и даже ресницами не шевелит,— тем же звучным густым голосом ответила светлолицая.— Видать, глубокий обморок, как и в тот раз.

— Надо же! Должно быть, последствие все той раны. А ведь и кереит Аджи, и ходжа Мухамбетжан уверяли, что, дескать, все обойдется, еще повезло, что стрела не задела чуть выше, главное, говорили, чтобы поберег себя год и пику в руки не брал, и из лука не стрелял. И, казалось, их слова оправдывались, здоровье вроде налаживалось. Хоть и участвовал в походах, но сам стычек избегал. И вот опять подстерегла беда. Как вернулся с утра из аула Жомарта, так сразу и свалился. Уже коснувшись головой подушки, успел предупредить: «Тяжко мне. Устал. Если не проснусь вовремя, пошлите за дочерью Суюндика, что обитает возле Архарова распадка». Так вот, как провалился в беспамятство, так мы сразу и отправили людей за тобой, дорогая. Одна надежда теперь на тебя.

Долговязый чернявый мужчина говорил запинаясь, взахлеб, а светлолицая грустная женщина, наоборот, степенно, врастяжку, будто каждое слово с трудом извлекала из неведомых глубин.

— По словам Тайлана, ни в том ауле, ни по дороге не случилось ничего такого, из-за чего он мог бы расстроиться. И вообще, говорит, был весел. Ел и пил то же, что и все.

Долговязый обернулся. Сзади выдвинулся рослый, громоздкий джигит, глухо пробасил:

— Да... Точно так и было. Все эти дни я ни разу не заметил, чтобы султан хотя бы нахмурился.

В юрту набилось много мужчин, все, как на подбор, рослые, могучие. Ни дать ни взять верблюды-нары, сбившиеся в гурт возле степного колодца. Все с жадным любопытством выставились на девушку-знахарку. Всем не терпелось посмотреть, что же она собирается делать, в чем ее колдовская сила.

Бопай негромко сказала долговязому, стоявшему к ней ближе других:

— Нельзя ли приспустить тундук?..[1] Светло очень...

Долговязый обернулся к толпившимся у входа джигитам. Кто-то из них тут же вышел, буркнув на ходу:

— Вот любят же они все в сумраке орудовать...

Спустили тундук — кошму, прикрывающую потолочный круг юрты, оставив небольшую щель. Узкая, как лезвие ножа, полоска света косо падала вовнутрь.

Бопай тихо откашлялась, сказала:

— Больному нужен покой. Хорошо бы, если и в юрте, и за юртой никто бы не толпился. Надо бы, чтобы и дети поблизости не резвились, и собаки не лаяли. Если обеспечим полную тишину, дня через три больной, аллах даст, может очнуться. Понадобится помощь — я дам знать. Пусть кто-нибудь время от времени тихо подходит к юрте, подает голос. При необходимости выйду сама. А промолчу — значит, ничего не надо.

Все послушно и молча разошлись.

— Воля твоя, милая. Уповаем на всевышнего, потом — на тебя,— вышел и долговязый, продолжая громко тараторить.

— А как быть с едой, дорогая?— спросила, тяжело поднимаясь, дородная светлолицая женщина.

— Пусть заглянет разок-другой та сестрица, что сидела до меня на этом месте.

— Хорошо... Хорошо, милая...

Некоторое время Бопай сидела, низко свесив голову и прислушиваясь к удаляющимся шагам. Потом, когда все вокруг затихло, она повернулась к низкой широкой кровати, на которой в байских юртах обычно складывают разноцветные одеяльца и подушки, посмотрела впервые на больного и обомлела, не поверив своим глазам. Даже дыхание перехватило на мгновение. Крупные горячие слезы покатились по ее щекам.

На постели, растянувшись во весь свой рост, лежал тот самый знакомый незнакомец, таинственный охотник.

С того самого дня она и осталась в этом ауле. С той самой поры аул батыра Суюндика, предоставив Архаровый распадок волкам и горным баранам, поселился рядом и стал кочевать бок о бок с аулом султана. И строптивые, дерзкие адайцы, оскорбленные этим поступком своего сородича, отныне говорили о нем с едкой насмешливостью... «Отде-

---

[1] *Тундук* — квадратный кусок кошмы, прикрывающий отверстие в куполе юрты.

лился от своего могущественного рода-племени, многочисленного, как деревья в лесу. Всем кланом своим потащился за просватанной девкой своей. И теперь сидит, ничтожный, недостойный, на кочках, куда псы аула тюре прибегают мочиться...» С того времени детей и потомков батыра Суюндика стали в окрестностях называть не иначе, как «ничтожными адайцами», должно быть, в отличие от остальных «ершистых и гордых адайцев».

С той поры и Мырзатай всегда, как говорится, под боком и под рукой своей сестры и своего зятя.

Через два года Бопай понесла. Родила первенца Нуралы. И с этого времени она совершенно забыла о той стародавней блажи и отныне, кроме мучительных родовых схваток, избавилась от всех недугов. С той поры, должно быть, покинул ее и дар искусного костоправа; пальцы ее не прикоснулись ни к чьему увечью; и лишь когда случались у мужа редкие припадки, она растирала ему виски и гладила, мяла его немевшую руку.

Прошло немало лет, но супруги не имели обыкновения копаться в закоулках своего прошлого или подробно обсуждать свои намерения. Они научились понимать друг друга без слов. И за это Бопай прямо-таки боготворит своего мужа. Кто знает, возможно, и он ее за эти свойства ценит. Она готова за своего супруга-благодетеля отдать душу. И он до сих пор не позволял себе ничего такого, что могло бы ее унизить или обидеть. Первая его жена из знатных тюре скончалась во время родов, и он, тяжело переживая ее смерть, вдовствовал года три. Потом попалась ему на пути Бопай. За эти годы всякое случалось, и горести, и радости, и по обычаю степи немало было совершено браков для укрепления уз между знатными и сильными кланами тюре, но сам Абулхаир не позволил себя опутать. И сыновей женил, и дочерей выдал замуж, однако сам не стал брать токал — второй жены, что в его положении, естественно, никак и никем не возбранялось бы, а, скорее, даже поощрялось. Вероятно, чувствовал и опасался, что высокородная младшая жена начнет помыкать низкородной старшей и унизит честь и достоинство байбише. Не позарился он и на красавиц пленниц, не заводил наложниц, а раздавал, уступал их своим батырам-сподвижникам. И лишь один раз, и то уже в последний свой поход на улусы Дорджи и Лобджи, изменил своему правилу: приволок себе из похода юную девственницу калмычку. И Бопай не осудила мужа, ибо отлично понимала, что не джигитовы соблазны, не похоть

им руководили, а главным образом честь и уязвленное самолюбие. Давние враги его Дорджи и Лобджи пытались в свое время совратить Мамбета-мурзу, натравить его на Абулхаира, посулив и табун лошадей, и красавиц калмычек, и вот в отместку за те злокозни Абулхаир и отнял силой одну из избранных девиц на выданье. Из того похода пригнал он еще три тысячи отборных лошадей. Две с половиной тысячи голов раздал по аулам, а пятьсот отдал родственникам жены, чьи выпасы граничили с калмыками.

Так он унизил своих давних врагов, так отомстил коварным недругам. А десять месяцев спустя юная калмычка-пленница родила ему сына, которому дали имя Чингиз. Теперь ему уже два года, и он, маленький шалун и забияка, сосет грудь Бопай наравне с ее младшеньким Адилем. Чтобы досадить врагам и постоянно терзать их слух, Абулхаир распорядился называть пленницу-калмычку с испуганными печальными глазами Нунгбике, то есть рабыней, наложницей. Однако после того, как она родила ему сына, сама Бопай настояла, чтобы отныне ее называли Кунбике, что означает Солнцеликая, Солнечная.

Бопай не восприняла юную калмычку своей соперницей. И даже не упрекала мужа. Более того, сама помогла поставить для нее юрту. Сама позаботилась о новом супружеском ложе, об убранстве. Все самое яркое, красочное, свойственное молодости, она перенесла в юрту калмычки, оставив себе лишь то, что более соответствовало ее зрелому возрасту. Люди дивились: старшая жена — байбише заботилась о молодой токал, будто о родной дочери.

Конечно, в жизни Абулхаира не все складывается так, как бы ему хотелось, и не одни лишь удачи выпадают ему на долю. Наверняка есть ему о чем горевать. Ну, а Бопай?.. Нет, она не может жаловаться на судьбу. Наоборот, она поразительно везуча. И все для нее обернулось удачей, благом: и то, что встретился ей нежданно-негаданно тот одинокий охотник, и даже то, что был он подвержен опасной и тяжелой болезни... Случилось то, о чем она и не мечтала, что и не мерещилось ей в сладостных девичьих грезах. Обрушившееся вмиг неожиданное, непомерное счастье порою даже пугало ее. Она часто и благодарно поминала всевышнего, добрых духов и, опасаясь сглазу, сплевывала через плечо. А ведь боялась, ох как боялась, всерьез, не на шутку, что, видно, прожить ей век в шаманах, в знахарях, знаясь с нечистой силой. Но бог миловал. Иной ей жребий уготовил. А ведь боялась, ох, как боялась, до смятения, до отчаяния,

что останется старой девой, что не познать ей материнской радости. И опять судьба сжалилась. Слава всевышнему, пятерых сыновей и одну дочь родила, вскормила. А ведь еще боялась, ох, как боялась, горевала, себя изводила, что приведет хан вторую жену из высокородных тюре, и будет ее удачливая молодая соперница измываться, изголяться над ней, изводить ее денно и нощно, однако всемилостивый создатель наградил ее мужа-властелина столь редким для мужчин качеством — воздержанностью.

Словом, ничто не омрачало ее душу. Лишь раз закрадывались сомнения: а вдруг в честолюбивом муже проснется ревность и он в дурном расположении духа возьмет да и напомнит ей о том, что она пришла к нему не целомудренной девой, ведь тайна той ночи осталась лишь ее тайной, о которой она за все годы супружества так и не осмелилась ему сказать, а он ничего не знал, не помнил... Правда, на случай, если о том зашел бы разговор, у нее был заготовлен и тщательно обдуман ответ, она могла бы ему напомнить о его страстном порыве, о его томлении в бреду, о его исступленном тайном зове... Но он не позволял себе даже намека. И с какой стати он стал бы вспоминать о том теперь, после стольких лет совместной жизни? А может, он только искусно все скрывает? Может, на самом деле душа его уязвлена? И он просто проявляет к ней жалость? Или благородство и великодушие?.. Но нет... Она верит в справедливость создателя, уверена в своей чистоте и честности и в мудрости мужа. И потому все эти непрошеные сомнения старается зарыть поглубже в остывшую золу прожитых лет.

Неизменно благодаря судьбу за все благодеяния, Бопай, однако, в последнее время все чаще беспокоилась о своем сыне Ералыжане. Казалось, напрасными были ее тревоги: сын благополучно съездил в далекий Петербург, благополучно проделал обратный путь, вот-вот и вовсе должен вернуться в родной аул. И все же отчего-то всполошилось материнское сердце...

В таких случаях Бопай старалась подчинить свои чувства трезвому рассудку, спокойно, в уединении тщательно все обдумать, обозреть былое и настоящее, все еще раз взвесить на весах разума.

В таких случаях она прежде всего думала о своем муже-благодетеле, основе, знамени ее благополучия, вспоминала, перебирала в памяти каждое его слово, каждый жест, каждый его поступок, вновь и вновь допытывала себя: правильно ли его поняла, не допустила ли какую-

нибудь оплошность, не унизилась ли до бабьего каприза. В правоте и мудрости мужа она никогда не сомневалась. Она только боялась, что своим непониманием, своей недостаточной прозорливостью может невзначай навредить мужу.

При слове «аманат», так явственно и зловеще прозвучавшем на последнем сборе, вся душа Бопай содрогнулась. Она почувствовала себя волчицей, угодившей в капкан в то время, как ее голодные сосунки-волчата одни остались в логове. Потом все-таки пересилила себя, взяла себя в руки, подчинилась извечной женской доле — терпению.

Но это было потом. А вначале прямо-таки во время кочевки она пересаживалась то на степенного верблюда, то на горячего скакуна, и все равно ей было худо, худо...

Издревле так повелось: во имя спасения души казах, не задумываясь, жертвует скотом, ради чести своей жертвует жизнью, а ради народа своего поступается личной честью — достоинством. Казашка, помимо всего этого, жертвует еще и вышедшим из ее лона ребенком ради своего мужа-повелителя. И уж кто-кто, а Бопай знает, каково бремя, какова цена такой жертвы для казаха-кочевника, казаха-скотовода. Однако только на этом незыблемом правиле зиждется жизнь кочевого народа. Достоин всеобщего презрения мужчина, предавший народ свой ради спасения жены и детей. Достойна презрения женщина, предающая мужа даже во имя спасения народа.

Бопай поняла, что над ханом вновь сгущаются тучи, видела, как хмурилось его чело накануне тяжкого и опасного испытания, и ей стало стыдно, неловко перед мужем за то, что не сдержалась, выказала свое бабье недовольство, встревоженная словом «аманат». А потом спохватилась и испугалась: вдруг всевышний осудит ее за ропот, вдруг священные духи отвернутся от нее, неблагодарной бабы, осмелившейся хотя бы в думах своих быть недовольной решением мужа? И чтобы задобрить духов, замолвить свой грех, она по всему долгому пути от Кызылкумов до Сары-Арки останавливала кочевье возле каждой безымянной могилы, возле каждого одинокого священного дерева, возле каждого потемневшего от времени камня-стояка у осевшего холмика и поминала аллаха, творила молитвы, совершала жертвоприношения.

И все же непросто утишить взбаламученную душу. Прошлой ночью приснился ей Ералы. Вроде бы всей семьей сидят они в юрте, за дастарханом, лакомятся свежим, золотистым, как топленое масло, загустевшим и дрожащим на

деревянном подносе молозивом, а худой, весь какой-то поникший Ералы робко заглядывает в дверь и протягивает, будто нищий, просящий милостыню, ручку. Жалея его, все хотят ему подать, но почему-то никак не могут до него дотянуться. Тогда в отчаянии Ералы опустился на корточки, принялся руками ковыряться в земле и вытащил вдруг из норы не то суслика, не то хорька и начал живьем рвать зубами трепыхающегося в его руках зверька, из которого — какой ужас — струилась не кровь, а белое-белое молоко...

Бопай проснулась в страхе. Голова ее разламывалась. Сердце подкатилось к горлу. По щекам ее текли слезы. Выходит, она плакала во сне... Помянув несколько раз аллаха, она стала вспоминать все подробности сна. Может, к добру сон-то? Ведь когда Абулхаир впервые переступил порог ее родительского дома, ей тоже приснилось нечто подобное. Она тогда будто разделывала возле порога огромную тушу матерого волка, и из него тоже лилась не кровь, а белое-белое молоко. И сон этот оказался к добру. Все кончилось благом. Может, так случится и на этот раз?.. Дай-то бог...

С тех пор она лишилась сна. Все в ней точно помертвело. И хотя маленький Адиль теребил ручонками ее обмякшие груди, прилежно почмокивал, она чувствовала себя иссякшей, как иссякает однажды степной родничок, и уже не испытывала ни прежней радости, ни прежнего прилива нежности.

Все вокруг лишилось извечной красы и притягательной силы. Ничто не радовало взор. На привычный красочный мир, простиравшийся вокруг, она взирала безразлично, равнодушно, точно благочестивый отшельник, отрекшийся от всех соблазнов на этом свете.

Все ее внимание было поглощено хмурыми, молчаливыми холмами, за которыми там, в северном краю, уже столько лет томился ее бедный сын, сыночек Ералыжан.

Все ее внимание было поглощено той, восточной стороной, раздольным побережьем Иргиза и Тургая, по родам и аулам которого разъезжал теперь лишенный домашнего тепла и уюта вечно озабоченный ее муж.

Об одном теперь тревожилась душа: откуда первой придет весть — с северной стороны или с восточной, откуда первым прискачет долгожданный вестник на взмыленном коне...

С каждым днем все более и более охватывало Бопай нетерпение. В город у устья реки Орь путники отправились еще весной, когда кочевье тронулось к летним выпасам.

В путь собрались спешно. И наказ был не задерживаться. Значит, пора бы уже им и вернуться. «Если охотник задерживается, надейся на удачу»,— гласит мудрость. Кто знает, может, возвращаются с доброй вестью. Что-то вроде без причин запаздывает и хан, подавшийся к родоправителям Среднего жуза. Сам же отправил гонцов с приглашением русского посольства. Так с чего бы ему так задерживаться? Вдруг посольство возьмет да и нагрянет нежданно-негаданно? И что же оно будет делать? Может, до хана уже дошла какая-то весть? Шакшактинцы Жанибек и Букенбай, помнится, тоже собирались направить своих поручeнцев в город на Ори. Возможно, их поручeнцы уже успели вернуться и доложить хану, что ничего особенного и срочного на ближайшее время не предвидится... Однако долго задерживаться там хан не может. Ибо не за горами шумные пиры, которые в этом году должны состояться в прибрежьях Иргиза. Должно быть, и Абулхаир из Среднего жуза не один вернется, а с почетными гостями. Ведь в их краю давно уже не бывал, не гостил славный батыр Жанибек, с которым хан особенно близко сошелся и подружился во время совместного похода на башкир. Не исключено, что хан и поехал-то туда, в Средний жуз, не столько для беседы и совета, сколько для того, чтобы лично пригласить Жанибека к себе. На этот раз на ханский совет соберутся представители отнюдь не со всех улусов и родов. Тщательно ознакомившись с вестями из Ори, старейшины решат, в каком составе надлежит выезжать на предстоящие торжества в русской крепости и кого из правителей знатных родов следует пригласить на совет. Но это не значит, что на этот раз ханский совет пройдет менее торжественно и пышно. Наоборот, совет должен продемонстрировать возросшие в последнее время могущество и популярность хана Абулхаира. Бопай это поняла из встреч и бесед хана с султаном Ниязом, Мырзатаем, Байбеком, которые он проводил перед откочевкой из аулов на джайляу.

Особенно большое значение Абулхаир придавал тому, где и каким образом расположить ханскую ставку. С той поры, как приезжало в степь русское посольство во главе с Мамбетом-мурзой, Абулхаир ревниво следил за тем, чтобы все события; происходившие в его резиденции, обставлялись на радость друзьям и зависть врагам особенно внушительно и богато. Еще года три-четыре назад его ставка выглядела довольно заурядно и обыденно. Теперь же она раскинулась широко, занимала немалое

пространство прибрежья с открытым долом, с зелеными выпасами, с озерками, с холмами, с урочищами и напоминала город из нарядных юрт.

Место для ханской ставки было выбрано на редкость удачно. Здесь не было так душно, как в песках. В самую знойную пору дул с верховья прохладный степной ветерок. Да и заселена местность была не так плотно. Никто особенно не донимал, не докучал. К тому же и до Уфы и до строящегося на Ори городка оказалось в какой-то мере ближе. Сама резиденция хана была расположена на видном месте — на вершине пологого увала. Четыре просторные нарядные десятиствoрчатые юрты были составлены вместе. Вокруг майханы[1] расположилось еще несколько юрт — для жены, для приближенных, для особо почетных гостей, для встреч и уединенных бесед. Известно, что степняки — казахи, башкиры, калмыки — имеют обыкновение приезжать в гости целыми толпами и при этом чаще всего неожиданно, как снег на голову, без какого-либо предупреждения. Для этих целей было выделено несколько юрт. Они находились на расстоянии крика от ханской резиденции. Между юртами для случайных гостей и майханой расположились главные туленгуты и ханские стражники. Для особо почетных гостей — для посланников белой царицы или для личных представителей наместников Хивы и Бухары — каждый раз ставились отдельные, богато убранные юрты, стелились дорогие ковры и навстречу им — на расстояние ягнячьего перегона — высылалась свита. На случай, если приедет Жанибек, ему должны были воздаваться почести, которых не удостаивались даже прославленные батыры, правители знатных родов и султаны, лишенные власти. Жанибека полагалось встречать как хана. Для его встречи специально отвели место и приготовили несколько юрт с дорогим убранством. Их поставят за полдня, как только получат весть о его приезде. Именно в эту пору, когда все еще пустовал ханский трон Среднего жуза, Абулхаиру хотелось особо выделить Жанибека, который не всякого даже султана считал себе ровней и пользовался в своем улусе весом большим, чем иной хан. Ни Абильмамбет, ни Барак не должны и не могли быть удостоены такой высокой чести. На столь высокий прием мог претендовать, пожалуй, один лишь Кушик, и то не потому, что он «белая кость», из знатных тюре, а потому, что приходится Абулхаиру

Майхана — ханская резиденция.

сватом. Оказывая Жанибеку столь исключительные почести, хан, с одной стороны, надеялся осрамить спесивых потомков Жадика, указать им их место, а, с другой стороны, подчеркнуть тем самым, что из всех претендентов на полную власть среди нынешних правителей Среднего жуза он, Абулхаир, не видит более достойного человека, чем Жанибек.

Поняв дальний расчет своего многомудрого супруга, Бопай отправила несколько молодок-аргынок со своими мужьями к сородичам. Им поручалось разведать, разузнать, как ведет себя в быту Жанибек, что он любит из еды, питья, какие у него пристрастия и слабости.

Видные и удобные места на джайляу были предоставлены и аулам младших братьев Абулхаира, которые зимой и летом держались всегда неподалеку, а также аулам родичей Бопай. И эти аулы всегда могли с честью и достоинством встретить любого гостя, а в нужный момент прийти хану на помощь. Однако и расстояние соблюдалось: ни рев их скота, ни шум малышни, ни лай их собак не должны были потревожить тишину и покой ханской ставки. Коновязь для лошадей также находилась на почтительном удалении от нарядной майханы на вершине увала.

Словом, все было взвешено и продумано. Все было готово к приему гостей, к совету, к приезду послов издалека.

Только ниоткуда не было вестей — ни от хана, ни из городка у устья реки Орь. И это тревожило, изводило душу Бопай...

Первая весть пришла с устья реки Орь. Выяснилось, что посольство находится в пути. Сам Байбек решил остаться при гостях, а в ханскую ставку отправил наперед Итжемеса. Тот должен был выяснить, вернулся ли хан из поездки в Средний жуз. Если нет — то надо было его заблаговременно известить о послах. Пока хан вернется в орду, Байбек займется гостями, не спеша ознакомит их с местностью. Люди они, видать, дотошные, обо всем на свете расспрашивают, а раз так, то он, Байбек, уж как-нибудь сумеет удовлетворить их любопытство.

Простодушный и безалаберный Итжемес, все еще не остепенившийся, хотя и стал отцом троих детей, заполошенно, точно козел, преследуемый собакой, ворвался в юрту ханши, с ходу выпалил слово в слово наказ тулентута и, разинув рот, выставился на байбише Бопай, ожидая ее распоряжения.

Ханша глядела на него молча и с недоумением, будто не расслышала его слов. Казалось, она втайне надеялась, что порученец сообщит ей еще что-нибудь очень важное. Но губошлеп Итжемес молчал, словно враз проглотил язык. Другой на его месте наверняка тараторил бы без умолку, рассказывая во всех подробностях о том, что видел и слышал. Неужто ему, дуралею, не хватает ума поведать истосковавшейся матери хотя бы о ее сыне, отданном в аманаты? Странно: за какие такие достоинства хан взял его к себе в нарочные? Может, как раз за умение помалкивать? За то, что к сказанному ничего не добавляет и не убавляет?

Как бы там ни было, Итжемеса ныне не узнать. Давно ли слонялся он по аулу в отрепьях и рвани? Да и сам вечно ходил в струпьях, в ссадинах, точно побитый пес. А теперь и приоделся, и рожа лоснится, и глазками туда-сюда шныряет. И все оттого, что повезло ему с женитьбой. Не бабу аллах ему послал, а сущий клад. Только и шушукаются в ауле: «Рыжуха нашего губошлепа плодовита, как кошка. Если не будет на нее управы, весь аул вскоре наводнит рыжими ушастиками». Но какая может быть управа на бабу, коль аллах наградил ее столь щедрой утробой? Да и какой казах осуждал когда-либо долгополую за брюхатость? Вот и ходит Мария опять гора горой, того и гляди разродится двойней. Откуда что только берется! Недавно еще невзрачной девчонкой была, тоненькая, как былинка, с распущенной косой моталась по аулу, а ныне такой крутобедрой, задастой бабищей обернулась, что и не знаешь, с какого к ней боку подступиться. В серых глазищах ее, однако, такие бесенята играют, что аульные остряки, облизываясь, диву даются: «Чего там добился хан Абулхаир, пригласив посольство от царицы, не нам судить. А вот уж кому перепало — так это Итжемесу! Не проторчи русское посольство два года в ханской орде, этому губошлепу век бы не видеть бабы, как своих ушей. Да ее бы наверняка уволок первый встречный ухарь...»

Итжемесу же и дела нет до подобного трепа. Пусть мелют! Язык ведь без костей. Ходит себе Итжемес, ухмыляется, будто дурачок какой. С утра до вечера увивается вокруг туленгута Байбека. Такова воля самого хана, не кого-нибудь. И это-то удивляло Бопай больше всего. В чем тут загвоздка? Что в этом недотепе нашел ее дальновидный супруг? И только теперь, кажется, начала догадываться.

Обычно, задумав что-то важное и срочное, Абулхаир прибегал к услугам Куттумбета, Сейткула, Карабаса, а так-

же шурина Мырзатая, людей опытных и искушенных в разных переделках. В последнее же время в связях с Уфой хан все охотнее использовал Байбека. Должно быть, чем-то он ему больше подходил. Что удивительно, этот ловкий, пронырливый джигит, до поры до времени ничем особенно не выделявшийся, кроме как в мелких аульных делишках, стал с легкостью необыкновенной проворачивать самые серьезные и ответственные дела. Он запросто находил общий язык и с высокородными правителями, и с пройдошливыми купцами. До него посланниками и доверенными хана служили главным образом его же близкие и дальние родственники. А они, как правило, не лишены спеси и всюду ищут прежде всего особого расположения или почета к своей персоне. Попробуй не воздать им по заслугам, хотя бы и мнимым, они тотчас почувствуют себя ущемленными и униженными, ударятся в амбиции и обвинят во всех грехах, понятно, не столько себя и тех, к кому ездили с поручениями, а самого хана, их же благодетеля. И потому хан предпочитал посылать их по разным делам в мусульманские орды или к калмыкам, с которыми их как-никак связывали единые или схожие обычаи, нравы, манера обхождения, а для деловых связей с русскими, большей частью еще загадочными, непривычными, использовал расторопных, услужливых и лишенных болезненного тщеславия чужеродного Байбека и низкородного Итжемеса. С ними нет никакого горя. Единственная их забота, чтобы дело спорилось да в брюхе не урчало. Все остальное их не касается. А попробуй пошли с поручением какого-нибудь самодовольного казаха! Упаси аллах, от досужих разговоров уши начнут вянуть. Начнет на каждом углу расписывать, какие лишения он терпел, через какие неудобства прошел, даже, дескать, нужду справить по-людски в русском городке-муравейнике не смог, едва не провалился в поганую яму, и коню его пастись негде было, так и простоял в затхлой конюшне, и кормили его из корыта, точно свинью какую, и что, мол, и уцелел-то он, посол ханский, благодаря лишь своей выносливости и сметливости. И из этих длинных разговоров получается, что хан обязан такому порученцу за столь ничтожную услугу едва ли не до скончания дней своих. А у Байбека и Итжемеса никаких претензий. И никогда ни на что они не жалуются. Наоборот, если им несколько месяцев не светит дальняя дорога, они впадают в уныние и тоску и в родном ауле не находят себе места. А намекни им только, чтобы седлали коней и готовились завтра же в путь, так сразу встрепе-

нутся, просияют лицами, точь-в-точь пылкий джигит, собирающийся на смотрины невесты.

У Итжемеса и вовсе ни в чем не бывает отказа. Его не надо ни уговаривать, ни упрашивать. Легок на подъем и неприхотлив. То и понятно: не избалован почестями или уходом. Никто не потчует его в ауле жирной кониной, никто не поднесет ему на подносе опаленной головы молодого барашка. Вот почему он спит и видит во сне русский городок, где он по крайней мере всласть напьется ячменной бузы и от пуза наестся солдатской каши.

Не сидится Итжемесу дома. Побыв со своей Мариям месяц-другой, он начинает томиться, маяться и докучать Байбеку:

— Погадай-ка, Байеке, на бобах. Не сулят ли они нам скорой дороги? А то от айрана-шалапа такая напасть на меня обрушилась, что все подворье опоганил. Мочи уж нет...

Туленгут Байбек обычно похохатывает в ответ и подтрунивает над своим постоянным спутником.

— Вот непоседа! Едва ли две ночи за двенадцать месяцев дома ночует, а баба каждый год по рыжему щенку на свет производит. И как это вам только удается?!

Так они беседуют, зубоскалят, насмешничают друг над другом в ожидании вожделенной поездки в Уфу или в крепость у устья Ори.

Ну, хорошо, продолжала размышлять ханша Бопай, положим, Байбек исполнителен и надежен, потому хан и благоволит к нему. Но чем же Итжемес пришелся ему так по нраву? Неужто и в этом шалопае он разглядел какие-то достоинства?

И на этот вопрос ханша Бопай нашла-таки в последнее время ответ. В самом деле, отправляя порученца к русским, никогда заранее не знаешь, что из этого выйдет. Да и о поручении этом чаще всего никому не скажешь. Ведь русских всегда приходится о чем-нибудь просить. А как воспримут они твою просьбу — о том можно только гадать. Пошлешь кичливого казаха, а он вернется с удачей, тогда подхалимы-краснобаи начнут его расхваливать на все лады и возносить до небес: мол, конечно, без такого посланника хану пришлось бы ой как худо, да разве кто-нибудь другой справился бы с таким щекотливым дельцем — да ни за что и никогда!.. Так что от таких услуг не возрадуешься. Для таких дел, разумеется, незаменим посланник поскромнее да понезаметнее, который к тому же умеет держать язык за зубами. А если сопровождает его еще и расторопный джи-

гит, с виду придурковатый, а на деле малый не промах и ушлый, то чаще всего можно уповать на удачу. Такие не подведут. И поручение твое исполнят беспрекословно, и тайну твою сберегут. Действительно, перед кем, скажем, выхваляться чужеродному пришельцу — туленгуту Байбеку? Где у него брат или сват, с которыми стал бы он делиться своей тайной? Или возьмем того же Итжемеса. Откуда ему знать, с каким поручением старший туленгут Байбек отправляется в город? И кто станет его, низкородного, посвящать в какие-то тайны? И какому самодовольному казаху охота слушать его бред? А тут еще и баба у него русская. Заявится какой-нибудь правитель, выпучит рыбьи глазищи, встопорщит усищи, дескать, откуда здесь русская служанка, не пленница ли, или невольница, а ему и ответят: «Прости, господин хороший. Никакого отношения к этой бабе не имеем. Вот ее богом данный супруг!» И укажут при этом на Итжемеса, которого тот же начальник не раз и не два уже до этого имел возможность лицезреть в городе. И все шито-крыто! Полный порядок!

Таков был немудреный ханский расчет. И именно эти соображения вывели вчерашнего ничтожного слугу, которым помыкал каждый, кому не лень, в путного, нужного человека.

Теперь он, опустившись на колени, привычно балабонил и вконец сбил ханшу с толку.

— Так сколько же, выходит, урусов едет к нам?— уточнила Бопай.

— О, в том городе нам так обрадовались, что все, как один, пожелали поехать с нами. Но всех-то, почтенная ханша, ведь не возьмешь! Вот начальство и отобрало лишь девятерых. Пятеро из них — аскеры.

— А Мамбета-мурзы нет? Из знакомых есть кто-нибудь?

— Есть! Тот самый — помните!— долговязый Сартайлак. Всех он, дьявол, помнит и обо всех расспрашивает. И еще пристал к нему, как репей, матерщинник Балпак. По-казахски сквернословит — хоть уши затыкай. Тычет пальцем мне в одно место ниже пупка и говорит...

— Ладно,— усмехнувшись, оборвала его Бопай.— О том другим расскажешь при случае. Ответь лучше: кто остальные?

— Остальные?.. Еще трое русских. Один, сказывают, англичанин вроде. Другой — немец, что ли... Еще один — татарин.

— Так сколько же их получается?

— Я же сказал: девять.

— Ну, ладно. А кто из них главный?

— Главный — какой-то вертлявый, суетливый чужеземец. На сорванца-мальца похож.

— Почему так решил?

— А чего тут, ханум, решать? Сразу видно. С казахами, я заметил, разговаривает обычно самый низкий чин. С ними всю дорогу калякал татарин по имени Кулбай. Сказывают, один из помощников Мамбета-мурзы. То, что мы ему говорим, он толмачит на русский. Каждое его слово тут же подхватывает рыжий юнец по имени то ли Ди-трик, то ли Ди-шрик, шайтан его знает, несуразное какое-то имя — и переводит на немецкий. А англичанин этот вроде по-немецки кумекает. И по тому, как все из кожи лезут, чтобы угодить ему, я и догадался, что он и есть самый главный.

Но, видно, соображения смышленого Итжемеса сейчас меньше всего занимали чем-то озабоченную Бопай. Она нахмурилась.

— Ладно. Сыночка-то моего, Ералыжана, видел?

— Ну как же? Видел! В настоящего джигита вымахал.

— Как же ему, бедному, живется?

— Да неплохо, должно быть. Все меня кашей и хлебом потчевал. «Ты, говорит, поесть любишь. Давай, нажимай!»

В глазах Бопай блеснули слезы.

— А еще что сказал?

— Сказал: «Ныне вы там, в степи, всласть полакомились, видать, молозивом».

— Ах, бедняжка... Спаси его аллах! А ты что ему сказал?

— Что я скажу?.. Говорю: «Да, мой ханзада, белой пищи в степи навалом. Только вот такой каши и такого хлеба там и во сне не увидишь».

Ханша печально, через силу улыбнулась.

Итжемес, исполнив наказ Байбека, подался домой. Вскоре в Тургай поскакал нарочный. Бопай предалась раздумьям. Странно, однако. С какой стати главным в русском посольстве быть англичанину? До сих пор подобные посольства возглавлял либо русский, либо кто-нибудь из крещеных татар или башкир. Англичане же, насколько ханше известно, обитают где-то за тридевять земель. Что они потеряли в казахской степи? Может, Итжемес что-то напутал?..

Сколько бы ни думала Бопай, а так ни до чего и не доду-

малась. А тут и весть дошла о том, что хан повернул коня в родной аул.

Каждый день Байбек присылал какого-нибудь вестника, сообщая, в каком ауле остановилось нынче посольство. Сообщения были разноречивыми. По мнению одних, главным в этом посольстве должен быть Кулбай, ибо только он обладает, мол, здравым смыслом. Другие уверяли, что главным в русском посольстве может быть лишь русский, и называли начальником матерщинника по прозвищу Балпак. В отношении же странного англичанина у всех вестников мнения сходились: чудак какой-то, с причудами. Всем интересуется, все расспрашивает, точно малец несмышленый. Заметит на ком-нибудь какую-либо побрякушку, тут же допытывается: «Что это?», «Откуда?», «Сколько стоит?» Как-то в одном ауле подали ему кумыс, а в нем плавал разный сор. Заметив, что англичанин явно смущен этим обстоятельством, Байбек поспешно пояснил: «Чтобы кумыс скорее заквасился и стал более терпким и вкусным, казахи добавляют в него конский волос». «Ах, так!— воскликнул доверчивый англичанин и, залпом опустошив чашку, удовлетворенно заметил:— В самом деле, очень вкусно!» Когда вечером, уже в другом ауле, ему подали кумыс без единой соринки, англичанин возмутился: «Почему не добавили конский волос? Невкусно!» И еще рассказывали, что англичанин при всем своем простодушии весьма искусный лекарь. Любую хворь якобы как рукой снимает. У бая Кудеры вечно слезились и наливались кровью глаза, как у бешеного пса, а англичанин связал его, засыпал в глаза белый порошок и вылечил беднягу за одну ночь.

Весть о новом русском посольстве во главе с неким англичанином обрастала причудливыми и нелепыми подробностями, с каждым днем разрасталась, докатываясь, с одной стороны, до Элека, Кобда, с другого края — до Ишима и Иртыша. Об этом говорили повсюду и все — и случайные путники, и охотники, и зеваки.

«Ну и ну!— говорили.— К Абулхаиру послов шлет не только русская царица, но и правители англичан и немцев».

«Да-а...— изумлялись.— Привалило счастье дьяволу серолицему. Слава его конем по земле скачет!»

«То-то же!— заключали глубокомысленно.— Не случайно, видать, всю зиму шастали к нему гонцы от джунгар, из Бухары, Хивы и Ташкента. Почуяли, значит, куда ветер дует...»

Слухи эти возвеличивали и загадочное посольство, при-

ближавшееся к ханской ставке, и самого хана, в ауле которого предстояло необычное событие.

Сомнения и тревоги не покидали Бопай. Что за посольство такое? Ни одного достойного человека в нем. Может, бродяги какие? Как бы не опозориться. А то будут потом злорадствовать по всем углам и шушукаться враги-неприятели: «Ай да посольство пожаловало к Абулхаиру! Стыд и срам!»

Однако сам хан был спокоен. Он не препятствовал распространению слухов и кривотолков. И не торопил неведомых послов, которые, судя по сообщениям вестников, с явным удовольствием путешествовали по степному приволью.

Помнится, когда в ханскую ставку впервые приезжал Мамбет-мурза, волнений и хлопот в аулах было много. Теперь же к приезду нового посольства все отнеслись более спокойно. Подумаешь, чужеземец! Ну и что? Небось такой же смертный, как и все, с руками и ногами. И тоже, надо понимать, от длиннополой бабы родился.

Когда русское посольство добралось до аула батыра Тонаша из рода кете на расстоянии однодневного перехода от ханской ставки, навстречу ему выехали посланники хана — султан Нияз, Мырзатай, Кожахмет и Туяк.

В ауле рода кете, густо расположившемся вдоль длинного увала, было необыкновенно многолюдно, словно на пиру. Сюда же прибыли и соседи — пешие и верховые. Посольская карета, тяжело покачиваясь на ухабах, с трудом пробиралась через густые заросли трав, приближалась к аулу, сопровождаемая шумной ватагой зевак. Над толпой колыхался — верхом на коне — пышноусый крючконосый Байбек в окружении пяти обвешанных оружием казаков. Впереди на рыжем жеребце важно восседал верзила с сильно обветренным, как бы опаленным лицом. И у него усы были лихо закручены, точно рога у барана.

Рядом с кучером на козлах сидел светловолосый лохматый молодец и щедро улыбался всем издалека.

Карета остановилась неподалеку от белой юрты, возле которой толпились в ожидании важных гостей султан Нияз, Мырзатай, Кожахмет, а также местные почтенные аксакалы и карасакалы. Верзила с опаленным лицом ловко спрыгнул с коня и распахнул дверцу кареты. Потом несколько раз кряду потопал ногами, обутыми в громадные сапоги, вздымая пухлую пыль, словно втаптывал в землю невидимую змею, весь странно задергался несуразно длинным телом,

щелкнул яростно каблуками и вдруг застыл, замер, будто пронзила его зубная боль.

Первым вышел из кареты серолицый мужчина в черном, со стоячим воротничком, сюртуке, в круглой черной шапочке-такие́ и, улыбнувшись всем собравшимся, приложил правую руку к левой груди.

— Ассалаумагалейкум!

Почтенные ответили сдержанно, не очень дружно:

— Алейкумсалам!

Мужчина в круглой шапочке учтиво посторонился, встал рядом с рыжеусым верзилой.

Вторым из кареты выскочил тонкошеий худенький подросток, вспыхнул весь от смущения, неумело и торопливо поклонился старейшинам. Тотчас, словно боясь опоздать, спрыгнул с козлов и лохматый улыбчивый молодец и тоже встал рядом.

Последним выбрался из кареты англичанин.

Да, молва о его странностях, судя по всему, имела основания. Весь его облик казался нелепым и смехотворным. Ковыльного цвета волосы были взлохмачены и космами спускались на плечи. Сзади, меж лопаток, торчала смешная косичка со вплетенной черной лентой. Тесный жилет плотно облегал его торс и был притален, как у девушек. На шее болталась разноцветная тряпка. Но особенно поражали штаны на нем. Таких в степном краю никто еще не видывал. Белые, атласные, короткие, тонкие, в обтяжку! Казалось, они срослись с телом, и было непостижимо, каким образом он умудрялся натягивать их на себя. Особенно неприлично бугрились они спереди и сзади. И, глядя на эти бугры, многие не удержались — захихикали. Англичанин, однако, ничуть не смущался, легко, быстро перебирал ножками в башмаках на высоких каблуках, словно ступал не по земле, а по раскаленным угольям, и вертелся, кружился на глазах опешившей толпы игривым козликом.

В степи исстари повелось, что порядочный путник прежде всего отвешивает почтительный поклон старейшинам. Но этот потешный с виду чужеземец, видно, о том и представления не имел. Он подошел сперва к чумазым, круглоголовым, черноглазым малышам, которые испуганно жались к родителям, опустился перед ними на корточки, достал из кармана большой чистый платок и принялся вытирать им сопливые носы и слюнявые рты, трепать по щечкам и гладить по бритым головкам. После этого англичанин подошел к дряхлым старухам, стоявшим, опираясь о посохи, в

сторонке, и приложился губами к их рукам. У старух от изумления едва не отвалились челюсти. В это время гость заметил, как неподалеку стайка нарядно разодетых девушек и молодок с любопытством взирала на приезжих, и тотчас двинулся к ней, посылал им пылкие воздушные поцелуи и сгибался в смешных позах. Девушки прыснули, прикрыли рты ладошками и еще теснее сгрудились, смущенные нелепыми выходками чужеземца. И только после этого он направился к старейшинам.

Тут-то и началась потеха. Когда круглоглазый, красногубый гость, белозубо улыбаясь, вплотную подошел к тесному ряду почтенных людей, толпа поневоле отшатнулась:

— Астафиралла! Он баба или мужик?

— А тебе не все равно?

— Тебя ведь не спать с ним укладывают...

Гость, словно желая окончательно сразить и без того обескураженную толпу, вдруг сорвал с головы широченную шляпу с пером, трижды помахал ею у своих ног, изгибаясь в поклоне так, что, того и гляди, голова отвалится, потом взялся выделывать ножками какие-то замысловатые движения, вприпрыжку отступил назад, дергаясь всем телом, точь-в-точь шаман во время камлания, выказывая тем самым, должно быть, особый почет, уважение.

Даже остряки умолкли, глядя на потешные выходки пришельца. И когда толпа совсем уж опешила, не зная, как быть и что делать, вышел вперед серолицый мужчина в круглой черной шапочке и начал торжественную речь на татарском наречии:

— По высочайшему указу ее императорского величества Анны Иоанн-кызы, а также по заданию правителя всего Оренбургского края его превосходительства статс-советника Ивана Кирил оглы Кирилова и высокочтимых господина полковника Мамбета Кутлык Мамаш оглы и господина атамана города Оренбурга подполковника Якова Федор оглы Чемодурова к вам пожаловать изволил многоуважаемый гость из государства Британского, родом-миллятом из инглизов господин Джон Кестли!

Гость в плотно обтянутых штанишках заплясал, точно строптивый неук, на месте, выписывая правой рукой замысловатые знаки в воздухе.

Серолицый в черной шапчонке-такие продолжал:

— Сей юный отрок — толмач Дитрих Юстус! Из государства российского, рода-миллята немецкого.

Тонкошеий подросток, вспыхнув лицом, поклонился.

— Конторский служащий Сергей Костюков!

Рыжий долговязый молодец, который все это время не переставал щерить в улыбке рот, прижал руку к груди и склонил голову.

Толпа загудела.

— Эй, так это же Сартайлак, тот, что приезжал в тот раз с Мамбетом-мурзой?!

— Да, да! Он самый!

— То-то все щерится, будто к родичам жены в гости пожаловал...

Серолицый в черной шапочке, выдержав паузу, объявил:

— Казак города Уфы Сидор Цапаев!

Верзила с обожженным лицом дотронулся до кончика пышных усов.

— А эти — военный конвой!

Четверо казахов, так и не слезших с коней, слегка кивнули головами.

— Я сам буду из города Касимова. Родом-миллятом — татарин, зовут Кулбаем.

В толпе переглянулись. Что же это получается? По виду столь нелепый и несуразный попрыгунчик-чужеземец после торжественных слов татарина-толмача прямо-таки вырос на глазах. Видно, чем вычурнее звания, чем непонятнее и затейливее должности, которыми облечен человек, тем крупнее и значительнее кажется он толпе. Вот и этот англичанин, если смотреть со стороны,— так себе пустышка, легкомысленный человек, ветер в голове, все поступки-манеры как у егозливого мальца, а гляди-ка, что́ за ним стоит, что за ним кроется. То-то же! По тому, что его знает сама русская царица и имя его на устах многих высокородных правителей, сразу видно, что он не простой встречный-поперечный. Наверняка или сват, или зять венценосной повелительницы державы. Ведь известно, у кого власть, у того и благо. И тот, кто однажды взобрался на трон, облагодетельствует лишь своих, лишь тех, кто близок по роду и крови. Разумеется, за исключением слуги, который, как говорится, с дровами заходит и с золой выходит.

Так, глядя на посла-англичанина, думал каждый степняк про себя.

Но англичанина, видно, меньше всего занимало то, о чем думали сейчас степняки. Покончив с церемонией встречи, он заметно утомился, взопрел, быстро оглянулся вокруг, выставил грудь степному ветерку, пролопотал на своем

языке, должно быть, «Боже, какая жара, какая духота!», и вдруг сорвал с головы, как всем почудилось... разлохматившиеся, ковыльного цвета волосы. Толпа ахнула, увидев на голове чужеземца короткие, прилизанные волосы совсем другого цвета.

— Помилуй, аллах!

— Вот диво! Волосы под волосами!

— Эх, он, может, факир или колдун какой-нибудь?

— А вдруг и другие части его тела разборные?

— Ясное дело: простого смертного, как мы с тобой, русская царица к нам не пришлет.

— Конечно, разве отправился бы он в такую даль, не будь у него в заступниках святые духи-аруахи?!

— Да, да!.. Смотри-ка, как ноги расставил! Видать, и впрямь обладает колдовской силой.

— Поберегись! А то заговором в букашку превратит.

— С него, дьявола, станется!

Англичанин не понимал и не догадывался, о чем галдела толпа. Казалось, он на нее и внимания не обращал. Морщась, покосился на нещадно палившее в зените солнце, потом достал из-за пазухи небольшой предмет, поднес сначала к уху, затем с легким щелчком открыл крышку, взглянул разок и улыбнулся про себя.

Толпа и вовсе опешила. Англичанин поднес блестящую штучку к уху стоявшего рядом Кожахмета. Тот от удивления раскрыл рот, прислушался и вдруг в ужасе закатил глаза. Маленькая железная игрушка четко и грозно выговаривала ему, как бы отчитывала: «Так те-бе! Так тебе! Так тебе!» Потом почудилось, что и вовсе рассвирепела: «Ти-кай! Ти-кай! Ти-кай!» Кожахмет отпрянул. О, аллах! И в самом деле, должно быть, колдун. Даже крохотная железка в его ладони заговорила!

Нашлись и другие охотники послушать чудо-игрушку. Дряхлый старикашка, снедаемый любопытством, тоже вызвался послушать, взял в дрожащие руки крохотную загадочную железку, щебечущую, точно желторотый птенец в гнезде, но от волнения выронил. Толпа, наблюдавшая за ним, затаила дыхание. Члены посольства, сопровождавшие англичанина, недовольно нахмурились. Сам чужеземец, однако, виду не подал. Продолжая снисходительно улыбаться, ловко нагнулся, поднял и поднес к уху говорящую железку и еще что-то при этом сказал.

— Смотрите, а он, похоже, и не сердится. Только щерится во весь рот.

— Добрый, значит, человек.

Вечером в честь гостей зарезали жирненького барашка раннего расплода. Нежные, как молозиво, жиром истекавшие куски мяса дымились горой на деревянном подносе, но англичанин ел сдержанно, осторожно, много смеялся, много рассказывал, много расспрашивал, и любопытные степняки до глубокой ночи толпились, слонялись вокруг просторной восьмиствoрчатой белой юрты, ловя обрывки фраз и довольствуясь тем, что слышат хотя бы голос чудаковатого иноземца.

А уже на другой день поползли-потекли во все стороны разноречивые слухи, сотканные из отдельных слов и обрывков фраз, прозвучавших накануне вечером за обильным дастарханом.

— Слышали? Говорит, до осени новый город построим.

— А базар в том городе, говорит, будет невиданный. Понаедут купцы со всего света, товаров навезут — тьму!

— Если выделите, говорит, подводу и караванщиков, завалим даровой мукой и сахаром.

— Как город достроят, сама царица, говорит, припожалует благословлять его, а в честь Абулхаира и знатных родоправителей закатит пир.

— Самая пора готовить скакунов и борцов-палванов для байги и состязаний.

— Эх, побыть бы на том пиру!..

— Да, да... Как раз тебя, шелудивого, там не хватало.

— А дьявол этот волосатый, оказывается, искушен в казахских делах. Про аул Букенбая, Есета, Тулебия расспрашивал.

— И учтивому обращению уже научился. Байбека уважительно называет «Баке», а к Шагирбаю обращается не иначе как «Шаке»...

— Смышленый, видать, тертый...

В ауле хотя и потешались, подтрунивали слегка над посольством, однако в общем-то пришлось оно всем по душе.

— Ведь серьезное начальство, не нам чета, а держится как скромно и просто!

— Да, да... Поразительно! Шелком носы вытирает, сукном ноги обматывает, а с чабанами-слугами ведет себя запросто, как с ровней.

— А у нас не только высокородное, но и безродный какой-нибудь туленгут разговаривать с черным людом брезгует.

— Да что про туленгута говорить! Последний ханский

холуй, и тот норовит над тобой поизголяться. Знаете этого придурка-есаула, что вестником при хане? Как его кличут-то? То ли Калбек, то ли Калбай. Так вот, прискакал этот дурень ко мне, как заполошенный. А я как раз верблюдицу свою на случку привел. Ну, и нарушил поганец случку. «Что ты наделал?!»— говорю. А он как заорет: «Заткнись! Не то бабу твою под верблюда-самца подложу. Пусть потешится!» Да еще и огрел разок плетью.

— Да... Он такой. Горлодер! Охальник!

— А у этих, послов-то, сколько подарков! Чуть что — то пахучее мыло, то гребешок, то зеркальце тебе в руки суют.

— Иные бессовестные и пользуются их щедростью. По пять раз на глаза им лезут, попрошайки!

Многие в аулах старались, однако, не оставаться в долгу, платили добром за добро и тоже одаривали пришельцев всякой всячиной.

— Странные все же люди эти русские! Не такие жадные и ненасытные, как наши правители,— поговаривали в аулах.— Нашим хоть верблюда дари — с шерстью проглотят и не подавятся. А этим скотину какую подведешь — руками и ногами отбрыкиваются. Зато пастушьей свистульке, или свинцом залитой бабке, или девичьей вышивке, или плетеному из сыромяти ремешку радуются как дети. Чудаки!

Особенно посмешил народ некий Сагалбай — простодыра из аула Тонаши. Он побежал вслед за отъезжающими гостями и отчаянно совал в руки англичанину небольшой черный продолговатый футляр, умоляя: «Ничего подходящего у меня больше нет. Возьми хотя бы это. Не возьмешь — смертельно обижусь!» Англичанин — делать нечего!— принял подарок, открыл футляр и покачал головой, закатил глаза, изображая крайнюю степень удивления. «Бог ты мой! Откуда это у тебя?»— спросил он. И простодушный малый принялся подробно рассказывать. «Когда в эти края приезжал Мамбет-мурза, я подвизался у султана Барака и отправился к туркменам. Там в песках Асмантай-Матая мы натолкнулись на караван русской царицы, направлявшийся в Хиву. Видя, что каждый хватает все, что попадется под руку, я тоже вцепился в кожаный чехол, болтавшийся на шее бородача-уруса. Чехол я, понятно, распорол. Кожу пустил на задники сапожек для своей бабы. А вот эта штука за ненадобностью так и валялась дома. Если тебе пригодится — буду рад. Возьми ради аллаха!» Бог знает, о чем бы еще поведал растяпа Сагалбай, не оста-

нови его осторожные старики. «Ты что мелешь?! Какой караван? Какие туркмены! Смотри, наступишь невзначай на спящую змею, кто тебя за язык-то тянет? Скажи просто: «Когда-то пас верблюдов из одного бухарского каравана. И караван-баши за мои труды подарил эту штуку». Вот и все». Джигит-недотепа спохватился. «Да, да... Совсем запамятовал... Так и было. Именно так и было...» Толмач-татарин, смекнув, что дело тут нечисто, перевел англичанину лишь слова стариков. Тот повеселел лицом, просветлел, похлопал Сагалбая по плечу: «Молодец! Хороший подарок!» Собравшиеся начали допытывать толмача: «Неужели ценная вещь?» «Прибор для черчения»,— не очень ясно ответил татарин. Сагалбай раздосадованно хлопнул себя по ляжкам. «Вот-те раз! Выходит, султан Батыр сам ничего не знает. Мне он сказал, что это длинная вилка, которой русские вытаскивают куски мяса из котла».

Чего только ни говорили в степи о вновь прибывшем посольстве... Слухи-сплетни, естественно, не миновали и аул Абулхаира. Хан и так, и сяк раскладывал их, точно гадальные бобы, и предавался глубоким раздумьям.

Когда из Среднего жуза пожаловал к нему тот хитроглазый бродяга-лазутчик в сопровождении Асана Абыза и Жаукайтара, Жанибекова сына, Абулхаир принял твердое решение. Он понимал: времена смутные, сложные, степняки склонны верить самым невероятным слухам, и потому сбить их сейчас с толку проще простого. Достаточно объявиться откуда-нибудь какому-то смутьяну, наподобие его ночного гостя, и затеять поджигательские речи о том, что, мол, русские никак не могут сладить с мятежными башкирами и что ничего доброго от них многочисленным казахам не перепадет, что, дескать, строящийся городок-крепость завтра же развалится и рассыплется в прах, как доверчивые казахи мигом отвернутся от него, Абулхаира. Потом попробуй переубеди их и обрати вновь в свою веру! Сколько понадобится времени и усилий! Значит, надобно опередить события, не допустить ослабления своей власти и популярности в степи. Решив так, Абулхаир на другой же день пригласил Байбека на уединенную беседу и долго, обстоятельно внушал ему:

— Отправься немедля к русским. Передай им: в степи объявился тайный посланник турецкого султана. Он настойчиво мутит народ. Говорит, что русские покинули Оренбург, никак не могут усмирить бунтующих башкир, поэтому самое время подняться и вам против русских и выставить

срочно двадцать тысяч конных воинов. О том же долдонят день и ночь и лазутчики Калмака Абыза. Пусть русские знают об этом и примут срочные меры. Лучше всего, если они пришлют послов. Это заставило бы казахов одуматься и удержало бы их от дурных намерений.

Абулхаир наказал это строго. Говорил убедительно. То была, с одной стороны, сущая правда, а с другой — хитрость, уловка, тайный расчет. Если не говорить обо всем всерьез и при этом не преувеличивать немного опасность, русские могут не придать всему этому должного значения и отмахнутся, дескать, оставьте, не до вас, и так хлопот полон рот, а вы еще о каком-то посольстве просите. Расчет его удался. Русские вняли его просьбе. Не сегодня завтра прибудет в его ставку желанное посольство. Но тут опять может возникнуть опасность с двух сторон. Ненадежные, переменчивые казахи при виде куцего посольства завтра же скривят рожи. Дескать, тоже мне посольство, сброд какой-то, ничуть не лучше наших же Байбека и Итжемеса. И послы, глядя на самодовольных казахов, разжиревших от кумыса и мяса, могут и засомневаться: видно, обманул нас хан, хитрит что-то, никакой опасности и в помине нет.

Так как же быть? Где же выход?

Прикинув все возможные последствия, хан решил ничего не сообщать родоправителям до тех пор, пока он сам не переговорит основательно обо всем с русским посланником. Вызнав все, он подробно осведомит его о положении в степи. Было ведь обговорено с русскими, что как только город будет построен (а намечалось это на лето), его, хана, пригласят и устроят в его честь пир, а от всех старейшин родов будут взяты аманаты. О том было объявлено всенародно, между тем время проходит, а русские упорно молчат. И если так будет продолжаться, то, несомненно, поводья подданства ослабнут и только-только налаживающиеся отношения могут пойти на убыль, а то и сведены на нет. Надо, чтобы прежде всего в этом убедился сам легковесный посол-чужеземец, который своими чудачествами и выходками лишь забавляет простодушный аульный люд. И до тех пор, пока тот не созреет для такой мысли и не укрепится в ней, хан не выпустит его отсюда и никого из родоправителей не известит о его приезде.

На следующий день Абулхаир отправил вестника в аул Тонаши, приказав привести посольство в ханскую ставку.

На исходе полуденного намаза на вершине холма за аулом показалась одинокая карета в сопровождении много-

численных верховых. Белесая пыль, вздымаясь, покрыла белокошомные юрты, поставленные для гостей на отшибе от ставки на расстоянии скачек стригунков. В тот день в этих юртах провели «ерý»— пир по случаю приезда. Ханские туленгуты угостили посольство на славу, доставив ему несколько бурдюков кумыса и громадные куски вареного мяса на деревянных подносах — табáках.

Во время угощения англичанин все допытывался:

— Какие по вашему обычаю почести оказывает гость при первом посещении хана?

Байбек решил показать это наглядно. Он, не поленившись, встал, вышел из юрты и некоторое время спустя, низко согнувшись, покорно переступил через порог, тут же грохнулся на колени и трижды коснулся лбом паласа под ногами.

Англичанин озабоченно заметил:

— Да, очень сложный ритуал. Хорошо, если научусь исполнять его до завтрашнего утра.

Все его слова, поступки и манеры свидетельствовали о том, что человек он добрый, искренний и доверчивый. И Абулхаиру, которому обо всем исправно докладывали, не терпелось скорее увидеть чудаковатого посла.

На другое утро в сопровождении многочисленной толпы тщательно разодетый на иноземный лад англичанин направился в майхану, составленную из нескольких юрт. Посла торжественно вели под руки Байбек и Шигирай. По тому, как они намертво держали его под локоток, можно было подумать, что вели не посла, а особенно опасного вора, пойманного на месте преступления. Когда до входа в майхану осталось шагов десять, Байбек выступил вперед, чтобы доложить хану. Через некоторое время вышли навстречу двое джигитов и, отделив от толпы посла и двух толмачей, повели их в ставку.

На почетном месте напротив входа сидел в пестром чапане хан. Слева от него расположился знакомый послу султан Нияз. Между ними пустовало место для одного человека. Юного улыбающегося джигита по правую руку хана посол также узнал сразу. То был султан Нуралы, который прошлой осенью приезжал в строящуюся крепость. Вслед за ним сидел младший султан Кожахмет — тот самый, который при встрече так сильно испугался тиканья карманных часов. Далее по обе стороны чинно восседали почтенные аксакалы и карасакалы. Все, точь-в-точь, было так, как объяснял англичанину при отправлении в степь султан Ералы и батыр Котыр. Только вот восточные поклоны, которым

его учил вчера Байбек, как назло, напрочь вылетели из его головы. «Ах, какая досада!— подумал про себя англичанин.— Можно было рассмешить честную компанию. Достаточно этих людей один раз рассмешить, как найти общий язык с ними уже нетрудно. Пока их не рассмешишь, они никому не верят и никого не замечают. Чудной народ, простодушный. Точно дети. Впрочем, таких людей на свете немало. Чем нелепей и смешней ты покажешься им, тем легче и проще войти к ним в доверие...»

Джон Кестли снял шляпу с пером и изобразил тройной реверанс на французский лад.

Абулхаир поднялся, пожал ему руку и подвел к свободному месту рядом с собой. Потом вежливо поинтересовался, как доехали, как их встретили, как самочувствие. Хан внимательно выслушал ответы гостя и сказал:

— Господин посол, я весь внимание... рассказывайте.

Джон Кестли, оглянувшись, заметил, что все вокруг сидели в головных уборах, и потому тоже надел шляпу. Потом чуть поерзал, расправил плечи, встрепенулся и, озираясь налево и направо, словно любимый внук в гостях у дедушки, приступил к рассказу. Говорил, однако, спокойно, степенно. Первым долгом передал досточтимому хану, всей родне, округе, аулу сердечный, проникновенный привет от принца Ералы.

— Спасибо! Пусть здравие и ясный дух не покинут его!— ответил хан.

— Доброго ему здравия!— откликнулись остальные и тотчас умолкли.

Посол сообщил, что с принцем Ералы он давно знаком и близок, что они так дружны, словно кровные братья. Сидевшие в юрте многозначительно переглянулись, оживились. Один хан оставался непроницаем. Далее посол, нарочито не называя имени коменданта крепости Чемодурова, обстоятельно заговорил о поручении статс-советника Кирилова, находящегося в далекой Самаре. По словам англичанина выходило, что начальник Оренбургской экспедиции весьма сожалеет о том, что не смог сдержать обещания, данного им год назад через султана Нияза, за что просит у хана извинения. И еще просит передать, что до осени крепость будет непременно достроена и на пир по поводу завершения строительства хан будет приглашен с большой свитой.

Хан с подчеркнутым вниманием выслушал сообщение и в знак благодарности приложил руку к груди и при этом слегка склонил голову.

— Прошу вас передать его высокопревосходительству Ивану Кириловичу мою искреннюю признательность за его заботы и добрые намерения, а также мою готовность при встрече, которая — аллах даст — скоро состоится, выразить ему личное свое соблаговоление.

Аксакалы и карасакалы, сидевшие по обе стороны, с почтительным блеском в глазах уставились на собеседников.

— Досточтимый хан,— продолжал далее Джон Кестли,— господин Кирилов приказал мне сообщить вам, что он весьма надеется и уверен, что вы вкупе с другими почтенными родоправителями прекрасно понимаете всю бессмысленность и бесплодность черных намерений разных разбойников и башибузуков, замышляющих бунт против доброй воли и протекции ее императорского величества, за что они, несомненно, понесут заслуженное и суровое наказание, и, сознавая все это, ни в коей мере не поддадитесь подстрекательским речам и действиям мятежников под предводительством Калмака Абыза.

Абулхаир снова приложил руку к груди.

— Мы рады и искренне тронуты столь высоким доверием его высокопревосходительства господина Кирилова к нам.

— Воистину так!— дружно отозвались тотчас и аксакалы.

В это время в юрту вошли джигиты — слуги с медными тазами и кумганами с теплой водой и предложили гостям ополоснуть руки перед угощением. Вслед за тем внесли на деревянных подносах дымящееся мясо. Во время еды хан собственноручно подал послу чашу с кумысом и спросил:

— Каковы отношения Российской империи с другими соседями? Нет ли где еще кровопролитных войн, кроме как с башкирами?

Англичанин с готовностью ответил:

— Внутренние и внешние отношения великой русской империи сейчас превосходны. То, что вы, досточтимый хан, назвали войной с башкирами,— вовсе никакая не война. Это так, мелкое, незначительное недоразумение, непослушание озорников, воспользовавшихся дальностью расстояния и необычно суровыми нынче морозами. Непослушного мальца порядочный отец подвергает наказанию. То есть спускает с него портки и всыпает пару-другую горячих для его же пользы. Не так ли?

В глазах-щелочках аксакалов вспыхнули озорные искорки. Все с удовлетворением принялись цедить-отхлебывать кумыс из деревянных чаш.

Хан, довольный, дважды хлопнул посла по правому его плечу. Это, с одной стороны, означало, что он одобряет находчивый ответ гостя, а с другой, что пора заканчивать первую встречу.

Все разом поднялись с места. И все посчитали нужным выказать свое доброе расположение и одобрение двумя увесистыми хлопками по правому его плечу. Человек двадцать столпилось за юртой, поджидая посла-чужеземца. Они также наградили его тычками, каждый раз при этом щедро улыбаясь. Пока посол добрался до отведенной для него юрты, правое плечо его заныло от боли. Стягивая с себя сюртук, он с ужасом увидел, что правое плечо потемнело и лоснилось от жира.

Абулхаир, оставшись в опустевшей майхане, про себя подумал: «Нет, этот чужеземец не такой уж и простак, как его все представляют. Бывалый, хитрый бестия! Себе на уме. Сметлив и понятлив. Все взвешивает на весах здравого рассудка. А простачком прикидывается лишь для того, чтобы половчее обвести вокруг пальца доверчивый черный люд».

На следующий день вместе с Мырзатаем и еще несколькими заядлыми охотниками хан отправился с гостем в аул адайца Табылды. Проезжая мимо Мугоджарских гор, поохотились с ловчими птицами, постреляли куланов, демонстрируя послу степные забавы. Хан показал послу несколько мест в складчатых горах, где, по утверждению казахов, находились залежи полезных ископаемых. Англичанин спешился, походил по ущельям, набрал полный мешок каких-то камней. Кое-кто из сопровождавших посмеялся над этой причудой посла, но хан оказался сдержанным и понятливым. Поступки гостя не вызвали у него даже усмешки.

В ханскую ставку вернулись поздно вечером. Дожидались их двое: один загорелый, большелобый, рыжеватый, с шалыми глазами, другой — серолицый, крепко сколоченный верзила. Первый назвался главным бием рода жаппас Баймуратом, а второй — батыром Тулеком, родственником батыра Жанибека из Среднего жуза.

— Если царский посол не станет возражать, я мог бы доставить в новую строящуюся крепость одну тысячу овец,— предложил бий-жаппасец.

— Да, вчера с таким же пожеланием обратился ко мне

и машкарец Жадик. Готов, говорит, хоть сейчас отправить две тысячи баранов,— сообщил хан как бы между прочим.

Посол ответил:

— Хорошо. Приеду — доложу и тотчас дам знать.

Батыр Тулек, оказалось, приехал пригласить посла в свой аул. Готов был встретить царского посла со всем радушием и аул шакшактинца Букенбая.

Посольство прогостевало в тех аулах еще четыре дня. И лишь на восьмой день приезда почетных гостей в эти края их пригласили отведать угощения за ханским дастарханом.

Послу-чужеземцу особенно понравилась Бопай-ханум. Ее круглое нежное лицо, какие редко встречаются среди обветренных загорелых степняков, ровный, в меру смугло-матовый цвет кожи, легкий румянец на щеках, большие, как плошки, с блестящими черными зрачками глаза, аккуратный, точеный нос, пухлые розовые губы, весь ее полный достоинства облик, сочетавший в себе женственность и мудрость, тотчас привлекли внимание опытного, зоркоглазого рисовальщика. Когда он преподнес ханше написанный им портрет ее сына Ералы, из глаз Бопай покатились крупные, как градинки, слезы, и это особенно растрогало, разволновало посла. Он подметил в этой сдержанной, величавой женщине чистоту и непосредственность ребенка. Заметив на среднем пальце хана бородавку, англичанин вызвался ее убрать, туго обмотал ее у самого основания тоненькой шелковой ниткой, потом выковырял иголкой корешок, помазал какой-то жидкостью, и пока он был занят этой несложной операцией, ханша, вся замерев, то и дело покусывая губы и хватаясь за сердце, пристально наблюдала со стороны. Должно быть, обрадовавшись, что все кончилось благополучно, она мгновенно повеселела и неожиданно обратилась к послу:

— Будьте любезны, вы не смогли бы исполнить для нас какой-нибудь зажигательный русский танец? В тот раз, когда нас навестил Мамбет-мурза, я была в восторге от того, как лихо плясали его спутники.

Англичанин был явно озадачен.

— Я не умею плясать, как русские. Я мог бы показать немецкий танец. Но для этого мне нужна партнерша.

— Что это?— не поняла ханша.

— Ну, дама. Грациозная, вроде вас.

Ханша густо покраснела. И, скрывая смущение, поспешно поинтересовалась:

— А есть ли у господина посла жена, дети?

— Нет, я холост,— последовал ответ.

Ханша, однако, решила, что посол шутит, и на всякий случай снисходительно улыбнулась.

— Что так? Или у вас за девушку слишком большой калым требуют?

— Что это?— не понял посол.

— Ну, выкуп, значит... Плата за невесту. У нас, имея двадцать — тридцать кобыл, можно любую красотку высватать.

Только теперь англичанин догадался о значении снисходительной улыбки ханши и серьезно ответил:

— Нет. У нас никто выкуп не требует и не дает. У меня и невеста есть. Только жениться все некогда. На этот раз вернусь на родину — женюсь.

«Некогда жениться»— такого в степи еще никто не слыхивал. И потому все, кто набился в юрту, обескураженно переглянулись, решив, что словоохотливый гость и на этот раз разыгрывает их.

В наступившей тишине вдруг щелкнул выстрел. Конь посла, стреноженный за юртой, рухнул и, дико заржав, забился в судорогах

В первое мгновение никто ничего не понял. Все повернулись туда, откуда раздался выстрел. За спиной посла стоял смертельно бледный Кожахмет и, онемев от страха, еще сильнее стиснул в руке заморский пистолет.

Первым пришел в себя англичанин. Выхватил из рук мальца-султана пистолет, глянул в открытый тундук, увидел кружившегося над юртой стервятника и, не целясь, пальнул в него. Ястреб, роняя перья, шлепнулся оземь. Взрослые ахнули от изумления, застыли с разинутыми ртами.

Только теперь к озорнику Кожахмету вернулся дар речи. Дрожа всем телом так, что зуб на зуб не попадал, он завопил:

— Дяденька-а-а!.. Агатай! Ради аллаха, не браните... не сердитесь! Я не знал... я нечаянно... Просто подержать хотел.

Посол ничего ему не сказал. Вложил пистолет в кожаную кобуру на поясном ремне. Потом достал из плоской кожаной сумки плотный белый лист бумаги, открутил крышку флакончика с чернилами и, то и дело макая в него пером, принялся как ни в чем не бывало рисовать портрет Абулхаира, время от времени мельком взглядывая на него.

— Ну надо же!— воскликнул кто-то.— Все спорится в руках нечестивца.

Ханша блеснула глазами.

— И в самом деле!— восхитилась, покосившись на бумагу, на которой под быстрыми пальцами чужеземца оживали знакомые черты ее супруга.

Вечером того же дня были срочно направлены гонцы во все аулы. Было объявлено: «Через два дня, в удачливый день среды, в ханской орде состоится пир в честь прибытия русского посольства».

А за день до пира в ханской орде состоялся суд, на который отправился и любопытный англичанин. Оказалось, что двумя днями раньше Калыбек, верный страж хана, поймал на месте преступления конокрада, который средь бела дня напал на пасшийся в песках табун шомекейцев и пытался угнать четыре десятка отменных лошадей. Потом выяснилось, что лихой конокрад — из захудалой ветви рода жагалбайлы. По его словам, он приехал к шомекейцам, чтобы проведать старшую сестру, которая якобы год назад, примерно в это же время, была просватана. И вот какие-то негодяи позарились на его резвого скакуна и увели ночью с привязи. «От отчаяния кровь кинулась мне в голову,— уверял конокрад.— И на табун я напал, чтобы отомстить шомекейцам». С тех пор как шомекейцы перекочевали на летовку, у них и до этого случая исчезали лошади. И многие тогда полагали, что угоном коней промышляют втихомолку соседи-башкиры. И вот теперь Калыбек со своими джигитами, возвращаясь из аула шакшактинца Букенбая, нежданно-негаданно приоткрыл завесу этого загадочного воровства. Время было послеполуденное. Вдруг у горизонта всклубилась и начала стремительно удаляться тучка пыли. Путники вначале подумали, что поднялся степной смерч, и не придали этому значения. Однако заметив, что клубок пыли резко свернул в сторону гор Текше и удаляется в определенном направлении, Калыбек и его люди заподозрили неладное и бросились в погоню.

Пойманный конокрад утверждал, что он намеревался скрыться у родственников по материнской линии в роду шакшак. Но среди шакшактинцев такого человека, кого он называл, не оказалось. Вот тут-то и зародилось подозрение: «А не этот ли дерзкий джигит все это время сплавляет краденых у шомекейцев коней мятежным башкирам?»

Абулхаир решил придать этому событию особенное значение, докопаться до истины непременно в присутствии

русского посланника. Пусть не думает, что в казахской степи тишь да благодать, что хан напрасно отправляет гонцов на Орь, тревожась и предупреждая об опасности и что на самом деле между казахами и мятежными башкирами не существует никаких — ни тайных, ни явных — отношений. Пусть посол воочию убедится, что тревоги хана имели серьезное основание.

Однако посла менее всего интересовала подоплека случившегося. Внимание его главным образом привлекал сам конокрад, крупнотелый, сильный джигит, сидевший на коленях перед строгими судьями-казиями. Он залюбовался его броской внешностью: широкий открытый лоб, прямой нос, спокойный, горделивый взгляд, полная достоинства осанка. Ничего похожего на заурядного вора. Да одним своим видом он украсит любое общество, любое почетное место. Такого видного, колоритного молодца любая красотка не прочь заключить в свои жаркие объятия. Он внимательно вслушивался в каждый вопрос, отвечал сдержанно, с невозмутимым спокойствием. Казалось, будто он не обвиняемый, а обвинитель. И не его допрашивали, а он допрашивал судей-старичков с подергивающимися белыми бородами. Ни суеты, ни растерянности, ни тени боязни.

«Любопытный, однако, народец,— подумал про себя посол-чужеземец.— Даже вор у него — гордец. Держится так, будто не преступление совершил, а геройский поступок. Подчинить таких своей воле, стремиться делать из них послушных рабов — должно быть, напрасная затея. Видно, прав Сергей Костюков, всю дорогу толковавший о дерзости и вольности степняков. Действительно, они — дети дикой природы и потому такие же вольные, строптивые и необузданные, как она сама...»

Между тем один из судей убежденно говорил:

— Издревле, от дедов и прадедов наших, так повелось: нет прощения душе, нет оправдания чести и совести того, кто посягнул на скот единокровника своего не во имя высоких помыслов о чести-достоинстве или нанесенной кровной обиде и кровомщении, а ради одной лишь низменной корысти и жадности.

Старец-судья сказал это громко, растягивая слова, с большой внутренней силой, и посол-чужеземец был потрясен глубоким, затаенным смыслом этой сентенции, выверенной народным опытом. Особенно поразило его то, что эти простодушные, непосредственные степняки с такой четкостью и точностью определяют границы между отвлечен-

ными понятиями «душа», «честь», «совесть», «достоинство», «низменная корысть».

Теперь уже не конокрад, а старцы-судьи завладели вниманием изумленного посла. Он с раскрытым ртом уставился на них. Неужели они сами додумались до только что изреченной одним из них истины? Неужели эти семеро белобородых, морщинистых, согбенных старичков способны вынести такой мудрый приговор? Может, некая невидимая могущественная сила, исполненная вековой мудрости, вложила им в уста подобное решение? Как бы там ни было, трудно поверить в то, что эта разновеликая, разношерстная толпа номадов, собравшаяся на грубое зрелище, в состоянии воспринять столь значительную, основополагающую для цивилизованного человеческого рода истину.

— Спроси, какое же последует наказание?

Байбек, сидевший рядом, равнодушно ответил:

— Ясно какое! Мучительная и позорная смерть! Накинут на шею ворюги волосяную петлю, привяжут к хвосту коня и пустят его вскачь. И поволочет его конь по степи, по камням, по колючкам, пока подлый вор не испустит дух. И в том месте, где околеет, там и зароют, будто пса. Лицом не в сторону священной Мекки, как правоверного, а наоборот. Сровняют могилу с землей, притопчут, чтобы и следа не осталось. И ни одна живая душа отныне к тому месту не подойдет. Вот и все!

Рассказывая, рослый, могучий туленгут нетерпеливо поерзал, грозно поводил плечами и с остервенением потер ладони о лоснящиеся штанины заскорузлых, из шкуры сшитых штанов, словно не в силах унять нестерпимый зуд.

Теперь посол с удивлением уставился на Байбека. Его обветренное, загорелое лицо необычайно оживилось, и сам он весь воодушевился, будто входил в азарт и испытывал редчайшее наслаждение. Глаза его хищно взблескивали, щеки пылали, и чем-то он смахивал сейчас на беркута в тот момент, когда охотник срывает с него кожаный колпачок и отпускает в полет на добычу. От всего облика и слов его повеяло непонятным, непостижимым злорадством и жестокостью. Посол не узнавал своего давнего спутника. «Что это с ним? Отчего он так возбудился? Ведь мудрая мысль, только что изреченная старцем-судьей, взывала к светлым человеческим чувствам, к благородству и к высокому порыву. А этот своей свирепостью вроде все это напрочь отвергает и отрицает. Как такое понять? Может, эти люди вообще живут и действуют не по разуму, а исключительно по наи-

тию? Может, они не отдают отчета в своих поступках? И тот конокрад, идя на преступление, судя по всему, вовсе не испытывал особых душевных мук. И старцы-судьи, придя к мудрому заключению, тоже, кажется, не очень-то сомневались и терзались духом. А ведь какое духовное напряжение, какое усилие духа необходимы и какие муки следует пережить, чтобы прийти в своем развитии от воровства к героизму, от злодейства к высшей справедливости?! Сложный и долгий тернистый путь... У этих же кайсаков все получается как-то само собой, так просто и неожиданно. Странно... непонятно...»

Байбек, видно, решил, что посол, судя по его обескураженному виду, не поверил ему, а потому в знак своей правоты указал рукой вперед и воскликнул:

— Вон, вон, смотрите! А что я вам говорил?!

В самом деле, к обвиняемому подскочили четверо джигитов. Один из них нахлобучил на несчастного по самый нос колпак из черного войлока, другой накинул ошейник с длинными, развевающимися во все стороны тесемками-полосками, третий с треском сорвал с него ветхую одежку, обнажив по пояс.

Все это делалось по распоряжению грозного ханского стража Калыбека, который возбужденно и победоносно вышагивал вокруг, хлюпая большими, с загнутыми носками сапожищами. Ханскому стражу явно нравилась его роль, и он, упиваясь своей властью, звонко покрикивал:

— Эй, придурок! Остолоп! Еще и в крашенные охрой замшевые штаны вырядился. К теще, что ли, в гости собрался?! Давай скидывай!

Толпа заколыхалась, загорелась глазами, разинула рты в предвкушении редкого зрелища.

Хан был невозмутим. Лишь время от времени незаметно косился в сторону русского посольства. Казалось, что ему не было дела до того, что здесь происходило. Он наблюдал за послом-чужеземцем. А посол, волнуясь, не спускал глаз с вороного коня, возле которого суетились люди. Вот несколько сильных рук резким рывком поставили конокрада на ноги. Потом двое ловко стянули с него замшевые штаны и швырнули их стоявшему рядом, подбоченясь, Калыбеку. Кое-кто в толпе, глядя на конокрада, оставшегося в нелепых, с болтающейся мотней, бязевых грязных подштанниках, принялся хихикать.

Теперь за дело взялся сам Калыбек. Он набросил на руку пестрый волосяной моток, ловко связал петлю, прове-

рил ее на крепость, словно намеревался заарканить строптивого неука, потом накинул петлю на шею конокрада, а другой конец мотка подал чернолицему верзиле, спокойно, с сознанием своей значимости восседавшему на низкорослом, но крепком гривастом вороном коне. Верзила схватил конец пестрого волосяного аркана, громко, чтобы все слышали, произнес: «Ия, бисмилля!», намотал его на руку, всем корпусом прилег на луку седла, подтянул штаны.

Посол вновь вытащил платок и начал им яростно обмахиваться. «Да-а...— думал он про себя.— Эти степняки, видно, не только дики и необузданны, как природа, но так же бесчувственны и жестоки».

Словно догадавшись в этот миг, о чем подумал уважаемый гость, Абулхаир во всеуслышание обратился к судьям-старцам:

— Почтенные! Как вы знаете, у нашего народа издревле существует обычай обращаться в подобных случаях к гостю-иноземцу с вопросом, не желает ли он заступиться за обвиняемого. И если иноземный гость попросит снисхождения или пощады, то, бывало, преступнику прощали его грехи и смягчали приговор. Среди нас сегодня присутствует гость издалека. Может, спросим, не будет ли у него особого пожелания?

Один толмач, татарин Кулбай, тотчас перевел слова хана другому толмачу, юноше-немцу Дитриху Юстусу, а тот, в свой черед, передал все слово в слово послу-англичанину. Для него такой обычай оказался неожиданностью. Поняв, что сейчас только укрепившееся было в нем заключение о жестокости номадов вследствие такого обычая является совершенно не основательным, посол удивленно покачал головой и пробормотал: «Поразительный обычай!.. Интересный народ!» Он порывисто вскочил и со всех ног понесся к вороному коню. Приговоренный к мучительной смерти конокрад, почувствовав оживление в толпе, склонил голову в сторону подбежавшего человека и весь напрягся, стараясь расслышать его слова. Руки его были связаны, а на глаза по-прежнему низко надвинут черный войлочный колпак.

Посол не сразу собрался с мыслями. Заговорил лишь после небольшой паузы:

— Высокочтимый хан! Почтенные господа судьи! Согласно обычаю вашего народа, по праву, любезно предоставленному вами как гостю, я прошу вас о милости: сохраните жизнь этому несчастному, спасите его заблудшую душу. Познав людскую милость и сострадание, он, полагаю,

никогда больше не ступит на стезю бесчестия. А коли еще раз оступится, пусть уж тогда пеняет на себя.

Толпа одобрительно загудела. Чтобы успокоить ее, судья-казий резко вскинул камчу.

— Сердечная просьба царского посланника о помиловании преступника воспринята и удовлетворена нами с искренним щедродушием. Обвиняемому даруется жизнь!

Толпа вновь заколыхалась, зашумела, но коротким взмахом камчи судья-казий тотчас усмирил ее.

— Жизнь ему даруется, но позор за содеянное — на нем. И за это ему прощения нет! На глазах присутствующих здесь презренный вор должен переступить порог сорока юрт и вымазать себе рожу сажей и копотью сорока казанов!

И опять гул прокатился над толпой. Решение судей многих обрадовало и позабавило. Кто-то из посольства весело воскликнул:

— Вот будет потеха!..

Джигиты сорвали с головы осужденного войлочный колпак, сняли с шеи петлю, заломили руки назад и связали их, нахлобучили на голову задом наперед старую шапку-ушанку, завязали тесемку, разорвали обе штанины до самого срамного места, чтобы при каждом шаге виднелось голое тело.

Потом, размахивая над его головой камчами, погнали беднягу перед собой двое пожилых всадников. Его загоняли попеременно в каждую юрту, из которых он выходил густо измазанный жирной сажей. Только зубы белели да глаза поблескивали лихорадочным огнем. Подстегиваемый плетьми двух верховых, осужденный рысцой пробежал семь кругов вокруг улюлюкавшей толпы, после чего его вновь подвели к длинногривому вороному коню и развязали руки, тут же накоротке связав их впереди. Один конец пестрой волосяной веревки сунули ему в рот, заставив его стиснуть зубами, другой конец подали чернолицему верзиле, продолжавшему восседать на вороном. По условиям наказания осужденный не имеет права выпустить изо рта конец аркана до тех пор, пока тот, кто его водит на поводу, не зашвырнет высоко вверх его второй конец. В противном случае будет считаться, что осужденный бросает вызов справедливому приговору почтенных судей-старцев. А это страшный грех, кощунство, такое непослушание приравнивается к святотатству, к осквернению Корана, что уже никогда и никем не прощается. На том месте, где поводырь выбросит аркан позора, осужденный должен закрыть голову

связанными руками и уходить куда глаза глядят. Вернется ли он после всего пережитого в родной край или проживет остаток дней на чужбине — его воля. Тот, кто сжалится над беднягой, должен собственноручно снять с него драный, с полосками, прелый войлочный ошейник, доставить его судье-казию и сполна оплатить долг. Лишь таким образом можно заслужить прощение.

Пока послу-иноземцу объяснили все условия необычного наказания, применяемого в степи к ворам, чернолицый верзила рысью пустил вороного одра. Осужденный, заплетаясь ногами и держа в зубах конец аркана, побежал вслед. И пока он бежал так мимо толпы, каждый норовил его разок-другой огреть короткой плетью.

Отъехав на приличное расстояние, чернолицый верзила отшвырнул от себя вверх волосяной аркан и с чувством исполненного долга завернул вороного гривастого одра назад.

Крупнотелый незадачливый конокрад на бегу рухнул лицом в пыль и некоторое время пролежал не шелохнувшись. Потом медленно поднял голову, встал на колени, быстро оглянулся, блеснув зубами. Потом поднялся на ноги. Положил связанные руки на темя и, шатаясь, побрел неведомо куда. Вскоре он перешел на трусцу. Возбужденная толпа, колыхаясь, гудя, долго глядела вслед все уменьшающейся, все стремительней удалявшейся одинокой фигуре.

Ошарашенный событиями сегодняшнего дня, не в состоянии все увиденное осмыслить, посол-англичанин, время от времени покачивая головой, поднялся с места. Обступившим его спутникам он не сказал ни слова.

Всю неделю в ханской ставке было шумно и многолюдно. Пешие и конные стекались сюда со всех сторон. В окрестностях с каждым днем ставилось все больше и больше юрт для съезжающихся на пир гостей.

И когда все почтенные и знатные родоправители, бии и батыры были в сборе, со всех гостевых аулов выехало к ханской ставке пятьсот верховых. Они спешились на расстоянии крика от нее, поставили коней на привязь. Из пятисот человек выделилось пятьдесят — самые достойные и именитые. Они направились к майхане — ханской резиденции. Здесь они познакомились с посланником русской царицы, отдали ему почтительный салем, представились, обменялись словами вежливости, посидели за одним дастарханом, угощаясь мясом и кумысом. Остальным приезжим угощение

было приготовлено в специально отведенных юртах.

К обеду богато разодетая казахская знать выбралась из майханы. Тесной гурьбой, степенно ступая, направились к коновязи, уселись на коней. Возле майханы в ожидании выхода хана остались коневоды, державшие под уздцы аргамака, укрытого пестрой, с яркими аппликациями попоной, под инкрустированным дорогим седлом, а также принцы-ханзады и султаны. Наконец показался и Абулхаир — в атласном чапане и в раздвоенном войлочном колпаке, вышитом золотом. К нему подвели сивого аргамака, и в тот момент, когда он вдел левую ногу в стремя, взметнулся воинственный клич. Знатная часть гостей, белая кость — тюре — кричала: «Архар! Архар!», а низкородные надрывались: «Алдияр! Алдияр!»

Сопровождавшие Абулхаира султаны, прихватив державшееся особняком посольство, большой группой, не спеша, двинулись в сторону долины, окруженной со всех сторон пологими холмами и крутыми увалами. Там было черным-черно от собравшегося люда.

Туда же направили коней и пятьдесят биев со своими нукерами.

Вслед за ними плотной гурьбой потянулись и остальные всадники.

Внизу, в долине, приветствуя хана, родоправителей и русское посольство, надрывали глотки воины родов и восторженно размахивали высоко поднятыми пиками.

Большой отряд всадников во главе с ханом подъехал вплотную.

Долина ревела. Над холмами и увалами раскатывалось эхо.

Абулхаир, зажав шенкеля, выехал на несколько шагов вперед. Вскинул пику с хвостатым знаменем.

— Уа, жамагат! Народ правоверный! К тишине взываю!

Воинов и толпу окружила ханская стража на вороных конях, с воздетыми над головами пиками, на древках которых развевались конские хвосты. После слов хана все стражники разом взмахнули короткими толстыми плетками-доирами, мелькнувшими над толпой пестрой змеей. И раздался зычный многоголосый окрик:

— Ти-и-и-ихо! Хан-алдияр будет говорить!!

От грозного окрика стражников, взметнувшегося одновременно с разных сторон, вздрогнули и затихли не только воины и чернь в узкой долине, но, казалось, и сами холмы

и увалы вокруг. И птицы с испугу, должно быть, сразу смолкли и разлетелись.

— Уа, жамагат!— напряг голос хан.— Всемилостивейшая и всепресветлейшая самодержица российская, а также государыня множества народов и племен, в том числе и нашего, казахского, народа, благодетельница и покровительница наша императрица Анна Иоанн-кызы в знак щедродушия и особого расположения прислала к нам своего верного и надежного посланника господина Жона. Он прибыл к нам с подтверждением, что наша присяга верности российскому трону, учиненная нами по воле аллаха и от всего нашего сердца четыре года назад, в чем мы поклялись на священном Коране, а также наша искренняя и добросердечная просьба о добровольном нашем вступлении отныне и во веки веков в российское подданство, восприняты ее императорским величеством, чье милосердие и великодушие безгранично, весьма одобрительно и благосклонно.

Первыми одобрительно загудели ханские приближенные:

— Барекельде!

Их возглас тотчас подхватили стражники, снова разом взмахнувшие короткими плетьми-доирами:

— Барекельде!

Вслед за ними, не жалея глоток, заревела толпа в долине:

— Барекельде! Барекельде!

Когда гул, отзываясь многократным эхом, умолк в увалах и ущельях, хан выкрикнул:

— А теперь послушаем господина посланника!

И слова его в том же порядке докатились до всех, кто собрался сейчас в тупиковой долине между холмами и увалами.

Джон Кестли, ударив пятками коня, подъехал и встал рядом с ханом. Голосом он обладал тонким и слабым, и услышали его только те, что находились вблизи. Он коротко поведал то, о чем только что рассказал в майхане при встрече с биями-родоправителями. Но когда он окончил свою речь, которую один толмач пересказал второму, а тот уже в свой черед — толпе, ханское окружение также завопило:

— Барекельде!

И этот возглас одобрения тут же подхватили сначала стражники, затем все воины и разношерстный люд, запрудивший тесную долину между холмами.

И тут случилось то, что посол-англичанин никак уж не

ожидал. Первым слез с сивого аргамака Абулхаир. За ним спешилась вся его свита. Все, накинув поводья на руки, тут же опустились на корточки. Их примеру последовали и стар и млад по всей долине. Обратившись лицом в сторону солнца, все застыли в благоговейном молчании. Все разом прикрыли глаза и приняли отрешенный вид. Казалось, все по чьей-то воле отключились в одно мгновение от всего мирского и суетного и внимали сейчас таинственному гортанному бормотанию чалмоносца, опустившегося на колени по правую руку Абулхаира. Все шевелили губами и глухо бормотали вслед за ним непонятные слова арабской молитвы. Горстка людей из русского посольства, не слезая с коней, обескураженно и недоуменно глядела на эту необычную сцену. Невольно подумалось: господи, чем отличается эта покорная, послушная неведомой силе и воле, отрешенная серая толпа, невнятно бормочущая вряд ли кому понятные слова, от той многочисленной овечьей отары, что, не поднимая морды, пасется сейчас понуро по пологим склонам холмов и увалов, простирающихся за этой долиной? И в чем отличие горстки всадников из русского посольства от тех же крикливых чабанов, которые, день-деньской размахивая посохами, с окриком ««Айт!» выгоняют овец на выпас, а с криком «Шайт!» вновь сгоняют их в гурт?! Поразительно!

Неужели этой послушной толпой так же просто управлять, как отарой покладистых овец? Неужели они покорно потрусят перед тобой, точно овцы, низко-низко опустив головы и подставляя бока под хворостину? Что еще можно увидеть в этой долине, запруженной покорной и безголосой толпой, в этих однообразных холмах и увалах, по склонам которых тихо пасутся тысячи и тысячи овец, в этой бурой степи, беспредельно простирающейся под голубым небосводом, кроме сонной тишины, вечной покорности и смирения? Все одно и то же с самого сотворения мира: тусклое, терпеливое прозябание под мерным цокотом копыт, понурая трусца в ту сторону, куда погонит шальной степной ветер, безропотная покорность судьбе, ничтожные усилия ради низменного животного существования. Неужто не дано степи встрепенуться? Неужто ей неведомы дерзость, вызов, решительные действия? Ах, как бы обрадовался, как восторжествовал неисправимый мечтатель Иван Кирилов при виде этой смиренной, коленопреклоненной, рабски покорной толпы! Ах, если бы это увидела сама императрица, самодержица российская! Уму непостижимо: такая покорность, такое

благочестие и раболепие во имя какого-то чужеземца, бродяги-путешественника, полукупца, полухудожника Джона Кестли! А если бы не он, англичанин Джон Кестли, а начальник Оренбургской экспедиции статс-советник Иван Кирилов, или ее императорское величество вдруг предстали бы перед этими номадами, о, тогда бы, пожалуй, не только все живое в этой степи, но даже и холмы и горы превратились бы в прах. Не потому ли так низки и пологи их горы? Не потому ли так мелки и сонны их озера? Не потому ли так мелководны и излучисты их реки и ручьи? Не потому ли они так извиваются по плоской степи, точно хвост побитой собаки? Почему в этой неоглядной дали все так монотонно и однообразно? Почему ничего не бьет в глаза? Почему ничто не устремляется дерзко ввысь? Отчего все такое мелкое, неприглядное, неказистое? Отчего все живое и неживое трусливо жмется к земле? Неужели нет большей красоты, чем то, что при обзоре с высоты кажется малым и ничтожным, боязливым и робким, что готово от первого дуновения ветерка, от малейшего дыхания рухнуть и рассыпаться в прах? И не потому ли только тот, кто взобрался на трон, что назвался однажды господином, кажется неимоверно высоким и всевластным, словно сам всевышний творец? Выходит, на этом свете нет большей силы, чем власть, и большего рабства, чем зависимость? Разве эти номады еще только вчера не были вольными и строптивыми, точно неукрощенные неуки? Так что же с ними случилось сегодня? Неужели одно лишь слово «подданство» повергло их в такое рабское состояние?!

Необычайная картина точно заворожила всех членов посольства. Пятеро казаков, поправляя на себе все виды оружия, важно приосанились. Не шелохнулся толмач Кулбай. Он, ушлый татарин, привыкший быть тише воды, ниже травы, хорошо сознавал, что ему в подобных случаях совершенно ни к чему напускать на себя важный вид. Ведь завтра же, едва он проедет городок на Ори, ему ведь все равно предстоит лебезить перед всяким начальством. Так что нет смысла ради нескольких вольных дней в этой вольной степи выпрямлять привыкшую быть согнутой спину. И только один отрок Дитрих Юстус, по малой опытности своей еще представления не имевший о власти и покорности, не знал, как отнестись к тому, что творилось на его глазах, а потому с любопытством озирался вокруг. В обрушившейся вдруг оглушительной тишине нервно перебирал ногами конь под лохматым Сергеем Костюковым. Всегда в добром рас-

положении духа, улыбчивый, он сейчас почему-то насупился, досадливо морщился, будто перегрелся на солнце, и ему теперь не по себе. С нескрываемой жалостью и состраданием глядел он сейчас на кочевников, о которых всю дорогу восторженно, явно преувеличивая малейшие их достоинства, рассказывал путешественнику-британцу. Он даже вздыхал украдкой. И был сильно подавлен. И уж кто-кто, а Джон Кестли отлично понимал его состояние.

Он, британец Джон Кестли, хоть и воспринимается многими как случайный встречный-поперечный, однако, милый Сергей Костюков, успел подметить и понять многое. Это такие, как ты, наивные ротозеи склонны преувеличивать все незнакомое и восхищаться тем, что видят впервые в жизни, воспринимая все как нечто невероятное и необыкновенное, как какое-то чудо. А ведь никакого чуда-то и нет. Это твое узколобое начальство привыкло считать все, что не похоже на него, все, что непривычно и недоступно его пониманию,— отсталым, невежественным, диким и низменным. И по своей недальновидности полагает, что если всех строптивых укротить, а все, что не согласуется с его представлением, задавить на корню, то тем самым и восстановятся мир да благодать. Какое страшное заблуждение! Прежде всего следует руководствоваться здравым рассудком, постараться все увидеть, постичь и осознать. А потому явись к номадам с улыбкой на устах. Беседуй, улыбаясь. Приди он, Джон Кестли, сюда с надменным лицом, кто бы подошел к нему? Эти кочевники, если приглядеться, скорее всего, добродушны или даже простодушны, а не лукавы и двуличны, может, пылки и вздорны, но никак не строптивы.

Вчерашний суд над конокрадом, сегодняшнее безропотное поклонение высшей воле на небесах и могущественной власти на земле свидетельствуют о многом, приоткрывая завесу множества тайн и загадок обитателей степи. Выходит, и они, кочевники, подчиняются разуму и порядку. Выходит, и они соблюдают какие-то законы. Следовательно, они такие же, как и мы... Но нам необходимо не высказывать им этого. Нам надобно казаться в их глазах умнее, хитрее, сильнее. Потому что, судя по всему, они не особенно склонны признавать и почитать тех, кто похож на них самих. Только та власть, что способна понять эту истину, может и быстро подчинить своей воле, и легко ими управлять.

Вот такие предварительные заключения вынес англича-

нин Джон Кестли из этого своего путешествия в кайсацкую степь.

Святой хазрет в высокой белоснежной чалме, заканчивая свое гнусавое бормотание, сделал паузу и громко объявил:

— Да примет и благословит всевышний доброе желание нашего народа пребывать отныне в мире и дружбе с Российским государством. Аллауакбар!

И кончиками пальцев благоговейно огладил щеки и бороду.

— Аллауакбар!— глухо и многоголосо отозвалась за ним вся долина.

В этот же день все многочисленные гости разъехались по отведенным для них юртам, долго лакомились мясом и опустошили не один бурдюк настоянного кумыса.

На другой день начались традиционные игры — конные скачки, борьба силачей-палванов, состязания певцов и музыкантов. Шумное веселье в ханской ставке, то разгораясь, то утихая, продолжалось еще трое суток.

На четвертый день именитые правители родов шакшак, керей, уак, канжыгалы, кипчак, найман, шекты, тама, табын, тлеу, шомекей во главе многочисленной свиты, получив дорогие призы, добытые в честных состязаниях, довольные и умиротворенные, разъехались кто в сторону Тургая, кто — в сторону Челкара, кто — к приречью Елека, кто — к прибрежью Иргиза. Остались только организаторы пира — представители родов алаша и кете, которые взяли на себя обязанность проводить посольство в обратный путь.

После того как большинство гостей разъехались, окрестность ханской ставки опустела и приуныла. Густые заросли вокруг и травы были вытоптаны. Земляные печки, на которые устанавливались котлы, зияли чернотой, точно свежие вырытые могилы. Ближние аулы, пугаясь этой заброшенности и запущенности, спешно откочевали на новые пастбища. И в ханской орде понемногу готовились к откочевке, уже укладывали вещи и связывали тюки, ожидая, когда посольство тронется в путь.

Посол-англичанин с утра любовался красочными кочевьями в степи. Султана Нуралы, подъезжавшего к нему на гладком иноходце, он узнал издали. Оказалось, на прощание Абулхаир приглашал посла к себе.

В уютной юрте, в которой хан принимал почетных гостей, находился сам Абулхаир, его старшая жена Бопай и беки, правители улусов Жанибек и Дербисалы. Когда вошли посол и султан Нуралы, хан указал им место справа от

себя. Был хан не таким радушным и веселым, как тогда, во время поездок по аулам, не таким спокойным и сдержанным, как в тот раз, когда его сынишка, сорванец Кожахмет, невзначай убил из пистолета лошадь посла на привязи, и не таким грозным и величественным, как вчера на сборе родоправителей. Он казался явно удрученным и озабоченным. Под глазами заметно обозначились темные мешки — следы многодневных застолий, хлопот и волнений. И голос его прозвучал тихо, подавленно:

— Как самочувствие, господин посол? Собираетесь в путь?

— Да. Как говорится, пора и честь знать,— так же сдержанно и коротко ответил посол.

— И, позвольте спросить, куда? К устью Ори или в Самару?

— Прежде, думаю, в Самару, чтобы доложить господину Кирилову о здешнем положении. Потом, видно, в Оренбург.

У ханши Бопай, внимательно прислушивавшейся к беседе, при этом ответе посла мгновенно погас живой блеск в черных глазах. Хан, наоборот, оживился, расправил плечи.

— В таком случае, я попрошу вас доложить господину Кирилову все точь-в-точь, как есть. Каково положение в степи — вы увидели своими глазами. Сегодня кочевники беспечны и довольны, ликуют по любому поводу, а завтра ни за что ни про что могут всколыхнуться, прийти в негодование, в неистовство, как свирепый лев. Что надобно, чтобы наш народ стал покладистым и не шарахался из крайности в крайность? Крепкая узда и надежная опора! А их пока у меня нет. Вся моя надежда — новый город, что возводится милостью царицы. Дай аллах, чтобы его скорее достроили. Когда я, будучи ханом, обоснуюсь в той надежной крепости и стану держать при себе в аманатах по одному сыну каждого родоправителя, и еще буду к тому же иметь грозное оружие, которым могу безжалостно наказывать всякого ослушника или строптивца, тогда этот дикий, распущенный, неуправляемый народ сразу окажется покорным и покладистым, точно косяк кобылиц, ведомый сильным и властным жеребцом. А попробуй народ удержать в узде сейчас! Не те силы! Не так-то просто управлять одичавшим, вольным табуном, если он в году, может, один лишь раз видит курук в руках одинокого табунщика! А ведь сколько еще вокруг тайных недоброжелателей и врагов, которые исподтишка сеют смуту и подзуживают, будоражат темный люд?! Не

счесть! Полагаю, часть смутьянов затаилась в Бухаре и Хиве, до которых, как вам известно, рукой подать. Так вот, если бы еще и их прибрать к нашим рукам да время от времени показывать им кулак, думаю, другие сразу поджали бы хвосты и не осмелились бы не то что соваться к нам, но даже издали на нас тявкать. Если вы, почтенный посол, задержались бы в наших краях еще на полмесяца и, взяв сколько пожелаете нукеров, объехали под видом моего и белой царицы посланника южные улусы, тогда б можно было упредить всякие поползновения к бунту и несогласию. Уж против российской самодержицы никто бы не осмелился выступать.

Джон Кестли внимательно выслушал напористую речь хана и про себя усмехнулся: «Далеко, однако, метит кайсацкий хан! Ишь, как размахнулся! Пользуясь протекцией российской императрицы, не прочь с моей помощью и южных соседей пристегнуть к своей тороке...»

Джон Кестли ответил, что сейчас он не располагает для этого ни возможностью, ни временем. Господин Кирилов давно уже дожидается его в Самаре.

Абулхаир едва заметно вздохнул:

— Тогда должен предупредить, что подстрекательства со стороны турецкого султана и башкирских тарханов только усилятся. Они обнаглеют вконец. Вы же сами видели того джигита-конокрада. Его отпустили по вашей просьбе. А он будет мстить. В том можете не сомневаться. На днях опять угнали табуны у родов шомекей, шакшак, жаппас, кипчак. Конечно, это дело рук не того конокрада, за которого вы заступились. Это его последователи, его вдохновители. И я уверен, что это — башкиры!

Абулхаир испытующе посмотрел на посла. Тот, однако, промолчал.

— Может, если не сейчас, то в будущем возобновите ваши поездки? Не угодно ли вам посоветоваться об этом с господином Кириловым?

— Что ж... Довести до его сведения могу.

Уклончивый ответ посла не удовлетворил Абулхаира. Однако он постарался скрыть досаду.

— Господин посол! Если есть у вас какая-либо просьба или упрек какой — говорите.

Посол недоуменно повел плечами.

— Может, я напрасно привлек вас к разбирательству по делу того конокрада? Может, это я способствовал тому, что вы так пылко заступились за преступника, который,

конечно же, заслуживал суровой кары, определенной судьями-казиями? Ведь совершенно очевидно, что он башкирский приспешник.

Абулхаир опять сделал паузу и пытливо скосился на посла.

Вопрос хана и в самом деле несколько озадачил англичанина.

«С какой целью он так настойчиво о том спрашивает? Или он хочет подчеркнуть, что я допустил серьезную оплошность, попросив пощады разбойнику, выступающему против царицы? Ведь получается так. И, выходит, лукавый подстроил все это нарочно? А теперь злорадствует? Но чего он этим добивается? Заманивает в силки? Подмачивает мою репутацию? Значит, кочевники не только придерживаются порядка и закона, но при случае ловко обходят их, или умело пользуются ими, подставляя незаметно подножку? Значит, они умеют быть и благоразумными, и коварными? А ведь это и есть политика! Да, да! Туземец-политик... дикарь-политик... невежда-политик... Как смешно, как неестественно это звучит! Э, нет... Там, у нас, еще, по-видимому, очень плохо знают туземцев, своих подданных. Сам господин Кирилов в недавней беседе со мной убежденно заявил: «Мы сначала этих дикарей немного просветим. Обучим грамоте. И научим уважать законы». Какая наивность! Вот этот лукавый степной лис, что буравит меня сейчас глазами, сам скорее преподаст урок политики любому самонадеянному, самоуверенному вояке... Как ловко прикидывался добряком столько дней, пиры закатывал, беседами завлекал, зрелищами отвлекал, а под конец подкрался, подкатился незаметно и перед самым отъездом расставил силок, который и не разглядишь сразу, и все последствия не разгадаешь. Ох, хитер! Ловкач!..»

Серолицый властный хан чуть заметно усмехнулся. И эта ухмылка, казалось, ввергла посла-чужеземца в еще большую растерянность.

— Я, само собой, прежде всего пекусь о личном покое. В этой степи, как говорится, никто с неба не свалился. Все мы не святые. Попробуй угадай, у кого что на душе. В каждом смертном, говорят, сорок рвов и закоулков. И пока в них не заглянешь, о человеке наверняка судить невозможно.

Хан опять выдержал паузу. И посланник не спускал с него глаз.

«А ведь верно говоришь, досточтимый хан! Не берусь судить о других твоих изречениях, но то, что ты сейчас ска-

зал,— истинная правда. И эти сорок рвов и закоулков находятся прежде всего в тебе самом...»

— К тому же каждым человеком руководит долг перед сородичами и соплеменниками. Чьи интересы ставить выше? Кому, когда и в каких случаях отдавать предпочтение? Это надо уметь взвешивать на безмене разума. Сегодня я нужен, и со мною как-то считаются, но откуда мне знать, как со мною поступят завтра, если я не угожу кому-либо из могущественных правителей? И еще. В дни торжеств в честь посланников я преднамеренно не хотел допустить смертоубийства. Народ ведь и без того напуган, и не хотелось мне, чтобы о нас подумали как о людях жестоких, не знающих жалости и никому никогда не прощающих никаких прегрешений. Потому я и позволил вам заступиться за преступника и попросить по обычаям нашим пощады. Я старался, чтобы кочевники поняли: и великая царица способна к сочувствию и состраданию, к милосердию и прощению.

Джон Кестли не знал, что сказать хану в ответ. Он был изумлен. Как прозорлив, однако, этот немногословный хан! Ведь об этом тогда как-то мельком подумалось и ему, чужестранцу. Только не так четко и ясно.

— Так-то, значит, господин посланник! Что еще в моем положении остается делать, как не внимательно присматриваться к каждому, от которого зависит моя судьба? А зависит она от многих, от слишком многих. И скажу вам откровенно: пока бразды правления этим народом не передадут в руки одного сильного и надежного человека, которому доверяют всецело, управлять туземцами будет очень не просто даже царским правителям. В противном случае они разделят мой жребий: будут боязливо озираться по сторонам и постоянно ждать подвоха, опасности отовсюду...

При этих словах хан в упор уставился на посланника. Джон Кестли стойко выдержал его взгляд.

— Надеюсь, вы, досточтимый хан, не сомневаетесь в том, что у великой императрицы найдется достаточно ума и силы, чтобы удержать в руках своих подданных.

Хан рассмеялся.

— Конечно! Ничуть в том не сомневаюсь. Особенно по части ума. А вот что касается силы... Впрочем, и сил предостаточно. Однако казахи разбросаны повсюду за каждым холмом, в каждом овраге, под каждым кустом беспредельной степи. Вот и трудно мне поверить в то, что славное войско императрицы разбредется по верховьям и низовьям, волоча за собой свои пушки.

Джон Кестли опять удивился: какая горькая усмешка и убежденность в своей правоте сквозили в этих вежливых, простых словах!

Хан продолжал:

— Ладно, господин Жон. Ваш приезд был весьма кстати. На некоторое время вы успокоили неустойчивых степняков. Только надолго ли? Времена, сами видите, смутные. Еще раз скажу, не обессудьте за назойливость: пока российская самодержица и благодетельница наша не решится передать все бразды правления казахами в одни крепкие и властные руки, желанной благодати и спокойствия в степи никогда не будет. Лишь в таком случае можно кочевникам раз и навсегда отделаться от притязаний Хивы и Бухары.

— Понимаю, высокочтимый хан.

Абулхаир немного помолчал.

— Тогда, господин посол, постарайтесь, где возможно, внушить это и другим.

Хан смотрел на посла спокойно и долго. Большие глаза его подернулись грустью. Лицо его смягчилось, подобрело. Вдруг он приветливо улыбнулся.

— Господин Жон! Самое надежное сокровище нашего народа — его пословицы и поговорки. Одна из них гласит: «Того, с кем один раз разделил трапезу, почитай сорок дней». Мы же с вами несколько дней были неразлучны. И в добрую память о них я дарю чистокровного скакуна.

Они вышли из юрты. К ним подвели легконогого, поджарого скакуна светло-рыжей масти, на котором ездил в тот раз на охоту с ловчими птицами султан Нуралы. Абулхаир отрезал пучок волос от гривы, вытер им влажный храп скакуна, потом снял с него серебряную уздечку и надел недоуздок с серебряными колечками и передал конец чембура послу.

— По нашему обычаю коня вместе с уздечкой не дарят,— улыбнулся хан.— Берите! Да будет резвым и неутомимым ваш скакун!

Посланник приложил руку к сердцу и поклонился.

— Для господина Кирилова у меня на этот раз нет подарка. Бог даст, прихвачу, когда пригласят меня в Оренбург. А вот это — подарок вашей невесте.

Посланнику вынесли шесть лисьих и тридцать корсачьих шкур. Их, связав, уложили на задок кареты. Не обошли подарками и двух толмачей: каждому дали по шесть корсачьих шкурок.

После этого была сотворена короткая благодарствен-

ная молитва, и путники сели на коней. Перед самым отъездом Цапаев, поманив пальцем, подозвал к себе дурашливо улыбавшегося в сторонке Итжемеса.

— Я-то все думал, что этот губошлеп кособрюхий в наш городок зачастил? А он, оказывается, зятьком приходится! Взял себе в жены нашу сестрицу и помалкивает, хоть и рот до ушей. И пусть забыла она родной язык, но что русская — ведь не скроешь. Да поглядите хотя бы на рожицу этого сорванца!

И Цапаев привлек к себе прижимавшегося к отцу светлолицего, рыжеволосого, с широкими скулами мальца и погладил его по головке.

— Что этот урус-увалень говорит?

— Племянника своего признал.

— О, аллах! Неужели?!

— Да, да! Сказано ведь: кровь тянет, породу не скроешь!

— Смотри-ка! Может, со временем и этот рыжий сопливец правителем станет?

— А что? Тогда с Итжемесом придется поласковее обходиться уже сейчас, пока не поздно...

Цапаев рукоятью плетки шутливо надвинул замасленную шапку Итжемеса на глаза и хохотнул:

— Смотри, зятек! Приедешь в город — не забудь ко мне заглянуть, гостинцев взять для племяшей моих.

Русские из посольства дружно рассмеялись. Кулбай тотчас перевел шутку на казахский язык, и тут уже рассмеялся хан, а за ним и все остальные.

Аульные бабы оживленно зашушукались:

— Ай да Итжемес! Родню нашел...

— Теперь его рыжуха будет дуть городской чай наравне с Бопай-ханум.

— Сказано ведь: и на чужбине заимей родню.

— Не зря Балпак пропадал в последнее время в лачужке Итжемеса...

Путники тронули коней.

За каретой длинной вереницей потянулись верховые. Шакшактинцы Суюндик и Акмалай, адаевец Курмантай, Лака и Мамбет из рода тлеу, Алтай из рода кете решили под водительством туленгута Байбека добраться до Самары и представиться господину Кирилову. Нарочный султана Жанибека и туленгут Шагирай должны были сопроводить посольство до брода на реке Орь, Шагираю вменялось в обязанность снабжать путников по дороге необходимым продовольствием. Бесцеремонный, драчливый, скорый на

расправу, он еще вчера оповестил многие аулы по пути, чтобы они подготовились к встрече посольства и его сопровождающих заблаговременно. Султаны Нияз и Нуралы вызвались проводить царского посланника.

На несколько верст от ханской ставки проводили посольство сам Абулхаир и некоторые приближенные к нему бии. Потом они молча глядели вслед, пока путники не исчезли за перевалом.

Едва заметный белесый клубок пыли, похожий на катящийся по степи одинокий куст устели-поля, все далее уплывал к горизонту, и там то ли растворился в призрачном мареве, то ли враз провалился в невидимую пучину.

Бии, сопровождающие хана, попрощались с ним и тоже отправились в путь в свои улусы.

Абулхаир загрустил. Опять проводы... Сколько их было в его жизни! Опять расставание... Сколько их еще предстоит! Ничего устойчивого, постоянного в этом мире нет. Вот и приезд посольства стал теперь достоянием прошлого. Все прошло-ушло, будто и не было ничего. И почему-то пусто на душе. Нет ни удовлетворения, ни успокоения. Вот уже столько лет многие надежды, взлелеянные в душе, никак не оправдывались, а если и осуществлялись, то не в той мере, как хотелось, как мечталось, и потому казалось, что растворяются и угасают они каждый раз где-нибудь за горизонтом вместе с клубком белесой степной пыли, поднятым уезжавшей от хана горсткой путников. Когда, наконец, осуществится его заветная мечта?.. Когда наступит — и наступит ли?— желанный для него день?!

Провожая посланника, мурзу Жона, хан еще раз пристально взглянул на него и заметил про себя, что и он не был столь оживлен и безмятежен, как в первые дни приезда. И он, англичанин Джон Кестли, уезжал отсюда в глубоком раздумье, многое, должно быть, поняв, а обо многом лишь догадываясь. Видно, что и его впечатления от радушных первых встреч, от всех забав и застолий в краю кайсаков улетучивались, истаивали понемногу, как всклубившаяся из-под колес его кареты невесомая пыль, что неизменно рассеивается и исчезает бесследно в неоглядной шири.

Абулхаир поднял голову, устремил взгляд вдаль. Глубокие морщины, как еще не заросшие следы былых кочевий, избороздили его чело. Ему вдруг ясно, отчетливо подумалось, что пыль, только что осевшая на густой, щедрый покров степи,— лишь первый признак, предзнаменование, предвозвестник предстоящих на земле его предков больших перемен, неизбежных и непредсказуемых.

Часть вторая

ПРЕДРАССВЕТНЫЕ СУМЕРКИ

«Человек живет в свете и детьми память о себе оставляет, но сия память и скоту равна есть, а честь, приобретения человеку, во веки не умирает, и я тем ныне наиболее должен радоваться, что мое имя в так великом и славном государстве известно»

Абулхаир
(С. М. Соловьев. История России, т. XX, стр. 1549. Издание второе)

«...благополучно, без всякой помощи и без государственных работников зачало живой линии воспоследовало, и ежели б от весны не придержан был без дела при Уфе, то бы надеялся все городки одним сим летом окончить, и казаками с охотниками удовольствовать, и маяки поставить, ибо ни одного места нет с недостатком к житию человеческому — земля черная, леса, луга, рыбные и звериные ловли довольные».

(Из рапорта начальника Оренбургской экспедиции статского советника Ивана Кириловича Кирилова в Сенат от сентября 1736 г.)

Запечатывая пакет с очередным донесением в Петербург, Кирилов в бессильной ярости заколотил вдруг кулаками по столу. Шея его тотчас покрылась багровыми пятнами, лоб посинел, жилы на висках вздулись.

Будь он неладен, этот кашель! Как обрушится — спасу нет, наизнанку выворачивает, слезу из глаз выжимает. Огромный стол, беспорядочно заваленный всякой всячиной — бумагами, ландкартами, образцами минералов и руды, пожелтевшим бивнем мамонта, найденным под безымянным курганом в башкирской степи, тазовой костью

и пробитым черепом древнего человека — мгновенно зазыбился перед ним, затуманился, будто медленно погружался в воду. Охрип аж статс-советник, натужно и беспрестанно кхекая, и такую в груди тесень почувствовал — хоть от тоски завой.

Наконец удалось кое-как унять навязчивый кашель. Да проку-то? Каждый такой приступ ввергал Кирилова в полное изнеможение.

Он откинулся на спинку кресла и застыл, обессиленный. Лишь через некоторое время открыл глаза, повел вокруг мутным взглядом, словно с трудом припоминая, где находился. Потом, запахивая одной рукой ворот подбитой мерлушкой бухарской шубы, подаренной некогда купцом-путешественником Маравием Бараевым, а другой — покрепче опираясь о дубовый стол, с превеликим усилием поднялся. Его пошатывало, дрожь в ногах заметно усилилась. Казалось, ступи только шаг — и разверзнется под ним земля. Он постоял в растерянности. Хмуро скользнул взглядом по тускло мерцавшему, замызганному, будто нестиранные портянки, окну и осторожно прошаркал к нему. Все то же... унылые и постылые виды, к каким успел привыкнуть за последние дни его усталый взор...

В канун половодья могучая река в этом месте обычно вскрывалась особенно бурно и разливалась широко и вольно, словно угрожая затопить вешними водами всю сушу. И тогда глаз не достигал прошлогоднего берега. Неукротимые в весеннюю пору потоки, не признавая извечных русел, размывая берега, дерзко устремлялись к горизонту, смешивая небо и землю.

Всю зиму ослепительно сверкавший под стылыми лучами солнца ледяной панцирь реки, раскинувшийся от края до края в этом беспредельном мире, сейчас был неузнаваем. Не видно было ни многочисленных саней, сновавших взад-вперед и оставлявших на синеве льда — вкривь и вкось — следы от полозьев, ни шумных детских ватаг, оглашавших пустынное пространство несмолкаемым с утра до вечера гомоном и гвалтом.

Выморочная тишина враз обрушилась на обычно оживленный берег Самары. Точно грозно ощетинилась и насупилась ледяная ширь. «Вот видишь — все зависит от моего норова,— будто говорила скованная льдом река.— Я весела — и все живое вокруг ликует. Я мрачна — и всякая жизнь на берегах замирает». И в самом деле, куда ни посмотри — ни одной живой души. По иссиня-серому льду

зловеще зазмеились темные трещины, из-под которых просачивалась, расползаясь, вешняя сукровица.

Еще недавно глыбастый лед броней сковал реку, и был он незыблем и непробиваем, сколько бы его ни копытил скот и ни топтал люд, согнанный сюда со всей матушки России, и вот — надо же — дрогнул-таки под напором неведомой нутряной силы, выказал слабину, и смятой постелью сморщилась недавняя гладь, и крутая эта перемена как бы намекала на неукротимую власть времени, перед которым бессильно все сущее на белом свете.

Нет, не нравилось все это Кирилову. Он имел обыкновение время от времени любоваться из окна кабинета видами окрестности. И тогда, случалось, развеивалась хмурь на его челе, душа точно просветлялась. Теперь же, глядя на беспросветно унылое безмолвие, однообразно простиравшееся за окном, он почувствовал безысходную тоску в душе и еще большую разбитость в теле. В такую жуткую распутицу и непогодь не пробиться сюда из центра никакой оказии. Три года ждал-прождал он капитана Эльтона, наконец-то встретился с ним прошлой осенью в Самаре, и договорились, что весной непременно пожалует сюда бравый капитан со всем необходимым экспедиции снаряжением и оборудованием для астрономических, геодезических и прочих научных исследований. Вместе с ним намеревался прибыть с большим караваном и аглицкий купец Гок. И вот оба точно в воду канули. Ни слуху, ни духу.

Сколько он, Кирилов, потратил слов и извел бумаги на Сенат, который упорно не отпускал денег на отправку в Степь Эльтона и Гока и только тем и занимался, что измышлял бесконечные отговорки и причины! Все напрасно... Узколобые спесивые чинуши в Сенате решительно не внемлют его мольбам, полагая по своей близорукости и неразумению, что новые владения Российской империи — всего-навсего дикая, запущенная ширь, по которой из конца в конец носятся наперегонки с вихрем свирепые номады в мохнатых ушанках. И невдомек им, столичным хлыщам и пристегаям, сколько богатства, столь необходимого для вящего могущества и славы России, втуне пропадает на этих необозримых просторах. Именно теперь приспело время для безотлагательных действий, чтобы потом не кусать от досады локти. Именно теперь надлежит собрать как можно больше всевозможных сведений о тайных залежах Российской державы. Ведь самому создателю неведомо, как поступят завтра туземцы, чьи помыслы меняются

по сорок раз на дню столь же неожиданно, как ветер в степи. Попробуй угадай, что взбредет в их шальные головы! И сколько потом понадобится опять сил и старания, а главное — времени, чтобы вновь наладить угодное богу и России дело! И кто возьмется за его осуществление, если с ним, с Кириловым, и теперь уже хворым, случится непоправимое?!

Взгляд его ненароком упал на кончики пальцев правой руки, вцепившейся в ворот теплого бухарского халата. Боже милостивый, что с ними стало! Опухли и затвердели, будто кончики барабанных палочек. Когда-то, в бытность обер-секретарем Сената, помнится, у него были тонкие, розовые, нежные ноготочки, теперь они окостенели, стали желтыми и жесткими, как когти. Да, хворотьба еще никого не красила. Вот и его донимает злая болезнь, и сладу с ней, видно, нет. Какими только травками, прописанными профессором Гейнцельманом, он не пользовался! И целебный башкирский кумыс попил всласть. И, казалось, прошлой осенью заметно пошел на поправку. А вот за долгую зиму опять дошел. Давно ли это было, когда он время от времени наведывался в контору Оренбургской экспедиции? Теперь и вовсе занемог, ослаб, носа из дому не кажет. По его распоряжению все ценные бумаги и рукописи доставили к нему в кабинет. От разных плиток и рулонов, коллекций минералов, гербариев, археологических находок, причудливых предметов обихода, собранных у казахов и башкир, повернуться в кабинете невозможно. Тут же находилась и постель. В ней он просматривал все деловые бумаги и подолгу читал. Бурые следы и разводья от разных лекарств и микстур заметны на всех листках. Отрываясь от чтения, Кирилов вставал с постели и подходил к столу. Господи, сколько бумаг, сколько дел, столь успешно начатых, но не доведенных до конца! Он склонялся над своей давней рукописью «Цветущее состояние Всероссийского государства». Сколько новых прекрасных замыслов и прожектов родилось у него в этом богом забытом, чуждом краю, сколькими впечатлениями обогатился — уму непостижимо! Уже здесь возник в его голове замысел «Экстракта к пользе российской истории древней». Для успешного управления этим краем и для разумного направления его развития исключительно ценным является и труд, написанный совместно с Гейнцельманом о Сибири, о генеалогии башкирских и казахских ханств, о разветвлениях башкирских родов. Жаль только, что не доходят руки тщательно про-

смотреть еще раз его и написать обстоятельный комментарий. А рукопись «Гистории свейской войны» и вовсе уже столько времени лежит нераскрытой. Дай бог успеть завершить хотя бы «Цветущее состояние...»

От этих забот и дум он лишился сна и покоя. В последнее время он перепоручил все канцелярские дела своему тестю Петру Степановичу Бахметову и помощнику Петру Ивановичу Дьякову, а сам принялся просматривать и упорядочивать рукописи. Однако их накопилось так много, что он и не представлял себе, сколько потребуется на это времени и труда. От гнева и отчаяния его порой колотило, как в лихорадке, а иногда даже чудилось, что он лишается рассудка. Ах, дьявольщина! Ах, досада! До чего же скоротечна человеческая жизнь, но и та проходит в бесплодной возне и суете. А так славно зачиналась было его судьба, так все удачно складывалось, и вдруг нежданно-негаданно все пошло коту под хвост. Неужто таков его удел — ничего не доводить до конца? Как благосклонно улыбалась фортуна в начале Оренбургской экспедиции! И императрица выказала вдруг небывалую щедрость. И он, охваченный пылом, страстью, достиг было высот головокружительных, о которых и в самом радужном сне не мечталось. Поймал, мнилось, строптивую удачу. И вот сгинуло все, вмиг улетучилось.

Казалось, неоткуда было ждать напасти. Работы по закладке крепости на берегу реки Орь начались благополучно, и вот однажды поздней ночью нагрянули к нему, точно гром среди ясного дня, человек двадцать верховых.

Чуткий Кирилов, едва взглянув на их мрачные лица, заподозрил неладное и обмер. Всадники были наряжены в калмыцкие одежды. Измучены и усталы. Под глазами набрякли мешки. Чувствовалось, что мчались наметом, без передышки. Заметив в кабинете двух башкир, насупились, нахохлились, не говоря ни слова. Лишь когда башкиры вышли, путники заговорили осипшими голосами.

Кирилов сразу все понял, и сердце его точно холодом сковало в груди. Он уже плохо вникал в сбивчивый рассказ запоздалых путников, даже, мерещилось, забыл про них. Ему живо припомнился тот путь, по которому сам прошел недавно, и слова гонцов противно жужжали в ушах, не задевая сознания, а странным образом навевая явственные жуткие видения. Глаза его в ужасе выпучились; челюсти свело так, что он не в силах был их разжать. Передние зубы больно впились в нижнюю губу: с краешка рта показалась тонкая струйка крови. Он пытался было что-то выкрикнуть,

но совершенно исчез голос. Гневные слезы навернулись на глаза. В ярости он ударил кулаками по гладко выструганной столешнице и прохрипел:

— Довольно!

Так — сипло, задышливо — кричат, случается, только в страшном сне.

Путники тотчас повскакивали с мест. Лица их посуровели, побледнели. У всех туманилось в глазах.

С той поры слепая ярость все чаще захлестывала Кирилова, и каждый раз в таких случаях он принимался колотить кулаками по столу.

И действительно, нельзя было не содрогнуться душе от того, что поведали в ту злополучную ночь нежданные гонцы...

К тому времени еще не подоспели некоторые военные части, которых ждали в помощь для закладки нового города на берегу Ори. Один из таких полков выступил из Уфы и по маршруту предшествовавшего воинского отряда направился в степь.

Возле реки Сарымсакты полк на две недели расположился на привал: надо было убедиться в мирном расположении башкирских улусов.

В самом деле, никаких поводов для подозрений или тревог башкирцы не подавали. За все время, пока полк находился на привале, ни один башкир не показывался во всей окрестности. Разведчики, выезжавшие в аулы за какой-либо помощью или провиантом, ничего опасного тоже не заподозрили. И тогда командир полка Чижов приказал протрубить поход.

По пути изредка попадались маленькие аулы, которые разве что только испуганно глядели вслед вооруженному отряду. Через несколько дней перестали встречаться и разрозненные аулы. Полк вступил в беспредельную, безлюдную степь. Иногда за весь день пути глазу не за что было уцепиться: всюду, во все стороны, простиралось убивающее душу унылое однообразие. Сколько ни вглядывайся в необозримые дали, хоть до рези в глазах, все одно и то же — ровная, как доска, сонная или как бы затаившаяся бурая степь. У горизонта зыбилось причудливое марево. Когда прошли верст двести от Уфы, степь заметно преобразилась, стала пышней, травянистей. Пырей вымахал так густо, что с трудом различались очертания степных дорог и троп. Ясный, чистый небосвод раскинулся от края до края. И никаких звуков, кроме птичьего щебета. Смешанные запахи

сочного разнотравья дурманили голову, навевали приятную истому. Временами налетал легкий ветерок, ласкал, щекотал грудь, будто окутывал усладой.

Вдруг взмыла к небу хриплоголосая песня. Она застала многих врасплох. В полку переглянулись: «А кстати ли? Вдруг туземец услышит да прискачет тотчас?!» Но песня, робкая поначалу, понемногу крепла, ширилась. Вскоре, горланя во всю мощь глоток, полк спустился в овраг, задыхавшийся от сочного и рослого пырея и житняка. Если уж туземцы решили устроить засаду, то лучшего места им не сыскать. Однако и эта опасность быстро улетучилась, и, выбираясь из оврага, полк запел еще дружней и слаженней. Страх, преследовавший отряд все эти дни, теперь окончательно развеялся. По небу лениво плыли, чертя за кругом круг, пустельги и перепелятники. Казалось, и они зачарованно внимали песне. Вдали все так же дрожал окутанный маревом горизонт. Степной овраг, притон воров и разбойников, остался позади. Еще недавно легкий, урывками налетавший ветерок вроде как усилился и ожесточился. И запах трав все резче бил в ноздри. И вдруг явственно потянуло гарью. И ветерок точно отдавал дыханьем пламени. Странно... вокруг, куда ни посмотри, на дым и намека не было. Все так же безмятежно простиралась ровная, безмолвная степь. И так же лазурно сиял небосвод. Песня, однако, разладилась. Исчезли куда-то прохладные струи воздуха. Все заметнее запахло паленым. Из-за горизонта, из-за бугорков и перевалов точно взметнулись и понеслись навстречу полку багрово-красные, стремительные, как смерч, косули... Вскоре они сбились в плотную массу и, обернувшись огненным валом, будто выкатываясь из-под земли, яростно хлынули лоб в лоб.

— Пожар!.. Пожар!..

Все встревоженно вгляделись вдаль. Головная часть полка круто повернула назад. Задние ряды застыли в недоумении. Полковник Чижов, дав сивому жеребцу под собой шенкеля, выскочил на фланг, начал обозревать в трубу окрестность... Впереди, низко стелясь по земле, с нарастающим гулом накатывался степной пал. Густые заросли пырея и житняка грозно колыхались огненными волнами. Тысячепламенный огонь, сливаясь воедино, с треском и грохотом надвигался на полк неотвратимой бедой. Остановить эту напасть было невозможно. Единственный выход — удариться в бегство. Но куда? Где в этой беспредельной степи найдешь спасение? Вокруг ни такыра, ни

песчаника — сплошной, необозримой стеной стояли в рост житняк и пырей.

Подзорная труба дрожала в руках полковника Чижова, лихорадочно высматривавшего хоть какую-нибудь лазейку для спасения своего полка. Наконец ему удалось разглядеть тонюсенькую серую полоску, гигантской ящерицей притаившуюся за черным оврагом, почти у горизонта. Полковнику даже почудилось, будто блеснуло там что-то, похожее на острие ножа. Наверное, за тем оврагом протекала мелкая степная речушка. Возможно, именно там удастся полку найти спасение.

Звучным голосом Чижов отдал команду. Полк врассыпную кинулся в сторону оврага. Сзади все стремительней настигал их неукротимый степной пал. Уже явственно слышался сухой треск охваченной огнем травы и чувствовалось дыхание сатанеющего пламени. Еще несколько мгновений, и разгулявшийся пал, точно селевой поток, сомнет отряд в волнах пожара. Полк охватила паника. Верховые, едва не сшибая друг друга, кинулись назад: за ними, явно не успевая, повернул громоздкий обоз. Гулкий топот копыт, отчаянный скрип колес, хриплые вопли погонщиков, гул и треск накатывавшегося валом огня — все смешалось, всколыхнув только что сонную степь.

Когда полк, охваченный страхом, достиг наконец оврага, с противоположной его стороны, вдоль обрыва, так же воровски сверкнули зловещие языки пламени.

Вопль ужаса взмыл к небу, будто волчья стая ворвалась в стадо. Огромный, неповоротливый воинский отряд, очутившийся неожиданно в кольце огня, ринулся по узкому, как лезвие ножа, оврагу к востоку. Судя по всему, овраг упирался в каменистое плато, темневшие вдали. Только там, вероятно, можно было надеяться на спасение.

Отряд с трудом пробирался сквозь густые заросли кустарников и трав по дну оврага. Сзади доносились душераздирающие крики, грохот, похожий на глухой взрыв. Видно, огонь настиг обоз с провиантом и оружием. Было слышно, как взвыли, поминая всевышнего, башкиры, как матерно ругались русские, но никто не остановился, не оглянулся даже. Ошалевшая толпа неуправляемым половодьем катилась по оврагу туда, к спасительному песчаному пятачку.

По обе стороны узкого оврага бушевал, неистовствовал огонь. Змеиные языки пламени, то взметываясь высоко, то низко, крадучись, стелясь, вихрем неслись вдогонку

верховым и вскоре настигли их. Тотчас запахло паленой шерстью. Кони с опаленными хвостами и гривами обезумели, захрапели, кидались в дыбки, рвали поводья и понеслись вскачь во все стороны.

Огонь ярился, перекинулся в овраг, на высокие травы, на кустарники, объялся густым, бурым, слоистым дымом. Пламя жадно лизало ноги и бока коней, подбиралось к одежде всадников, и лошади, выйдя из повиновения, отчаянно карабкались по крутому склону вверх, выбирались из дыма и чада, но, столкнувшись со стеной бушующего огня у самой кромки оврага, падали с пронзительным ржаньем, будто подкошенные, и скатывались грузно вниз, в гущу огненного смерча.

Склоны оврага маслились от жирной копоти. Все перемешалось, металось, ворочалось, колыхалось. Запах гари и чада плыл над пожарищем. Непонятно где и откуда вспыхивал огонь и накатывался за шквалом шквал. Откуда взялись в безлюдной степи поджигатели? Может, пламя вырывалось из потайных расщелин земли? А может, пожар занялся от жгучего степного солнца?

Наконец-то головная часть преследуемого яростным огнем полка докатилась до конца оврага. Всадники, кое-как вырвавшиеся из огненных тисков, помчались во весь опор в сторону каменистого плато, еще не веря в свое спасение. За ними, уже ничего вокруг не видя, из огня и дыма вырываясь, бросились и остальные. На многих верховых горела одежда, и теперь они уже сами усугубляли беду, стремительно перенося огонь туда, куда он еще не успел переметнуться. С надсадной хрипотой на всем скаку замертво падали кони. Шмякались оземь, кубарем откатывались в сторону, ломая руки, ноги, шеи, перепуганные насмерть всадники. Уцелевшие выбирались из груды тел и во все ноги бежали к каменистому плато. Казалось, вздыбилась и корчилась земля. Степь огласили крики, вопли, стоны, ржанье, грохот, гул.

Голое место, похожее на проплешину, переходило в истресканный такыр. Здесь, видно, находилось недавно только высохшее половодное озеро; кое-где еще темнели небольшие бочаги, и кони, и всадники, охваченные огнем, со скаку, с разбегу плюхнулись в них, разбрызгивая мутную воду. Многие падали замертво, и вскоре вокруг бочаг образовались груды обугленных, обгорелых тел и трупов.

Немногим удалось вырваться из огня целыми и невредимыми. Мчались, куда глаза глядят, оставшиеся без всад-

ников кони. Метались оставшиеся без коней всадники. А многих смерть сразила одновременно.

Огонь не унимался, все неистовствовал. Упрямо теснил оставшихся в живых со всех сторон. Стремительные языки пламени, жадно слизывая все вокруг, плотным кольцом окружили небольшое каменистое плато и обессиленно сникали, падали плашмя у его черты. Все вокруг, куда только достигал глаз, было объято огненным смерчем. Каменистое место и крохотный такыр казались жалким, обреченным островком в бушующем море огня. И на этом островке сбилась в кучу горстка перепуганных людей. Но и они не могли себя чувствовать в полной безопасности. Огонь перебрался и через безжизненную кромку такыра, переметнулся на трупы лошадей и терзал, рвал, пожирал их, будто голодная шакалья стая. В своем неистовстве он вцепился даже в гривы и хвосты еще живых коней, рухнувших на полном скаку в мелкие бочаги и уже бессильных подняться на ноги.

Люди, казалось, лишились рассудка. И русские, и башкиры, и калмыки — все точно онемели. Никто ничего не мог понять. И чудилось им, что эту дикую оргию затеял не огонь, а нечистая сила — тысячи и тысячи разгульных степных джиннов.

Степной пожар свирепствовал до самого захода солнца. Но и с наступлением сумерек то здесь, то там тревожными всполохами взметались еще языки пламени. К ночи ветер переменил направление. Слабеющие волны огня покатились теперь назад по опаленной степи, подбирая на бегу все, что еще не догорело дотла. Крутые огненные волны сшибались, сталкивались и, взметнувшись в последний раз, вспыхнув напоследок ярко, точно багровые крылья гигантской птицы Самрук, тотчас смиренно припадали к земле, рассыпались во все стороны и, вконец обессиленные, гасли.

Гарь и чад плыли над землей.

Наутро вышло солнце, ясное, улыбчивое, как ни в чем не бывало. Казалось, с недоступной своей высоты оно смеялось над обезображенной, чумазой после степного пала землей.

Полковник Чижов, мрачный и растерянный, приказал полку построиться, дабы убедиться, что же от него еще осталось. Около двухсот человек... шестидесяти коней... ста пятнадцати сабель... ста ружей... Все остальные сгинули вчера в огне.

Полковник, еще более помрачнев, отвернулся.

Позади, до самого горизонта, роковой чертой тянулся черный овраг, усеянный трупами людей и лошадей. Еще дальше, за оврагом, громоздились останки повозок. Ветер лениво ворошил пепел.

Чижов молча повернул коня на север, в сторону Уфы. Сивый жеребец под ним тоже спал с тела и пошатывался. За ним, поникнув головой, скорбно поплелись остальные.

И опять, как и все эти дни, потянулась слева и справа, спереди и сзади безмолвная, безлюдная степь. И снова загадочно зыбился вдали пустынный горизонт. И, казалось, никто и ничто не имело отношения к тому, что случилось вчера. Будто все испепеливший степной пал не был делом рук человеческих, а карой, ниспосланной самим всевышним.

Но и на этом еще не кончились беды. Многие из тех, кто уцелел в пожаре, нашли свою погибель при отступлении — от жажды и голода. Человек сто пятьдесят кое-как дотащились до пологого перевала, гда еще накануне находился затерявшийся на отшибе башкирский аул, и застыли в изумлении, увидев лишь следы былой стоянки.

Всем стало ясно: вчерашний пожар в степи возник не случайно. Солдаты яростно заскрипели зубами, до боли стиснули шашки. От бешенства и ненависти потемнело в глазах. В досаде солдаты набросилсь на сусликов, столбиками застывших у бесчисленных норок вдоль заглохшей степной тропы, и изрубили их в клочья.

И еще три дня брели потом молча. На четвертые сутки добрались до степной балки, на дне которой тихо журчал родничок. Здесь, наконец, всласть утолили жажду и, выставив постовых, повалились в траву, сраженные усталостью и сном.

В тяжком сне Чижов вдруг почувствовал, как что-то больно впилось ему в руки. Он тотчас проснулся, вскочил и увидел: большинство его солдат связано. Некоторые отчаянно отбивались от наседавших туземцев. Полковник пришел в ярость, стал вырываться, ловко расшвырял повисших было на нем супостатов. Однако слишком превосходили они численностью. Тучей налетели со всех сторон, сбили, подмяли, связали руки-ноги колючим волосяным арканом. Глядя на своего полоненного командира, сникли и те, что еще сопротивлялись изо всех сил.

Вокруг степного родничка валялись здесь и там бездыханные тела восемнадцати драгунов и сорока восьми солдат. Около девяноста воинов — связанные и избитые — стояли в окружении почти полутысячи всадников.

Загорелые и обветренные, возбужденные неслыханной удачей туземцы громко колготали, меча гневные искры в сторону сбившихся в кучу несчастных пленников.

— А-а, вояки-крестолюбцы! Попались?! Предупреждали вас: уматывайтесь. Не послушались... Теперь пощады не жди.

— Чего с ними валандаться?! Разрубить на куски и швырнуть шакалам!

— Зачем? Мы их в таком виде в Уфу пригоним. Пусть полюбуются на них! Путь запомнят, как встречают в степи непрошеных гостей!

— Нечего их гнать в город! Лучше распределим по аулам, сделаем рабами, и пусть пасут себе наших овец. Все польза...

Один из них, должно быть, малость кумекавший по-русски, склонился к уху Чижова и громко переводил ему все, что говорили вокруг.

Еще одна ватага разбойников измывалась над полковым священником. Насмерть перепуганный святой отец стоял перед ними в чем мать родила. Насильники, не довольствуясь и этим его позором, так и норовили вцепиться в его засаленную бороду.

— Эй, пес бородатый, взывай к своим духам. Поглядим, как они тебя спасут, а нас покарают!

— Ответь: почему твой бог, намалеванный на деревяшке, не спас вас вчера от пожара?

— Давайте обреем этого борова. Вон сколько на нем шерсти.

— Да, взопрел, взмок весь, нечестивец! Надо обрить. Пусть ветерком обдует!

Тут же человек шесть туземцев ловко сбили несчастного попа с ног и уселись верхом. Один из них, сверкнув лезвием, выхватил из ножен кинжал, ловко, точно о брусок, шоркнул разок-другой по заскорузлой сыромятной штанине, потом зажал коленями покрепче гривастую голову святого отца и принялся ее брить. Бедный поп судорожно дергался, вырывался, орал благим матом, но это еще больше распаляло лихого брадобрея. Крепко ущипнув священника за жирную белую ягодицу и ткнув разок кулачищем по затылку, он мигом усмирил строптивого:

— А ну, не дрыгайся, козел вонючий!

И, придавливая его всем телом, еще поерзал туда-сюда, будто не человека оседлал, а верблюда.

Мигом сбрив и рыжую бороду, и волосню, самозваный

брадобрей откинул брезгливо клок шерсти в сторону, а другой его соплеменник, приподняв его кончиком пики, заметил:

— Говорят, если это сжечь, а пепел высыпать в воду и дать попить хворой корове, она тотчас излечится от ящура.

Брадобрей вошел в раж и, посверкивая острием кинжала, хохотнул:

— Слушайте, может, его зараз обратить в мусульманство, а?

Толпа загоготала.

— Старый урус мусульманином не станет.

— Почему? Я его в два счета омусульманю, ха-ха-ха...

Видно, священник смирился с тем, что пришла пора прощаться с белым светом. Глаза его, как у безумца, вылезли из орбит. В отчаянии он начал обритой синюшной головой биться о склон балки и хватать ртом сыпучую бурую супесь, захлебываясь и давясь.

Глядя на его судороги, толпа заколыхалась в злорадствующем смехе.

Поп помертвел. Грязная слюна текла, струилась по краешкам его губ.

— У, дикари, изверги проклятые! Ироды!— прохрипел в бессильной злобе Чижов.

Толпа еще пуще развеселилась.

— Э, а этот-то что рычит, как строптивый жеребец в табуне? Может, и его обратим в нашу веру?!

— Хха-а! Хочешь обойтись обрезанием, чтоб не обидеть его бабу, да? Нет уж, давай лучше оскопим его!

Распалившаяся вконец толпа загудела, что-то горячо обсуждая, и, наконец, один башкир, видно, толмач, подошел близко к Чижову:

— Слушай, кафир! Если уговоришь бабу-императрицу оставить наши степи в покое, мы тебя отпустим на волю.

Чижов дернулся, сорвался на крик:

— У, супостаты! Дикари! Станет императрица считаться с вами, тварями разбойными! Не токмо она, но и я, раб униженный и обесчещенный, не поклонюсь вам, изверги! И пощады не попрошу! Убивайте! Вешайте! На куски рубите! Всех порубите! Никто из нас челом бить вам не будет. А отпустите — всяк самовольно смерть примет, а присяге не изменит. Вот вам, поганцы, и весь мой сказ!

— Смотри, какой храбрец нашелся!

— Легкой смертью подохнуть думает!

— Вот тебе, паскуда, легкая смерть!— Бородатый башкир ткнул ему под нос огромный кукиш.— Видал?!

— Собаке собачья смерть!

— Оставить обоих здесь шакалам и воронью на съедение.

— И пусть один из них отпевает усопших.

— Куда ему?! Он, кажется, и сам околел.

— Ну, тогда пусть этот жеребчик нерезаный, раз такой храбрый, один здесь крепость строит.

Мятежники бросили живых пленников поперек седел и покинули, не спеша, степной родничок на дне балки. Около сорока измученных пленников отпустили восвояси вблизи Уфы, остальных увезли в степь, разобрав по аулам.

Получив эту жуткую весть, уфимский воевода уцелевших в том бесславном походе с немалой вооруженной свитой направил в обход, через калмыцкие степи, предусмотрительно нарядив их в калмыцкие одежды, к реке Орь, к Кирилову.

Гонец, привезший скорбную весть, оказался говорливым. Все описал без утайки, до малейших подробностей поведал, словно ловкий краснобай, сватающий девку. И когда он принялся живописно рассказывать еще о том, как мятежники глумились над полковым знаменем, Кирилов не выдержал, грохнул кулаками об стол.

— Довольно!!

И, побледнев, вскочил.

На другой день, еле собравшись с мыслями, он приостановил все работы, обрушил на подчиненных свой праведный гнев, чтоб остальным неповадно было, и стал собираться в поход.

Выступил под покровом ночи, опасаясь лазутчиков или послухов, затаившихся, возможно, неподалеку. О спешном походе никому в крепости не сказано было ни слова, кроме подполковника Чемодурова. Но и ему строго-настрого приказали держать язык за зубами.

— Самое большее за полгода надеюсь выбить дурь из мятежных башкирцев. Усмирю бунтовщиков и вернусь к строительству крепости. Вы же тут, поелико возможно, работу не останавливайте,— наказал ему Кирилов.

И теперь, вспоминая о том событии и о тех своих словах, Кирилов криво усмехнулся, почувствовал привычное жжение в груди. «Ну вот и вернулся...» Надеялся через полгода — и то самое большое!— приступить к прерванному делу, а пошел уже с того времени третий год. Крепость же на реке Орь и поныне снится ему во сне.

Отряд во главе с Кириловым шел спешно и вскоре добрался до Черного оврага. Вокруг простиралась выжженная дотла степь. Даже пыль из-под конских копыт вздымалась черная, перемешанная с пеплом, с сажей. Грозный, многочисленный отряд так же молчком очутился возле степного родничка, невинно журчавшего на дне балки. Казалось, отряд, как сама господня кара, вынырнул из черных кудлатых туч и спустился на землю. Тела замученных, зарубленных солдат и драгунов лежали вокруг неубранными. Полковник Чижов, видно, до последнего дыхания отчаянно пытался высвободиться, жесткий волосяной аркан прорезал ему руки до костей, и смерть его была мучительной. Над ранами, запекшимися кровью, роилась туча мух. Полковой священник не вынес надругательства над своей бренной плотью и тут же отдал богу душу. Насильники прикрыли его причинное место полковым знаменем, и, чтобы ветер не унес его, придавили по краям булыжниками.

Кирилов приказал отряду спешиться и предать земле безвинно загубленных басурманами соотечественников.

Опустившись на колено и целуя краешек полкового знамени, Кирилов поклялся:

— Пока хоть один из треклятых мятежников по земле ступает, наши души да не успокоенными будут, ибо загубленные христианские жизни к возмездию взывают. Токмо живота лишив последнего кровожадного басурманина, злодейство сотворившего, праведное мщение воздадено будет.

Так сказав на месте гибели посрамленного полка, Кирилов и не почувствовал, как от негодования и жажды мести по-волчьи оскалился и заклацал зубами. Потом умолк, будто свело ему челюсти. С той поры широкий, открытый лоб его точно стянулся кожей, избороздился морщинами, а меж нахмуренных бровей легли две тяжелые, прямые, как кинжалы, складки. Никто не решался подойти к нему. Даже Тевкелев помалкивал и лишь поглядывал издали на него.

Тогда-то Кирилов и познал впервые парализующую власть ненависти. Казалось, всюду, куда бы он ни повернулся, его подстерегала злобная, непримиримая ненависть. Все упорно мерещилось, что даже на стелющуюся от горизонта до горизонта зеленым ковром степь кто-то уронил искру ненависти, в одночасье испепелившую ее дотла. Холмы и перевалы, усеявшие безбрежную ширь, чудились

гигантскими насупленными бровями, из-под которых вприщур и немигающе следило за каждым его, Кирилова, шагом чье-то горящее огнем ненависти око.

Ненависть и неодолимая жажда мщения, казалось, разлились всесокрушающим половодьем по всей степи. Слепая, яростная ненависть прорастала острыми шипами, раздиравшими тело в кровь, оборачивалась колючками, облеплявшими с головы до ног. Слепой, ярой ненавистью жгло знойным летом степное солнце, намереваясь испепелить, изжарить тебя живьем, и той же ненавистью, леденя душу, насквозь пронизывал студеный ветер в зимнюю пору. Слепая, ярая ненависть невидимой тварью копошилась в густых зарослях трав, оборачиваясь то фалангой, то каракуртом, то ядовитым мохноногим пауком, то шипучей смертоносной змеей. Слепая, ярая ненависть темной, глухой ночью выла волком, скулила шакалом, клацала зубами и хохотала гиеной.

И назойливо чудилось Кирилову, что во всем беспредельном степном раздолье нет ничего доброго. Все только и норовило незаметно, исподтишка ужалить, исцарапать, укусить. Все только и намеревалось всегда и всюду намертво ухватиться за тебя, вцепиться в тебя, кинуться под ноги, вкогтиться в глотку. Даже воздух, казалось, обжигал грудь то зноем, то стужей, сбивая дыхание, сковывая язык. Отовсюду доносился запах гари, смердящий трупный дух.

Эта степь, безмолвная и однообразная, непостижимо таинственная, должна быть полна коварства и злорадства. Ты в нетерпении норовишь одолеть ее — она как бы назло раздвигает и без того безмерные свои границы; ты измучен жаждой — она и вовсе скаредничает; ты зябнешь — она обрушивает на тебя ледяные ветры; тебе одиноко и скучно — она с еще пущим упрямством добивает тебя своей унылой монотонностью. Нет в ней ни затишья, ни укрытия, ни спасительной тени, ни деревца, и, обделенная самим создателем, она не знает жалости-пощады к одинокому путнику. Ей неведома добродетель. Она напрочь лишена милосердия, она черства и жестока. От равнодушно палящего солнца на небе до верблюжьей колючки на земле — все-все отмечено здесь жестокостью и безразличием. Видит бог, и в аду не страшнее, чем в этой глухой, равнодушной к человеческим порывам степи. Разве божьей твари, рожденной и вскормленной ею, может быть присуще милосердие? Как бы не так! Степь — что безмолвное чудовище, готовое раздавить, растоптать, живьем проглотить каждого, кто

невзначай проникнет в ее владения. Даже двуногие ее твари, людьми именуемые, и те способны лишь на злодеяния. Не дай бог иметь с ними дело или — еще хуже — быть зависимым от них! Попробуй только хоть малость зависеть от них — они тебя со света сживут. Жить с ними можно, лишь сломив и подчинив их себе! Только так! Значит, ни в коем разе нельзя верить их трескучим словам, блескучим глазам, скользким улыбкам, лживым заверениям. И слова, и улыбки их — все равно что степной мираж. Поверишь им — сам себя обречешь на верную погибель. Все, что нам заповедали в своих писаниях наши предки,— истинная правда. И нет ничего более мудрого и дальновидного на свете, чем истина, запечатленная в пожелтевших от досады, гнева и глухой ярости старых письменах...

Черный гнев обуял Кирилова. Да! От любого яда должно быть противоядие. В этой отравленной ненавистью степи, где ненавистью пронизан даже воздух, только ненавистью и можно утвердить себя и добиться своей цели. Иначе станешь жертвой вражьей ненависти. Отныне, поелико возможно, старайся показать свою силу и навязать свою волю каждому встречному-поперечному туземцу в овчинном треухе, заставить припасть его покорно к твоим ногам, или растопчи его, пусть умоется своей кровью, пусть захлебнется в ней. Только так! Око за око, зуб за зуб! К чему твоя жалость, твое сострадание к тем, кто не знает жалости и сострадания к тебе?! Если они так рьяно и ревностно оберегают от нас свою пустынную, выморочную степь, то как мы можем приносить им в жертву свои леса и луга, похожие на райский уголок, и свои великие деяния и помыслы, которым суждено вот-вот осуществиться?!

Подумаешь! Если эти вшивые номады так кичатся своим раздольным краем, своей степью, то почему бы нам не возгордиться своей мощью и славой? Если они так и норовят размахивать над нашими головами бунчуком из грязного хвоста понесливой лошаденки, то почему мы должны спокойно взирать на то, как они втаптывают в пыль шелковое знамя венценосной императрицы?!

Нет! Пусть пеняют на себя! Сами затеяли бузу, так пусть не ропщут на справедливое возмездие. Знай, сверчок, свой шесток! Достославная могучая империя не потерпит дерзких выходок разнузданных степных дикарей. Она не склонит головы перед дикостью и невежеством. И сполна спросит за непочтительность к себе!

Нет, увольте, уж он, статс-советник Кирилов, не проси-

телем прибыл в эту степь. Не для того он оказался здесь, чтобы позволить невежеству и дикости глумиться над знаменем просвещения, науки и цивилизации. Жестокая расправа, учиненная над полком Чижова, есть наглый вызов ему, руководителю Оренбургской экспедиции. Подобная вопиющая дерзость должна быть сурово наказана; всякая строптивость — укрощена и растоптана, безжалостно утоплена в крови, и это никем никогда не считалось преступлением, а справедливым возмездием и даже доблестью.

Выходит, судьбе и истории было угодно подвергнуть его и этому испытанию. Что ж... он выдержит его достойно. Как бы там ни было, отступать он не станет и ни перед кем не остановится. Ибо его отступление будет расценено просвещенным людом как отступление науки и цивилизации, как торжество невежества и разгула дикой орды. С этим он, Кирилов, никогда не смирится. Наказание смутьянов в рваной овчине в конце концов не есть наказание степняков или какого-нибудь определенного племени в целом, а лишь заслуженное порицание дикости и свирепости. Только кротость и смирение являются спасением для варваров. Но дремучее невежество в сочетании со свирепостью и агрессивностью есть первый признак и свойство хищного зверя. А хищника жалеть — преступно. Кто проявит милосердие к хищнику сегодня, неминуемо рискует стать завтра его жертвой.

В самом деле, как он мог этого раньше не заметить?.. Раньше он твердо полагал, что туземцы в рваной овчине — простодушные дети природы, довольствующиеся тем, что сыты, и радующиеся своим непритязательным забавам. Когда-то в Уфе, глядя на старого башкира-дворника, Кирилов со снисходительной улыбкой, помнится, подумал про себя, что если инородца приучить к труду, он может российскому отечеству принести немалую пользу. Как он, однако, заблуждался! На деле инородцы, оказывается, самые что ни на есть злобные двуногие шакалы. В многолюдной Уфе они такие тихие и покладистые, такие смирные и послушные, что диву даешься, но стоит им только вырваться на великий простор степи, как в них тотчас пробуждается зверь, и каждый норовит, рыча и лязгая зубами, накинуться на тебя и истерзать, изорвать в клочья. Разве мало они ему досаждали, какого только коварства ни замышляли, пока он пробирался со своей экспедицией сюда, к берегам реки Орь?! Им просто не хватило тогда сил, иначе он наверняка разделил бы судьбу полковника Чижова.

Холодная дрожь окатывала Кирилова, когда он теперь вспоминал об этом. Выходит, судьба пощадила его, оказалась к нему милостивой. Иначе все его мечты, все его благие стремления и намерения во славу России могли бы в одночасье обернуться прахом. Слава всевышнему творцу! Слава, слава! Благодаря ему он все еще живехонек и цел в этом глухом краю, где обитают сплошь кровожадные волки и шакалы. А ведь могло бы быть, что его голова, полная высоких дум и достославных идей, давно бы высохла под каким-нибудь чахлым кустом, обглоданная муравьями и червями.

Но чтобы впредь избежать столь роковой опасности, надобно как следует проучить свирепых смутьянов. Надо из них, пока они не осатанели вконец, вышибить разбойный дух. Покарать жестоко во имя их же спасения. Только так можно обуздать их строптивость. Почувствовав силу и непреклонную волю, они тотчас станут смирными и послушными. Тогда им, надо полагать, надоест бесцельно скакать по степи на поводу своих низменных побуждений, и потянутся они к знаниям, к науке и искусствам. А овладев знаниями и ремеслами, они принесут немалую пользу и себе, и Российской державе. И тогда выяснится, что нынешняя его жестокость закономерна и справедлива, ибо обернулась она благом. И если он уповает на будущее номадов и хочет проявить милосердие к их потомкам, то он должен, даже вынужден самым суровым, беспощадным образом наказать их сейчас за дерзость и неповиновение. В противном случае безнаказанность приведет к распущенности, к вседозволенности, и тогда с этой чернью в рваной овчине вообще никакого сладу не будет. Степной сброд хоть и многолик внешне, а нутром — одинаков. Глядя на мятежных башкир, трудно сказать, что выкинут завтра их соседи — кайсаки, хотя ныне они и отдали в аманаты ханского отпрыска и всячески выказывают свою преданность русскому трону. Нет, надо проучить бунтовщиков, чтобы и другим племенам, населяющим степь, урок пошел впрок.

У Кирилова зачесались ладони. Охваченный нетерпением и решимостью, он зорко оглянулся вокруг.

Странно: обычно туземцы носились по степи как неприкаянные бродяги, а сегодня они будто сквозь землю провалились. Мелькнет что-то вдали, думаешь, наверняка заблудившийся всадник, а приблизишься — и оказывается это то кустом, то косяком диких ослов, или каракуйруков, или сайгаков, возвращающихся на выпас с водопоя. От

9—1505

досады и жажды мести отряд Кирилова уничтожил не один такой косяк.

Когда уже не осталось надежды на встречу с мятежниками, вдалеке вдруг ослепительно блеснуло нечто похожее на огромное степное озеро. Однако то не было озером, и это стало всем ясно, ибо вокруг возвышались тускло отливавшие белесым под солнцем горки. А между ними взад-вперед сновали, точно муравьи, согбенные фигурки людей.

Кирилов подозвал к себе одного из проводников.

— Что это?

— Городок Табынск.

— А эти люди?

— Работники соляных копей. Соль добывают со дна озера.

Кирилов досадливо поморщился и завернул отряд, намереваясь проехать мимо, но в это самое мгновение...

Там, на дне высохшего озера, вдруг что-то стряслось: крохотные фигурки людей замелькали, забегали, точно охваченные паникой. Из-за соляных бугров вихрем повыскакивали улюлюкающие верховые. В первое мгновение даже нельзя было понять, кто они и откуда взялись. Вроде и не люди вовсе, а белые жерди, подхваченные смерчем, закружились со всех сторон. Сплошь покрытые белесой пылью, неслись, как одержимые, сметая все преграды на своем пути. То, что издали мерещилось водной гладью, оказалось на самом деле дном высохшего гигантского озера. И лишь на самой его середине, где добывали соль, еще стояла мелкая вода, а вокруг простиралась ровная солончаковая плешь. Соляная накипь серебристо поблескивала, переливалась в лучах солнца, и по этой глади, вздымая легкую пыль, диким наметом пронеслись какие-то странные бесчисленные существа. Поначалу даже подумалось, что это и есть те самые долгоносые дивы, о которых плели башкиры-пастухи всякие небылицы. По их словам, эта нечисть большей частью водится именно в таких запущенных, бросовых местах, непригодных для человеческого жилья. Выходит, здесь, в этой блескучей долине, изъеденной солончаками, и хоронились до поры до времени долгоносые дивы, притаились меж расщелин, а увидев вооруженный русский отряд, выскочили из засады, вздыбились, заплясали в сатанинском вихре. Ясное дело: безлюдная степь — обиталище нечистой силы. И удивляться тут нечему. Жди беды-напасти со всех сторон.

«Уж не пригрезилось ли мне?»— подумал про себя Кирилов и поднес к пылавшим гневом очам подзорную трубу. Нет, что-то не похоже на нечистую силу. Говорят, у долгоносых дивов стопа устроена задом наперед, то есть пятками вперед, носками назад, а у этих ноги в стремени были как у всех людей. И носы не шиловидные, не хоботком, а короткие, плоские на круглой узкоглазой образине, как у всех знакомых туземцев в рваной овчине. Значит, это те самые мятежники, которых Кирчлов со своим отрядом уже столько дней тщетно подстерегает в степи. Вот она, нежданная удача! Вот он, желанный миг! Верно сказано про ловца, на которого и зверь бежит. Теперь важно не упускать счастливого мгновения, а ударить точно, без промаха.

Однако если обрушиться на них сразу всей силой, они тотчас ударятся в бегство и разбегутся по пустынной степи — попробуй догони! Не-ет, уж на этот раз их никак нельзя выпустить из рук; их надобно понемногу втянуть в стычку, спровоцировать и завлечь в ловушку, перебить потом всех до одного. А грозным натиском их только отпугнешь, необходимо сначала раззадорить их, и тогда, насколько он этих пустоголовых дикарей знает, они сами помчатся навстречу верной своей гибели. Потом их круши, руби, кромсай, сшибай, точно степных зайцев. Где-то он читал: за степняком погонишься — убежит, если же он за тобой погонится — поймаешь. У дикарей этих всегда все шиворот-навыворот: в бегстве их спасение, в преследовании — поражение. Их тут тьма-тьмущая. Небось, тысяч пять-шесть. Значит, разумно дать деру, пусть они, безмозглые, кинутся в погоню.

Перед скачущей во весь опор головной частью отряда в нескольких местах одновременно взметнулись сизые клубы дыма. Первые потери произошли не со стороны мятежников, а в стане русских. «Это даже к лучшему»,— отметил про себя Кирилов. Он удивился своему хладнокровию. Будто не на поле брани находился, а шашками по доске двигал.

Там, возле озера, разгоралась сеча. И в других местах, на флангах, вспыхивали короткие, но яростные стычки. Из круга то и дело выскакивали потерявшие всадников кони. Участились хлесткие удары сабель. Чувствовалось: азарт боя все более охватывал обе стороны.

Кирилов выстрелил в воздух.

— Назад! Назад! Заманивай! Отступай!

Отряд немедля хлынул назад, отбиваясь от упорно наседавших разгоряченных мятежников в овчинных шапках. Сзади взмыл ликующий вопль:

— Аруах!.. Аруах!..

Кирилов довольно усмехнулся. Кажется, клюнули. Все идет, как задумано. Уж коли дурная кровь ударила туземцу в голову, его не остановишь. Тут уж нечего ввязываться с ним в бой. Заставь его нестись за собой как угорелому, а потом, изловчившись, сруби ему шальную голову. И вся недолга!

Отбиваясь от незначительных наскоков мятежников, отряд Кирилова почти без потерь приближался к Уфе. Время от времени с гиканьем и улюлюканьем мятежные туземцы яростно обрушивались с обоих флангов, и, нагнав страху и смешав ряды, тотчас дружно скакали прочь. Казалось, теперь-то уж они оставят солдат в покое, опасаясь близости города, ан нет, спустя некоторое время вновь налетали сбоку черной тучей. В промежутке между такими налетами Кирилов разделил свой отряд на три группы. Оставив две группы в засаде, он с незначительной частью вооруженных солдат продолжал отступление по большаку в сторону Уфы. Все было им предусмотрено и рассчитано точно. Действительно, вскоре бунтовщики показались вновь и, поняв, что солдат заметно поубавилось, многотысячной ордой яростно набросились на них. В это мгновение и выскочили из засады русские отряды. Застигнутые врасплох мятежники опешили. Лишь половине их войска удалось унести ноги. Остальные полегли на поле брани или попали в плен. Тут-то и выяснилось, что это были мятежники под предводительством Акая Кусюмова, стерегущие казанскую дорогу. Их вожаку благодаря отчаянному усилию удалось в последний момент вырваться из окружения. Тот, кто волчком крутился на белошеем игреневом скакуне в самой гуще уцелевших мятежников, оказался Акаем Кусюмовым. Ускакав на расстояние, недоступное пуле, предводитель мятежных башкир круто повернул игреневого скакуна и оглянулся. Дерзкий всадник привлек внимание Кирилова. Он вскинул подзорную трубу, вгляделся попристальнее. Всадник, прямо и горделиво восседавший на игреневом коне, был крепко сбит, коренаст, и телом, и головой будто квадратный. Казалось, огромная голова была прямо посажена на туловище, а широкое плоское лицо еле вмещалось в окуляры трубы. Большие глаза с белесью и красными прожилками глядели непримиримо, вызывающе. Видно, он

заметил, что за ним пристально наблюдают: стиснул крепко зубы, заиграл желваками. «Матерый волчище!»— подумал про себя Кирилов и подосадовал на то, что не видит мятежного атамана среди покорно трусивших перед русским отрядом пленных его соплеменников. «Ничего, дьявол плосколицый,— мстительно решил Кирилов.— Еще попадешься мне в руки!»

Позже надежда его сбылась: попался-таки ему в руки дерзкий предводитель мятежников. Но исполнить своей угрозы не удалось: безраздельная власть Кирилова оказалась нежданно-негаданно укороченной.

Разбив наполовину шеститысячное войско мятежников, отряд Кирилова под победную барабанную дробь вступил на кривые улочки окраины Уфы. Все горожане, и стар и млад, с нескрываемым любопытством встретили вооруженный отряд, точь-в-точь так же, как и провожали его в свое время. Глядели отовсюду — поверх деревянных крашеных заборов, из щелей основных ворот и из-за резных оконных наличников, из-за углов домов — с ликующей радостью, с простодушным любопытством, с откровенным ужасом и страхом. Смотрели в упор, не мигая, не отрываясь! И Кирилову было это приятно. Он почувствовал вдруг не испытанную им доселе радость и понял, почему так торжественно, так восторженно, под звуки триумфального марша, вступают в город полководцы, сокрушившие врага или взявшие неприступные, казалось, крепости. Нет, оказывается, ничего слаще победы! Кому не кружит она, как желанная слава, голову, кого не окрыляет?! Тот, кто однажды познал ее вкус, погружается в такой сладостный дурман, будто испробовал чудодейственное зелье, возбуждающее усталую плоть. О многом грезилось Кирилову за свою жизнь, но виктории на полях сражений ему и во сне не снились. И вот как вдруг распорядилась своенравная судьба. Некогда заурядный писарь Кирилов стал незаурядным ученым. Ученый Кирилов обернулся государственным мужем, в чьих руках оказались бразды правления беспредельно огромным краем. А теперь вот нежданно-негаданно правитель Кирилов стал еще смелым, находчивым и удачливым полководцем, военачальником. Каково? Первый же его шаг на новом поприще принес ему неслыханную удачу. Кровавой уздой взнуздал он строптивых туземцев. И отныне важно ни в чем и нигде не выказывать никаких послаблений. Важно не сбиться с верно избранного пути.

Да, душа Кирилова ликовала. Но недолгой оказалась

радость. Она была омрачена в тот же вечер, едва он успел расположиться в знакомом доме за сосновыми воротами, откуда выехал когда-то к берегам Ори.

Во время вечернего чаепития вошел Дьяков, чем-то явно смущенный.

— Ваше превосходительство...

— Что еще?

— К вам просится нарочный из Мензелинска.

— Нарочный?.. Из Мензелинска?

— Да... От генерала Румянцева.

— Румянцев?.. Какие же заботы пригнали его в эти края?!

Кирилов вскочил. Почему-то дрожь кинулась в руки и ноги.

— Иди... Скажи... Проси...

Вошел, щелкнув каблуками, подтянутый, долговязый, с лихо закрученными усами офицер.

— Ваше превосходительство...

Лихой усач важно, но с подчеркнутой вежливостью процедил несколько слов, смысл которых плохо доходил до Кирилова. Все еще дрожащей рукой принял он пакет, начал неловко ломать, крошить огромную сургучную печать, пробежал запрыгавшие в глазах строчки... Все сразу стало ясно. То был высочайший указ императрицы. Судя по всему, там, в столице, прознали про мятежных башкир и сильно всполошились. Решили в срочном порядке укрепить российское войско в этом краю, прислав на подмогу еще три тысячи волжских калмыков, тысячу донских казаков и две тысячи уральских казаков. Главнокомандующим этим войском был назначен генерал-лейтенант Румянцев. Высочайшим повелением императрицы Кирилову предписывалось поступить в подчинение Румянцеву, пока не будут окончательно усмирены взбунтовавшиеся башкиры, и временно приостановить деятельность Оренбургской экспедиции.

От растерянности и великого смущения Кирилов не знал, куда девать злополучный пакет в руках. О, лживое счастье! О, подлое время! Жди теперь, когда вновь посетит тебя удача, когда усмирят строптивых неуков-туземцев в продымленной, рваной овчине!

Все планы, все мечты Кирилова рухнули в одно мгновенье, как карточный домик. Подавленный, заметно осунувшийся и почерневший от досады и злобы, он в сентябре отправился в Мензелинск.

В пестрый шатер генерал-лейтенанта, разбившего свой походный бивуак на окраине города, статс-советник вошел мрачный и насупленный, будто не к начальнику своему, а к подчиненному.

Александр Иванович Румянцев не питал слабости к придворному этикету и чопорным церемониям предпочитал светские манеры. Вот и сейчас, приветливо улыбаясь, поднялся навстречу сумрачному гостю.

— А-а, степной Колумб, благополучно ли изволили доехать до нашего медвежьего угла?

Кирилов задыхался от гнева и обиды, однако перед высокородным вельможей изо всех сил сдерживался, выказывая почтительность.

— Вашими молитвами, ваше сиятельство!

Господин Татищев, управляющий казенными заводами на Урале, тоже оказался здесь. Поблескивая высоким облысевшим челом, милостиво и тонко улыбался.

Кирилов еще более насупился. Бог весть что творится вокруг, считай, весь мир перевернулся вверх тормашками, а эти достославные государственные мужи сибаритствуют в тепле и неге, ведут в приятном уединении душевные беседы, словно беззаботные юнцы, выхваляющиеся друг перед другом своими амурными похождениями.

Кирилов вскипел. Начал горячо и сбивчиво излагать свои тщательно продуманные и всесторонне взвешенные мысли, к которым он пришел после трагического и позорного события, случившегося возле степной балки Карасай.

Оба вельможи, глубоко утопая в мягких креслах, выслушали его с бесстрастным выражением на лицах.

— Значит, говорите, действовать надобно предпочтительно огнем и мечом?

И, убедившись в утвердительном ответе, Румянцев слегка покачнулся в кресле.

— И другого выхода, полагаете, не существует?

— В противном случае немыслимо провидеть, насколько затянется сие лихо.

— Пожалуй... пожалуй...

Генерал-лейтенант процедил эти слова и нахмурился, будто его не столько мятеж башкир расстроил, сколько быстрый и запальчивый ответ начальника Оренбургской экспедиции.

— Но отдаете ли вы себе отчет в том, какое воздействие возымеет на инородцев подобная кровавая расправа? Не усугубит ли она бунт?

Кирилов ответил тотчас, с готовностью:

— А как же?! Отнюдь не склонен преувеличивать сию опасность. Кайсаки и калмыки токмо возрадуются, если мы по справедливости накажем их извечных супротивников. Им, смею полагать, это только на руку.

Румянцев и Татищев при этих словах многозначительно переглянулись.

— Возможно, и так,— повел одним плечом генерал.— Калмыки, может, и позлорадствуют. Однако и их ныне раздирают межплеменные распри. И среди калмыков немало найдется таких, что предпочитают до поры до времени держаться подальше от российского подданства. А что касается киргиз-кайсаков, то они только-только привыкают жить под десницей русской державы. Из трех джузов пока только один вступил в наше подданство. И как поведут себя остальные две орды, и поднесь сказать трудно. Не мудрено их отпугнуть. Скажут: «Мы у русских ищем опору и защиту, а они расправляются со своими подданными, точно с холопами». Не так ли? К тому же по нынешним условиям отечеству нашему отнюдь не выгодно вести войну в двух направлениях: не стану от вас скрывать то обстоятельство, любезный Иван Кирилович, что, направляя меня сюда, ее величество императрица, удостоив меня аудиенцией, изволила заметить: «Настала пора покончить с затянувшимися многолетними изнурительными войнами с Южной Портой и находящимися под ее влиянием ногайцами и крымчанами. В таком положении предпочтительно не усугублять сложность наших отношений в степной Азии». Если мы, зная высочайшую волю венценосной владычицы нашей, подвергнем жестокой расправе мятежных башкир, боюсь, зело рискуем навлечь на себя гнев и ненависть всего мусульманского мира. А это, как вы разумеете, крайне невыгодно Российской державе.

Кирилов почтительно слушал, однако всем своим видом показал, что слова генерала не являются для него некоей сверхубедительной истиной, как они тому могли показаться. Поочередно поглядывая на обоих вельмож, он изрек с вызывающим упрямством:

— В отличие от вас, ваше сиятельство, я не искушен в делах ратных. Однако по моему ничтожному разумению разница между степняками и Турцией столь же велика, как между небом и землей. Турки обладают флотом, могучими укреплениями и бастионами. И власть свою

распростерли на половину Европы. Разбить же наголову и усмирить возмутителей туземцев, и понятия не имеющих о военном искусстве, полагаю, не столь уж сложное и трудное дело, как вы изволили себе представить в своем воображении. Чем скорее и решительнее укоротим мы дерзких мятежников, тем больше решпекту перед российским могуществом внушим мы кайсакам и калмыкам.

Все это время Татищев сидел как бы безучастный к разговору, лишь легкая усмешка застыла в уголке тонких губ его. Но при последних словах Кирилова он повернулся к нему, блеснув крутым челом.

— Решпекту-то они, Иван Кирилович, наверняка заимеют. Но как бы, усердно нагоняя на них страху, не отпугнуть вконец их от нас, а? Вы сами сейчас заметили, что у них нет регулярного обученного войска, флота, самостоятельной внешней политики. Именно по этой причине, разуверившись в наших благих намерениях, они без особого труда переметнутся завтра во враждебный нам стан. Да, их, конечно, раздирают распри и междоусобица, и все же, учтите, друг к другу они питают больше доверия и благосклонности, чем к нам. И враждовать между собой и помириться — для них проще. За башкирами простираются в неоглядную даль кайсаки. За кайсаками — джунгары. Впритык к джунгарам обитают китайцы. Если степняки-инородцы, раздираемые межплеменными распрями, еще вынуждены сегодня искать у нас покровительства и по своей воле вступают под сень Российской империи, то завтра, напуганные нашей расправой и жестокостью, могут вновь объединиться против нас. А этого допускать нельзя, ибо нанесет непоправимый урон нашим целям и интересам в Азии. На сие обстоятельство и обращена высочайшая воля нашей государыни.

Хмурые складки на переносице Кирилова не разгладились.

— Возможно... возможно... Однако в одном я совершенно твердо убежден: необходимо как можно скорее положить конец бесчинствам мятежников. Тем самым мы преподнесем наглядный урок и остальным туземцам, у коих гнев всегда возобладает над разумом, а страх — над спокойствием и выдержкой. Чем решительнее будут действия, тем скорее инородцы встанут перед нами на колени.

Размягченно-снисходительная улыбка вновь тронула тонкие губы Татищева.

— Но ведь, любезный Иван Кирилович, способов

для решительных действий имеется множество! По нашим наблюдениям, разрозненные пожары, вспыхивающие в башкирских степях, еще не слились в один общий неугасимый степной пал, не так ли? И пока этого не случилось, нам надлежит принять действенные административные меры. В противном случае наша карающая десница лишь поспособствует быстрому объединению враждующих между собой предводителей племен и их мощному и опасному противостоянию нам.

Румянцев злорадно хмыкнул и резко встал. Кирилов почувствовал себя оскорбленным и, не в силах скрыть своего стыда и раздражения, гневно уставился на выпуклый сверкающий лоб Татищева, на котором бог весть откуда взявшиеся лучи отражались точно в зеркале.

— В таком случае позвольте полюбопытствовать: к каким же действенным административным мерам вы намерены прибегнуть?

На этот раз вместо Татищева ответил Румянцев:

— О том нам и необходимо посоветоваться. Ваш приезд оказался куда как кстати. Я уже вознамерился было направить к вам вестового.

Управляющий казенными заводами на Урале продолжал тонко и загадочно улыбаться.

— Кто эти люди, коих вы сюда пригнали?

— Башкиры-бунтовщики.

— А можно на них взглянуть поближе?

— Воля ваша...

Трое досточтимых мужей тотчас направились к пленникам, сбившимся в кучку на краю походного лагеря под присмотром вооруженной охраны. Подошли вплотную, пристально вгляделись в лица мятежников. Башкирцы явно смешались, не понимая, что же от них понадобилось русским. Пришел в недоумение и Кирилов. Румянцев был невозмутим, ступал твердо и уверенно. На гладкой, до синевы выбритой щеке Татищева светилась и как бы зыбилась хитроватая, загадочная улыбка.

Отойдя потом в сторону, управляющий казенными заводами на Урале устремил сощуренный взгляд на Румянцева.

— Надобно присмотреть, чтобы никто не позарился на одежду и оружие пленников. Желательно обходиться с ними без грубостей и надругательств.

Румянцев, точно вздрогнув от этих слов, резко вскинул голову и обратился к Кирилову:

— Что вы на это скажете?

Кирилов от ярости и недоумения, казалось, лишился дара речи.

Румянцев повернулся к своему адъютанту:

— Передайте распоряжение начальнику лагеря!

Предательская дрожь кинулась в ноги Кирилова. Уж не измываются ли над ним эти высокородные господа?

Но не только это привело в замешательство и недоумение Кирилова. Спустя три дня Румянцев приказал вновь выстроить в ряд пленных мятежников, которых Кирилов пригнал сюда как рабов. Глядя на них, достойных сурового наказания, начальник Оренбургской экспедиции глазам своим не поверил. Не униженные и посрамленные пленники стояли перед ним, а высочайшие гости. Усы и бороды их блестели, будто смазанные жиром. Смуглые щеки лоснились. Чистенькие, ухоженные, довольные, словно все эти дни не в плену томились, а у тещи гостевали-пировали или на игрищах с девками забавлялись. И только в глазах их мерцали настороженные искорки. Чувствовалось: башкиры изумлены своей неожиданной участью. А то как же! В последние дни никто над ними не глумился. Даже голоса на них никто не повышал. И пальцем никто не тронул. И кормили до отвала. Что это означает? Может, таков обычай русских — обласкать, ублажать пленных перед казнью? А может, в этом заключается особая изощренность наказания? К этой мысли склонялся все более и Кирилов. Что-то ведь должно скрываться за таинственным прищуром Татищева! Кому доступно угадать, что на уме у лукавого вельможи, познавшего могущество злата и власти?! И Румянцев держался, как всегда, спокойно и непроницаемо. И только он, начальник Оренбургской экспедиции, ничего понять не мог и растерянно глазел попеременно то на недоумевающих в строю мятежников-башкир, то на недоступных его разумению высокородных вельмож, которые за эти три дня ни разу не удостоили его даже чести беседовать с ним. Досада и раздражение не оставляли Кирилова все это время. Если и сегодня спесивые вельможи выкинут что-нибудь такое, что не согласуется с его волей, он не смолчит. Нет, не смолчит! Видит бог, тотчас подаст государыне-императрице решительную промеморию. Так и доложит: «Во имя замирения башкир присланные Вашим величеством сановные вельможи заигрывают с отпетыми негодяями-мятежниками». И еще скажет: «Унижают честь и достоинство нашей великой империи». Прямо напишет:

«Своими нерешительными, соглашательскими действиями отодвигают на несколько лет возможность исследования и освоения огромного богатства запущенных, диких степей». Предупредит: «Если на сей раз не укротить решительно строптивых, как необъезженный неук, туземцев, то управление ими в дальнейшем обернется неслыханными трудностями». Да, да, ни перед чем и ни перед кем он не остановится! Тотчас сам отправится в Петербург. Немедля, в сей же день... Ради осуществления предначертанных самой судьбой его великих деяний он, Кирилов, не потерпит чьего-либо своеволия...

Румянцев обратился к начальнику лагеря:

— Верните пленникам их оружие!

«Что они замышляют? Это же предательство! От Татищева ожидать следует что угодно. Попав в немилость императрицы, находясь уже столько лет на отшибе державы, он вряд ли болеет душой за воплощение ее великих деяний. Скорее всего, уповает на ее посрамление... Но куда смотрит генерал? Он ведь один из самых приближенных к царскому двору! Сиятельный фаворит государыни! Императрица намеревалась назначить его даже министром. Говорят, сам отказался. И как же теперь изволите понять его поступок! О какой чести может идти речь, если он до такой степени попал под влияние коварного корыстолюбца Татищева? Или думает, что за тридевять земель от высочайшего трона ему позволено поступать, как ему заблагорассудится, и никто ему не указ, не помеха?! Ладно, поглядим, что же последует дальше...»

Несколько солдат, четко печатая шаг, мигом доставили оружие пленным и встали с фланга. На гладких смуглых физиономиях башкир застыло удивление. Кирилов еще более насупился. Под правой лопаткой вдруг закололо так, будто кто-то невзначай ткнул шилом. Ни с того, ни с сего стеснило грудь, сперло дыхание. «Господи, что же это?.. Истинное предательство... измена!..»

Взвился зычный голос Румянцева:

— Я прибыл в этот край по личной воле и заданию великой нашей императрицы. Государыня наша сильно гневается на дерзкие поступки и бесчинства своих подданных. Но милосердие ее не знает границ. Благородный и справедливый монарший гнев ее распространяется не на весь башкирский смиренный народ, а лишь на горстку окаянных башибузуков, сеющих смуту. Ее величество соизволила через меня, ее верного слугу, еще раз милостиво

обратиться к доблестным поверенным народа. Коли ее верноподданные башкиры раз и навсегда отрекутся от зачинщиков смут и враждолюбия, она готова предать забвению случившееся и простить черную неблагодарность. Никто не будет наказан. Но для этого всем предводителям племен необходимо предстать пред личным представителем державного трона и поклясться на священном Коране отныне и во веки веков не участвовать ни в каких богопротивных смутах и мятежах против российского могущества и быть верным ему, как и подобает истинным подданным. Только в таком случае осенит вас добродетель и милость высочайшая императрицы. И хотя ваше преступление заслуживает самой суровой кары, я именем нашей всемилостивой государыни решил всех вас простить. Однако вы должны дать слово чести, что, обретя свободу и вернувшись в родные места, передадите своим племенам и всем их поверенным добрую волю великой императрицы.

Толпа пленников заколыхалась, загудела:

— Непременно передадим...

— Скажем! Клянемся!

— Уговорим старейшин родов быть верными клятве!

Солнечный луч, блеснувший из-за черной тучи, весело заиграл на широком гладком лбу Татищева.

Румянцев все еще пристально оглядывал строй башкирских пленников.

Кирилов задыхался, сердце его подкатилось к горлу.

— Вернуть пленникам оружие!

Башкиры, точно подкошенные, припали к земле, прижались к ней лбами, поцеловали ее в знак благодарности и раскаяния. Воцарилась тишина. Никто не проронил ни слова. Только у Кирилова зазвенело в ушах.

Румянцев и Татищев, не изменяя своей обычной невозмутимости, молча переглянулись.

После этого случая Кирилов слег на две недели в постель. Непостижимая слабость вдруг обрушилась на него, одолевала неведомая доселе неприятная потливость, и он целыми днями кутался в просторную медвежью шубу. Но в это время он не думал, не гадал, что именно тогда начала его подтачивать неизлечимая хворь, которая потом и доконала его. В те дни мысли его были заняты только одним: что же еще замышляют за его спиной эти чванливые вельможи? Ни одна живая душа из огромного пестрого шатра главнокомандующего не наведывала его. Грязное, замызганное, как шинель неопрятного солдата, ноябрьское

небо плотно окутало всю окрестность и сузило пространство. И на душе было тягостно, беспросветно. Отпущенные на волю башкирские мятежники как в воду канули. Конечно, ищи теперь ветра в поле. Разбежались, небось, по степи, как необъезженные кони. Попробуй поймай их, взнуздай. Злорадно хохочут теперь над высокородными русскими вельможами, которых так ловко обвели вокруг пальца. И как же не смеяться над наивными простаками, доверившимися слову чести коварных туземцев, у коих и понятия-то о чести искони не существует?!

Отпетых лихоимцев и смутьянов, чинивших разбой, решили ублажать лаской и благородством, словно любимых, избалованных чад своих, доверчиво полагая, что они ответят добром на добро. Как же... как же! Дождешься добра и благородства от разбойника, вскормленного коварством и вспоенного ложью! Посмотрю-ка я на прыть надменных вельмож, когда завтра ни один из отпущенных смутьянов и носа не покажет. Погляжу-ка я тогда, как вытянутся их сановные физиономии. И поделом!..

Казалось, тайная мольба Кирилова дошла до всевышнего. Прошло двое суток — ни слуху, ни духу. Прошли еще сутки — ни слуху, ни духу. Прошла неделя — все та же тишь. Прошла вторая неделя — ниоткуда никаких вестей. В потухших было очах Кирилова вновь вспыхнули живые искорки. На желтых щеках вновь проступил слабый румянец. Былая бодрость возвращалась к нему. Накинув на плечи медвежью шубу и распорядившись подать самовар, он теперь подолгу гонял чаи, предаваясь привычным и приятным размышлениям. Подолгу расспрашивал о том, о сем многочисленных клевретов и слуг. И они, стараясь угодить своему патрону, сообщали любезные его сердцу вести. Пока что не видать ни одного предводителя башкирских племен, который откликнулся бы на зов русских вельмож. Да и сами высокочтимые вельможи не уединяются, как прежде, в роскошном шатре и не ведут, устроившись на пышных коврах и подушках, милые задушевные беседы, а все совещаются с офицерами, и, не разгибая спины, облокотившись на широченный стол, с линейкой и карандашом в руках не отрываются от топографической карты. Кирилов, довольный, усмехался. «То-то же, милостивые господа! Туземца так просто, не вытащив из ножен сабли, не возьмешь. Ласковыми словами его не проймешь, не охмуришь. На милость за понюшку табаку он тебе не сдастся. И правильно делает! И самое разумное,

пользуясь его строптивостью, проучить как следует, заставить умыться собственной кровью, подчинить навсегда своей воле, дабы и другим инородцам неповадно было. Заигрыванием с ним ничего не добьешься. Завтра тебя же и облапошит. Конечно, свирепого пса, стерегущего сундук с золотом, можно приучить к себе и даже приручить ласковым обхождением да разными подачками и посулами. Но может ведь получиться и так, что однажды вконец обожравшийся пес возьмет да и цапнет тебя за ту самую руку, которой ты подаешь ему сахарную кость. И поэтому самое верное: под предлогом того, что он скалит зубы и рычит на тебя, щелкнуть его крепко по пасти, пришлепнуть на месте, чтобы околел тут же, да содрать с него шкуру, да выкинуть падаль подальше в овраг. И вся недолга! Потом спокойно ройся в сундуке с золотом, никто тебя за руки не схватит...»

Кирилов, испытывая явное удовольствие от легкого и согласного течения мысли, с наслаждением потягивал крутой чай. Да, да... Что греха таить, умеют наши высокопоставленные правители наводить тень на плетень и усложнять совершенно очевидное, простое дело. А все оттого, что не способны мыслить ясно и образно. Ну, положим, опытный, знающий свое дело лесоруб не откажется же от своего намерения и не уйдет восвояси лишь на том основании, что на величественной лиственнице свили гнездо вороны, по ветвям ее резвятся белки, а внизу раскинулся огромный муравейник. Да ни за что! Он ведь и пришел-то в лес, чтобы срубить лиственницу, и он ее непременно срубит. Мыслимо ли себе представить, чтобы кто-то отговаривал его, дескать, не смей тронуть красавицу лиственницу, пожалей зверюшек и птах, резвящихся в ее листве, подожди, пока она состарится, усохнет и сама рухнет, тогда-то, мол, и снесешь ее к себе домой... Да если и нашелся бы такой чудак, вряд ли лесоруб внял бы его словам. Да и не скажет никогда такого трезвый человек, не отвадит от корысти, от легкой добычи, что сама просится в руки. На такое пойдет лишь тайный недоброжелатель или завистник...

Такой же редчайшей, драгоценной находкой, богатым кушем для России является этот необъятный край, населенный дикими номадами. И быть его первооткрывателем судьба удостоила не кого-нибудь, а именно его, Кирилова! И тут откуда ни возьмись появляются эти вельможи, более родовитые, облеченные более высокими чинами и

властью, хватаются за его топорище и говорят: «Не смей! Не руби!» И попробуй ослушайся их! Они вырвут из рук твоих топор, да еще и свяжут по рукам. И еще не смей им перечить! Но разве не обидно, не возмутительно ли это? Позвольте, как же ему теперь быть? Ждать, пока сгниет на корню величественная лиственница, которую он же и нашел в лесу, ждать, пока она затрухлявеет и сама упадет к его ногам?! Сколько же прикажете ждать?! Пожалуй, жизни не хватит. Ведь Мафусаилов век, надо полагать, ему не уготован. И разве потом просияет хоть одна живая душа, добрым словом вспомянув того, кто нашел однажды в лесу эту дивную лиственницу? Вот что значит напрасный труд, тщетные усилия, канувшие в Лету. Не то что человек, наделенный честолюбием, но и собака очень неохотно расстается со своей добычей. Случается, как вцепится в нее клыками, так никакой силой не оторвешь. Так и он! Ни за что добровольно своей доли не упустит. Не позволит, чтобы его лишили желанной фортуны. И если суждено ему только предстать пред светлыми очами благодетельной императрицы, он сумеет ей все объяснить и убедить ее в своей правоте. Лишь бы эти строптивцы башкиры не смирились преждевременно. Лишь бы они не попались в силки, хитроумно расставленные этими самовластными вельможами. Тогда у него, Кирилова, будет достаточно оснований и причин для того, чтобы решительно и бесповоротно пристегнуть этот обширный край к державному трону России. Он вышибет мятежный дух из строптивых инородцев. Накинет узду на привыкших к воле неуков. Захлестнет петлю на их шее. Кому невмоготу — пусть пеняет на себя. А укрощенных, покладистых он понемногу приручит, сделает послушными и терпеливыми. Начнет просвещать, обучать ремеслам, привлекать понемногу к общему делу во имя российского могущества и славы, вытравит из их сознания само представление о своей особенности, о всяких там племенных или родовых своеобразиях и самобытности. И таким образом наступит время, когда инородцы и вовсе забудут, кто они такие были и есть, и станут только помышлять о благоденствии великой империи. Для тех, кто склонен проявлять особую покладистость, он неспроста приберег в своем обозе целую арбу пригодных для начального просвещения книг. Конечно, приучить к цивилизации разноплеменный степной сброд — дело отнюдь не из легких. Что ни говори, а дикарь есть дикарь! Он долго будет строптивиться, сопротивляться,

рвать удила и стремиться на свою дикую волю. Поневоле придется укрощать его крутыми действиями, прибегнуть к суровым мерам. Лишь под градом ошеломительных ударов дикарь в состоянии осознать самого себя.

Таков ход всякого естественного развития. Немало жестоких испытаний и лишений, должно быть, претерпел матерый лесной волк, пока, пронзенный страхом и ужасом перед человеком, научился трусливо поджимать хвост, затравленно озираться по сторонам и стать его же, двуногого владыки, послушным сторожевым псом. А сколько таких клыкастых, матерых волков среди туземцев! И пока они еще рыщут по вольной степи, немыслимо говорить о ее покорении, преждевременно считать этот край вотчиной России. Как этого не понимают иные самовластные вельможи? Понимают, конечно... все отменно разумеют, однако поступают наперекор здравому смыслу, ибо и в этом деле прежде всего блюдут свою корысть. Для хитрого и коварного лихоимца Татищева, привыкшего вдали от всевидящего царского ока творить самоволие и бесчинство, безнаказанно обирать невежественных и простодушных инородцев и тем самым сколотившего себе огромное состояние, разумеется, никак не выгодно, чтобы раз и навсегда воцарились мир и благодать в степи, он предпочитает еще долго ловить рыбку в мутной воде. В таком случае на беспредельных азиатских просторах оказывается еще больше недовольных и обиженных, уповающих на справедливость белых царей в далекой столице. Но кому из инородцев суждено добираться до царей?! Вот и припадают все недовольные, все униженные и обиженные к его же, Татищева, стопам, надеясь на его заступничество и справедливость. Но ведь искони так повелось во всем мире, что на любого судью неотразимо воздействуют не столько доводы и истина, сколько объем и толщина кошелька истца. По части мздоимства Татищев давно прославился на всю Россию. Тут уж он непревзойден. Даже державный гнев Петра Великого не в состоянии оказался укоротить его загребущие руки. Перед его алчностью и ненасытностью спасовал и другой его достойный соперник по взяточничеству — Никита Демидов. И уж коли перед самим крутонравным императором не дрогнул лихоимец Татищев, то нетрудно себе представить, с какой ловкостью и легкостью он окрутил неискушенного в подобных делах генерал-лейтенанта Румянцева. Бедная Россия! Половина ее богатства растащена сонмом лихоимцев и мздолюбцев, а половина

мудрости и ума растоптана невеждами и подлецами. И так было — о боже милостивый!— всегда.

Если завтра он, Кирилов, начнет настаивать на своем и перечить воле этих двух вельмож, они уж наверняка постараются оклеветать и очернить его в глазах государыни-императрицы. Это как пить дать! Пока непомерная власть и повод правления остаются в руках беспросветных, дремучих невежд и беспардонных, не в меру бойких корыстолюбцев, выдающих свою расторопность и угодничество за честность и верность, а свои шкурнические интересы — за истину, никому не дано искоренить клевету и взяточничество. Вот убедительный пример: слывущий одним из умнейших русских генералов Румянцев с поразительной легкостью попал за какую-нибудь неделю в коварные тенета, ловко расставленные пройдошливым Татищевым...

От одних этих дум Кирилова охватывала каждый раз глухая ярость. И недавние легкость и бодрость в теле тотчас улетучивались, и крутой, душистый чай уже не доставлял наслаждения, и пот, как бы смягчавший душу, уже не струился так обильно. Вновь начинало его знобить, стынь как бы сковывала изнутри, в ушах звенело, и свербило темя.

И в этот день Кирилов с утра не находил себе места. Кто-то, громко стуча каблуками, переступил через порог и замер, как вкопанный, у двери. Оказался вестовой от Румянцева. Сердце Кирилова отчего-то екнуло. Он едва сообразил, что его срочно вызывают. Но как понять, как расценить неожиданное приглашение вельможи, который за все эти дни, казалось, напрочь забыл о его существовании...

Кирилов нехотя поднялся. Погода на дворе странным образом переменилась. Почти весь ноябрь был слякотным, сырым и пасмурным, а сегодня ласково сияло солнце, и все вокруг развиднелось. И мрачный обычно бор неподалеку, окутанный прозрачной синевой, приятно притягивал взор. Возле шатра командующего было многолюдно. Кирилов шел не торопясь. Странное предчувствие тяготило его. С какой стати он вдруг понадобился сегодня? Что могло случиться? Что опять задумали сановные вельможи? Или поступило новое и срочное распоряжение от императрицы?

Сердце учащенно забилось. Кирилов незаметно для себя прибавил шагу.

Когда он вошел в шатер, от неожиданности едва не лишился дара речи. В глазах его зарябило от множества рыжих лисьих малахаев, занимавших весь угол просторного и светлого шатра. Казалось, здесь собрались все высокосословные башкиры со всей степи. Восседали они важно, степенно, будто собрались на пир. И разодеты были в пух и прах: все, как на подбор, в волчьих шубах, перехваченных широченными кожаными поясами, отделанными серебряными пластинами. Лица спокойны и непроницаемы, осанка горделива, взгляд величественный, исполненный достоинства и гордости. Случалось, такой торжественно-нарядный облик обретал просторный кабинет Кирилова на квартире в Уфе. Теперь толпа высокородных и спесивых башкир как бы удостоила присутствием роскошный генеральский шатер. С чего бы это?

Румянцев, как всегда спокойный и сосредоточенный, сидел посередине. Как и прежде, безмятежно поблескивал огромный лоб и лоснился тщательно выбритый подбородок Татищева. Вежливо осведомляясь о здоровье вошедшего Кирилова, оба испытующе, с ног до головы оглядели его. Уж не усмехались ли оба про себя: «Ну как, милейший? Что теперь скажешь?» В самом деле, как изволите понять этих спесивцев в лисьих шапках? Сколько времени ни сном, ни духом не ведали о них, и вдруг — на тебе!— пожаловали всей гурьбой! Вот дурачье! Остолопы, прости господи! Попробуй пойми их. Угадай, что у них на уме. Самим невдомек, что делают... А уж эти двое вельмож наверняка ликуют в душе. Ох, ликуют, злорадствуют, гордясь мирной своей викторией! Так и прет из них: «Поделом тебе, милейший!»

Румянцев обвел взглядом молчаливый ряд лисьих малахаев.

— Надеюсь, все вы знаете начальника Оренбургской экспедиции господина статс-советника Ивана Кириловича Кирилова?

— Как же! Очень даже знаем!

В голосе слышались дерзость и насмешка. Понурый Кирилов точно вздрогнул и быстро поднял голову. Взгляд его выхватил носатого, чернолицего, крепко сбитого башкира, заметно выделявшегося среди всех. Глаза его, с белесью, глядели дерзко. Скулы на широком, тяжелом лице резко выпирали. Непомерно крупная голова точно вросла в плечи. Всем своим обликом и статью он больше походил на обветренных, загорелых кайсаков, нежели на башкира.

Кирилов узнал его сразу — Акай Кусюмов. Тот самый дерзкий башкир на игреневом коне, выскользнувший тогда из окружения в сече при городе Табынске. Воспаленные, с красными прожилками глаза на широком лице как бы подчеркивали неукротимость прирожденного бунтовщика. На вошедшего в шатер Кирилова он сразу уставился в упор и глядел испепеляюще, свысока. Буйнонравный, невежественный мятежник, он, конечно, не в состоянии понять, что сидит перед поверенным лицом самой государыни императрицы, облеченным огромной властью и многими полномочиями. Что ж... на то и дикарь. Какой с него спрос? Он готов покорно трусить лишь перед тем, у кого хлыщ подлинней да окрик позычнее, а как почувствовал послабление, то вновь встает на дыбки да яростно бьет копытами. Да и как же иначе, если один русский правитель, сполна познавший бездонное коварство инородцев, берет наглых смутьянов в полон, а другой начинает с ними якшаться и отпускает на волю? Тут, понятно, проку не жди. И никакого решпекту и почитания перед властью. Ишь, как расселся! Будто не перед главнокомандующим сидит, а в гостевой юрте свата там, в степи. Можно почти безошибочно предположить, что именно он уговорил своих соплеменников прийти сюда. Значит, теперь он и вовсе обнаглеет. Мало, что ему простили все прегрешения, отныне он еще потребует мзду за услуги свои. И самое любопытное: те, кто ловко умеют раздувать свои ничтожные услуги, обычно в проигрыше не остаются и сполна добиваются вознаграждения. Надо иметь только наглость настаивать на своем. И такие ловкачи-пройдохи всегда в цене, всегда на гребне. А те, что, как он, Кирилов, днем и ночью бескорыстно пекутся о славе и могуществе Отечества, терпят неслыханные лишения и мытарства ради Отчизны, всегда остаются в тени, незамеченными, необласканными царским вниманием и милостью. Так уж повелось исстари. Прилежание, трудолюбие, честность — как добродетели, кои никого никогда не поражали. Они слишком обычны, заурядны, как привычен извечный ход солнца, как заурядны в глазах смертных восход и закат. Удивить людей можно только чем-то необычным, из ряда вон выходящим, как, скажем, затмением луны или солнца. Все остальное как бы примелькалось, приелось и недостойно внимания. Другая примета времени: быть себе на уме, не упускать своей доли, уметь ради своей ничтожной корысти всюду и везде пускать пыль в глаза, ловко раздувать свою мнимую значимость. О, по

этой части эти голоштанные инородцы, кажется, большие мастаки. Так и норовят околпачить, обмишулить, обвести вокруг пальца. Смотрят на тебя преданно, смеются угодливо, а отвернувшись, тут же стараются сотворить хоть какую-нибудь пакость. Вот и этот матерый смутьян, Акай Кусюмов, неспроста напустил на себя этакий бравый, заносчивый вид. Все он, ловкач, точно рассчитал. Завтра он всеми правдами и неправдами добьется аудиенции у государыни, убедит ее в том, что, дескать, только благодаря его верноподданным порывам удалось русской администрации сладить с мятежными башкирами, и, уверовав в это, императрица, конечно же, обласкает его и осыплет с ног до головы своими милостями и дарами. Да, да, так оно и будет. Отъявленные мошенники — эти хитрозадые инородцы! Лжецы и клятвопреступники, они к тому же еще и искренне убеждены в том, что без их воли и услужливости оружие ее величества бессильно установить свои порядки в степи. Какое заблуждение! Им и невдомек, что — будь на то его воля — доблестному войску великой империи ничего не стоит истолочь их в прах, точно пожухлую степную траву. С кем же поточнее и понагляднее сравнить их трусливые и подлые повадки? Да, вот-вот... кажется, нашел... Бывают такие шелудивые, вечно голодные дворняги, которые, завидев путника, срываются с места, гавкают грозно, словно нагоняя страху, но, испугавшись гневного окрика или жгучей плетки, тотчас убираются восвояси, поджав хвост промеж ног. А потом, когда путник, поставив лошадь на привязь, направляется к юрте, эти дворняги заискивающе виляют хвостами, путаются у ног, преданно заглядывают в глаза, вымаливая снисхождение или подачку, но в то же время, блюдя свое мнимое собачье достоинство, как бы норовят внушить путнику, что, мол, без их, дворняг, доброй воли и участия вряд ли он посмел приблизиться к юрте досточтимого хозяина...

Нечто подобное сквозит в поступках презренных, самодовольных предводителей инородческих племен. Как невозможно шелудивым дворнягам, пробавляющимся требушиной задранной волками скотины, доверять охрану дома и отары, так и эти спесивые степные воротилы не о благе своего народа пекутся, а прежде всего о том, как бы нажиться на его беде, отхватить от удальца куш побольше да пожирнее. Ничтожные дворняги, трусливо поджимающие сегодня хвосты перед одним путником,

точно так же начнут завтра юлить и перед другим. Те, что сегодня угодливо цепляются за подол всесильного и целуют ему сапоги, завтра точно так же припадут в рабском усердии и к стопам другого. И как только столь простую и очевидную истину не понимают эти сановные слепцы, принимающие заурядную хитрость вероломных туземцев за стремление к миру,— уму непостижимо.

В самом деле: разве мыслимо доверять тем, кто еще вчера подстерегал тебя с оружием в кустах, а сегодня ухмыляется в твоем же доме, как ни в чем не бывало? Неужто так уж важно, чтобы шелудивый пес с обломанными клыками лизал тебе пятки? Да ты его огрей плеткой по темени, и пусть он, скуля и визжа, убирается восвояси...

Кирилов все так же понуро прошел в глубь шатра и опустился на свободное место. Румянцев, все это время негромко разговаривавший с сидевшими рядом, набрал вдруг полную грудь воздуха, приосанился и горделиво повернулся к статс-советнику.

— Перед нами лишь часть предводителей башкирских племен. Остальные, полагаем, прибудут не сегодня завтра. Эти люди — наши желанные гости. Когда окажутся в сборе все старейшины родов, мы намерены начать переговоры, обсудить, каким же образом целесообразней управлять этим краем.

Серое опухшее лицо Кирилова осталось непроницаемым. Сумрачный, недовольный, он нахохлился и упрямо молчал. Чуткий зоркоглазый генерал сразу оценил состояние привередливого ученого и поспешно от него отвернулся.

И, действительно, за последующие два дня съехалось сто двадцать башкирских биев — предводителей и старейшин родов. Не прибыл лишь один Калмак Абыз, возглавлявший мятежников на Ногайской дороге. Прождали еще два дня, надеясь на какую-нибудь весть от него, но тщетно. От Калмака Абыза не было ни слуху, ни духу.

Видно, у Румянцева иссякло терпение. По тому, как сопровождал его поджарый, порывистый в движениях, как ястребок, и бойкий на язык полковник татарин Еделев, генерал что-то замышлял. На почтительном расстоянии от военного лагеря раскинулся еще один просторный нарядно-пестрый шатер. Вокруг него рядком темнели бокастые казаны, под которыми горел огонь. У шатра появился некто в огромной белой чалме и затянул-заладил гортанным зычным голосом муэдзина: «Ия-я... ал-ла-ах!..», и башкирские бии, томившиеся столько дней от безделья,

тотчас выбрались из юрт и шатров и степенно направились на голос, взывавший к всевышнему.

Ступали бии твердо, важно, с достоинством, словно под их благородной тяжестью прогибалась земля. Кирилова, с нескрываемым презрением глядевшего на это шествие, колотило от раздражения и ярости. И поныне все живо перед его глазами... Но теперь, по прошествии времени, вспоминая о том, он испытывает злую, мстительную радость. Как часто за внешней кичливостью прячут бессилие и ничтожество...

Сто двадцать биев, повернув лица в сторону заката, сначала сотворили намаз. Потом, как истые мусульмане, все дружно скинули кожаные кавуши у порога шатра и расположились на почетном месте. Устроившись по сану-возрасту, известному им одним, важно покряхтели, откашлялись, затянули на все лады: «Ия, аллах...» и благоговейно погладили при этом, как водится, бороды. Узкие хитрые глазки на мясистых холеных лицах и вовсе исчезли, упрятались в щелках. Напустили на себя бии привычный непроницаемый вид и застыли в глубоком молчании. Выжидали. Приглядывались. Говорили будто: «Что ж... Ты позвал — мы пришли. А что дальше скажешь — твоя воля». Казалось, только тем и озабочены были, чтобы соблюсти честь и достоинство. Никто не позволил себе выказывать даже простого любопытства. Боже милостивый, какая спесь, какое чванство! Словно сама судьба вселенной всецело зависела от этих лисьих малахаев.

Однако в тот день не только эти раскормленные степные дрофы, не замечающие ничего дальше своего носа, но даже он, Кирилов, видящий все насквозь, не в состоянии оказался предугадать, что же такое замышлял генерал Румянцев. Глухая досада душила Кирилова: «И как только не надоест им столько времени возиться с этими спесивыми, самодовольными невеждами?»

Румянцев, выдержав долгую, томительную паузу, прокашлялся. К нему тотчас угодливо подскочил полковник Еделев.

— Почтенные гости! Цвет башкирского народа! Я ничуть не сомневаюсь в вашем добросердечии и верноподданности императрице. И если иные предводители родов не успели сегодня присоединиться к вам, думаю, они все же не осмелятся переступить через ваше решение. Не так ли, уважаемые?

— Так!

— Воистину верно!

Масляно поблескивающие бороды сразу оживились. По рядам прокатился одобрительный шумок. Щелки глаз чуть раздвинулись, и оттуда сверкнули черные искорки, точно яркий уголек под грудой пепла. Сонные лица осветились любопытством.

— В таком случае в подтверждение истинности ваших чистых намерений и воли я прошу вас дать клятву, призвав в свидетели всевышнего и приложившись челом к священному Корану.

Кто-то деловито вышел в середину круга. Конец умело накрученной на голову чалмы свисал на правую грудь. Кирилов узнал его по жгучим черным глазам. Да, это был тот самый чернобородый мулла, вертевшийся неизменно возле полковника Еделева. Правда, видеть его в чалме до этого не приходилось.

Ахун держал в руках обтянутый зеленым сафьяном толстый Коран. Еделев раскрыл грамоту в такой же зеленой сафьяновой обложке и начал читать распевным гортанным голосом, подражая давешнему муэдзину. Дочитал до конца, перевел дыхание, спросил что-то. Видно, удостоверился, все ли все поняли.

Гости ответили вразнобой:

— Понятно!

— Воистину так!

На некоторое время опять воцарилась выжидательная тишина. Потом вдруг грузно заворочался и поднялся Акай Кусюмов. Важно направился к ахуну и, дойдя до протянутого ему Корана, опустился на колено и пророкотал:

— Прикладываясь лбом к священной книге, клянусь перед всевышним создателем в верности нашей солнцеликой царице!

Он прикоснулся лбом к Корану в зеленом сафьяне, потом прижал его и вернул ахуну. После этого подошел к Еделеву, достал из кошелька на широком кожаном поясе печать, оправленную в серебряную ручку, и крепко пришлепнул ее к тому месту грамоты, куда ткнул пальцем полковник. Потом так же неторопливо вложил печать в поясной кошелек и с чувством исполненного долга вернулся на место.

Вслед за ним строго поочередно то же самое проделали все остальные бии. И опять расселись с невозмутимым видом. Лишь изредка незаметно косились друг на друга, как бы выпытывая: «Что же дальше?.. Клятвой нашей заручились, царскую бумагу нашими подписями закрепили,

теперь, небось, скажут, пора, дескать, милые гости, и честь знать...» Казалось, всем уже изрядно надоела затянувшаяся церемония.

В это время в шатер вошли юркие подавальщики, держа на вытянутых руках огромные деревянные подносы с дымящимся жирным мясом. Старейшины родов дружно набросились на него, словно очень уж торопились в обратный путь. Когда с мясом было покончено и бии в знак окончания трапезы вытерли жирные руки, ахун вновь приосанился, привстав на колени, и негромко загнусавил молитву. Все в благоговейной тишине внимали певучей арабской речи. Наконец ахун перешел на более отрывистый, стремительный речитатив. Бии покорно повторили за ним несколько заключительных фраз и молитвенно сложили перед лицами ладони. Татищев и Румянцев быстро переглянулись. Не утерпел, нервно заерзал и Кирилов, недоумевая, к чему все это.

Как только бии, словно по команде, огладили кончиками пальцев черные, рыжие, бурые, сивые бороды, заканчивая благодарственную молитву, Румянцев опять прокашлялся:

— Почтенные гости! Уважаемые владетели! О том, что вы присягнули в верности русской державе, будет доложено самодержице всероссийской императрице. Ваши нукеры сегодня же отправятся в аулы, в степь и всюду объявят о решении досточтимых правителей народа. И покуда в степи не воцарятся полный порядок и спокойствие, вы останетесь у нас желанными гостями. Вы пребудете у нас в добром здравии и во всяком удовольствии. Я ничуть не сомневаюсь в здравомыслии ваших соплеменников, которые, конечно же, не уронят чести и достоинства своих столь высокопочитаемых предводителей.

Все опешили. Даже дыхание затаили. Как это понять? В шутку или всерьез? У Кирилова глаза полезли на лоб. Уж не ослышался ли? Он недоумевающе уставился на Румянцева. Тот молча и спокойно обвел взглядом онемевших от неожиданности гостей. В уголке тонких губ Татищева, как всегда, мерцала слабая таинственная ухмылка.

И тут только Кирилов уразумел, до чего ловко и славно одурачили, околпачили самонадеянных биев, которых все эти дни распирала глупая спесь. Вот болваны... сами не заметили, как из предводителей мятежников вдруг разом превратились в заурядных ясырей-заложников. Теперь сидят вот, разинув от удивления рты. То-то же! И поделом вам, безмозглым степным горлопанам!..

Никогда еще Кирилов не чувствовал такой злой радости. Сердце забилось так громко, так учащенно, что обрывалось дыхание и закружилась голова. Он резко поднялся с места и направился к выходу.

И к себе вернувшись, долго не мог успокоиться. Кто додумался до такого решения? Румянцев? Или Татищев? Кто бы ни был... все равно. Решение поразительное, дерзкое, перед коим бледнеет даже так называемое азиатское коварство.

В ту ночь впервые за долгое время Кирилов спал спокойно. И даже кашель его не душил.

Вскоре со всех сторон стали поступать утешительные вести. Лишившись главарей, многие мятежные роды вмиг успокоились, и в аулах воцарилась тишина.

«Знал же я... с самого начала знал, что причиной всех бед — родовые владетели и старейшины. Они всюду мутят воду. И, льстиво улыбаясь, исподтишка творят подлость. Остальной же сброд в рваной овчине только и годен на то, чтобы плестись за табунами и до одури дуть прокисший кумыс. Достаточно покрепче зажать зачинщиков в кулак, как остальные, ища защиты, сами припадут к твоим стопам. Значит, надо найти способ обособить этих смутьянов и продажных льстецов от слепой, глухой толпы. Тогда управлять ими будет легче легкого. Но каким образом осуществить это?!»

Кирилов опять порылся в своих бумагах. Когда-то, еще в Уфе, готовясь к походу к устью реки Орь, собирая провиант и подводу для транспортировки необходимых грузов, он с Гейнцельманом составил перечень башкирских родов и сословий. И теперь еще раз посчитал, сколько же тарханов имеется на каждой дороге — Ногайской, Казанской, Табынской и Осинской. Звание тархана не дает покоя башкирским предводителям и усугубляет их спесь. Значит, целесообразно отменить само это звание. Лишь в таком случае все эти многочисленные спесивцы, которые в своем непомерном чванстве едва вмещаются в седла, сразу же сникнут, и вся их былая гордость тотчас улетучится, как легкий степной туман на рассвете. Если обложить равно всех башкир, невзирая на состояние и сословия, ощутимым кибиточным сбором в пользу царской казны, то их воротилы и богатые владетели немедленно растеряют былую славу и влияние. И тогда все эти вольные голодранцы, весь этот черный сброд, теряющий здравый рассудок, мигом отшатнутся от них, отвернутся, ибо кому он нужен, владе-

тель, лишившийся могущества и славы. Вот и потеряет сразу степь единоначалие и организованность. Каждый туземец окажется тогда сам по себе, без возможности противостоять силе и воле, навязываемой извне.

До чего все разумно и просто! Кирилов, разволновавшись, радостно потер ладони. Тяжесть, столько времени давившая на плечи, тотчас свалилась. Он вызвал неразлучного Петра Дьякова, приказал ему достать из дорожного сундука схему расположения стойбищ башкирских владетелей, разложил ее перед собой и склонился над ней, точно ястреб над добычей.

Как хорошо, что верный своей стародавней привычке и страсти все на свете заносить на карту, он еще в Уфе, в канун выступления к устью реки Орь, не жалея времени, с обычным тщанием изготовил эту карту! В ней указаны были все башкирские роды и места их обитания. Из каких колен и подродов состоит тот или иной состоятельный или захудалый род, в каких связях и отношениях между собой они находятся, по каким местам кочуют — все-все учтено на той карте. На одно обстоятельство Кирилов сразу обратил внимание: башкирские роды предпочитали жить компактно, обособленно, не смешиваясь с иными племенами. Лишь кое-где встречались среди них в незначительном количестве мещеряки, тептери и бобулы, арендовавшие у башкир покосы, посевы и леса для рубки. Выходит, непросто будет нарушить столь цельную общность. Значит, нужно действовать тонко и дальновидно, расшатать это единство, сложившееся поколениями, незаметно, исподтишка. В нынешнее смутное время, когда почти все мужское население оседлало походных коней, совершенно немыслимо спровоцировать межродовые стычки. Отменить тарханское звание — это лишь начало разрушения родовой общности. Оно неминуемо приведет к междоусобицам внутри племен. За ними вспыхнут распри внутри родов. Внутриродовые интриги подорвут родственные отношения. Вот так, постепенно раздробив племена и роды, можно привести инородцев к полному разъединению и разладу. Получается, что предпочтительнее иметь в каждом роду не одного бия, а по признаку единородной ветви — несколько владетельных биев, что, конечно же, приведет к мелким стычкам, соперничеству и недовольству между ними. Дрязги эти, точно ржа, подточат былую цельность и общность рода-племени. При этом лучше, пожалуй, выбирать биев не на бессрочное время, а лишь на определенный

срок. Это также обострит борьбу между честолюбивыми правителями. Биев следует выбирать не по признаку родовитости или состоятельности, как это было прежде, а исключительно по личным качествам и способностям. И тогда у многих проснется жажда власти, и все, у кого уязвлено самолюбие, начнут между собою биться насмерть. И когда уже дрогнет племенное единство, когда оно, племя, раздробится на роды, а роды — на подроды и мелкие единокровные группки, нетрудно будет внедриться и укорениться среди них любым пришельцам. Вот тогда следует заселять в обилии исконные земли башкирских родов мещеряками, бобулами и прочими нищебродами, коими столь богата обширная русская держава. Потом, когда они, пришлые, освоятся и расплодятся на новом месте, им следует выделить в собственное владение земли. Пойдут раздоры, стычки, дрязги между собой, некому будет думать о доблести и могуществе некогда прославленных племен. И уже никогда не будет пути назад — к единению раз и навсегда раздробленных инородцев. Следует резко ограничить количество разных национальных сборищ — увеселительных и скорбных. Чтобы воспрепятствовать распространению мятежного духа через мусульманскую веру, необходимо также сократить тунеядцев в белых чалмах, что ныне косяками бродят по аулам. Пусть каждый улус обходится одним ахуном. И пусть он не разъезжает по аулам, как ему заблагорассудится, и не распространяет магометанства. Нужно запретить строительство новых мечетей и медресе. Надо также следить за тем, чтобы бесчинства башкир не перекинулись на соседние племена. Слава богу, киргиз-кайсаки и калмыки имеют на них зуб. Пока что башкиры совершенно свободно якшаются лишь с казанскими татарами. Но эти значительно просвещенней и богомольней. Очевидно, невыгодно, чтобы эти народы излишне сближались, а поэтому следует решительно запретить брачные связи между ними. И еще...

Кирилов спохватился, поняв, что его уносит на крутых волнах разыгравшегося воображения. Постоял, точно соображая, где находится в данную минуту, и подошел к железной кровати, плюхнулся на нее. Глядя в одну точку, вновь предался размышлениям.

Да-а... Все это так. Все это следует осуществлять уже сегодня... жаль только, результаты всех этих прожектов скажутся лишь в нескором будущем. Но что конкретно необходимо предпринять сейчас? Каким образом развеять

удушливый туман, плотно окутавший беспредельные башкирские степи?..

Через некоторое время Кирилов вскочил, осененный какой-то мыслью, уставился на молча взиравшего на него Дьякова, спросил, точно по темени хватил:

— Имеются ли у нас сведения о количестве оружия в руках мятежников?

— Имелись. Но устарелые... еще до выступления к Ори.

Кирилов отрешенным взглядом продолжал смотреть на Дьякова, и тот невнятно пробормотал:

— Можно предположить, что в сечах и стычках они обзавелись значительно большим количеством оружия. Но данных об этом у нас нет.

Огонь, только что вспыхнувший в глазах Кирилова, при этих словах мгновенно угас.

— Тогда... тогда...

Кирилов принялся вышагивать взад-вперед, о чем-то напряженно думая.

— Все оружие, имеющееся у башкир, изъять и впредь запретить оное носить.

Перо Дьякова послушно заскрипело по бумаге.

Закинув руки за спину, Кирилов еще долго продолжал вышагивать взад-вперед. Все новые и новые прожекты роились в его голове.

Все кузни, мастерские в уездах должны быть закрыты. Кузнецам и мастеровым, проживающим в городах, да воспрещено будет отныне заниматься своим ремеслом в аулах. Инородцам и прочему безземельному люду, возжелавшим пользоваться землей башкир для возделывания пашен, для покосов и рубки леса, отныне препятствий не чинить. Ослушники и разного рода смутьяны, переступающие царские законы, должны быть публично повешены или отправлены на каторгу в Сибирь.

Потом Кирилов надолго задумался, опустив голову на грудь. Очнувшись от дум, приказал Дьякову прочесть только что запечатленное на бумаге новое уложение.

— Добавь еще: в каждом башкирском кишлаке построить небольшой гарнизон и постоянно держать военную охрану.

Дьяков снова склонился над бумагой.

Кирилов встрепенулся, расправил плечи, вскинул голову. Да, пожалуй, крутовато, сурово. Трудно предположить, что башкиры примут эти условия, а если и примут, то

вряд ли их выполнят. Ну, и это на благо. Пусть не приемлют, пусть начнут препятствовать и сопротивляться. Тогда у власти руки окажутся развязанными. И ничего не останется, как прибегнуть к силе. А ежели дело дойдет до жестокого подавления бунтовщиков с помощью оружия, то со смутой покончено будет скоро и он благополучно вернется к своим прерванным занятиям и осуществит, наконец, давнюю мечту. Как бы там ни было, в дальнейшем он ни в коем случае не пойдет на какие-либо уступки этим самонадеянным высокородным вельможам, которые, довольствуясь кратковременным успехом, упоенные своей первой удачей, наверняка опустят руки и остановятся на половине пути. А ему, верноподданному России и вседержице российской, для исполнения всех великих дел необходимо не временное перемирие, а полное, окончательное искоренение мятежного духа среди инородцев. И с божьей милостью он этого непременно добьется.

...На этот раз высокопоставленные вельможи не стали перечить Кирилову ни в чем. И, окрыленный их молчаливой поддержкой, он спешно выехал в начале декабря в Петербург для представления разработанного им нового уложения в правительствующий Сенат.

Из Петербурга Кирилов вернулся и радостный, и огорченный. Едва выехав из Мензелинска, он узнал, что башкиры на Ногайском пути вновь неспокойны, и эта весть вызвала в нем злорадное чувство. Вначале башкиры растерялись, узнав про то, что их родовые владетели и старейшины совершенно нелепым, неслыханным образом попали в аманаты, но вскоре опомнились и твердо решили: «Ах, так?! Выходит, на слова этих начальников положиться нельзя? А копья наши так и так окровавлены. И от замирения на полпути толку не будет. Вон... всех достойных владетелей наших содержат в загоне, точно овец для стрижки. С нами же и вовсе считаться не станут. Пощады от них не жди!» Ко всему тому во все башкирские улусы просочились слухи о новом уложении, которым царская администрация намеревается осуществлять управление своими подданными. Об этом заблаговременно позаботились верные люди Кирилова. Уезжая в Петербург, он лично распорядился: «Биев-аманатов навещают их сородичи из аулов. Необходимо осторожно довести до их слуха весть о новом уложении. Для этого используйте находящихся на службе татар и башкир». Видимо, распоряжение его возымело действие. Не успел он выехать из Мензелинска.

как со всех сторон заспешили к нему посыльные с тревожными донесениями. Волнения на Ногайской дороге уже перекинулись на Казанскую и Сибирскую. Огромный караван, отправленный Тевкелевым из Екатеринбурга с необходимым для строительства городка-крепости у устья Ори снаряжением, был остановлен возле реки Ая мятежниками под предводительством батыра Кулеке. Пришлось каравану с полдороги свернуть назад, в Верхнояицк. Но и там отряд почувствовал себя в опасности. Испытывая недостаток в фураже и провианте, а также в связи с недовольством среди участников похода, караван вскоре рискнул вновь выступить в путь. Обессиленный, еле продвигавшийся в пургу и холод по безлюдной степи караван, конечно же, стал легкой добычей мстительных мятежников, давно подстерегавших его на дорогах. Много людей перебили, а уцелевших взяли в плен, распределив по аулам. Весть об этом дерзком налете не вызвала, как некогда, бешеную ярость у Кирилова. Уткнувшись подбородком в ворот просторного, шерстью наизнанку, тулупа, он, спокойный и молчаливый, погрузился в долгую думу. Ну, вот... Не прав ли он оказался и на этот раз?! Разве эти плуты и мошенники в лохматых ушанках утихомирятся по-доброму, по-хорошему? Да если их не приструнить как следует, они еще не то затеют! Только слепец может им доверять. Посмотрим, что теперь предпримут эти умники-вельможи, возомнившие себя прозорливыми миротворцами! Ладно... бог с ними! С одной стороны даже хорошо, что бунтуют башкиры. Может, это поспособствует отрезвлению иных наших излишне осторожных деятелей...

А вот то, что приостановилось строительство городка на реке Орь, вызывает горечь и досаду. Что толку от того, что там продолжают копошиться, коль не хватает средств и снаряжения? Эх, царили бы мир и спокойствие в степи, сколько дел можно было бы провернуть...

И, думая о множестве благих задумок, так и не осуществленных из-за разбойников и смутьянов, Кирилов впадал в уныние и тоску, от которых теснило грудь и камнем сжималось сердце. И чудилось ему, что всю жизнь жестокосердная судьба только и делает, что дразнит его, все посмеивается над ним, над всеми светлыми, но тщетными помыслами статского советника Кирилова. Как легко и просто осуществляются наиглупейшие прожекты, мелькнувшие в пустой голове иных раздувшихся от спеси и собственного величия, осоловевших от лени толстозадых вельмож!

И как бесследно, безнадежно гибнут тщательно взвешенные, выстраданные, всесторонне обдуманные его сокровенные замыслы! До чего же он невезучий, бесталанный! Вечно ждет его на пути какая-нибудь каверза...

Тускло меркла впереди, растворяясь в морозной дымке, зимняя дорога. Кутаясь в просторный тулуп, зарываясь носом в мягкую густую шерсть воротника, он вслушивался в монотонное лопотанье копыт, в легкий скрип санных полозьев, погруженный в невеселые, как этот зимний день, раздумья. Незаметно одолел его сон, и во сне он явственно увидел ее императорское величество, сидевшую перед ним на диванчике с крохотными резными ножками. Кирилов был совершенно поражен тем, как такой миниатюрный, хрупкий, диковинно инкрустированный диванчик мог выдержать довольно грузную, объемистую в чреслах императрицу, и в первое мгновение от изумления даже не мог раскрыть рта и только растерянно таращил на нее глаза. Вседержица заметила его конфуз и милостиво улыбнулась. «Как поживаешь, голубчик?— спросила с материнской озабоченностью.— Воспоследовало ли все, тобой замысленное?» Он и вовсе замешкался. Благостный свет струился из синих очей ее величества. И только крупный, в оспинах, нос возвышался на добром, в густых румянах лице властно и великодержавно. В самом деле, вседержица имела немало схожих с Петром Великим примет. И тот, покойный император, помнится, в гневе или сильной досаде имел обыкновение вот так же величественно и гордо задирать нос. Царица долго глядела на оробевшего начальника Оренбургской экспедиции, все так же милостиво улыбаясь, потом кротко вздохнула: «Говори, голубчик... что тяготит твою душу?»

Он молчаливо протянул ей пакет. Императрица взяла с круглого деревянного столика на трех ножках блестящие ножницы, перерезала белую атласную ленточку, достала из пакета прожект нового уложения, подписанного Румянцевым, Татищевым и им, Кириловым, и принялась читать. Потом, словно не поверив светлым очам своим, прочитала еще раз. И потом молчала еще долго. Вдруг грузно привстала с диванчика, схватилась за поясницу и застыла в согбенной позе. Тяжело задышав, негромко молвила: «Бог с вами, голубчики мои! Как это изволите разуметь? Эти разбойники бесчинствуют, день ото дня наглеют, а вы соблаговоляете измышлять подобные прожекты?!»

Услышав возмущенные нотки в ровном голосе императрицы, Кирилов ничуть не оробел, а, наоборот, возликовал в душе и вознамерился было тотчас обстоятельно изложить ее величеству все свои сокровенные думы касательно управления инородцами, но запнулся вдруг, и горло точно перехватило.

Кирилов в испуге очнулся. Как? Все это ему только приснилось? Он осмотрелся: все та же войлоком обтянутая, мохнатыми звериными шкурами обшитая кибитка. Выглянул в боковое подслеповатое оконце: вокруг простиралась бескрайняя заснеженная степь. Далеко, у горизонта, мрачно насупился сосновый бор. В ушах звенело от монотонного топота копыт да повизгивания санных полозьев.

Кирилов вновь предался своим думам. Странно: к чему сей сон? И как — на самом деле — встретит его ее императорское величество? Уж коли он в такой свирепый мороз, гонимый государственными заботами, решился на столь далекий и опасный путь, то почему бы ему не выложить российской вседержице без утайки все-все, что накопилось в его душе? Зачем ограничивать высокую аудиенцию одними лишь прожектами уложения, подписанного ими? Чего ему робеть? Еще не успел он выбраться из степи, как мятежные башкиры вновь подняли головы. И неизвестно, что они еще натворят, на какие дерзости еще пойдут, пока он доберется до Петербурга. Видно, есть резон прямо так и заявить императрице: «Пора решительно кончать с бунтовщиками». Разве не заслуживают они сурового наказания уже за одно только бесчинство на реке Ая, не говоря о других возмутительных проступках? Разве это не дает повода для жестокой кары?

Всю дорогу до самого Петербурга Кирилов убеждал себя в своей правоте, а доехав до столицы, тщательно изложил свои мысли на бумаге.

Остерман выслушал его вяло, как всегда, с сонным безразличием:

— Оставьте вашу промеморию.

И Кирилов передал не прожект уложения, составленного и закрепленного тремя подписями в Мензелинске, а лично свои соображения, изложенные уже в Петербурге.

До одиннадцатого января не было из царского двора ни слуху, ни духу. И только в тот памятный день пришел посыльный от вице-канцлера.

Остерман по давнему своему обыкновению устремил на него долгий, пронзительный взгляд, небрежно подал ему

свернутый в трубку плотный лист и бесшумно откатил в своей инвалидной коляске в мерцавшую глубь огромного зала.

Все это произошло так неожиданно и быстро, что Кирилов не успел даже открыть рот от изумления. А когда взял себя малость в руки и убедился, что вокруг никого нет, он осторожно развернул лист и быстро пробежал его глазами. «Анна»— четко выделялись внизу четыре буквы. Кирилов, как завороженный, с трудом отвел от них взгляд и вновь увидел перед собой сощурившегося на него Остермана.

Бледное лицо Кирилова залилось краской. Ее императорское величество милостиво согласилась со всеми его доводами и предложениями. И изъявила свое высочайшее соблаговоление на жестокое подавление башкирских мятежников. Вице-канцлер протянул вконец растерявшемуся Кирилову руку, едва высунув из расшитого золотом алого рукава просторного камзола бескровные, холодные кончики пальцев, и мгновенно исчез, откатив коляску на легких, пружинящих рессорах.

Напрасно томился Кирилов, дожидаясь Остермана: он больше не показался. Вдруг без скрипа распахнулась огромная боковая дверь, и красногубый верзила в пышном парике приветливо осклабился. Это означало, что аудиенция окончена.

Кирилов повернулся лицом к парадным дверям, отвесил низкий поклон и покорно последовал за молчаливым верзилой в парике. Так и не высказав подробнейшим образом свои тщательно обдуманные за последнее время сокровенные мысли, уехал из царского дворца восвояси.

Он так и не понял, радоваться ему или огорчаться. Вроде бы надлежало быть радехоньким: как-никак мечта его осуществилась. Но, с другой стороны, все разрешилось как-то излишне просто, и это обстоятельство огорчало. Никто даже не утрудился вникнуть в суть его прошения. Казалось, от него просто хотели поскорее избавиться. Все равно, как если бы богач ни с того, ни с сего вдруг сунул нищему целковый. Что могло означать столь легкое согласие ее величества с ним? И воспоследует ли за этим определенная ответственность? Спросил ли кто полной мерой за содеянное им? Или никому во всей великой державе нет дела до его тревог и смятения? Неужто вседержице российской все едино: поистине ли окажутся под пятой ее великой империи дерзкие инородцы или будут продолжать

творить бесчинства; удастся ли освоить бесчисленные богатства азиатских просторов или пропадет оно втуне, как и тысячи лет назад? Прискорбно сие, ох, прискорбно!.. Кому же ратовать за благоцветение российского могущества и славы, как не ее величеству императрице?..

Кирилов почувствовал опустошенность и тоску. Столица, с которой еще несколько лет назад было так тягостно расставаться, показалась теперь чужой. Такой аккуратненький и премилый при Петре Великом летний дворец теперь по воле временщика Бирона был перестроен и удлинен до неузнаваемости. Между величественно прекрасными палатами на Невском проспекте затесалось множество приземистых, невзрачных построек. Веселые карнавалы и гулянья в Царском саду прекратились. Сиротливо возвышались выстроившиеся в ряд карусели. Уныние сковало Петербург, словно в доме покойника. Люди точно избегали друг друга, озирались пугливо по сторонам, ловили каждый слух, подстерегали каждый шаг. И никого ни в коей мере не интересовало, что происходит на окраине империи, что творится за пределами столицы. Всех занимали только сплетни и слухи, события, происходившие в царском дворе. Казалось, все на свете всецело зависело от того, каким образом складывались отношения между Бироном, Минихом и Остерманом, кто что сказал, кто как поступил, у кого что на уме. На все лады обсуждался поход Миниха на юг, где с Оттоманской Портой вступил в тайные переговоры крымский хан. Гадали, с чем вернется Миних: со славой иль с позором. Ученый Крафт предсказал по гороскопу победу русскому оружию. И вседержица Анна Иоанновна, находясь вся во власти крымских событий, надо полагать, и не вникла в суть его, Кирилова, донесений и прошений, а подмахнула их ради избавления от не в меру ревностного служаки.

Да, столица жила лишь своими страстями, и не было ей дела до остальных всероссийских тревог и забот. Все вертелось вокруг незримых интриг, невидимых междоусобиц, лукавых немцев-царедворцев, которых люто ненавидела горстка русских патриотически настроенных вельмож, задыхавшаяся в бессильной ярости и еще более растравлявшая ее за штофом водки. Российский многотерпеливый люд был далек и от тех, и от других, да и сама императрица вряд ли разбиралась во всех причинах и подводных течениях все более разгоравшихся дворцовых страстей.

Во главе оппозиции к всевластным иноземцам стоял

пылкий, неукротимый Артемий Петрович Волынский. Будучи в течение многих лет единовластным правителем Астрахани и Казани, привыкший быть вершителем людских дел и судеб, он вдруг почувствовал себя обойденным царской милостью в тесном Петербурге, наткнулся на упорное недоброжелательство пришлых жестоких и хитрых фаворитов, искушенных в дворцовых интригах. Волынский, по слухам, надеялся стать кабинет-министром и в своих амбициях не на живот, а насмерть схлестнулся с ненавистным Бироном.

Столица, погрязшая в бесконечных дворцовых стычках и дрязгах готовых загрызть друг друга пришлых властолюбцев, точно ледяной невской водой окатила Кирилова и остудила его восторженно-деятельный пыл.

Из Петербурга Кирилов уехал в расстроенных чувствах, и лишь по мере приближения к Каменному поясу, к Уральским горам, понемногу приходил в себя, ощущая в себе былую силу власти и жажду деятельности. Всю дорогу он не расставался с заветным сундучком, который ревниво держал у изголовья, словно хранил в нем огромный слиток золота. Время от времени, с легким щелчком отмыкая замки, он открывал его, доставал плотный лист-грамоту, собственноручно подписанную ее императорским величеством, и в который раз вчитывался в каждое слово. И всякий раз все проникновеннее ощущал ее значительность и весомость. И каждый раз все горделивее распрямлялись плечи скромного статс-советника, еще на днях униженно и подавленно слонявшегося по безлюдным улицам столицы. Что ж... он имеет основание возгордиться перед двумя высокородными вельможами, с нетерпением дожидающимися от него вестей в Мензелинске. Он, неблагородного происхождения статс-советник, утер им нос, этим самонадеянным вельможам, добившись утверждения своих прожектов у самой императрицы.

Возражать им, вельможам в Мензелинске, высочайшему указу всероссийской самодержицы, разумеется, несподручно. Должно быть, и сами не заметят, как вынуждены будут покинуть в стылую буранную зиму насиженные, теплые места и, возглавив карательные войска, отправиться в глубь степи. Кирилов даже предусмотрительно обдумал слова приказа, который он объявит перед походом, и раз сорок повторил их про себя: «Необходимо взять в окружение поселения мятежников вместе с их женами, детьми и скотом. И жилища их предать огню. Зачинщики

бунта должны на месте повешенными быть. Это надлежит сделать во устрашение всех инородцев и во имя истребления всяческого мятежного духа впредь. Все сообщники злодеев да заточены будут в кандалы и отправлены в Сибирь. Их жен, детей и особливо девок-подлеток отдать мирным мещанам в глубинных городах в услужение. И таким образом отныне и впредь всякому неповиновению и дерзостным помыслам искорененными быть».

Жажда решительных действий и отмщения согревала Кирилова всю дорогу из Петербурга. В нетерпении он шумно переводил дыхание и распахивал ворот просторного, удушливого тулупа. Он живо вообразил себе то историческое мгновение, когда он появится в Мензелинске, распираемый счастьем и удачей.

Все, однако, вышло иначе.

Никто его не встретил, кроме неизменного и верного Петра Дьякова. Это обстоятельство сразу насторожило Кирилова, и его, казалось бы, всесокрушающий восторг мгновенно улетучился.

Внесли певуче попискивающий самовар. Чай пили молча, вдвоем. Как же так? Неужто Румянцева не известили о выезде его из Петербурга? Или сановный генерал набивает себе цену и ждет, когда он, Кирилов, сам заявится к нему с рапортом? В таком случае генерал-майору придется подождать...

Настроение было испорчено. И даже после чаепития Кирилов продолжал сидеть в хмуром молчании. Наконец встал. С хрустом потянулся. Подошел к столу. Отодвинул на край стола ворох бумаг, склонился над испещренной картой. Клочковатые брови удивленно сдвинулись и грозно сошлись в переносице, точно слились в один топорщившийся пучок.

— Что за линии?!

— Маршруты отрядов, выступивших против повстанцев. На Ногайскую дорогу отправился сам командующий. В сторону реки Дем двинулся подполковник Аксаков. На Сибирской дороге поблизости от Уфы находится полковник Тевкелев. Вам, ваше превосходительство, определили Табынскую дорогу.

Кирилов резко выпрямился и подбоченился.

— Выходит, новый указ императрицы дошел до вас раньше меня?

— Указ получили вчера. Но отряды выступили раньше.

Глаза Кирилова поползли на лоб, и в них блеснул

холодный лучик, точно в яростной схватке, сломавшись, сверкнул на изломе алмазный клинок.

— Когда?

— Пятнадцатого, ваше превосходительство.

Та-ак... Пятнадцатого числа Кирилов еще находился в Петербурге. Значит, о его личном донесении императрице Румянцев, будучи здесь, понятно, ничего знать не мог Следовательно, тамошние прожженные лукавцы еще до ответа ему на личную промеморию тайком направили сюда посыльного.

— Кто принял решение?

— Генерал. После событий в Саянтосе другого выхода не оставалось.

Кирилов покачнулся. Опять, в который раз, обошла его лживая фортуна. А как тщательно взлелеял он в своей душе этот сладостный миг, когда должен был выложить перед двумя сановными вельможами указ императрицы. Грозно сдвинутые на переносице брови вновь раздвинулись и поползли вниз, точно крыло подбитой вороны.

— Что же там произошло?

Петр Дьяков подробно изложил события. Кирилов понял: во время его отсутствия повстанцы бесчинствовали пуще прежнего. В тот самый день, когда в Петербурге его вторично удостоил приема вице-канцлер Остерман, на отряд Тевкелева, заночевавшего на стойбище в Саянтосе, было совершено покушение. Часть солдат, распределенных по домам, оказалась зарубленной во сне. И если бы страшная весть не дошла своевременно до полковника, его постигла бы та же участь, что некогда и Бековича-Черкасского с его отрядом.

Когда Кирилов выехал в Петербург, оказавшиеся в аманатстве родовые владетели во главе с Акаем Кусюмовым решили отправить бия Мурата посыльным к непокорившемуся Калмаку Абызу с убедительной просьбой прекратить дальнейшее бессмысленное сопротивление, дабы не обречь на гибель мирный башкирский люд. Посланец Мурат, однако, тотчас переметнулся в стан мятежников. И тогда генерал Румянцев, убедившись в бесплодности дипломатических переговоров, поневоле решился прибегнуть к оружию.

Петр Дьяков, рассказывая, исподлобья следил за выражением лица статс-советника. Он был совершенно убежден, что кого-кого, а Кирилова эта весть должна непременно обрадовать. Но он оставался по-прежнему сумрачным

На припухлом и задубевшем от холода лице Кирилова не дрогнул ни один мускул. Это так поразило Дьякова, что он, смутившись, скомкал свой рассказ и умолк.

Кирилов погрузился в размышления. Попробуй разберись во всех этих хитросплетениях! Пока он проделывал столь дальний и тяжкий путь в столицу, надеясь заручиться милостью и соблаговолением императрицы на жестокое подавление башкирских повстанцев, здесь, оказывается, без всех его усердствований все само собой почти осуществилось. Видно, все-таки он прав в своих догадках о том, что лукавой судьбе с самого начала было угодно посмеяться над ним.

Только теперь заметив, что Дьяков запнулся и смолк, Кирилов угрюмо спросил:

— Есть ли вести из Ори?

И в том краю не оказалось ничего утешительного. Кое-как обустроившийся гарнизон теперь испытывал острую нужду в провианте. Для пополнения запасов Чемодуров в срочном порядке снарядил в Верхнояицк вооруженный отряд из восьмисот солдат; однако более половины из них замерзло в пути, остальные, обмороженные, больные, вконец изнуренные, еле дотащились до Самары. И сейчас никто толком не знает, в каком состоянии находится брошенный на произвол судьбы несчастный гарнизон у устья реки Орь.

При этой вести Кирилов разом стряхнул с себя тягостную одурь и вскочил. Лицо его исказилось от гнева и боли. Он слепо уставился на опешившего помощника, словно хотел его обложить непотребными словами, но раздосадованно махнул рукой и заметался взад-вперед по комнате. Нет, нет! Нельзя более задерживаться здесь ни на минуту. Нужно немедля отправиться туда, к устью реки Орь, и любой ценой вызволить, спасти гарнизон, оставшийся в окружении свирепеющих час от часу мятежников. Если он, не приведи господь, погибнет, то придет конец всем его сокровенным мечтам и желаниям. В случае промедления гарнизону уготована та же участь, что и отряду Чижова у Черного оврага. А в ушах Кирилова еще и поныне звучат слова клятвы, произнесенные им коленопреклоненным у знамени зарубленного полка.

Через неделю во главе большого вооруженного отряда Кирилов выступил в поход. Мятежный пожар, охвативший все башкирские земли подковообразно от крайнего запада через юг до крайнего востока, слился с багровым пламенем

не знавших пощады и милости карательных отрядов. Бескрайние заснеженные степи, еще вчера поблескивавшие под солнцем нетронутой белизной, сплошь покрылись черным пеплом, сажей, кровью и трупами людей.

Месть и ярость, охватившие Кирилова еще в Мензелинске, постепенно угасали. Кровь и пепел преследовали его на всем пути. Куда бы он ни прибывал, всюду встречали его следы жестокой бойни, кровь и черные дымы пожаров. Даже зверь в ужасе покинул леса и ударился в бегство. Ни одна живая душа не встретилась отряду в его многодневном пути.

Кирилову, проведшему всю жизнь в теплом помещении за письменным столом, совсем не по нраву оказался этот утомительный, изнуряющий тело поход. Он чувствовал на себе насмешливые, недобрые взгляды. «Да-а... Уж этот Аника-воин, червь книжный, навоюет»,— казалось, роптали, шушукались за спиной. И ему, человеку честолюбивому, энергичному по натуре, эти усмешки и ухмылки причиняли неотступную, назойливую боль, будто меж лопаток под одежду невзначай попала колючка. Хоть бы какое-нибудь препятствие встретилось отряду. Но нет, все выжжено дотла, и разве только о застывшие трупы спотыкались изредка кони.

Отряд Кирилова шел без остановки с утра до вечера. И предводитель его, зорко оглядываясь по сторонам, с тоской вспоминал, как когда-то ездил этой же дорогой из Петербурга. Все было тогда по-другому. Тогда здесь и там виднелись мирные зимовья, над которыми безмятежно вился дымок. Всюду высились аккуратные, добротно уложенные скирды сена. По неоглядной шири неслись вскачь охваченные охотничьим азартом безмятежные башкиры в дерзко задранных на макушку рыжих лисьих малахаях. И он, Кирилов, был тогда полон радужных надежд и спешил в Уфу, словно пылкий юноша на свидание. А теперь он испытывал лишь раздражение и опустошенность. Злое упрямство и жажда мести, охватившие его поначалу в Мензелинске, теперь точно улетучились, и голова его все ниже склонялась к груди. Мятежники словно сквозь землю провалились. И все вокруг обрыдло, ни на что глядеть не хотелось. Да и на что глядеть-то? На трупы? На обезображенную, выморочную, пеплом и сажей посыпанную степь?

Разве думал он когда-нибудь, что будет рыскать по степи, размахивая оружием и наводя ужас на инородцев?

Разве не о благих деяниях мечтал он? И вот как все обернулось... Дикий и строптивый народ, не способный трезво взвешивать свою судьбу, по слепоте и невежеству своему обрекает себя добровольно на верную гибель. И не только сам лезет на рожон, но и его, тихого, кабинетного человека, толкает на не свойственное ему кровавое дело. Ему бы карты чертить да ученые труды писать в тиши и уединении, а не оружием бряцать на поле брани...

Кирилов почувствовал знобкую дрожь. В тот раз, когда он настойчиво убеждал Румянцева прибегнуть к самым решительным и жестоким мерам, он, казалось, был сам готов, не моргнув глазом, растоптать любого мятежника. А оказывается, это не так-то просто. Более того, он совсем негож для этого! Но что делать? Всесильные обстоятельства вынуждают ради достижения высоких целей заниматься богопротивными делами. И ничего тут не поделаешь. Он не может спокойно взирать на печальную судьбу, уготованную заброшенному на край света несчастному гарнизону.

Погруженный в невеселые раздумья, Кирилов очнулся лишь тогда, когда в заиндевевшее окошко кибитки увидел запестревший на холмах город Уфу.

Вскоре его повозка остановилась у знакомых голубых ворот, где он не был с той самой поры, как уехал отсюда к устью реки Орь. Все тот же просторный сосновый дом. Все тот же крупнокостный, долговязый старик дворник. При виде начальника он вытянулся и застыл, словно верный страж лейб-гвардии. Края раздвоенной бороды тронула седина. Пропустив одну за другой три повозки, старик закрыл и запер на железные засовы ворота.

Кирилов с трудом выбрался из кибитки, поразмял онемевшие от долгого пути суставы, с наслаждением вдохнул морозный воздух и приметливо оглянулся вокруг. Все в степи перевернулось вверх дном, а здесь, во дворе с глухими голубыми воротами, ничего не изменилось. Да и в комнатах все осталось в нетронутом виде. На огромном письменном столе, за которым он провел немало бессонных ночей, громоздились все так же груды рукописей, инструменты и снаряжение, привезенные им из Петербурга для экспедиции. Все это он намеревался перевезти к себе, в новый городок — укрепление на реке Орь. Сейчас у него четыре квартиры. Одна в Самаре, где живет его семья. Но в той квартире он, пожалуй, в общей сложности и месяца не прожил. О времени, когда можно будет безмятеж-

но попивать чаек в уютной обстановке, в кругу домочадцев, позволительно мечтать только в бесконечных нынешних походах. Вторая квартира в Мензелинске. Поскольку там обосновался генерал Румянцев, он вынужден был поселиться поблизости. Третья — здесь, в Уфе. Четвертая — в строящемся укреплении на Ори. Самая удобная и наиболее дорогая ему квартира — уфимская. Здесь он провел наиболее плодотворные и счастливые месяцы своей жизни. Да, дивное то было время. Сердце его замирало от радости, когда он слышал скрип саней или стук в ворота. Вслед за этим, бывало, грохоча сапожищами, вваливались к нему казачьи атаманы или башкирские бии в заиндевелых шубах и тут же учтиво застывали у порога. При его появлении атаманы усердно щелкали каблуками и вытягивались в струнку, а степенные башкиры-бии склонялись в подобострастном поклоне, прижимая правую руку к сердцу, и для Кирилова не было тогда более сладостного мгновения, чем лицезреть эту картину. Башкиры со склоненными перед ним головами чудились ему покорными ангелами. А башкирские обычаи и нравы, песни и предания, которые старательно заносили на бумагу Дьяков, Гейнцельман и оставшийся теперь в гарнизоне на Ори Костюков, звучали тогда для Кирилова как прекраснейший в мире эпический сказ. Слушая их, он восхищенно качал головой и прицокивал языком. Те приятные часы прошли в этом сосновом особняке. И эти стены — тому свидетели.

И в кабинете все находилось в прежнем виде. В трех железных сейфах, стоящих рядком, хранились самые драгоценные для него незаконченные труды и наметки. Эх, дожить бы до того времени, когда можно будет, засучив рукава, изредка прихлебывая крутой чай из стаканчика, испытывая сладостную дрожь в каждой жилке, до самозабвения перебирать исписанные листки и строчить-строчить пером до немоты в плече, до ломоты в пояснице! Раскроешь одну папку — незавершенная рукопись. В другой — наметки и материалы для будущих фундаментальных трудов. В третьей — планы и разработки задуманных исследований. Как он, бывало, наслаждался тихими часами уединения, когда в голове роились мысли и сами изливались на бумагу под ровный шорох стремительно бегущего вдохновенного пера!

И вот все это разом исчезло, сгинуло из-за бестолковости и вероломства коварных мохнатых шапок, которые

некогда толпились у порога его дома, согбенные в подобострастной позе...

Тоска и уныние разлились по усталому телу Кирилова. Не находя себе места, слонялся он из комнаты в комнату. И никого не хотелось ему принимать, видеть. Даже Дьякова не пригласил к себе. Перенес из угла на стол три железных сейфа и принялся просматривать, перебирать их содержимое. Точно блудного сына, вернувшегося после долгих скитаний в отчий дом, все его волновало, все влекло его истомившуюся душу. Забыв обо всем на свете, он вскоре погрузился в свои бесконечные рукописи, да так и не заметил, сколько просидел над ними. Потом, когда наконец оторвался от них и попытался встать, то, к своему ужасу, не мог распрямить спину. Неимоверная тяжесть в боках тянула его к земле. И зубы, казалось, ослабли, расшатались все, того и гляди выпадут. И он растерялся, не понимая, отчего все это: то ли от того, что давно уже не корпел над своими трудами, отвык от напряженной умственной работы, то ли потому, что все делал с предельной увлеченностью, отдаваясь занятиям своим до самозабвения. Еле доковылял до постели в углу. За стенами соснового дома надрывно завывал ветер. И, точно бездомный щенок в стылую буранную ночь, скулили в нем, надрывая душу, беспорядочные тревожные думы. Только перед рассветом удалось ему сомкнуть глаза. А наутро он не мог подняться с постели. Непонятная тяжесть и боль опоясали его ниже живота, не позволяя шелохнуться. Устремив блуждающий взгляд к потолку, он с нетерпением ждал прихода Дьякова. Помощник, едва переступив порог, сразу обо всем догадался и всполошился. Тотчас сделал компресс из какой-то пахучей густой мази. Тепло обмотал поясницу. Потом принес мутный настой в деревянной чаше, на поверхности которой плавали соринки.

— Что еще за пойло?— подозрительно спросил Кирилов.

— Башкирское целебное снадобье. Кобылье молоко, настоянное на меду и горной травке. От прострела, говорят, помогает и при общей немощи пользительно. Старик дворник приготовил.

Кирилов, морщась, заставил себя выпить содержимое чаши. Его, тепло укутанного, вскоре приятно разморило. Облегчающая испарина покрыла все тело. Так он пролежал три дня. А на четвертый день поднялся, как ни в чем не бывало, и тотчас вызвал Дьякова:

— Гляди не отпускай старика башкира. И в походы бери с собой!

На другой день отряд вновь двинулся в путь. Взбираясь в кибитку, Кирилов еще раз пристально оглянул двор. Все здесь было ему знакомо и дорого. Все напоминало недавние мирные, счастливые дни, о которых всегда так сладостно мечталось. Все, казалось, находилось в неприкосновении. И только на душе его скребли кошки, только он никак не мог возвратиться к прежним своим безмятежным думам.

Сердце вдруг екнуло. Прикрывая за собой дверцу кибитки, он еще раз взглянул во двор. Нет, чего-то явно не хватало. Какая-то перемена все же произошла по сравнению с прошлым разом. Но какая — он вспомнить так и не смог.

Легкие сани стремительно заскользили по утрамбованному снегу. У ворот застыл бородатый казак с ружьем на плече. И тут только осенило Кирилова. Ба! Куда же подевался долговязый, сумрачный старик дворник? Целыми днями он только и делал, что скреб и подметал до блеска просторный двор за оградой. Вот досада! Он уже повернулся было к Дьякову, чтобы спросить, в чем дело, но тут же вспомнил о давешнем своем распоряжении и обрадовался.

Грозное войско вновь вступило в скованную морозом безлюдную степь. Приятные впечатления от тепла и уюта знакомого соснового дома вскоре улетучились, как легкий предутренний сон. Во все стороны простиралась однообразная ширь, по которой вольно гулял студеный ветер и беспрестанно змеилась поземка. И от этого казалось, будто бескрайняя степь лишилась своей обычной первозданной устойчивости и внушительности и стала зыбкой, ненадежной, взбаламученной, точно море в непогодье.

Кирилов крепко зажмурил глаза. Тягостно было на душе. Сердце сжималось в недобром предчувствии. Плотная темь окутала его, и, казалось, он погружался в беспросветный мрак. Кирилов, испугавшись, открыл глаза. Знакомый скрип полозьев стремительно скользивших по снежному насту саней и ровное лопотанье копыт вернули его в действительность. Нет, под ним, оказывается, была еще твердь, хотя она и походила сейчас больше на безбрежное колыхающееся море и таила в себе не меньшую опасность и внушала не меньший страх, чем оно. И еще неизвестно, где опасность больше — на море или на суше. На море существует четкий и зримый водораздел, за которым

находится враг, и видно его издалека, а здесь из-за каждого бугорка жди какую-нибудь напасть. В любое мгновенье могут налететь из засады лихие всадники в драных мохнатых треухах. Но... не того ли он сам желает? Не отрада ли — схлестнуться с заклятым врагом? Ведь хуже нет, чем находиться в неопределенности и томиться в ожидании бог весть чего. И по распоряжению, им же разработанному, надлежало беспощадно предавать огню и смешать с землей все встречаемые на пути кишлаки и стойбища. Если так поступают Румянцев и Татищев, то ему, Кирилову, сам бог велел быть непримиримым к мятежникам. Ведь он сам настаивал на этом. И теперь волей-неволей вынужден показать пример жестокости. В противном случае получается, что он загребает жар чужими руками. Но о таком ли жребии мечтал он когда-то? Видит бог, не о таком. Подобно Христофору Колумбу, бороздившему океан и открывшему новый континент, он надеялся в этом азиатском безбрежье, по которому шалый ветер закручивал снежную круговерть, открыть просвещенному миру свою Америку. Да разве позволили степные разбойники осуществиться его благородной мечте? Ведь не о бранной славе он мечтал, а о славе просвещенного путешественника и первооткрывателя. Бранная слава связана с кровопролитием. Ученому же зачем проливать кровь? Однако, при нынешнем стечении обстоятельств, видать, без кровопролития не обойтись.

Кирилов поднял воротник и нахохлился, мрачный и отрешенный. Он живо вообразил себе, как Колумб, размахивая мечом, яростно сражается со свирепыми дикарями с диковинными кольцами в ушах и ноздрях. Потом встал перед глазами Колумб, который с горящим факелом в руке метался между охваченными ужасом туземцами и поджигал их ветхие островерхие хижины. Какая дикость! Какая нелепость! Однако необходимо учесть, что за мирным кораблем мореплавателя Христофора Колумба, представления не имевшего о материке за океаном, неотступно следовали морские разбойники-конквистадоры. Так и его, путешественника Кирилова, преследуют по пятам, угрожающе наставив острые пики, степные разбойники. Тут, хочешь не хочешь, ринешься в бой. И так бывало всегда, искони: дерзкий ум, охваченный страстью поиска, открывает человеку новые земли, а осваивает их хищник, одолеваемый низменной страстью наживы.

Неожиданная мысль эта утешала и вселяла уверенность в правоте своих действий, и Кирилов встрепенулся. Беспо-

рядочные думы о том, о сем вдруг прояснились и потекли по верному руслу. Недавняя смута в душе улеглась, и он подолгу и пристально вглядывался в заснеженную даль.

А степь, слепящая белизной, простиралась бесконечно, вызывая у Кирилова раздражение. Эх, оказаться бы сразу, словно по мановению волшебной палочки, там, в несчастном, истомившемся в долгом ожидании гарнизоне на краю дикой и опасной степи... Но нет конца и краю ей, и из-за ее беспредельности и таинственности самые дерзкие мечты превращаются в уныние.

И вдруг взору его открылся небольшой аул, прижавшийся к самому берегу блеснувшего сбоку ледяной равниной Яика. Посреди аула одиноко возвышалась опрятная мечеть с голубым куполом. И в этот раз, помнится, по пути к Ори встретился ему этот тихий аул. Во-он в том месте, томно покачиваясь, шла молодка с двумя ведрами воды на коромысле, и ее, откуда ни возьмись, окружили двое всадников. Молодка бросила одному из них вышитый платочек, и счастливец, гордо размахивая им над головой, поскакал во весь опор к равнине. За ним вдогонку понесся соперник. Тогда была весна, все вокруг зазеленело. За тем перевалом зияли ямы — земляные печки, на которых громоздились огромные котлы в пору весеннего праздника каргатой. На холме возвышался шест, украшенный разноцветными лоскутами, чтобы людям издали было видно место торжества. Возможно, шест тот и сейчас еще там торчит. Первая преграда и заминка на пути войскового отряда, помнится, встретилась тогда как раз тут, возле нарядного шеста. Остановили их какие-то оборванцы; они поначалу требовали от пришельцев подарков, а потом вошли в раж и откровенно напрашивались на беду. Вероятно, уже тогда были среди них смутьяны, которые позже учинили разбой возле Черной балки. Значит, скорее всего, и этот тихий с виду аул на берегу реки имеет прямое отношение к дерзким повстанцам. Может, именно здесь обитают отъявленные бунтовщики, взбудоражившие всю степь? Может, вон те неприметные домики вокруг мечети с голубым куполом — гнездовье нечистой силы? Значит, его надобно разворошить дотла и стереть с лица земли. Пока этот скромный, уютный аул стоит на земле, не обретут покоя и подло убиенные возле Черной балки христианские души. Они взывают к праведной мести. И воинский отряд не может проехать мимо, не отомстив сполна.

Опять на ум пришли слова клятвы, данной им у скорбной Черной балки, когда он, потрясенный, целовал краешек полкового знамени, укрывавшего обезображенный, разлагавшийся труп священника. Да, тот обет он все еще не исполнил. Правда, зато другие с лихвой воздали нечестивцам. Но ведь и от него ожидают того же самого. Кто знает, может, за его действиями кое-кто зорко следит издалека и со злорадной ухмылкой думает при этом: «А ну, голубчик, покажи-ка на деле свою прыть. Других в огонь толкать ты мастак. Посмотрим, однако, какой ты вояка...»

Надо полагать, и в его отряде немало недовольных им насмешников. Надоело им с самого Мензелинска телепаться в седле по охваченной стынью постылой степи. В самом деле, не на прогулку же ради собственного удовольствия они отправились в эту чертову даль. К счастью, отряду и не надо было до сих пор проявлять доблесть: все поселки и зимовья на пути были разворошены и сожжены другими карателями. И вот встретился, наконец, первый нетронутый аул, и Кирилову предстояло совершить над ним расправу...

Тихий аул на пустынном берегу реки, видать, еще не успел проснуться. Лишь из нескольких труб лениво тянулся к небу жидкий дымок, доносивший, казалось, не только запах давно обжитого жилья, но и приготавливаемой с утра пищи. Обычный запах мирного, бесхитростного быта. Самый дорогой, приятный запах, свойственный всем двуногим обитателям земли, к какой бы расе они ни принадлежали, какую бы веру ни исповедовали. В этом запахе слышатся ласковый шепот влюбленных, жаркие объятия супругов, лепет несмышленого дитяти, смех безмятежных потомков, еще только вступающих в жизнь. И вот теперь все должно быть истреблено, раздавлено, точно муравейник под гигантской стопой слона. Ведь какое дело слону до забот и тревог копошащихся где-то внизу муравьев? Наступит — и пойдет себе восвояси, не ведая даже о том, что натворил.

Да-а... Но то муравьи, а здесь — люди. А людям одинаково близки и дороги запахи дыма, пищи в казане, пеленок в зыбке... Но что делать? Так уж сотворен поганый род людской, что во имя своих низменных желаний и корысти вынужден время от времени схлестнуться в кровавой бойне, дабы истребить себе подобных. Испокон веку бывали сильные и слабые. Кто имеет преимущество в численности и оружии, тот и силен. А сильный — что слон.

Слабый обязан проникнуться сознанием своей слабости и заранее уйти с дороги, затаиться, дрожать за свою жалкую жизнь, если он желает избегнуть ничтожной участи муравья. А как же иначе? Не было еще такого, чтобы слабый одолевал в борьбе сильного и тем добился чести. Да и людская молва не одобряет таких. Не случайно ведь придумано про сверчка, которому положено знать свой шесток. Не миновать беды тому, кто обуян гордыней и переоценивает свои малые силы. В этом беспредельном мире у каждой твари свой путь, свое место, предназначенные изначально. Свернешь со своего пути, позаришься на чужое место — пеняй на себя: кара божья настигнет тебя неминуемо. Слон есть слон, а муравей — всего-навсего муравей. И этим все сказано. Слону свойственно величие и внушительность. А муравью приличествует мелкая суета и ничтожная возня. Надо еще благодарить создателя, если сильные снисходят до слабых и щадят их жизнь. Слону ведь ничего не стоит мимоходом наступить на кишащий жизнью муравейник, на то он и слон: ему нужен простор и раздолье. С самого сотворения мира каждому предписан свой путь и свое место в жизни, как фигуркам на шахматной доске. Всякая тварь стремится выжить, и сильный, покуда он наделен силой и властью, будет давить и топтать слабого, не ведая жалости. Никому не дано нарушать извечный ход бытия. И никакая дерзость не остается безнаказанной. Не потому ли строптивцы или ломают себе шею, или становятся добычей сильных? Жизнь сурова, и законы ее неколебимы и беспощадны. Закону ведомо только одно: либо «можно», либо «нельзя». Ему нет дела до разных умозрительных понятий и их оттенков, как-то: «грех», «милосердие», «сострадание», «возблагодарение». Даже если ты наделен властью, все равно ты раб закона. Нарушил его — он же тебя и сомнет. Совершил злодеяние — степень твоего преступления определит закон. Коль содеял зло самому себе — значит, глуп и бестолков. А над глупым смеются все. Можно, следовательно, совершить преступление, но только — боже избавь — не глупость.

Уж кем-кем, но дураком себя Кирилов никогда не считал. А потому посмешищем в глазах людей быть не желает. Он не может себе позволить проехать мимо, не смешав с землей этот мирный аул. Иначе все его высокие мечты и помыслы пойдут прахом. И не построить ему тогда крепости на берегу Ори... где уж там! Даже детей и жену в Самаре вряд ли суждено ему увидеть. Попадется в руки

свирепых туземцев — и висеть ему под перекладиной на волосяной удавке. А то еще отрежут ему уши и нос, подобно презренным бунтовщикам, да и погонят в каторжных кандалах в Рогервик. Мало ли знатных мужей и вельмож, работавших за славу России, загублено в стылых темницах северных окраин? В этой варварской стране каждый порядочный человек рискует быть или повешенным, или закованным в кандалы. Великое счастье, коли удается избегнуть этой участи.

Нет, не докатился Кирилов до такой глупости. Ведь не о себе, не о своей душе он печется, а прежде всего о своем народе, об отчизне своей. И пусть порою ему страшно, и вынужден он гнуть себя и бесплодно тратить свои и без того убывающие телесные и душевные силы, но ради дел замышленных он ни перед чем не остановится. Мечты, столь тщательно взлелеянные в душе, могут осуществиться лишь в том случае, если удастся поелико возможно скорее сладить с бунтовщиками. А это уже в свой черед зависит от его же решительности и настойчивости.

Ну, что ж.... статс-советник Кирилов... высокочтимый Иван Кирилович... Ваше превосходительство... грянул твой час показать, на что способен... Зело умен и охоч давать советы и распоряжения в тиши кабинетной, и перо твое храброе, когда строчишь им в уединении по белой бумаге, а покажи-ка свою прыть на деле!

Он вышел из возка, велел подать верховую лошадь. Тотчас вокруг него столпились офицеры. Все молчали, нетерпеливо и возбужденно поблескивая глазами, и Кирилов безошибочно понял их состояние. Если сейчас он даст распоряжение выполнить им же предложенный и разработанный указ, офицеры с готовностью разнесут аул, и вся ответственность за содеянный разбой и насилие ляжет на его совесть. Если же он не решится на такое, проявит мягкотелость и милосердие, они обвинят его в трусости, и тогда ему несдобровать. Кто-нибудь немедля отправит депешу самой императрице. И не исключено, что именно среди них находится тот, кто потом с удовольствием вздернет его на виселице за измену отчизне и владычице российской.

Все так же молча глядел он на боевых офицеров. А те пытливо уставились на него. Казалось, они безошибочно читали, что творилось в его смятенной душе.

Вот так-то... С детства ты, Кирилов, мечтал о славе и власти. А они так просто не даются. Чаще всего их даже не

праведным трудом и прилежанием обретаешь. Более того, прочность и надежность славы и власти, которых ты достиг ныне, менее всего зависят от величия твоих деяний, от построенных тобою городов и крепостей, от написанных и задуманных тобою ученых трудов, от несметного богатства, открываемого тобою для России. Быть тебе на вершине славы или нет, зависит от одного-единственного слова, которое сорвется сейчас с твоих уст. И больше ни от чего. Ибо стоишь ты сейчас у роковой черты. Да, голубчик, в этой жизни лучше ни к чему не стремиться. И ничего не иметь. Слишком тяжела плата за все. Власть — что отрава. Она и заманчива, и обманчива. Она только внешне кажется грозной и неприступной, но есть в ней что-то и от ненасытной похотливой бабенки, и от скользкого, продажного и ловкого пройдохи, лишенного чести и совести. Вообще, если вникнуть в суть, власть — родная сестра похоти и жадности. Губительны их соблазны. Разве продажная дщерь распутства, одурманив однажды своими прелестями и усладой, не стремится завладеть твоей волей? А пронырливый торгаш, ублажив себя однажды данайским даром, не норовит ли потом сесть тебе на шею? Вот так и власть. Тот, кто хоть раз вкусил ее сладость, превращается в ее жалкого невольника. В конце концов все соблазны на свете оплачиваются не твоим трудом, заслугами или богатством твоим, а незримой человеческой сутью, честью именуемой, заставляющей вспыхнуть краской стыда твое лицо и тонкой, шелковистой нитью связывающей тебя по рукам и ногам. А коли так, то единственная мудрость жизни — не поддаваться соблазнам и не стремиться к ним. Но и в мудрости такой нет резона. Какой смысл коптить небо, если нет у тебя никаких стремлений. Уж коли ты пришел в этот мир, то рано или поздно придется своей честью поступиться. И весь смысл в том, чтобы не продешевить. Продешевил — значит, остался в дураках.

Впрочем, он, Кирилов, не из тех, кто продешевит. В проигрыше он не будет, ибо давным-давно для себя все решил. Ему осталось сделать всего лишь шаг, чтобы с честью пройти через тяжкое испытание. А для этого ему достаточно проронить всего два слова: «Предать огню!» И все остальное тут же решится само собой. Но до чего же мучительно отдавать такое распоряжение! Отчего-то захлестнуло горло, и холодный пот выступил и покатился вдоль хребта. С чего начать? Каким образом избавиться от этих пристальных и придирчивых взглядов?

Мирный аул в долине просыпался. Все чаще и веселей валил дымок из труб. Все вкуснее казались запахи, приносимые ветром. Кое-кто из жителей выскакивал во двор и тотчас же нырял обратно в домашнее тепло. Грех посягнуть на мирную жизнь. Знамо, грех. Но пусть пеняют на себя! И за то, что будут неминуемо загублены многие невинные души, пусть грех падет на головы смутьянов и мятежников, ввергнувших своих соплеменников в страшную беду.

Все! Решено! Отступать невозможно. Раздевшийся, говорят, воды не боится. Такова воля судьбы: надо перешагнуть рубикон, даже в крови по щиколотку...

Как всегда в решительный час, Кирилов посуровел, крепко стиснул зубы. Сказал тихо, едва шевеля губами:

— Всех жителей согнать на тот холм с шестом. Туда же перенести всю топку. Аул поджечь.

Он удивился своему голосу. Так спокойно, даже равнодушно прозвучал он.

Те, кто только что придирчиво-насмешливо поглядывали на него, тотчас послушно вытянулись, выказывая рвение и послушание. Все кинулись исполнять приказ. Кирилов в сопровождении Дьякова и небольшой свиты направился к холму с одиноким шестом. Касаясь коленями ушей коня, поехал вслед за ними и долговязый старик башкир. Он отрешенно глядел в степь, и лицо его было совершенно непроницаемым, будто старик ничего не понял и ни о чем не догадывался. Глядя на него, Кирилов на мгновение почувствовал нечто похожее на жалость. Остальные в отряде как-то вмиг притихли, втянули головы в плечи и плотным строем понеслись к маленькому, ничего не ведающему аулу.

Шест торчал на вершине холма голый, одинокий. От прошлогодних разноцветных лоскутков на нем ничего не осталось: их сорвало ветром, смыло дождем. Не видно было и земляных печек поблизости. Их засыпало снегом. Все вокруг было белым-бело. До весеннего праздника каргатоя — грачиного пира еще рано. Странное название... Видно, весенний ритуальный праздник назвали так потому, что здесь потом еще долго пируют, слетаясь со всех сторон, деловитые весенние грачи. Что ж... Если здесь, на этом холме, башкиры проводили раньше грачиный пир, то он, Кирилов, устроит им теперь вороний пир, ибо после того, что здесь произойдет, в этом месте не останется ничего ни для башкир, ни для грачей.

Вскоре солдаты плотным кольцом окружили оказавшийся на отшибе небольшой башкирский аул. Многих жителей застали еще в постели. Кое-кто из строптивых выразил было недовольство появлением непрошеных вооруженных гостей, но их тотчас порубили шашками на месте. Других — вместе со стариками, женщинами и малыми детьми — вытолкали из домов на мороз. Не пощадили никого. В весеннем празднике каргатой должны принимать участие и стар и млад.

Пока всех жителей аула сгоняли в круг, Кирилов, сидя на гривастом соловом жеребце, зорко наблюдал за происходящим с вершины холма. Вот часть солдат, покрикивая и понукивая, погнала толпу в сторону холма с одиноким шестом, а остальные бросились грузить на арбу топку.

Людей колотило от страха и холода. Многие были в исподнем, другие едва успели накинуть на плечи верхнюю одежду. Онемевшие от ужаса, они сгрудились на вершине холма и таращили глаза на солдат, спешно сооружавших вокруг них высокую изгородь из топки. Жители, опасаясь долгой и суровой зимы, впрок запаслись ныне топливом — сушняком, арчой, и вот пригодилось оно не для отапливания жилищ и семейного очага...

Закончив свое дело, солдаты отступили шагов на двадцать и встали кругом. Еще шагов на пятнадцать от них застыл на соловом жеребце Кирилов. Рядом с ним неотступно находился Дьяков.

Кирилов, не сказав ни слова, коротко взмахнул рукой. И тут же солдаты вскинули ружья, и оказавшиеся в кольце жители аула заголосили вразнобой. В то же мгновенье во всех домах аула на берегу реки одновременно вспыхнул огонь.

Человек сто солдат с ярко горящими смоляными факелами в руках бегом понеслись теперь в сторону холма с одиноким шестом на вершине. Ветер дул с низу реки, и, казалось, огонь, широко разметав буро-оранжевую гриву, кинулся факельщикам вдогонку. Однако, не найдя на дороге никакой пищи, натыкаясь на снежные сугробы, огонь смирился, досадливо прижался к земле, вспыхивал зелеными искрами, как бы угрожая факельщикам: «Ну погодите, дьяволы... догоню когда-нибудь — живьем проглочу!..»

Солдаты со смоляными факелами в руках, подбежав к топке, сложенной вокруг оторопелых жителей, подожгли ее. Огонь занялся нехотя, из кучи сушняка зазмеились во

все стороны узкие язычки пламени, над холмами тонкими струйками взвился чадный дым. Несмышленые дети умолкли, с любопытством таращили глазенки на суетливую возню факельщиков. Первыми обо всем догадались женщины и подняли истошный вой.

Огонь разбушевался, загудел грозно, неистово. Встал плотной стеной между обреченными пленниками и вооруженными солдатами. Дыхание пламени становилось все нестерпимей. Солдаты, держа ружья наизготове, понемногу отступили назад, радуясь хотя бы тому, что не видят в бушующем пламени адские муки живьем горящих людей. Из огненного круга доносились душераздирающие крики и вопли, от которых кровь стыла в жилах.

Кирилов стоял как вкопанный. Даже не отвернулся. Крики, вопли усилились, слились в сплошной вой. Кирилов догадывался, какие жуткие проклятья обрушивали охваченные гибельным огнем люди на него, а также на венценосную голову императрицы. Из грохочущего огня, взметнувшегося к небу, то здесь, то там вырывались объятые пламенем люди, но их тотчас скашивала солдатская пуля. В треске и гуле огня не слышно было даже выстрелов.

Вершина холма с одиноким шестом окуталась смрадным, жирным дымом. Запахло паленым мясом. Чувствуя, как неодолимо подкатывается тошнота, Кирилов сморщился, спиной повернулся к ветру и увидел неподалеку от себя старика башкира с тощей кадыкастой шеей.

Старик по-прежнему глядел отрешенно, словно его ничего не касалось. А Дьяков, находившийся поближе, весь сник, скрючился, и плечи его вздрагивали. У Кирилова тоже закружилась голова, и поташнивало, и почудилось ему на миг, что находится в открытом море один-одинешенек, и неведомо ему, куда плывет. Над ним все кружилась и кружилась, обжигая невыносимым жаром, зловещая гигантская птица и судорожно хлопала багровыми крылами. Нет, он не может больше выдержать этого. Пропади все пропадом! Сейчас он ускачет от этого проклятого места куда глаза глядят. И пусть настигнет его хоть какая кара. Пусть даже смерть. Но здесь он больше ни на миг не задержится! Он повернулся к своему коню и вдруг явственно увидел, как, вырвавшись из плотного кольца пламени, мелькнула в небе белая звезда.

Дальнейшее произошло как во сне, в одно мгновенье. Кто-то сбил его с ног и всем телом навалился на не-

го. Он еще услышал треск и гул разгулявшегося огня, ружейную пальбу, крики, проклятья, матерную ругань, предсмертные хрипы и вопли обезумевших людей, и ходуном заходила под ним земля, и сам он стремительно проваливался в черную бездну, преследуемый огненным вихрем...

Очнувшись, он почувствовал, что кто-то поддерживал его под руку. Вокруг ярился осатаневший огонь. Огромные языки пламени, уничтожая и сокрушая все на земле, исступленно рвались к небу, будто желая в своем неистовстве разорвать его в клочья. И еще чудилось Кирилову, что огонь норовит накрыть и проглотить его самого. И было непонятно, почему он лежит на земле, откуда рядом с ним взялся молчаливый старик башкир, зачем он дергает его за руки, силится его поднять и при этом что-то болбочет, даже вроде как кричит. Но ничего разобрать Кирилов не мог, только видел, как у башкира беспрестанно шевелились губы, и лицо его похоже было на головешку, а глаза в красных прожилках глядели слепо.

Пошатываясь, Кирилов поднялся. Старик башкир показал рукой в сторону. Там бездыханно лежал, бугрясь, соловый гривастый жеребец, на котором Кирилов обычно ездил в походах. В длинном черепе его торчал топор с гладким белым топорищем. Старик подошел, и, опершись ногой в шею жеребца, с усилием вытащил топор.

Кирилова замутило. Вот оно что! Выходит, померещившаяся ему белая звезда, что взметнулась из гущи огня, была на самом деле острым топором. И им кто-то целился в него, в Кирилова. Как же охранники могли не заметить этого? Или кто-то из солдат по неосторожности забыл топор возле топки? Странно... непонятно все это...

Кирилова, поддерживая с двух сторон, осторожно усадили в крытый возок. Он почувствовал свинцовую тяжесть в правой стороне груди, а под лопаткой остро покалывала, огнем обжигала боль.

Жуткая апатия, похожая на тягостный сон, обрушилась после этого на Кирилова. Он помнил, что ехали долго и молча. И еще он помнил, что его вынесли из возка и уложили в постель. А потом неизвестно сколько времени метался в жару. И тяжело ему было закрывать глаза, ибо тотчас начинал ему мерещиться неистовый пожар, и бушующее пламя неотступно преследовало его, и он отчаянно отбивался, отползал на четвереньках, прижимался к земле, задыхался. Но пламя каждый раз настигало его,

облизывало, опаляло ноги, и он явственно ощущал смрадный дух обгорелых костей. И все же из последних сил он вырывался, пытался уйти от преследующего огня и видел, как впереди, совсем-совсем близко, поблескивала спасительная гладь озера. Не раздумывая, он бросился в него и поплыл-поплыл, загребая размашисто, захлебываясь. Но вода становилась все тяжелей и словно густела, и он уже не плыл, а барахтался в какой-то клейкой жиже, чувствуя, что его, обессиленного, засасывает в трясину, и не выбраться ему, уже не выбраться. Он с омерзением ощутил во рту что-то теплое, сладковатое. Боже милостивый, да это же кровь! Выходит, он не в озере, а в кровавой луже купается! Чувствуя, что захлебывается в крови, он вскрикнул и проснулся. Губы пересохли, и в груди нестерпимо горело, и он просил пить, пить. Он услышал рядом чьи-то стоны, предсмертные хрипы. Кто-то поднес ко рту полную чашу воды, и он жадно, большими глотками, звучно водя кадыком, начал пить. И опять отчетливо почуял вкус крови. Что же это? Он открыл глаза и увидел склонившегося над ним долговязого старика башкира с чашкой в руке. А в чашке — кровь! Кровь живьем сожженных им башкир! Как же так?! Какая может быть кровь у сожженных и превращенных в пепел, в прах? Он выбил из рук старика чашу, и багровая кровь залила всю постель.

Теряя сознание, он вновь закрывал глаза. И снова тотчас накатывался на него огонь, и опять тщетно искал он от него спасения. И снова плыл-плыл по озеру, которое вскоре превращалось в кровавую лужу. Томимый страхом и испепеляющей все нутро жаждой, он просыпался, просил пить. И старик башкир услужливо протягивал ему чашу, наполненную кровью. И Кирилов опять судорожно отмахивался от нее.

И неизвестно ему было, сколько продолжалось это наваждение.

Однажды, проснувшись от мучительной жажды, он совершенно четко осознал, что лежит в тепло натопленном, из деревянного сруба, доме, в котором дивно пахло лиственницей. У изножья, на скамейке, горбился долговязый тощий старик. Рядом на столике стояла деревянная чаша с молоком. Он поднял голову, осторожно, дрожащими от слабости руками поднес чашу ко рту, начал пить. И опять брезгливо сморщился, почувствовал во рту сладковатый привкус крови. Все же, плеская на себя, осушил чашу, залил опустошительный огонь в груди, испытывая желанное

облегчение. И тотчас снова погрузился в легкую приятную дрему. И в телесной благости продремал до обеда. Яркие солнечные лучи струились в окно. В комнате было светло, чисто. Кто-то спал на кровати у противоположной стены. Кирилов узнал его по светлым, соломенным волосам. Дьяков. Рядом, на деревянном табурете, стояла чаша с молоком. Выходит, и он, его помощник, хвор.

Заметив, что он пришел в себя, кто-то возле двери завозился. Старик молчун тихо подошел к нему, осклабился, выказав белые зубы. Должно быть, обрадовался. Худощавое лицо его по-прежнему казалось обугленным. Старик поспешно направился к выходу. Тут же вошли двое: начальник штаба и порученец Румянцева. Оказалось, пришли осведомиться о его здоровье и обговорить маршруты предстоящего пути.

В тот день после обеда Кирилов был уже в состоянии подняться с постели. Старик башкир внес пузатый самовар, и Кирилов, обливаясь потом, с удовольствием почаевничал. И на этот раз спас его от смерти и вылечил своими травками-настоями молчаливый башкир. Выяснилось, что все эти дни он усердно потчевал больного конским салом с кобыльим квашеным молоком, называемым туземцами кумысом. Так Кирилов убедился в целебных свойствах этого напитка. И еще он понял, что его отряд уже пять дней находился в этом башкирском селении. И все эти пять дней и он, и Дьяков провалялись в забытье, и от них ни на шаг не отходили старик башкир и начальник штаба.

Придя в себя, Кирилов засучил рукава и склонился над картой. Потом тщательно сверил ее с походной картой, доставленной порученцем Румянцева, и нанес необходимые пометы. Два вооруженных отряда, двумя маршрутами прочесав все башкирские поселения, должны были к празднику святого Петра встретиться возле реки Кугяш. Отряд, достигший цели первым, обязан был разбить лагерь и подготовиться к встрече другого. О дальнейших действиях решено было договориться на месте.

Порученец Румянцева, сложив военную карту в планшет, отправился в свой отряд, а карту Кирилова начальник штаба забрал себе. Молчун старик вынес опустевший пузатый самовар в сенцы. Кирилов остановил его:

— Голубчик, ты, кажется, устал. Отправься в штаб и выспись. С тутошними делами справится и дневальный.

Старик башкир кивнул головой и удалился. Кирилов

снова нырнул в постель и крепко уснул. И сколько проспал — он не помнил. Кто-то растормошил его, заполошенно крича:

— Пожар! Пожар!..

Кирилов и не заметил, как вскочил, оделся и выбежал на улицу. Мороз заметно усилился и больно пощипывал лицо. Снег поскрипывал под ногами. На противоположной стороне улицы, ежась от холода, суетились, метались солдаты, гремели ведрами, лопатами гребли снег и швыряли его в огонь. Дом, в котором расположился штаб, судя по всему, одновременно подожгли с нескольких сторон: пламя вздымалось от двери, вырывалось из окон, бушевало вдоль высокого деревянного забора. Хозяин дома вместе со своим скотом и скарбом, а также весь штаб очутились в огненном кольце, и ни одна живая душа не могла спастись. У входа обнаружили обгоревший труп постового. В груди его торчал булатный нож.

Враг, судя по всему, был сведущ и коварен. И действовал четко, расчетливо. И находился, несомненно, где-то поблизости. Вероятно, это был кто-то из жителей деревни. Поймать его сейчас было невозможно. Да и ни к чему. Все эти туземцы в рваной овчине одним миром мазаны. Это они затеяли пожар. И пусть пеняют на себя. Он, Кирилов, им такой костер устроит — на том свете помнить будут.

Кирилов тотчас созвал офицеров.

— Немедля выгоните раздетыми из домов всех жителей! И пригоните сюда, к огню.

Солдаты побежали по домам. Через полчаса согнали у огня продрогших насквозь жителей поселка, построили в ряд. Старики, женщины, дети в домашней одежде, в исподнем зябко ежились, переминались с ноги на ногу, жались друг к другу, едва не лезли в огонь, спасаясь от лютой стужи. Кирилов глядел на толпу несчастных со злорадством и ненавистью.

— Ну, что... мерзавцы?! С огнем играть захотелось? Так будет вам огонь!

И, выждав паузу, обернулся к строю солдат, зычно выкрикнул:

— Сжечь деревню дотла!

Солдаты выхватили из огня пылающие головни и бросились к домам. Через некоторое время пожар охватил все селение. Густая ночная темь испуганно раздвинулась, шарахнулась прочь, и зловещий свет пожара залил всю окрестность.

Между двумя потоками огня, зажавших тесную улочку, стояли лицом к лицу две колонны: строй вооруженных солдат и беззащитная, безоружная, полуодетая толпа мирных жителей. Послышалась резкая барабанная дробь. После переклички обнаружилось, что в огне погибло пятнадцать человек во главе с начальником штаба. Не нашли и молчаливого старика башкира. Жалость и досада охватили Кирилова: как-никак долговязый угрюмый старик дважды спас его от верной смерти. И глядя на него, Кирилов полагал, что со временем и из среды бестолковых туземцев могут, пожалуй, выйти дельные и полезные люди. Теперь вот и эта его ничтожная надежда бесследно погибла под грудой догорающего дома. Нет, от этих дикарей не жди никакого прока. Коварный, лживый, кровожадный сброд, недостойный доброго человеческого отношения. И отныне от него, Кирилова, е будет никакой пощады. Верно замечено: враг есть враг, а жалеть его — значит самому околеть.

Кирилов прокашлялся.

— Вечная память невинно убиенным соотечественникам нашим, погибшим от рук невежественных и коварных враждолюбцев, коим темным рассудкам недоступны благие помыслы великой державы!

Солдаты дали пятнадцатикратный оружейный залп. Толпа смертников вздрогнула, онемела, решив, видно, что ружья нацелены на нее.

Обрушившуюся ночную тишь вновь взорвала зычная команда:

— По ко-о-о-ня-ам!..

Твердым шагом Кирилов направился к крытому возку и исчез в нем. Отряд выступил в поход. В морозной ночи на пронизывающем ветру осталась толпа полуодетых жителей сожженной деревни. Огонь догорал. Зловеще мерцали, гасли в развороченном снегу последние искры...

Никакие сомнения после этой ночи не раздирали Кирилова. Он уже не испытывал ни малейшей жалости или сострадания. Жестоко, люто уничтожал он все на своем пути. Предавал всеистребляющему огню все живое. Иногда сжигал только аулы, зимовья, бросив жителей в студеной степи на съедение шакалам и воронью. Там, где проходил карательный отряд Кирилова, оставались разруха, пепелище, смерть, и над ним неотступно кружилась, оглашая всю окрестность зловещим карканьем, черная воронья стая.

С усилением карательных мер все более ожесточались и бунтовщики. Обе стороны озверели. Лютовали каратели. Их

преследовали по пятам мятежники. Предводителям карательных войск опасность грозила отовсюду. Не однажды Кирилов оказывался на краю гибели. Едва не угодил в волчий капкан, незаметно расставленный у входа в дом. Несколько раз в петлице для прикрепления стремени к седлу находили яд. В последнее время он прикасался лишь к той пище, которую готовил либо Дьяков, либо он сам. В походе он даже избегал садиться в повозку, а, выстроив солдат в ряд, останавливал свой выбор на чьей-нибудь невзрачной лошаденке. Он чувствовал себя затравленным.

В обговоренный срок отряд Кирилова вышел к реке Кугяш. В лагере Румянцева царила суматоха. Вся долина реки была усеяна трупами людей и лошадей. По седлам с изогнутыми луками и синим стрелам, разбросанным повсюду, можно было догадаться, что здесь происходила отчаянная сеча с мятежниками. О том, что здесь случилось, Кирилов узнал потом из уст Румянцева.

Накануне праздника святого Петра Румянцев достиг берега реки Кугяш в ста двадцати верстах от Уфы и раскинул лагерь.

Местность оказалась дивная. Вокруг стоял дремучий лес. Густые травы источали дурманящий запах. В листве без умолку заливались соловьи. Норовистая река Кугяш текла необычно спокойно, мирно. Слышался веселый всплеск волн: казалось, похихикивала игривая молодайка, которой уж больно щекотно было от чьих-то нетерпеливых рук.

Разморенная, душная ночь на исходе июня не вселяла тревоги. До глубокой ночи в отряде не спали: ставили шатры, располагались поудобней, ужинали, выставляли дозорных, укрепляли пушки. И лишь перед восходом солнца усталость и сон сморили всех.

Генерал очнулся от неожиданного грохота. У входной части огромного трехкрылого генеральского шатра дневал полковник Усов. На заре он, уронив голову на военную карту, расстеленную на сколоченном из досок столе, должно быть, задремал и тотчас испуганно вздохнул, почувствовав прикосновение под подбородком чего-то колючего. Не успел он опомниться, как его, загнав в рот кляп и захлестнув волосяной аркан на шее, грубо и спешно куда-то поволокли.

Когда генерал в одном исподнем выскочил, дозорные у входа лежали бездыханно, пронзенные кинжалом. Дежур-

ного полковника на месте не оказалось. В сторону березовой рощи неподалеку метнулось несколько теней; оттуда доносились приглушенные шаги.

Генерал выстрелил в воздух. Подскочивших к нему полусонных казаков немедленно направил к роще. Сам же вновь кинулся в шатер, лихорадочно оделся и разбудил весь штаб. Солдаты поспешно расчехлили пушки, зарядили их ядрами.

Тут-то и выяснилось, что в глухом лесу, плотно обступившем долину реки, затаились бесчисленные мятежники. Они с самого вечера глаз не спускали с лагеря. Вызнали, где расположился штаб, где находился главный командующий. Замысел их был предерзок: выкрасть под покровом ночи самого генерала. В лагере, естественно, возникнет замешательство. Пока часть солдат кинется в погоню, пытаясь освободить командующего, основные силы мятежников обрушатся ураганом на лагерь, захватят пушки, боеприпасы, продовольствие. А дальше...

Даже потом, рассказывая об этом Кирилову, Румянцев почувствовал от одной этой мысли оторопь. Поистине все висело на волоске. Если отчаянным мятежникам удалось бы осуществить свой замысел, с ними не было бы потом сладу...

Из леса хлынула конница мятежников. Во мраке ночи все явственней слышался дробный топот копыт. Он накатывался грозно, оглушительно, точно грозовая туча с градом.

Румянцев и его офицеры деловито, без шума готовились к отражению натиска. Цепью выставили пушки. Генерал сразу же разгадал намерение противника и отправил группу за группой конных казаков туда, откуда стремительно приближался гулкий топот.

Мятежники, должно быть, решили, что им удалось отвлечь отряды русских, что лагерь опустел, и потому, пользуясь непроглядной теменью, шли наметом, сплошной массой. Земля тревожно гудела под копытами многотысячной конницы.

Между тем занималась ранняя летняя заря, и мятежники вдруг увидели, что едва не наткнулись на всем скаку на русские штыки, ощетинившиеся вокруг лагеря. В головной части мятежников произошло замешательство. И в это время из засады грохнули пушки. Повстанцы поняли, что попали в ловушку, и с отчаяния ввязались в открытый, ближний бой. Недолго сопротивлялась вольная конница степняков. Через несколько часов жаркой схватки

полегли скошенные пулями и ядрами около восьми тысяч бунтовщиков. В войсках Румянцева было убито сто восемьдесят и ранено шестьдесят солдат. Полковник Усов исчез бесследно.

С восходом солнца мятежники воочию убедились, что замысел их не удался: лагерь стоял на месте, и Румянцев был жив. Часть повстанцев, отстреливаясь и отбиваясь, сумела-таки добраться до леса и раствориться в нем.

То было последним сражением генерала Румянцева с мятежными башкирами. После этого срочным распоряжением из Петербурга его направили на турецкий фронт. На его место — возглавлять башкирскую комиссию — заступил бригадир Хрущов.

К этому времени мятеж резко пошел на убыль. После сечи в долине реки Кугяш исчезло само имя неукротимого Калмака Абыза. Одни поговаривали, что он был убит в сражении, но верные нукеры вывезли его тело. Другие утверждали, что, не сумев пленить русского командующего, он с отчаяния покончил с собой, бросившись с кручи в пропасть. Как бы там ни было, неистового мятежника уже никто не видел и ничего о нем не слышал. Исчез, как в воду канул.

Со всей степи потянулись толпы мятежников, моля о пощаде. В Мензелинск для покаяния прибыло четыре тысячи повстанцев. Из них сто пятьдесят человек было отобрано в аманатство, остальных повесили, выслали на каторгу, сгноили в тюрьмах.

Поражение привело к распрям среди башкир. Не желая напрасно погибнуть в пору жестоких карательных мер, некоторые решили выслужиться перед белой царицей, и потому, организовав небольшие отряды, сами вылавливали в степях и лесах наиболее ретивых бунтовщиков и доставляли их вместе с женами и детьми на расправу. Их тотчас вешали, а жен и детей отправляли в глубь империи в холопы. Пять тысяч мужчин было сослано в Рогервик на каторжные работы.

После событий в Табынске Кирилов никак не мог оправиться от хвори. Однако весть о беспощадном подавлении мятежа его приободрила. Почувствовав прилив сил, он снова засел за карту. Верный помощник Дьяков, такой же сухопарый, тощий, как и он, также часто побаливал в последнее время. Однако от начальника своего не отставал: попивая густой душистый чай, оба целыми днями корпели над картой, старательно отмечая очищенные от мятежни-

ков места. На карте башкирские степи напоминали шкуру овцы, понемногу излечивающейся от парши: все меньше оставалось на ней зловещих проплешин. Теперь важно воспользоваться растерянностью в стане противника и безотлагательно построить в наиболее опасных местах военные укрепления. Без них вряд ли возможно углубляться в коварные азиатские просторы. Начать строительство укреплений необходимо сейчас же, еще до наступления осеннего ненастья. Иначе может повториться то самое, что случилось с гарнизоном на реке Орь...

Размышляя обо всем этом, Кирилов по давнему своему обыкновению заходил взад-вперед по кабинету. Не сиделось ему на месте. В поисках удобного места для будущих военных укреплений и поселений он отправился в путь в сторону Табынска, а в Сакмарскую степь с этой же целью отправил поручика Бахметова.

Табынск — пока что единственное место в бескрайней шири, где обнаружены полезные ископаемые. Поэтому во избежание всевозможных каверз со стороны туземцев необходимо срочно построить здесь надежное укрепление.

Кирилов распорядился приступить своим людям к земляным работам. В короткое время был заложен фундамент под крепостной вал с пятью караульными вышками, под медеплавильный завод и церковь Воскресная Господня. Неподалеку от соляных копей в пустынной степи вскоре явственно обозначились очертания будущей крепости.

Кирилов еле держался на ногах, харкал кровью, но покоя-поблажки себе не давал. Целыми днями, пропыленный насквозь, пропадал на стройке. Ночи же напролет просиживал за бумагами. Он сильно исхудал, глаза провалились, нос еще более вытянулся. Он даже боялся лечь в постель, ибо не находил в себе силы вставать по утрам. Случалось, лежал без сна, тупо уставясь в потолок, предаваясь тоскливым думам. Казалось, достаточно было ему пошевельнуться, как рассыплется изболевшееся тело — косточки потом не соберешь. Но стоило в таких случаях войти кому-нибудь с неутешительной вестью о строительстве крепости, и он сам не замечал, как тут же вскакивал и собирался в путь.

В тот памятный день он почувствовал себя особенно худо и лежал неподвижно, плотно укрывшись медвежьей шубой. Неожиданно ввалился всполошенный Дьяков. От возбуждения мощный нос его покрылся испариной. Обычно

такое с ним бывало на радостях. И, зная об этом, Кирилов успокоился и еще глубже зарылся в теплую постель. «Что-то, кажись, я совсем обайбачился,— подумалось ему с досадой.— Вокруг уйма дел, а я тут вылеживаюсь...»

— Ваше превосходительство...

Голос Дьякова сорвался от волнения.

— Ваше превосходительство... Господин Джон Кестли, вернувшись из киргиз-кайсацких степей, просит аудиенции...

Господи, кто еще такой? Джон Кестли... дай бог памяти. А-а... англичанин-рисовальщик? Да, да... получив тревожную весть от капитана Рагузина, помнится, срочно выслал ему конвой... Быстро, однако, обернулся. А ведь возвращался с Ори! Любопытно, что же там происходит? С какими новостями пожаловал неугомонный чужеземец?

В только что тусклых очах Кирилова, бессмысленно уставившихся в потолок, вспыхнули живые искорки.

— Пусть малость повременит.

Кирилов встал резко. Начал быстро приводить себя в порядок. Хм-м... Так прямо и сказал бы: «Вернулся с устья реки Орь...» А то... из киргиз-кайсацких степей... При чем тут киргиз-кайсаки? Ах, да... Чемодуров в своем письме, помнится, уведомил его о том, что отправил посольство к хану Абулхаиру... Выходит, его же и отправили. Неужели не могли найти другого человека? Почему прибегли к услугам проныры-англичанина?.. Или он сам вызвался? Конечно, российские немцы и англичане не могут без того, чтобы не совать всюду свой нос. Все им чудится, что Россия без них не обойдется. Пропадет, сгинет. Впрочем, его могла потянуть к киргиз-кайсакам и обыкновенная любознательность. Этого качества у иностранцев не отнимешь...

Пошатываясь, он дошел до двери. Но стоило ему переступить порог, как усилием воли унял дрожь в ногах и весь подтянулся. В приемной дожидались его пять человек. От них шел густой, терпкий запах степных трав, ветра и солнца. Троих из них нельзя было отличить друг от друга. Казалось, всевышний создал их на одну колодку из одной и той же глины.

Черные гладкие лица лоснились; крошечные мышиные глазки хитровато поблескивали, мелкие крепкие зубы отливали белизной. И больше ничего в их обличье не привлекало внимания. Лишь возле рта наметилась кое-какая растительность. Череп выбрит до синевы. И на щеках ни

единой щетинки. И с места поднялись, и руки приложили к груди, и поклонилась ему совершенно одинаково, будто заводные болванки. При его появлении все трое одинаково угодливо осклабились, но тут же, словно кто-то окатил их ледяной водой, спохватились и застыли в почтительной позе. И в дальнейшем, отвечая на его очередной вопрос, каждый раз сначала изображали на постных лицах подобострастную улыбку, а заканчивая речь, вновь принимали учтиво-непроницаемое выражение. Боже праведный, как же при таком внешнем облике и одинаковых повадках изволите отличать их друг от друга?! И как только их женам в толпе сплошь плосколицых, узкоглазых, кривоногих степняков удается узнавать своих мужей? По сравнению с башкирами, эти уж больно однообразны и безлики. Среди тех, хоть и изредка, а все же встречались светлолицые и даже рыжебородые. На этих же глядя уже не сомневаешься в том, что всевышний слепил человеческий род действительно из глины. Да и глина-то ведь разная бывает. Видно, для создания кайсаков творец использовал что ни на есть черные залежи из-под протухших степных озер. О том, что на свете бывает еще более черный цвет, можно было предположить, лишь глядя на их усы. Вслушиваясь в их гортанную речь, похожую на бессвязное лопотанье, непросто даже было вникнуть в суть того, что тотчас перекладывал на русский язык бойкий татарин-толмач. Более того, даже было сомнение: неужели их невнятный лепет означал именно то, что толмач излагал так уверенно и понятно по-русски? Интересно, что у них на уме? Какова степень их умственного развития? Чем объясняется этот любопытный блеск глаз? Такое выражение глаз свойственно обычно несмышленым детям, которым все вокруг в диковинку. Может, и у этих сознание находится пока в младенческом состоянии? И тогда, выходит, им нужен заботливый наставник, опекун, поводырь, всегда, всюду оберегающий их от превратностей и опасностей жизни, водящий их за руки, спасающий от бед? Только сознают ли они это сами? А вдруг из-за своей неразумности и они начнут строптивиться, подобно башкирам? Ведь строптивость ведет к мятежу, а мятеж — та же шалость. А шалость больше свойственна детям... Все это, конечно, так, однако то, о чем говорил, отправившись в Петербург, ханский отпрыск Ералы и о чем так убежденно лопочут, поблескивая глазами и встряхивая головами, эти трое кайсаков, очень плохо вяжется с ша-

лостью и детскостью. Может быть, блюдя какую-то свою корысть, и тех, и других ловко обмишуливают лукавые татары-толмачи? С ними ведь тоже ухо держи востро. Не успевают кайсаки рот закрыть, как эти уже тараторят вовсю... Попробуй, пойми, догадайся, что на самом деле они замышляют. Хан Абулхаир еще раз вроде уверяет власти в своей верности державному трону и выражает готовность поспособствовать в подавлении башкирского мятежа... Любопытно, какая ему в том корысть?.. Ладно, о том лучше потом порасспросить расторопного англичанина. А эти лопоухие прокопченные кайсаки пусть отправятся пока в отведенное им место. Ответ они получат позже...

Трое степняков во главе с толмачом, почтительно кланяясь и прижимая руки к груди, направились к выходу. Ступали они по полу осторожно, на цыпочках, будто по неокрепшему еще льду.

Лишь теперь Кирилов позволил себе сесть за стол. В кабинете, кроме него, остались трое: англичанин Кестли, юноша-немец Дитрих и Дьяков. Кестли загорел до черноты. И если бы не светлые, как ковыль, волосы, круглые голубые глаза, он вполне сошел бы за кочевника-бедуина. Сильно исхудал, осунулся. На жилистой шее явно выделялся мощный кадык. Уж не воду ли на нем возил кайсацкий хан?.. Ах, вон как... происки мятежных остяков... От них, значит, все напасти. Понятно... Едва выбрались из кайсацких степей, как из-за перевала накинулись на них аламаны-разбойники. Захватили их и несколько дней продержали в плену. «Едва не околели с голоду»,— говорит. Хм-м... Это, батенька, еще ничего, коли избежал участи несчастного священника из полка Чижова. Эти злодеи могли бы и распять. И не будь с тобой сопровождающих кайсаков, выделенных в дорогу ханом, вряд ли бы с тобой стали церемониться, и тогда не сидел бы сейчас целехонький передо мной. Кто знает, в таком случае могли возникнуть новые неприятности между британским и российским тронами. Впрочем, едва ли британская империя стала бы особенно оплакивать какого-то купчишку-бродягу. Эка невидаль! Хотя кто знает... Этот лукавец в действительности является представителем британских торговых компаний в России. И когда ему, Кирилову, понадобился художник, он сам пригласил его в свою экспедицию. Был у него дальний прицел: хотел заинтересовать британцев торговлей со Средней Азией и тем самым ока-

зать воздействие на сенат. Англия настойчиво искала новых торговых путей с Индией через Среднюю Азию, и это обстоятельство не могло не разбудить самодовольных, но недальновидных петербургских сановников. В самом деле, разве мыслимо столь соблазнительную возможность добровольно уступить ненасытному британскому льву? Не лучше ли самим попользоваться добычей? И тогда в правительствующем Сенате наверняка побольше внимания уделяли бы всем его, Кирилова, прошпектам. Вот ради этого он и привлек к себе предприимчивого англичанина. Лишь заинтересовав и приковав к себе внимание иноземцев, можно повлиять на дремучие умы своих сановных соотечественников.

Кестли, конечно, все прекрасно понимал. И вообще был себе на уме. Уж кого-кого, а его на мякине не проведешь. И слова-то он цедил нехотя, осторожно, оглядчиво. Спросишь — ответит, а больше — ни-ни. Бывают такие охотничьи собаки, коих силком на зверя не натравишь. Странно... раньше он вроде не замечал за британцем такое. В пору строительства крепости на реке Орь, он, кажется, был разговорчивей. Может, он еще не пришел в себя после долгого и опасного пути? Или за эту поездку успел убедиться в бесплодности всех их многочисленных заманчивых прожектов? Неужели в раздольных кайсацких степях он не обнаружил ничего достойного внимания? Это вселяет тревогу. Если англичанин, или немцы, или еще какие-либо иноземцы не проявят никакого интереса к азиатским просторам, то Петербург, временно приостановивший деятельность Оренбургской экспедиции, завтра непременно и вовсе ее отменит. Но нет... Этот прожженный плут наверняка что-то утаивает. Он ведь вдосталь обшарил в тех краях и низовья, и верховья. И, надо полагать, те два холщовых мешка набиты по самую завязку не кизяком, а образцами различных пород и минералов.

Кирилов дал Дьякову, молча прислушивавшемуся в сторонке к разговору, знак, кивнув на холщовые мешки. Тот, сразу все поняв, с трудом приволок оба мешка и высыпал их содержимое на огромный, из деревянных плах сколоченный стол. У Кирилова разбежались глаза: столько разноцветных, разноликих камней — бирюзовые, золотистые, коричневые, аспидно-черные, гладкие, шершавые, с крапинками, с зернистыми наростами! Нет, не простые камушки. Минералогия — давняя слабость Кирилова. Эти образцы пород необходимо немедля отправить в Самару или

в Петербург, пусть изучат их тамошние знатоки в сво. лабораториях, определят их ценность. А пока что совершенно очевидно: кайсацкие степи — неведомая кладовая богатств.

Кестли, подперев рукой щеку, взирал на это равнодушно. Лишь время от времени он искоса взглядывал на увлекшегося минералами Кирилова, и тогда в глубине его голубых глаз вспыхивали упрямые, колючие искорки.

Кирилов видел все это, но делал вид, что не замечал. Вроде бы как дуется на что-то привередливый англичанин. Да пусть хоть лопнет! Эту коллекцию ему уже не видеть, как своих ушей. Не может Россия ни за что ни про что раздаривать свои сокровища каким-то иноземцам-бродягам... Ладно, что сокрыто под кайсацкими степями — мы еще узнаем. А вот что же находится на поверхности... Верно ли, что кайсаки обладают несметными табунами лошадей, бесчисленными отарами овец и стадами верблюдов с пышной шелковистой шерстью, до которой, подражая французам, особенно охочей стала в последнее время русская знать?.. Оказывается, истинная правда... Только точнее определить их несметность англичанину было недосуг. Однако кайсацкие богачи уверяют, что был бы рынок, а за скотиной дело не станет, нагонят, сколько надо.

Мрачные складки на челе Кирилова понемногу разгладились. Ну чего же молчал до сих пор, дьявол голубоглазый? Рассказывай, выкладывай... Кто они, эти кайсаки? Какие они? Как живут? Имеют ли войско, оружие? Каковы нравы, обычаи, обряды?.. Каков уровень сознания?

О, тут-то Кестли, наконец, разговорился! Все более увлекаясь, красочно расписал все прелести кочевой жизни. Про аулы поведал, про пиры-праздники, про степные забавы. А когда начал описывать шествие разнаряженного кочевья, бедняга аж захлебнулся от восторга и глаза закатил. Ах, ах... какая красота! Какая поэзия! Экзотика!... Кирилов скривился. Наивный, впечатлительный иноземец! Если они, подобно башкирам, оседлают завтра боевых коней да с пиками обрушатся на тебя, аки волки свирепые, тогда будет тебе и «поэзия» и «экзотика»! Конечно, когда возлежишь на пышных коврах и подушках в ханском шатре, то все тебе кажется прекрасным и величественным...

И чем более распалялся, рассказывая, Кестли, тем заметнее замыкался в себе и плотнее сжимал губы Кирилов.

По рассказам англичанина, хан Абулхаир встретил его щедро и радушно. И по тому, как он устроил пышную встречу какому-то иноземцу, можно предположить, что к русскому трону кайсаки питают искреннюю благосклонность. Особенно было приятно слышать о том, что к хану Абулхаиру съезжались предводители родов из строптивого Среднего жуза, и Кестли лично присутствовал на церемонии клятвенных заверений в верноподданстве. Выходит, Абулхаир не сидит сложа руки, а настойчиво расширяет и укрепляет свое влияние среди кайсацких правителей.

И как кстати оказалась поездка Джона Кестли в ханскую ставку! Отрадно также, что кайсацкий хан учинил суровую расправу над разбойниками, пригнавшими башкирским мятежникам табуны лошадей. Это означает, что он решительно отмежевывается от бунтовщиков. Более того, он даже изъявил добрую волю участвовать в их подавлении. Что ж... похвальное рвение. Правда, с башкирскими мятежниками доблестные воины ее императорского величества расправятся и без кайсацкой подмоги, но тем не менее отмахиваться от нее не стоит: пусть туземцев раздирает междоусобица. Легче ими будет управлять. И то похвально, что не по своему разумению действуют, не по наущению своих близоруких предводителей, а покорно просят соизволения у верных слуг державного трона. И уж коли возникло у них желание наказать строптивцев башкир, то он, Кирилов, возражать, пожалуй, не станет.

Кирилов настороженно покосился на англичанина. Интересно, имеет ли в тех краях влияние Южная Порта? Будучи в Петербурге, он узнал, будто Британия с Портой нашли общий язык и едва ли не дудят в одну дуду. Стоит ли о том спросить этого хитрюгу?.. Или?.. К вящему удовольствию Кирилова, англичанин сам вдруг затеял о том речь. По словам Абулхаира, в кайсацких степях шныряют агенты Порты. Однако таким влиянием, как среди башкир, не пользуются. Тем не менее хан выразил желание скорее построить город на реке Орь, дабы решительно пресечь саму возможность для каких бы то ни было смут. Хм... «выразил желание»! Можно подумать, что он, Кирилов, желает этого менее страстно, нежели кайсацкий хан. Да разве из-за головорезов-башкир руки до этого доходят?! Однако кайсацкий хан и его поступки вызывают явную благосклонность. И все-таки не совсем ясно, чем объяснить его особенное рвение. Чем вызвана его

готовность услужить и угодить русскому трону? А-а... вот оно что!.. Он хочет укрепить свою власть. Мечтает стать верховным ханом всех кайсаков. Ну, пусть себе укрепляет! Если у него на то хватит сил, никто возражать не будет. Коли среди туземцев найдется волевой правитель, способный держать в крепкой узде столь разношерстный, разноплеменный кайсацкий люд, то в Российской империи наверняка сыщется сила, способная удержать такого правителя в ежовых рукавицах. За этим дело не станет!

По мнению Кестли, такого правителя, как хан Абулхаир, следует всячески поддерживать, ибо это сулит взаимную выгоду. Ой ли?! Кирилов в упор уставился на англичанина. Тот не смутился, не отвел взгляда. А потом заговорил быстро, складно, убедительно, решив, должно быть, что его недостаточно ясно поняли. Между тем понять англичанина было несложно. По его убеждению, со степняками предпочтительнее разговаривать не языком пушек, а языком дипломатии — улыбкою и ласкою. Ежели племена, населяющие безбрежную ширь, всколыхнутся и взбунтуются, подобно башкирам, то не только покорить, но даже глубже проникнуть в степь станет невозможно. Прошли те времена, когда, уповая исключительно на силу оружия, можно было спокойно и безнаказанно истреблять туземцев, а потом и завладевать их исконными землями. Ныне следует действовать осторожно и постепенно. Теперь надобно входить в чужой дом вежливо, скромно и, переступив порог, не сразу проходить на почетное место, а ласковыми речами и приятными манерами, вежливостью и обходительностью снискать сначала расположение хозяев, и лишь потом по шажку, по-кошачьи крадучись, пробираться вглубь, иначе они могут возмутиться и вышвырнуть тебя вон. С помощью жестоких карательных мер русскому оружию очень нескоро, а, может, и никогда не удастся приблизиться к границам Индии. Если начнутся волнения и русские ввяжутся в стычки, то вопрос об отправлении торговых караванов через Среднюю Азию в Индию может быть на неопределенное время вообще снят с повестки дня...

Так, так... Теперь ясно, отчего так нахохлился и надулся лукавец англичанин! Он, выходит, убедился в несостоятельности своего намерения наладить торговый путь с Индией через кайсацкие степи. Сколько, однако, высокомерия и чванства у этих иноземцев! В их представлении русские — такие остолопы, каких и свет не видывал. Там, в Пе-

тербурге, плетет интриги и строит козни коварный Бирон со своей неисчислимой немчурой, уверяя, что без нее русские не различили бы, где лево, где право, и бродили бы в чащобах в медвежьих шкурах, а тут какой-то англичанин-купчишка, обтрепанный и зачуханный, как бродяга-цервиш, также норовит учить нас уму-разуму. Будто без них никто ничего не понимает. Да разве кто-нибудь подстрекает туземцев на бунт? Как бы не так! Сами ведь туземцы на рожон лезут! Разве не о том же думалось некогда и ему — о том, чтобы тихо-мирно, по-доброму, по-хорошему привлечь туземцев на свою сторону? Не с огнем и мечом шел к ним, а со светлыми намерениями и чистыми побуждениями — к цивилизации приобщить помышлял. Для этой цели и поныне возит он повсюду с собой несколько сундуков книг. Да разве эти дикари в состоянии понять добро? Сами ведь говорят: собаке сливочное масло не впрок. Едва смолкает грохот пушек, так и норовят выказывать свой нрав, свою прыть. Как же изволите с ними ладить?

Упрямый англичанин не внял, однако, его возражениям. Более того, ухмылка так и застыла в уголках его губ. Оказывается, нечто подобное он уже имел удовольствие и честь выслушать неделю назад от сакмарского атамана Меровскина. Немногочисленное посольство, радостно возбужденное от того, что благополучно вырвалось из остяцкого плена и прошло опасные башкирские степи, наткнулось, однако, на враждолюбие грубияна-атамана. Сей неотесанный мужлан с ходу ошарашил британца, заявив, что туземцам, сопровождавшим посольство, он не позволит переступить через свой порог. «Пусть эти разбойники вернут живыми семерых казаков и трех баб, коих три года назад выкрали на пашне,— решительно потребовал атаман.— Иначе не токмо посольства, но и самого их хана на порог к себе не пущу!» Кестли ударился в амбицию: «Коли так, то и я останавливаться у тебя не желаю». «Очень ты мне нужен, прихвостень богомерзкого пса Бирона, бродяга бездомный!»— распалился охальник атаман. Такого оскорбления англо-саксонская честь не вынесла. Кестли в возмущении швырнул к его ногам перчатку. Предерзкий атаман и тут не дрогнул. Подозвал застывшего неподалеку дворника и, указав ему кончиком шашки на валявшуюся в пыли перчатку, съёрничал: «Подбери. Авось пригодится». Англичанин-купец, видя, как его дорогая пуховая перчатка бесследно исчезла в бездонных карманах вонючего

мужика, весь задрожал от негодования и растерянности. «Здесь я не задержусь ни на час. Отправь в Уфу!»—«Скатертью дорога! Катись!»— отрезал атаман, кивнув на пыльную тропу, по которой чинной цепочкой возвращалась с речки стая домашних уток. «Башкиры убьют. Дай конвой».—«А убьют — туда и дорога! Не могу я каждому встречному-поперечному конвой давать!»—«Я иностранец. Нахожусь здесь по высочайшей воле русской императрицы. Со мной посольство кайсацкого хана. Неужто ты, невежа, не понимаешь, что чинишь беззаконие и зло?!» Атаман злорадно расхохотался, лихо закрутил усы: «Отвяжись! Нашел кого пугать!» Тогда в отчаянии англичанин напомнил наглому атаману, что он ведь христианин, а потому надобно помочь и ближнему в беде. «Подожди, нечестивец... доберусь только до Петербурга... там я найду на тебя, хама немытого, управу!» Атаман и тут не испугался, а, ухмыльнувшись, сунул иноземцу под нос огромный кукиш...

Кирилов сам не заметил, как громко расхохотался. Честолюбивый британец оскорбился и умолк.

Кирилов спохватился и, вытирая платочком слезы, попросил извинить его. И чтобы как-то утешить купца, заверил его, что непременно накажет самодура атамана.

О дальнейших мытарствах, выпавших на долю посольства, Кирилов и сам знал все подробно. К счастью посольства, которое сакмарский атаман едва не уморил голодом, по тем краям проходил как раз оренбургский драгунный полк под предводительством капитана Рагузина. Через его нарочного Кирилов и узнал о щекотливом положении посольства и тотчас направил ему на подмогу вооруженный конвой. Все кончилось благополучно, но, видно, самолюбивый англичанин все еще никак не мог отойти от потрясения, пережитого от встречи с дремучим невеждой атаманом. «С такими держимордами русским властям будет очень трудно найти общий язык со степняками»,— не преминул заметить, укоризненно покачивая головой, англичанин. Что тут скажешь?! Прав он, конечно! Только где она, возможность наставлять их всех на путь праведный и благий?!

Кирилов сочувственно уставился в лицо Кестли. Поинтересовался, имел ли он возможность запечатлеть на бумаге все свои наблюдения и замечания. Кестли показал толстый путевой дневник, написанный по-немецки. Кирилов полистал его, бегло просмотрел некоторые записи и ска-

зал, что вернет дневник позже, тщательно ознакомившись с ним. Потом заверил купца, что доложит властям о завершении путешествия, которое, несмотря на многие трудности и опасности, оказалось в высшей степени плодотворным.

— Каковы дальнейшие ваши намерения?— спросил Кирилов напоследок. Англичанин повел плечами.— Ладно... Отдохните пока. Скоро вам предстоит новая дорога...

Кестли от неожиданности даже вскочил.

— Отправим вас с посольством в Индию. Жалованье положим вам восемьсот рублей в год.

У англичанина от изумления раскрылся рот. Он не сразу нашелся, что ответить.

— Благодарствую нижайше. Однако ж для этой цели резонно вам подыскать другого человека. Мне это несподручно. Через полгода истекает срок моего контракта. И я обязан вернуться в Петербург, к делам торговой компании.

— О сем поразмыслим в свое время,— загадочно улыбнулся Кирилов.

Сбитый с толку таким оборотом дела, Кестли ринулся к выходу, забыв даже откланяться. Глядя ему вслед и видя, как он понуро повесил голову, Кирилов поначалу испытал злорадное чувство. «То-то же!.. Каждый бродяга считает своим долгом нас поучать. Ишь, заступник туземцев нашелся! За вежливость и обходительность с ними ратует! Поглядел бы на тебя, голубчик, окажись ты месяц среди мятежников. По-другому небось запел бы. По своей наивности он, видно, полагает, что все злодеяния в степи происходят от нас, а туземцы — сплошь пай-мальчики, напрасно и незаслуженно обиженные. Э, нет, пришелец британский! С твоими сантиментами ни в глубь великой степи, ни в Индию никогда нам дороги не проложишь. Лишь крутыми мерами дозволено достичь цели. И всякий бунт следует искоренять беспощадно!»

Кирилов начал мерить шагами просторный кабинет. Значит, у этого купчишки через полгода иссякнет срок контракта? Хм... Придется любой ценой его продлить. Пока не покончим со здешней заварухой, нельзя допустить, чтобы он очутился в Петербурге. Начнет и там к месту и ни к месту о своих мыслях-думах, только что изложенных здесь, трезвонить, и тогда, считай, наступит конец его Оренбургской экспедиции. Мигом ее прикроют. В таком случае лучше умереть, чем снести такой позор. Значит, никак нельзя

этого соглядатая, лазутчика выпустить отсюда, пока экспедиция не приступит вновь к своим делам и обязанностям.

В висках Кирилова нестерпимо закололо. Горячая волна подкатила к голове; в глазах потемнело. Чувствуя, что задыхается, он судорожно расстегнул ворот рубахи и ощутил, как что-то теплое, клейкое хлынуло изо рта. Падая, он еще успел заметить, как, испуганно вытаращив глаза, кинулся к нему Дьяков.

Его доставили в Самару, и с этой поры он уже не отлучался из города. И, можно сказать, все это время не отходил от огромного стола в просторной комнате, с головой ушел в бесчисленные бумаги. Сколько накопилось дел в экспедиции за время вынужденного перерыва! Весь угол кабинета был завален свернутыми в трубку местными картами, которыми снабжали его геодезисты из экспедиции. Кирилов едва успевал их просматривать. Надо бы их свести в одну общую ландкарту края. Но где у него для этого силы и возможности?! К тому же многие места еще не картографированы. Сколько геодезистов пало жертвой неистовых мятежников! На них прямо-таки устраивались облавы. Горстка мятежников выскакивала вдруг из-за холма, отбирала у геодезистов карты и прочее снаряжение и выбрасывала все в озера. Почему-то геодезисты и землемеры вызывали у туземцев особенную ненависть. Казалось, их подзорных труб и обыкновенной деревянной сажени они боялись больше, чем сеявших смерть пушек.

Вон в тех громоздких ящиках хранятся коллекции минералов и засушенных растений, собранные по всем башкирским просторам. Бунтовщики и их не пощадят, попадись они только им в руки. Поэтому при каждой удобной оказии он отправлял их партиями в Петербург, в Академию наук. Лишь с ландкартами и рукописями Кирилов не желал пока расставаться.

С прошлой осени в башкирских степях стало относительно спокойней. Все реже и реже досаждали гонцы тревожными вестями. Это вселяло надежду, и Кирилов втайне намеревался весной выбраться в Оренбург. Он с нетерпением ждал Эльтона и Гока. С английским купцом Гоком Кирилов недавно имел конфиденциальную беседу. По сравнению с Кестли он показался более серьезным, основательным и надежным человеком. Все доводы Кирилова он выслушал внимательно, с живым интересом, и, как показалось, искренне проникся всеми заботами русской эк-

спедиции в степи. Обещал обо всем подробно известить британскую торговую компанию в Петербурге. Если уж иноземные компании проявят любопытство к его прожектам, то, надо полагать, и сонные сановники в Сенате, наконец, очнутся ото сна и предпримут кое-какие действенные меры.

Еще одна неодолимая преграда — весенняя распутица. После суровой снежной зимы следует ожидать особо буйного разлива рек, и тогда, считай, до самого июня с места не стронешься. Ни дороги, ни брода. И это обстоятельство особенно удручало Кирилова. Он потерянно ходил часами взад-вперед по комнате и в тоске даже забывал о своих хворостях. Болезнь и тоска отныне прочно обосновались в нем, и лишь изнурительной работой удавалось их заглушать. Когда он сидел за столом, никто не осмеливался к нему заходить. А если иногда все же робко просовывалась в дверь светловолосая голова Дьякова, то это означало, что вновь пожаловал кто-нибудь из знатных господ. Кирилов от досады отшвыривал перо и хмурился. Разве от этих бездельников отделаешься? Путаются только под ногами, делу мешают. Но... ничего не поделаешь. Со знатью приходится считаться. И Кирилов поспешно приводил себя в порядок, изображал на лице вежливость, мучительно подбирал слова, чтобы переключиться на такие беседы. И он, случалось, ловился на том, что, занятый своими думами, говорит невпопад и ждет не дождется, когда его, наконец, оставят в уединении. В такие минуты он ощущал себя мелким воришкой, которого схватили за руку, и бог весть что о нем потом говорили за глаза его докучливые посетители.

В тот день он по обыкновению раскрыл дневник, дважды подчеркнул аккуратно выведенное число: «14 апреля 1737 года» и задумался. Без скрипа слегка отворилась дубовая дверь, и показалась голова Дьякова. Кирилов вздрогнул.

— Ваше превосходительство... к вам просится Алексей Иванович Тевкелев.

Бледные запавшие щеки Кирилова вспыхнули румянцем. Ах... как кстати... милейший Алексей Иванович. Его первый помощник. Полковник. Сколько лет, сколько зим! Да, да... с тех самых пор, как расстались на Ори, считай, и не виделись...

Сердце его сжалось от волнения. Вспомнилось живо, как когда-то вышли вдвоем, взволнованные, от императрицы,

как готовились в дальние и опасные походы, всколыхнув тихую Уфу, вспомнился и первый трактамент в укреплении на Ори в честь кайсацких принцев. Сколько с тех пор воды утекло!...

Кирилов оторвался от бумаг, возбужденно поднялся. Теплый комок подкатился к горлу. Срывающимся голосом сказал:

— Тевкелев?!.. Проси... проси немедля!..

Вошел невысокого роста, но крепкий статью серолицый человек. Кирилов признал его лишь по едва заметной улыбке в уголках губ. Тевкелев! Изменился, однако... загорел, подтянулся. Сразу видно, закален походной жизнью, от некогда заметно бугрившегося брюшка и следа не осталось. Дробно стуча по полу каблуками, легко и стремительно пошел навстречу.

Кирилов, раскинув объятия, тоже кинулся к нему. Троекратно, по-христиански облобызались. Тщательно, до синевы выбритые щеки Тевкелева обожгли холодом. От всей его ладно скроенной коренастой фигуры повеяло весенней свежестью, лесным смоляным духом, запахом конской кожи.

Сели на широкую оттоманку в углу. Пригляделись друг к другу. Гость, судя по всему, спешил. Так сразу и сказал: «Узнал, что хвораете... Решил проведать». В голосе его уже не слышались прежние робкие, просительные нотки. Говорил спокойно, четко. Смотрел прямо. В жестах-движениях сквозили самообладание и уверенность. Да, сильно изменился полковник. Очень. Ничего от прежнего оглядчивого чиновника, пригвожденного к столу, не осталось. Сразу видно: прошел за эти годы огонь и воду. Бравым стал воякой. Речь короткая, отрывистая. На вопросы отвечает не многословно, издалека подбираясь и запинаясь, а точно и предельно ясно. И только в серых умных глазах мягко светятся знакомые теплые, дружелюбные лучики. Но, приглядевшись, Кирилов решил, что и во взгляде полковника что-то изменилось: прежняя доброта и почтительность точно сменились жалостью и снисходительностью.

И радость, вспыхнувшая в первые минуты встречи, тотчас отступила, рассеялась. И это его обескуражило.

— Ну, как?.. Тихо, спокойно ли в округе?

Тевкелев ядовито хмыкнул:

— Какая тишина?! Какое спокойствие?!

Кирилов в недоумении вытаращил глаза. Это что же? Он собирается в поход, а в степи опять неспокойно? Опять

башкир поднял голову?!.. Тевкелев был краток. Да, после недолгого затишья, несмотря на все жестокие карательные меры, вновь откуда-то объявился дерзкий бунтовщик Калмак Абыз. Имя его гремит всюду, с ним связываются все волнения в степи, однако кто он такой — никто толком не знает. Слухи разноречивые. Одни утверждают, что он — агент Оттоманской Порты, засланный в степь; другие уверяют, что он из местных религиозных фанатиков; третьи полагают, что он один из предводителей восстания Сеита, вернувшийся недавно живым-целехоньким с каторги. Как бы там ни было, словить его никак не удается. Уходит из-под носа. Ускользает как угорь. И вообще с этим людом в рваной овчине нет никакого сладу. Кого угодно обведут вокруг пальца. Ни одному их слову верить невозможно. Один твердит одно, второй — совсем другое, нечто противоположное; попробуй разберись тут. Вот и с Калмаком Абызом случилась прямо-таки мифическая история. Столько времени о нем не было ни слуху, ни духу, и вот, пожалуйста, вновь объявился разбойник, выплыл на свет божий. Оборотень какой-то! И тотчас, конечно, снова всполошились башкиры.

Кирилов уставился на Тевкелева, точно оглушенный. Видит бог, не таких вестей он ждал от полковника. А тот был спокоен, уверен: откинувшись небрежно на подушку оттоманки, рассказывал с благодушием, будто речь шла не о кровожадных разбойниках, а о нерадивости своих подчиненных или о шалостях баловня-сынка.

В глазах полковника мерцали лукавые искорки.

Оказывается, мятежным башкирам все более сочувствуют киргизы и калмыки.. Час от часу не легче.

Кирилов был в смятении. Выходит, в желанную Орь и нынче ему не выбраться? Опять судьба отвернулась от него, метнулась в сторону, словно напаскудивший щенок? Как бы на этот раз не всколыхнулись все туземцы верховий и низовий... Странно: по словам сопровождавших англичанина Кестли, в кайсацких степях — тишь да благодать. Впрочем, разве можно верить словам лживых степняков?..

Кирилов заходил по комнате, заложив руки за спину. Он почувствовал, как ладони стали липкими. Меж лопаток покатились капли пота, словно кто-то провел по спине холодным кончиком клинка.

Тевкелев резкими, отрывистыми фразами продолжал свой рассказ.

— У этого разбойника предостаточно приверженцев и в самой Уфе. Я уж не говорю о дальних зимовках и захолустных аулах.

Кирилов пошатнулся. Он не знал, что сказать. Тевкелев легко вскочил, подошел к нему, щелкнул замком кожаной сумки, извлек из нее Коран в сафьяновой обложке. Из книги торчало несколько закладок. Тевкелев открыл книгу. Там, где обрывался печатный текст, кто-то четким каллиграфическим почерком вписал арабскими буквами несколько строк. Отличить их от текста было почти невозможно.

— Обратите внимание. Записи эти сделаны еще в Петербурге. В них пояснено, зачем, с какой целью мы с вами направляемся к башкирам и кайсакам. Теперь посмотрите на это место. Здесь точно указано, где, когда, у кого мы остановимся по пути к реке Орь, с кем должны встретиться, сколько в нашем отряде солдат и оружия. Убедились? Выходит, восстание планировалось еще в Петербурге. И мятежникам был заранее известен каждый наш шаг. И вот еще...— Кирилов достал из сумки аккуратно свернутую карту и развернул ее.— Полюбуйтесь... Узнаете?

Бог ты мой! У Кирилова от изумления отнялся язык. Да, да... это же его карта! Его пометки! Когда он ее видел в последний раз? Как она попала к Тевкелеву? Дай бог памяти. Ах, да! Вспомнил! Когда по его приказу сожгли башкирское селение на берегу реки и всех его жителей, ему стало дурно, и в пути он со своим отрядом был вынужден остановиться в каком-то селении, и карту, на которую он наносил предстоящие маршруты и план встречи с отрядом Румянцева, помнится, передал в штаб, а ночью в том доме возник пожар. Неужели и тот пожар, и неожиданный налет мятежников на отряд Румянцева были связаны с его картой? А он ведь предполагал, что она сгорела в ту несчастную ночь... Что же это творится?!

— Откуда она у вас?— глухо спросил Кирилов.

— Бригадир из Мензелинска прислал с нарочным. Просил вам показать.

— Книгу вижу впервые. А карта моя. Думал, сгинула вместе со штабом в огне.

Тевкелев кивнул. Краешек губ его тронула усмешка. Он поспешно, словно боясь, что отнимут, сунул Коран и карту в сумку, щелкнул замком.

— Не расстраивайтесь, ваше превосходительство. Меня срочно вызывают в Уфу для дознания плененных мятежников из шайки Калмака Абыза. У них и вызнаю все подробности. Ну, пора в путь. Здравия вам и долгие лета. Поправляйтесь!..

На этот раз первым раскрыл объятия Тевкелев. Облобызал троекратно удрученного Кирилова, и тому опять ударил в ноздри густой терпкий запах степного простора, сыромяти и мужского пота.

Ловкий, энергичный полковник, дробно стуча каблуками, вышел.

— Что это? Визит вежливости или допрос?— неожиданно самого себя спросил Кирилов и вздрогнул от своего голоса. К счастью, в комнате никого не было. Дьяков, видно, вышел провожать высокого гостя.

В полном изнеможении Кирилов едва доплелся до кровати. Холодная испарина выступила по всему его телу. Проклятая слабость!.. Силы покидают его с каждым днем. А тут еще этот устойчивый тошнотворный запах. Обычно он исходит от старой, насквозь пропитанной конским потом, сопревшей сбруи. Он, мирный, книжный человек, не выносит его всей своей натурой. Есть в этом запахе что-то грубое, вульгарное. Надо же! Как пропитался им расторопный, бравый полковник! Совсем еще недавно он таким не был. Воплощение скромности и учтивости — вот кем был Тевкелев. А теперь один только взгляд настораживает: не поймешь, то ли жалеет, сочувствует, то ли втайне злорадствует. С чего бы такие перемены? Понятно, птица он невысокого полета. И человек, можно сказать, подневольный, обязанный лишь беспрекословно исполнять чьи-то поручения. Такие люди не могут позволить себе оставаться самими собой. И, случается, постороннему глазу они могут показаться несносными выскочками. Вряд ли стоит его судить строго. И, тем не менее, с чего бы он вел себя так сдержанно и осторожно, отчего так спешил закончить свой визит? Неужели кое-кто начинает избегать его, Кирилова? Неужто он кому-то поперек горла? Напрасно, однако. И несправедливо. Если всерьез вникнуть в нутро иных высокородных вельмож, кичащихся своими мнимыми заслугами перед Россией, то в них наверняка, пардон, дерьма поболее, чем в брюхе обжорливой свиньи. А вот он, скромный статс-советник Иван Кирилов, чист и душой, и помыслами своими. Вероятно, в жизни он делал лично своей персоне немало вреда. Возможно, не давая себе

поблажек, успел насолить и другим. Но России, российскому народу и империи российской он служил верой и правдой, не щадя живота своего, и не принес им ни толики вреда. В том не может отказать ему и сам господь бог. И не о том его печаль. Все горе в том, что и ныне заказан ему путь в городок на берегу Ори, куда так страстно и тщетно рвется его душа...

Вернулся с улицы Дьяков. Подошел, пощупал Кирилову пульс, молча поправил подушку, плед и снова вышел. Кирилов, уставясь в потолок, продолжал лежать. Он был обессилен и опустошен. «Что это?.. Конец?»— подумалось вяло. Зачем пожаловал Тевкелев? Неужто в нем отпала всякая нужда? Как понять плохо скрываемое снисхождение в его взгляде?

Досада и неутешная обида захлестнули Кирилова. Пропади все пропадом! Плюнуть бы на все и уехать бы, куда глаза глядят... Плюнуть-то можно, да уехать куда?

Глаза застилал туман. Слезы комком подкатывались к горлу. Отчего обида? Откуда тоска?.. Он сам объяснить себе не мог. Снова вспомнил каждое слово, каждый жест и взгляд Тевкелева. Придраться не к чему. Ничего особенного вроде не сказал. И все же... неспроста он пожаловал. Ой, неспроста!..

Ну и пусть... Ему уже все равно. Если нынче весной не суждено ему выбраться на Орь, то все остальное его уже не волнует. До следующей весны вряд ли он доживет... Но чего он так отчаивается? Уж коли с походом ничего не выходит, может, есть смысл заняться своей бренной плотью и поправить хилое здоровьишко? Только каким образом? Разве не испробовал он все средства?.. А может?..

Взгляд его упал на короткую, из сыромятных ремней туго сплетенную камчу, висевшую на косяке двери. Еще одна память о башкирских степях. Дорогой сувенир... Кто-то, помнится, подарил еще в те годы, когда он без устали мотался по башкирским станам и зимовьям в поисках подводы, провианта и разного необходимого для экспедиции снаряжения. Обычно от одного только вида этой камчи он испытывал знобкую дрожь. Но сейчас она не пугала, словно затаившаяся гремучая змея, а напомнила нечто приятное, от чего замирало сердце...

Да, да... толстая тугая камча напомнила косы красавиц степнячек. Такая же круглая, тяжелая... Вспомнилась недавно навещавшая его калмыцкая ханума Дармаба-

ла. Запала ему в душу соблазнительно покоившаяся на ее спине длинная черная коса со вплетенными золотыми нитями и серебряными подвесками. Одевалась стройная, смазливая, туготелая ханума изысканно, на европейский манер, и толстая коса была едва ли не единственной восточной приметой на ней, которая, однако, резко бросалась в глаза, привораживала мужской взор. Она как бы подчеркивала незаурядный, сильный характер, дерзкую натуру и скрытую волю кокетливой, вольной в манерах степной красавицы, танцевавшей когда-то на балу с самим императором Петром Алексеевичем. В черных зрачках ее полыхали жгучие искры. Говорила вкрадчиво, с волнующим придыханием. Знала, чертовка, себе цену. Как же... дочь контайджи джунгарских калмыков. Вдова хана волжских калмыков. Кто еще мог сравниться с ней знатностью и родовитостью?! После смерти супруга она большей частью жила в городе, а несметные ее табуны паслись, нагуливая жирок, на тучных пастбищах вблизи Самары и Желтых гор, в долинах и поймах Волги. Всю зиму ханума обитала в Самаре. Ранней весной она посетила Кирилова, услышав про его хворь. Обещала показать тибетскому лекарю-табибу, а летом, когда кумыс особенно целебен, хотела забрать его к себе, в свою орду, в раздольную степь...

Игривая ханума хотя и тараторила, перескакивая с пятое на десятое и поблескивая при этом бесовскими глазами, однако была себе на уме. Она метила на ханский трон, пустовавший после смерти Люке, и втайне рассчитывала на поддержку и содействие Кирилова. Но он не очень-то соблазнился ее чарами. Поцеловав на прощание ручку, подсадил в крытую повозку и тут же забыл о красавице калмычке. Он тогда во сне и наяву мечтал только об одном — о скорой поездке к строящемуся укреплению на реке Орь, и уж никак не привлекало его затерявшееся в степи кошомное стойбище вдовы калмыцкого хана. Теперь же... Теперь, может, есть резон махнуть на все рукой и податься в вольную степь, туда, где раскинулся на пастбище шатер скучающей очаровательной ханумы? Может, там он и поправит пошатнувшееся от усердных трудов и треволнений здоровье?

Хорошо бы... Кирилов сладко потянулся и зажмурился. Жуткая усталость разлилась по всему его телу. Так, вероятно, чувствует себя изнуренный холодом и долгой дорогой путник, оказавшись вдруг у жарко натопленного камина в тиши и уединении. Он весь расслабился в исто-

ме и блаженстве. И только терпкий дух, оставшийся от Тевкелева, назойливо преследовал его.

Он и не заметил, когда и как уснул. И приснилась ему в сладостной дреме степь без конца и края. И еще — бесконечно длинная дорога, по которой шло-текло огромное странное кочевье: крытые повозки, скрипучий обоз, казачий конвой, многочисленный вооруженный отряд. Время от времени он пристально вглядывается вдаль. Длинной чередой тянутся холмы, окутанные степным маревом. У горизонта то маячат караульные вышки, вздымаясь над земляным городком на берегу Ори, то зыбится на ветру пестрый шатер. И неведомо ему, куда движется громоздкое кочевье. И непонятно, почему оно так спешит, будто на пожар. Мягко пружинящая повозка укачивала, убаюкивала его. И вдруг остановилась. Он откинул занавеску, выглянул в окошко и опешил. Вокруг по всей пустынной степи ни души. Одна лишь его карета. И та — о боже — распряжена. У оглобли валяется упряжь, от которой нестерпимо разит потом и прелой кожей. Степь выжжена дотла. Раскаленное солнце неподвижно висит в зените. Язык от жажды распух, прилип к нёбу. Пошатываясь, Кирилов выбрался из повозки, подошел к оглобле, набросил на шею хомут и потянул, поднатужился. Проклятье! Карета не сдвинулась с места. Отдышавшись, он опять нажилился, рванул постромку изо всех сил — напрасно. Пот заливал ему глаза; дыхание сперло. Он стиснул зубы и дернул еще раз. И тут колеса заскрипели, и карета как бы нехотя тронулась и покатилась, покатилась все быстрей, все легче. Вскоре он уже бежал во всю прыть, едва касаясь ногами земли. А потом уже почудилось, что он не бежит, а летит все быстрее, все стремительнее. Странно... Отчего такая легкость, будто тяжелая карета разом обернулась пушинкой? Он растерянно оглянулся. Рядом, накинув на шею второй хомут, несся долговязый верзила. Он так далеко закидывал ноги и так быстро перебирал ими, что Кирилову было невдомек, каким образом он только поспевал за ним. В спешке он даже не мог разглядеть лица своего напарника, но не покидало его назойливое ощущение, что где-то он его видел... О, господи... да это же... да, да... тот самый молчун старик... башкир дворник... Откуда он взялся? Разве он не сгорел тогда в пожаре вместе со всем штабом?.. А коли уцелел, то с какой стати все это время избегал его? Почему исчез бесследно? Может, в чем-то провинился? Но в чем?.. Или?.. Нет, нет... не может

быть. И все же: как это могло случиться, что уцелела карта, оказавшаяся в руках Тевкелева? Кто ее доставил башибузуку Калмаку Абызу? Неужто сам старик молчун? Но... зачем ему карта? Уму непостижимо!.. Обо всем этом хотелось Кирилову спросить напрямик, схватив его за шиворот, и он даже потянулся к нему рукой. Старик полоснул его гневным взглядом. Боже, сколько ненависти в его воспалившихся, в красных прожилках, глазах! Такой ведь убьет — и глазом не моргнет! Кирилов, однако, продолжал настойчиво тянуться к его вороту. А тот, и без того длинный, стал еще заметнее расти, удлиняться, и гнев, и ненависть в его взгляде сменились вдруг ядовитой, высокомерной усмешкой. Кирилов рассвирепел, попытался схватить его за длинную бороду. «Ну подожди, козел вонючий! Доберусь только до тебя — живьем в огне спалю!» Где уж там! Высоко взмыл старик и теперь недоступно витал в поднебесье, развеваясь зеленым знаменем правоверного пророка. Как бы Кирилов ни вытягивался, приподнимаясь на цыпочках, все равно едва доставал рукой ему до пояса. В бессильной ярости он заплакал, из глаз его потекли не слезы, а зеленоватая отрава, оставлявшая на щеках черный, точно выжженный, след.

Кирилов вздрогнул, проснулся в ужасе. Не сразу смог прийти в себя. Обвел взглядом комнату. От двери, судорожно дергаясь и высунув раздвоенное жало, ползла к нему гремучая змея. Часть ее тела поблескивала в бликах огня, другая часть смутно темнела в сумерках. Была глубокая ночь. В камине догорал огонь. Змеей померещилась Кирилову толстая, из сыромятных ремешков сплетенная башкирская плеть на косяке.

Кирилов заставил себя подняться с постели. Это удалось ему с большим усилием. Заплетаясь ногами, добрался до стола, зажег свечу. Холодок прокатился по спине, согнал сонную одурь. Поеживаясь, Кирилов придвинул к камину кресло. Подкинул в огонь несколько поленьев. Погрел ладони. Пощупал лоб. Он все еще не мог отделаться от недавних видений. Зыбкое пламя в кабинете напомнило колыханье длинной бороды молчуна башкира. Бесчисленные вопросы, преследовавшие его во сне, теперь и наяву обступили со всех сторон. В самом деле: каким чудом уцелела его карта в том пожаре? И как она попала в руки Калмака Абыза? Кто ее передал ему? Интересно, были ли опознаны тогда все трупы? Был ли среди них труп старика дворника? Если нет, то как ему удалось

выбраться из бушующего огня? Почему никто не спохватился? Неужто штаб поджег именно он? Почему? И почему именно штаб, а не тот дом, в котором остановился Кирилов? Почему старик, не раз спасая его от верной смерти, обрушил всю свою ненависть на его помощников? Уж коли он решил мстить, то почему остановил свой выбор на штабе? Или не мог он всех поджечь? Не мог, наверное. В таком случае он обрекал бы на гибель и многих своих соплеменников. Выходит, штаб он поджег с единственной целью, чтобы завладеть картой и убедить противника в том, что она сгорела в огне. И карта, понятно, нужна была не ему, а тем, кто намеревался завлечь в силки генерала Румянцева, возглавлявшего операцию по подавлению мятежных башкир. Значит, еще тогда планировался внезапный, под покровом ночи, налет на отряд Румянцева, который, как указывалось на карте, должен был расположиться на привал в долине реки. И ради этого за военной картой с подробным планом карательных мер мятежники охотились уже давно, приставив к Кирилову молчуна старика, который как безотказный слуга ловко усыпил его бдительность и не вызывал никаких подозрений со стороны приближенных начальника Оренбургской экспедиции.

Эта горькая догадка ввергла Кирилова в уныние. Как мог тихий старик, чья старательность и услужливость неизменно вызывала у него восхищение, пойти на такое злодеяние? С другой стороны, на подобную дерзкую месть как раз и способны люди скромные, незаметные и старательные. И вместо того, чтобы удивляться, как из бестолкового племени мог выйти столь исполнительный и услужливый работник, он, проницательный Кирилов, должен был с самого начала насторожиться, почему именно ему попался такой безупречный слуга.

Видно, еще не раз суждено жестоко поплатиться за легкомысленность и высокомерие, принимающее чью-то расторопность и угодливость за деловитость, а молчаливость и покладистость за покорность и послушание. А разве трудно было предугадать, что башкиры, о многом прознавшие через своих послов еще в Петербурге, непременно постарались внедрить в наиболее важные участки верных своих соглядатаев и лазутчиков? Нельзя разве было предвидеть, что самых опытных из презренного племени пронырь они подошлют именно к нему — главному начальнику, выезжавшему в степь бог весть с какими намерениями?! Можно и нужно было бы все это предвидеть и

предвосхитить! Ан не вышло! Туземцы же оказались дальновидней. Заблаговременно пристроили старика молчуна дворником к воеводе. Ну а эти горлохваты и лихоимцы, долгие годы живя на окраине России, вообще потеряли всякую бдительность и страх не только перед коварными туземцами, но и перед их свирепыми собаками. Когда Кирилов подыскал себе жилье и речь зашла о надежном и исполнительном слуге, воевода подсунул ему старика башкира, расхвалив его до небес. Он и согласился сразу, без оглядки. Ибо сам успел убедиться в подлинности его достоинств. Тут-то, видно, и дал промашку: усомнись он хоть немного с самого начала, кто знает, как бы все обернулось...

Однако нечего себя казнить и терзать сомнениями и запоздалым раскаянием. Нет еще никаких доказательств для обвинения старика молчуна во всем случившемся. Мало ли что приснилось?.. Сон — что блажь...

Подставляя лоб струящемуся от камина теплу, Кирилов зажмурился. Так ему захотелось стряхнуть с себя все эти назойливые думы и предположения, но это было выше его сил. Нет, не укладывается все это в уме! Не будь тихони старика с его заботой, с его травками и снадобьем, Кирилов вряд ли после того случая встал бы на ноги. И вдруг такое коварство, такая изощренная подлость!

Кирилов вновь уставился на огонь. Досада вдруг перешла в гнев на самого себя. А почему бы и нет? Ведь все лазутчики испокон веков прежде всего втираются в доверие к тому, кого намереваются потом предать. Не так ли? Точно так повел себя и старик башкир. Чтобы обезопасить себя расположением хозяина, он старательно играл роль услужливого холопа, усердно заботился о его здоровье, даже рисковал собой, спасая его от неминуемой смерти. И тем самым незаметный дворник, не осмеливавшийся поначалу переступать порог дома, понемногу стал к нему вхож и, ухаживая за ним, постоянно крутился возле и, конечно же, слышал все его беседы, распоряжения и приказы.

Да, да! Так!.. Кирилов с силой хлопнул себя по колену, скрипнул от досады зубами. Ах, проклятье! Дьявольщина!..

Теперь Кирилов насмерть вцепился в осенившую его наконец догадку, словно наездник в холку строптивого неука. Теперь он уже не искал доводов для опровержения своих сомнений, а, наоборот, стал подыскивать доказательства истинности своего предположения. На несколь-

ко дней лишился он покоя и сна. Ходил только взад-вперед по сумрачному кабинету и, иногда забываясь, говорил сам с собой вслух. Бесконечные трудные и горькие думы изнурили его. И не было вокруг никого, с кем он мог бы поделиться своей маятой. В растерянности озирался он вокруг. Все тот же огромный стол, заваленный всякой всячиной. На краю его, зияя провалом глазниц, ухмыльнулся пожелтевший от времени череп. «Я свое отжил,— казалось, говорил он своей ухмылкой.— Нет мне дела до твоих забот. Разбирайся в них сам!»

В своих изнурительных думах Кирилов все больше склонялся к тому, что старик молчун был самым верным лазутчиком разбойника Кылмака Абыза. Он даже перестал сомневаться в этом. Продолжало удивлять другое: откуда у незаметного старика столько хитрости и коварства? Как это все сочетается в нем? Дворник, не расстававшийся с лопатой и метлой, и вдруг такая осведомленность в Коране, в русском языке, которую он столько времени так ловко умел скрыть от всех. Поразительно! Несомненно, старик был незаурядной, на редкость одаренной натурой. И если вот такие люди сознательно рискуют головой и ради своей цели идут на верную гибель, то, очевидно, он сильно заблуждался, считая мятеж лишь слепым бунтом и разгулом диких страстей степняков в овчинных малахаях, не способных воспринять разницу между добром и злом, между пользой и вредом, между разумом и невежеством. Да... заблуждался. И доселе размышлял о том слишком мелко и поверхностно. А, скорее, и вовсе не размышлял из-за нехватки времени. Ибо все его помыслы были об одном — о строительстве городка-укрепления на реке Орь. Только туда рвалась его душа. И ради достижения своей мечты он не останавливался ни перед чем — шел напролом, убивая, вешая, сжигая непокорных. И при этом в последнее время даже не испытывал угрызений совести, ибо считал, что виновны во всех бедах сами мятежники, только они, и чудились они ему мотыльками, летящими на огонь. Непостижимый для него поступок молчуна башкира выбивал из привычной колеи его прежние думы и вынуждал размышлять вновь и вновь.

Прежде всего необходимо было вникнуть в самый смысл восстания. На что, собственно, рассчитывали мятежники? К чему эти бесчисленные напрасные жертвы? Пусть не каждому овчинному малахаю дано о том всерьез задуматься, но ведь те дальновидные и храбрые предводители пле-

мен, с бесшабашной смелостью обрушивавшиеся на отменно вооруженные регулярные войска, обязаны были о том подумать. Почему они не призывают свой народ к здравому рассудку? Где и когда это было видано, что на столь богатый край никто бы не позарился? Так не бывает! Искони слабые зарятся на сильных, и, наоборот, сильные на слабых. Ибо сильный с сотворения мира считает, что все хорошее на свете непременно должно принадлежать ему. И он не может спокойно взирать на то, что жирный куш оказался в руках слабого. И не уймется он, пока этот куш не отнимет, не присвоит себе. Сначала он просто говорит: «Отдай!» А коли не отдают по доброй воле, то отнимет силком, да еще попутно и раздавит слабого. Господи, это же столь очевидно! Можно подумать, что у башкир нет своих дворовых псов! Посмотрели бы на их повадки да брали бы с них пример. Любая дворняжка, едва заметив клыкастого пса, не бросается разве наутек, оставляя свою плошку и трусливо поджимая хвост промеж ног? Даже она, дворняжка шелудивая, разумеет, что в противном случае клыкастый пес ее загрызет. Поэтому лучше заранее уступить свою долю более сильному псу и довольствоваться объедками. Не так ли? Допустим, неопытным юнцам сия простая истина невдомек, но куда смотрят старики, уже обжегшиеся однажды на горячем? Вот, сказывают, будто разбойник Кылмак Абыз был соучастником бунта Сеита. Разве он не убедился на собственном опыте, чем кончается бунт? Разве он не видел, как жестоко поплатились его мятежные соплеменники? Так почему же он опять лезет на рожон? Почему толкает свой народ на гибель? Разве горькая участь предыдущего поколения не послужила ему суровым уроком? Если каждое новое поколение добровольно ринется в испепеляющее пламя мятежа, то не приведет ли это рано или поздно к самоубийству, к неизбежной гибели всего башкирского народа? Ну и что из этого? Другим-то от этого ни холодно, ни жарко! Как этого не понимает хотя бы молчун-старик, оказавшийся способным на столь дерзкое самопожертвование? Велика ли мудрость в том, чтобы сознательно обрекать свой народ на смерть? Или, быть может, туземцам просто недоступна столь очевидная истина? В самом деле, когда это было, чтобы слабый уверовал в силу сильного, а сильный понимал горе слабого? Так и здесь! Видно, не так-то просто проникнуться мудростью, что ножки следует протягивать по одежке. Богатый край, кото-

рым владеют башкиры, им все равно не удержать. И с собственным бездонным богатством им не совладать. Оно непременно достанется кому-нибудь другому. А Россия разве не печется об их благе? Не заботится об их будущем? Разве он сам, статс-советник Кирилов, не искренне убежден в том, что благодаря его доброй воле и усилиям и Российская империя приумножит свое богатство и мощь, о которых доселе и не ведает, и туземцы приобщатся к цивилизации. Но им, туземцам, этого не понять. Не понять им того, что если слабому сильный протягивает руку помощи, а зрячий слепому указывает праведный путь, то это и есть истинное благодеяние и добро. Разве в многодетной семье взрослые не опекают младших, не учат их уму-разуму, не водят за ручки? И разве не так же заботится Российская империя о неразумных номадах в рваной овчине? Неужто так трудно понять столь очевидную истину? И как не называть невеждами тех, кто уразуметь сие не в силах?

Так что же преследуют и чем руководствуются эти безумцы? Не напоминают ли они ту самую собаку на сене? Но ведь собака, познавшая однажды плеть хозяина, даже рыкнуть на него не посмеет. А этих строптивцев разве мало били? И все равно никак не угомонятся.

Может, прав этот англичанин Кестли: туземцев следует взять ласковыми речами и приятным обхождением? Конечно, побитая собака побоится плети, но рычать и огрызаться не перестанет. Даже самая злая собака, и та падка на ласку. И эта тварь не любит забиваться от страха в угол, поджав хвост, а предпочитает вольно рыскать повсюду, задрав хвост торчком. Может, и туземцы склонны довольствоваться видимостью свободы — свободой мнимой, обманчивой?

Очень даже может быть! Неспроста Кестли назойливо твердил о ласковых речах да приятных обхождениях как о наиболее разумных средствах покорения туземцев. Англичане в этом деле собаку съели. Но если глядеть в корень, суть-то одна. Скажем, ты решил отнять у малыша пышку. Так какая разница, как ты ее отнимешь — силком или обманом? Неужто, если вырвешь из его рук пышку со словами «Отдай, сопливец! Не видишь разве, что я голоден?», то ты — насильник, а если ласково скажешь: «Откуси от краешка разок, мой милый, и отдай пышку мне», то ты — добрый, заботливый дядя?! Это же смешно!

В любом случае ты лишил невинного дитяти пышки. В любом случае ты присвоил себе чужое.

Обмануть несмышленого мальца ласковыми речами несложно. Обманувшись, он сам отдаст тебе свою пышку. Это так. Отберешь силком — он может поднять рев на всю округу. Даже рожденные от одного отца и матери, и те норовят обмишуливать друг друга лаской да обманом. А попробуй-ка обрушиться ни с того ни с сего на вольного степняка, попробуй посягнуть на его свободу... о, он будет из последних сил отбиваться, огрызаться, кусаться и брыкаться. И тогда ты поневоле вынужден будешь прибегнуть к силе. А коли так, ты тотчас прослывешь насильником. Все насильники — душегубы, палачи. Что же тогда получается? Выходит, он, мечтатель Кирилов, ученый Кирилов, что днем и ночью пекся о бескорыстной славе во имя России и даже во сне видел цветущее состояние Всероссийского государства, вступив в войну с неразумными туземцами мятежниками, превратился вдруг в заурядного палача с намыленной удавкой и окровавленной секирой в руках? Так, что ли? Чем же тогда он отличается от безмозглого солдафона в грубых сапожищах?

Кирилов вскочил как ужаленный. Нет, нет! Он не душегуб, не палач! От роду ему уготована не такая презренная участь...

Но тотчас другая неожиданная догадка словно подсекла его, и он снова плюхнулся в кресло. «А как же иначе?!»— точно пригвоздила его беспощадная мысль.— Коли ты покушаешься на чужое и прибегаешь к неприкрытому насилию и произволу, то кто же ты, как не палач?! Воистину душегуб — и только!»

Уронив отяжелевшую от дум голову на ладони, он застыл в неподвижности. Что же это? Насмешка лживой фортуны? Превратности коварной судьбы? С кем поделишься своими сомнениями? Кто поймет твою душевную смуту? Был бы жив старый молчун башкирец, он поведал бы ему свои горькие думы. Интересно, что бы тот ему ответил?

Много дней Кирилов провел в тяжких, изнурительных раздумьях. Они совершенно сбили его с толку. И временами ему чудилось, что он сходит с ума. И тут примчался к нему рассыльный из Уфы. Оказалось, поймали трех верных приспешников разбойника Кылмака Абыза, которых решили доставить в Самару.

Весть эта почему-то очень обрадовала Кирилова. Возможно, он добьется ответа на свои сомнения, неотступ-

но преследовавшие его в последнее время? В нетерпении он часами простаивал у окна. И когда, наконец, во двор въехала черная повозка с тремя разбойниками за железной решеткой в сопровождении вооруженной охраны, Кирилов, радостно вспыхнув, бросился к своему письменному столу. Здесь, у стола, величественно приосанившись, должен он встретить отъявленных главарей мятежников. И им, и конвою, и следователям он должен всем своим видом внушить трепетный страх и почтительное благоговение перед Российской державой. О! Теперь он развеет все свои сомнения. И еще раз докажет свою бескорыстную преданность русскому народу и державному трону. И градом обрушит на разбойников вопросы и обвинения, которые убедительно раскроют и разоблачат их преступные помыслы. Он почувствовал прилив злорадной силы, и дух его, как в былое время, укрепился неодолимой волей.

Сначала вошли Тевкелев и еще несколько важных чинов. Должно быть, следователи. Вежливо поздоровались и расселись в креслах вдоль стены. Потом, погромыхивая сапогами, с ружьями наперевес вступили шестеро охранников. Они, разделившись по трое, встали навытяжку за спинами следователей. Тут же, грозно выставив секиры, застыли друг против друга у двери двое рослых казаков. Лишь потом ввели пленных мятежников. Их оказалось трое, разного роста, башкир. Обросшие, поникшие. Кирилов пристальнее вгляделся в их лица и опешил. Вот-те раз!.. Долговязый, нескладный посередине... да, да... тот самый старик молчун, его верный слуга... Нет сомнения — он!

Кирилов с любопытством разглядывал его. Рослый, едва не под потолок. Заметно исхудал. Ссутулился. Длинная раздвоенная борода еще более посивела. Глубокие морщины избороздили лоб. Весь какой-то побитый, тусклый. Видно, несладко сидеть в темнице. И только в глубине зрачков вспыхивали угрюмые искорки. Во всей осанке его, однако, отсутствовали отчаянная дерзость и упрямство, яростная ненависть или вызов. Наоборот, держался со спокойным достоинством. А вон того тщедушного сухощавого мужчину Кирилов тоже узнал. Дай бог памяти... ага, вспомнил: Бекчура Тонтаев! Приезжая в Петербург, каждый раз сталкивался с ним. Все увивался где-то рядом, точно напаскудивший пес. Все что-то приглядывался, принюхивался. Значит, тогда еще замышлял злодейство! И именно он отправил соплеменникам через кайсацких посыльных Коран в зеленой сафьяновой обложке с тайными донесе-

ниями... А этот узкоглазый, старательно отводящий взгляд,— бий по имени Мурат. Когда-то он находился среди попавших в аманатство биев. Потом его направили с мирным поручением к мятежникам, а он вроде взял да и переметнулся к ним. Видно, теперь ему все же неловко и потому упорно прячет глаза и переминается с ноги на ногу. Все трое не были похожи на предводителей смелых мятежников. Внешне они более походили на обыкновенных конокрадов или — в лучшем случае — на разбойников с большой дороги. Даже молчун старик, казавшийся столь колоритным и внушительным в бытность дворником, теперь явно поблек, слинял. Даже не верится, что с эдаким видом он мог быть на что-то способен. Так себе, лопух в рваной овчине, которым помыкает каждый, кому не лень. И все же... именно он так ловко обвел его вокруг пальца. И, видно, грамотен, коли выкрал карту. И, должно быть, искушен в арабском письме. Знал ведь, бестия, кто к нему приходил и кто о чем говорил. Все знал! И все донесения из Уфы, выписанные в Коран,— его рук дело...

Кирилов выжидающе глянул в сторону двери. Но за двумя привратниками с секирами никого больше не было видно. Тевкелев подал голос:

— Ваше превосходительство, перед вами самые верные сподвижники главаря бунтовщиков Кылмака Абыза.

Кирилов почувствовал, как его постепенно охватывает мелкая, мстительная дрожь. Только что холодный, как мрамор, лоб тотчас покрылся испариной. Холодный пот заструился между лопатками. Выходит, самые опасные зачинщики мятежа находились где-то с ним рядом? А тот, кто снабжал бунтовщика Кылмака Абыза секретнейшими сведениями, и вовсе свил себе гнездышко под его крылышком?..

От волнения и ярости у Кирилова пропал голос. Беспощадно суровые слова, которые он тщательно обдумал и подготовил загодя, мигом разлетелись, и он тщетно старался вспомнить их. Он продолжал упрямо и молча буравить взглядом старика молчуна.

Старик, должно быть, догадался о состоянии большого начальства, увидел злобу и ненависть в его глазах — и тоже весь подобрался, напрягся, точно ястреб, заметивший добычу. Плечи его расправились, скулы затвердели. Недавнее безразличное, простодушное выражение на лице исчезло. Резко обозначились глубокие складки на щеках, а в

левом уголке губ застыла высокомерная усмешка. Точь-в-точь такая, как приснилась недавно Кирилову.

Вот эта убийственно-пренебрежительная усмешка и вывела Кирилова из оцепенения. Слова хлынули из него яростно, неукротимо, точно прорвав невидимую преграду. Один из следователей, верткий сухопарый татарин, попытался было услужливо переводить на башкирский, но старик молчун, скосившись на него мельком, передернулся. Дескать, сиди уж, обойдусь и без толмача... Вон оно как! Выходит, этот разбойник все понимает по-русски? Уж не участник ли он восстания Сеита, отбывший каторгу? Чем, все более распаляясь, яростней говорил Кирилов, тем грознее полыхал огонь в глубоких глазах старика. Казалось, в ночной костер подбрасывали время от времени охапку сухого хвороста.

Долго говорил Кирилов. Душу наизнанку вывернул. Поток слов, отравленных ядом, обрушил он на строптивого молчуна. И чувствовал при этом облегчение, словно избавлялся от невыносимой горечи, истерзавшей за многие годы его душу. Глаза его пылали праведным гневом. Грудь бурно вздымалась. Уши горели. Он испытывал неведомое доселе наслаждение от того, что мог, наконец, выговориться всласть, выплеснуть весь яд, скопившийся в груди. Мелькнула лукавая мысль: «А не бранюсь ли я, как вздорная баба? Не смешон ли я?» И от этой догадки он сразу осекся, растерялся. Выговорившись, он вдруг ощутил жуткую слабость. Крупная дрожь перекинулась в ноги. И стараясь скрыть это, он поспешно плюхнулся в кресло, но не мог сидеть спокойно, все ерзал, дергался. Правая рука точно онемела. Пальцы выбивали дробь по столу. Он это заметил, но не мог унять дрожь. Его возмутило самообладание старика молчуна. Во всем его облике проглядывали неукротимая воля и непостижимая надменность. И Кирилов вспомнил: точно так вел себя и Акай Кусюмов, восседая среди мятежников-биев в пестром шатре генерала Румянцева. Бог ты мой, откуда эта спесь, эта вызывающая самоуверенность, эта надменность у закованного в кандалы преступника?! Почему он молчит? Почему не отвечает ни на один упрек, ни на один вопрос? Неужели он воспринимает его гневную, обличительную речь не более, чем укус комара?

Кирилов в злобе грохнул кулаком по столу:

— Чего молчишь? Говори!!

Хмурый, точно грозовая туча, навис над ним долговязый

старик молчун. Он глядел на Кирилова одновременно и гневно и жалостливо.

И вдруг он, точно очнувшись, резко вскинул голову, сделал шаг вперед и снова застыл. Глаза его запылали еще ярче.

В упор глядя на Кирилова, он покачал головой. Потом, блеснув белыми, все еще крепкими зубами, широко распахнул рот и издал звук, похожий на мычание. В черном провале рта торчал обрубок языка. Так и есть! Каторжник, которому отрезали язык у самого основания... Он закрыл рот и снова мотнул головой. Дескать, прошу покорнейше простить... и рад бы тебе ответить, да что поделаешь, языка, как видишь, меня лишили...

Кирилова точно обухом по голове хватили. Его перестало колотить. Он точно врос в кресло, а кресло — в пол. Глаза закатились. Челюсть отвалилась. Следователи в страхе повскакивали с мест и кинулись к нему. Охранники поспешно вытолкали из комнаты мятежников.

Тевкелев и Дьяков перенесли обмякшего, безмолвного Кирилова на кровать.

В широко раскрытых глазах Кирилова застыл не ужас, а удивление. Господи, всю жизнь роясь в книгах, копаясь в бумагах, что он обрел, чего достиг, что понял?! Изучая и описывая беспредельное пространство Всероссийской империи, он познал ее леса и долины, реки и озера, горы и степи и, сколько возмог, заложил все это в ландкарты, определив, что полезно, а что — нет. Знает он также, какое зверье обитает в бескрайних низовьях и верховьях державы. Знает, как можно приумножить мощь и богатство России во славу ее потомков. Он ученый, а предназначение ученого — достохвальными трудами восславить свою отчизну, свой народ. Благоденствие отчизны — первая цель и заповедь бескорыстного ученого. И все поступки и помыслы, направленные на достижение этой цели, считаются справедливыми и благородными. Преступление заслуживает достойной кары, а заслуженное наказание не может считаться насилием и произволом. Ярость, вызванная откровенным насилием, допустима и объяснима, но преступник, чье преступление очевидно, не имеет права на возмущение, а тем паче — на месть. Так убежденно считал Кирилов.

А старик молчун смотрел между тем на него с гадливостью и презрением, словно не чувствовал себя преступником. Казалось, ему и не было дела до того, что он кого-то

предал самым коварным образом, уподобляясь псу, укусившему своего хозяина. Откуда такая ненависть в его глазах? Может, не в силах забыть тот случай на берегу реки, когда по распоряжению Кирилова сожгли дотла мирное селение вместе с его жителями? Но он ведь тогда никакого возмущения не проявил. Казалось, равнодушно наблюдал за всем происходящим. Более того, сам спас Кирилова от гибели. А потом несколько дней, точно нянька, выхаживал его. Готовил разные снадобья. Сколько было у него возможностей для отмщения? Но ни одной он не воспользовался. Разве не мог он тогда вместе со штабом поджечь и тот дом, в котором находились хворые Кирилов и Дьяков? Проще простого! Однако он не пошел на это. А теперь смотрит свысока, с брезгливостью. Даже с превосходством. Будто говорит: «Где уж тебе, душегубу, понять меня?» Смотрит не как на заклятого врага, а как на ничтожество, на гадкую тварь, не достойную внимания...

Вот этот взгляд и сразил Кирилова. В нем не было ни малейшего признака страха. Наоборот. Вместо страха — презрение. Вместо смущения — злорадство. Вместо раскаяния — обвинение. Чего, дескать, дурачье, от меня хотите? Разве не сами отрезали мне язык, а теперь требуете, чтобы я говорил?!

Нет, не понять, видно, Кирилову этого народа. На что они, смутьяны, надеются? Не может ведь быть, чтобы все бунтовали лишь по глупости? Откуда эта готовность к самопожертвованию? От отчаяния? От слепой ненависти? Почему этот старик смотрит на него не только с ненавистью, но и с презрением, с чувством превосходства, с гадливостью, снисходительностью, даже с жалостью, с сострадательной укоризной?!

Кирилов почувствовал себя униженным, оскорбленным. Как он смеет, ничтожный старикашка, какой-то замызганный, зачуханный дворник, презирать и жалеть... да, да, жалеть его, всесильного представителя державного трона?! И кто ты, Кирилов, такой, возомнивший себя вершителем людских судеб и благодетелем отчизны, если тебя жалеет какой-то презренный смутьян?! Твой слуга, твой холоп, твой раб безъязыкий, безголосый, тебя же, владыку, жалеет?! Нет, более ужасного позора, срама, унижения быть не может!

А может, этот долговязый старик постиг некую тайну, которую он, ученый Кирилов, познать не в силах? Может, ему, овладевшему, казалось бы, тайнами мирозда-

ния, недоступно заглянуть в бездну человеческой души? В самом деле, на что надеялся? Что тебя так вознесло и вскружило голову? В чем твоя опора и сила? В твоей знатности? В твоем богатстве? В твоем могуществе? В многочисленности твоих соплеменников? Но на весах совести и чести количество никогда не брало верх. Так что же является решающим мерилом? Хитрость? Коварство? Ловкость? Чем руководствуются мятежники? Сколь бы их ни били, ни колотили, ни истребляли — все равно никакого проку нет. Наоборот: каждый раз они еще более ожесточались. Выходит, они нас воспринимают как насильников, как палачей — и только? И никогда не покорятся? Будут биться до последнего человека? Неужто такой ценой можно чего-то достичь? В чем же тогда разница между победой и поражением?..

Нет, не понять Кирилову, будь он хоть семи пядей во лбу, что у них за душой, у этих туземцев. Любопытно, что бы ему ответил этот долговязый старик, будь у него язык? Знали ли те палачи, лишившие его языка, что тем самым они перерезали тонкую нить возможного взаимопонимания? Ай, вряд ли... Всякое насилие — слепо. Ибо насилие — изнанка бессилия.

Кирилов почувствовал, как на него нашло затмение. Ни на один из своих многочисленных вопросов он не находил ответа. В огромной сумрачной комнате не было никого, кто бы мог развеять его сомнения. Ему почудилось, будто в темном углу кто-то откровенно насмехался над ним: «Ну что, ученый муж... небось, голова раскалывается от дум, а? Запутался, чай, в дебрях подлинной жизни? Это тебе, голубчик, не пожелтевшие бумажки перебирать, не пером шкрябать...»

Кто это? Кто позволяет смеяться над ним? Странно... ни звука. Только рот разинул... осклабился... да в темных глазницах дерзкие искры мерцают. Уж не старик ли молчун вновь прокрался к нему? Верткий, неслышный, как призрак, неотступный соглядатай, может, пришел произвести с ним окончательный расчет? Пусть! Никакой суд ему не страшен. Лишь бы ответил вразумительно на его бесчисленные вопросы, истерзавшие его душу. А там — будь что будет!..

С превеликим усилием Кирилов оторвал голову от подушки и пристально посмотрел в угол, где темнел его громоздкий письменный стол. Он понял, что над ним насмехался выкопанный из древнего башкирского кургана

пожелтевший от времени череп. Тусклый отблеск угасающего в камине огня причудливо играл в черных провалах глазниц. От досады и ярости Кирилов хотел схватить череп и швырнуть его в камин. Но у него не было сил пошевельнуться. Вся правая сторона его тела сковалась вдруг свинцовой тяжестью. Он бессильно уронил голову на подушку. И тотчас ему отчетливо подумалось: никогда никто уже не ответит на его вопросы. И все его сомнения на этом свете уже не разрешатся. Он вытянулся, застыл, уставившись в потолок, в одну точку.

Он уже не знал, сколько продлилась эта неподвижность. Белое пятно на потолке все заметнее уменьшалось, скрадывалось с краев, размывалось, зыбилось, точно окутывалось невесомым туманом, будто медленно истаивало во мраке.

Он вдруг почувствовал невыносимую жуткую тесень в груди и слабо вздохнул, вздрогнув напоследок, как бы всхлипнул, будто измученный долгим плачем малыш перед тем, как утишиться во сне...

Только постороннему глазу могло показаться, что в последнее время в ханской ставке царили тишь да благодать, а сам Абулхаир благоденствовал, упиваясь своей удачей, сопутствовавшей ему в недавнем походе на джунгар. Но это было не так. Абулхаир настороженно прислушивался к каждому шепоту, доносившемуся издалека. И были у него для тревоги серьезные причины.

Два года тому назад, когда ханская ставка находилась в Каинды, посетил его помощник белой царицы англичанин Джон Кестли, прозванный ханскими приближенными Жоном-мурзой. После его отъезда Абулхаиром овладело беспокойство. Поначалу его радовало, что еще недавно задыхавшаяся от густого разнотравья поляна, на которой раскинулась двенадцатикрылая ханская юрта, была вытоптана дотла, а от нее во все стороны простирались, темнея, тропинки и дорожки, проложенные бесчисленными гостями. Аллах с ней, с травой-муравой... вырастет новая; на худой конец, всегда можно сменить стоянку. Главное, что шумное торжество, посвященное встрече русского посланника, развеяло все сомнения и подозрения, назойливо терзавшие душу Абулхаира.

Подобное восторженное, сладко кружившее голову состояние он пережил прошлогодней осенью, когда вернулся

Нуралы с Ори, где закладывалось русское укрепление. Узнав приятную весть о том, что доблестная русская рать, считай, совсем под боком воздвигает грозный оплот-городок, обычно сдержанный, гордый по натуре хан от радости и волнения несколько ночей не мог сомкнуть глаз. Даже ненастной осенью ему было душно в юрте. Ворочаясь в постели, сбрасывая с себя одеяло, вслушивался он в безмятежную тишь, замирал от смутного волнения. Порою чудились ему накатывающиеся издалека победно-ликующие, точно боевой клич, возгласы: «Владычица-царица!», «Хан Абулхаир!», «Султан Нуралы!», «Султан Ералы!», «Аруах!», «Слава!» Вспоминалось, как, захлебываясь от восторга, упоенно рассказывал ему шурин Мырзатай: «Когда ратники-урусы, сверкая оружием, повскакивали вдруг с мест и начали во все горло выкрикивать ваше, мой достославный хан-правитель, имя и имена ваших сыновей вслед за именем светлоокой русской императрицы, я не мог удержать слез. О! Это надо было видеть и слышать! Думаю, этот торжествующий вопль дошел и до усопших предков наших и всколыхнул их нетленные души. Аллах свидетель!» У Абулхаира сердце замирало от этих слов. Выходит, троекратную славу прокричали русские ратники в его честь?! И даже духов предков помянули?! Высшей хвалы и вообразить невозможно! Такой чести он не удостаивался даже тогда, когда его единогласно избрали предводителем войск. Вот что значит царская милость!

Всю зиму хан ликовал про себя, молча лелеял свою радость. Однако внешне он никак не выказал своего торжества, уподобляясь огромному казану, под которым ровно горит огонь и в котором, побулькивая, медленно варится, поспевает нежное жеребячье мясо. Сразила его и лишила покоя черная весть о мятеже башкир. Он понимал: теперь из-за строптивых башкир тем, кто так рьяно принялся за строительство укрепления на реке Орь, будет, конечно, не до него, и, судя по всему, в ближайшее время пригласить его к себе не смогут, и, воспользовавшись этим, вновь поднимут головы его тайные и явные недоброжелатели, разные смутьяны в аулах, готовые тотчас пустить в ход свое злорадное ядовитое жало. К счастью, высокие правители прозорливо догадались о его тревогах и вскоре направили к нему своего посланника. Это был рядовой посыльный, засланный с определенными целями, и даже не русский вовсе, а какой-то чудаковатый иноземец, но Абулхаир принял его с большими почестями,

словно он был личным посланцем самой императрицы. Тем самым он хотел еще раз подчеркнуть свою значимость, свою влиятельность, просто-напросто набить себе цену в глазах друзей и недругов. И сделать это было нетрудно. Какой казах не любит шумных пиров с обильным застольем, со скачками, с борьбой силачей-палванов и состязанием горлопанов-акынов?! Мигом примчались-притащились со всей округи. Даже те, кто еще недавно косились на него и уже встали было на тропу враждолюбия, как миленькие пожаловали на торжество, смиряя свою гордыню. Понаехали из многих родов и улусов. Весть о том, что к Абулхаиру прибыло посольство из русского города на Ори, мгновенно разлетелась по всей степи и еще более укрепила авторитет хана.

Как бы там ни было, недавние торжества сыграли хану добрую службу. Потом, когда уже все разъехались, Абулхаир живо представил себе всех знатных гостей, вспомнил каждый их жест, каждое слово, час за часом заново пережил все, что происходило за эти дни, и решил, что, пожалуй, ни в чем не прогадал, нигде не сплоховал, а потому может быть спокоен. Напряжение последних дней спало, и он впервые за долгое время погрузился в приятный сон. Гул прошедшего торжества доносился издалека и убаюкивал, навевал сладкую дрему.

Очнулся он в испуге. Уши точно ватой заложило. Ни звука, ни шороха. Странная тишина. Он провел ладонью по лицу, будто сметая дремь. Подумал: «Где я? Может, в безлюдной степи?» Быстро пошарил вокруг. Нет... привычная юрта... привычная постель. Так что это, сон или явь?..

Абулхаир сел. Потерянно заозирался вокруг. Тундук был плотно закрыт. В юрте царила глухая темь. Абулхаир прислушался. Сердце его гулко колотилось. Чего он так испугался? Тишины?

Он встал, нашарил в темноте легкий халат, накинул его на плечи и отбросил войлочный полог юрты. Молочный свет луны щедро заливал всю окрестность, и Абулхаир, притенив ладонью глаза, застыл у входа. Потом, освоившись, чуть отошел в сторону, подставил горячую грудь свежему степному ветерку. В отдалении в почтительно-напряженной позе стояли караульные: железные наконечники их пик тускло поблескивали при свете луны.

Непривычная тишина ошарашила хана. Что же случилось? Ни фырканья лошадей, ни перханья овец, ни собачьего лая... ничего не было слышно. Все многочисленные аулы

вокруг ханской ставки снялись в одночасье, сразу же после окончания торжеств, и откочевали неизвестно куда. Сиротливо серело вытоптанное скотиной и людьми стойбище. Одиноким холмом возвышалась в безмолвной пустыне покинутая всеми ханская юрта.

Несколько дней стоял испепеляющий зной. Выцветшим куполом простиралось над степью небо. И вот теперь северный ветерок нагнал с верховья кудлатую тучу. Она наползала, низко стелясь над землей, и от нее скользили по степи призрачные тени. Все казалось таинственным в зыбящемся лунном потоке. Сама луна точно плавилась в мареве и напоминала Абулхаиру напаскудившую собаку, воровато высматривавшую что-то на месте брошенного стойбища.

Безмолвная пустыня наводила тоску и уныние. Еще недавно на диво богатая разнотравьем поляна оскудела до неприглядности. Все вокруг истоптано, ископычено. Лишь кое-где еще торчали чахлые кустики. Казалось, на этом месте проходила оргия джиннов и дивов. Тропинки, переплетаясь, уходили во все стороны за горизонт. Аулы, судя по всему, снялись с мест и откочевали куда глаза глядят в страшной спешке. Так обычно убегают от больного оспой или проказой...

Абулхаир передернулся. В самом деле, что-то не похоже, что именно здесь находится ханская ставка — средоточие степного могущества и власти. В душе своей он полагал, что торжества удались на славу и собравшийся со всей окрестности народ остался довольным, а теперь вдруг подумалось: уж не разбежались ли все кто куда, едва дождавшись окончания ханского пира?.. Не кроется ли за этим какой-то вызов?

Оторопь охватила Абулхаира. Неужто его обрекли на одиночество? Неужто покинули на заброшенном стойбище?! Ханская ставка, еще вчера такая внушительная и торжественная, сегодня напоминала разворошенное гнездо перепелки под кустом. Где его могущество и власть? Куда подевалась грозная сила, перед которой испытывали трепет даже недруги? Где те люди, которые еще вчера беспрекословно исполняли любую его прихоть — достаточно было шевельнуть бровью?

Теперь казалось, что этот рослый, крупный мужчина, застывший на краю откочевавшего аула, точно путник на распутье, отродясь не обладал ни властью, ни могуществом.

И еще казалось, что одинокая теперь многостворчатая

ханская юрта посередь степи никогда не знавала ни почестей, ни шумных застолий, ни пышных словоизлияний.

Не это ли имели в виду древние, неизменно внушавшие потомкам, что счастье, удача, соблазны жизни обманчивы и преходящи?..

Все былое ушло-прошло... кануло в вечность...

Случалось, после набега адамонов-разбойников от богатого и нарядного каравана оставалась в степи горка ненужного хлама, от которой точно так же тянулись во все стороны торопливые следы.

Хан досадливо поморщился. Только было утишилась его душа, и вот опять закрались в нее сомнения. Точно разбойник с большой дороги, неотступно преследует его страх. Обрушится вдруг ни с того ни с сего и заставляет подолгу мучиться и терзаться.

Будь они неладны, эти сомнения! Шныряют в дебрях дум, точно пронырливая борзая. Вон притрусила откуда-то, ткнулась холодной мордой и тотчас взбудоражила, разбередила душу. Примчалась нежданная, без зова, а теперь ее и палкой не прогонишь. Начнет хвостом вилять, за душу хватать, по всем твоим закоулкам шнырять. И будет неотступно теребить тебя, лишая отныне покоя. И неизвестно еще, куда она тебя заведет. Вон тенью мелькнула перед тобой и умчалась-понеслась куда-то по залитой молочным светом равнине. Вскоре и вовсе растворилась в зыбкой туманной дали. И только хвост мельтешил время от времени, точно увлекал, заманивал... Боже... да это совсем не борзая! Нет, нет... Это лиса! Да, да... лиса...

В ночной тиши ему почудился шелест проникновенной речи. Память сохранила слова, интонацию, звуки: «Конечно, у достославного джигита, избранника судьбы, рожденного на счастье народа, должен быть дух-защитник, направляющий его по праведному пути. Как же иначе? Говорят, дух-заступник непременно бывает и у вдохновенных певцов и сказителей, и у бесшабашных смельчаков, и даже у разбойников с большой дороги. И, сказывают, что не один, а обязательно по двое: один среди окружающих разумных аллаховых созданий, другой — среди неразумной твари. А вам самой судьбой уготовано быть предводителем и благодетелем народа, а, значит, вашим разумом, волей, поступками руководит всемогущий заступник-дух. В этом не может быть сомнений...»

В нежную, складную и взволнованную речь женщи-

ны, прозвучавшую столь убедительно, вплелся мудрый и усталый старческий голос: «В тревожное, смутное, как сейчас, время храбреца, дерзнувшего возглавить народ, ведет, должно быть, не тигриный риск, не волчья злоба, а лисья хитрость. Сказано ведь: у каждой поры — своя повадка...»

Абулхаир прислушался в отголосок той памятной беседы. Вглядываясь вдаль, он живо представил изрезанную бурыми холмами и причудливыми увалами кряжистую гряду Черных гор. Тут же всплыла в памяти одинокая юрта в укромном ущелье. И представился ему полный достоинства Матэ, неторопливо потягивающий густой чай и обливающийся потом. Вспомнилась Патшаим, подвернувшая подол длинного платья под колено и смущенно протягивавшая ему пиалу с чаем. Вспомнилось, как на разные лады толковали они то ли явственное, то ли померещившееся ему видение в горах. Слова их запали в душу. И с тех пор в минуты отчаяния или глубокой тоски перед его глазами каждый раз всплывало то видение — рыжая гладкошерстная лиса, что, мелькая пышным хвостом, куда-то стремительно убегала. Обычно после этого мгновенно проходили и отчаяние, и тоска, и его долго одолевали смутные, тревожные думы, которые неизменно приводили к решительному и рисковому поступку.

Почему вдруг вспомнились сейчас те давние его собеседники? Обычно они смущали его покой лишь при встрече с Туяком. А сегодня с какой стати он так явственно вообразил их? Может, то знак судьбы? Может, они от чего-то предостерегают его?

Абулхаир внимательно всматривался в дали степи, точно залитой свежим кобыльим молоком. Но ничего не привлекло его внимания. Зыбкий свет луны и выморочная тишь усугубляли тревогу в душе.

Да, да... Помнится, и тогда стояло вот такое же разморенно-теплое лето. Абулхаир в одиночестве долго охотился в горах Каратау, излазил все ущелья и, спускаясь по склону, увидел впереди в стремительно надвигающихся сумерках серебристо-матовую гладь озера.

Он, подгоняя коня, заспешил к нему, но озеро упорно отдалялось, маняще поблескивая гладью, пока не сообразил, что вовсе не озеро то было, а девственно-нетронутая долина между гор, залитая прозрачным светом луны, время от времени скрывающейся за белесыми облаками. Как бы усугубляя таинственность вечера, в горах, на вершине далекого увала, неровным отблеском мелькнул огонь.

Он направил коня к увалу и вскоре наткнулся на аульные игрища: взрослые уехали на какой-то пир, а молодежь затеяла веселье возле качелей-алтыбакана. Одинокого путника, неожиданно вынырнувшего из-за ночной завесы, тотчас окружили возбужденные играми джигиты и девушки. Заметив огромную тушу рогача-архара за седлом, все вразнобой загалдели:

— С удачей, охотник!

— Подари же добычу!

— Подари!

Рослый серолицый путник в длинном сером чекмене добродушно осклабился:

— Берите! Дарю!..

— Эй, по-моему, он и не охотник вовсе,— изумленно воскликнул кто-то.— Это, видать, сам добрый дух Хызыр!

В самом деле, во всем облике одинокого путника на коне, как бы окутанного светом луны, было что-то сказочное.

— Пожаловал на счастье нашего племянника. Вот ему архара и подарим.

— Ну да! Племянничек твой еще из пеленок не вышел, а ему — архара?! Нет уж... подарим лучшей нашей шалунье!

— Может, охотник и стрелу из колчана подарит? Прикрепили бы к зыбке малыша нашей тетки — была бы защита от дурного глаза.

— Не бойся! Никто вашего сопливца не сглазит. Нужен он больно...

Джигиты, простодушно колгоча, отвязали от седла тушу архара, и в это время подошла к путнику белоликая тонкобровая молодка в пышном головном уборе, учтиво поклонилась:

— Добро пожаловать! Милости просим в наш круг!

Путник был молод, а молодой гость, понятно, не в юрту спешит, а туда, где царит веселье.

Абулхаир направился к качелям. Одна из девушек тотчас спрыгнула с них, уступая место гостю. В толпе снова радостно загалдели:

— Видать, удачлив охотник, а? Видишь, сразу с нашей шалуньей на пару встал!

— Везучий!.. Не каждому удается подстрелить архара-рогача!

Абулхаир, упруго отталкиваясь, сильно раскачал качели. Юная хрупкая девушка, стоявшая напротив, откинула

голову, напряженно выгнулась и залилась звонким, чистым смехом. В свете луны озорно блеснули большие черные глаза и ослепительно белые зубы. Больше ничего Абулхаир поначалу не разглядел. Но серебристый девичий смех мгновенно поразил его. В нем чувствовались незамутненность души, искренность, трогательная открытость и доверчивость. И еще подумалось в тот миг Абулхаиру, что юная девушка — воплощение счастья, и сама она вся устремлена к счастью. Белое шелковое платье пышно раздувалось, трепыхалось, билось у ее ног, хлопало по коленям, и хрупкое, почти невесомое создание то стремительно взлетало над его головой, то круто падало вниз, и чудилось, что это мчится, порхает в ночи белокрылая бабочка.

Отчего она так трепещет? От кого спасается? Кто норовит поймать ее в свои силки? Может, какой-нибудь вдовец, мечтающий об обновлении супружеского ложа?..

Молодой султан почувствовал себя неловко. Редкая степная забава, подвернувшаяся ему случайно, почему-то не веселила. Выходит, он, точно игривый пес, за бабочкой на поляне гонится? Молодежь заметила хмурь на его лице и стала над ним подтрунивать:

— Глядите, а этот смельчак-охотник смущается нашей шалуньи!

— О, наша сватья-шалунья кого угодно в краску вгонит.

— Дайте ему опомниться! Видите, голова у него идет кругом.

— Да при виде такой красы у любого сердце дрогнет. Вон даже месяц на небе, и тот смущен.

А юная сватья от этих слов еще более расшалилась. Смех ее раскатисто звучал под ночным небосводом. Аульная молодежь восторженно внимала ему, цокала языками от восхищения и качала головами, словно не приходилось ей еще видеть подобного дива в подлунном мире.

Высоко взлетали качели. Дух захватывало у Абулхаира. Трепыхавшиеся у ног белое шелковое платье и серебристый смех очаровали его. Он чувствовал, как сжималось сердце, и из груди невольно вырвался вздох затаенного сожаления: «Ах, какая жалость!» О чем сожалел он в эти мгновения, какая жалость пронзила сердце — он и сам ответить сейчас не мог. Но непостижимым образом всем существом своим почувствовал, что звонкий, чистый смех этот станет его недосягаемой мечтой, вечной затаенной

болью, и от этого горького предчувствия он ощутил тоскливую тесень в груди, а глаза точно заволокло туманом.

До самого рассвета не унималась молодежь. Самозабвенно играла в извечные игры кочевников — алтыбаканпение на разборных качелях, «белое кочевье», «белый альчик», «сосед-соседушка». И дивное, таинственное видение под лунным светом не покидало пылкого султана. Не исчезло оно и потом, за дастарханом, во время утреннего чаепития. Абулхаир плохо соображал, что происходило вокруг. В ушах его неотступно звенел серебристый смех; перед глазами зыбилось, вздымалось, бушевало, шуршало белое шелковое платье, точно пенящийся горный поток. Словно сквозь прозрачную кисею, то приближалось, то удалялось ее круглое, нежно-смуглое личико, на котором аспидно-черным огнем полыхали большие, полные неведомой тайны глаза. Пухлые невинные губки, жемчужный ряд зубов, гладкая, беззащитная, как у ребенка, шея очаровали джигита. Потрясенный, словно во сне, он еле добрел до коновязи. Он чувствовал, как сердце, уставшее, истомившееся за ночь, учащенно билось-трепыхалось, стараясь вырваться, наконец, из силка. И непривычная слабость ударила в ноги.

«Что же со мной?!»— обескураженно подумал про себя султан.

Подойдя к коню и готовясь вдеть ногу в стремя, он еще раз оглянулся. В толпе собравшейся провожать его молодежи взор его сразу же выхватил ее улыбающееся личико. Она прижалась к своей тетушке-женге, прислонившись головой к ее плечу. Он повернулся, решительно подошел к ней и протянул руку. Из пышного шелкового рукава высунулась ее маленькая ручка, и в белых пальчиках ее он почувствовал легкую дрожь.

И тут только Абулхаир воочию убедился, что дивное видение, всколыхнувшее всю его душу, было на самом деле живым, из плоти и крови, человеком.

С трудом взобрался он на коня. Через силу тронул повод. И несколько дней после этого ходил как потерянный, сам не свой.

Стоило ему закрыть глаза, как перед ним тотчас начинала зыбиться, дрожать молочно-белая дымка. Веселая, разнаряженная молодежь точно купалась в призрачном лунном свете. Пела песни. Каталась на алтыбакане. Силком заставляла и его встать на качели. Он упрямо от-

талкивался от земли и взлетал легко, высоко. И долго парил в поднебесье. Или, широко загребая, плыл в серебристо-прозрачном озере. И душа его ликовала; тело казалось невесомым; и все думы-сомнения, горести-печали, неизменно преследовавшие его в жизни, мигом исчезали. Но ничто на свете не вечно. Вдруг он стремительно срывался с поднебесной высоты и его охватывал жуткий страх: вот-вот шлепнется оземь и разобьется. Он задыхался; сердце живым комком подкатывалось к горлу, того и смотри выскочит. Он пытался кричать, позвать кого-нибудь на помощь, но не мог: вместо крика издавал лишь немощный хрип. И тут откуда ни возьмись перед ним возникала белая пушистая тучка; она расширялась, раздувалась, трепыхалась, будто шелковое девичье платье с пышными оборками на ветру. И вновь его охватывала блаженная истома, невыразимая радость; он обеими руками вцеплялся в невесомую шелковистую тучку, в длинный шлейф шуршащего белого платья, судорожно искал юную круглолицую шалунью с бездонными черными глазами, с пухлыми губками и гладкой, нежной шейкой. Он пылко устремлялся к ней, и уже не было сил совладать со своей страстью, со своим неуемным желанием... Но точно истаивала белая тучка, и белое шелковое пышное платье растворялось в зыбкой хмари, и дивное видение бесследно исчезало.

Со временем он уже не надеялся увидеть его вновь не только наяву, но и во сне. И вдруг такая неожиданность...

Случилось это на свадьбе друга Тайлана. Горлопан-певец, закончив традиционное приветствие-напутствие в честь невесты, откинул с ее лица легкое покрывало, и Абулхаир остолбенел. Под покрывалом оказалась та самая круглолицая юная хохотунья с большими блестящими глазами, которую он встретил в ту лунную ночь в долине меж Черных гор...

И юная невеста мгновенно увидела его в густой толпе и вздрогнула, словно испугалась. Даже взгляд поспешно отвела. И вся поникла, сжалась.

Гости, толпившиеся вокруг, решили, что невеста смутилась, и начали ее утешать:

— Не стыдись, милая... Такова доля женская.
— Да сопутствует тебе счастье!
— Пусть ярко горит огонь в твоем очаге!

Потом, по обычаю, юная невеста угощала собравшихся чаем, и, сидя у дастархана, Абулхаир не спускал с нее глаз. Каждый раз, когда она подавала кому-нибудь чашку, он зачарованно глядел на ее тонкие белые пальчики и чувствовал, как горит его правая ладонь. Он помнил волнительную невесомость той ручки, запомнил мелкую дрожь нежных пальчиков...

Гости, довольные угощением невесты, шумно благодарили ее, благословляли и объявляли свои дары: кто — жеребенка, кто — верблюжонка, кто — шубу или дорогой атлас или парчу на платье. Абулхаир сидел как прикованный. Он ничего не видел, не слышал. Он только теперь сообразил, кого он самолично высватал для своего друга Тайлана, когда сватом отправился к знаменитому баю из рода садыр Жомарту. Прекрасное видение, всколыхнувшее его душу в памятную лунную ночь, оказалось дочерью бая. И еще выяснилось, что она тогда гостила в горном ауле, когда сопровождала твою тетушку-женге. Потому-то ее и звали в том ауле ласково-любовно «кудаша», то есть сватьюшкой-шалуньей, восторгаясь ее красой и манерами, восхищаясь ее безмятежно-заливистым смехом... Вот как все обернулось! И имя ей дали звучное, гордое — Патшаим. Видно, с рождения была отмечена неземной красотой... И вот теперь эта юная Патшаим, Патшаим-царевна, его возвышенная и недоступная мечта, волей причудливой судьбы стала женой вольного охотника Тайлана, зимой и летом рыщущего по ущельям и скалам.

Только теперь молодой султан ясно осознал, почему тогда, в ту памятную ночь, вырвался у него невольно вздох затаенного сожаления: «Ах, какая жалость!» Но, бог свидетель, не тогда ему это надо было говорить, а сейчас... сейчас, когда он постиг всю глубину случившегося, когда смятенная душа рвалась в отчаянии, точно очутившийся в капкане волк...

Тяжелым, мутным взглядом обвел гостей Абулхаир. Но никому не было дела до его душевных терзаний. Никто не замечал также, что творилось в душе Патшаим. Гости развеселились, наслаждались медовым кумысом и нежным ягнячьим мясом. Глаза их поблескивали от удовольствия. У джигитов лоснились от жира усы. Иные давились икотой. И только в глазах мудрого Матэ, восседавшего на почетном месте, застыла не то печаль, не то смутная тревога. Странно... он смеялся весело, открыто, поддерживал застольный разговор, и выражение лица казалось

веселым, безмятежным. Но в глазах стояла отрешенность... С чего бы это? Почему он, вдосталь поживший на этом свете, познавший суть жизни во всех ее проявлениях, так часто устремлял на него свой обеспокоенный взгляд? Взгляд, в котором былые гнев и ярость уступили место всепонимающей мудрости и проницательности, а суровость и непримиримость — доброте и внимательности... Неужто старик что-то почувствовал, что-то заметил? И от этой догадки серое лицо молодого султана вспыхнуло, покрылось пятнами смущения.

Когда пир подошел к концу и гости начали разъезжаться, Матэ подошел к султану, сказал как бы между прочим:

— Может, немного задержишься?..

Абулхаир насторожился и поспешно кивнул головой.

А потом, когда вдвоем остались наедине, старик опустился на колени и молитвенно сложил перед собой ладони.

— Хочу благословить тебя, султан. Добро, которое ты сделал своему другу-ровеснику, может быть оплачено одним всевышним. Тебя ждет большая дорога. Ты отмечен судьбой. Разная мишура и соблазны жизни не твой удел. Истинного джигита украшают лишь благие деяния и добрая слава. Все остальное для него — тлен, прах. Пусть осуществятся все твои высокие помыслы. Да наградит тебя аллах спокойствием и сдержанностью, достойными твоего жребия!..

И с этими словами старик благоговейно огладил пальцами свое лицо.

Все, оказывается, заметил и понял проницательный старик. И Абулхаир не стал ничего скрывать, благодарно прижал руку к груди, сказал дрогнувшим от волнения голосом:

— Спасибо, Матэ-ага! Да будет так!..

Матэ, вскинув крупную голову, в упор взглянул на него. Потом вместе с сыном проводил султана до коновязи. Выказывая особое почтение, подсадил его на коня.

Еще висела белесая пыль над бурой степью, поднятая копытами коней, на которых во все стороны разъезжались возбужденные весельем гости. Султан ехал вслед за ними неторопливо, свесив понуро голову. Он вновь и вновь вспоминал слова Матэ, сказанные им на прощание. Потаенный смысл его короткой речи понять было несложно. Легконогий скакун, красивая женщина, несметное богатство — обычные соблазны пылкого джигита. Но они губительны, иссушают плоть и душу, ведут к ненасытности,

к алчности. Единственное спасение от них — сдержанность, умение довольствоваться малым. Тот, кого манят высокие стремления, должен уметь владеть собой, подавлять в себе пагубные страсти. Матэ призывал его, султана, смирять свои увлечения и порывы ради той цели, осуществить которую написано ему якобы на роду. Видно, там, за дастарханом, вспыхнули-таки в глазах султана огоньки ущемленного самолюбия и ревности, и зоркий, мудрый старик это тотчас заметил.

Да, грянул час испытания. Внемлешь мудрости старого бия или отметешь его предостережения — воля твоя. Вот роковой развилок на пути твоем, султан. Какой путь тебе по душе — выбирай сам... Таков был смысл короткого благословения бия Матэ.

Пыль в степи развеялась, улеглась. Туман в распаленной от противоречивых дум голове не рассеивался. Схватка разума и чувства, ума и сердца, страсти и холодного рассудка, возбуждения и сдержанности вконец измотала султана, и сейчас ему никого не хотелось видеть. Даже привычные горы с их ущельями и расщелинами раздражали его, точно назойливые соглядатаи. Он повернул коня в сторону, туда, где бескрайне простиралась безлюдная всхолмленная степь.

И чем более он углублялся в окутанную хмарью даль, тем заметнее одолевала его знакомая тоска. Казалось, здравый рассудок все так четко и ясно расставил по своим местам, но здесь, меж молчаливых бурых холмов, его вновь настигла душевная смута. Опять померещилось то дивное видение, облаченное в просторное белое шелковое платье; в ушах маняще звенел чарующий смех; кружилась голова, и чудилось, что он плывет в зыбком мареве все дальше, дальше, туда, в ту памятную ночь, когда он, словно желанное чудо, встретил свою сокровенную мечту. И старый бий Матэ, и его прозорливый взгляд, и его мудрые наставления, предостерегавшие от беды,— все разом отступило, растворилось в мареве, забылось. Нестерпимый огонь, казалось, сжигал его изнутри; накатывался неведомый приступ отчаяния; и его вдруг заколотило, точно в лихорадке, и это было так неожиданно и страшно, что он поспешно припал к шее коня, судорожно вцепился в гриву. Что было потом — он уже не помнил. Тогда-то и сразила, скрутила его впервые падучая, которая в моменты сильного потрясения изредка повторялась, и каждый раз после ее приступа он чувствовал жуткое опустошение.

Бий Матэ был мудр и прозорлив, и всю самую горькую правду он утаил от молодого султана. Даже у того, кто обуздывает железной волей все свои страсти и стремится лишь к доброй славе и печется лишь о чести и достоинстве, в жизни случается больше потерь, нежели обретений; и горестей выпадает на его долю тоже больше, чем радостей. Почему-то именно так распоряжается жизнь. Цена лучшим человеческим качествам, как, скажем, благородству, очень высока. Можно, конечно, задавить, заглушить в себе неуловимые, казалось бы, страсти и желания, но плата за подобную сдержанность столь тяжка, что чаще всего и не замечаешь, как душевные муки обрекают тебя на страшные телесные страдания. А иногда и вовсе ввергают в пучину тоски. В таких случаях спасение лишь в чьей-то бескорыстной любви или огромном и искреннем сострадании. Да, только любовь и сострадание могут вновь вдохнуть жизнь в твою онемевшую от мук душу.

В тот раз он уцелел, удалось уйти от гибели. И с той поры он старался не вспоминать Патшаим.

Избегая встречи с ней, он долгое время издалека объезжал одинокое стойбище на северном склоне Черных гор. Но чем больше избегал он его, тем неодолимей его туда тянуло. Тяга эта неотступно преследовала его, точно наваждение, и, наконец, взяла-таки верх, поневоле привела к одинокому дому в горах. Видно, страстное желание, столько времени томившее его, обернулось в пору приступа болезни в красную лису, которая и заманила его в дом Матэ.

Он даже не подумал об этом, в подсознании не придал случившемуся значения, но чуткая Патшаим мгновенно все поняла. Сразу же догадалась о том, что творилось в душе Абулхаира, какие муки терзают его сердце, и во избежание недоразумения решительно развеяла даже его крошечную, смутную надежду, заговорив наперекор приличию прежде мудрого старика. Видение, которое Абулхаир поведал за дастарханом, она истолковала по-своему, с истинно женской тактичностью повернув разговор в другое русло.

Он не отрываясь глядел на красивую молодку, заметно смущенную, взволнованную его вниманием, и не сразу вник в потаенный смысл ее речи. То, что она незаметно, исподволь подбадривала его, направляла его волю к высокой цели, как бы благословляла на трудную судьбу заступника и избранника народа, он понял лишь потом.

Одновременно она стойко отмела от себя все его, быть может, неосознанные притязания и в душе прощалась с ним навсегда. «Высокие, крутые вершины ждут тебя на твоем пути. Недостойно тебе отвлекаться на случайные соблазны. Твой жребий — борьба. Бейся храбро, до конца. Такова твоя доля, предназначенная судьбой. С тобой мои искренние, благие пожелания. А на большее, прости, не рассчитывай...»— таков был подспудный смысл ее речи.

Сокровенный смысл того, что говорилось тогда за дастарханом, открылся ему во всей глубине позже — в годы смуты и мытарств, в пору суровых и тяжких испытаний. Это они, красивая молодка и старый мудрый бий, ловко направили тогда верткую лису пылких его желаний к высоким вершинам всенародных устремлений.

И теперь, многие годы спустя, тот дух, явственный или вымышленный, вновь разбудил его, прервав не столь уж частый безмятежный сон. И опять очутился он во власти неведомой тревоги. Опять маняще вильнула перед ним пышным хвостом красная лиса. Куда она на сей раз его заманивает? На какие деяния, на какой риск нацеливает?

Хан зябко поежился, вернулся в юрту, вновь забрался под одеяло. Но сон не шел. Смутные видения назойливо преследовали его.

Странно: все большие и памятные события в его жизни чем-то смахивают на мираж. Иногда кажется, что и сама жизнь его протекает как бы между сном и явью. Все вокруг как-то неустойчиво. Зыбко. Обманчиво. Неизменчиво только одно: все приятное, радостное во сне оборачивается наяву непременно досадой, сожалением. За редкими наслаждениями и без того куцей жизни всегда следует расплата в виде мучительных душевных терзаний. Поразительная закономерность! Вчера только, казалось, вместе с повозкой балабола-англичанина посетили его долгожданные радость и веселье, а сегодня все это бесследно улетучилось, рассеялось, точно степная пыль, едва та же повозка перевалила первый перевал. Вчера еще над всей округой царили шум и гомон в честь ханских торжеств, сегодня же обрушилась выморочная тишина, от которой берет оторопь. Сразу же приходили на память те окаянные дни, когда он маялся, точно бездомный побитый пес, в одиночестве. Неужели таков его удел? Неужели он обречен на одиночество?

Холод прокатился по его телу. Нет, нет! Только не это! Пропади пропадом такая доля!

И в испуге хан несколько раз кряду упомянул имя аллаха...

Как же быть? Красная лиса его мечты вновь мелькнула перед глазами. Подоткнув подушку под бок и подпершись рукой, хан до самого утра думал тяжкие думы...

Вскоре его ставку перевели на новое место. Теперь доносились до хана ржанье коней, блеянье овец, лай собак в расположившихся неподалеку аулах. Но эти привычные кочевнику звуки не утешали Абулхаира. Душа его тосковала по тому шумному, азартному веселью, по тем знаменательным торжествам, которые проходили в дни приезда посланников русской царицы.

Да! Уж коли ты хан, облеченный властью, вокруг тебя должно быть шумно и многолюдно. Тишина и покой хану противопоказаны. В таком случае он не находит себе места. Власти приятно, когда на нее устремлено множество взглядов, в которых отражаются мольба, обожание, робость и послушание. Власть нуждается в почитании. Ведь те люди, что вчера толпились возле него с потупленными взорами, в подобострастном поклоне, в робкой, угодливой позе, несомненно, тотчас переменились, едва отъехав от ханской ставки на расстояние крика. И плечи расправили, и грудь выпятили, и взор дерзко устремили вдаль. А что у них на уме — одному аллаху ведомо. Значит, чтобы выбить из них всякую спесь, надобно любой правдой и неправдой держать их возле себя. Иначе — беда.

Вот какая трвога вырвала его в ту лунную ночь из сна. Вот почему померещилась ему красная лиса, прошмыгнувшая неподалеку за перевал.

Шумное сборище в Каинды убедило его в том, что многие степные воротилы хоть и не больно тянутся к нему, но и не очень-то сторонятся. Главная теперь забота — сохранить то, чего он достиг. Не потерять сторонников. А этого можно добиться лишь в том случае, если разношерстный степной люд, норовящий вольно рыскать по степи, держать в крепкой узде и увлечь его общей целью или хотя бы заманчивой для всех забавой.

Но... откуда возьмешь такую цель? Где найдешь для всех забаву? Врагов, норовящих схватить себя за горло, вроде нет. Джунгары завязли в стычках с китайцами. Будучи чьим-то подданным, тоже ни с того ни с сего ни на кого не набросишься. Так что же делать? Как быть?

Вопрос этот не давал Абулхаиру покоя с той самой поры, как Ералы отправился в Петербург. Возможный ответ

он, правда, уловил еще во время шумных торжеств в Каинды. Как бы ни старался суетливый иноземец Жон-мурза скрывать истинное положение дел, однако чувствовалось все же, что русская самодержица весьма встревожена башкирским мятежом. Следовательно, ее величеству не может быть безразличным отношение инородцев к дерзким бунтовщикам. И если выказать свое возмущение этим событием, более того — свою готовность схлестнуться с мятежниками, то, несомненно, такой жест должен быть по достоинству ею оценен.

Абулхаиру и ранее приходилось слышать о таинственном исчезновении табунов рода шумекей. Поговаривали, что под покровом ночи их угоняют в сторону башкирских степей. Получив весть о том, что к нему с берегов Ори выехал со своей свитой русский посланник, он распорядился заслать в аулы по пути следования посольства лазутчиков и соглядатаев. Поймав конокрада, он устроил публичный суд, да еще сделал так, чтобы на нем присутствовал посланник ее величества. И когда тот, пользуясь правом высокого гостя, заступился за жизнь конокрада, уговорил хана смилостивиться над несчастным, Абулхаир особенно возражать не стал, ибо это входило в его расчеты, и он не хотел взять на себя кровь. Все получилось, как он хотел. Избегнув наказания, остались довольными жагалбайлинцы. Получив табуны назад, ликовали шумекейцы. А самое главное то, что высокие гости, которые, как известно, недолго гостят, но многое подмечают, получили возможность воочию убедиться, что они, киргиз-кайсаки, не имеют и не затевают с мятежными башкирами никаких темных дел-делишек.

Но и это еще не было единственной целью, которую преследовал хан. Ему хотелось вызнать, как отнесется к ним могущественный сосед, принявший их в свое подданство, в том случае, если ей, русской державе, придется применить силу против мятежных башкир. Для этой цели хан и направил большую свиту для сопровождения русского посланника.

Прошло лето. Уже обрушилось осеннее ненастье. А люди из той свиты все не возвращались. Все это время хан чувствовал себя на распутье и не знал, что ему предпринять. Надо бы собрать и объединить улусы, разбросанные по всей необъятной степи, только на что нацелишь, куда их направишь? Можно, конечно, и ничего не делать, выжидать до поры до времени, но ведь этак вольный кочевник,

занимающийся скотоводством, может и вовсе отбиться от рук, уйти из-под ханского влияния. Все долгое лето хан провел в тревожных размышлениях. Те, кто сочувствовал ему, постоянно разъезжали по аулам, прислушивались к разговорам, собирали для хана разноречивые сведения. И хан понял: нельзя в безмятежности проводить время. Нельзя бесконечно долго выжидать. Необходимо держать народ в узде, в единстве. Надо сплачивать улусы в единый кулак. Иначе те, что воздвигают под боком военные укрепления, завтра перестанут с тобой считаться. Кому он нужен, хан без власти?! Необходимо внушить русской самодержице, что он, хан Абулхаир, обладает немалой силой и влиянием в степи. Каждый предводитель рода, примыкающий к нему, укрепляет его авторитет и власть. С этой целью на торжествах по случаю встречи посла Абулхаир оказал всяческие почести строптивому батыру Жанибеку и батыру из рода шакшак Букенбаю, желая тем самым продемонстрировать свое влияние на правителей Среднего жуза. Хан добился того, чтобы устами Жанибека было высказано желание, что и улусы Среднего жуза намерены вступить в подданство России и ждут не дождутся, когда ее величество императрица пришлет своих послов. Эту мысль Абулхаир внушил и своим людям, отправленным в свиту Жона-мурзы.

Нелегкое это дело — в смутную пору выжидания удержать при себе кочевой народ и его честолюбивых правителей. Не то что подопечных, жадными глазами озирающихся по сторонам, но даже собак на дворе не так-то просто удержать; им нужно время от времени подбрасывать сахарную кость, иначе разбегутся по домам, по аулам, на чьих помойках можно чем-либо разжиться. Однако никакого ханского добра не хватит, чтобы соблазнять подачками бесчисленный степной люд. Единственный выход — возглавив поход, отправиться на разбой. Попробуй жить в мире и согласии с соседями, если стоишь во главе несметной оравы, испокон веку промышляющей грабежом. Но нигде тебя не ждет дармовая добыча. Куда сунешься, когда под боком твоим высятся караульные вышки, воздвигаются крепости и укрепления, грохочут пушки, изрыгающие огонь из драконьей пасти?! Тут самодельными пиками да дубинами много не навоюешь. Значит, напасть можно на таких же безоружных бедолаг в рваной овчине — на башкир и калмыков. Так уж повелось издревле: чуть что — набрасываешься на них, как на соб-

ственных овец в загоне. Даже оправдание придумали для разбоя: «Ты не виновен, но я ведь голоден». Так и жили с сотворения мира, попеременно грабя друг друга при всяком удобном случае. Увы, и те времена теперь проходят: теперь уж невозможно стало уповать на силу и удачу. Отныне сиди тихо, не рыпайся, оглядывайся только на уруса-благодетеля. Вот до чего дожили, приняв его подданство!..

Тщетно Абулхаир искал выход. Голова шла кругом. К счастью, на исходе осени вернулись долгожданные караванщики. Ханский аул, спасаясь от пронизывающих ветров, расположился к тому времени в укромном ущелье Мугоджарских гор. Когда на вершине увала показался небольшой караван, аульная детвора, подняв восторженный гвалт, высыпала навстречу.

Степной ветер донес запахи каравана — остро запахло дорожной пылью, конским потом, кожей, тюками материй, мукой, чаем, сладостями и прочим городским товаром. По бокам верблюдов и лошадей бугрились туго набитые холщовые мешки. И стар, и млад в ауле вышли из юрт. Все с нетерпением ждали гостинцев. Ждал караванщиков и хан. Только не гостинцы его интересовали, а вести-новости из далеких русских городов.

В числе своих людей хан приметил и одного незнакомца. Впрочем, ему почудилось, что эти острые, шмыгающие глазки, это хитроватое выражение на лоснящемся лице он где-то уже видел. Незнакомцу явно не сиделось на месте, был он вертляв и неуемен. И вел себя вольно, развязно, будто приходился хану шурином. И тараторил без умолку, из чего хан заключил, что незнакомец наверняка один из многочисленных пронырливых татар, которые косяками толпятся вокруг русского начальства.

— Повелитель, кажется, вы меня не узнали...

Хан еще более насупился и грозно уставился на неучтивого гостя. Но тот ничуть не смутился — осклабился, растянув рот до ушей:

— Я же... Юмаш...

Это еще кто такой? Да назови хоть в придачу и имя отца — вряд ли сейчас хан вспомнит.

— Ну, помните... тот самый Юмаш, что приезжал к вам с Мамбетом-мурзой!

Подожди, подожди... Да, да... в свите Тевкелева, теперь припоминается, был такой юркий, улыбчивый малый. Хм-х...

Ну, и что из этого? Чего он радуется, губошлеп... в глаза назойливо лезет... беседе с караванщиками мешает?

— Ну как же вы меня так быстро запамятовали, благодетель мой?! Помните, еще в Каратупе это было, я вас и Мамбета-мурзу снабжал разными сведениями из ближайших аулов?

Ах, вон оно что!.. Это тот самый проныра-шатун, что рыскал тогда по аулам! О, ловкач! Шустряк!.. Нюх — что у гончей. Шастал по степи, точно призрак. О таких говорят: в игольное ушко пролезет. С какой стати этот пройдоха вновь здесь очутился? Или кто соскучился по нему здесь?..

Хан пригласил караванщиков в гостевой шатер. Трепливый Юмаш, недолго рассуждая, плюхнулся на почетное место по правую руку хана. Ну и наглец! Даже не стал ждать приглашения. А туленгут Байбек, обычно бесцеремонный и шумливый, отчего-то замялся и помалкивал, будто воды в рот набрал.

— Рассказывайте. Я весь внимание,— учтиво попросил Абулхаир.

В правом ухе его тотчас зазвенело. Сосед заболботал, как заведенный. Хан поначалу опешил и ничего понять не мог. Лишь некоторое время спустя сообразил, что пронырливый гость о чем-то его расспрашивает. Вроде как интересуется местом стойбищ Жанибека и Абильмамбета. Это еще зачем ему понадобилось? «И Кирилов, и Мамбет-мурза посоветовали мне перво-наперво навестить вас, почтенный хан»,— продолжал балабонить вертлявый Юмаш. Хан недоумевал: час от часу не легче. Интересно, какое же у него может быть дело? Этого проныру наверняка заслали к казахам как лазутчика. Видно, ему поручено пронюхать, что же творится в безбрежных казахских степях. И только! Ведь не может же быть, чтобы такому доверяли серьезное поручение...

Хан пристально посмотрел на Байбека, дескать, скажи же, наконец, что-нибудь вразумительное, сколько можно слушать эту трескотню...

Но Байбек, огромный, неуклюжий, похожий на верблюда, опустившегося на зольную кучу, все молчал, напряженно вытянув кадыкастую шею. Большие белесые глаза с красными прожилками подобострастно глядели на говорливого спутника. Он заметил недоуменное выражение на лице хана и поневоле вступил в разговор:

— Мой повелитель! Юмаш-мурза прибыл с важным по-

ручением к поверенным правителям Среднего жуза. Просьба и желание Жанибека были переданы русским властям. Юмаш-мурза пожаловал с грамотой, которую батыр Жанибек должен клятвенно заверить. Юмашу-мурзе наказано заехать сначала к вам, узнать у вас про настроения других влиятельных лиц Среднего жуза, и если имеются такие, кто готов вступить в подданство ее величества императрицы, то попутно взять клятвенные заверения и у них.

Абулхаир только теперь все понял. Скрывая явную озадаченность, он повел плечом, поправил сползавший халат, подбитый мерлушкой, и при этом осторожно покосился на Юмаша. Вот, оказывается, отчего он так важничает и хорохорится! Ишь, нечестивец, неспроста, видно, так по-свойски пристроился сбоку. Власть почувствовал! Но куда смотрит царская власть? Неужто не могла для такого важного дела прислать кого-нибудь поприметнее? Или, может, считает, что для кочевников в рваной овчине сойдет любой пройдоха? Дескать, чего еще с ними церемониться... А ведь этого проныру даже мало-мальский аульный бай всерьез не примет, не говоря уж о кичливых правителях родов. Странно это... Странно и унизительно...

Говорливый гость, наконец, запнулся и весь подался к хану в ожидании ответа. Абулхаир равнодушным голосом сказал:

— Жанибек со своими аулами пока не откочевал. Обитает там же, в стороне Иргиза. Вдоль реки, понятно, выпасов много. И пока на южные склоны не ляжет изморозь, он, конечно, с места не тронется. Барак-султан, по слухам, находится от того места на расстоянии трехдневного пути. И пока его табуны не вытопчут тамошние богатые выпасы, он тоже вряд ли подастся к побережью Сарысу. А вот об Абильмамбете я наверняка не скажу. Это могут тебе сказать те двое. По моим сведениям, он еще в Прииртышье.

От других разговоров с гостем хан в тот день воздержался. По всему видать, Абулхаир еще никак не решил, как вести себя с пронырливым гостем, облеченным столь неожиданными большими полномочиями. К тому же он не хотел раскрыться, пока — по обыкновению — не вызнает все от непривычно замкнутого на этот раз Байбека.

Отправив нежданного гостя в отведенную для приезжих юрту, хан долго беседовал с туленгутом Байбеком, выспрашивая подробно, почему его послы так долго задержались.

Байбек, постоянно разъезжая между ханской ставкой и представителями царской власти, научился неплохо разбираться в их взаимоотношениях и многоликих подспудных течениях. Он живо, со всеми подробностями расписал все мытарства и треволнения, вынесенные ими среди мятежных башкир с того самого момента, как выехали из Каинды. Однако о самодурстве казачьего атамана Меровскина не обмолвился ни единым словом. Так же обстоятельно поведал он о дорожных впечатлениях англичанина Жона-мурзы. О встрече с высоким начальником Кириловым тоже рассказал все без утайки. Хитрый туленгут не преминул расписать свою находчивость и смелость, проявленные им в безвыходных, казалось, положениях. Особенно красочно передал он разговоры с царскими правителями. По его рассказам выходило, будто они все в Абулхаире души не чают. И уж если бы не подлые проступки башкирских смутьянов, давно бы было построено военное укрепление на Ори. Да и ханзада Ералы наверняка уж вернулся бы домой. Не будь этих проклятых мятежников, хана непременно пригласили бы в новый город, воздали бы ему почестей, какие степнякам и во сне не снились, и сменили бы аманатов. Вот как только подавят мятеж, сразу все образуется. Счастливее и могущественнее казахского хана-правителя на белом свете не будет. Это уж совершенно определенно! И если в эту трудную для русских пору, когда им уже столько времени никак не удается усмирить башкирских бунтовщиков, казахи начнут совершать на них исподтишка налеты, то царскими правителями подобное рвение будет только одобрено.

Хан в упор уставился на лукавого туленгута. Что этот льстец задумал? Уж не переметнулся ли он в стан урусов? Или, возомнив себя бывалым посредником, ловко набивает себе цену? Или незаметно попал в силки тамошних хитрецов?

Байбек ничуть не смутился. Сидел довольный, удовлетворенный собой, пощипывал закручивающийся лихо ус. Во взгляде сквозила хитреца. «Разе не это ты хотел от меня услышать?— казалось, говорил он.— И разве не к этому ты стремился? Вот я и сделал все, как ты желал...»

Абулхаир кивком головы указал на дверь, в которую недавно вышел Биаш, и хмуро спросил:

— А этому пролазе что нужно?

— Рассказ гостившего у вас Жона-мурзы о вашем влиянии среди правителей Среднего жуза произвел на русских

сильное впечатление. И пока те не раздумали, русские, видимо, спешат закрепить добрые намерения на бумаге. Мы уже собрались в обратный путь, как присоединили к нам этого балабола. И мне при этом не раз и не два внушали: передай, дескать, хану нашу просьбу — пусть посодействует нашему посланнику в его поездке к правителям Среднего жуза. Ее величество императрица по достоинству оценит его старания и услуги.

Весть эта пришлась хану по душе. На бледном, как кость в щелоке, его лице проступил румянец, точно отсвет предзакатных лучей. Черные, как шерсть выдры, усы залоснились.

Заметив эти перемены в лице хана, возликовал в душе и Байбек. Однако хан, как бы спохватившись, тотчас грозно насупился. Скулы затвердели, желваки взбугрились, точно свидетельствуя о том, что хан либо не верит льстивым словам туленгута, либо взбудоражила его неожиданная еще одна тревога.

Байбек, явно обескураженный, вышел. Осмотрительный Абулхаир, не принимающий никаких решений, пока не взвесит тщательно все возможные последствия, и эту ночь провел в глубоком раздумье.

Так, значит... Выходит, русские власти всерьез обратили теперь свой взор на Средний жуз? Узнав об их намерении и благосклонности, самодовольные, от спеси раздувающиеся правители Среднего жуза наверняка сразу станут тише воды и ниже травы. Они ведь никогда особенно и не возражали против того, чтобы вступить в подданство русского государства. Единственное, что их удерживало и раздражает, это то, что их опередил, неожиданно обскакал в этом деле сын Усеке — Абулхаир. Они не могут ему простить того, что посол белого царя предпочел и облюбовал именно ставку Абулхаира, будто во всей казахской степи не было и нет другого более именитого и родовитого султана. А ведь приглашали — и не раз! — к себе, зазывали и так и сяк, по-доброму, по-хорошему, но посол уперся, что норовистый бычок — его на выпас выгоняют в низовье, а он прет себе на бестравье к верховью. Случись же все с самого начала по их воле, все вышло бы славно, ладно да складно — словно масло топленое по глотке потекло. О, тогда бы в далекий Петербург отправился, аллах свидетель, не Ералы, а наверняка какой-нибудь шустрый отпрыск из династии Жадика! И восседал бы он там перед самой повелительницей

полмира, венценосной царицей урусов, горделиво вскинув голову, чувствуя себя единовластным владыкой степных просторов. И тогда русское победоносное войско воздвигало бы город-крепость не на пограничье с Малым жузом, а непременно под боком Среднего жуза. И это было бы справедливо: такое решение благосклонно воспринял бы не только хан, но и весь многоликий казахский люд. Абулхаир прекрасно сознавал, что́ на уме могущественного клана Жадика. «Видать, и впрямь простодыры, эти чиновники белого царя. С ходу попались в сети коварства. Клюнули на первый же крючок. Да и сами, должно быть, рассчитывают на такое же простодушие. Им хочется, чтобы и Средний жуз послушно поплелся бы за сыновьями Усеке, словно верблюд за годовалым верблюжонком. Нет уж... Может, живые и побрели бы, да дух усопших не пустит. Скажи им об этом — не понимают. Ну, хорошо... Допустим, царица не понимает, ибо далека, за тридевять земель, не видит, не слышит... Но ведь посол-то ее не слеп, все видит, все замечает, поскольку все происходит под его носом. Почему же он молчит, не задумывается? Неужто холодный и неприступный, как гремучая змея, самоуверенный сын Усеке сумел заворожить полуиноверца, полумусульманина посла со скользкими повадками? Забился, нечестивец, в ханскую ставку, дрожмя дрожит, боясь отойти хоть на шаг. Бог с ним!.. Пусть не откликается на зов! Пусть не приезжает в Средний жуз... Но ведь унизил, осрамил доверенных людей, приехавших в Уфу и попросивших его взять их с собой в Петербург, дабы припасть к ногам царицы. Не взял, отправил назад, точно бродячих собак! Каково?! Что же это, как не измывательство над достопочтенными людьми Среднего жуза? Когда Самеке увидел своих посрамленных послов, притащившихся в осеннюю стужу, будто побитые псы, назад, он был готов провалиться сквозь землю. Позор этот и добил его. После него он никак не мог оправиться, не в силах был встрепенуться. Вскоре поползли слухи: «Абулхаир подослал лазутчика и отравил Самеке... Таким же способом он когда-то расправился и с Каюп-ханом...» Абулхаир, конечно же, знал, кто и ради какой цели распространяет эти слухи. Враги ничем не брезговали, старались любой ценой выбить из-под его ног почву, посеять смуту, зная, как падок доверчивый степной люд на самые нелепые слушки. Им, врагам, важно было ослабить его влияние среди соплеменников, осрамить его в глазах толпы,

изобразить его пугалом. Что ж... все это понять можно. И ничего не остается, как стиснуть зубы и терпеть. Выжидать. И Абулхаир дождался своего часа. Весть о пышном пире, проведенном в честь султана Нуралы в новой крепости на берегу Ори, ошеломила клан Жадика. Первым взвился, кинулся в дыбки, словно наступив на раскаленные уголья, синегривый матерый волк — Барак. Взбешенный, выскочил он из юрты, бросился к коновязи, где днем и ночью томились заседланные скакуны, и поскакал во весь дух в сторону Сарысу, к ставке Кушика. По пути ни к одному из султанов рода Жадика так и не заехал. Двое сыновей хана Турсуна, которым в свое время тесно было в городах Туркестан и Шаш, кинулись друг к другу в объятия, спеша выплеснуть затаенные обиды. О, подлое время!.. Отвернулась удача от потомков достославного Жадика. Еще недавно от спеси и могущества ног под собою не чуяли, словно могучие жеребцы в табуне, а теперь позором стали в глазах живых, доли своей лишились. С тех пор, как покинул юдоль печали славный хан Тауке, камень везенья сорвался с кручи. Неудача постигла их на вершине холма Даурен... Потом, совсем недавно, пришлось снести позор в Уфе... Теперь верный прихвостень царицы, златопогонный посланник ее, заладил одну и ту же песню, заученно твердя: «Абулхаир!», «Нуралы!», «Ералы!», точь-в-точь козодой, надрывающийся в сумерках на опояске юрты. До каких пор это будет продолжаться? Неужто сыны Жадика недостойны чести?! Неужто их имена осквернят уста посланника царицы?! Не вызов, не унижение ли это?! Или отныне честь и слава — удел потомков Усеке? А отпрыскам Жадика осталось лишь брести по степи да выкапывать дикие коренья в барханах? Верно: в свое время мы допустили большую оплошность. Не заметили, как, грозя Абулхаиру, отпугнули посла белой царицы. И он, видя нашу строптивость, принял нас за башибузуков, способных только бузить да стравливать народ. И отвернулся от нас... Абулхаир же умело прикинулся тихоней, как-никак ведь от младшей жены отца родился, с детства привык быть тихим да скромным, и вот опять оказался в выигрыше. Приглянулся своей покладистостью царскому двору. А те, заручившись его подмогой, на остальных чихать хотели. В упор не замечают. Ну, а мы что... будем терпеть? Смиримся с позорным существованием? Надо же что-то предпринять. Всегда держались надменно, вызывающе, а что толку? Чего достигли? Может, настала пора, подобно льстивому отродью

Усеке, прикинуться маленькими, ничтожными, покорно гнуть спину и преданно заглядывать в глаза? Может, угодливо припасть к стопам, смиренно опустив глаза долу? Пусть эта самая Анна, дочь Иоанна, хоть трижды будет царицей, но ведь баба и есть баба, значит, должна же она растаять от верноподданических, ласковых слов. Даже верблюдицу, чей верблюжонок погиб, как известно, можно ласковым обхождением пронять и утешить. Может, прикинемся сирыми да убогими? Может, пустим слезу? Вдруг да и обратит на нас великая владычица свой благосклонный взор... Ведь один лишь дьявол живет без надежды. Одно очевидно: хоть и далека от нас вседержица, но без ее милости нам, аллах свидетель, не прожить. Миновало то время, когда мы могли довольствоваться и упиваться властью в собственном табуне. Давай что-нибудь предпримем. Пора действовать. Может, воздастся за наши старания...»

Да, уж кому-кому, а Абулхаиру доподлинно известны все повадки неукротимого Барака. И если он, заночевав в безлюдной степи, не лишится рассудка, что, говорят, случается иногда с правоверными, то именно так он поступит и так он скажет. А красноречием и напористостью он всегда отличался. Заговорит, распушив густую, смоляную, огромную, как бадья, бороду и, подкручивая концы аршинных усов, так кого угодно проймет, всколыхнет, взбудоражит. А уж брата своего, Кушика, и вовсе в оторопь ввергнет. Вот уж наградили родители его брата имечком — Кушик[1]. Словно не нашли никого более достойного среди собачьего племени. Ни громоздким, неуклюжим телосложением, ни тем более складом характера-норовом сват никак не оправдывал свое имя. И все же не случайно прибегли к столь уничижительной кличке. Стоило ему только раскрыть рот, как и впрямь всем мерещился щенок. Не говорил — скулил, да так пронзительно, жалобно, будто сверлил темя. И у собеседников волосы вставали дыбом. Не от страха, а от сострадания, жалости. Когда он, сидя в юрте, отзывался на зов путника снаружи, то можно было подумать, что это стонет, только что разродившись, измученная молодуха, и путник в великом смущении поворачивал коня: ведь не ввалишься же в юрту, в которой лежит измаявшаяся роженица.

---

[1] *Кушик* по-казахски означает щенок.

Можно только удивляться прозорливости родителей, назвавших одного Бараком, то есть породистым матерым кобелем, а другого — Кушиком, то есть беспомощным, с еще не прорезавшимися глазами щенком. И не нужно большого ума, чтобы живо вообразить себе, как протекала беседа между ними. Барак, конечно же, рычал грозным псом, ну а Кушик лишь потявкивал, скулил щенком.

Все так и было. Один из султанов, возглавляя десять тысяч кибиток, обитал в долине Сарысу, другой, имея власть над тридцатью тысячами кибиток, вольно расположился на песчаных просторах Тургая; и вот теперь, объединившись, решили направить челобитную Мамбету-мурзе, который упорно не желал считаться с ними. Они были совершенно убеждены, что именно Мамбет-мурза зажег звезду удачи Абулхаира. И уж коли Абулхаир сумел ублажить царского слугу, то почему бы и им не сделать того же? Нужен скот — милости просим, табунов в степи не сосчитать. Нужно богатство — слава аллаху, и за этим дело не станет. Могут заткнуть глотку какому-то трепливому, брехливому татарину. Даже если ему девка понадобится для услады — пожалуйста, подыщут и нетронутую кизимку. Мало ли их лихие барымтачи-угонщики средь бела дня умыкают?! Не жалко, пусть себе тешится. Лишь бы дьявол этот спесивый прислушался к их мольбе, не швырял их челобитную в огонь...

Написали же без обиняков, напрямик: дескать, присылай посольство, такое же, как некогда посылал Абулхаиру.

Письмо, сочиненное двумя отпрысками хана Турсуна, подписала — кто приложив печать, кто — большой палец — разъевшаяся на молодой конине и терпком кумысе вся знатная верхушка многочисленного рода найман — Тулеген и Тлеумбет, Шоребай и Шурек, Бокай и Калкаман, Шубар и Утепбай, Акшора и Суюндук, Жарасбай и Урус, Айтимбет и Казкара и еще косой десяток. Посланцы выбрали из них пятерых — самых бойких, настойчивых, из тех, что не свернут с полдороги. И действительно: они разыскали-таки в пламени башкирского мятежа господина Тевкелева, прозванного в степи Мамбетом-мурзой, и вручили ему прошение.

Весть об этом Абулхаир узнал через Нуралы, гостившего в ауле своего тестя Кушика. А узнав, почувствовал себя так, словно угостили его накануне мясом объевшейся беленой скотины.

Он сразу понял, что́ на уме матерого волка Барака, ко-

торый только с виду шумный, резкий и грубый, а по сути своей — хитрован, из ничего умеющий извлечь выгоду. Да, да... он себе на уме. Понятно, куда метит. Самеке умер. Абильмамбет — рохля, мямля, весь в отца Булата. Абильмансур еще молод, зелен, только-только пытается встать на крыло. О старшем брате Кушике и говорить нечего: с ним все ясно. Что касается Жанибека и Казыбека, то они, выбившись в ханы, отошли от всего, им нет дела до судеб потомков Жадика. Выходит, во всем могущественном клане Шигай нет более достойного и влиятельного, чем он, Барак. Общий для всех трех жузов трон все еще пустует. Не занят пока и трон Среднего жуза. Так что, если в эту пору действовать посноровистей, можно будет оседлать один из этих тронов. Для этого необходимо прежде всего упредить Абулхаира, обскакать его на крутом пути. Для этого нужно заручиться благосклонностью державной повелительницы. А ключ ее благословения находится в руках пройдошливого Мамбета-мурзы, посетившего однажды казахскую степь. И если не соблазнить его жирным куском, не умаслить вовремя, именно сейчас, в эту смутную пору, то он в благодарность за многочисленные дары и услуги может в одночасье передать все бразды правления степью предприимчивым сыновьям Усеке...

Все это Абулхаир отлично понимал. И лишился, как говорится, днем смеха, ночью — сна. Озирался по сторонам, точно гулящая баба, дожидаясь вестей. Прошло несколько месяцев — ни слуху, ни духу. Год прошел — ничего достойного внимания. Царские чиновники словно воды в рот набрали. И подумалось Абулхаиру: «Видно, не забыл Мамбетмурза дерзкого буянства Барака и Батыра. Не в силах простить их, а потому и помалкивает». И еще подумалось: «Вряд ли посулы-соблазны собьют с пути Мамбета-мурзу. Помнит, небось, как еле ноги унес из степи...»

И вот нежданно-негаданно, точно нечистая сила в распутицу, объявляется вдруг проныра Юмаш и начинает выведывать про Жанибека, про Барака и Абильмамбета, будто на них свет клином сошелся. А какое, спрашивается, ему дело до них? Ведь не скот же его пасется в их табунах. Значит, речь определенно идет о том самом письме, которое воротилы Среднего жуза год назад всучили послу императрицы.

Как бы там ни было, неспроста все. Что-то вокруг затевается. Может, он допустил оплошность, пригласив Жанибека на сбор в Каинды? Ведь именно с этого момен-

та противники его ожили, всполошились, опьяненные бог весть какими посулами. А вдруг, разом забыв все прошлые общие испытания и невзгоды, все отвернутся от него и перекинутся в стан его противников?! Нетрудно себе представить, что тогда начнется!..

От этих дум даже под пуховым одеялом Абулхаир почувствовал озноб.

Неужто такое возможно? Кто все в состоянии предвидеть, кроме самого аллаха? Многое теперь зависит от такого пройдохи, как Юмаш. Как его примет клан Жадика? И в каком свете представит шустряк Юмаш их помыслы-намерения в глазах своих хозяев? Как говорится, альчик судьбы в его руках.

Однако неясно, почему он не сразу отправился в Средний жуз. Зачем он сначала завернул сюда? Каким расчетом руководствуются при этом его начальники?

Что все это не случайно — и глупцу ясно. Почуяв добрые намерения Жанибека, царские чиновники, понятно, решили воспользоваться моментом и заручиться благосклонностью Среднего жуза. И сейчас им, как никогда, пригодилось прошлогоднее письмо, сочиненное Бараком и Кушиком на имя императрицы. Однако какой смысл обходить в этом вопросе его, Абулхаира? Зачем усложнять отношения с ним? Нельзя, чтобы в нем вспыхнули подозрения, будто что-то затевается за его спиной, или — не приведи аллах, чтобы он обиделся. Такой вот очевидный расчет. Потому-то Юмаш-хитрюга и вертит хвостом туда-сюда, все что-то вынюхивает, выспрашивает, не вдаваясь в тонкости и подробности ни в одном вопросе. Понятно, прежде всего старается вызнать его думы и настроение.

Абулхаир глубоко задумался. Как понять истинное настроение царской администрации и каким образом следует поступать ему?

То, что они сначала послали Юмаша к нему, означает, бесспорно, что с ним по-прежнему считаются. А коли так, то и он обязан оценить этот жест по достоинству. В противном случае он поступил бы неразумно. В том, чтобы российская протекция распространялась не только на Младший жуз, но и на всех казахов, заинтересован прежде всего он, Абулхаир. В таком случае, естественно, его авторитет в глазах и российского двора, и казахов только возрастет. Пусть Барак в своем усердии хоть как изворачивается, царица ему былых грехов ни за что не простит. Простили бы — ответили бы сразу на его верноподданнейшее прошение, а

не отмалчивались бы целый год, в то время как на малейший намек Жанибека откликнулись тотчас же, немедленно направив к нему посольство. И не случайно посол, направляющийся в Средний жуз, сделал такой большой круг, чтобы держать совет прежде всего с ханом Младшего жуза. Это тоже, с одной стороны, говорит о недоверии к Бараку, а с другой — об их стремлении возвеличить Абулхаира перед кланом Жадика. Отсюда вытекает вывод: нечего понапрасну изводить себя сомнениями, пора решительно действовать.

Действовать, однако, следует с умом, с оглядкой. Нельзя допустить, чтобы поездка проныры посла в Средний жуз обернулась чем-то похожим на приятную прогулку баловня-племянника к родственникам по материнской линии. Все потомки Жадика, насколько ему известно, честолюбивы и обидчивы. Вот на этой струнке и следует поиграть. Несомненно, при появлении Юмаша они почувствуют себя ущемленными, дескать, Абулхаиру императрица посылает почтенного златопогонника, а им — какого-то пройдоху без рода и племени. В самом деле, Юмаш кажется столь ничтожным, что его не только послом, но и на поиски пропавшего косяка посылать не следовало бы. С таким дело иметь — удовольствие невеликое. Тут и спесивцем не надо быть, чтобы почувствовать себя оскорбленным. Словом, появление такого, с позволения сказать, посла никак не может быть поводом для щедрых и пышных торжеств. И, вернувшись назад, вряд ли Юмаш сможет похвастаться перед своими хозяевами оказанными ему почестями со стороны правителей из дома Жадика.

Да, да, именно сейчас Абулхаир обязан проявить дальновидность и расчет. Любое затеваемое им дело приводит кичливых и самонадеянных потомков Жадика в ярость и негодование. Ну и пусть! Ему-то как раз это и надо. Пусть себя чувствуют как строптивая кобылка, еще не познавшая буйной ярости табунного жеребца. Завтра же Абулхаир пригласит лукавого посланника к себе и посоветует ему отправиться прямиком к Жанибеку. Это ввергнет спесивцев из клана Жадика в бешенство. «Как?!— возопят они.— Не удостоив нас, высокородных, вниманием, этот нечестивец подался к низкородному?!»

И лишь после этого посол навестит Барака. И ясно, что тот в оскорбленном самолюбии вскинется на дыбы. И было бы здорово, если бы при этом присутствовали верные люди Абулхаира, ну, скажем, Байбек и Итже-

мес. О, что бы тогда творилось в ауле грозного Барака! Да он бы лопнул наверняка от такого унижения. И поделом! Да нельзя, пожалуй... нельзя. Этот невзначай задело бы и честолюбие Жанибека. В самом деле, ничего себе было бы посольство: со стороны администрации — пройдоха Юмаш, а со стороны Абулхаира — его же безродные слуги, используемые им на побегушках. Нет, так не годится. Унизить Жанибека он никак не желает. Наоборот, ради его одного он не поскупился бы ни на какие почести. Отправил бы к нему в сопровождении этого посланника таких достойных и видных мужей, как шумекейца Арыстанбая, жагалбайлинца Серке, маскарца Тулебая. Но ведь за славным батыром Жанибеком из рода шакшак стоит дерзкий и неукротимый Барак. А уж ему Абулхаир — боже упаси!— никаких почестей воздавать не желает! Значит, с Юмашем надо отправить таких людей, присутствие которых не ущемляло бы Жанибека, но и никак не возносило бы шального Барака. Для этой цели, пожалуй, наиболее подходят старший брат Нияз и шурин Мырзатай. Они ведь как-никак из ханской семьи. А один из них даже султан. Обоих Жанибек хорошо знает. Барак же при одном их виде тотчас ощетинится: они ему еще более неприятны, нежели сам Абулхаир. К тому же старший брат Нияз хоть и простодушен по природе, но груб и неотесан. Большой мастер мутить воду. Язык у него что помело. Любит прихвастнуть — лишь бы был повод. А нет повода — тоже не беда. Начнет на все лады воспевать славных предков, чьи кости давно уже истлели под безымянными курганами. Потом на все лады расхвалит младшего брата Абулхаира, слава которого гремит на всю степь. Потом вознесет до небес племянника Нуралы, умнейшего и достойнейшего из султанов. Потом живописно поведает, сколько раз на неделю меняет нижнее белье юный султан Ералы, находящийся в Орской крепости. Если же хвалиться будет нечем, Нияз как бы вскользь уничижительно отзовется о плоской местности, где расположились сыновья хана Турсуна. Задевая самолюбие хозяев, он скажет: «Оу, люди добрые, что же это в самом деле? Живете в открытой степи, гладкой, как рожа безбородого. Аллах свидетель, нужду справить — и то негде. Ну, бабье племя на худой конец хоть чапаном прикроется. А мужчинам неужто принародно зады оголять?!.. То ли дело у нас! Сразу же за аулом — глубокий овраг. Приволье! Хоть нужду справляй, хоть с девка-

ми играй... Ха-ха!..» Подобные разговоры, понятно, ни благостными, ни учтивыми не назовешь. Но бесцеремонный Нияз и не на такое способен. Он ведь еще не успел забыть о давней своей поездке в Петербор. И не преминет рассказывать о том взахлеб. А уж если подвернется ему кто-нибудь из Уфы или Самары, то начнет подробно расспрашивать о спутниках, с которыми ему довелось посетить столицу Российской державы. Когда же речь зайдет об аудиенции у великой императрицы, Нияз восторженно закатывает глаза и переходит на благоговейный шепот. Любой такой разговор спесивые потомки клана Жадика воспринимают как личное оскорбление. Под стать Ниязу и шурин Мырзатай. Он к тому же ехидина и задира. Более искусного зачинщика ссоры во всей степи не сыскать. Да и палец ему в рот не клади. Не дай бог вывести его из себя — тут он кого угодно точно дубинкой хватит по темени, принародно унизит честь достопочтенной тещи любого. Им обоим начхать и на посланника из Самары, и на священный остов родовой юрты сыновей Жадика. Эка невидаль!.. Словом, с такими спутниками и посланнику приходится ухо держать востро, и для хозяев, принимающих подобное посольство, невелик почет.

И если, почувствовав себя оскорбленными, потомки Жадика придут в ярость, то так тому и быть. А если же смирятся со своей унизительной участью и поведут себя кротко и благочестиво, то, как говорится, аллах с ними. В любом случае они себя уронят в глазах рода-племени. А это как раз то, к чему Абулхаир стремится в первый черед.

Но и этим Абулхаир довольствоваться не станет. Он уж позаботится о том, чтобы слух о его непосредственном участии в этом деле мгновенно распространился по всей степи. И — слава аллаху!— казахские аулы искони не испытывали недостатка в пустозвонах и пустобрехах, которых и хлебом не корми, а дай только почесать языком да из мухи сделать слона. Таких вдоволь найдется и в его ближайшем окружении. Один братец Нияз чего стоит! Расположившись на почетном месте какого-нибудь высокородного спесивца, он начнет заливать — хоть уши затыкай. И скажет примерно так: «Верно замечено: при первой встрече узнаешь друг друга, а при второй — знакомишься. С тех пор как я побывал у белой царицы, она каждый раз, направляя к голубчику Абулхаиру своих людей, непременно шлет мне поклоны. Так и говорит: «Передайте от меня

привет султану Ниязу и ханзаде Ералы». Ну, конечно, я ведь лицезрел ее светлый лик, удостоился ее царской милости. Выходит, приметила и запомнила. А то как же?! Верные, дельные люди и царице нужны. Вот и на этот раз — хоть и мучает меня проклятая мигрень — я решил уважить просьбу нашей благодетельницы. К вам, как видите, прибыл. Одно спасение — крепкий чай. В аулы, где угощают одним кумысом, я и не заворачиваю. Кумыс пусть пьют те бедолаги, что в стужу и в зной за скотиной бредут. А нам, высокородным, крепкий душистый чай подавай...»

Понятно, что подобные речи никак не услаждают слух кичливых потомков Жадика. И они, если уж не совсем глупцы, должны сообразить, что высокопоставленные чиновники императрицы, не заглянув сначала в ставку хана Абулхаира, не принимают ни одного серьезного решения. Если же о том догадаться не в состоянии, тем хуже для них. Пусть пеняют на себя!..

Вообще, как бы ни поступили предводители Среднего жуза, расчет Абулхаира верен: в накладе он не будет. Если они, задетые за живое, встанут на дыбки, значит, ухудшат свои отношения с царским правительством. Если же, смиряя гордыню, все же примут подданство на предложенных условиях, то это еще более укрепит вес и авторитет Абулхаира и в глазах степняков, и перед русской администрацией.

На следующий день заметно повеселевший хан вызвал к себе верткого посланника Юмаша и, не позволив ему раскрыть рта, сказал:

— При твоем обратном пути мы, вероятно, еще раз встретимся. Подводой и проводниками до Уфы я тебя обеспечу.

Судя по вестям, доходившим до Абулхаира, все складывалось так, как было задумано. И Жанибек, и шакшактинец Букенбай точь-в-точь повторили то, что год назад высказали Джону Кестли, и подтвердили свою готовность принять присягу верности белой царице собственноручным приложением печати. Как и ожидалось, при появлении двух представителей ставки Абулхаира строптивый Барак оскорбился и рассвирепел, словно уличил жену в греховных связях, но ни Нияза, ни Мырзатая это ничуть не смутило. Наоборот, Нияз подлил масла в огонь, дотошно расспрашивая хозяина о его слабоумном сыне и делая при этом прозрачные намеки, дескать, для мужчины, умеюще-

го размахивать дубинкой, слабоумие не главный грех, лишь бы оно не сказывалось в продолжении рода и не отразилось на потомстве. Самолюбивому Бараку ничего не оставалось, как смиренно проглотить и эту пилюлю, скорее ставить под бумагой и свою печать, чтобы только избавиться от назойливых и бесцеремонных непрошеных гостей. Абильмамбет, кочевавший вдоль Иртыша, тоже не испытал особого воодушевления. Он долго вертел в руках бумагу, со всех сторон рассмотрел расплывшийся след от серебряной печати Барака и, на всякий случай помянув аллаха, с силой пришлепнул и свою печать.

Абулхаир все же немного опасался, что расторопного посланника, с честью выполнившего ответственное поручение, кто-нибудь на обратном пути перехватит и начнет нашептывать ему на ушко о разных злокознях, и поэтому он заблаговременно выступил в путь в сопровождении знатной свиты, чтобы встретить Юмаша на берегу реки Камысты, впадающей в Орь неподалеку от дороги на Уфу.

Публичное сообщение посланника Юмаша Абулхаир воспринял с нескрываемым удовлетворением. Проныра Юмаш безошибочно догадался о причине его радости.

— Ее величество императрица весьма высоко почитает ваше, досточтимый хан, влияние в казахском народе и с благодарностью оценивает ваши несомненные заслуги. О вашей бескорыстной помощи и преданности я намерен и на этот раз всенижайше доложить владычице нашей,— торжественно заявил он.

Абулхаир ответил сдержанно, стараясь не поддаться откровенной лести:

— Мы также весьма тронуты щедродушием и благосклонностью светоносной царицы. Высокородные степные вельможи, сопровождающие меня в пути, жаждут узнать о желании и воле повелительницы особливо сейчас, когда наши соседи-башкиры подняли мятеж.

То, что Абулхаир узнал от Байбека некоторое время назад, он хотел, чтобы его свита услышала сейчас из самих уст посланника императрицы. И Юмаш тотчас ответил:

— Ее величество ничуть не сомневается в верности и преданности ее подданных кайсаков. Она уверена также, что вы не последуете дурному примеру мятежников, подло нарушивших присягу. И если у вас есть желание выступить против клятвопреступников и тем самым способствовать усмирению бунта, то, как говорится, воля ваша. В этом

деле вы, достопочтенный хан и старейшина рода, вольны поступать по собственному усмотрению.

Все собравшиеся согласно закивали. Один — должно быть, из наиболее нетерпеливых — высунулся из задних рядов, прокашлялся, подал голос:

— И в самом деле, почему бы нам не проучить этих бузотеров как следует?! А то, чуть что, так и норовят угнать наших лошадей, да и аулам от них покоя нет.

— В таком случае, надо с ними схлестнуться еще до зимы. А то наметет такие сугробы, что на конях не пробьешься.

— Да, да... чего там! Раз замахнулся — так ударь!

— Ладно,— хмуро заметил Абулхаир.— О том разговор особый.

Он поблагодарил Юмаша и, выделив ему надежных провожатых, проводил в путь.

Из Камысты Абулхаир вернулся в явном замешательстве. Как быть? Была бы его воля — ударил бы исподтишка по башкирским мятежникам, показал бы былую прыть. Ведь об истинном намерении государыни императрицы казахские владетели услышали из уст самого ее посланца. Ясно также, что стоит только бросить клич, как немало степняков с готовностью кинется за ним в огонь и в воду. Конечно, в таком случае он еще более угодил бы царице, а вот угодит ли погрязшим в междоусобицах и никак не желающим признать его верховодство другим кичливым казахским улусам и родоправителям, это еще как сказать. Ведь они вовсе не заинтересованы в могуществе и славе Абулхаира, они прежде всего пекутся о своей личной корысти. Много ли проку будет от того, что он пойдет походом на и без того изнуренных затяжным мятежом, обескровленных несчастных соседей? Неизвестно, чем это обернется. Скорее всего, внутренним раздором и межродовой тяжбой.

Короткая встреча в Камысты с царским посланцем многое прояснила. То, что с ним считаются и даже откровенно любезничают, конечно же, способствует распространению его влияния в степи. Правильно поступил он также, не выказав перед лукавым посланцем своего тайного намерения. И хорошо, что принародно ловко заткнул рты двум-трем баламутам, изъявившим готовность тотчас выступить в поход, и оборвал разговор. Судя по всему, большинству это пришлось вполне по душе. Отсюда вывод: не заручившись поддержкой всех предводителей степного

люда, нечего пороть горячку. И вообще нет никакого повода для спешки. Царские прислужники не могут быть на него в обиде. Конкретных, прямых указаний от них не последовало. А на намеки в конце концов и он может ответить намеками. Коли возникнут потом недоразумения, скажет простодушно: «Извините. Недопонял». И вся недолга.

Совершенно очевидно, что необходимо посоветоваться. И при этом начинать следует не с тех, кто имеет зуб на башкир. Ослепленные жаждой мести, такие, понятно, ратуют за немедленный поход. Поговорить нужно с такими, кто идет на поводу здравого рассудка.

Приняв про себя такое решение, хан успокоился и привычным путем, перебравшись через реку, откочевал в далекие пески Кызылкума. Надо довольствоваться тем, что есть. А за эту зиму авторитет его ничуть не пошатнулся. Все убедились еще раз, что царская власть попрежнему к нему благоволит. И еще все увидели, что влияние его понемногу, но верно распространяется и на те улусы, которыми владеют самонадеянные потомки Жадика. Очевидно также, что если ему захочется сейчас возглавить большой поход на соседей, никто в степи перечить ему не посмеет. Значит, теперь, до наступления лета, главная его забота — подыскать какую-нибудь забаву для джигитов, которые шалеют от безделья, от хмельного кумыса, жирной молодой конины и богатырских утех.

Перегнав несметные табуны и отары на нетронутые пастбища среди барханов Кызылкума, предаваясь безмятежной кочевой жизни, хан осторожно выуживал со всех сторон сведения и вскоре еще раз убедился в том, что степняки вовсе не жаждут похода на мятежных башкир — то ли робеют, то ли не видят в том смысла. Особенно не помышляли о набегах аулы Среднего жуза, искони обитавшие с башкирами по соседству. Более того, по слухам, между ними поддерживались добрые отношения. Многие не участвовали в бунте, но помогали подводами, крепкими, выносливыми лошадьми. Словом, предстояло прежде всего наладить связи с владетелями Среднего жуза, прощупать их намерения, вызнать их тайны. А пока что в том краю Абулхаир мог смело и открыто направить своего коня лишь к единственному человеку — к Жанибеку-батыру.

В том году весна явно задерживалась. Пока пестрое и богатое ханское кочевье, выбравшись из барханных глубин

Красных песков, добралось, наконец, до Золотого свода казахских степей, прошло несколько недель.

Известное дело: усидчивостью степняки никогда не отличались. Обустроившись на новом месте, налюбовавшись окрестностями и насладившись желанным покоем после многодневного трудного перехода, степняк, однако, уже через несколько дней вновь начинает ощущать смутную тревогу, непонятный зуд в пятках и неодолимое томление по новым дорогам. Колыхающееся вдали, точно подол смазливой бабенки, голубое степное марево манит его, поддразнивает, соблазняет. И еще день он себя сдерживает, жалуясь на невыносимую жару.

Потом, сетуя на коня, степняк томится еще день. Потом ему кажется, что упряжь неисправна. Но далее терпеть ему становится невмоготу. Поневоле седлает он коня, вдевает ногу в стремя и отправляется в путь. А уж коли выбрался в дорогу, то возвращаться вскорости домой ох как мудрено. Где самая большая рождаемость? Конечно, у степняков. И каждого новорожденного надо непременно поздравить, пожелать ему здоровья и счастья. А поздравил одного, мимо другого не пройдешь. Грешно, неприлично. У кого самая большая смертность? Конечно, у степняков. И в каждый скорбный дом надобно заехать, засвидетельствовать свою печаль, помянуть усопшего добрым словом. Заехал к одному, надо завернуть и ко второму. Иначе стыд и позор. Далее, у кого больше всего почтенных старцев? Конечно же, у степняков. И каждому старцу следует поклониться. Попробуй одному отдать салем, а мимо другого проехать! На всю степь нечестивцем прослывешь. У кого больше всех тяжб и ссор? Понятно, у степняков. Вмешаешься в одну тяжбу, в другую поневоле вовлечешься. Кому менее всего сидится на месте? Разумеется, степняку. На то он и кочевник. Его и хлебом не корми, дай только по аулам послоняться. Для этого причин и поводов — хоть отбавляй.

И уж если всякий голодранец на шелудивой лошаденке рыщет, не зная покоя, по степи от края до края, то с какой стати могущественному хану на быстроногом скакуне сидеть на месте, точно молодайке, только что переступившей порог мужниной юрты? Разумеется, он должен объезжать свои владения, улаживать конфликты, разрешать многочисленные тяжбы. На худой конец, выезжать с пышной свитой на охоту.

Но в этом году Абулхаир не стал делать ни того, ни другого. Обосновавшись на летовке, он немедля отправился

в путь в сторону востока — туда, где находилась летняя стоянка Жанибека.

Он выехал не с большим отрядом, будто в поход на врага, а с группой верных и надежных нукеров, и, едва достигнув степной реки Улкейек, увидел на противоположном берегу приближавшуюся навстречу толпу всадников.

Островерхий холм на той стороне реки был сплошь укрыт разноцветными коврами.

Когда ханская свита приблизилась к этому холму, пятеро крепких и ладных, как на подбор, джигитов подошли к Абулхаиру и ловко сняли его с седла.

И в то мгновенье, когда ноги хана коснулись, наконец, ближнего края холмов, подошел к нему Жанибек с широко раскрытыми объятиями и обнялся с ним грудь в грудь.

Как только обе стороны обменялись чинными приветствиями и благопожеланиями, слуги подвели для ритуального заклания белоголового верблюжонка и сивого жеребенка, испрашивая ханского благословения.

Попив кумысу и утолив жажду, гости и встречающие вновь уселись на коней. Ханскую свиту чинно сопровождали со всех сторон с ног до головы увешанные оружием отборные сарбазы из подвластных Жанибеку и Букенбаю родов шакшак, кипчак, керей, уак. Кони под ними были подобраны чистой масти — сплошь вороные, гнедые, буланые без подпалин и пежин. Это придавало походу особенно внушительный вид. А на фоне щедрого лета — высоких трав, тучных выпасов и полноводных рек и озер — лошади обретали благолепие и торжественность. Выделялся длинный сивый жеребец под Жанибеком. Расчесанные гривы лошадей струились и шелковисто отливали под лучами солнца, точно шерсть выдры. Крупы лоснились, поблескивали, словно начищенные бока самоваров. Тугие мышцы под атласной кожей играли, вздрагивали, будто гладь озера под легким ветерком. Заметно было, что кони вволю нагулялись с весны на просторе. Шли ходко, бодро топоча копытами по густому разнотравью, игриво стригли ушами. Не видно было и ни одной заморенной, со слезящимися глазами, со слюнявым храпом лошадки.

Да и всадники были отменные воины. Ни дать ни взять молодые ястребки. По внешней схожести их можно было принять за родных братьев. И все такие бодрые, шустрые, с задорным блеском в глазах, будто только что вырвались из горячих девичьих объятий. Все на них было совершенно одинаковым — и кольчуги, и шлемы, и широкие кожа-

ные пояса с серебряными пластинами, и оружие, будто все доспехи были выкованы одним и тем же мастером. Одинаковой была даже конская сбруя. Сарбазы — подтянутые и поджарые — горделиво восседали в седлах. И сразу же бросалось в глаза, что каждый из джигитов откровенно подражает Жанибеку.

Сотня восхищенных взоров, сотня сверкающих крутых конских крупов, сотня поблескивающих на солце воинских шлемов — все это издали бросалось в глаза и манило, притягивало. Тысяча людей с нескрываемым любопытством следила за торжественной кавалькадой.

Весной река Тургай разлилась широко, затопила прибрежные луга, и теперь травы вымахали по брюхо коню, и на этом буйном разнотравье то там, то здесь раскинулись по группкам белоснежные кошомные юрты, и издали они смахивали на гусиные яйца, разбросанные на зеленой лужайке.

Чувствовалось, что все тщательно и старательно подготовились к встрече хана. В глаза не попадалась ни одна серая юрта или бурая старая пряжа. Все — куда ни посмотри — сплошь белое, новое. Все жители аулов высыпали из юрт, сбились в нарядные толпы. Мужчины, приложив руки к груди, склонились в учтивом поклоне; женщины, как положено по обычаю, опустились на одно колено и благоговейно потупили взор.

То ли специально так было задумано, то ли просто из-за необыкновенного обилия трав, но и скотина паслась нынче неподалеку. На расстоянии крика паслись отары овец, напоминая разбросанные по циновке комочки сушеного сыра. Вдоль озер и длинных пологих увалов паслись несметные табуны.

Вспугнутые торжественным шествием разнаряженного отряда вооруженных джигитов, взлетали над озерами стаи диких уток и гусей и, покружившись с любопытством над их головами и убедившись в их мирных намерениях, вновь со свистом опускались на водную гладь.

Голубело высокое небо. Ласково улыбалось в зените солнце. До нестерпимого летнего зноя было еще далеко. Травы источали дурманящий аромат. Ровно струился легкий ветерок, словно настоянный на свежем кобыльем молоке, и приятно щекотал ноздри. Природа ликовала, истомленная весенней негой. Все вокруг играло всеми красками, колыхалось, трепетало, окутывалось синевой, манило взор и веселило душу. Судя по всему, аулы расположи-

лись здесь не более двух-трех дней назад: скот еще не успел вытоптать выпасы, и даже вокруг юрт травы еще не сникли и не пожухли.

Видно было, что и Жанибек сильно постарался: то ли знал, что душа Абулхаира омрачена множеством забот, и хотел его развлечь, то ли хотел удивить его своим богатством и мощью — кто знает. Но почести хану были оказаны в высшей степени пышные.

За одним аулом тянулся другой, и был один другого нарядней. За отарой виднелась отара, за косяком — косяк, и, казалось, не будет им конца.

Наконец, когда путники уже изрядно утомились, забелел впереди аул самого Жанибека. Многокрылые юрты казались особенно высокими и просторными. Купола их серебрились под лучами солнца. Опоясавшие юрты белые ленты были украшены малахитовыми аппликациями, перекликавшимися с зеленью трав. Можно было подумать, что эти дивные юрты не чьи-то руки установили на земле, а они сами выросли из-под земли на зеленом нетронутом лугу. И издали они казались нежными, хрупкими цветами: дунь посильнее, и взлетят.

Немного в стороне от выстроившихся в чинный ряд множества белых юрт на ровной, как доска, поляне стояли еще пятнадцать кошомных помещений. В середине их выделялась белокупольная юрта, рядом с которой возвышался шест — видимо, для ханского бунчука. Навершье шеста было пустым. Тут же, неподалеку, ярко алела коновязь, должно быть, недавно только выкрашенная охрой.

Когда бесчисленные нарядные аулы остались позади, большой вооруженный отряд встречающих словно по команде отстал, и хана со своей свитой сопровождали дальше только Жанибек и Букенбай.

Возле пятнадцати обособленных юрт также стояла разнаряженная толпа. При приближении хана из толпы, широко и приветливо улыбаясь, вышли вперед шестеро джигитов. Они приняли повод из рук хана и сняли его с седла. В это же мгновение еще несколько джигитов возле коновязи одним резким движением раскрутили ковровую дорожку к самому входу гостевой юрты. По обе стороны ковра в изящном поклоне застыли юные, еще безусые джигиты. Только теперь хан догадался, что снявшие его с седла сильные джигиты — подросшие сыновья Жанибека и Букенбая.

Когда хан торжественно прошел по багряному ковру

сквозь плотный ряд безусых юнцов, ему вдруг почудилось, что он попал в пестрокрылый рой бабочек. И слева, и справа от него, низко склонив головы и учтиво опустив глаза, стояли в пестрых нарядных одеяниях прелестницы молодухи — снохи знатного аула.

— Счастья вам, милые! Долгие вам лета!

Ближе к входу в двенадцатикрылую юрту оборвалась вдруг и плотная стайка учтиво улыбавшихся молодок, и хан попал в окружение знатных родоправителей Среднего жуза, которые здоровались с высоким гостем с подчеркнутым достоинством.

У проема двери, поддерживая плечом свернутый войлочный полог, застыл еще один юноша.

Перед тем как переступить порог пышной юрты, хан благоговейно произнес:

— Бисмилля!

И сразу же прошел на почетное место. По правую его руку опустился Букенбай из рода табын, по левую — Жанибек, вслед за ним — Букенбай из рода шакшак. Потом уж по обе стороны расположились остальные влиятельные люди.

Просторная юрта была убрана дорогими бархатными и шелковыми коврами, увешана разноцветной пряжей, веселящей глаз.

Никакого другого убранства не было в юрте, предназначенной специально для хана. Даже сабу — огромный кожаный бурдюк для кумыса — не повесили на стенке, чтобы не смущал своим кисло-затхлым духом. Десять юношей с только-только пробивающимся пушком на губах внесли гостям в глубоких деревянных чашах хорошо взболтанный, пенящийся кумыс. И лишь после этого началось щедрое пиршество, затеянное в честь хана аргинским батыром.

Угощения следовали одно за другим — кумыс из молока еще не ожеребившихся молодых кобылиц; наребренное сало стригунка; копченое, цвета спелого урюка, мясо годовалого жеребенка, оставшееся с зимы; нежное мясцо новорожденного ягненка, сваренное в молозиве; мясо ягненка раннего расплода, сготовленное на пару, и всякие другие изысканные блюда степняков. Но не только этим был богат широкий дастархан. На нем вдосталь было и чужеземных яств — сушеный урюк и орехи из Бухары и Хивы, мед и пастила из Башкирии, леденцы и сахар из далеких российских городов.

В первый день приезда гости почти не вставали из-

за дастархана: до глубокой ночи ели, пили, беседовали и услаждали слух песнями и кюями знаменитых певцов и музыкантов из Среднего жуза.

На следующий день Жанибек в честь гостей провел конные скачки, состязания борцов-палванов и метких стрелков из лука. А потом уж ознакомил их с искусством прославленных мастеров-ремесленников. Во владениях Жанибека оказалось много озер. И каждое озеро окаймляли густые заросли тальника. И в этих зарослях непременно жил-поживал какой-нибудь искусный ремесленник. При этом, как правило, один являлся оружейником, другой — кузнецом, третий — ювелиром. Они охотно демонстрировали почетным гостям свои изделия — сабли, мечи, секиры, кольчуги, шлемы, щиты, пики, стрелы, уздечки, седла, женские украшения. И не только показывали, но и подробно, явно хвалясь и гордясь, объясняли, как работают, как куют железо, гнут дерево, плавят разный металл. Плосконосый коротышка-кузнец совсем уж разошелся:

— Имей я вдосталь угля, я бы пушку отлил запросто!

Ремесленники, конечно, удивили, но лошадники в улусе Жанибека оказались еще более искусными. Те выхвалялись изделиями своих рук, а лошадники расписывали достоинства четвероногой божьей твари с пеной у рта, будто они сами выродили ее и вынянчили в зыбках.

Табуны Жанибека и впрямь были неописуемы. Все косяки были подобраны строго одной масти. И когда они один за другим пускались вскачь, то казалось, что по необъятной степи вал за валом прокатывались разноцветные волны. Зрелище было необыкновенное. Невозможно было поверить, что столько красок и оттенков бывает в природе и что все это многообразие красок и оттенков принадлежит лошадиному племени. Какой только масти лошадей не было в табунах Жанибека: вороные, караковые, гнедые, саврасые, пегие, соловые, игреневые, буланые, сивые, чалые, рыжие темной и светлой окраски, в яблоках, в пежинах, в чулках, со звездочками на лбу — глаза разбегались!

Сам Жанибек-батыр замечал, какое впечатление произвели на гостей его отборные косяки, однако виду не подавал, безучастно стоял в стороне, помалкивал, время от времени высыпая себе на ладонь из посеребренной роговой табакерки душистый насвай и привычным движением закладывая его за губу. Зато сами табунщики говорили без умолку, взахлеб. Они живописно рассказывали о каж-

дом косяке, о его родовых признаках и достоинствах, о происхождении самой породы. Особенно разговорчивым оказался пожилой лошадник с подковообразным рубцом на правой щеке. Абулхаиру он сразу показался знакомым, но где его встретил — вспомнить так и не смог. При виде Мырзатая лошадник оживился: «А-а, дружище, живой-здоровый?!», и тогда Абулхаир решил про себя, что словоохотливый табунщик, видно, из долины Кенгира, у которого, бывало, не раз ночевал его неугомонный шурин. Судя по всему, теперь он уже расстался с куруком табунщика. Постарел. Посивел бородой. Однако по-прежнему при виде лошадей и в кругу людей приходил в азарт, в возбуждение, покрикивая на неопытных наездников:

— Эй, эй! Дуралеи! Кто так петлю накидывает?! Напрягайся, сильнее упирайся в стремя! Не то хребет себе сломаешь!

— В шенкеля, в шенкеля его бери! Дави пятками в ребра, а не в подбрюшину!

И наездники, ловившие и объезжавшие строптивых неуков, беспрекословно слушались старого лошадника.

Когда же гостям начали показывать молодых породистых коней, из которых в будущем должны были вырасти призовые скакуны, сивобородый и вовсе разошелся, стал захлебываться от восторга. Он обстоятельно описывал стать и норов каждой лошади, закатывал глаза, цокал языком, то и дело срывался на шепот:

— Ах, шелкогривый ты мой! Ах, черноокая моя! Пай-пай! Глядите, как гладок круп! Как широка грудь! Как могуч храп! А как перебирает ногами! Как водит боками!

Хан сдержанно кивнул:

— Да, да! Видная животина!

Он знал: хану не подобает выказывать свои чувства. Сдержанность — достоинство мужчины. Но когда подвели светло-серого, с зеленым отливом, длинного туловищем жеребца, хан от восхищения едва не ахнул, затаил дыхание и надолго умолк. Он сразу заметил редчайшую породу, особый постав головы, необычный изгиб шеи, поразительную упругость и грациозность движений. Жеребец, словно от укуса овода, вдруг круто взвился, кинулся в дыбки, по телу его пробежала крупная нервная дрожь, и тогда казалось — это крутобокая белопенная волна вздымалась в море.

Ничего подобного в жизни хану видеть не приходилось. И стать, и масть, и весь облик коня были необыкновен-

ны. И сивобородый лошадник с копытообразным рубцом на правой щеке, точно уловив состояние хана, восторженно затараторил:

— Алдияр таксыр! Это потомок морского чудо-жеребца. Да, да, не удивляйтесь. Мой отец, покойный, бывало, рассказывал... Как-то раз совершили они набег на туркмен и угнали много косяков. Обогнув северный мыс Арала, казахи решили, что ушли от погони, и возле небольшого заливчика, заросшего по краям молодым камышом и тростником, остановились на привал. Кони, изголодавшиеся в долгом и спешном пути, понятно, с жадностью набросились на сочную прибрежную траву, а люди, столько дней мотавшиеся в седлах, тотчас уснули мертвецким сном, едва разлеглись на потниках. Хоть уши им отрежь — не проснутся. Дневалить выпало как раз моему отцу. Чего только он ни придумывал, чтобы не уснуть, но в полночь сон все-таки одолел его. Вокруг всего заливчика только и было слышно, как дружно хрумкали травкой да изредка довольно пофыркивали кони. И вдруг наступила тишина. Ни звука, ни шороха. От этого и очнулся мой отец. Глянул — и обомлел. Кони встревоженно задрали головы, застригли ушами и, поблескивая глазами, с ужасом уставились в сторону моря. Было полнолуние, и темную морскую гладь перерезала зыбкая лунная дорожка. И вдруг в безветренной ночи на самом обрыве лунной дорожки взбугрилась крутая волна и, пенясь и клубясь, стремительно покатилась к берегу. А у самого берега белопенная крутая волна обернулась мощным, статным жеребцом. Сивой масти, гривастый, он не выбрался, однако, на сушу, а у кромки воды яростно и властно забил передними копытами. Белые волны, вздымаясь из-под его ног, с двух сторон, словно резвясь, окатили могучего жеребца. Лошади на берегу в страхе прижались друг к другу. И только соловая кобылица как ни в чем не бывало спокойно паслась в сторонке. Морской чудо-жеребец, окутанный пенящимися водами, вновь вскинулся в дыбки и еще яростнее ударил передними копытами. Табун у залива и вовсе оцепенел от страха. А соловая кобылица по-прежнему безмятежно пощипывала нежные верхушки зеленого курака. Лунные блики играли на ее гладком, округлом крупе. Снова вздыбилась волна у берега, послышался громкий всплеск. Потом раздался странный звук, похожий на призывное ржанье жеребенка. И тогда соловая кобылица точно вздрогнула, оторвалась от травы и напряглась всем телом. Теперь

весь табун с любопытством повернулся к ней. И лишь когда со стороны моря в третий раз раздался властный глухой рокот, соловая кобылица стронулась с места. И потрусила она не к табуну, с которым шла столько дней, а смиренно направилась к берегу моря. Во всем ее облике чувствовалась покорность. Кобылица не спешила, а сивый жеребец в нетерпении шумно отдувался, пофыркивал и напряженно вытягивал шею из воды. Послушная и притихшая кобылица встала с ним рядом, застыла в ожидании, а сивый чудо-жеребец опустил на ее шею тяжелую голову, потерся, принюхался. Наконец весь налился яростной силой, всхрапнул, встал на пружинистые задние ноги. Густая грива взметнулась, точно лебединые крылья, и укрыла кобылицу. Долго она так стояла, мелко-мелко вздрагивая под неимоверной тяжестью. По обе стороны ее блеснул сноп света. Оказалось, у морского чудо-жеребца передние копыта были из литого серебра. И они ярко сверкали при луне. Бедный мой отец рассказывал об этом часто и каждый раз страшно волновался. Он был совершенно ошеломлен. Он уверял, что жеребец долго не отпускал кобылицу, так долго, что за это время можно было вскипятить казан молока...

Слушатели из ханской свиты молча ухмыльнулись. Мырзатай, однако, не удержался:

— Ничего удивительного! Какая же утеха жеребцу в море? Не с рыбами же ему забавляться. Вот и дорвался, наконец, бедняга...

Подковообразный рубец на правой щеке сивобородого рассказчика сдвинулся к уху. Это означало, что он улыбнулся.

— Наконец жеребец сник, выпустил соловую кобылицу и той же лунной дорожкой, всплескивая воду, отступил назад, в море. Вновь обернулся он белогривой волной и исчез, растворился в ночи. Кобылица, как очумелая, постояла-постояла на берегу и поплелась к табуну. Отец мой был так поражен случившимся, что долго не мог прийти в себя. Сон как рукой сняло. Утром он поведал обо всем своим спутникам, но они подняли его на смех. «Вот дьявол! Мы его дневалить поставили, а он себе дрыхнул да еще сны игривые смотрел. Небось, не жеребца морского, а тебя самого на сладкое потянуло, а?!» Так и не поверили ему. А когда поделили добычу, то соловая кобылица досталась моему отцу. От нее и родился потом необыкновенной масти жеребенок — цвета морской волны. Жеребен-

ка отец отдал моему старшему брату Кошкару, наказав подарить его со временем нашему дорогому батыру Жанибек-жану. Вот таким образом в этом ауле появился потомок морского чудо-жеребца. Как мы знаем, у всех прославленных казахских батыров кони были не простого происхождения, не обыкновенной породы. Возможно, сам создатель заблаговременно заботился о таком коне, зная, что в нашем роду, в наших краях родится столь славный батыр — защита и опора народа. Обратите внимание: сама масть этого косяка свидетельствует о его морском происхождении. Лошадей такой масти не найдете больше нигде во всей казахской степи. Когда этот косяк скачет издалека, можно подумать, что это накатывается морская волна. А ухаживать за породистыми конями ох как не просто. В детстве приходилось мне слышать от сказителей, как выхаживали и пестовали прославленного скакуна нашего предка Кобланды-батыра. Помнится, я еще тогда подумал: выдумка все, преувеличение горлопанов-акынов. Оказалось, нет, ничего подобного. Никакая не выдумка, а истинная правда. И я, как только появился на божий свет этот жеребенок, тотчас отнял его от матери и сорок дней поил молоком молодой, впервые ожеребившейся кобылицы, молоко которой, как известно, чище, питательней и жирней. Потом еще сорок дней поил молоком нежеребых кобылиц. Через восемьдесят дней начал подкармливать жеребенка очищенным просом, набухшим в цельном молоке. Еще десять дней спустя добавил в разбухшее белое просо красный перец. Иначе нежное создание, потомок морского чудо-жеребца, может заболеть сапом. Пока жеребенок не окреп, не стал стригунком, я его не выпускал из-под навеса. До трехгодовалого возраста не снимал с него недоуздка. До четырех лет держал его на длинном аркане, чтобы шея стала длиннее и крепче. И именно в этом возрасте впервые отвел его к кобылице. Если самец длительное время не изведает самку, он становится вялым, безучастным и быстро дряхлеет. Даже самого породистого жеребенка необходимо несколько раз свести с кобылицей. Когда он стал пятилеткой, я тщательно отобрал для него пять молодых, статных кобылиц, с одной стороны, для того, чтобы он сполна познал радость самца, а с другой — чтобы заиметь от него потомство. А в шесть лет кастрировал, дабы не избаловался и не растратил все силы на любовные утехи. Сейчас конь в самом расцвете красы и сил. Готов к любым

испытаниям и походам, лишь бы нашелся храбрец, что в батырских доспехах смело ринется на врага. Тьфу-тьфу, только бы уберечь животину от сглазу!..

Сивобородый лошадник закончил свой долгий рассказ, и Абулхаир отметил про себя, что люди, подвластные Жанибеку, очень общительны и красноречивы. Все так и норовят ввязаться в разговор, у всех языки что маслом смазаны. Правда, когда говорит другой, внимательно слушают, не обрывают. Если же черед доходит до них, то речь их льется, что вода в речке,— не остановишь. И только один Жанибек по этой части поразительно не похож на своих единомышленников. Говорит медленно, словно пробуя на вкус сначала каждое слово. Зато говорит — будто гвозди вколачивает. Рот откроет — все равно что опытный ловец петлю закидывает. Самый, казалось бы, вольный разговор двумя-тремя словами повернет на нужную ему тропу. Сразу видно: человек тихий и покладистый, но в то же время основательный и волевой. Такой все делает с умом, с толком. И люди, должно быть, зная его повадки, держатся перед ним точно ученики перед строгим наставником. Знает себе цену-достоинство. Не кичится своей силой и властью, как иной крикун удалец. Таких едва ли не в каждом ауле найдешь. Возле Жанибека простой люд толпился не только в пору тяжких испытаний, не только во время кровавой сечи, но и в благоденствие, в мирные дни, когда можно было снять с себя все воинские доспехи и наслаждаться безмятежным покоем. Чувствовалось, что народ души не чаял в своем предводителе. Каждый в его отсутствие был готов вознести его до небес. Но при нем никто не позволял себе ни одного льстивого слова. Да-да... Жанибека в этих краях почитали более, чем хана. Пожалуй, ни у одного хана или султана не встретишь такого взаимопонимания и единства с народом, такого порядка и благолепия. Должно быть, народ в душе гордился, что вышел из его среды такой владетель — и бесстрашный удалец, и прозорливый мудрец. От мала до велика в этом краю почитали его как родного отца, и все заботились о нем, как о родном дитяти. Каждый старался не запятнать его чести, не уронить его достоинства личным позором. Выходит, для казахов хан, вышедший из черной кости, значительнее высокородного хана... Так, что ли? В самом деле, не видно в толпе ни одного косого взгляда, не слышно ни одного злорадного слова. Абулхаир был пора-

жен. Как удалось Жанибеку добиться такого единомыслия и согласия? Каким образом этот, в общем-то, достаточно разношерстный люд научился понимать друг друга без слов и беспрекословно, без ропота, наоборот, с неизменной готовностью и радостью исполнять волю своего предводителя? Видимо, помимо личных качеств и достоинств Жанибека, немаловажное значение сыграло его происхождение. Народ видит в нем своего — как говорится, плоть от плоти, кровь от крови. А потому и боготворит его, и жалеет.

Размышляя обо всем этом, Абулхаир почувствовал душевное смятение и грусть. На давнего малословного приятеля своего он поглядывал и с любопытством, и с затаенной завистью.

А Жанибек все эти дни упорно отмалчивался, словно стараясь еще более удивить своего гостя, еще сильнее разжечь в нем любопытство. Он продолжал показывать хану все достопримечательности своего улуса. Разъезжал с ним по аулам, выезжал на охоту, забавлял его охотой с ловчими птицами. Ублажал его всем, что только душа желала. Однако о деле ни тот, ни другой все эти дни не проронил ни слова. Хан сдержанно и степенно благодарил за гостеприимство, за оказанный почет, за угощение, старался не задавать лишних вопросов и не выказывать своего восхищения. Он понимал: за ним неустанно следят сотни и сотни глаз, и любой горлодер, едва заметив ханский восторг, не преминет заявить во всеуслышание: «Уах, наш Жанибек привел в восхищение самого хана Младшего жуза. Бедняга так и ходит с раскрытым от изумления ртом. Оказывается, рядом с нашим батыром и хан — просто так себе!..» И, хорошо сознавая склонность степняков к преувеличениям, хан не позволял себе, подобно мальчишке, впадать в восторг, с другой стороны, не прибегал и к маске равнодушия, дабы не прослыть надменным гордецом. Батыр Жанибек, щедро демонстрируя свои владения, свое богатство, мощь и единство народа, стремился в душе поразить высокого гостя, а хан своей учтивостью, сдержанностью, достоинством и воспитанностью втайне рассчитывал удивить хозяина.

Оба, однако, зорко следили друг за другом, и мысли их все эти дни постоянно были друг о друге. Одно дело — проявить храбрость и отвагу на поле брани, на глазах у всех; на это способна любая отчаянная голова. И другое дело — незаметная, подспудная, внешне благопристой-

ная, но не менее изнурительная борьба, за которой неотступно, исподтишка наблюдают многие. Когда-то они оба — и Абулхаир и Жанибек — прославились в кровавой сече, и имена их гремели по всей степи; теперь же молча следили за каждым их жестом, за каждым движением, жадно ловили и на разные лады толковали каждое их слово. И народ недоумевал: какая печаль и забота толкнули их друг к другу, этих двух славных, именитых людей? Один ведь обрушивался на врага с боевым кличем «Архар!», другой отстаивал родную землю под кличем «Алаш!», и оба защищали интересы двух разных жузов — Младшего и Среднего, так что же их заставляет столько дней быть вместе, мотаться в седлах бок о бок, стремя в стремя?

О том хотели знать не только любопытствующие из аулов Среднего жуза, но и сами Абулхаир и Жанибек. Однако ни один из них не решался первым заводить разговор о главном.

Обстоятельства, в общем-то, складывались более или менее определенные. Судьба всех трех казахских жузов каким-то образом прояснилась. Большой жуз оказался под владычеством джунгар, напавших на казахов неожиданно, исподтишка. Большой жуз — и предгорье Алатау, среднегорие биев, и Каратау, обитель ханов,— искони являлись родной землей казахов. Никто, спасаясь от вражеского нашествия, не решился покинуть золотую колыбель. Находясь под игом чужеземцев, надеялись на лучшие времена. Связи с казахами остальных двух жузов не теряли; тайком подсылали своих гонцов, просили помнить о собратьях, попавших в беду. И их помнили. Отправляя куда-либо посланцев от казахов, непременно включали представителей Большого жуза.

Что касается Младшего жуза, то он добровольно и бесповоротно пристегнул повод своей судьбы к тороке царской власти.

Средний жуз пока находился как бы на распутье. Он все еще приглядывался, выгадывал, выжидал. И пока этот могущественный жуз, занимающий половину пространства Казахии, не примет какого-либо твердого решения, невозможно сказать, что судьба казахов как единого народа определена. И, отлично понимая это, правители Среднего жуза явно важничали, набивали себе цену. Каждым руководил свой расчет. Каждый проводил свою политику. Скажем, Казыбек, который когда-то говорил от имени всего

Среднего жуза, прочно обосновался с четырьмя тысячами кибиток рода кара-кесек в самой сердцевине жуза — на песчаных просторах Кылтау и барханном прибрежье Сарысу в ожидании, когда уляжется смута и окончательно определится положение дел. Старый, многоопытный хитрован затаился в своих владениях, зорко приглядывался к тому, что происходило вокруг, не спешил принять ни одну из сторон — ни царскую, ни джунгарскую, все прикидывал, как бы ему не прогадать. Никто ему пока не угрожал, затишье — сколько бы оно ни длилось — было ему на руку, и он спокойно поживал и уповал на будущее.

Часть многочисленных найманцев, растянувшихся, точно верблюжья кишка, от Кызылкумов до песков Тосына, находилась под властью смирного Кушика. Сын того самого Турсуна, который некогда держал в узде обетованную землю Жидели-Байсын и благодатные долины Каратау, воспользовавшись тем, что более нахраписты и зубастые соперники его, султаны, обитали далеко — кто в верховьях Золотого свода, кто — в пустынных низовьях Бетпака, а священный Туркестан, имеющий право выбирать хана, наоборот, находился совсем рядом, под рукой, втихомолку обзавелся титулом хана, едва ушел в мир иной его предшественник Самеке. Кушиком также руководила тайная цель: в случае, если потомки Есима вновь затеют возню за трон хана, он попытается пробраться в общие родоправители всего Среднего жуза. Тут важно не упустить своей доли. Правда, о том же мечтает и его свирепый младший брат Барак, владеющий ныне богатыми выпасами благодатного Золотого свода. Он давно претендует на общий ханский трон Среднего жуза. И если выпадет братьям удача бороться за этот трон, старший наверняка уступит дорогу младшему, ибо Кушик более всего мечтает о покое и тихой, сытой жизни, а Барак отчаянно рвется к единовластию и в этой своей страсти не остановится ни перед чем. Только вряд ли улыбнется братьям такое счастье. На вожделенный трон издавна зарятся и другие. Вот, скажем, Абильмамбет, внук Тауке-хана, хоть и ничем пока не отличился, но заручился поддержкой и подмогой влиятельных старейшин многочисленных аргынцев и владеет бескрайними просторами Прииртышья. Севернее его, в лесистом краю Синегорья, расположился молодой, но честолюбивый Абильмансур. Он также не прочь восседать на общем ханском троне Среднего жуза. Пока они — и Абильмамбет, и Абильмансур — не говорят в от-

крытую о своих намерениях, однако о том, что у них на самом деле на душе, догадаться нетрудно. Они пока ведут себя тихо, незаметно, но в нужный момент, конечно же, насмерть вцепятся в повод правления — в этом можно не сомневаться. Грамоту, которую подсунул им проныра толмач, они подписали без лишних разговоров. И тут сработало обычное лукавство. Какой резон преждевременно навлечь на себя гнев русской самодержицы? Если русские в самом деле столь могущественны, то пусть сначала подавят башкирский мятеж. А там видно будет. В крайнем случае скажут, что их подписи никакого значения не имеют, ибо ни один родоправитель Среднего жуза царской бумаги о верноподданстве не подписал. Или сошлются на строптивость соплеменников, дескать, что поделаешь, коли народ наш вышел из повиновения. Главное — не попасть в силки, ловко расставленные потомками Усеке. Словом, Абильмамбет и Абильмансур себе на уме. С одной стороны, они, подписав бумагу, как бы намекнули на свою верность русской императрице, а с другой стороны, предусмотрели себе лазейку для отступления, когда в том возникнет необходимость. Таким образом, получается, что на правление Средним жузом наиболее реально претендуют шестеро: четверо из них — султаны из династии Жадика, один бий и один батыр, выходец из «черной» кости. Каждый, обладая немалым богатством, силой и могуществом, втайне надеется на большее.

Такой расклад сил в Среднем жузе вполне устраивал хана Абулхаира. Ему было выгодно — пока не выяснятся окончательно русско-башкирские отношения,— чтобы единый ханский трон Среднего жуза оставался свободным. В таком случае русская власть, сильно обжегшаяся на башкирах, наверняка будет заинтересована в могущественном хане, объединяющем киргиз-кайсаков всех трех жузов. И тогда не исключено, что благосклонный взор царицы упадет именно на него — Абулхаира. Для этого у него совсем немало заслуг, ибо именно он, а не кто-либо другой, первым принял русское подданство и именно благодаря его стараниям подкрепили свои добрые намерения чернильными печатями четверо султанов Среднего жуза. Об этом намекнул и проныра посланец, подогревая тайное желание хана. Словом, Абулхаир никак не может оставаться безучастным к положению дел в Среднем жузе. И наиболее надежным в этом краю для него человеком является батыр Жанибек. Нет сейчас, пожалуй, более

влиятельного правителя в Среднем жузе ни среди высокородных, ни среди низкородных.

Должно быть, и для Жанибека Абулхаир был сейчас наиболее необходим и желанен.

Обстоятельства в киргиз-кайсацкой степи складывались к этому времени крайне путанно и сложно. В годы Великого бедствия, спасаясь от нашествия джунгар, казахи Среднего и Малого жузов вынуждены были покинуть благодатные пределы Каратау и вернуться на земли Золотого свода и приречья Жем и Яика, где некогда обитали предки. Однако мало ли где кто и когда обитал. Земли эти долгие годы, разумеется, не пустовали в ожидании хозяев. Со стороны Аральского моря хлынули на богатые травами выпасы калмыцкие отары, а вдоль прибрежья Иргиза и Тургая вольно паслись стада и табуны башкир. Вернувшись на исконные земли, униженные и подавленные горем и лишениями казахи с отчаянием и злобой набросились на скот непрошеных пришельцев. А вскоре и калмыков решительно оттеснили за Яик, а башкир прогнали за Урал-горы. Понятно, что с таким положением отнюдь не желали мириться ни калмыки, ни башкиры. Время от времени, собравшись с силами, они совершали на казахские аулы опустошительные набеги. Не стало несчастным казахам житья на своей же земле. С трех сторон зарились на их выпасы, на их реки и озера, на их жизненные блага. Приходилось постоянно держать заседланными боевых коней, спать, не снимая кольчуги, ворошить, как говорится, кончиком копья уголья под походным таганом, да мясо резать мечом, да жить все время в оглядку, не зная, с какой стороны обрушится на тебя ворог. Но что это за жизнь? До каких пор и мыслимо ли так жить? Как ни притерпелись казахи к нужде и лишениям, разве не мечтают они о безмятежном, мирном существовании? Можно закалиться в суровых походах, можно в бесконечных битвах прослыть удальцом и смельчаком, но много ли от того проку, приведет ли это к желанному благоденствию? Нет, этак можно только лишиться последнего. Значит, только мир спасет народ. Но где его взять? Не вымаливать же его у тех калмыков, которых ты только вчера ценой большого напряжения изгнал из родных просторов! Годится ли унижаться до такой степени? Может, выпросить мира у башкир? Не выпросишь. Да он тебе его и не даст. Сшибаться же всю жизнь в кровавых сечах — неразумно. Как же тогда быть? Где выход?..

Вот тогда-то обоим — и Абулхаиру, и Жанибеку — пришли на ум северные соседи — русские.

Ведь что получается на самом деле? Башкиры и волжские калмыки, с которыми враждуют казахи, являются русскими подданными. Земли, которые казахи отбивают у них и на которых пасут свой скот, принадлежат, таким образом, русским. Значит, рано ли, поздно ли, наступит пора, когда невзначай нарвешься на русские пушки. Ведь русские не станут терпеть твоего своеволия. Следовательно, разумно заблаговременно найти с ними общий язык. Прямо так и следует заявить: казахи, мол, не вражды желают, а мира и дружбы. Более того, хотят принять русское подданство. А коли ты вступил в подданство, русским ровным счетом все равно, кто обитает на беспредельных степных просторах — калмык, башкир или казах. Лишь в таком случае можно, наконец, обрести мир и с ближайшими соседями — башкирами и волжскими калмыками. Даже далекие джунгары, побаиваясь русских, отныне не осмелятся вторгаться в казахские владения.

В этом вопросе взгляды Абулхаира и Жанибека полностью совпали. И Средний, и Младший жузы находились на рубеже с русскими. И оба в одинаковой степени страдали от частых набегов волжских калмыков и башкир.

Одинаковое положение — одинаковые обстоятельства — одинаковая судьба. Оба молчальника понимали это отлично, без лишних слов. Этим и объяснялось открытое тяготение батыра Жанибека к хану Младшего жуза в то время, когда остальные родоправители Среднего жуза держались отстраненно и выжидательно. Этим объяснялись и их взаимные посещения. Этим объяснялось то торжество, которое в прошлом году хан Абулхаир провел в присутствии чужеземного посланца в честь батыра Жанибека. Этим объяснялось и ответное гостеприимство Жанибека в честь хана Младшего жуза.

Таким образом, взаимопонимание без каких-либо официальных переговоров углублялось и укреплялось взаимной приязнью. И тем самым они еще более подняли личные вес и значимость в глазах любопытный и всепонимающей толпы.

Объединяло их еще одно обстоятельство: у обоих общими были не только внешние, но и внутренние враги. Династию Жадика Абулхаир давно и откровенно ненавидел, а Жанибек — презирал, вернее, не считал дос-

тойной себя. Конечно, можно было передать повод правления родам шакшак, сар-жетим, уак и керей какому-нибудь отпрыску из «белой» кости хотя бы для видимости и внешней благопристойности, но батыр Жанибек не шел на это сознательно, ибо понимал, что одна родовитость отнюдь не заменяет все остальные достоинства и добродетели, необходимые для управления народом. Жанибек знал себе цену. Он, конечно, из «черной» кости, но чем он хуже какого-нибудь там султана, или другого отпрыска из знати?! В свое время сам славный и могущественный хан Аз-Тауке неизменно считался с мнением батыра Жанибека, не говоря уже о нынешних ничтожествах, которые ради власти так и норовят вцепиться друг другу в глотку. И тому есть еще немало свидетелей. Один из них — сын Абдуллы Абулхаир. Потому и держится ныне с ним как с равным. И о былой славе Жанибека ведают и ныне здравствующие Кушик и Барак, но ни один из них не сподобится по примеру Абулхаира проведать его, «чернокостного» родоправителя: первый — по причине недалекого ума, второй — из-за спеси и гордыни. Что касается Абильмамбета, то у него был достопочтенный и славный родитель, а сам он — невысокого полета. С неба звезд не хватает. Коли желают навестить старшего — милости просим, но сам Жанибек не опустится до того, чтобы оказать им такую честь. Наоборот, и для высокородных, и для чернокостных не зазорно приехать на поклон к трем выдающимся представителям Среднего жуза — из батыров это Жанибек, из биев — Казыбек, из мудрецов — поэт-сказитель Бухар. И если высокородным и чернокостным это невдомек, то пусть пеняют на себя. В самом деле, с какой стати им, названным выше батыру, бию и мудрецу, заискивать перед высокородными отпрысками — торе? Чем они им обязаны? Ровным счетом — ничем! И земля, и народ принадлежат им, предводителям Среднего жуза. Не станут они заигрывать и с простолюдинами. Пусть их будет много, пусть они богаты скотом, но чтобы управлять столь разношерстным людом и несметным богатством, необходимы ум, сила, власть, дальновидность. Без этого любой народ превращается в слепую толпу. Какой казах, чья жизнь проходит в постоянных тяжбах, ссорах, междоусобице, обойдется без мудрого и дальновидного бия? Какой казах, чья жизнь искони связана с походами и с кровавыми побоищами, обойдется без отчаянного батыра? Нет, будь ты хоть как знатен и родовит, хоть

как богат и плодовит, а без услуг биев и батыров век свой не прожить. Увы, эту простую истину не всякий разумеет.

Одним из первых понял это Абулхаир — хан Младшего жуза. Обычно хмурый и суровый, он теплел лицом при встрече с давним соратником. Между ними не случалось стычек или недоразумений. И перед ним, простолюдином Жанибеком, Абулхаир никогда не выказывал своей родовитости и тем более не кичился своим ханским происхождением. Возможно, и бывали случаи, когда иные бии и батыры по собственной воле, поддавшись черным слухам и злым козням, уходили от Абулхаира, но никто бы из них не смог обвинить хана в спесивости и высокомерии по отношению к ним. И, относясь с неизменным почтением к «собственным» биям и батырам, может ли Абулхаир выказать пренебрежение, скажем, к тому же Жанибеку, с авторитетом которого волей-неволей вынуждены считаться все родоправители Среднего жуза? Нет, не может. И он доказал это на деле, принародно оказав ему достойный прием. А ничего другого Жанибеку и не надо. Все остальное у него есть — и богатство, и батырская удача, и честь, и слава. Ему важно, чтобы никто из двуногого племени ни в чем, нигде не унижал его за чернокостное происхождение. Жанибек за себя постоит. И если кто-нибудь из достойных окажет ему высокую честь, проявляя искреннее уважение, он тоже в долгу не останется.

Понятно, поступок Абулхаира не всем пришелся по душе. В степи поговаривали разное. В кривотолках и пересудах недостатка не было. Но — видит аллах — не хитрость, не пошлый расчет, не лисье лукавство руководили ханом Младшего жуза, а дальновидность и политическая прозорливость.

Поступок Абулхаира, если пораскинуть мозгами,— пример и урок для многих. Прежде всего, это урок для кичливых и ничтожных султанов из династии Жадика, которые считали зазорным для себя приезжать к чернокостному батыру, а советоваться с ним — ниже своего достоинства. Пусть теперь только попробуют присылать к нему своих задрипанных порученцев! Он их, словно к позорному столбу, привяжет волосяным арканом к той самой коновязи, у которой стоял скакун хана Абулхаира!

Глубокий смысл и дальний прицел скрываются за внешне безобидной поездкой хана к прославленному батыру Среднего жуза. Должно быть, не каждому это ясно. В результате этой встречи обе стороны окажутся в несомнен-

ном выигрыше. И без того высокий авторитет Жанибека возрастет еще более. Абулхаир тем самым утрет нос своим давним соперникам — потомкам Жадика. Узнав о небывалой чести, оказанной Абулхаиру в Среднем жузе, другие родоправители Младшего жуза поневоле станут тише воды, ниже травы. Слух об этой встрече, конечно же, дойдет до чиновников русской императрицы. И если до этой поры кое-кто из них и сомневался в могуществе Абулхаира, считая его дутой фигурой, то теперь и они вынуждены будут прикусить язык. Они, наконец, поймут, что Абулхаир — крупный, значительный деятель в степи, чья власть стремительно распространяется на всех казахов. Далее. Можно не сомневаться в том, что за этой встречей исподтишка, но зорко следят и ближайшие соседи — башкиры. В такое трудное для них, как сейчас, время они не могут быть безразличны к тому, как поведут себя казахи. Несомненно, насторожились сейчас и западные калмыки. Если Младший и Средний жузы вступят в сговор, то они поостерегутся совершать набеги на казахские земли. Вполне возможно, что эта встреча лишит покоя и предводителей джунгар, находящихся за тридевять земель. А им сейчас и без того несладко: затяжные стычки с китайцами чувствительно измотали их. Особенно же всполошатся правителишки из династии Жадика. Они ведь понимают, что вес и значение Абулхаира в казахской степи после этой встречи резко возрастут. А это для них весьма нежелательно и даже опасно, если учесть, что пустуют ныне и ханский трон Среднего жуза, и трон верховный — общий, единый для всех казахов. Это обстоятельство заставит всерьез задуматься и кое-кого из строптивцев — явных и тайных недоброжелателей Абулхаира из подвластных ему улусов. Им тоже не все равно, куда повернет влиятельный батыр Жанибек.

Словом, как ни толкуй, куда ни поверни, а встречу двух знатных правителей из двух жузов заурядной, обычной никак не назовешь. Считай, три стороны света не спускали с них глаз, зорко следя за каждым их поступком, чутко прислушиваясь к каждому их слову.

Жанибек все это прекрасно понимал, а потому заблаговременно, во всех тонкостях и подробностях обдумал, как, где, когда встретить хана и какой ему оказать прием. Он не стал особенно распространяться. Советовался, главным образом, с Букенбаем из рода шакшак. И когда пришли к единому мнению, пригласили на совет влиятельных

старейшин из родов сар-жетим, шакшак, тортугул, керей, уак, кипчак. На общем совете было обговорено, из какого рода сколько будет поставлено нарядных и богатых гостевых юрт, сколько выделено скота на забой, сколько дойных кобылиц, сколько будет приглашено девушек и юношей на торжество, сколько обслуги. Старейшины перебрали также в памяти всех прославленных в своем краю певцов, музыкантов, сказителей, оружейников, ювелиров, лошадников, охотников с ловчими птицами, затейников и народных умельцев. Было решено также, у кого из родоправителей хан остановится на ночлег, кто какие воздаст почести. Крепко-накрепко предупреждалось, чтобы речи были степенные и благочестивые, поступки — чинные и пристойные, поведение — достойное и учтивое, а угощения — богатые, щедрые и разнообразные. Предусматривались, помимо искусных затейников, разного рода ловкачи — горлопаны и пустобрехи, способные мгновенно разнести слухи (чаще всего восторженные и преувеличенные) по всей степи. При этом они должны были не только повсюду говорить об увиденном и услышанном, но и узнавать мнение простого люда в близких и дальних аулах, собирать точные сведения о настроении народа. На это время в нарядных аулах, встречавших хана, надлежало задержать всех купцов, путешественников, караванщиков, шедших через земли Среднего жуза в Джунгарию, Башкирию, Калмыкию, в Бухару или в российские города и крепости. Пусть они, живые свидетели торжеств по случаю пышных ханских приемов, донесут в чужеземные страны весть о том, что довелось им увидеть на широких казахских просторах.

Все произошло, как было задумано. Так, во всяком случае, показалось Жанибеку. По всему, доволен был приемом и Абулхаир. Но опытный и осторожный, умеющий владеть собой хан виду не подавал, никаких восторгов не выражал. Жанибеку ханская сдержанность вполне пришлась по нутру. Он ведь самому прославленному хану оказывает высокую честь, а не какому-то встречному-поперечному, кому любая почесть в диковинку. И прекрасно, что гость держит себя с таким достоинством, не восхищается по всякому поводу, говорит мало, тщательно взвешивает каждый свой жест. На то он и хан, белая кость. Не чета ничтожным султанам, которые спят и видят себя правителями всего Среднего жуза. Народ поневоле начнет их сравнивать и сделает для себя вывод. «Ну, конечно, ста-

нет наш батыр пышные приемы устраивать какому-то султану, будь он хоть трижды белокостным! А тут сразу видно — хан! Может, даже всем ханам хан!» Подобные разговоры и Жанибеку по душе, и Абулхаиру не во вред. Что ни говори, а с людской молвой нередко приходится считаться. Народ охотно идет за тем, кого считает кумиром. Всепресветлейшая русская государыня, хоть и высоко сидит, но далеко видит. Возможно, свой благосклонный, милостивый взор она обратит из белокостных именно на Абулхаира, а из чернокостных — прежде всего на него, Жанибека. Возможно, в числе наиболее влиятельных правителей она увидит в Младшем жузе хана, а в Среднем жузе — батыра. В таком случае, никто не упрекнет его в том, что он не султан. Пусть только попробуют! У Жанибека тоже кое-что на уме. Керейцев, что обитают вдоль Есиля, в последнее время пытается прибрать к своим рукам Абильмамбет. Если только судьба улыбнется Жанибеку и он заручится всемилостивой поддержкой императрицы, тогда он выделит находящихся под его властью керейцев и уаков в самостоятельный улус, а в наместники назначит одного из сыновей Абулхаира. Это был бы сильный удар по династии Жадика, вообразившей себя бессменной правительницей Среднего жуза. Тем самым удалось бы пристегнуть к тороке одним махом несколько родов, выбив их из подчинения ничтожным султанам. Но это пока тайна. Жанибек хранит ее на самом донышке сердца. Даже Букенбаю о ней не обмолвился. Надо выждать время. Надо сначала убедиться в том, как обернутся обстоятельства. Вся прояснится в зависимости от того, как примет их, его и Абулхаира, царицын наместник строящегося нового города на рубеже России и Степи...

Одно совершенно очевидно: встреча с Абулхаиром не должна пройти бесследно. За ней должно последовать конкретное дело. И оно должно выявить истинное отношение простого люда к двум правителям из двух жузов. И дело это не подобает откладывать. Пронырливый толмач, навестивший его в прошлом году, довольно прозрачно намекнул на то, что государыня императрица отнюдь не возражала бы, если бы казахи со своей стороны малость потрепали мятежных башкир. Интересно, что на этот счет думает Абулхаир? Как бы там ни было, далее отмалчиваться и сидеть сложа руки уже нельзя. Если в будущем предстоит совместно выступить в поход, то сейчас самое время выяснить, на какие силы, на какую численность

войска им можно рассчитывать. Правда, многое зависит от того, какая поддержка последует со стороны царской администрации в новой строящейся крепости, сколько родов удастся привлечь на свою сторону, сколько влиятельных правителей разукрасят своими печатями и подписями пеструю царскую грамоту о вступлении в подданство русской империи. Это все покажет будущее. Но готовиться к нему следует уже сейчас. Искони известно: связать народ единой с тобой судьбой можно либо богатой добычей, либо кровавым делом. Иначе говоря, руки его должны быть или в жиру, или в крови. Посули народу жирный кус, и он, боясь его лишиться, пойдет за тобой куда угодно. А коли руки его окажутся в крови, он, боясь возмездия, еще более привяжется к тебе. Какой из двух этих путей предпочитает Абулхаир? Или он нашел какой-то третий путь, ведущий и к крови, и к добыче? Наверное, так... В самом деле, без кровопролития о какой добыче может идти речь?.. Конечно, чтобы угодить царской администрации, следовало бы обрушиться на несчастных башкир, и без того доведенных карателями до отчаяния. Тут же руки окажутся по локоть в крови. Но только какой с того толк? Да и как поднимешь против них расчетливого казаха, который ни за что не ввяжется в драку, не удостоверясь в том, что в результате ему кое-что перепадет? А что возьмешь с бедных башкир? У них сейчас, как говорится, шея тонка, да вошь крупна. К тому же соседи. Единоверцы. Близки по языку, нравам и обычаям. Много ли чести в том, чтобы уподобляться собаке, которая в беде хватает своего господина за подол? Что касается возможной опасности казахам со стороны башкир, то ее с лихвой погасят, судя по всему, доблестные русские воины. Так как же быть? Может, целесообразней, воспользуясь нынешней суматохой и смутой, ударить исподтишка по волжским калмыкам и расквитаться за былую обиду? Их сейчас раздирает междоусобица, часть желает принять русское подданство, другая часть решительно выступает против. Более благоприятного случая для нападения на них может и не быть. И казахам отнюдь не повредит, если Жанибек отгонит их вдоль Яика до самого Урала, а Абулхаир в то же время оттеснит их за Волгу. Ведь за короткую мирную передышку заметно увеличились у казахов и табуны лошадей, и отары овец, которым явно тесно стало на оскудевших выпасах. В случае, если их внезапный поход вызовет недоумение или

недовольство царицы, они — Абулхаир и Жанибек — прикинутся простачками и скажут: «Среди калмыков слишком многие в последнее время относятся недоброжелательно к государыне императрице и, боясь, что они могут примкнуть к башкирским мятежникам, мы посчитали нужным их малость проучить». И если чиновники такому нехитрому доводу поверят, то отвоеванные земли навечно перейдут во владение казахов. А не поверят — вряд ли они станут наказывать казахов, которые только что вступили в их подданство. Ведь, выходит, они затеяли поход против смутьянов-калмыков с благородной целью отстоять земли, которые отныне по праву принадлежат державнейшей великой государыне. Важно именно сейчас выступить в поход на калмыков. Потом, конечно, военный конфликт перейдет в дипломатический, и пока он будет разрешаться, пройдет немало лет. А что произойдет за это время — ведомо одному лишь аллаху.

Таковы соображения Жанибека, которыми он откровенно поделится с Абулхаиром. Надо свыкнуться с мыслью: пока не удастся заполучить богатые выпасы вдоль Яика и Волги, казахам удачи не видать. И ничто другое им уже не светит. На север пути нет, не станешь же посягать на российские владения. Царские пушки, посланные для подавления башкирского мятежа, ни на шаг тебя не пустят. В лучшем случае доберешься до Элека, а там навлечешь на себя гнев царицы. Как рявкнет разок-другой железная пушка, так и отхлынет твоя конница в страхе-ужасе назад. Поэтому надо действовать безотлагательно, пока волжские калмыки сами что-нибудь не натворят. А от них жди любой напасти. По слухам, их предводитель Дондук Омбо зарится на северную часть Капских гор. С наступлением весны он намерен двинуть туда свою конницу. К счастью казахов, недовольные им калмыки обитают как раз в степях между Волгой и Яиком. Вот на них-то под предлогом усмирения и нападут казахи, стремительно оттиснут за Волгу, а там они, вступив в междоусобную борьбу, поневоле откатятся в сторону Кавказа. Как там быть со смутьянами и строптивцами — о том пусть ломает себе голову сама государыня императрица. Казахам до них дела нет. Им хватает своих забот. Если только Абулхаир и Жанибек доберутся со своими сарбазами до побережья Яика и Волги, они тотчас заткнут рты злорадствующим султанам из династии Жадика и их клевре-

там-родоправителям Среднего жуза, которые все еще противятся принятию русского подданства.

Словом, самая пора показать свою прыть и удаль и ударить по калмыкам. Упустишь время — там уже придется иметь дело непосредственно с русскими, которые к тому часу наверняка уж усмирят дерзких и отчаянных башкирских бунтовщиков. У многих, должно быть, еще на памяти, как когда-то сгоряча казахи погнали башкир до самой Тюмени, а там, грохоча медными пушками и размахивая острыми саблями, преградили им путь бесстрашные русские батыры Левентей и Педот — так прозвали в степи Леонтия Парфенова и Федота Матигорова, предводителей сибирских казачьих полков. Еле унесли тогда казахи ноги, долго каялись, испрашивая прощения. Нечто подобное может случиться и сейчас. Промедлишь — так из-за спины калмыков, несомненно, выскочат лицом к лицу еще более грозные и бесстрашные русские батыры, чем тогдашние Левентей и Педот.

Думается, Абулхаир прислушается к этому совету. Однако, как всегда осторожный, он не решится ни с того, ни с сего напасть на ничего не подозревающих калмыков. Нужен повод. И достаточно веский, чтобы народ поверил и выступил в поход. Иначе можно нарваться на бесчестье. С другой стороны, волжские калмыки являются подданными Российской державы. Государыня не может оставаться безразличной к их судьбе. И хотя основной ответ казахов и логичен, и убедителен, она все же вправе обвинить их в самоуправстве, в несогласованности действий. На такой случай необходима причина, какая-то отговорка, не только существенная, веская, но и достаточно сложная, путаная, в которой администрация никак не смогла бы разобраться. Нужна для похода на калмыков такая причина, чтобы чиновники сказали: «Да ну вас к дьяволу! Разбирайтесь сами. Хоть перережьте и перебейте друг друга!»

Однако где найти такой повод?

Верно замечено: бог в беде не оставит. Коль надо, и повод найдется... Накануне Тюмен-абыз, посланец Жанибека к наместнику Астрахани, привез оттуда то ли слух, то ли весть: Шона Добы, тот самый предводитель джунгар, устроивший казахам кровавую бойню в годы Великого бедствия, якобы повздорил с новым контайджи и, покинув Джунгарию, скрывается среди волжских калмыков. На худой конец, если волжские калмыки не окажут ему достой-

ного внимания, он грозится найти убежище среди казахов и на этот случай прихватил с собой детей казахских правителей, плененных им при последнем набеге. Дондук Омбо не пожелал, однако, портить из-за него отношения с нынешним контайджи. А находящегося в бегах, посрамленного Шона Добы подзуживали тайком китайцы: дескать, если выступишь против контайджи, мы тебя в беде не оставим, поможем войском и оружием и вернем тебе трон. Опасаясь всевозможных осложнений, калмыцкий хан по наущению контайджи отравил Шона Добы и изрубил всех казахских пленников, находившихся при нем. В их числе оказался и любимый сын батыра Есета — Акмандай. Желая получить от него потомство, Акмандая, оказывается, насильно женили на калмычке, от которой родились двое мальчиков...

Ну, что еще надо? Разве это не повод для мести? Пусть это всего лишь слух, неопределенный, подозрительный, но он подвернулся весьма кстати, он затрагивает честь и достоинство народа, он волнует, будоражит кровь. А это главное. Напомни только казахам об их единокровниках, томящихся в джунгарской неволе, или объяви, что их сынов злодейски умертвили в плену, и они тотчас всколыхнутся и оседлают боевых коней.

Как только этот слух дошел до молчуна Жанибека, в глубине его зрачков вспыхнул затаенный огонек. Он обрадовался приезду Абулхаира, надеясь, что тот поддержит его тайное намерение. Родичи невинно убиенных обитали в подвластных Жанибеку аулах. Жажда мести, конечно, поднимет их в поход. И это развяжет руки Жанибеку. Какой же он батыр, какой же, наконец, он казах, если не поможет в беде сородичам?! Сказывают, будто слух об убиенных пленниках-казахах исходит от самой Дарбала-ханум, прожигающей свою вдовью жизнь на вольных просторах Сарытау. Возможно, она все еще мечтает взобраться на трон покойного мужа и ради этой цели искусно стравливает казахов и волжских калмыков. Пусть! Это ее дело. Важно иметь повод для неожиданного нападения на давнего врага, нагло отторгнувшего в свое время часть родной земли. И Абулхаир, как надеется Жанибек, должен понять, что непростительно казахам упускать столь благоприятную возможность.

Жанибек, однако, не спешил делиться своей тайной. Все терпеливо выжидал. Выпытывал, что на уме у Абулхаи-

ра. Может, и до него дошел слух об убийстве пленников-казахов? И, может, он заговорит о том первым? Ведь он все же хан, и в любом деле, в любом начинании ему отдается предпочтение...

Но Абулхаир так и не коснулся этой темы. Возможно, он тоже втайне желал, чтобы первым затеял об этом разговор собеседник... При всем взаимном глубоком уважении, которое они испытывали друг к другу издавна, ни один из них не решился раскрыть душу, что называется, нараспашку, ни один не желал показаться в глазах другого легкомысленным или легковесным, у которого что на уме, то и на языке. Каждый полагал про себя: важно, чтобы между нами установилась взаимная приязнь, все остальное приложится само собой.

Даже при прощальной беседе, подводившей итог традиционному гостеприимству, обе стороны не переступили границы учтивости и утонченного этикета.

— Высокочтимый хан!— торжественно сказал Жанибек.— В краю, готовом с превеликой радостью оказывать вам почести в течение месяцев, вы прогостевали всего одну неделю. Мы были искренни. И весьма благодарны за столь высокую честь, оказанную нам!

— И я, батыр, весьма доволен приемом. И благодарю за то, что мой приезд вы не расценили как неуместное вторжение, а приняли как дружеский жест, как выражение доброй воли.

Этой любезностью и ограничились. Оба понимали, что многое — и, возможно, главное — осталось невысказанным. Но для личной уединенной, с глазу на глаз, беседы у них на этот раз возможности не было. Не обо всем, что таилось в душе, можно было говорить в присутствии влиятельных родоправителей двух жузов. А уединяться вдвоем, когда все вокруг все эти дни жадно ловили каждое их слово, было, конечно же, неуместно и неприлично.

Они вышли из нарядной гостевой юрты. Народ обступил их тесно, благоговейно затих, словно камыш в безветрии.

Неподалеку у коновязи стоял редчайшей масти статный скакун. Казалось, под лучами солнца бесконечно струилась голубая вода. Каждый мускул играл-подрагивал под шелковистой, гладкой кожей.

Хан поспешно пригасил восхищенный блеск в своих глазах.

Почтеннейшие из улусов Среднего жуза во главе с Жанибеком и Букенбаем проводили высокого гостя и его свиту до островершинного холма. На прощание Жанибек сказал:

— Досточтимый хан! Вот конь, которого мы осмелились представить вашему взору. Предок его прибыл к нам из чужеземной дали, но потомок хорошо прижился у нас. Пусть он покрасуется и на ваших выпасах. Пусть принесет вам счастье и удачу! Примите от чистого сердца!

С этими словами он вытащил нож, срезал с челки пучок волос, провел им по влажному храпу коня и вместе с ножом сунул в ножны за пояс.

Белобородые, стоявшие поблизости, степенно огладили лица, благословляя дар.

Абулхаир и Жанибек молча и крепко обнялись.

Немногочисленная ханская свита, понемногу удаляясь от огромной толпы провожающих, медленно двинулась к западу. Крепкие, как на подбор, джигиты Жанибека на ухоженных породистых конях застыли по обе стороны. С тайным восхищением косясь на них, Абулхаир про себя подумал: «Истомились на привязи и кони, и люди. Грешно удерживать их в бездействии. Нужно что-то предпринять для испытания конской прыти и джигитовой удали...»

Через некоторое время хан оглянулся. Вдали, с трудом сдерживая нервно перебиравших ногами скакунов, тесной грудой столпились всадники, а впереди их на сивом, с длинным корпусом коне, весь подавшись вперед и притенив глаза ладонью, глядел ему вслед батыр Жанибек. Горячая волна точно окатила сердце Абулхаира...

Едва минула неделя, в ханскую орду в сопровождении Тюмена-абыза пожаловал Айдабол. Абулхаир сразу смекнул, что Жанибек прислал своего младшего брата неспроста. Действительно, сразу после угощения благочестивый абыз в высоком, белоснежном тюрбане повел хана и Айдабола к пологому холму за аулом и сообщил весть, от которой у Абулхаира сжалось сердце. Он опустил голову, скрывая свои истинные чувства, и принял скорбный вид, выражая печаль по поводу злонамеренного убийства юных пленников-казахов. Потом, помолчав, хмуро сказал:

— Надо довести скорбную весть до ушей несчастного

Есета. Притом немедля. Если он узнает о том от случайных путников, позор падет на наши головы.

Ни хан, ни гости больше ни о чем в тот раз не говорили.

Провожая их в обратный путь, Абулхаир заметил:

— Передайте мой поклон и благодарность батыру. Он правильно поступил, незамедлительно сообщив мне о случившемся.

Как только отъехали гонцы Жанибека, хан в сопровождении шурина Мырзатая отправился в аулы Букенбая из рода табын. Знаменитый батыр просиял весь, услышав имя Акмандая, но когда узнал о его гибели, крупное, мясистое круглое лицо его вмиг помрачнело и избороздилось тяжелыми складками, словно заскорузлая шкура. Долго молчал, будто проглотив язык. Наконец глухо проронил: «Боюсь, эта весть сломит Есета. Для него дороже Акмандая никого не было. Бедный, бедный...» Он тотчас вызвал Тулебая и вместе с Мырзатаем отправил к родственникам по материнской линии из рода кете.

Целый месяц со всех сторон стекался народ в скорбный аул Есета для выражения соболезнования. Из аула в аул сновали толпами акыны и сказители. Надрывая сердца и души слушателей, многокрасочно рассказывали они о горестях и лишениях, перенесенных народом от опустошительного набега джунгарцев в годину Великого бедствия. О тяжкой судьбе сорока невинно замученных юных пленников-казахов сочиняли длинные сказы-хиссы, которые передавались из уст в уста. Над аулами Среднего жуза стоял плач. Убиенных оплакивали матери, сестры, тетушки, родные и близкие, взывая к мести, проклиная убийц. Скорбь, охватившая степь, прославила и Есета, и весь его род. И у всех на устах были слова, пророненные якобы тогда Есетом:

— Много имел я жен, но ни одна не родила мне такого сына, как Акмандай. Много знавал я коней, но не было такого, как его скакун Актабай!.. Горе мне, горе...

На просторе Темира род жетиру провел грандиозные поминки. Помянув Акмандая, почтенные воскликнули:

— Оу, люди добрые! До каких пор мы будем предаваться скорби и печали?! Не пора ли встрепенуться? Не пора ли испить из деревянной чаши презренной черной крови подлого убийцы? Почему помалкивают наши баты-

ры? Или они уже разучились владеть копьем? Где наши ханы? Или они уже не в состоянии возглавлять народ? А почему сам народ не всколыхнется? Или он лишен чести и достоинства?!

Особенно неистовствовали родичи убиенного по материнской линии — потомки Балпаша. Они громогласно объявили: кровь их несчастного племянника взывает к мести. И они первыми бросили клич: «В поход на калмыков!» И поспешно отправили гонцов во все края казахской степи.

Все многолюдней становилось вокруг ханской орды. Не высыхали потники гонцов из Среднего жуза. «Мы не останемся безучастными к беде сородичей!»— вопили, все более распаляясь, нетерпеливые джигиты.

Абулхаир с утра до вечера советовался с приближенными в своей майхане — просторном помещении из трех юрт.

Вести поступали со всех сторон, и были они грозными и короткими, как гулкий удар дубовой дубины.

— Шектинец Есенбай готов выступить с сотней джигитов!

— Во главе с Есетом, Букенбаем, Алтаем роды жетиру и кете выделяют две тысячи бойцов!

— Более десятка тысяч храбрецов из Среднего жуза оседлали походных коней!

Не усидел и султан Батыр. Решил выступить с тысячью всадников.

Разумеется, и роды, подвластные хану, не останутся в стороне. И таким образом, по подсчетам Абулхаира, в походе готовились участвовать более двенадцати тысяч человек. Такого не бывало и в самые трудные, смертельно опасные моменты истории казахов. Попробуй удержать такой порыв. Встанешь поперек — сметет. Выход один: возглавить народ во имя его чести и славы.

С одной стороны, Абулхаир радовался: осуществлялось то, о чем он недавно еще лишь мечтал, а, с другой стороны, не отпускала его назойливая тревога: чем это все кончится, все ли им взвешено и предусмотрено. Что ни говори, времена наступили иные. Теперь ты — подданный Российской империи, и ты уже не волен действовать по собственному усмотрению, как тебе заблагорассудится. Это относится и к твоему противнику, на которого вознамерился напасть. Завтра может последовать окрик: «Эй, хан милостивый! Ты что это разбушевался без нашего ведома?

Или белены объелся?!» Конечно, примерный ответ у него готов. Скажем: «Дондук Омбо оскорбил казахов. Вконец обнаглел. Народ решил его наказать. И потребовал, чтобы я возглавил поход. В противном случае грозил сместить меня. Что же еще мне оставалось?!» Сошлется хан, конечно, и на смутьянов среди самих калмыков. Скажет: «Слишком уж они мутят воду. Не только возносят до небес своих невежественных главарей, но и в открытую оскорбляют честь государыни императрицы. Да и мирных казахов на мятеж против русских подбивают. Разве можно было такое терпеть?!»

Скорее всего, первый довод хана никак не убедит государыню, зато ко второму доводу, напуганная мятежом башкир, поневоле прислушается. И, воспользовавшись этим, пока жажда мести у казахов еще велика, можно наверняка с успехом прогнать калмыков подальше за Яик. А там, надо полагать, заметно поубавится воинственный пыл у казахов и у них уже не будет желания преследовать калмыцкого хана, являющегося подданным Российской державы. Это было бы неразумно. И сам Абулхаир этого не допустит. Если удастся захватить раздольные пастбища вплоть до Яика да вернуться из похода с богатой добычей, крикуны, возжаждавшие мести, бесспорно, угомонятся.

К этому, конечно, стремится и Жанибек. Он также понимает, что нападать сейчас выгодно на калмыков, а не на башкир. У последних брать, по существу, нечего. К тому же против большинства не попрешь, а оно настроилось идти походом против калмыков. Да будет так! Долг, говорят, платежом красен. Широкая равнина по-над Волгой давно уже притягивала взор Жанибека. Должно быть, настало самое время, пользуясь заварухой, отхватить этот жирный кус. А то потом, став подданным России, вряд ли позаришься на чужую земельку. Там уж тебе ничего ниоткуда не перепадет.

И так, и сяк прикидывал Абулхаир, и сколько бы ни думал, выходило, что идти в поход на калмыков надо. Но оставалась еще одна загвоздка. Как же быть с просьбой, вернее, с деликатным намеком царских чиновников в отношении башкир? Неужели делать вид, что он ничего не понял? Нет, это не годится. На это Абулхаир не пойдет. Что бы и как бы там они ни говорили, а им, конечно же, желательно, чтобы хан Младшего жуза обрушился на мятежных башкир и тем самым на деле доказал свою верность присяге. Иначе говоря, в их глазах Абулхаир может

обрести вес лишь в том случае, если в это смутное и тревожное время проявит решительные действия против башкирских бунтовщиков. Значит, готовясь к походу на калмыков, нельзя упускать из виду и башкир. Как это сделать? Пока он будет в походе, он отправит к башкирам султана Ниязa и Мырзатая, которые потребуют вернуть угнанный когда-то башкирами у шумекейцев табун лошадей. Ясное дело, что табуна этого и след простыл; он давно уж превратился в кизяк, развеянный степным ветром по лощинам и оврагам. Только казахам какое до этого дело? Они скажут: верни, и все тут! А сами между тем посмотрят на поведение башкирских старейшин. При этом в прямые переговоры с ними не вступят, а лишь пустят слух, будто державнейшая императрица попросила хана Абулхаира оказать содействие в подавлении башкирского мятежа, но хан, погруженный в тяжелые раздумья, все медлит, не желает проливать кровь соседей-единоверцев, и, чтобы оттянуть время, отправился сейчас на войну с калмыками. Если же за время его отсутствия башкиры пригласят кого-нибудь из ханских сыновей к себе и изберут его своим ханом, тогда бы Абулхаир уговорил царскую администрацию прекратить все карательные меры и оставить башкир в покое. Такое решение пришлось бы по душе и казахским правителям. А у администрации создалось бы впечатление, что Абулхаир пользуется исключительным влиянием не только среди казахов двух жузов, но и среди башкир.

Да, пожалуй, это ход. Ловкий и действенный. И замысел этот следует скорее осуществить. Хан тотчас вызвал к себе посланца Аглука и поинтересовался, спрашивали ли царские чиновники, когда он навестил их в прошлом году, об отношениях казахов с калмыками. Выяснилось, что их интересовали главным образом отношения между казахами и башкирами, а о калмыках даже и речи не было.

— Ну и хорошо, что не было!— заметил хан.

Теперь все прояснилось. И окончательное решение было принято.

Конные отряды стекались отовсюду. И каждый раз, когда из-за холмов вздымалась пыль, хан в душе ликовал. И еще он с удовлетворением заметил, что аулов, относящихся к нему недружелюбно, а также разных строптивцев и смутьянов в подвластном ему улусе становится все меньше и меньше. И когда хан в этом окончательно убедился, он тщательно пересмотрел свое окружение. Наиболее верных и преданных приблизил, а враждолюбцев, считав-

ших про себя, что хану без них и шагу не ступить, решительно удалил от себя. Известно, что в любом улусе или ханстве всегда найдется горстка честолюбцев, которые лишь делают вид, что поддерживают власть, а на самом деле исподтишка строят разные козни. Они особенно выявляются в смутное, тревожное время. От них надобно безжалостно отмежеваться. И тогда, помимо твоей немилости, на них обрушится еще и гнев толпы, ибо она предрасположена винить отщепенцев во всех грехах и приписывать им задним числом все неудачи и напасти. Таким образом, правителю предоставится счастливая возможность расквитаться со всеми противниками. Да еще прослыть в глазах толпы дальновидным и справедливым. Важно только не спешить, проявлять благоразумие и терпение, пока, окруженные презрением толпы, недруги не разоблачат себя сами и не осрамятся окончательно.

Да, это так. Гибкость необходима не только в отношениях с верными друзьями, но и с явными или тайными недругами. Всем угодить невозможно. А потому и стремиться к этому не стоит. Немыслимо также быть справедливым ко всем. Непременно найдутся обиженные. Значит, к кому-то надо благоволить. Кого-то осыпать милостями. Тогда одни начнут искать твоего расположения, боясь потерять то, что имеют, а другие — стремиться к тому, чтобы заиметь больше. Стремящихся к благу, явному или призрачному,— все равно, таким образом, станет больше, хотя общего единства от этого и не возникнет. Но те, что охвачены этим стремлением, облегчат твою же ношу, ибо они своим противоборством нейтрализуют в значительной мере злобу надменных недругов. При этом старайся никого особенно не приближать к себе. Иначе лишь увеличишь число обиженных и недовольных — вечных спутников власти. Хочешь сократить число обиженных — не обрастай раболепствующими подхалимами. Наиболее преданных же клевретов старайся не упускать из поля зрения. Львиную долю обид и недовольства они берут на себя. Если же среди клевретов заведутся спесивцы и гордецы, ты их не жалей, отсекай от себя, топчи, убирай подальше. Отстраняя их от себя, ты тем самым взвалишь на них немало своих грехов.

Отстранять от себя попавших в немилость тоже надо умеючи. На то тебе и дана власть. Надо выждать такой момент, когда со спокойной совестью можно будет сказать: «Ну, что, голубчик... ты сам виноват... пеняй на

себя». Сделай вид, что не он на тебя, а ты на него в обиде. И настойчиво внушай ему эту мысль. Дескать, ну вот... а я-то на тебя такие надежды возлагал... Посрамленный, униженный, бывший твой клеврет и жаловаться после этого никому не посмеет... умолкнет, боясь собственной тени.

С заносчивыми своими недоброжелателями будь особенно осторожен. Собираясь избавляться от них, сначала внимательно оглянись вокруг. Прикинь: сколько у тебя друзей? Сколько недругов у них? Сколько сочувствующих и злорадствующих? И если большинство окажется на твоей стороне, тогда действуй круто. Сделай так, чтобы недавний спесивец отныне и в глаза тебе не посмел заглядывать. Накажи так, чтоб другим неповадно было. Всегда найдутся такие, что охотно посмеются над поверженным. «Так ему и надо!— скажут.— Уж больно нос задрал, земли под собою не чуял...» И еще скажут: «А справедливость-то все-таки есть!» Ибо во все времена большинство страдает от несправедливости. И во все времена народ уповает на справедливость, вполне довольствуясь, однако, ее крохами. И когда зарвавшимся спесивцам дают по рукам, толпа всегда испытывает злорадство. А злорадство толпы — одно из сильнейших наказаний. Оно любого толстокожего выведет из себя. Но и этому чувству не стоит давать особенную волю. Злорадствующую толпу также следует вовремя обратать...

Сейчас у Абулхаира — с какой стороны ни посмотри — все вроде складывается удачно, как никогда. Часть влиятельных и родовитых аулов активно мешала ему в ту смутную пору, когда впервые посетило его русское посольство. Действительно, то было неустойчивое время. И удача заваливалась то на один, то на другой бок, словно поклажа на неряшливо навьюченном верблюде. Потом все как-то образовалось, хан вошел в силу, однако проявил снисхождение и щедродушие к недавним недоброжелателям. Наиболее разумные из них эту ханскую милость оценили по достоинству и вовремя спохватились, то есть, словно отбившиеся строптивые кони, вновь вернулись в свой родной косяк. Кое-кто из упрямцев, однако, так и не пожелал считаться с ханской волей. Разумеется, теперь уж им прощения не будет.

Их подлинные намерения особенно ясно проявились сейчас, накануне похода на калмыков. Многие так и не откликнулись на призыв потомков династии Балпаша.

Посчитали это ниже своего достоинства. Дескать, почему вдруг род кете так много берет на себя? Разве некому больше поднять народ? Разве бросать боевой клич — не удел более сильных и влиятельных родов? И тем самым надменные правители иных аулов выразили свое недовольство Абулхаиром.

Ну и пусть себе упорствуют... Пусть упиваются своим ущемленным самолюбием. Без них обойдутся. Вон сколько собралось желающих выступить в поход! Посмотрим... Не родился еще такой казах, который, почуяв добычу, усидел бы на месте. Да он от досады лопнет, если лишится своей доли, особенно дармовщинки, или если его на ровном месте обскачет соплеменник в такой же заскорузлой шапчонке, что и он. Едва Абулхаир выступит в поход, как из-за всех холмов и бугорков белесым облаком поднимется пыль. Спохватившись, поскачут за ним вдогонку недавние упрямцы и строптивцы. Пусть... Запоздалое раскаяние никому еще, однако, счастья-удачи не приносило.

В заранее обговоренный день Абулхаир покинул свою ставку и отправился на сивом коне, подаренном Жанибеком, к войскам. Десять тысяч всадников из родов аргын, керей, кипчак, уак Среднего жуза под предводительством Жанибека и Букенбая составляли один лагерь. Походное знамя было доверено прославленному батыру-шакшактинцу Жанибеку. Двенадцать тысяч всадников, представлявших три остова Младшего жуза, образовали второй лагерь. Его походным знаменщиком был назначен известный батыр Букенбай.

Войска расположились по обе стороны Мугоджарских гор. Видно было, что оба лагеря очень старались. Все сарбазы подтянутые, собранные. Лица суровы, решительны. Доспехи в порядке. Кони в теле. Особенно выделялись всадники из скорбного рода жетыру — зачинщики похода мести. Под ними были кони сплошь вороной масти, в гривы их были вплетены черные ленты; на древке колыхалось черное знамя-бунчук, на руках — черные повязки; походные шатры и юрты, а также пики выкрашены в черный цвет; черного цвета были и подседельники, и потники; хмурые, загорелые и обветренные лица джигитов тоже казались черными. Рослый, длинношеий, как поджарый самец-верблюд, батыр Есет рявкал в нетерпении, нагоняя страху на сородичей. Жажда мести за убиенного любимого сына затмила его разум. Он рвался в бой и возмущенно гудел:

«Ну, чего толпимся, как на привязи? Кого еще ждем? Нас и так — тьма!» Сумрачен и нетерпелив был и батыр Букенбай, точно ангел смерти, вынырнувший из-под семи сфер тверди.

После рода жетыру наиболее воинственно настроились кетинцы. Как же? Они ведь выступили мстить за племянника. Отряд их был грозен и внушителен. Казалось, лучшие доспехи — на них, лучшие кони — под ними. Сплошь поджарые; крупы, бока отливали голубизной. Владения рода кете простираются до самого Каспия. И потому не исключено, что среди их лошадей находятся потомки сказочного морского чудо-жеребца. В самом деле, во-он сколько их, коней масти морской волны. Один из них приплясывает под Алтаем — предводителем кетинцев.

За ними на этот раз следовали самолюбивые шектинцы, обычно не уступавшие в походах головной ряд. Сейчас они вынуждены были пропустить вперед скорбный род жетыру и кетинцев, первыми призвавших к мщению, инициаторов похода. Возможно, оттого, что долго раздумывали над тем, к кому примкнуть, и не успели как следует подготовиться, внешний вид шектинцев никак не впечатлял, да и кони были разной масти — гнедые, сивые, буланые вперемешку, и джигиты не выделялись осанистостью и статью. Казалось, их предводитель султан Батыр не придавал значения внешнему виду своего отряда, а главным образом был озабочен своей особой.

Затем расположились рядом воины из родов бериш и адай. Искони воинственные, привыкшие к бесконечным стычкам и походам, они и сейчас рвались в бой. В глазах их горел огонь. Азарт и радость охватили их. Да и кому же радоваться, как не им, когда, наконец, на врага, от которого им никогда не было покоя, казахи двинулись всем миром.

Земля подгибалась и под войском Младшего жуза. Оно тоже было охвачено нетерпением. Однако во внешнем облике сарбазов, в их конях, в сбруе, в седлах, в посадке, в доспехах не чувствовалось той нарядности и торжественности, той пышности и великолепия, как в коннице Жанибека. Да и собранности, дисциплины-порядка было явно маловато. Каждое племя, каждый род заботились прежде всего о себе, каждый выхвалялся перед другими. Должно быть, оттого, что кони под ними были разномастными, воины разношерстными и доспехи — у кого что, казалось, что войско Младшего жуза и по численности значительно уступает войску Среднего жуза, хотя все было наоборот.

Да, войско Среднего жуза выглядело очень внушительно и грозно. Конница сплошь вороной масти, занимавшая собой всю длину, издали походила на огромную черную грозовую тучу, а Жанибек впереди на сивом коне — на ослепительную молнию, пронзившую ее. Конечно, десять тысяч всадников в одинаковой одежде, в одинаковых доспехах, на единой масти конях — неотразимое зрелище! Кто знает, внушит ли такое войско завтра страх и ужас калмыкам, но на сарбазов Младшего жуза оно уже сегодня производило необычное впечатление. Многие отчего-то насупились. Видно, не от восхищения и любопытства, а от простой зависти.

А-а... пусть завидуют. И поделом! Пока наш брат не подсмотрит что-нибудь у других, пока черная зависть не опалит огнем его нутро, он ведь палец о палец не ударит, и расшевелить его почти невозможно. Иные самонадеянные родоправители Младшего жуза ни сном ни духом не ведают о том, что происходит у соседей, не говоря уж о народах далеких стран. Они лишь довольствуются тем, что кичатся друг перед другом, и безмерно радуются тому, если один другого проведет за нос. Наиболее родовитые и спесивые искренне полагают, что если кто-нибудь из них чихнет, то все остальные, менее родовитые, обязаны пожелать им здравия. Их почти ничто не интересует, за исключением, понятно, личной персоны и собственной корысти. И пусть теперь смотрят и убедятся, к чему это непременно приводит. Пусть воочию убедятся в своем невежестве и ничтожестве, пусть гложет их черная зависть, пусть испепелит она их своекорыстные спесивые души!

Походы на врага позволяют иногда не только отомстить ему и обзавестись вожделенной добычей, но и увидеть то, что до поры до времени скрывалось от твоего взора, посмотреть со стороны на самого себя и сравнить себя с другими.

После долгой и тщательной подготовки казахи выступили, наконец, в поход, и, едва выйдя за пределы своих владений, вступили в бой. Впрочем, боем или кровавой сечей называть этот поход было трудно, это был, скорее, опустошительный набег на врага, застигнутого врасплох. В самом деле, и калмыки, и туркмены в эту пору занимались мирными делами, привычными и извечными для кочевников: расплодом и стрижкой овец, доением кобылиц и верблюдиц, перегоном скота на весенние выпасы, устройством аулов на летовке. И вдруг на эту безмятежную жизнь черной

бурей обрушилась многотысячная конница. Еще на подступах к Яику они захватили огромное количество скота и по самую завязку набили добычей огромные полосатые хурджуны. Двигаться дальше стало трудно и обременительно. Часть калмыцких аулов в спешке и панике кинулась к поречью Волги, большая же часть, поверженная и разграбленная, очутилась в плену. Были и такие, что обрадовались этому набегу. На травянистых лугах Заволжья вольно паслись несметные табуны и отары покойного калмыцкого хана Аюке и нынешнего его преемника Дондука Омбо. На эти просторные пастбища издавна зарились и другие калмыцкие правители-тайчи, однако побаивались войска императрицы, расположенного в Астрахани. Здесь же, на вытоптанных, подверженных засухе тесных выпасах яицкого побережья по соседству с казахами, заметно оправившимися после годины великого бедствия, калмыки чувствовали себя очень неуютно. Стремясь избавиться сразу от всех горестей — и от засухи, и от неизбежных набегов казахских аламанов, калмыки намеревались припасть к стопам русской самодержицы, чтобы она взяла их под свою державнейшую опеку и облагодетельствовала их так же, как и Дондука Омбо. И вот им-то как раз грозный поход казахов оказался на руку. Воспользовавшись им, хитроумные тайчи намеревались перекочевать, наконец, на вожделенные богатые пастбища за Волгой. У таких тайчи казахи хоть и угоняли скот, но людей не трогали и никого в плен не брали.

Первопричиной похода казахов явилась месть за невинно убитых калмыками сорок казахских пленников. И вдруг выяснилось, что никто ничего о них не знал. Более того, о самом Шоне Добы, который якобы был повинен в гибели пленников, никто ничего определенного сказать не мог. Одни уверяли и клялись всеми святыми, что Шона Добы давным-давно отправился волей всевышнего к предкам и что могила его находится в стороне Баскунчака. Другие с такой же убежденностью говорили, что он жив и целехонек, что взяла его под свое покровительство царица и что, спасаясь от гнева и ярости джунгарского хунтайчи, он скрывается в степях Кубани. О сорока казахских пленниках и речи не было.

— В этих краях никто Шону Добы не видел. Да и с какой стати ему здесь быть?!

— Ни о его войсках, ни о его табунах не слыхали.

— Если он сам был в опале и прятался, как заяц, в степях, то каким образом он мог еще возить с собой сорок пленников?! До того ли ему было!

Так твердили повсюду. И большинство настаивало именно на этом. И лишь давние и откровенные недоброжелатели Дондука Омбо старались подлить масла в огонь.

— Разве корыстолюбец Дондук станет ни с того, ни с сего убивать стольких пленников? Да он их наверняка выгодно сплавил хивинским торговцам.

— Да, да... давно уже ходит слух, будто пленных казахов он продает торговцам, возвращающимся из Астрахани.

— Значит, наших пленников следует искать на базарах Хивы и Бухары?

— Выходит, так. Истинную правду могут знать лишь Дондук Омбо и Шона Добы, если, конечно, он жив. Вот у них-то и постарайтесь все выведать.

И если бы не эти смущавшие душу кривотолки, казахи, успевшие к тому времени награбить уже немало скота, наверняка повернули бы назад, так и не добравшись до Яика. Но теперь, сбитые с толку противоречивыми слухами, упрямые батыры Есет и Алтай разбушевались, с пеной у рта доказывая, что они не успокоятся, пока не разнесут в прах улус Дондука Омбо.

Обычно добродушный, покладистый батыр Есет на этот раз заупрямился и стал упрямо настаивать на своем:

— Я затеял эту бузу и доведу ее до конца! Уж коли я добрался до логова кровожадного убийцы, не поверну коней назад. Никакая добыча меня не удержит и не соблазнит. Если сын мой, кровинушка моя, Акмандай, жив, то слезы его, а если погиб, то дух его не дадут мне покоя. Воля ваша! Никого удерживать-упрашивать не стану. Я же не уймусь, пока не отомщу за сына!

Что оставалось казахскому воинству? Ведь и напали-то на калмыков ради мести, и не годится оставлять теперь на полпути убитого горем отца.

Пришлось смириться.

Многотысячное войско, взбаламутив светлую реку Яик, перебралось на противоположный берег и вдоль и поперек обшарило все барханы и дюны Нарына. Но тщетно: на след Дондука Омбо так и не напали. Поговаривали, что он обитает возле реки Кум неподалеку от Кавказских

гор. А туда ведь не сунешься: получишь по рукам, если вступишь во владения державной повелительницы России.

Стали в замешательстве судить-рядить. Как же быть? Есет пришел в ярость. Крутил длинной шеей и неистовствовал, как бешеный верблюд-самец, и на других нагонял страху.

— Если самому кровопийце Дондуку Омбо и удалось улизнуть, то на широких просторах между Яиком и Едилем наверняка остался кто-нибудь из его близких. Сват или брат, племянник или зять — все равно! Кто бы ни был — он должен стать жертвой во имя моего Акмандайжана. Изловлю, как матерого волка, приторочу к седлу, заставлю хлебать помои из собачьей плошки и умерщвлю после долгих унижений и пыток. Пусть запомнят подлые твари! Кровь за кровь, смерть за смерть!

Как заклинание, твердил эти слова Есет. Он был невменяем. Сивая щетина на его лице встопорщилась. Если кто-нибудь пытался ему перечить, рявкал бешеным зверем. Того и гляди, затопчет, растерзает, изорвет в клочья. Не слушал он даже самого батыра Букенбая, перед которым обычно покорно опускал голову. Глаза налились кровью, шея вздулась, посинела. Жилы напряглись. Огромный кадык ходил ходуном, и в горле побулькивало, всхлипывало, будто там закипали невыплаканные слезы.

Он был ужасен. Всем своим обликом и поведением он напоминал норовистую рассвирепевшую верблюдицу, отлученную от верблюжонка. Такая обычно в слепой ярости, в бездумии пытается напасть на любую скотину и загрызть ее. И нет с нею никакого сладу. И Есет никого не желал слушать, не внимал голосу рассудка. Обхватив колени, грыз в отчаянии, точно зверь, волосяной аркан толщиной с руку. Абулхаир, Жанибек и оба Букенбая были в растерянности, не представляя, каким образом утихомирить разбуянившегося скорбного батыра. Заслали во все края лазутчиков. А про себя радовались, что до сих пор не брали в плен ни детей, ни женщин, иначе свирепый Есет непременно изрубил бы их саблей.

Время от времени Есет громко вздыхал и вопрошал рыдающим голосом:

— О, сын мой! О, незабвенный мой Акмандайжан! Надеялся ты, бедный, на многочисленный свой род, на грозного, как лев, отца своего, но обманулся в своих надеждах. Некому за тебя заступиться! Некому за тебя отомстить! Горе мне, горе!..

«Надо же! Разбудили невзначай спящего зверя. Теперь как его уймем? Вон как лютует. Не угомонится, пока не захлебнется вражьей кровью».

Так думали обескураженные предводители казахского войска. И еще более растерялись, узнав от лазутчиков, что, к несчастью, неподалеку обнаружился улус родного сына калмыцкого хана — Калдана Норбы. В Красном Яру под Астраханью раскинулся большой его аул. Недавно ханский сын высватал себе молоденькую дочку туркменского бека и теперь тешился-забавлялся ею в своем ауле.

Узнав об этом, четверо предводителей казахского войска опешили. Вот так незадача! Не приведи аллах пролить кровь наследника калмыцкого хана: придется держать отвт перед белой царицей. Как бы этот поход не обернулся горем, не привел к стычке с русским войском... Тогда уж казахам несдобровать. Все понимали: если свирепый, как верблюд-самец в пору гона, Есет обрушится на мирный аул Калдана Норбы, быть большой крови и большой беде.

Абулхаир, представив на миг возможные последствия, содрогнулся. Если случится кровопролитие, гнев русской царицы после башкир обратится на казахов. В этом можно не сомневаться.

Растерялся и Жанибек. Ведь, в сущности, он явился зачинщиком набега на калмыков. И он добился своего: все поначалу складывалось так, как было задумано. Казалось, что еще надо... Пригони захваченное у врага многотысячное поголовье скота в родную степь, распредели его между сородичами и живи себе припеваючи до нового похода или до новой беды. Как бы теперь из-за своенравного батыра не лишиться всего, что само шло в руки...

Догадавшись о щекотливости их положения, Букенбай из рода табын сказал:

— Сделаем так. Вы отсюда спокойно возвращайтесь домой. А я останусь возле Есета. Алтаю, видно, тоже уезжать нельзя. Так и быть: совершим набег на аул Калдана Норбы. Разгневается царица — возьму грех на себя. Скажу: мстил за невинно умерщвленного сородича. И не послушался ничьих разумных речей. Не желал плохого ни русской царице, ни хану Абулхаиру. Вряд ли станет царица вмешиваться в чьи-то сугубо личные дела.

Предложение батыра Букенбая показалось разумным

и убедительным, однако Жанибек с ним решительно не согласился:

— Нет, не годится это! Как мы посмотрим людям в глаза, оставив вас здесь на произвол судьбы? Лучше уж ты побудь рядом с этим сумасбродом, постарайся отвлечь его, а мы тем временем попытаемся что-нибудь придумать.

После долгой беседы Абулхаир и Жанибек решили прибегнуть к такой уловке: они тайком направят небольшое войско в калмыцкий аул, возьмут Калдана Норбы в плен, переправят через Яик и отпустят к туркменам. Пока он доберется к отцу у Кавказских гор и встретится с царской администрацией в Астрахани, казахи наверняка уже отступят в родные края. Если же Калдан Норбы не согласится с таким предложением, то пусть пеняет на себя. Пощады ему не будет.

За осуществление этого плана взялся Жанибек. От военачальников Среднего жуза все тщательно скрывалось.

Приняв решение, Абулхаир и Жанибек встретились с буйным Есетом.

— У нас есть одно условие, батыр.

— Говорите!

— Так слушай. Мы сегодня же нападем на аул Калдана Норбы. Наша цель — захватить живым наследника. И больше никого трогать не будем. Не станем подвергать пыткам и униженьям и пленного Калдана, пока не придет какая-либо весть от его отца. Если только подтвердится, что к убийству сорока наших пленников был причастен Дондук Омбо, то воля твоя: поступай с Калданом как хочешь. Согласен на такой уговор?

Есет ответил не сразу. Притянул к подбородку колено, по-звериному начал рвать зубами заскорузлую, из сыромятины, штанину, вертел-мотал головой. Потом прогудел:

— Рискну! Риск принес честь и славу и моему предку Таме. Пусть будет по-вашему. Согласен! Если только изловите шакальего отпрыска, вызнаем у него, что стало с моим Акмандайжаном и другими бедолагами.

Пять дней и ночей держали казахи в осаде огромный — в две тысячи кибиток — калмыцкий аул возле Красного Яра. Ни единой живой души не выпустили из аула. И никого не пустили извне. Опросили все взрослое население. Никто не мог сказать, куда исчез Калдан Норбы. Дней восемь назад видели его почти все. А потом вдруг пропал, точно в воду канул.

Ничего вразумительного не сказали и жены, и дети ханского сына. Нагрянули как-то ночью верховые туркмены и в страшной спешке увели Калдана. Куда и зачем — никому не известно.

Есет в ярости и нетерпении грыз себе ногти.

— Ладно... Не провалился же он сквозь землю. Появится. Должен же он приползти к своей сучке, с которой еще не натешился всласть.

Вновь и вновь допрашивали всех в осадном ауле — от мала до велика. Ответ был один и тот же. Одно и то же, как заведенный, твердил и Есет. Так прошло пять суток. И длились они бесконечно, как вечность. Есета уже начинало раздражать, когда Абулхаир и Жанибек встречались наедине. Он свирепел:

— Что они все время шушукаются, этот высокородный тюре и самодовольный аргынец? Что за тайна у них? Пусть находятся рядом со мной! Пусть сидят, томятся, как и я! Пусть не стронутся с места до тех пор, пока не заявится трусливый шакал Калдан Норбы! Никому не позволю выйти из окружения — ни казахам, ни калмыкам. А если кто ослушается, тому в глотку всажу свое копье!

Тут лопнуло терпение Букенбая. Рявкнул сипло:

— Уймись! Не ты один лишился сына! Чего лютуешь?!— И вскочил, замахнулся на опешившего зятя короткой, сплетенной из сыромятных ремешков плеткой-доиром.— Ну и что, если сына потерял?! Не ты первый, не ты последний! В смутные времена, скажи, враг чьего родича не убивал, чью бабу поперек седла не уволакивал?! В лихую годину, когда черная беда обрушилась на весь народ, и то ты рассудок не терял. Что же теперь, будто баба, нюни распустил?! Довольно! По-твоему, что... все эти дни Калдан Норбы по степи, что ли, шляется? Как бы не так! Давно уже добрался до русского правителя. А русские что... белены, что ли, объелись, чтобы позволять тебе безнаказанно грабить подданный им народ?! Завтра же примчатся казаки, размахивая стальными саблями. И что будешь тогда делать? Кому мстишь? Своему народу или Дондуку Омбо? Дай срок, и потребуешь с него мзду за все. Понял? А я тебя больше слушать не желаю! Из-за какого-то плосконосого калмыка я не намерен подставлять сынов казахских под пушки. Все! Встань сейчас же и сядь на коня! Не то — свяжу и силком увезу на крупе лошади!

Длинношеий Есет затравленно посмотрел на грозно нависшего над ним батыра Букенбая.

— При чем тут плосконосый калмык? Разве не обязан я отомстить за моего Акмандайжана? Разве не должен кровожадный убийца расплатиться за содеянное? Разве может он остаться безнаказанным? О чем ты говоришь, Буке?!

Букенбай в досаде отшвырнул толстый сыромятный доир и вышел из юрты. Алтай, все это время сидевший в сторонке молча, вдруг заскрежетал зубами, издал протяжный стон и, подбоченясь, начал раскачиваться взад-вперед, изображая высшую степень отчаяния и возмущения.

— Нет, нет! Я просто так, с пустыми руками, отсюда не уеду! Я истреблю на корню всех мужчин этого паскудного гнездовья. Я заставлю их пить собственную кровь. Они захлебнутся ею! Ойбай-ау, разве о такой победе над болбочущими поганцами я мечтал? Зачем мне их табуны и отары? У меня достаточно своих лошадей и овец. Аллах даст, будет еще больше. А не пролив вражеской крови, не отомстив за племянника Акмандая, я отсюда не уйду. Или сам погибну, или перебью весь захваченный скот и выпущу его кровь в синеющее там, вдали, море!

Есет застыл в изумлении. Потом яростно плюнул за порог:

— Все! Пропади все пропадом! Акмандайжана, если он погиб, не воскресить. Мстя за мертвого, мы только навлечем погибель на живых. Успокойся, Алтай, и подними голову. Я доволен сородичами по материнской линии. Да буду вам жертвой! Ты, Алтай, своими словами утешил мою скорбную душу. Я взял себя в руки. Внял здравому рассудку. Я готов отправиться в обратный путь.

И, задевая верхние решетки юрты, встал во весь свой громадный рост.

Абулхаир, молча наблюдавший за этой сценой, приказал пригласить в юрту Букенбая и, когда тот явился, громким, властным голосом объявил свое решение:

— Прикажите калмыкам немедленно разобрать и сложить все две тысячи кибиток. Весь аул — и живые, и мертвые — откочует вместе с нами. Если Дондук Омбо и Калдан Норбы дорожат своими людьми и потомством, то пусть доставят верную весть о судьбе Акмандая и заберут заложников. Если хотят мира — пусть согласятся с этим. А хотят враждовать — пусть добра от нас не ждут! Тогда эти две тысячи калмыцких семей со множеством

ханских отпрысков и ханских жен и наложниц — твоя добыча. Как поступишь с ней — воля твоя. А коли возникнет тяжба, отвечать будем вместе. Против смутьянов пойдем камчой, против врага — копьями. Добыча — твоя, расплата — общая. На том и порешили. Давай, опомнись, батыр! Собирайся в путь. Впереди твоего кочевья пойдет Жанибек, замыкать его буду я!

Топорщившаяся все эти дни сивая щетина на лице Есета мгновенно поникла. Хмурое, чугунного отлива широкое лицо Букенбая смягчилось. Горделивый Жанибек, вытянувшийся в струнку, метнул довольный взгляд на хана и кивнул головой. «Мудро решил!»— означало это движение. Батыр Султан, стоявший как бы непричастным ко всему на свете в сторонке, облегченно надул щеки и громко выдохнул. Напряженность в юрте сразу спала. Все мигом обрадовались, переглянулись, улыбнулись понимающе друг другу и направились к осадному аулу, где с тревогой ждали свой жребий две тысячи калмыцких кибиток.

В черных, кудлатых, низко стелившихся над несчастным аулом тучах ослепительно блеснула молния и грянул, обрушивая небо, гром. Со стороны вольной реки подул шквалистый ветер. Тяжелые, толщиной с палец капли гулко и дробно застучали по иссохшей земле.

Над двумя тысячами калмыцких кибиток взвился неутешный плач.

Двадцатидвухтысячное войско содрогалось в злорадствующем смехе.

Непомерно разросшееся разношерстное кочевье после полудня двинулось в путь.

И после этого похода резко увеличилось поголовье скота у казахских баев, умножились отары и табуны.

И после этого похода в закопченных бедняцких юртешках ожил очаг, и сладко забулькало в казанах над треногой.

И после этого похода многие байские жены обзавелись бессловесными служанками, а безнадежные холостяки утешились любовью жаркотелых пленниц.

И после этого похода родилось многочисленное потомство, родичи которого по материнской линии являлись калмыками.

И после этого похода во многих казахских аулах произросла новая ветвь, называвшаяся «потомки сероликой мачехи», «дети матери-калмычки», «отпрыски пяти калмычек».

И после этого похода у многих казахов и без того широкие лица стали еще шире, и без того выступавшие скулы — еще более острыми.

Когда после удачного похода Абулхаир с доблестью вернулся в свою ставку, его с нетерпением дожидались султан Нияз и Мырзатай, посланные им к башкирам. По их словам, среди башкир очень неспокойно, часть перешла на сторону русских, другая часть настроена решительно против, началась междоусобица, непримиримая грызня, и не осталось никого, на кого можно б было положиться, никто ни за что не отвечает, никакой ответственности на себя не берет, а потому без влиятельного посредника просто-напросто не обойтись.

Весть, доставленная старшим братом и шурином, обрадовала Абулхаира больше, чем его поход на волжских калмыков. От удовольствия у него зачесались и пятки, и ладони. Что за удача? Что за сплошное везение? Сердце у хана забилось, как у молодого джигита перед свиданием с возлюбленной.

Прошло еще полмесяца, и однажды в вечернюю сутемень порог ханской юрты переступил Мырзатай.

— Добрый вечер!

Вслед за ним вошел в юрту долговязый незнакомец.

— Ассалаумагалейкум!

Шурин весь сиял, будто родной дядя с базара вернулся. Долговязый гость, словно не решаясь пройти, склонился у входа в учтивом поклоне. Мырзатай глянул на него с укоризной и жестом указал на почетное место. Нежданный гость в низко надвинутой по самые брови шапке послушно кивнул, благочестиво помянул аллаха:

— Бисмилля!

И лишь потом, усаживаясь, стянул с головы мохнатый треух.

Абулхаир пригляделся. По круглой татарской шапчонке, из-под боков которой торчали несоразмерно большие уши, и по огромному кадыку на тощей, сплошь в морщинах шее узнал, наконец, гостя. То был давний знакомец Алдырбай. Как он, однако, изменился! Борода, усы побелели. И виски были белым-белы. И сам он был бледен, серолиц, будто искупался в щелочной воде. И в походке, в движениях не чувствовалось прежней прыти, смелости и уверенности. Оглядчив. Осмотрителен. Даже подозрителен. Видно, побила, помяла, помытарила-таки жизнь. А может,

болел долго? Помнится, в тот год, когда он сопровождал посланника царицы Мамбета-мурзу, он был совсем другим — знал себе цену, всегда помнил о немалых заслугах своих перед русской императрицей. Должно быть, он и сейчас остался верен державному престолу. Иначе с какой стати, рискуя головой, притащился бы сюда, за тридевять земель? И из Петербурга, сказывали, вернулся с немалыми почестями. В пору восстания Сеита он, бывало, не раз прибегал к услугам казахов, получая от них лошадей для башкирских мятежников. Не однажды в трудный час Алдарбай обращался за помощью к Абулхаиру и Букенбаю. Более того, в молодые годы, послушный воле Алдарбая, Абулхаир и сам принимал участие в восстании Сеита. Позже, когда восстание было жестоко подавлено, часть беглых повстанцев нашла приют в улусе Абулхаира. Их он заставлял грабить многочисленные купеческие караваны, сновавшие между волжскими и джунгарскими калмыками. Некоторые из беглых мятежников скрывались среди каракалпаков, и Абулхаир потерял их из виду.

И, пожалуй, с одним только Алдарбаем связи не терялись. Когда-то именно он дважды сопровождал казахское посольство в Петербург. И был он тогда сноровист, деятелен, неутомим, словно юноша на скакуне. А хитер и пронырлив был — страсть! Все на свете знал, все насквозь видел. И хоть и держался скромно и незаметно и бывал на людях неизменно учтив и вежлив, словно жених в гостях у родственников невесты, однако в голове его роились коварные и дальновидные замыслы, и никто не догадывался, что у него на душе. И теперь трудно сказать, с какой целью он пожаловал. Можно только догадываться, какие он вел недавно переговоры с султаном Ниязом и Мырзатаем. Внешне Нияз и Алдарбай во многом схожи, но по характеру и манерам они совершенно противоположны. Нияз по натуре шумный, открытый, суетливый, весь на виду. Алдарбай — хитрец, как их свет не видывал, замкнут, осторожен, увертлив. О таких говорят: в ушко иголки пролезет. И еще говорят: глубину подлости и арканом не измеришь.

Хан не знал, как говорить с гостем. О башкирских делах он был достаточно осведомлен и без него. Расспрашивать о том, какие заботы пригнали его сюда,— неприлично. Алдарбай тоже помалкивал, исподлобья следил за ханом. Абулхаир первым нарушил тишину.

— Ну, Алдарбай-мурза, да сопутствует тебе удача

в пути! Рассказывай. Я весь внимание.

Алдарбай заговорил медленно, ронял слова скупо, однако поведал о многом. Как бы стараясь угодить хозяину, начал издалека, с новостей из Самары. Сообщил, что недавно скончался от чахотки господин Керел — так называли в степи Кирилова. Почтенное учреждение, которым он руководил, теперь переименовали. Если раньше оно называлось «испедей»[1], то отныне оно преобразовано в «камесей»[2]. «Нашандиком»[3] этой самой камесей назначен мурза Татеш[4]. Абулхаир вспомнил: про мурзу Татеша, управлявшего одно время казенными заводами на Урале, он как-то слышал. Говорят, крупный, шибко ученый вельможа. И еще сказывают, будто весьма благосклонно относится к туземному люду — к казахам, башкирам, калмыкам и очень уж любознателен: все допрашивает, кто из какого рода-племени, как называется та или иная местность, кто где кочует, с кем враждует и дружит. По слухам, всюду заступается за тех туземцев, которые каким-либо образом провинились перед государыней царицей. Не исключено, что назначение мурзы Татеша начальником новой камесей — доброе знамение. Ведь в последние годы в степи житья не стало, теперь, может, наступит послабление...

Предположение хана вызвало у Алдарбая усмешку. Белые усы его язвительно дрогнули.

— Наоборот. Превращение испедеи в камесей еще более усложнит и без того трудную жизнь степняков. Отныне нет места никаким надеждам. Испедей рыскала по нашим просторам, интересовалась тем, что имеется на земле и под землей, зарилась, главным образом, на наши природные богатства. А камесей создана для того, чтобы следить за живыми людьми, чтобы вызнать, кто чем дышит, у кого что на уме, кто куда тянется — к мирным или к мятежным.

Хан застыл в изумлении. Многое он видел и передумал за свою жизнь, но о таком и не помышлял. Странно, однако: каким же образом можно определить, у кого что на душе и кто как настроен — благодушно или недоброжелательно?

---

[1] Искаженное «Экспедиция».

[2] Искаженное «Комиссия».

[3] Искаженное «Начальник».

[4] Имеется в виду А. Н. Татищев.

Проницательный башкирец, должно быть, догадался, о чем подумал хан, и опять ухмыльнулся.

— А это проще простого. Сначала соберут бесспорно благонамеренных. У них узнают про недоброжелателей, Попробуй только увильнуть от ответа. Сразу причислят к смутьянам. А если чистосердечно признаешься, скажут: «Ну вот, голубчик. Дадим тебе вооруженный отряд, и ты излови-ка всех бунтовщиков и застрельщиков!» И вся недолга! Деваться некуда.

Абулхаир даже подосадовал на себя: как он сам не мог додуматься до этого?! То, что казалось ему трудным и сложным, как восхождение на крутую гору, обернулось простым и легким, все равно что взбираться на всем скаку на пологий холмик за аулом.

— Слушай, а тебя-то самого к каким определили — к мирным или к мятежным?

Алдарбай снова хмыкнул. Ноздри его, что ли, пылью забились в пути?..

— К мирным.

— Ну, тогда слава аллаху... живи себе спокойно.

Абулхаир про себя удивлялся тому, что лукавый башкирский бий был осведомлен обо всем на свете, а молча прислушивавшийся к разговору Мырзатай поражался тому, что его владетельный зять расспрашивал гостя о том, о чем он, его шурин, и слыхом не слыхивал. Видно, верно замечено, что хан обладает умом сорока смертных...

У Алдарбая лишь на мгновение побледнел и заострился нос.

— А кто еще, помимо тебя, отнесен к благонамеренным?

— Из тех, кого вы знаете,— Таймас, Косемше, Оразай, Кыдрияс,, Шима, Отжаш...

— Ну и чем они ответили на доверие?

— Ясно чем. Шастают с группой вооруженных солдат по кишлакам и вылавливают своих сородичей-повстанцев.

— А ты?

— Я, как видите, к вам прибыл.

— Тогда что?.. Выходит, ты в бегах?

— Если вам угодно, можно считать и так.

Хан сразу же поскучнел, однако продолжал расспрашивать неразговорчивого гостя.

— А что делает Татеш-мурза с пойманными?

— Передает в руки Сайману-мурзе[1].

---

[1] Искаженное «Соймонов».

— А это еще кто такой?

— Жандарал[1]... Предводитель царского войска.

— Что же он с плененными делает?

— Все, что хочет. Расстреливает, вешает, к ледяному морю и в Иргебек[2] высылает, жен и детей казакам раздает.

— Как же так? Говорили, что людей в рабство не продают...

— Верно: не продают... Отдают задарма. И не рабами называют, а слугами, челядью...

На этот раз хмыкнул не Алдарбай, а Абулхаир.

— Так что же делать будешь?

— Пока к вам приехал...

Абулхаир смерил гостя пытливым, долгим взглядом. Алдарбай повернулся к Мырзатаю.

— Слушай, дружище, мой конь на привязи томится, нельзя ли его пустить в косяк?.. А то еще привлечет чье-то внимание...

— Да, так и сделай,— тотчас поддержал Абулхаир просьбу гостя.— А сам зайди завтра утром.

Теперь только хан догадался, отчего так немногословен осторожный башкирец. Ему не хотелось распространяться в присутствии кого-либо. Особенно нельзя было положиться на порученца Мырзатая. Он невоздержан на язык. И не столько болтлив, как хвастлив. Такого только похвали, что он все знает, как начнет рассказывать и о том, о чем понятия не имеет. Знал, должно быть, опытный бий про эту слабость ханского порученца...

Оставшись с ханом наедине, сын Есекея Алдарбай ничего утаивать не стал. То, что недавно сообщили султан Нияз и Мырзатай, оказалось сущей правдой. Действительно, среди башкир очень неспокойно. Народ ввергнут в братоубийственную бойню. И без действенного вмешательства посредника он обречен на гибель. Вот влиятельные башкирские бии, вдохновители и руководители мятежа, которых пока еще не изловили — Калмак Абыз, сын Исмаила Жунус, сын Косаша Жакуп, сын Усеке Жиянкул, сын Утепа Карабас, сын Сарболата Жолай,— отправили Алдарбая со специальным поручением к хану Абулхаиру. Дескать, сейчас во всем мусульманском роду нет более

---

[1] Искаженное «генерал».

[2] Искаженное «Рогервик»— крепость на берегу Балтийского моря.

влиятельного правителя, а потому пусть заступится за терпящий бедствие родственный народ, пусть вступит в переговоры с царицей и призовет башкир к миру. И еще якобы сказали бии: «Если Абулхаир откажется от посредничества, то — делать нечего — отправим гонца за помощью к Карасакалу».

— Какой еще Карасакал?

— Султанкерей.

— Крымский хан, что ли?

— Нет... Калмыцкий.

— Тайчи? Каким же образом он стал Султанкереем?

— Султанкерей — это не кто иной, как сам Шона Добы, с которым вы сражались на поле брани. Как известно, новый хунтайчи приговорил его к смерти, но Шона Добы удалось сбежать и скрыться среди волжских калмыков. Белая царица взяла его под свое покровительство и посулила отомстить хунтайчи, если Шона Добы сумеет объединить и примирить кавказских и крымских мусульман. И вот Шона отрекся от своей веры и принял магометанство. Он объявил: «Бывший Шона умер и возродился новым человеком». Где-то в песках Нарына находится якобы могила, в которой покоится прах бывшего калмыцкого хунтайчи Шона Добы. Сам же он стал отныне называть себя Султанкереем, и, совершив паломничество в Мекку, стал хаджи, разом избавился от всех былых грехов. Все мусульмане почитают его за святого. Весом он пользуется немалым. Он объездил всех мусульман Кавказа и Крыма и всюду говорил: «Пока я жив, возлагайте, братья-мусульмане, надежды на меня. Никого в обиду не дам. Ко мне благоволят и турецкий султан, и русская царица. Я объединю вас под зеленым знаменем пророка и разобью подлого хунтайчи. Я законный владелец джунгарского трона. И когда снова стану ханом, приведу джунгар на стезю пророка Мухаммеда».

Абулхаир настороженно прислушался. В глубине зрачков замелькали живые огоньки. Он весь подался к гостю.

— За окладистую смоляную бороду Султанкерея прозвали Карасакалом — Чернобородым. Он бойко тараторит на всех мусульманских наречиях. С белой царицей у него уговор. С помощью всех правоверных России она хочет посадить его на джунгарский трон. А Карасакал за эту услугу обещает договориться с турецким султаном, чтобы тот отныне не покушался на русские земли. Таким

образом, вчерашний тайчи, злобный враг мусульман, ныне обернулся их благодетелем и заступником.

— Ловко... Ничего не скажешь.

— И вот башкиры-аксакалы решили: если, находясь под боком, Абулхаир не протянет нам руку помощи, то придется поклониться Карасакалу, находящемуся на краю света.

Старый лис Алдарбай рассказывал бесстрастно, словно от чьего-то имени. Да и хана не торопил с ответом. Казалось, сам он лично ни в чем не заинтересован.

На следующий день, провожая Алдарбая в путь, Абулхаир сказал:

— Передай от меня привет аксакалам... Постараюсь вскоре дать ответ. Ждите...

— Да будет так! До скорой встречи!— только и сказал Алдарбай, огрев своего скакуна камчой.

Что же получается? Что тут наболтал ему старый баламут? Где правда? Где кривда? Наговорил, наплел тут всякую всячину, а чему верить — попробуй пойми, разберись!

Чего только ни приходилось слышать о Шона Добы во время похода на калмыков! А теперь вон как все повернулось... Выходит, Шона жив. И могила его в стороне Баскунчака — для отвода глаз. Просто взяли и зарыли дохлого ягненка в песках и насыпали холмик. А Шона в одночасье обернулся мусульманским святым. Попробуй, подними-ка на него теперь руку! Поразительно, с какой легкостью он встал вдруг во главе всех мусульман Российской империи. И если его признали мусульмане Кавказа, Крыма, Приволжья, да еще считаются с ним турецкий султан, сам верховный хади священной Мекки, если даже живущие под боком башкиры намереваются припасть к его стопам, то куда же деваться оставшимся посередке, в окружении, казахам?! Придется и им взывать к милости Шона Добы. И чтобы только не позволить ему, Абулхаиру, хотя бы мечтать о едином для всех трех казахских жузов троне, его соплеменники готовы посадить себе на голову не то что какого-то беглого калмыцкого хана, но даже иссохший куст перекати-поля, носимый ветром по пустынной степи.

И, отлично сознавая это, башкиры послали к нему гонца.

И обо всем этом безошибочно догадывался старый степной лис Алдарбай.

И неожиданный приезд его следовало расценивать и как предупреждение, и как угрозу. Он означал: Если не желаешь отпугнуть от себя весь мусульманский мир — действуй и подсоби нам!» У всех еще на памяти, как поступили в те тяжкие годы ревнители веры из Хивы и Бухары. И если теперь еще и соседи-башкиры отшатнутся от тебя, то нетрудно себе представить, как поведут себя казахи, которые и самого создателя то хвалят, то хулят. Хорошо... Допустим, он примет предложение башкир и кинется им на подмогу, но что скажут на это русские?! Наверняка возмутятся, дескать, что это за подданный такой, который то нападает на подвластный нам народ, то исподтишка помогает бунтовщикам, выступающим против нас. Если бы только возмутились... Могут ведь и наказать по всей строгости...

И опять тревога охватила Абулхаира. До каких же пор он будет чувствовать себя так неуверенно, так неопределенно, будто стоит на узком адовом мостике, отделяющем грешников от праведников? У кого найти надежную опору? На кого опереться? К кому прислониться? С одной стороны — белая царица. Под боком — мятежные башкиры. Здесь — ненадежные, склонные к измене казахи. Там — коварный Карасакал.

Кругом идет голова от всех треволнений.

Удачный поход на калмыков начинал забываться, как давний сон. Вспоминая о нем, хан испытывал уже не радость, а досаду и тревогу. Калдан Норбы теперь наверняка встретился со своим отцом и успел посоветоваться с доверенным белой царицы. Что уж там сказал Дондук Омбо, в конечном счете не столь важно. Существеннее и значительнее то, что и как ответил русский наместник Астрахани. Вероятно, он не только сам все тщательно выведал, но и тотчас отправил гонца на тройке с бубенчиками в Самару, а потом еще дальше — в Петербург. Интересно, что подумал Татеш-мурза? Что сказала всемилостивейшая государыня? Спасение и счастье, пожалуй, в том, что расстояние все-таки преогромнейшее. Иначе давно бы уж докатилась какая-нибудь весть. Как быть?! Казахи, награбив скот, разбрелись по аулам кто куда. Те, что обзавелись пленными наложницами, сейчас не то что хана Абулхаира, а самого всевышнего не вспоминают. Так чего он добился? Кого облагодетельствовал? Чего достиг для себя? Конечно, тот поход пока еще не совсем забыт. Пленницы будут помнить его до тех пор, пока не

народят детишек и не попривыкнут к новому житью. Бабе в объятиях мужчины совсем неважно, какого он рода-племени, для нее куда важней его исконная мужская суть. И потому она строптивится недолго, находя утешение в крепких ласках. За одну ночь она теряет честь, за год — веру, а еще через несколько лет — родной язык. И нечем и некем ей больше дорожить, кроме мужчины, покорившего ее, и кроме детей, прижитых с ним. А скотина привыкнет и того скорее, как только перемешается с табунами и отарами нового владельца. И когда и пленница, и награбленный скот становятся привычной собственностью, всякий смертный напрочь забудет, кому и чему он за все это обязан в первую голову. И о походе забудут, и о ханском благодеянии — тоже. Уповать на добрую людскую память, на благодарность народа — мечта глупца. Значит, прежде всего следует заботиться об укреплении личной власти. О собственном могуществе и славе. О силе духа. О неотразимости своего величия. Только так! А для этого необходимо перестроить всю свою сущность, все свое сознание. Будешь жить, опустив глаза долу, тебя, кроме ползущего вверх ничтожного муравья, никто не заметит. Начнешь же угодливо ловить взгляд сильного, и на твою слабость тотчас обратят внимание все. Особенно те, что стоят выше тебя. Разве не так? Разве сам ты не такой?.. Вспомни: ведь ты — вольно или невольно — замечаешь все взгляды, обращенные на тебя. И тебе совсем не все равно, как на тебя смотрят. Если с подобострастием или преданностью, с любовью или обожанием — тебе приятно, если высокомерно или вызывающе — ты хмуришь брови. Вот так же и те, которые волей всевышнего находятся над тобою... Им тоже всего милее не дерзко вскинутые головы, а подобострастные, заискивающие взгляды. Должно быть, не случайно все то, что склонно летать,— неустойчиво и шатко, а все, что растет,— гибко и податливо. Лишь постоянное, неподвижное — основательно. А все, что движется, по самой своей сути стремится к легкости, к мельтешению, к угодливости и приспособляемости. Об этом следует отныне постоянно помнить. Когда-то над тобою был один бог. И ты признавал только его могущество и всесилие. Теперь над тобою еще и русская самодержица. А она, как и ты, всего лишь человек. Человек является человеком лишь в отношении к всевышнему творцу. Или в отношении к другим тварям, созданным им же. В отношении друг к другу люди всего-навсего простые смертные.

Пусть человек будет даже земным владыкой — все равно он обыкновенный смертный. А раз так, то и царица подвержена таким же слабостям, как и другие двуногие, относящиеся к человеческому роду. И об этом не следует забывать. Если ты в чем-то ей понадобишься, она воздаст тебе сторицей. Ты добьешься того, чего не дал тебе сам бог, и увидишь то, что недоступно ни одному степняку. Значит, отныне нельзя поступать опрометчиво. Каждый свой шаг следует сверять с волей всепресветлейшей самодержицы. Лишь тогда можешь заслужить ее благосклонность. И в башкирские дела надобно вмешиваться, лишь узнав истинное желание государыни. Довольно и того самоволия, которое он допустил, затеяв поход против калмыков. Еще неизвестно, сойдет ли это ему с рук. Отныне все его помыслы должны быть только об одном: угодить белой царице, найти с ней общий язык. Руководить малым народом — это тебе не ягнят пасти. Для того, чтобы пасти десяток-другой ягнят и козлят, достаточно кое-какого старания. Управлять малым народом намного труднее и сложнее, чем большим. Тут нужны большой ум, могучая воля, изворотливость и хитрость. Руководителю большого народа достаточно уметь подчинять и властвовать. Руководитель малого народа, помимо этого, обязан и сам подчиняться и быть подвластным. А это ох как не просто! Это дьявольски трудно! И с этой трудностью приходится считаться и мириться... Так что же ответить на просьбу башкирских аксакалов? Каким образом угодить и им, и белой царице? Как сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты? Вот оно, самое трудное испытание для твоего ума и прозорливости. Попробуй, выдержи-ка его с честью, хан Абулхаир, сын достопочтенного Абдуллы!..

Словно догадываясь о сомнениях хана, нежданно нагрянул в эти дни башкир Таймас. Если Алдарбай, приезжавший до него, пробрался в ханскую юрту крадучись, точно старый кот, то Таймас, наоборот, ввалился открыто, ступая широко, враскачку, насупившись, словно вол, возвращающийся с водопоя. Алдарбай говорил осторожно, уклончиво, все больше намеками, Таймас с ходу выпалил все без утайки. Выяснилось, что и у него голова болит от забот. Оказалось, что и он, Таймас, сын Шаима, весьма обеспокоен тем, что творится в его родном краю. Невмоготу ему видеть, как башкиры истребляют друг друга. И зол он на тех биев-смутьянов, которые мутят народ и никак не желают понять, что дальнейшее сопротивление беспо-

лезно. Он также полагает, что без действенной и решительной помощи посредника не обойтись и что посредником в этом сложном и запутанном деле может быть только Абулхаир. Приехал Таймас по поручению биев, поддерживающих царскую администрацию,— Косемше, сына Бекожи, Абадая, сына Абазына, Шима, сына Кулмешека, Кыдрияса, сына Малакая, Олжаса, сына Разманкула. Абулхаир тоже всех их помнил. Тех, что прислали к нему Алдарбая, он знал еще со времен восстания Сеита, этих же, приславших Таймаса, он знает с того года, когда они приезжали к побережью Иргиза вместе с Мамбетом-мурзой. Правда, некоторые из той свиты ныне перешли на другую сторону. К примеру, Бекшора, сын Тонтая, и Алдарбай, сын Есенея, сейчас решительно отмежевались от царской администрации.

И теперь и та, и другая стороны башкир — и те, что с царицей, и те, что против российского подданства,— хватают, как говорится, Абулхаира за стремена, умоляя о братской помощи. Помощь оказать несложно. Но кому? Кого предпочесть? Чью сторону поддержать? Нельзя же без риска вызвать обиду какой-либо из сторон помогать и тем, и другим.

Таймас тоже начал издалека, с вестей из Самары. Назначая Татеша-мурзу начальником Комиссии, всемилостивейшая государыня настоятельно потребовала отнестись к киргиз-кайсакам с большей благосклонностью и доброжелательностью, дабы они не оказались под предерзостным влиянием мятежных башкир.

Абулхаиру приятно и лестно было такое слышать. Но в чем она выражается, царская благосклонность и милость? И каков ее предел в столь смутное время? Долго ли царица намерена проявлять свою доброжелательность к кайсацким подданным? И почему в таком случае она подбивает их к подавлению башкирского мятежа, откровенно натравливает их на башкирских бунтовщиков? Может, она тем самым развязывает казахам руки? Обещает не препятствовать их бесчинству и разбою? Неужто ей все равно, каким образом и какой ценой усмирят казахи башкирский мятеж? Однако вряд ли ей выгодно, чтобы казахи истребили башкир поголовно. Ей наверняка важно наказать лишь строптивцев, кровожадных бунтовщиков, а против смиренных и послушных вряд ли она что имеет. А коли так, то почему он, Абулхаир, не вмешается в это дело решительно? Почему не добивается мира, к которому стремятся обе стороны?

И почему не накажет сурово враждолюбцев силой казахского оружия? И, добившись мира, наведя порядок, почему не выберет нового хана, единого для всех башкир? И почему не выдвинет в ханы кого-нибудь из своих сыновей — Нуралы или Ералы? Разве таким образом в один прекрасный день не окажутся под его властью и башкиры? И разве русской самодержице это не все равно? Какое ей дело до того, кто сидит на ханском троне, лишь бы царили покой и благоденствие в подвластных ей владениях. Не так ли? И оба башкирских посланника, конечно же, догадываются о тайных его помыслах. От них ничего не скроешь. Да и Нияз-султан и Мырзатай, побывавшие у башкирских биев, надо полагать, не впустую языками мололи, а основательно внушили им мысль о дальнейших намерениях их хана. Выходит, башкиры мысленно смирились с этим и соглашаются на такие условия.

Абулхаир, будучи по натуре мечтателем, увлекся столь приятным ходом своих мыслей и обрадовался им. В самом деле, все уж как-то очень удачно складывается. Он ведь все это время пребывал в тревоге, боясь расплаты за самовольный поход на калмыков. А тут, выходит, и бояться нечего: стоит ему только укротить башкирских строптивцев, как царица наверняка простит ему былые прегрешения. Подумаешь, обидел малость калмыков, находящихся бог знает где. В простодушии царица может даже сказать: «А-а... бог с ними, с ослушниками. Так им и надо!» Словом, пока слухи о его походе против калмыков не дошли до самых высокородных ушей в далекой столице Российской империи, разумно двинуть казахское войско на мятежных башкир. При этом надо сделать вид, будто башкиры ни о чем его не просили и не присылали тайком своих порученцев, а будто Абулхаир выступил сам, по доброй воле, по-своему истолковав намеки русского посланника, навестившего его в прошлом году. Пусть царица подумает, что он решил, как верноподданный, ей угодить. И раз уж он сам отправился в поход, то ему и решать, как следует поступать. Ведь если отправить к царице гонца и испрашивать разрешения на поход, то вместе с разрешением получишь от нее и уйму наставлений, дескать, так-то поступай, а иначе и не посмей. Но зачем же на самого себя накладывать путы? Абулхаиру не пристало быть игрушкой в чьих-либо руках! Как только он доберется с войском до башкирских улусов, отсюда, не торопясь, ровной рысью направятся в Самару Байбек Углук и Итже-

мес с добрым салемом русским правителям от хана. «А где же он сам?»— спросят там наверняка. И тогда ханские посланники как бы между прочим ответят: «Отправился укрощать мятежных башкир». Вероятно, в башкирской степи шныряют царские лазутчики, но Абулхаир сделает вид, будто он их не знает и не видит. Если царевы слуги не заведут сами разговора о калмыках, то ханские посланники промолчат, словно ничего не случилось. А зайдет разговор о том злосчастном походе, то — так и быть!— следует все валить на злодейство Дондука Омбо, повинного в гибели сорока пленников-казахов.

И, таким образом, слуги пресветлейшей государыни не могут быть в обиде на него: ведь хан внял их тайному желанию. Не вправе они обвинить его и в самоволии: он ведь передал о своем намерении через верных своих людей. И если русские правители обрадуются его поступку — слава аллаху. Если же, наоборот, насторожатся, не в силах уразуметь, что на уме у хана кочевников, то это уж, как говорится, на их совести...

Как ни суди, ни ряди, а настала пора решительно вмешаться в башкирскую смуту. У казахов тоже нет причин выступить против его желания. В конце концов такова ханская воля. И он даже не станет спрашивать, кому этот поход по душе, а кому нет. На этот раз он и Жанибеку ничего не скажет. О предстоящем походе будут извещены только башкирские бии обеих враждующих сторон.

Абулхаир поспешно выступил в поход. Успех зависел от решительности и внезапности действий. С собой прихватил он сына Нуралы. Так, на всякий случай. Кто знает, а вдруг... Один дьявол, сказывают, живет без надежды... Затаенная мечта едва заметной улыбкой мелькнула на кончиках черных усов...

Промозглой осенью войско казахов под предводительством Абулхаира вступило в башкирские владения. Вновь тайком собрались бии, поддерживающие русскую царицу. Переговоры Абулхаир решил начать с ними. Чувствовалось, что всех вконец вымотала междоусобица. Должно быть, совсем не легко поднимать руку на своих же соплеменников. Видно, стоял в ушах удрученных биев плач детей и преследовали всюду, неотступно проклятия женщин. Бии подавленно молчали, прятали глаза, ловили каждое слово хана. Ясно, что помирить их с враждебной стороной невозможно. Немыслимо уговорить пойти на уступки и другую сторону. Слишком обострилась борьба. Все обозле-

ны, ожесточены. Глубоки корни взаимных обид. Много горя успели доставить друг другу. Как быть?.. Как бы там ни было, именно башкиры взывают к посредничеству. Как бы там ни было, войско казахов уже вступило в охваченную изнурительной смутой страну. И как бы там ни было, отступать уже невозможно, и дабы не дать повода злорадству разных недоброжелателей, нужно найти какой-то выход. Кто знает, если обе стороны начнут упорствовать и настаивать на своем, то придется, возможно, прибегнуть и к оружию, наказать строптивцев. Он, Абулхаир, ведя переговоры, может изобразить на лице добрую, приятную мину, но сопровождающее его войско обязано быть суровым и непреклонным. Пусть башкиры знают, с кем имеют дело. С этой целью Абулхаир предусмотрительно набрал сарбазов из тех родов, у которых имелись давние счеты с башкирами. Попробуй, заставь таких быть добрыми и улыбчивыми! Да и башкиры прекрасно помнят и знают свою вину перед ними, а потому поневоле заробеют, не посмеют даже глаза поднять. Абулхаиру того и надо.

Хан пристальным, тяжелым взглядом обвел собравшихся биев. Все учтиво прикладывали правую руку к сердцу. Заметив Таймаса, подозвал к себе, спросил строгим голосом:

— Ответь, Таймас, сын Шаима: правда ли, что эти почтенные аксакалы послали тебя ко мне?

— Истинная правда! Я действовал от их имени.

— Скажите, почтенные: по вашей ли просьбе обратился ко мне Таймас, сын Шаима?

— Конечно! По нашей доброй воле обратились к вам, достославный хан, за помощью.

— Ну вот, по вашей просьбе, почтенные, я и прибыл. Не посмел отказать вам. К тому же сама светлоликая государыня наша Анна, дочь Иоанна, соизволила приказать мне посодействовать в подавлении бунта ваших смутьянов. Разумеется, у меня бы хватило ума и сил, чтобы немедля исполнить высочайшее повеление и пойти на бунтовщиков с карающим мечом. Но я, как видите, не спешил. Помнил, что вы родственный нам народ. Единый по вере и близкий по языку. Думал: опомнитесь, образумитесь, спохватитесь. Наконец тот час настал. Пора остановить братоубийство. И если вы твердо решили прибегнуть к моему посредничеству, то я готов во имя ваших потомков и будущего благоденствия заступиться за вас и испросить у вседержавной

благодетельницы нашей прощения. Согласны ли вы на это?

— Согласны! Согласны!

— В таком случае ставлю условие: пока не покончим со смутой, никто из вас без моего ведома не предпримет никаких действий. Ни единая душа из подвластных вам аулов не должна содействовать ни бунтовщикам, ни сторонникам царицы. Решение будет исходить только от меня. Я же должен встретиться с представителями обеих сторон, должен их выслушать и вызнать взаимные упреки и обвинения. Лишь после этого я могу обо всем правдиво и чистосердечно доложить белой царице. А до того придется беспрекословно подчиняться моей воле. Никто не посмеет покушаться на жизнь моих сарбазов. В противном случае пощады не будет. Я же за все свои действия держу ответ перед всевышним на небе и перед царицей на земле. Искренность моих поступков пусть не вызывает у вас сомнения. Только на таких условиях я в состоянии посредничать. Согласны ли на это?

— Согласны! Согласны!

— И это ваше окончательное решение?

— Окончательное!..

Половина ханского войска осталась в улусах, руководимых сторонниками царицы, с другой половиной Абулхаир отправился в аулы повстанцев.

И мятежных биев Абулхаир уговаривал смириться.

— Если вы намерены и впредь проливать кровь и бунтовать до последнего человека, пока не исчезнет на земле башкирское племя, то я вас в этом поддержать не смогу. В таком случае я вынужден исполнить высочайшее повеление императрицы и пойти на вас войной. Но если вы скажете: «Что ж... что было — то было. Былого не вернешь. Пусть нас рассудит аллах. Дальнейшее сопротивление несет гибель народу. Ведь не одни мы приняли русское подданство. Среди таковых имеются и мусульмане. Может, и уживемся. Может, и нам уготована судьба не хуже, чем другим. Пусть только простят нам. Пусть только не карают невинных за наши былые прегрешения»,— то я от вашего имени попытаюсь заручиться царской милостью, постараюсь похлопотать за вас. Но в таком случае вы не вправе подстрелить даже летящую мимо ворону. Не вправе даже погрозить кулаком тем, кто на стороне царицы. К тем, кто прибегает к оружию, жалости не будет. Такие смутьяны мигом найдут смерть от рук моих сарбазов.

И пока не будет принято решение, никто из вас не стронется со своего исконного места. Согласны ли вы на такое условие?

Мятежники не спешили с ответом. Насупленные, суровые, сидели молча. Застыли мрачными глыбами. Того и гляди, разом обрушатся на посредника и выгонят его взашей.

Пауза затянулась. В напряженной тишине слышалось надсадное мужское дыхание. Наконец, раскачавшись, поднялся Жиянкул. Огромный, багроволицый, он медленно, вперевалочку, подошел к хану, смерил его жестким взглядом, вытащил из-за голенища увесистую короткую плеть-доир. Почесал черенком страшный рубец на щеке, выше которой торчал обрубок изуродованного уха, гуднул раскатистым басом:

— Алдияр![1] — Голос не предвещал ничего доброго. Сиплый, грубый, он, казалось, был создан только для ругани. Но Жиянкул заговорил хоть и резко, но складно, вразумительно:— О нашем житье-бытье тебе и без лишних слов все известно. Мы, однако, не лиходеи, не разбойники. Не из-за бабьих пересудов и не ради скота-добычи рыщем мы по степи на боевых конях. О своем же народе печемся. Даже слепой щенок, и тот стережет свою плошку. И нам хочется быть хозяевами родной земли, которая нас поит и кормит. Хотят отнять у нас подземные богатства — пусть отнимают. Соблазняет шерсть нашей скотины — пусть забирают. Пугают сила и доблесть нашего оружия — и этим пожертвуем. Оставьте нам только наши пастбища, ибо без скота мы пропадем. Нет у нас, башкир и казахов, другого блага. Но ведь посягают и на наши пастбища. Будто не хватает бросовой земли, будто мало в наших краях такыров... нет, где луга, где богатый травостой, где вольные выпасы, туда и лезут с лопатами, кирками, мотыгами. Хоть бы считались с нами как с людьми, хоть бы пришли да попросили по-хорошему. Какое там! А разве мы первый год царские подданные? Все успели изведать, слава аллаху. Все делали, как велели, честь по чести. Сказано было: «Воюй со шведом!»— мы воевали. Приказано было: «Воюй с турками!»— мы воевали. Велено было: «Воюй с немцами!»— мы и с ними сцапались. А что имели за наше послушание и старание? Если бы нам говорили:

---

[1] *Алдияр* — обращение к хану (высокопоставленному лицу).

«Братья-подданные, под вами — богатые залежи. Мы будем здесь добывать руду, построим города, проложим дороги, а вам предоставим на новом месте богатые выпасы для вашего скота»,— мы разве возражали бы? Хоть, может, и неохотно, а не согласились бы? Не так разве? Но у нас не спрашивают! Может, думаем мы, нас не понимают? Или не в состоянии понять? Чтобы разъяснить наши скромные желанья, мы направляем к ним наших влиятельных биев. И что же? Их хватают и бросают за решетку, в темницу на съедение крысам. Вот и решили: может, нашего гнева испугаются? Оседлали боевых коней, вышли на поле брани. Перебили нас, в крови утопили. Но ведь не то что целый народ, но и свою же строптивую, вздорную бабу, бывает, раз побьешь, второй раз поколотишь, в третий раз плетью огреешь, а потом ведь спохватишься и подумаешь про себя: с чего это она, долгополая дуреха, так остервенилась, чего ей не хватает, дай-ка выслушаю все ее упреки, а вдруг она дело говорит... Нет, и до этого не доходят. Ну, думаешь, от этой царицы добра не жди, может, другая поумнее да помилостивее будет. И опять терпишь. Надеешься. И снова все тщетно. Напрасно. Одной и той же дубинкой тюкают и тюкают по темени. Теперь вот и тебе всучили кол. Давай, дескать, теши по башке строптивцев башкир. Проучи их! Что ж... не впервой нам. И не такое видали. Видно, не увернуться нам от дубинки. Но, честно признаться, устали. Невмоготу уже. Сил никаких нет. Не из-за своей шкуры дрожим. Жен жалко, и за детей невинных боимся. Убедились в том, что нет никому до нас дела. Даже если все поголовно костьми ляжем. Вот и решили хоть самих себя не истреблять. Пусть перебьют нас другие — китаец ли, калмык ли, казах ли, все равно. Им наши слезы когда-нибудь и отольются. А тебя пригласили в посредники. И за то, что готов помочь нам,— спасибо. Все в твоей воле. Но пойми: мы изнурены, но не покорены. Мы подчиняемся, но не унижаемся. Вот и попытайся довести это до ушей белой царицы. Мы не раз обращались к ней с нижайшим поклоном. Но отвечала она только пушками, виселицами, тюрьмой и ссылкой. Теперь, быть может, удастся найти общий язык через посредника. Другого выхода мы не нашли.

Проникновенная речь мятежного батыра почудилась хану грозовой молнией, просверкавшей над его головой. Он не находил слов для ответа. Молчали и собравшиеся. Только исподлобья сверлили его взглядами.

Прокаленный степным солнцем и ветром Карабас, встрепенувшись, подал голос:

— Высокородный хан! Добавить к сказанному нечего. Белая царица слушать нас не желает. Может, к вам прислушается?

— Верно, добродетельный хан, от вас нам скрывать нечего. Вы должны войти в наше положение.— Батыр Жунус приятно улыбнулся. Пышная, отороченная лисой круглая шапка очень шла к его миловидному лицу. Щеки с осеннего морозца слегка алели. Всем своим обличьем он больше походил на пылкого юношу, впервые пришедшего к девушке на свидание, нежели на яростного батыра, чье копье не знало пощады.— Мы, сидящие здесь, давно уже не надеемся на царскую милость. Знаем, прощения нам не будет. Единственное, на что мы еще чуть-чуть уповаем,— на сострадание к нашим женам и детям. Попробуйте уговорить царицу: пусть за наши грехи не мстит невинным малюткам нашим. Другого желания у нас нет!

Абулхаир видел: мятежники утомились от неравной борьбы, но не сломились. Во многом разочаровались, но духом не упали. И с ним, ханом, держались достойно, разговаривали открыто и гордо, как с равным. Глядели на него пристально, испытующе. «Ну, мы все сказали. А что же ты нам ответишь?»— было написано на их суровых лицах.

Они не походили на тех, из группы Таймаса. Им нельзя навязывать свою волю и ставить условия. Невозможно их утешить неопределенными обещаниями. И самому аллаху не ведомо, как отнесется царская администрация к его посреднической роли.

Абулхаир задумался. В самом деле, не слишком ли много он берет на себя? Чем и как он поможет этим бедолагам? И кем они ему приходятся, чтобы он ломал за них голову? Как он завтра объяснит самодержавной царице? Поймет ли она, если он скажет, что заступился за близких по вере и языку, да к тому же исконных соседей? Или скажет с презрительной ухмылкой: «Что же вы раньше не шибко-то друг о друге заботились? И почему вы, единые по вере и языку, находясь в соседстве, всю жизнь только и занимались тем, что друг у друга угоняли скот и умыкали девушек? Почему в доброе старое время вас мир не брал?» Наверняка так скажет. И если даже промолчит царица, то о том спросят ее приспешники. Что же он на это ответит? Вероятно, ответит так: «Ну что

ж... В доброе, мирное время не то что родственные племена, но и единоутробные дети, случается, по ничтожному поводу или озорства ради хватают друг друга за грудки. Это не враждолюбие, а удальство, забава. И подобные стычки обычно скоро забываются. А сейчас, когда народ устал от братоубийства и кровопролития, когда он умоляет о пощаде и помощи, разве можно оставаться в стороне? Разве бог простит такую черствость, такое равнодушие к ближнему? И, боясь жестокой расправы и кары со стороны озлобленного царского войска, мятежники во имя спасения детей и внуков обратились в отчаянии к посредничеству казахского хана. Что же в том плохого или зазорного? Разве не к миру и спокойствию в степи стремится императрица? И если он, Абулхаир, своими действиями добьется желанного мира, разве это противоречит интересам Российской империи?

Именно так полагает хан Абулхаир. Но... что же будет дальше? Дальнейшее, разумеется, в воле царской администрации. Но и от него кое-что зависит. Отныне он не может быть и не будет безучастным к тому, что назревает. Мятежники просят его не только о помощи, но и ставят перед ним условие. Хорошо, если он исполнит их желание, тогда ему, Абулхаиру,— честь и слава. Он вырастет и в глазах императрицы, и в глазах башкир. А если постигнет неудача? Тогда... Однако почему бы царским приспешникам не прислушаться к его разумным словам? Ведь если они будут задирать носы, то не исключено, что вслед за башкирами, разъяренным хорьком вцепившимися в их глотку, отшатнутся от них и необузданные казахи, которые до сих пор от одной только мысли оказаться подданными России бросаются в дыбки. А это ведь императрице совсем невыгодно. То не только хану, но и безмозглому дурню ясно. Ведь — если верить словам Таймаса — царица отнюдь не случайно распорядилась о проявлении к казахам большей милости и благосклонности. Какой ей резон в самом-то деле терять одного за другим всех своих недавних подданных? Понятно, что она заинтересована оберечь казахов от дурного влияния бунтовщиков-башкир. Не дай бог, если и они перекинутся к мятежникам. О тайной надежде и расчете царицы определенно догадываются и мятежные башкиры. Потому они и уповают на Абулхаира, полагая, что ему удастся заступиться перед царицей за них. Понять их тоже можно. Совершенно очевидно, что царская администрация, напуганная башкирским бунтом, с опаской

поглядывает на казахов. А раз так, то почему бы не воспользоваться этим обстоятельством и не припугнуть их еще сильнее? Коли не внемлют рассудку и словам, может, есть смысл применить силу и прибегнуть к угрозам? Как говорится, проси верблюда, дадут кобылу. Да и просьба, если по правде, не столь и велика. Для того чтобы держать казахов в узде, можно, пожалуй, чем-то и поступиться и проявить милость и сострадание к женам и детишкам повстанцев. Не так уж и дорога плата. Сказать о том открыто — немалое испытание для Абулхаира, но честно ответить на такое предложение — еще более ответственное испытание для приспешников царицы. Надо умело воспользоваться сложившимися обстоятельствами, ловко сыграть на беде башкир и на интересах русских и попытаться осуществить то тайное намерение, которое он давно уже лелеет в душе.

Для этого у Абулхаира есть немалые основания. Слава создателю, он пользуется значительным весом в двух жузах. Одним он руководит сам, другим управляет единокровный сородич Жолбарс[1]. Кое-каким влиянием пользуется и в третьем жузе. На троне хивинского ханства восседает будущий тесть его среднего сына Ералы, так сказать, в скором будущем — сват Абулхаира. Зовут его тоже Жолбарс. Значит, оба этих Жолбарса не посмеют на него оскалить клыки. Хан приаральских каракалпаков Сатемир приходится ему зятем: он взял в жены дочь родного младшего брата — Булгаир-султана. Следовательно, он также не осмелится перечить его воле. Выходит, власть его простирается на всех мусульман пограничной округи за исключением башкир. Но и на них приспела пора накинуть петлю. Вряд ли многощедрый создатель еще наградит столь счастливым случаем. Значит, важно его не упустить. В конце концов в самоволии никто его обвинить не может. На прозрачные намеки пронырливого посланника администрации он в прошлом году также ответил достаточно ясным намеком. Словом, довольно играть в прятки и оглядываться по сторонам. Пора действовать! Пора рискнуть, уповая на удачу! Не следует при этом упускать из виду, что среди мусульман вблизи Кавказских гор объявился новоиспеченный пророк — некий Карасакал. Признаться, разноречивые слухи о нем не пришлись по душе Абулхаиру.

---

[1] *Жолбарс* по-казахски означает «тигр».

Правда, он им и не придал особого значения, но совсем сбрасывать его со счетов — неразумно. Тем более, слава его разрастается с каждым днем. И никто не в состоянии сказать, не повредит ли она ему, Абулхаиру, сейчас, когда — казалось бы — все так на редкость удачно складывается для него. Карасакал — пройдоха, оборотень, и верить в то, что он хочет встать во главе всех российских мусульман,— трудно. Мало ли что взбредет в его буйную башку?! Однако слова его означают, что он отнюдь не намерен скрываться в предгорьях Кавказа, что мечтает выбраться на степной простор и прибрать к рукам казахов и башкир. Ни больше, ни меньше! А это все равно, как если бы он с ножом в руке набросился на сети, которые здесь Абулхаир так старательно плетет и расставляет. Отсюда вывод: надо действовать, покуда башкиры не переметнулись к нему. Если ему только удастся заступиться за них и уберечь их жен и детей от державного гнева, башкиры будут долго благодарны ему и наверняка исполнят любое его желание. И когда он поставит над ними одного из своих сыновей — Нуралы или Ералы, то бразды правления всеми подвластными России мусульманами окажутся в его руках. И видя, каким он весом и популярностью пользуется за пределами родных степей, среди чужих народов, с ним волей-неволей вынуждены будут считаться и необузданные казахи всех трех жузов.

Конечно, о том только приятно мечтать и легко говорить! А попробуй-ка пробраться в юрту к возлюбленной девушке, если ее сторожат и злая собака, и вздорный отец, и чуткая, глаз не смыкающая мать! Тут мало быть осторожным и ловким... Надо быть еще и удачливым...

Главное теперь — не идти наперекор белой царице. Но это вовсе не означает сидеть сложа руки, пока она не подаст тебе знак благосклонности. Ее нужно время от времени теребить, заставить считаться с тобой. Не станешь донимать ее своими просьбами, она тебя по собственной воле ни за что не облагодетельствует. Но и донимать ее можно по-разному. Если ты силен, можешь навязать ей свою волю. Если силенок маловато, следует угодить ей, понравиться, услужить чем-то, чтобы она была тебе обязана. Можно еще подловить ее на какой-либо слабости и суметь принудить ее считаться с тобой. В первом случае надобны сила и могущество, во втором — характер и навык, в третьем — хитрость и немного коварства. Первому случаю для Абулхаира никогда не бывать. Русские — что деревья

в лесу, а казахи — что чахлые кустики на солончаке. Хоть лопни, хоть тресни — верх не возьмешь. Для второго случая еще не время. Чтобы понравиться, угодить в чем-то, доказать свою преданность,— нужен срок. А вот третий путь, пожалуй, самое то. К нему-то и следует прибегнуть незамедлительно. Хитрить, однако, надо умеючи. Вероятно, есть смысл не сразу сдаваться на милость царицы, а походить некоторое время на длинном поводке, набивать себе цену...

О своем затаенном, давнем желании он довольно откровенно дал знать башкирским владетелям еще через султана Нияза и Мырзатая. Но они старательно обходили этот вопрос. Должно быть, их страшило одно только слово «хан», точно укус тарантула. Башкиры также относятся к тому народу-племени, которому упорно не светит счастье по той причине, что они принимают за свободу необузданность и дикую волю. Поразительно: горести и беды ничему их так и не научили. Раньше Абулхаир считал, что не в состоянии понять этого одни только казахи, теперь убедился, что и башкиры по этой части недалеко ушли от них. А ведь им вроде бы давно пора уразуметь простую истину, что неумение подчиняться достойным или равным себе неминуемо приведет к рабской зависимости от других. Нет, не уразумели. Отсутствие единства, нежелание подчиниться единому правителю, вершителю всенародной судьбы, привели к горьким и, может, даже непоправимым последствиям. Так было и при восстании Сеита. Точно так же было все и до него. Но так и не извлекли башкиры урока из скорбного своего опыта. Говорят: обжегшись на молоке, дуют на воду. Увы, эта старая мудрость упорно предавалась забвению. Кто не научен повиноваться, тому удачи не видать. Кто не умеет быть грозным, тому и власти не познать. Разве все дело в повиновении или устрашении?! Нет, не в этом. А в том, к о м у подчиняться и н а д к е м властвовать. Не признав этой истины и стремясь стать бием каждый в своем улусе, башкирские правители терпят бедствие за бедствием, но по-прежнему упорствуют в своем заблуждении. Брали бы пример хотя бы с калмыков. И среди них строптивцев и смутьянов — хоть отбавляй. Однако белая царица калмыков за это не карает. Терпимо и спокойно относится к своим подданным, доверяя калмыцкому хану самому чинить расправу над своими башибузуками. Можно только удивляться тому, что этого не видят или не хотят видеть и казахские родоправители. Башкиры,

разделившись надвое, никак не могут оправиться, а каково казахам, раздираемым дрязгами трех жузов?! Начнешь говорить с каждым владетелем в отдельности — сам все прекрасно понимает. Каждый горячо ратует за единство и начинает с жаром долдонить про общий рукав и единый воротник. Но стоит только завести разговор о каком-нибудь влиятельном лице, способном сплотить три жуза воедино, как всякий начнет коситься в сторону, находя разные отговорки. Мигом забываются недавние высокопарные заверения, и каждый тянет общий повод к своей коновязи. А попробуй назвать того, кто, по твоему мнению, достоин сесть на общий для всех трех жузов трон! О, тотчас выявится у этого бедняги столько грехов и изъянов, о которых он наверняка до сих пор и не догадывался. Кто-то очернит его родственников по материнской линии, кто-то начнет на чем свет стоит честить родичей его жены. Кому-то не по душе его слова, кто-то вспомнит, что идет о нем недобрая молва. Еще кто-то просто не жалует его, а кому-то не по нутру иноходь его коня. Словом, нет, нет... не годится... не достоин. А где найдешь такого, чтоб без изъянов? Ведь не всякий божий день чумазые казашки рожают святых пророков и безгрешных ангелов. И, может, доныне известным пророкам и ангелам повезло как раз в том, что они имели счастье родиться не в казахской степи. А появись они на свет под куполом кошомной кибитки, каких не счесть в бескрайней степи, то еще неизвестно, добились бы они такой чести и святости или нет. В том-то и могущество всевышнего, что его никто не видит. Попадись же он на глаза казаху, и изъянов обнаружилось бы в нем столько, что сам всемогущий засомневался бы в своем могуществе...

Нет, самомнение, спесь, дрязги и беспутство к добру не приводят. Не спасут ни дикое упрямство, ни бесшабашная храбрость. Тому свидетельство — судьба башкир. Нет у них единого предводителя — и некому от их имени с достоинством говорить с царицей. Вот и оказались они в конце концов вынужденными обратиться за содействием к хану-посреднику.

Прибыв с войском к башкирам, Абулхаир очень надеялся, что измученные бесконечными дрязгами и братоубийственными походами башкирские бии попросят его не только посредничать между ними и царицей, но и взять в свои руки всю власть над ними, чтобы покончить, наконец-то, со всеми бедами и горестями. Но надежда

его не оправдывалась. Ни на сборище в ауле Таймаса, ни на встрече в ауле Алдарбая башкиры о том ни единым словом не обмолвились. Молчали все, будто языки проглотили. Ну, бог с ними! Пусть молчат себе. Абулхаир себе на уме. Если только белая царица внемлет его словам, то он о том сам поговорит с башкирами. И тогда им уже не отмолчаться.

— Ну что мне сказать?..— медленно заговорил после долгой паузы, очнувшись от дум, Абулхаир.— Не смею отказать вам в вашей просьбе о посредничестве. Приложу все силы и умение, чтобы объяснить верным людям белой царицы сложившиеся обстоятельства. Что из этого получится — ведомо одному аллаху. Но пока не прояснится все, вам следует удержаться от набегов и на пограничные русские поселения, и на аулы, поддерживающие царицу. Ни единой капли крови не должно быть пролито. Любое действие — и с той, и с этой стороны — повлечет за собой неминуемое и суровое наказание. Если вы с этим согласитесь, я немедля отправлю своих поручeнцев к царским правителям.

— Путь будет так! Согласны!

В это самое время прискакал на взмыленном коне взбудораженный гонец от той части казахского войска, которая оставалась в башкирских аулах, поддерживающих белую царицу. Оказалось, один из биев, едва окончились сборы и уехал хан, нарушил уговор и тайком отправил порученца к представителям администрации. Сарбазы хана, однако, изловили его на полпути.

Абулхаир тут же отдал распоряжение:

— Заковать в кандалы и ослушника-бия, и его порученца, а также взять под стражу его нукеров. И чтобы отныне ни один бий не осмелился и шагу ступить из аула Таймаса, пока я сам туда не прибуду. Здесь я буду ждать ответа от царевых слуг. Передай: нарушителям уговора пощады не будет!

Ждать пришлось Абулхаиру недолго. Вскоре вернулись его порученцы, посланные к царским представителям. Сопровождали их двое. Один из них — гладколицый, белозубый, бойкий — с радостной улыбкой сразу бросился к хану. Абулхаир узнал его: Юмаш! Все тот же расторопный, вездесущий Юмаш. Второй — пожилой татарин — держался степенно. На крупном, изрытом оспинками сером лице застыло непроницаемое выражение. Высокий, открытый лоб невозмутимо поблескивал, глаза смотрели в упор, испытующе.

Предводители мятежных башкир пожелали было присутствовать при беседе царских посланников и казахского хана, однако пожилой серолицый татарин остался непреклонен.

— Его высокопревосходительство председатель Оренбургской комиссии господин Василий Никитович Татищев поручил мне встретиться с высокочтимым ханом Абулхаиром Мухамбет-казы Бахадуром с глазу на глаз.

Бии поневоле поднялись с мест и вышли. Когда за ними опустился тяжелый войлочный полог, татарин представился:

— Арслан Бахметев.

Хан приложил руку к груди, склонил голову.

— Высокочтимый хан!— торжественно продолжал Бахметев.— Господин Татищев многажды благодарит вас за ваше непосредственное содействие в подавлении башкирских бунтовщиков. Он обещал также довести до сведения ее величества императрицы суть предпринятых вами здесь по доброй воле вашей переговоров. Мне же поручено самолично вручить вам как знак благодарности и неотменной милости за ваши щедрые и бескорыстные деяния вот эти скромные дары.

При упоминании имени пресветлейшей государыни Абулхаир опять встал и приложил правую ладонь к сердцу.

Вместительный синий ларец, который внесли двое казаков, тотчас унесли в другую юрту расторопные ханские слуги.

Абулхаир сказал:

— Сердечное благодарение за дружеские слова и столь щедрую любезность начальнику Комиссии Татешу-мурзе! От всей души желаем здравия и многие лета солнцеликой самодержице всероссийской, нашей главной после аллаха благодетельнице и защитнице. Еще раз подтверждаю свою беззаветную ей преданность и готовность быть полезным процветанию и благоденствию ее великой державы. Вместе с тем осмелюсь выразить нижайшую просьбу к царице о снисхождении к тем, кто под влиянием отъявленных разбойников вынужден был принять участие в предосудительных действиях, и особенно о милосердии к невинным их женам и детям. Конечно, как поступать с зачинщиками мятежа — на то воля всемилостивейшей царицы нашей. Я же готов взять на себя ответственность

удержать отныне в повиновении оставшийся люд вместе с мелкими смутьянами и забияками.

Пожилой татарин задумался.

— Досточтимый хан! Обязуюсь ваше желание и намерение в точности передать его высокопревосходительству господину Татищеву.

— Благодарю. Готов также исполнить все другие распоряжения Татеша-мурзы. Казахское войско под моим предводительством проявит доблесть и мужество во исполнение высочайшей его воли.

Губы Арслана Бахметева дрогнули в легкой усмешке.

— Доблесть и мужество вашего войска, досточтимый хан, не вызывают сомнения. О том красноречиво свидетельствуют его действия в отношении к башкирским аулам, подвластным Таймасу Шаимову и его сторонникам-родоправителям.

Хан заметил и усмешку, и язвительный намек в словах пожилого посланника.

— Верно. Кто-то из тамошних родоправителей нарушил уговор и прибег к опрометчивым действиям, которые при нынешнем состоянии дел могли бы вновь всколыхнуть мятежный дух. А это, в свой черед, пагубно отразилось бы на подчиненном мне народе, еще только-только вступившем в подданство всепресветлейшей самодержицы. Известно, что черная толпа — все равно что капризный, избалованный ребенок. Ее также следует — для ее же блага — то обласкивать, то наказывать. Иначе она или сядет тебе на голову, или отобьется от рук, как строптивый неук. Поэтому правителю народа, подобно строгому, но доброму отцу, долженствует знать, когда следует сурово сдвинуть брови, а когда рассиять лицом. Понятно, что всемилостивейшая императрица по этой части в моих советах не нуждается. От ее мудрого взора, я уверен, не скроется ни один поступок в подвластной ей империи. Убежден я также, что действия казахского войска в отношении к отдельным смутьянам, сбивающим с толку мирный народ, будут поняты и оценены по достоинству и справедливости.

Недобрая усмешка, инеем застывшая было на кончиках редких усов пожилого татарина, мгновенно погасла. Должно быть, ответ хана был для него неожидан. Хмурь пробежала по его рябому лицу, рыжеватые брови сдвинулись, но тотчас вновь разгладились. Заметив, что все это время вежливая, ровная улыбка не сходила с ханского лица,

собеседник поспешно спохватился и тоже изобразил улыбку.

— Ну конечно, досточтимый хан! О чем речь?!

— Мурза! Смею ли я надеяться, что о всех моих стараниях и добросердечных деяниях в этом краю будет правдиво, без утайки и искажения, сообщено светлоликой государыне нашей, а также высокородным помощникам ее — нашим правителям?

— Несомненно, хан! Можете всецело на меня полагаться.

— В таком случае благодарю вас тысячекратно! А то я уже подумал, не сбили ли вас с толку, не смутили ли вам душу разными лживыми слухами и измышлениями обо мне бесчестные и подлые тарханы, встретившиеся на вашем пути сюда?..

Рябой татарин то краснел, то бледнел под пытливым ханским взором.

— Я бы просил вас, досточтимый хан, ни на мгновение не сомневаться в том, что и светлоликая государыня императрица, и высокородные ее слуги безупречно отличают ложь и правду и по достоинству воздают за праведный труд и верную службу.

— Да я в это искренне верю, мурза! Мне просто не терпится узнать, какие будут еще распоряжения.

— Терпение, хан! Все ваши предложения будут доставлены русским правителям и тщательно рассмотрены. О высочайшем решении государыни императрицы вам незамедлительно доложат.

— Весьма и весьма рад!

— Оренбургская комиссия обязуется до принятия специального царского уложения приостановить все карательные меры против мятежников, если они сами поведут себя мирно и благопристойно.

— Вот это правильно!

— До обнародования специального решения императрицы в башкирскую степь не будет направлена ни одна карательная команда. Весьма желательно также, чтобы и казахское войско не задерживалось излишне в этих краях, а возвращалось в свои улусы.

Заигравший было радостный блеск в глазах Абулхаира при этих словах мгновенно потух. Однако, скрывая охватившее его смятение, хан посуровел лицом, спокойно ответил:

— Ҳорошо. Я беспрекословно исполню и это желание

высоких правителей. Но осмелюсь еще раз напомнить о моей надежде, что мои предложения будут также восприняты с вниманием и великодушием.

Бахметев облегченно вздохнул и впервые щедро улыбнулся, растянув губы до ушей.

На следующий день вновь собрались предводители мятежников. Перед тем как начать разговор, хан пристально вгляделся в их лица. Они были мрачнее прежнего. Брови сурово сдвинуты, губы сжаты. Все застыли в напряженной, выжидательной позе.

— Братья,— начал Абулхаир.— Решение, к которому мы пришли после откровенных переговоров, через непродолжительное время будет представлено на суд ее величества государыни императрицы. Сейчас же оно находится на рассмотрении высоких русских правителей. Двум их посланникам, прибывшим к нам, я обо всем откровенно доложил. А именно: какие меры наказания принять к главарям и зачинщикам бунта — то решать исключительно всемилостивой царице. Я же весьма просил о великодушии и пощаде к сбитому с толку невинному люду. И если великодушие и добросердечие будут изъявлены, я поклялся своей честью отныне не допустить никакой смуты или свары между вами.

Абулхаир выдержал паузу, пытливо вгляделся в глаза предводителей-мятежников. Двое посланников и башкирские бии тоже молча переглянулись. Хан продолжал:

— Высокочтимая администрация ее величества дала слово немедля прекратить все карательные меры против мятежников до вынесения окончательного решения ее величества императрицы и при условии, что сами мятежники поведут себя мирно.

Хан опять сделал паузу. Мятежники изумленно дернули плечами.

— На это время в степь не будет послан ни один карательный отряд. И до высочайшего волеизъявления государыни царицы казахские войска также возвращаются домой.

Мятежные бии при этих словах невольно переглянулись. Абулхаир зорко подмечал каждое их движение.

— Нет никаких причин и повода для сомнений в том, что державнейшая царица и ее высокородные представители не сдержат свое обещание. Точно так же я ничуть не сомневаюсь в вашем благоразумии и благонравии. Какой — в самом деле — смысл обрекать своих жен и детей на

верную гибель? Разумно прислушаться к здравому рассудку.

Собравшиеся молчали.

— Ну что, братья! Не таков ли вывод, к которому мы пришли, внимательно выслушав обе стороны? Может, на этом решении и остановимся?

Сияя молодым румянцем, поднялся батыр Жунус.

— Хорошо, досточтимый хан. Пусть будет так! Если высокородные русские правители исполнят свое обещание, мы свое слово сдержим.

— Значит, на том и порешили?

— Решили! Да будет так!

Башкирские бии, столпившись, молча взирали на то, как казахи отправлялись в путь. И казахи, пока не скрылись за перевалом, без конца оглядывались назад. Оба русских посланника проводили их до границы, оттуда им предстояла дорога сначала в городок на берегу реки Орь, а потом — в Самару.

Едва они отъехали, хан подозвал к себе порученцев, которых загодя послал в Самару к господину начальнику Оренбургской комиссии. Оказалось, Татеш-мурза, узнав о предпринятом Абулхаиром походе против мятежных башкир, ничуть не рассердился и даже не стал ни о чем расспрашивать. Только по обыкновению плотно сжатые тонкие губы едва заметно дрогнули. Но что это могло означать, порученцы понять не смогли — то ли одобрение то ли осуждение.

— О походе на калмыков не спрашивал?

— Даже не заикнулся.

Хан удивленно пожал плечом.

Месяца три после возвращения из похода жизнь в ханской ставке протекала в полном спокойствии. От русских правителей не было никаких вестей. Хан подумал: «Должно быть, не решаются в буранную зиму посылать гонцов в такую даль. Значит, раньше весны ответа не жди».

Нынче он не стал перебираться через великую реку в привычные Кызылкумы, а остался зимовать в Каракумах. На душе было более-менее спокойно, и в середине февраля, после затяжной пурги, хан отправился на лисью охоту, чтобы немного развлечься. Группу всадников, ехавших крупной рысью по пустынной заснеженной степи откуда-то с севера, он заметил еще издалека. По шапкам-треухам догадался: башкиры!

В смутной тревоге сжалось сердце хана.

Верховые, сбавив ходкую рысь, повернули к охотникам. По всем внешним приметам они походили на обычных, вполне мирно настроенных путников. Подъехали. Учтиво поздоровались. Хан посчитал неприличным расспрашивать своих гостей здесь, в степи, о цели их приезда. В сопровождении Мырзатая отправил их в свою майхану, а сам до полудня высматривал лисьи следы на снегу. Но снега намело нынче много, кони глубоко увязали в рыхлых сугробах, и охота складывалась не очень удачно. Да и хан был рассеян. Перед глазами упорно стояла группа всадников-башкир. Какая забота пригнала их сюда в лютые морозы? Что им так срочно понадобилось? Что бы там ни было, неспроста все это...

Однако, стараясь не выказывать своего смятения, хан вместе со своей свитой, усердно улюлюкавшей вокруг, проохотился до ранних сумерек, но вскоре это ему надоело, и он решительно сказал:

— Ладно... Вернемся-ка в аул.

Весь вечер разговор с гостями шел о том, о сем — о зиме, на редкость суровой, об обильном снегопаде, о зимних выпасах. Лишь после угощения, когда гости отвалились на пышные подушки, хан вежливо поинтересовался делами. Выяснилось, что их прислал Алдарбай. Просит пожаловать в его аулы. Зачем? Этого он не сказал. Пока еще не наладилась дорога, надо бы встретиться и посоветоваться. Если хану угодно прибыть с вооруженным отрядом — его воля.

Вроде бы ничего особенного. Обычная весть. Однако надо подумать. И утром дать ответ.

Абулхаир решил принять приглашение. Правда, войска брать с собой не станет. Нынче свирепствуют волки. Нападают на скот среди дня. Нередко проникают даже в овечьи загоны. Спасу от них нет. Вот хан и отправится в путь с небольшой свитой под предлогом охоты на матерых степных хищников. Углубляться в башкирские аулы не станет. Мятежники обитают неподалеку от казахской степи. И пусть бии соберутся к приезду хана в каком-нибудь ауле поближе к границе. Снег после метелей уляжется прочным настом, которому под силу выдержать и одногорбого верблюда, так что надо съездить еще до исхода февраля, а то потом задуют весенние ветры, и дороги испортятся.

Спустя полмесяца Абулхаир отправился в путь.

Жанибека и на этот раз не известил о своей поездке. Букенбая и Есета предупредил: «Постараюсь за месяц обернуться. Если задержусь дольше — ждите распоряжения».

На этот раз башкиры встретили Абулхаира радушно, с распростертыми объятиями. Несмотря на стужу, поставили для хана и его свиты нарядные юрты, зарезали упитанного стригунка, выделили молодых дойных кобылиц, суетились, хлопотали, всячески стараясь угодить гостям. Хан решил про себя, что, должно быть, от русских правителей пришли добрые вести, как-никак им ведь ближе до башкир, чем до казахов. Попробуй доберись до них в зимнюю пору. Однако хозяева ни о чем пока не говорили, а гостю быть назойливым и нетерпеливым — неприлично. Пели тырчи, играли музыканты. Плясали, дробно стуча каблуками, ловкие джигиты. Томно кружились туго затянутые в поясе черноглазые красотки, чуткие и грациозные, точно серны.

На следующий день собрались все влиятельные старейшины. Большинство из них было Абулхаиру знакомо. Только Жунуса и еще двух-трех знакомых биев он среди собравшихся не заметил. Это насторожило хана. В чем дело? Неужели не сдержали слова, нарушили уговор? В таком случае, почему же эти так спокойны и веселы? Или повздорили между собой?..

Словно почувствовав тревогу хана, тархан Карабас начал речь:

— Алдияр! Мы хорошо помним ваши слова, сказанные в тот раз посланникам царских вельмож. Верно говорят: «На прошлое не сетуй, а на будущее уповай». Мы не жалеем, что в час испытания пошли на риск, не ведая ни страха, ни сомнения. Что было — то было. Мы готовы понести любое наказание. На все божья воля. Мы еще тогда говорили: единственная наша забота — мир и благоденствие для потомков, судьба простого, смиренного, ни в чем не повинного народа. Нам запали в души ваши слова о том, что вы готовы позаботиться о дальнейшей его судьбе. Мы много размышляли о том. Все тщательно обдумали и взвесили. И пришли к единому мнению: возьмите в свои крепкие и надежные руки повод правления нашим народом. Может, в таком случае исключительно ради вас царица проявит к нему милосердие и великодушие. Такая наша просьба. И мы очень рассчитываем на ваше согласие.

Давно мечтал Абулхаир об этом счастливом мгновении, но сейчас растерялся. Так неожиданно все произошло. А тут еще не давало покоя отсутствие Жунуса и еще нескольких биев. Почему их не видно сегодня? А как относятся к этому решению Таймас и его сторонники? Согласны ли они с ним? Как быть? Что ответить башкирским биям, решившимся на такой отчаянный шаг? И что обо всем этом подумают русские правители? Как бы не прогадать, не промахнуться...

— Братья,— начал Абулхаир.— Голос его прозвучал надтреснуто, хрипло.— Ваше положение мне понятно. И заботу вашу о народе своем, о потомках очень даже разделяю. Знаю: много крови пролито. И еще долго будут кровоточить раны. И обиды — и с той, и с другой стороны — забудутся не скоро. Я не раз говорил представителям администрации: карайте бунтовщиков и смутьянов, но не срывайте зла на женщинах и детях. Я сказал это и тогда, при вас. И еще скажу. Но меня всегда смущало тайное сомнение. А вдруг мне скажут: «Ты-то, хан, чего заступаешься? Мы же тебя и твой народ не трогаем. Какое тебе дело до каких-то башкир?!» В самом деле, ответить на такой выпад мне было бы сложно. Да вы и сами это хорошо представляете. Именно этим объясняется ваше предложение. И я тронут вашим доверием. И благодарю за честь. Если будем держаться бок о бок, стремя в стремя, если наши желания будут совпадать отныне и впредь, то кто знает, может, мольба наша дойдет до всевышнего. Так да и будет!

Собравшиеся молитвенно сложили ладони и огладили бороды. Потом поднялись трое аксакалов, и тут же в двери показались десять юношей, несших на вытянутых руках отделанный золотым орнаментом парчовый чапан и высокую белую шапку, тоже расшитую золотыми нитями. Один из трех поднявшихся аксакалов — рослый, серолицый, внушительный ишан Каридолла — взял ханскую шапку в руки.

— От имени существующего ныне на земле всего многострадального башкирского народа, от имени старцев и малых, мужчин и женщин, а также грядущих потомков провозглашаю вас, достославного правителя родственного нам казахского народа Абулхаира Мухамбета-казы Бахадура, единовластным великим ханом всего башкирского люда и башкирского велаята!

Ишан Каридолла торжественно поклонился сидевшему

перед ним Абулхаиру, громко произнес: «Ия, бисмилля!» — и надел ему на голову ханскую шапку. Двое аксакалов тоже сказали: «Ия, бисмилля!» и накинули на плечи ему расшитый золотом парчовый чапан.

После этого серолицый ишан опустился на колени справа от новоиспеченного великого башкирского хана и звучным, чистым голосом нараспев прочел благодарственную молитву из Корана.

— Да продлится вечно царствие достославного Абулхаира Мухамбета-казы Бахадура-хана!

Все собравшиеся дружно сложили ладони перед лицами. И в это мгновение тридцать крепких джигитов подняли просторную, дорогими коврами увешанную, утепленную на зиму восьмикрылую юрту и отнесли ее на новое место. Несколько человек, взявшись за края белой кошмы, на которой восседал хан, троекратно подняли его над головами и опустили на землю.

— Да продлится вечно царствие достославного Абулхаира Мухамбета-казы Бахадура-хана!

Многие достали из-за пояса охотничьи ножи и отрезали себе на память о торжественном событии по клочку от белой кошмы, на которой был провозглашен хан.

В тот же день в пышной ханской юрте состоялось еще одно торжество. На самом почетном месте, на богатом возвышении, величественно восседал новый хан. По обе стороны, у ног его, соответственно возрасту и сану расселись достойнейшие правители башкир. Речь начал опять бий Карабас. Абулхаир в который раз за последние дни внимательно оглядел присутствующих.

Батыра Жунуса и еще нескольких знакомых биев среди них не оказалось. Странно... Непостижимо. Вроде не было никаких причин для размолвки. Что же могло случиться?

Погруженный в раздумья, хан услышал лишь самый конец длинной речи Карабаса:

— Наш хан-повелитель! Мы не только с искренней благосклонностью вручили вам повод власти над нами, но в знак самого сердечного расположения решили также с вами породниться. Очень хотелось бы нам, чтобы одна из ханш была из нашего рода, то есть нашей единокровницей. И если вы не станете возражать, мы хотим отдать вам в жены дочь одного из самых уважаемых, знатных среди нас человека, Алдарбая, сына Есеке — прелестную

Зубаржат. Девушка чистая, благовоспитанная, познавшая любовь и ласку достойных родителей. Она не унизит вашего ханского величия. Не сомневаемся также в том, что она украсит вашу новую корону и трон и принесет вам удачу и счастье. Таково наше общее желание.

Непроницаемое, точно из камня высеченное, серое лицо хана на мгновение осветилось румянцем. Он смущенно откашлялся.

— В искренности и взаимности наших желаний и побуждений нет сомнения. Ваше доверие — высшая для меня честь. Я вполне доволен и этим. А вы поступайте по своей совести.

— Мы свое сокровенное желание высказали,— заявил Карабас.

— Да, да... И просим нас уважить,— поддержали его в один голос старейшины.

Строгий, степенный ишан тут же распорядился:

— Приведите невесту! Здесь же, принародно, и совершим обряд бракосочетания.

Таким образом, нежданно-негаданно, появилась у Абулхаира еще одна жена — юная ханша-башкирка. Хан долгое время не мог прийти в себя. И все чудилось ему, что все это произошло с ним во сне. Иногда просто не верилось в случившееся. Как-то уж очень просто и неожиданно осуществилась его вожделенная мечта. За одну зиму стал башкирским ханом... обзавелся новой женой. Никогда ничего в жизни не удавалось ему с такой легкостью. И потому-то и не верилось.

Однако жизнь ставила свои бесконечные вопросы, и не верить в то, что происходило вокруг, было нельзя. Многое оставалось загадкой. Почему бесследно исчез молодой и пылкий батыр Жунус? Ведь будь он живой и здоровый, он должен был принять самое действенное участие в проходящих торжествах. Во всяком случае, не мог оставаться в стороне. Значит, с ним что-то случилось. Или, может, не поладил с бывшими единомышленниками? Вроде не должно быть... И еще не совсем ясно, почему вдруг башкирские бии сочли необходимым провозгласить его своим ханом? Ведь во время предыдущей встречи они старательно избегали эту тему. И что означает оговорка — «пока еще не наладилась дорога»? Чем объяснить такую поспешность? Или дошли от царских правителей недобрые

слухи? Абулхаир никогда не спешил с ответом. Не было у него и привычки нетерпеливо расспрашивать. Он стремился до всего дойти сам. Настойчиво и упорно разгадывал любую загадку без чьей-либо помощи. В том было свое преимущество: никому не обязан, ни перед кем не в долгу. Никто в таком случае не может навязывать своей воли или своего мнения и претендовать на ханскую милость и благосклонность. По мере возможности правитель обязан сам разгадать все людские загадки. И также по мере сил ему надлежит оставаться загадкой для других.

Абулхаир некоторое время безмятежно гостевал у своих новых родственников по линии жены. Выезжал на охоту. Знакомился с обычаями и нравами башкир. Любовался удалью их воинов. Побывал у знатных батыров и биев. Но ни словом не обмолвился об отсутствующих, хотя думал о них неотступно.

Через месяц приехал порученец от батыра Букенбая из рода табын. Оказалось, до них еще не дошли тутошние последние новости. Не было ни слуху, ни духу от царских правителей. Судя по всему, весть о провозглашении его башкирским ханом окажется неожиданностью и для них, и для казахских владетелей.

Хан отослал порученцев Букенбая назад, сказав, что вернется в родные края примерно через месяц, и распорядился, чтобы переездом юной ханши занялся Арыстанбай.

А еще через день собрал башкирских родоправителей.

— Почтенные! О том, что здесь произошло, недостаточно знать лишь мне и вам. Я намерен отправить нарочных к администрации, чтобы доложить им обо всем. А до этого мне необходимо поговорить и с теми башкирами, которые издавна поддерживают царицу. И если вы не возражаете, я хочу и их призвать от имени всех под свою власть. Тогда я мог бы перед слугами царицы выступать от имени всего башкирского народа, а не от части населения. Как вы полагаете?

Почтенные согласно закивали головами. И все же казалось, что они чего-то недоговаривали.

Ясность внес сам Алдарбай. Многоопытный, сдержанный, он говорил спокойно, врастяжку, словно речь шла о простуде и о коликах в пояснице.

— О том мы, достославный хан, подумали и позаботились еще до того, как пригласили вас к нам. Надеялись, что решим все сами. На переговоры с Таймасом и его

сторонниками было отправлено восемь влиятельных биев во главе с батыром Жунусом и со мной. Нас хорошо приняли. Выслушали. Поддержали. Договорились, что они сами в удобное им время пригласят вас. С тем, довольные, мы и разъехались. Жунус со своими людьми отправился в родные аулы. Едва они прибыли домой, в первую же ночь нагрянули откуда ни возьмись солдаты. Обвинили Жунуса в нарушении уговора между мятежниками и царскими отрядами, в том, что он, дескать, мутит народ, подбивает его на мятеж, и объявили, что по приказу коменданта Оренбургской крепости он арестован. Словом, схватили Жунуса и доставили в крепость. Узнав об этом, мы сочли целесообразным кое-что скрыть от Таймаса и его сторонников. Не стали им говорить, что сами пригласили вас. Утаили и срок вашего приезда. Думали: узнают — и опять тайком донесут представителям администрации, и мы не сможем осуществить то, что задумали. И что теперь делать дальше — о том мы как раз намеревались посоветоваться с вами.

Тут прорвало и других.

— Хорошо, что вы сами начали этот разговор. Жунус и его товарищи вот уже, считай, два месяца томятся в каталажке. Пока в крепости на Ори. Но потом, как наладится дорога, известное дело, загонят на край света. И суждено нам еще свидеться или нет — кто знает...

Вот теперь все и прояснилось. Поняв, что до весны царица наверняка не вынесет никакого решения, башкиры договорились опередить ее. Став ханом, Абулхаир отныне вынужден активно заступаться за своих подчиненных. У башкирских мятежников и сейчас еще достаточно сил, чтобы обрушиться на крепость вблизи Ори и смешать ее с землей. Но они понимают, что делать этого сейчас нельзя, ибо это может повредить их уговору. Пусть Абулхаир позаботится о судьбе батыра Жунуса. На то он и хан.

Абулхаир помрачнел. Лишь после долгого молчания в нем, наконец, созрел план, и он сказал твердым голосом:

— Полагаю, что приказ об аресте Жунуса не от высоких властей исходит. Это произвол. И причастен к нему, видно, сам комендант крепости. Услышал, должно быть, кое о чем, испугался и решил действовать по поговорке: трусливый первым замахивается камчой. Я немедля снаряжу к нему нарочного. Потребую отпустить Жунуса и его

сподвижников. Так и передам: башкиры избрали меня по доброй воле своим ханом, и отныне по любому делу следует советоваться со мной, иначе пожалуюсь самой белой царице. Вот так!

Твердость хана пришлась башкирам по душе. Все сразу повеселели. Спустя полмесяца еле притащились, изнуренные весенней распутицей, ханские нарочные. Весть была неутешительная. Самодур-комендант и слышать ничего не желал: пока не будет указания от самого правителя в Самаре, он никого отпускать не намерен.

Абулхаир пришел в ярость. Однако, с трудом смиряя свой гнев, он начал подробно расспрашивать нарочных об устройстве и расположении крепости, о том, много ли в ней солдат, кто является ее начальником. Потом, подумав, встал. Объявил:

— В таком случае поговорим с самим начальником. Готовьтесь в путь.

Перед походом Абулхаир вновь отправил в крепость своих порученцев. Они должны были доложить коменданту: казахский хан во главе башкирского войска направляется в крепость. Пока не будут освобождены Жунус и его соратники, ни о каких переговорах речи быть не может. Хан не потерпит такого произвола и унижения. Пусть комендант хорошенько подумает. Все возможные последствия из-за его упрямства — на его совести.

Грозное войско, неумолимо надвигавшееся с востока, встретил на расстоянии дневного перехода с группой верховых какой-то офицер в золотых погонах. Судя по всему, ему было поручено вести предварительные переговоры.

Войско, шедшее до этого крупной рысью, тут перешло на ровный скок, всем своим видом выказывая учтивость и благонамеренность. Однако златопогонный офицер на гнедом, в белых «чулках», статном скакуне приближался стремительно, не сбавляя скорости. Во всем его облике сквозила лихость и самонадеянность. Видно, он намеревался поздороваться, подъехав вплотную. Хан властно вскинул руку, приказывая знаком попридержать поводья. Бравый офицер от неожиданности смутился. Румянец залил щеки, синие глаза, стекленея, выпучились, пожелтевшие от табака кончики лихо закрученных усов нервно задергались. Однако круто осадил коня, перевел его на шаг. Подъехав на расстояние вытянутой руки, офицер четко отрапортовал:

— Комендант Орской крепости господин майор Останков приказал выяснить у казахского хана цель его визита.

— Сам кто будешь?

— Я помощник коменданта Орской крепости.

— Помощник?!

Абулхаир презрительно скривился. Гневно спросил:

— А где же он сам, твой начальник?

— В крепости.

— И чего он там отсиживается? Не роженица ведь, чтобы бояться простудиться, а?!

Кончики усов бравого офицера задергались заметней. Краска схлынула с щек. Абулхаир тоже с трудом сдерживал дрожь. Голос его сорвался на крик:

— Ты!.. Тебе известно, кто строит эту крепость?

— Конечно! Ее величество императрица Анна Иоанновна!— с вызовом, нарочито громко, отчеканил потерявший душевное равновесие офицер.

У Абулхаира от бешенства скривился рот. Густые смоляные, обычно гладко приглаженные усы встопорщились. Спокойные, всегда как бы притененные длинными ресницами глаза расширились, в черных зрачках вспыхнули гневные искры. Он уничтожающе, в упор вперил взгляд в самонадеянного офицера, и, подражая ему, так же врастяжку, чеканя каждый слог, произнес:

— Вззз-дор ме-лешь!!

Пышноусый опешил. Губы его задрожали.

— Я... я... это... это произвол!

— Произвол?!— хан дал коню шенкеля, крепко стиснул эфес сабли.— А кто, собственно, чинит произвол?! Ты хоть представляешь, с кем разговариваешь?! Или ты не слышал никогда, для кого пресветлейшая государыня наша, императрица Анна Иоанновна, строит эту крепость? Тогда знай: для меня, для хана всего казахского и башкирского народов Абулхаира Мухамбет-казы Бахадура! Понял теперь? Если ты являешься слугой своего начальника, то он, воздвигающий мою крепость, является моим слугой!.. Почему же он не явился?!

Пышноусый после этих слов заметно струсил.

— Он... он... беседует с поручениями господина Татищева из Самары...

— Тогда передай: твоего начальника и видеть не желаю. Разговаривать буду только с представителями из Самары. Срок даю до обеда. Если до этого времени доверенные

Татеша-мурзы не сочтут возможным поговорить со мною, то с вами уже не я буду говорить, а вот эта сабля. Понял? Ступай!

Конь под ханом яростно грыз удила, рвал поводья, перебирал ногами, а при последних словах хозяина едва не сшиб грудью гнедого с белыми «чулками» под приунывшим офицером.

Пышноусый, затравленно озираясь, шагом доехал до перевала и лишь потом ударил коня камчой, понесся вскачь.

Войско расположилось на привал. На только-только пробивающейся зеленой травке поставили для хана шатер.

Ближе к обеду из-за перевала показался конный отряд. На этот раз он был внушительней. Впереди на саврасых конях ехали двое. Хан узнал их издалека. Это были уже приезжавшие однажды к нему пожилой рябой татарин и вездесущий проныра-толмач. Еще издали заметив хана в небольшом кругу людей возле походного шатра, они спешились, передали поводья коноводам. К ним присоединился и пышноусый офицер.

Хан и его свита, глядя на приближавшихся к ним пешком представителей власти, переглянулись и ухмыльнулись. Оба татарина, подойдя, приложили руки к груди и учтиво поклонились.

— Досточтимый хан, нам весьма и весьма приятно вновь видеть вас в добром здравии и могуществе. Очень сожалеем, что не смогли вас встретить, как подобает, сегодня утром, ибо сами прибыли сюда только вчера и сильно утомились с дороги. Простите нас великодушно, хан. Мы прибыли по вашему требованию.

Говоря это, проныра-толмач щерил рот и радостно поблескивал хитрыми глазками, а рябой после каждого его слова молча кивал головой.

— И я рад встрече с вами. В то время, когда мы по жуткой весенней распутице, утомив себя и изнурив коней, прибыли сюда из такой дали, комендант этой крепости даже не удосужился лично поприветствовать нас. Разумеется, с таким нечестивцем вряд ли мы смогли столковаться. И то, что вы находитесь здесь, мы воспринимаем как знак удачи.

— Весьма и весьма благодарны, досточтимый хан, за добрые ваши слова.

— Вам, полагаю, известно, какие заботы пригнали меня сюда?

— Конечно, хан... Ради этого и мы прибыли из Самары в столь, как вы верно изволили заметить, неудобную для поездок пору.

— Выходит, все кстати.

— Досточтимый хан, может, зайдем в шатер, поговорим обо всем наедине?— вкрадчивым голосом предложил рябой.

— Зачем? У меня от этих людей никаких тайн нет,— ответил Абулхаир, широким жестом указывая на свою свиту.— Это почтенные, влиятельные башкирские владетели. А я ныне, как вы знаете, не только казахский, но и башкирский хан.

Рябой, сильно щурясь, оглядел ханскую свиту.

— Что касается этих людей, досточтимый хан, то... Впрочем, вы это и сами знаете. В тот раз, помнится, вы говорили, что эти люди пекутся не о себе, а главным образом о женах и детях, о безвинном народе... Если я предлагаю поговорить наедине в шатре, то в этом тоже есть свой смысл... Сами видите, еще свежо, сыро. Да и русские утверждают, будто в ногах правды нет.

Абулхаир с трудом сдерживал раздражение:

— А у нас говорят: бойся сына, что лезет поперед отца, отрекайся от того, кто встревает в разговор старших. И еще говорят: по длине одеяла протягивай ножки, а ты, муравей, знай свою дорожку. И о башкирах, и об их достойных владетелях я намерен говорить или с самой пресветлейшей царицей, или с ее представителями, облеченными большой властью. Что же касается вас, Арслан-мурза, то если вы уж так боитесь сырости и ветра — пожалуйста, зайдем в шатер.

Вместе с гостями с ханом в шатер вошли и несколько башкирских биев. Как только все расселись, хан спросил:

— Как относятся правители в Самаре к тому, ради чего я вынужден в такую распутицу проделать столь изнурительный путь?

— Разобраться в этом сложном деле поручено нам.

— В таком случае как считаете вы?

— Ну... мы это... ясно...

Рябой запнулся, покосился на проныру-толмача. Тот забалабонил с ходу:

— Чтобы во всем разобраться, понадобится время. Мы же только что прибыли. И тут же вы нас срочно потребовали. Так что мы пока еще не успели сделать для себя вывод.

Хан погладил сьои усы, сощурил глаза, сказал вызывающе, с издевкой:

— Что же вы мне предлагаете? У вас нет пока мнения, а что же я? Вы хотите сказать: сам притащился, сам и убирайся восвояси. Так, что ли?! Не выйдет, господа! Пока не освободите Жунуса и трех его сотоварищей-биев, я отсюда не тронусь!

Проныра-толмач озадаченно почесал затылок.

Хан повысил голос:

— Что же это в самом деле? Кто я для вас? Разбойник, рыщущий по степи? Бродяга какой-нибудь? Или хан, возглавляющий народ и блюдящий свою честь и достоинство?!

— Ну, зачем так? Разумеется, хан. Досто...

— Заладили: «досточтимый... досточтимый». Лесть свою приберегите для других. Цена вашим словам — ржавая копейка. Что уж обо мне говорить, когда нет у вас почтения к самой солнцеликой вседержавнейшей царице нашей?! По-вашему, она что, благодетельствует не достойным соседним племенам и их владетелям, а каким-то головорезам и разбойникам с большой дороги? Так, что ли?!

— Что вы... что вы? Боже упаси!..

— Тогда почему вы глумитесь над верными союзниками и подданными великой государыни императрицы?!

— Да нет же!.. Как мы можем...

— Тогда почему вы игнорируете мое обещание, данное в присутствии вот этих людей?!

— Какое обещание?

— Ах, вы уже и не помните?! Обещание, что пока всемилостивейшая государыня наша не соблаговолит издать специальный указ, никто ни на кого не посмеет здесь поднять руку. Кто принародно давал обещание? Я или вы двое, или нечестивец-комендант строящейся крепости?!

Рябой осторожно возразил:

— Мы не уполномочены давать такие обещания... Это сделали вы и представитель комиссии.

— В таком случае на каком основании вы вынуждаете меня нарушить обещание, данное мною белой царице?

Рябой укоризненно покачал головой:

— Ну... мы же сказали вам, что... не успели еще все уяснить для себя... По слухам, арестованные башкирские

предводители как раз и пытались нарушить честный уговор между государыней императрицей и вами.

— А какие на то доказательства?

— Вот это мы и намерены выяснить...

— А что тут выяснять? Если им нельзя верить, если они являются злоумышленниками, то почему они не нападают на крепость под боком, не разнесут ее в щепки, а посылают гонцов за тридевять земель ко мне? Как это изволите понимать?! А понимать это следует как верность своим словам, своему обещанию, которое они в вашем присутствии давали мне. Значит, в ответ на доверие и я обязан оставаться верным своему слову, своему обещанию, которое, кстати, я также давал в вашем присутствии. Совершенно очевидно, что бесчинство это исходит не от белой царицы и не от высокородных ее сподвижников, а единственно от коменданта крепости. Я не могу смириться с подобным самоуправством. И если он по-доброму не исполнит нашего требования, то пусть пеняет на себя!

— Досточтимый хан, я прошу вас, будьте же благоразумны. Не надо горячиться... Разумеется, верные слуги царицы не откажутся от своих слов. А уж коли в этом деле замешаны вы, то не считаться с вами никак невозможно. Арестованные бии, если они даже совершили преступление, будут по вашей просьбе освобождены и возвращены вам, ибо мы уверены, что, находясь под вашей властью, они отныне не осмелятся замышлять ничего дурного.

— А если они не уличены ни в каком преступлении, то будет ли по заслугам наказан комендант, подвергший их аресту?

— Беспременно... В том ничуть не сомневайтесь. Мы по справедливости наказываем не только смутьянов из числа верноподданных туземцев, но и царевых слуг, нарушающих закон.

Торжествующие искорки вспыхнули в темных зрачках Абулхаира.

— Когда же батыр Жунус и его сподвижники-бии смогут вернуться к своим семьям?

— Да хоть сию минуту... Помощник коменданта пойдет сейчас и приведет их сюда.

Собравшиеся облегченно вздохнули.

Хан удовлетворенно погладил смоляные усы.

Рябой откашлялся.

— Досточтимый хан! Теперь, надеюсь, вы выслушаете и нас?

— Хорошо! Говорите!

— То, о чем мы тогда договорились относительно башкирских мятежников, остается в силе. До тех пор, пока государыня царица не примет специального решения, обе стороны не должны прибегать к оружию. Нарушители уговора будут жестоко наказаны. Во внутренние дела башкир мы пока вмешиваться не будем. Главное, чтобы в течение условленного времени они не нападали на русские отряды. На это обстоятельство администрация комиссии еще раз обращает ваше внимание.

— Хорошо! И нас это вполне устраивает.

— Теперь, досточтимый хан, хотелось бы поговорить с глазу на глаз. К башкирскому делу это не имеет никакого отношения. Речь пойдет о наших взаимоотношениях с казахами.

Абулхаир насторожился. Медленным взглядом обвел башкирских биев. Те молча встали и потянулись к выходу.

В шатре остались трое. Воцарилась тягостная тишина. Скрывая волнение, хан первым спросил:

— Так о чем речь? Я весь внимание.

— Речь о вашем самовольном и неожиданном вступлении в башкирские владения.

— Так что же? Я должен сидеть и терпеть произвол коменданта Орской крепости?!

— Прежде всего необходимо было поставить в известность русских правителей.

— Откуда мне знать, что еще выкинет этот грубиян и самодур, какую он учинит расправу над арестованными биями, пока моя весть дойдет до Самары?

— И все же, хан, ваш поступок благоразумным не назовешь. Уже то, что вы самолично привели мятежников к русской крепости,— серьезный промах. Более того, предосудительно. Державная императрица может расценить это как дерзость не в отношении какого-то коменданта крепости, а в отношении к ее величеству...

— Тогда...

— Именно так, досточтимый хан!.. В тот раз мы совершенно определенно договорились о том, что до принятия ее величеством императрицей общего законоположения казахское войско воздержится от вступления в башкирский велаят.

— О каком войске идет речь? О сопровождающей меня незначительной свите?

— Численность в данном случае значения не имеет. Даже ваше появление здесь в одном-единственном числе равнозначно вступлению целого войска. Ведь вы — казахский хан. Вы являетесь предводителем казахов. То, что вы оказались здесь, означает, что казахское войско нарушило границу. Вы обязаны помнить, что земля эта принадлежит отнюдь не башкирским тарханам. Над ней простираются власть и милость самодержицы всероссийской. И в своих владениях она вольна поступать так, как ей угодно. И если уж на то пошло, то получается, что не государыня царица вмешивается в башкирские дела, а, наоборот, башкиры самочинно посягают на священную собственность царицы. А вы сами только что сказали, что не потерпите такого произвола. Не так ли?

— Почему же вы сейчас об этом ничего не сказали?

— Мы намеревались сказать о том с самого начала. Но вы разве послушались? Настояли на разговоре при башкирах. Не могли же мы унизить вашу ханскую честь!

Абулхаир потемнел лицом.

— Выходит, я должен убираться отсюда?

— Разумеется. Иначе вы нарушаете уговор, на котором год назад сами настаивали.

— Вон оно что... Значит, комендант этой крепости ни в чем не повинен?

— Почему же? Виноват.

Хан с удивлением уставился на рябого.

— Вина его не в том, что он арестовал четырех башкирских биев. А в том, что, зная через ваших поручeнцев о вашем намерении, не освободил тотчас же пленников и не убедил вас немедленно отступить назад. Из-за его недальновидности и нерасторопности едва ли не нанесен вашей чести серьезный урон в глазах благодетельницы-императрицы. И за это он и понесет наказание. Повторяю: можете не сомневаться.

— А как вы относитесь к тому, что я избран башкирами ханом и обзавелся по обычаю юной ханшей?

— Мы здесь не уполномочены рассматривать это событие и давать ему оценку.

Хан задумался. Лицо его вновь стало серым:

— Ладно... Обо всем этом еще подумаю. Возможно, в чем-то по неведению и сплоховал...

— Если бы сплоховали только в этом — еще куда ни

шло. В последнее время что-то зачастили гонцы от калмыков. И у них тоже вроде жалобы на вас...

Рябой, почудилось, посмотрел строго и пытливо.

Проныра-толмач, показалось, посмотрел с сочувствием и жалостью.

Хан встрепенулся, устремил колючий взгляд попеременно на обоих:

— И еще раз скажу вам... В нашем представлении подданство — значит союзничество, взаимопонимание, общность интересов... Забота друг о друге... Взаимоуважение... Дружеская, бескорыстная помощь в беде... Это то, когда младший надеется на защиту и опору старшего... Это когда старший постоянно опекает младшего... Сколько прошло времени с тех пор, как я принял со своим народом русское подданство? И кто, скажите, за эти годы разговаривал со мной открыто, честно, по душам?.. Сын мой, родная кровинушка, томится там в аманатстве... Я же, отец, лишенный возможности его видеть, пребываю в скорби здесь... И на этот раз надежде моей не суждено сбыться... Скажите: справедливо ли это?!

— Увы, и по этому поводу мы ничего не можем сказать. Единственное, что вам обещаем: все ваши слова, все ваши просьбы будут точь-в-точь переданы наивлиятельнейшим правителям.

На этот раз и рябой, и проныра-толмач посмотрели на удрученного хана с сочувствием и состраданием.

В это время за шатром раздались оживленные, радостные голоса:

— Глядите, глядите... Вон опять показался пышноусый!

— А за ним, кажется, плетутся наши бии.

— Да, да, они. Они!

— Бедные наши братья!..

— Смотрите... Вроде нас увидели. Улыбаются!

— Заулыбаешься тут... Ног, видно, от радости не чуют.

— Да-а... Что ни говори, удачно все получилось.

— Если бы не Абулхаир, неизвестно, сколько бы они еще томились в каталажке.

— А скорее всего, их здесь и сгноили бы.

— Что ж... с ханом, брат, не шути. Хан и есть хан!

— Да-а! Настоял-таки на своем.

— Как же! Станет он терпеть, чтобы всякий встречный-поперечный ему на голову сел.

Трем мужчинам в шатре все было слышно. Абулхаир, хмурый и подавленный, сидел не шелохнувшись.

* * *

«Мы с великим удивлением и неудовольствием усмотрели, каким образом от бунтующих башкирцев новые замешания начались, и наипаче, что и хан Абулхаир с ними соединился и имеет злое намерение атаковать Оренбург, чего мы никогда не ожидали. Сим нашим указом наикрепчайше подтверждаем, что всемерно надлежит вам со всею командою к Оренбургу поспешить без всякого отлагательства, а ежели под оным городом учинятся гибель или людям урон, то особливо вы в том дадите перед ним ответ, ибо мы оную крепость отнюдь потерять не хотим».

Вокруг зорких ястребиных глаз, поблескивавших из-за круглых очков, появилась густая сеть морщин. В уголке тонких, нервных губ легла серповидная, глубокая складка. Две продольные складки сурово сдвинулись у переносицы. Чуткие ноздри заостренного носа затрепетали. Послышалось язвительное хмыканье. В темных зрачках вспыхнули гневные искорки... Увеличенные стеклышками очков, они бушевали яростью.

— В-вон оно как!..

«Злое намерение», «атаковать Оренбург», «новые замешания» бунтующих башкирцев, «учинят гибель или людям урон», «особливо дадите ответ», «мы оную крепость отнюдь потерять не хотим»...

Слова-то какие! Злые, жгучие... Точно стрелой вонзаются в грудь. Должно быть, его последнее спокойное и вразумительное донесение обрушилось в царском дворце громом среди ясного неба. Значит, неуемные интриганы, прожженные злыдни, с утра до вечера слоняющиеся по кабинетам дворца и без устали распространяющие сплетни со всего света, сумели и на этот раз представить императрице все его слова в искаженном виде. А дойти, докопаться до истины ее величеству, понятно, недосуг.

Как ей доложат — все за чистую монету и принимает. Ну, конечно, опять этот Татищев, ослушник, натворил что-то в башкирских степях. Где бы он ни был, что бы он ни делал — одни только огорчения от него. Как хорошо, однако, что от него избавились заблаговременно, пока он не переплавил в своих доменных печах все Уральские горы! Еще бы немного, и этот лиходей наверняка перевернул бы их или стер с лица земли. С него станется...

Татищеву вроде как послышался вдруг чей-то зычный, полный сановного достоинства и спеси голос. Самодоволь-

ный, злорадствующий. Господи, кто же это, над ним измываясь, душу тешит? Демидов?.. О, нет! У того голос тусклый, надтреснутый, словно у старого медного, покрытого ржавчиной колокола. А у этого — торжествующий, раскатистый, точно у иерихонской трубы, возвещающей о виктории. Таким голосом обладают разве только столичные адмиралы в золоченых эполетах, а уж никак не какой-нибудь заводчик, железных дел мастер. Однако ж не след упускать из виду и то, что желтый металл, безраздельно властвующий над умами корыстолюбцев, вполне в состоянии добиться того, чтобы пасквильные речи пропахшего углем, копотью и железом и затерявшегося у черта на куличках заводчика прозвучали однажды голосом сановного адмирала, неотступно отирающегося возле царского трона. Ничего зазорного в том адмиралу и не почудится. Ибо он прекрасно знает: к желтому металлу не пристают ни копоть, ни грязь, ни даже кровь. Да, да... этот голос, в самом деле, смахивает на властный бас всегда шумного, добродушно похохатывающего адмирала графа Апраксина... Однако нет... С какой стати злорадствовать графу, если все его обвинения во взяточничестве Татищева решительно развеял и отмел наичестнейший Вилит Иванович Геннин, в течение шести месяцев проводивший тщательное следствие?! Но и после этого пытались возводить на него напраслину, обвинять во множестве грехов, используя его тяжбу с Демидовым. Конец этой травле был положен еще в ноябре тысяча семьсот двадцать третьего года. Он тогда добился аудиенции у самого Петра Алексеевича. Топорща усы, грозно сверкая очами, государь учинил ему допрос, но вскоре, довольный смелыми ответами своего подопечного, расхохотался. А уж когда речь зашла о разных науках, о рудниках и чугуноплавильных заводах, император и вовсе загорелся, то и дело порывисто восклицая: «Ах, так?!», «Гляди-кось!», «А почему бы нам не испробовать?» И со свойственной ему решительностью отправил Татищева в Европу. Имел государь обыкновение очень своеобразно выражать свою благосклонность. Фаворитов своих отправлял или под град пуль, в самое пекло, или за границу для обретения ума-разума. Словом, очутился вскорости Татищев аж в Швеции. Объездил ряд стран. Подолгу просиживал в библиотеках, копался в архивах. На основе личных впечатлений написал он тогда в форме письма к профессору Упсальского университета Бенцелю работу о находках костей мамонта

в Сибири. Она была переведена на латынь и стала известна ученым многих стран. Об учености Татищева заговорили повсюду, и вскоре он возглавил Московский монетный двор. Вообще он был тогда на редкость удачлив. Все, о чем мечталось,— сбывалось. И когда в тридцатом году из далекой Миттавы вернулась в Москву Анна Иоанновна, Татищев находился в числе тех, кто искренне возрадовался этому событию и уповал на приятные перемены.

На то были серьезные основания. Выходец из знатной, но обедневшей дворянской семьи, Василий Татищев в семилетнем возрасте был пожалован в стольники ко двору царицы Прасковьи Федоровны, супруги Ивана Алексеевича, старшего брата Петра. И Татищев, понятно, весьма рассчитывал на милость и протекцию новой царицы Анны Иоанновны. Не могла же она, в самом деле, не благодетельствовать приближенным своей родной матушки.

И надежда его — грешно жаловаться на судьбу — оправдалась. Но только на первых порах. Потом новая царица охладела к нему. Только этим и объясняется резкий и холодный тон подписанной ею инструкции, с которой он сейчас ознакомился. Это даже не инструкция, а скорее — пощечина, этакая увесистая оплеуха. Что ж... может, и поделом! Так тебе и надо, начальник Оренбургской комиссии, господин тайный советник! Гнев ее императорского величества еще не прошел. Значит, не следует совать всюду свой длинный нос. Не то могут и щелкнуть по нему, как вот этим грозным и уничижительным письмом-инструкцией. Кстати, кто ее составил? Кому все-таки принадлежит голос, почудившийся ему при чтении инструкции? Неужто Остерману? Нет! Тому не свойствен столь крутой и безапелляционный тон. Андрей Иванович осторожен и хитер. Ничем себя не выдаст. Может, честолюбивый новоиспеченный кабинет-министр Волынский сам руку приложить изволил? Вполне возможно. Говорят, он пока что очень даже ладит с Бироном. Собственно, ему и обязан своей новой должностью и чином. Следовательно, сейчас он не осмелится перечить всесильному Бирону. К тому же он, нетерпеливый, неугомонный Артемий Петрович, не так уж и далеко ускакал от него вперед. Он все больше о славе своей печется. Никак не уймется, не может забыть, что он прямой потомок тех Волынских, которые некогда прославились на Куликовом поле. Но где наберешь столько куликовских битв, чтобы каждый потомок достославного рода Волынских мог проявить свою прыть?! Увы, пылкий Артемий Петрович

понять сие не в силах. Вот и мечется, бушует, ходит по острию ножа. Бог весть, снесет ли буйную головушку... Известно: излишняя строптивость и дерзость к добру не приведут. Таких на Руси чаще всего ожидает или темница, или петля, или секира палача. В лучшем же случае — косой взгляд, гневный окрик, тумаки, бесконечные унижения, измывательства, лишения, ссылка...

Уж он-то, Татищев, прекрасно все это знает. Можно сказать, на собственной шкуре кое-что испытывает. Вот написал, дружеского совета испрашивая, обычную реляцию на высочайшие имя, а каков ответ?! От него лютой стужей веет. А с чего сыр-бор? Отчего такая немилость матушки-государыни? Можно подумать, что он повинен в смерти давно усопшего ее отца. Как бы не так! Разные слухи бытуют в царских палатах и среди народа о безвременной кончине Ивана Алексеевича, но — упаси боже!— никто никогда еще не говорил, что к этому причастен Василий Никитич Татищев. До такого вздора даже его лютые противники не договаривались. Причина царицыного гнева совсем в другом, а именно: в тех давних — будь они неладны!—«Кондициях».

Так уж искони повелось: со сменой царского трона народ всегда связывал какие-то надежды. Сколько прожектов каждый раз рождается в горячих и умных головах государственных мужей! Так было и на этот раз, когда Анна царицею учинилась. В числе тех, кто соблазнился и увлекся тогда миражом конституционных преобразований в Российском государстве, находился и тайный советник Василий Никитич Татищев. Он был заодно с приверженцами политики Петра Великого, горячо ратовал за новый проект формы правления государством и со своими предложениями о государственном устройстве смело выступал от имени русского шляхетства перед депутатами духовенства и дворянского сословия, перед генералитетом, сенатом, верховным тайным советом и самой Анной Иоанновной. Активно участвуя в тогдашних горячих спорах, Татищев одержал верх над князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, чей проект об ограничении власти императрицы в пользу только Верховного тайного совета не был поддержан. Тогда-то, став статс-советником, Татищев получил назначение главным судьей Монетной конторы. Многим пришлась не по душе его удачливость. Много было нажито тогда противников. И самый опасный и коварный среди них оказался всесильный Бирон. Он терпеть не мог, чтобы

кто-то еще, кроме него, имел влияние на ее императорское величество. Тот, кто в этом неуемном стремлении встал на его пути — глава «верховников» князь Голицын,— вскоре очутился в Шлиссельбургской крепости. А на Татищева, возглавлявшего партию «победителей»— русское шляхетство,— Бирон с помощью клеветы и интриг ловко натравил канцлера графа Головкина. С канцлером, понятно, шутки плохи. Он добился-таки своего: подвел Татищева под суд. Но, к его везению, к этому времени счастье отвернулось и от самого канцлера. А Татищев вновь отправился на Урал командиром Уральских, Сибирских и Казанских рудников и металлургических заводов. Но вот скончался Иван Кирилов, и Татищева поставили указом царицы во главе Оренбургской комиссии.

В прошлом году, прибыв в Самару, он с надеждой подумал про себя, что императрица, видно, вновь смягчилась к нему и настроена благожелательно, о чем свидетельствовал и подписанный ею рескрипт: «Мы на ваше вечное радение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся, и что вы в оной комиссии тщательнейше свои труды прилагать не оставите, за что вы и о нашей к вам высочайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко же и ныне в знак того вас в наши тайные советники жалуем».

Вот тебе и «всегда обнадежены быть можете»! Как провинившегося мальчишку, щелкнули по носу грозной инструкцией ее императорского величества. А что, собственно, он успел натворить за какой-то год, находясь во главе Оренбургской комиссии?! В чем он так уж провинился? Оренбург, слава всевышнему, стоит на месте. Никаких кровопролитий не случалось во всей округе. Может, императрица всемилостивая, «как есть персона женская», что-то запамятовала и спутала Оренбург с Очаковым? Ведь двадцать четыре тысячи русских солдат сложили в прошлом году свои головушки отнюдь не возле Оренбурга, а под стенами Очакова. И всему миру ведомо, что погибли они не от рук киргиз-кайсаков, а от турков. И спрашивать за невинно загубленных следует не с Татищева, а с «доблестного» фельдмаршала Миниха, если уж на то пошло! Только не посмеет державная царица побеспокоить иноземного «анику-воина». Тот озабочен только одним: куда бы еще нацепить очередную блестящую побрякушку. Тесно стало на виц-мундире фельдмаршала, разве что на спину теперь железки навешивать...

По сведениям одного всезнайки из Петербурга, время от времени наведывающего начальника Оренбургской комиссии, бесславно пролитая над Очаковым русская кровь обернулась немалой прибылью для высокой знати, толпящейся в царском дворе. Как же... им ведь все едино — победа или поражение, слава или позор. Лишь бы перепал им кус пожирнее от русского пирога. Понеся в прошлом году сокрушительное поражение от турков, эти господа теперь лихорадочно подыскивают другую возможность, чтобы набить свою ненасытную утробу. Кабинет-министр Волынский, сенатор барон Шафиров, фельдмаршал Миних, тайный советник Михаил Бестужев, камергер князь Борис Юсупов, статс-советник Неплюев — вот те, кто втайне разрабатывает план о перемирии с Австрией и Турцией, чтобы нагреть на этом руки. И нагреют, сидя за столом переговоров. И своей выгоды не упустят. Им обеспечено вознаграждение равно и за славу, и за позор России. А многогранный, многомудрый Василий Никитич, пребывающий за тридевять земель от престола, должен покорно выслушивать хулу и порицания неизвестно за какие прегрешения — за поражения и позор, еще не существующие, а лишь померещившиеся кому-то из его недругов в Петербурге.

Татищев, засовывая грозную инструкцию ее величества императрицы в ящик огромного стола, доставшегося ему в наследство от Кирилова, заметил краешек аккуратно сложенного листка. Он достал его и сразу же узнал в нем копию своего письма-донесения царице. Пробежал глазами одну из фраз: «Хотя Абулхаир-хан свою присягу нарушил, однако я, взирая на глупую их дикость и опасаясь, чтоб других их салтанов и ханов жестокостью не остращать, намерен с ним ласково обойтись и о погрешности его разговором выговорить».

Может быть, именно это его суждение привело царицу в ярость?

Возможно. Совсем неудивительно, если то, что у других считается за достоинство и благо, ему же вменяется в вину как самоволие или даже предательство.

Всего лишь год назад, назначая его главой Оренбургской комиссии, царица наказала ему проявить особое благоволие к киргиз-кайсакам и, поелико возможно, добрым способом держать их в смирении и покорности. Скоро же она забыла свой же рескрипт! Теперь ясно выявились мотивы,

по которым его так спешно назначили на место покойного Кирилова. Видно, петербургским недругам померещилось, что он-де слишком хорошо устроился, управляя казенными заводами на Урале, Сибири и Казани. К тому же и жалобы на него сыпались изрядно: дескать, злоупотребляет властью в корыстных целях, грабит туземцев, берет взятки и что-де, если так будет продолжаться, то не мудрено, что когда-нибудь проглотит все рудники за Каменным поясом. Коварный временщик Бирон ловко дал всем этим кляузам и слухам ход и добился того, чтобы лишили еще одного русского «теплого» местечка. И почему Бирон так спешил — тоже ни для кого не тайна. Уж, казалось бы, какое ему, иноземцу, дело до того, в чьи карманы попадает прибыль от металлургических заводов на окраине России. Ан нет! Ему не терпелось раздать уральские казенные заводы отдельным личностям, к которым царицын фаворит испытывал особое расположение. И уж он-то знал, что Татищев может встать в этом его намерении поперек пути.

К везению этого пройдошливого чужеземца-бродяги, который и род-то свой толком не помнил, скончался нежданно начальник Оренбургской экспедиции Иван Кирилов. Лучшего случая для осуществления давних намерений Бирону и не сыскать было. На место одного неуемного бумагомарателя тотчас подвернулся еще более неугомонный бумагомаратель. Пусть торчит себе где-нибудь в азиатской дыре, подальше от столицы, и строчит свои «гиштории». С глаз долой, из сердца вон! Вот и встал Василий Никитич во главе весьма странного учреждения, переименованного из экспедиции в комиссию. И, едва заняв эту должность, нажил себе новых врагов, будто прежних было ему мало. Оказалось, на место Кирилова, звучавшее столь внушительно, давно уже вожделенно поглядывали многие. Мечтали о кресле начальника Оренбургской комиссии и уфимский воевода Шемякин, и вице-губернатор Аксаков, и бригадир Тевкелев, и бог знает кто еще. Назначение на это место Татищева разбило их тайные мечты, за что они откровенно возненавидели его.

Нашли чему завидовать! Бог свидетель, не то это место, из-за которого можно кого-то ненавидеть. Такому назначению мало-мальски разумный человек не возрадуется. Что это, в самом деле, за учреждение, если никто толком не представляет его основные задачи и цели? Средства, выделенные некогда киргиз-кайсацкой, а потом Оренбург-

ской экспедиции, использовались без строгого учета, и их мигом растащили нечистоплотные сотрудники из канцелярии Кирилова. Наверняка самому всевышнему было невдомек, кто из воздвигающих крепость у устья Ори когда и сколько получал жалованья, а также сколько ушло денег на провиант и провоз. Выяснилось вдруг, что инженерные офицеры вообще уже несколько месяцев не получали жалования. Касса оказалась истощена. Финансовые бумаги не подписаны. Дьяков, обязанный отвечать за порядок в документации, сопровождал Кирилова в его походах в качестве адъютанта. Всеми делами учета заведовал прикрепленный к экспедиции протопоп, он же и ректор Антип Мартынов... За несколько лет вольной жизни на киргиз-кайсацких просторах святой отец настолько одичал, что не имел представления не только об исчезнувших таинственным образом казенных деньгах в кассе, но забыл даже имя самого создателя-творца, которому по сану обязан был служить и которого некогда, бывало, упоминал по десять раз на дню. И теперь, помня о расплате и заглаживая бесчисленные грехи свои, он только и делает, что усердно строчит доносы на Татищева в Петербург. Бог с ним, пусть себе строчит, сколько душе угодно. Татищев все равно спуску ему не даст. За все батюшка сполна ответит! Дай только добраться до крепости на Ори. Все равно больше никто, кроме забулдыги-протопопа, не знает, куда девались немалые казенные деньги. Покойный Кирилов, увлеченный своими фантастическими прожектами, в вечной суете так и не снисходил до разных мелочей, в том числе и до денежных дел. Так и не завершив свои бренные дела на земле, покоится теперь на Самарском кладбище при монастыре Николая Чудотворца. И долгов оставил изрядно. Вдова каждый божий день испрашивает у правительства вспомоществование.

Что и говорить, для того, чтобы ошельмовать попавшего в немилость, более подходящего места, чем Оренбургская комиссия, пожалуй, не сыскать. Потому-то недоброжелатели в Петербурге и посадили его на это место. Дескать, пусть расхлебывает заваренную покойным Кириловым кашу, пусть отдувается за все его и свои благоглупости, а мы его будем потюкивать колотушкой по голове.

А ведь, если уж на то пошло, охаживать его колотушкой не за что. В башкирских улусах уже несколько месяцев довольно спокойно. Такого здесь, помнится, давно не бывало. Кайсацкий хан Абулхаир, воспользовавшись

этой передышкой, решил втихомолку прибрать к рукам своих северных соседей. Более того, очевидный спад мятежного духа башкир считает своей заслугой. В последнее время он явно активизировался, все время лезет в глаза, выказывая непомерное усердие и честолюбие. Что ж... ничего неожиданного или предосудительного в том нет. Какой же иначе он правитель? Каждый, кто обладает властью, склонен раздувать свои значительность и заслуги. Дельце с мизинец чудится ему с кулак. Так уж повелось искони. Однако надо отдать должное кайсацкому хану: в недальновидности его не упрекнешь. Кое-кому из царевых слуг и вельмож, пожалуй, нос утрет. Разнаряженные в атлас и шелк, обвешанные золотыми лентами и побрякушками, напыщенные и самодовольные, они больше с виду кажутся важными и значительными, а по человеческому достоинству, по уму-сметливости вряд ли далеко ушли от одетых в верблюжьи чапаны предводителей непритязательного кочевого люда. Предводители кочевников по крайней мере любое дело осуществляют сами. Даже на врага скачут в головной части своей конницы. Более того, и до нынешнего времени, случается, выходят на поле брани на смертный поединок с врагом. Им не дано отсиживаться за чьими-то спинами или за крепостными стенами наподобие наших высокородных правителей. Смешно даже представить, чтобы наши «отцы отечества» или их клевреты вышли с оружием в руках один на один с противником, когда им лень или невмочь произнести хотя бы разумную речь перед именитыми гостями. Они — большей частью — и слов-то двух-трех толком не свяжут, все по бумажке, точно пономарь какой, талдычат. Добро бы сами писали эти бумажки. Так нет же, опять-таки какие-то безродные пройдохи для них речи сочиняют. А потом, коль не лень, сочиненное кем-то кое-как, с горем пополам, пробубнят перед почтенными людьми, а если неохота, то заставят прочесть еще какого-нибудь проныру, каковых под их рукой всегда пруд пруди. Тех, кто дело разумеет, и близко к себе не подпускают. Вот и ошивается возле них, прости господи, всякая шлында.

В самом деле, кто ныне заправляет всеми делами в царском дворце? Бедная Россия! Одни иноземцы ею правят, другие ее грабят. Самое же смехотворное то, что им — правителям и грабителям — противостоит тоже иноземец. Ныне без прямого вмешательства и участия пришельцев Бирона, Миниха, Остермана ничего в России не решается.

Даже с послами заморских стран беседуют не русская самодержица, не многочисленные русские вельможи-придворные, а какой-то прощелыга Остерман, оскандалившийся в далекой Вене и нашедший приют вблизи царских покоев. Странно, будто без услуг иноземных бродяг и беглецов России никак не обойтись. И даже русские самодовольные и родовитые сановники угодливо смотрят им в рот. Без них шагу не ступят. Объявят войну — так непременно кто-нибудь из них возглавит поход. Выиграют русские сражение — слава достается все тем же иноземцам. Проиграют — тоже не беда: тотчас заключают мир, который сами же объявят выгодным, и опять набьют себе карманы, увешают грудь орденами, вознаградят себя всевозможными почестями. И если при этом перепадает кое-что и дуболомным русским сановникам, то те тому и рады. А державнейшая великая государыня императрица, во имя которой совершаются все благовидные и неблаговидные деяния, на все равнодушно взирает. Одурманенная лживыми и льстивыми речами, она скрип трона под тяжестью ее пышных чресел воспринимает за прочность власти, а умение говорить свысока, надменно, с выпученными очами — за грозное величие, невнятный лепет лизоблюдов, бездумно толкущих в ступе ее же слова и толкующих их на все лады,— за находчивость и мудрость. То, что она важно восседает на золотом троне, окруженная толпой послушных невежд и хитрых и коварных льстецов, поддакивающих каждому ее слову, царица склонна рассматривать как незыблемую мощь и вечное благоденствие подвластного ей Российского государства. Все, что происходит на белом свете, она в состоянии воспринимать лишь через льстивые слова, угодливые души, подобострастные взгляды, холуйские поступки. И потому преуспевают при ней бесчисленные проходимцы и тунеядцы, изощренные в столь приятном для всех владык искусстве пускать пыль в глаза.

Еще куда бы ни шло, если бы господь бог обделил русских талантами и не было бы никого вокруг, кому можно б было доверить государственное дело. Но мы слепы. Или притворяемся слепыми. Делаем вид, что ничего не замечаем. Разве мало было птенцов из Петрова гнезда, не говоря уже о других? Куда они все нынче подевались? Одних едва ли не живьем загнали в могилу. Других сослали на край земли. Третьих шельмуют, преследуют, унижают всякие проходимцы прямо на глазах у ее величества. И вовсе не потому, что неумелы, беспомощны и равнодушны к

отечеству. А потому, что ими правят невежды, не способные отличать истину от лжи, добро от зла, возвышенное от низменного... Иначе разве томился бы здесь, в глухомани, на задворках империи, среди неучей, он, Василий Никитич Татищев, столь давно служащий России верой и правдой и ученостью своей прославившийся на всю Европу? Разве терпела бы безропотно столько унижений и оскорблений его бедная головушка, восхитившая в свое время самого Петра Великого? Нынешним правителям и дела нет до того, что он, Татищев, познал, что им неведомо, знает, что им недоступно, и размышляет о том, что им никогда и в голову не придет и во сне не приснится. Для них, равнодушных к просвещению, к наукам, к искусствам и ремеслам, все едины — и многомудрый Татищев, собравший богатейшую библиотеку об истории России и русских с древнейших времен, когда достославные предки бродили еще в непроходимых лесах в медвежьих шкурах, до нынешней поры, когда раздувшиеся от спеси и гордыни потомки перестали замечать друг друга, когда получили власть такие, как невежественный, вздорный уфимский воевода Шемякин, не способный запомнить даже фамилию того, у кого накануне брал взятку. Более того, для царевых прихлебателей шемякины, пожалуй, даже предпочтительней. И потому неудивительно, что в такую смутную пору, в пору безвременья, преуспевают всюду проходимцы, лихоимцы, невежды, а в загоне — люди честные, знающие, к судьбе отечества сострадательные. Все эти достоинства ныне не в почете.

Будь в цене трезвый рассудок, разве робкие волнения среди башкир превратились бы в столь опасный пожар? Если бы вовремя вняли его, Татищева, мудрым советам и предостережениям, башкирский мятеж можно б было предотвратить. А так — сколько потеряно времени, сколько на ветер пущено средств, сколько загублено жизней, сколько упущено возможностей — уму непостижимо! Между тем нет ничего проще, чем управлять раздираемыми междоусобицей туземцами. Ну зачем, в самом-то деле, приучивать их к какому-то порядку и дисциплине? Все равно ни для службы в армии, ни для работы на заводах они не годятся. Вернее, невелик от них прок. Хлопот не оберешься. Пусть себе живут, как жили. Пусть пасут скот да скачут наперегонки со степным ветром. Главное, чтобы тебе не мешали. На твои гарнизоны и крепости не нападали. И против пользования наземными и подземными своими

богатствами не возражали. И все! И достаточно! Остальное пусть тебя не касается. Пропади все пропадом! Не вмешивайся. Твое дело — сторона. Конечно, для того, чтобы тебя понимали, чтоб ты мог сохранить свое влияние, целесообразно, пожалуй, кое-кого из туземцев учить. Ради этого он и озабочен составлением русско-калмыцких, русско-башкирских, русско-татарских словарей. Ради этого он и поручил составлять учебники для начальных туземных школ. Понятно, что такие школы дадут лишь зачатки знаний и окончившие их отнюдь не будут искушены ни в науках, ни в искусстве. Этого им и не надо. Важно, что тем самым увеличатся недоучки, способные, однако, запечатлеть на бумаге бесконечные тяжбы и интриги между аулами, улусами, родами. Со временем, постепенно-незаметно, власть от родоправителей перейдет к этим малограмотным писарям и толмачам. А это на руку Российской державе. Считай, что таким образом повод правления туземцами сам по себе окажется у представителей властей. Вот так и надобно действовать, не торопясь, исподтишка, терпеливо, чтобы склонные к безмятежно-созерцательной жизни туземцы и сами не заметили, как очутились в искусно расставленных сетях. Вместо этого взялись действовать круто, силой и угрозой, прибегая к привычному исконно русскому мордобою. А чего достигли? Когда часть родоправителей насторожилась и ощетинилась, надо было немедля задобрить подарками и подкупами остальных владетелей улусов. Но и до этого испытанного способа не додумались, наоборот, решили на всех нагнать страху безрассудными карательными мерами и добились того, что взбунтовалась вся Башкирия. Тушить же разбушевавшийся степной пал ох, как непросто.

Боже праведный! До чего же легко можно было подкупить самых отъявленных главарей мятежников! Ведь это тебе не авантюристы при европейских дворах, которые требуют миллионы. Бунтовщика-туземца помани лишь пальцем да посули каких-нибудь сладостей на десять копеек и разноцветных тряпок рублей на пять, и он уже будет рад и счастлив до безумия. Ради него не стоит измышлять какие-то головоломные ходы и прибегать к особым хитростям. Достаточно быть предупредительным, в меру учтивым и улыбчивым. Туземец по нраву своему женоподобен. Взъерепенится вдруг ни с того, ни с сего, близко к себе не подпустит. А коль найдешь расположение к его душе — будет служить верой и правдой. Галантное

обхождение и тонкая лесть необходимы не только для того, чтобы обольщать чужую жену, но и для того, чтобы добиться расположения чужого народа. Особливо безотказно действуют лесть и подобострастие на главарей туземцев, сплошь невежественных, спесивых и хвастливых. Чтобы держать их в узде, большого ума не надо.

Сколько раз он и Румянцев внушали эти простые истины ныне покойному Кирилову! И так, и сяк толковали ему — все напрасно. Просидевший многие годы в Сенате, в тепле и уюте, неуемный, нетерпеливый фантазер Иван Кирилов, получив, наконец, огромную власть, решил в наикратчайший срок осуществить все свои давние, вожделенные, красивые и в той же мере несбыточные мечты. И вот к чему это все привело...

Жестокими карательными мерами намеревались быстро подавить вспыхнувший башкирский мятеж. Ан не вышло!.. Туземцы не оробели, не дрогнули.

Волнение охватило все слои населения. Обе стороны ожесточились, рассвирепели. Немало было пролито крови, немало сожжено деревень. От жестокости рождалась жестокость. За смертью следовала смерть. В то время, когда каждый шаг передвижения на юг России давался ценой неслыханных потерь, зачем надо было бесцельно проливать еще кровь на востоке? Те, что толпились возле царского трона в далеком Петербурге, никак понять этого не могли. Зато первыми это поняли сами туземцы. Поняли — и ради спасения своих жен и детей обратились за посредничеством к казахскому хану. И делая вид, что не могут отказать в просьбе только недавно принявшего русское подданство хана Абулхаира, тугодумные заправилы Петербурга затеяли привычную им возню с бесконечной пустопорожней перепиской. И по-прежнему упорствуют, не в силах снизойти до мольбы о пощаде к обескровленным башкирам. Не зная истинного положения дел, находясь в другом краю света, по неизбывной близорукости своей стали также остерегаться казахского хана, подозревая его бог весть в каких прегрешениях. Конечно, он допустил кое-какую оплошность, но надо же быть снисходительным и не делать из мухи слона. В конце концов мы ведь сами желали, чтобы он вмешался в дела башкирских мятежников. И он пошел навстречу нашему желанию. И в какой-то мере способствовал установлению спокойствия. Заставил-таки самых отчаянных бунтовщиков ради их детей и жен сложить оружие. Так почему же нам не поддержать столь

благоприятную дипломатическую возможность? Почему же не воспользоваться ею в дальнейших своих целях? Совершенно очевидно, что жестокость, проявленная по отношению к башкирам, отпугнет и других кочевников. Тогда путь России к Востоку еще более усложнится. В расширении своих границ к югу и к востоку нынешние правители империи не проявляют последовательности и недостаточно гибко используют, где надо, силу оружия и дипломатии. Делать ставку исключительно на усмирение народа силой недальновидно. Перебьешь, скажем, башкир, за ними стоят кайсаки, за кайсаками — джунгары, за джунгарами — многочисленные среднеазиатские ханства. Всех не перебьешь. А вот напугать и противопоставить их себе — проще простого. В таком случае только сыграешь на руку цинскому дракону, не спускающему с тебя глаз на востоке, и британскому льву, простирающему к тебе когтистую лапу на юге. Не считаться с малыми народами никак нельзя. Не обхитришь их — обхитрят они. Не столкуешься с ними по-доброму — отвернутся. И не просто отвернутся, а переметнутся к другому, более сильному. Ибо малому народу без могущественной протекции не обойтись. И у него всегда будет выбор. И из двух неминуемых зол он, естественно, выберет наименьшее. Значит, пугать малые народы силой и угрозами так же бесполезно и бессмысленно, как и палить из пушки по воробьям. Большой народ держи кулаком, малому народу льсти языком! Такова извечная мудрость. Так было. И так будет. Но разве доступна сия истина тем, кто не видит дальше собственного носа и, упиваясь спесью и гордыней, не заботится о том, что грядет завтра?!

Никакой особой опасности в том, что Абулхаир стремится стать одновременно и башкирским ханом, Татищев тоже не усматривает. Для того, чтобы русская промышленность проникала и дальше Каменного пояса, некоторые трения между царскими правителями и башкирами могут сослужить даже пользу. Поэтому нет смысла лишить Абулхаира давней надежды.

Увы, сие не от него, Татищева, зависит. Как говорится, ключ удачи в руках всевышнего. Желания высоки, да руки коротки. Будь во всем его воля, он погасил бы очаги волнений, наказал бы по заслугам неисправимых смутьянов, приласкал бы верных и надежных, умилостивил бы попутно и кайсацких султанов и давно приступил бы к строительству крепости...

Что поделаешь... Никак не смилостивится к нему державная государыня императрица. Все, что бы он ни предлагал, ни говорил, ни делал, упорно не одобряется в Петербурге. И так скажет — плохо, и эдак скажет — худо. Сколько разумных прожектов предложил он за один только последний год!.. И ни один не удостоился внимания. Те, что облепили царский трон, как мухи мед, пуще огня боятся славы Татищева. Им только и хочется, чтобы он там, в башкирских и кайсацких степях, осрамился, обломал себе зубы, запутался в неблаговидных делах, за которые они, сидя в Петербурге, могли бы учинить над ним расправу.

Теперь вот требуют, чтобы он в срочном порядке отправился в Оренбург. Настаивают: выступить в полном вооружении. Требуют нагнать страху на новых подданных. А о том, что, зная о твоих намерениях, припожалуют ли к тебе на твой зов привыкшие к дикой воле правители кочевников или разбегутся по всей степи,— не подумали. Ну, допустим, соберет он их, начнет сверкать на них грозными очами — много ли с того толку? Испугаются ли? Послушаются ли? Или, выслушав тебя, только на твоих глазах изобразят покорность и смирение, а когда разъедутся по степи — поминай как звали? Ведь на каждого строптивого неука петли не накинешь. Да и нужно ли? Особенно при нынешних обстоятельствах.

Да-а... Прежде чем выехать к устью реки Орь, о многом следует подумать. Вступление кочевых народов в российское подданство, должно быть, не ограничивается лишь принятием горсткой родоправителей торжественной присяги и подписанием бумаги о верности ее императорскому величеству. Одним только этим актом кочевников не удержишь. Тут необходимо предусмотреть все: какая в этом для них корысть? Какую выгоду имеешь ты? Как ты намерен строить с ними свои отношения? Как они отнесутся к тебе? Когда следует их погладить по головке, когда — пригрозить лишь пальчиком, а когда — и стукнуть кулаком по темени? К какому из всех этих способов целесообразней прибегнуть? Вот о чем приходится теперь ломать голову историку, дипломату, специалисту горного дела, многогранному и цельному Василию Никитичу Татищеву.

Но и это еще не все. Прямо-таки за глотку хватают калмыки. Жалуются: напали на них в прошлом году кайсаки, учинили разбой и грабеж; угнали скот, увели с собой

юную жену, детей и весь аул наследника калмыцкого хана, о судьбе которых и поныне ничего не известно. И требуют: или уймите, призовите к порядку своих необузданных новых подданных, или позвольте собрать войско и отомстить им за все сполна. Как тут быть? Разве можно о том промолчать при встрече с кайсацкими предводителями? Промолчишь — оттолкнешь от себя калмыков. Заговоришь об этом — вскинутся на дыбки кайсаки. Для них это самое болезненное место — все равно что чесотка в паху. С другой стороны, бог знает, как поведут себя калмыки, если не станешь им потакать. Одни из них, послушные воле царицы, совершают набеги на кубанских ногайцев, находящихся под влиянием Турции, другие же постоянно нападают на прикаспийские и прияицкие казачьи станицы и русские деревни и гарнизоны и сплавляют пленников хивинским купцам, торгующим рабами, подбивая на это дело и соседних кайсаков. Понятно, в душе каждого инородца тлеет затаенная обида, как у пасынков. С этим нельзя не считаться. И надо, поелико возможно, своевременно гасить всякую обиду. Иначе она обернется болью, которую уже не излечишь. Может, потому самое разумное сейчас — вообще не вмешиваться в отношения между кайсаками и калмыками? А если вмешаться, то каким образом?

Такова еще одна серьезная преграда, которую предстоит одолеть по приезде в город у устья реки Орь.

И еще... башкирский мятеж. Это уже не преграда, а тяжкий горный перевал. Ни миновать, ни обходить его никак невозможно. Об этом кайсацкий хан наверняка заговорит первым. И в таком случае как ему ответить?.. Все сложно... все трудно...

В ласке и внимании нуждается не только подвластный тебе народ, но даже шелудивая собачонка в твоем дворе. Не погладь ее время от времени по шерстке да не подкинь ей сахарную кость — так она в один прекрасный день поднимет хвост трубой и уберется восвояси. А ведь под Российской империей не одно племя, не один народ. Попробуй одному угодить, а другому — нет... Излишняя ласка к одному непременно оборачивается обидой у другого.

Итак, на реке Орь, в строящейся крепости, должна состояться первая встреча непосредственного представителя ее величества императрицы с кайсацким ханом. Встреча первая, а потому особенно ответственная. От нее

будет зависеть очень многое и в настоящих, и в грядущих отношениях обеих сторон. Если переговоры окажутся скудными, не мудрено строптивых кочевников и вовсе настроить против себя. Если же проявишь излишнее радушие и пойдешь на какие-то уступки, можешь навлечь на себя еще больший гнев царицы. Там, в Петербурге, следят за каждым твоим шагом и спуску тебе не дадут. Скажут: вознес до небес кайсацкого хана, заигрывает с ним, с ослушником, который в отсутствие предводителя то нападет исподтишка на калмыцкие улусы, то вступает в сомнительный сговор с башкирскими мятежниками. Тутошние недоброжелатели, надо полагать, тоже начнут строчить кляузы-небылицы, обвиняя Татищева во всех смертных грехах. И там, наверху, особенно разбираться никто не станет. Опять же скажут: что ж... вполне возможно, этот нечестивец на все способен. А раз так, то ату его!..

Словом, куда ни кинь — везде клин. Нет ничего определенного, очевидного, на что можно б было опереться. Все предположительно, все туманно. И вот эта-то неясность, зыбкость во всем лишает человека воли и дерзновенности, связывает по рукам и ногам, делает его оглядчивым и трусливым. Бог свидетель, в бедной России не он один влачит столь жалкую судьбу. Сколько их, мытарей, было до него! И сколько их будет еще впредь!

Но сейчас речь не о предках и не о потомках. Тяжкий, непомерно ответственный жребий выпал на долю его превосходительства господина тайного советника Василия Никитича Татищева. Настал, должно быть, его звездный час, о котором мечтал когда-то его благодетель Петр Великий. Предводители кочевых племен, вольные сыны диких степей, ждут от него таких слов и деяний, в которых отражены будут не одного Татищева, а всей великой России ум, честь, могущество и слава.

Тяжкое испытание. Великая честь.

Что бы ни было, надобно вскорости собраться в путь, в далекий степной городок у устья реки Орь — навстречу судьбе...

После возвращения Абулхаира из башкирского похода в подвластных ему аулах царила тишь и благодать. Из Самары так и не поступило никаких вестей. Из крепости на Ори тоже ни слуху, ни духу. И от башкир редко кто наведывался к нему. И со стороны калмыков не поступало особых угроз. Но более всего удивляли тишь и спокойствие

среди казахов. В это было трудно поверить. Даже неисправимые пустобаи, собиравшие слухи со всей степи и спешившие обычно с ними в ханскую ставку, будто сквозь землю провалились. Может, недосуг им из-за перекочевки? А может, видя, что хан как бы затаился, ушел в себя, решили выжидать, не тревожить его напрасно?.. И то верно: на этот раз он не трезвонил на всю округу о своем походе в Башкирию, как это было с предыдущим — калмыцким — походом. А о том, что мятежные башкиры провозгласили его своим ханом, старался и вовсе не говорить. Если же излишне любопытные заводили о том речь, он отмахивался, отвечал нехотя, мол, да, была такая задумка у башкирских тарханов, только мало ли что взбредет им в голову, они ведь подвластны царице и без ее высочайшей воли ничего предпринять не могут.

Если уж казаха можно убедить подобной отговоркой, то, видно, и его осенила божья благость.

И все же на душе Абулхаира было тревожно. Что бы он ни предполагал, к каким бы ни приходил выводам — все равно сомнений оказывалось больше, чем уверенности. С надеждой сесть на трон башкирского хана, судя по всему, надо будет расстаться. С какой стати державная императрица отдаст ему, казахскому хану, бразды правления народом, над которым власть ее простирается около двух столетий? Отнюдь не о высочайшей ее поддержке идет речь. Дай бог, чтобы она хотя бы простила его дерзкие помыслы! Это стало уже известно из беседы под Орском с двумя толмачами — доверенными главы Оренбургской комиссии.

Да, не видать ему ханского трона башкир, как собственного затылка. А раз так, то и юная ханша-башкирка не придаст ему большого веса-значения. На этот раз и Бопай, старшая жена, повела себя необычно сухо и строго. Помнится, когда он привез из похода новую ханшу-калмычку, Бопай не только не возражала, а даже обрадовалась. Что ни говори, а месть сладка. Взять себе в жены дочь поверженного врага искони считалось и законным правом, и достоинством, и высшим выражением удовлетворенной мести. Теперь же Бопай как подменили. Равнодушие и усталость сквозили и в ее словах, и в поступках. Даже двигалась она вяло, будто через силу. Такая повадка свойственна старому рабочему атану-верблюду, на которого навьючили шанырак — деревянный остов юрты. Знает атан, что без него кочевье никуда не уйдет, а потому не спешит,

ступает степенно, с ленцой, с величавым достоинством. Так и Бопай. Ей, богом данной ханской супруге, почтенной байбише, матери взрослеющих сыновей, пользующейся большим весом среди родичей, были бы вполне позволительны и даже простительны вздорные бабьи выходки по случаю новой женитьбы мужа. Но она не позволяла себе никаких вспышек гнева и ярости. Держалась благопристойно. Однако эта ее сдержанность смущала и угнетала хана больше, чем безудержное буйство. В какую бы из своих юрт он ни заходил, в них уже не веяло привычной весенней благодатью, как прежде, а отдавало предзимним сумраком и изморозью. Как говорится, даже в ясный день он чувствовал себя промокшим до нитки.

Конечно, причин у Бопай для обид и тягостных отношений с мужем накопилось немало. Родной сын Ералы, отданный в аманаты, вроде бы и находится под боком, однако уже столько времени отлучен от родных и близких. Понятно, сердце бедной матери истосковалось по нему. Можно, конечно, Ералы забрать домой, но вместо него придется отдать в аманаты другого ханского сына. И участь эта наверняка постигнет сорванца Кожахмета. Таково суровое условие: в аманаты берутся лишь ханские отпрыски от первой жены. Бопай это знает и потому уже заранее терзается. Ералы как-никак окреп, вошел в ум, а Кожахмет — несмышленый мальчишка. Избалован — страсть. Если что не по нему — бросается на землю и орет благим матом. Одно у него на уме — шалости и забавы. С утра до вечера носится по аулу. С крашеными асыками за пазухой мечется от юрты к юрте. Если подвернется возможность объезжать неуков, и вовсе теряет голову. Манерами и повадками ничуть не похож на ханского наследника. Рядом с ним сообразительный Туяк, сын Тайлака, больше смахивает на султана, чем шкодливый Кожахмет. Ни о чем он пока не догадывается. Только и знает, что резвиться с Туяком и Злихой.

Но не судьба младшего сына — главная забота хана. Тревожит его предстоящая встреча с начальником Оренбургской комиссии. «Хан» звучит, конечно, внушительно. Однако как будет выглядеть его свита? Да и кто будет в его свите? Все ли владетели родовитых аулов отправятся с ним или кое-кто отстранится от встречи, считая, что приспело, наконец, время свести с ханом давние счеты? Вот это обстоятельство заставляет серьезно задуматься.

Самых верных и надежных людей хан заблаговременно отправил во все аулы. Они обязаны прислушаться к разговору старейшин, выведать их настроение. Только потом уж можно решить, кого стоит приглашать в свою свиту, а кого — нет. Многое зависит от донесений тайных лазутчиков.

Позволительно допустить, что не все упрямые и спесивые заправилы степи начнут ему ставить палки в колеса. Если и не все, то большая часть наверняка пойдет с ним. Тогда возникает другой вопрос: как их встретит высокородный доверенный русской царицы? Какие он окажет почести? Какие преподнесет подарки? Вот будет позор, если хан во главе пышной и богатой свиты припожалует на встречу из-за тридевяти земель, а встреча окажется скудной, как свадьба сиротки! Какими глазами он тогда посмотрит на кичливых своих спутников? Да разве они простят ему такой срам? Да они отныне в эти края и ногой не ступят. Более того, начнут злорадствовать на каждом шагу, не пощадят его ханского самолюбия. Скажут: «Ну чего ты к этим русским примазываешься? Все уши прожужжал нам про царскую милость и щедрость. Твердил: царица в обиду не даст. Защитит от птицы когтистой, от зверя клыкастого. И одарит, мол, и обласкает. А что из этого вышло?! Один стыд на нашу голову...» Добро бы, если б только злословили. Так нет, уйдут, непременно отрекутся от него. Ты изо всех сил стремишься подладиться к царице, угодить ей и тем самым возвеличиться над всеми остальными соперниками-султанами, а получиться может наоборот: потеряешь даже то, что имел. Еще полбеды, если все горести-напасти обрушатся на одну лишь твою голову. Однако, разочаровавшись в царице, казахские родоправители, скорее всего, шарахнутся в другую сторону, начнут искать опору и защиту в другом краю. Не приведи аллах дожить до такого! Заклятые враги джунгары тогда мгновенно вновь поднимут головы. Тотчас позарятся на казахские просторы и ближайшие соседи — башкиры, калмыки, туркмены. Начнут поочередно терзать-клевать казахов со всех сторон. Успевай только отбиваться. Настораживает и Карасакал. Этот велеречивый мошенник, говорят, успел задурить головы всем кавказским мусульманам. Слава о чем проникла и в Башкирию. И в казахской степи шастают его доверенные. Трудно ли сбить с толку простодушных степняков? На бедных казахов беда обрушивается за бедой. И какая корысть русским правителям в том, чтобы

взбудоражить своих соседей-кочевников и заставить их бежать врассыпную в неведомые края, словно гонимую волками отару овец? Нет в том ни корысти, ни здравого смысла. И он, Абулхаир, мог бы, конечно, попытаться внушить эту истину главе Оренбургской комиссии, только поверят ли ему после его калмыцкого и башкирского походов?.. Скорее всего, этим будут постоянно колоть ему глаза...

В эту тихую пору, когда сомнения вновь стали одолевать Абулхаира, неожиданно заявился Таймас. Ничего доброго его появление не предвещало. Пробрался он в майхану, будто нашкодивший кот, однако тотчас уселся на почетное место. И тут же огорошил недоброй вестью. В начале июня выехал из Самары Татеш-мурза. Направился в сторону города у устья Ори. За ним черной тучей двинулось войско. Одних только калмыцких сарбазов в нем шесть тысяч. Как это изволите понять?

Широколицый башкир натянул свою круглую шапку-борик на колено, обескураженно уставился на хозяина.

Сердце хана учащенно забилось, точно рыбешка, попавшаяся на крючок. Вот почему, оказывается, так затаились калмыки! Они намереваются отомстить казахам с благословения и с помощью белой царицы. Сами напасть все же не осмелились: как-никак они ведь подданные России. Государыне императрице может не понравиться, что ее подданные совершают друг на друга набеги. Конечно, все это время калмыки жаловались царице на ее новых подданных — казахов. А тут еще дошла до нее весть о самовольном походе Абулхаира на Башкирию. После этого разве может далее отсиживаться в Самаре новый начальник Оренбургской комиссии Татеш-мурза? Конечно, нет! Вот и двинулся он в степь с огромным войском. И шесть тысяч калмыцких воинов увязались за ним неспроста. Они отомстят Абулхаиру за последний его разбой. Или потребуют признать вину и немедля вернуть и награбленное добро, и угнанный скот с приплодом, и захваченных пленников.

И то, и другое для Абулхаира — нож в сердце. Если царица-благодетельница, на милость которой ты уповал, тебя же и карает за твои ничтожные прегрешения, то большего позора и придумать невозможно. Такой позор — смерти подобен.

Хан нахохлился и пристально посмотрел на вестника. Почему он, Таймас, пожаловал к нему с такой вестью?

Уж не испытывает ли он хана? В последний раз хан не навестил его, добрался лишь до Алдарбая. Может, обиделся? Может, недоброе чувство привело его сюда? Почему о выступлении из Самары Татеша-мурзы с грозным войском решил доложить первым именно Таймас, а не кто-либо другой из башкир?

Нет, на круглом, полном лице Таймаса не видно и следа подлого намерения. Кажется, вполне сочувственно и дружелюбно расположен к хану.

Однако... с какой стати белая царица заинтересована в его принародном посрамлении? Ведь из-за мятежных башкир ей нечего на него сетовать. Наоборот, благодаря его стараниям в башкирских улусах стало спокойно. А вот с калмыками действительно произошла промашка... Откуда ему было знать, что Дондук Омбо в это время выполнял задание государыни императрицы: пошел походом на ногайцев? Думал, что Дондук Омбо, привыкший к раздольным просторам, по собственному хотению отправился наслаждаться приятной прохладой Кавказского предгорья. Знай истинную причину его отсутствия, Абулхаир вряд ли бы решился на поход. Или во всяком случае проявил бы большее благоразумие и осторожность. Умолчали об этом и встретившиеся ему калмыцкие нойоны, и, как теперь выяснилось, со злым умыслом. Хотели таким образом досадить и Дондуку Омбо, и ему, казахскому хану. Своего они добились. Получилось, будто он злоумышленно напал на мирных калмыков в отсутствие их предводителя и войска. И тем самым как бы действовал в сговоре с ногайцами, ибо выступил против их врагов. Возможно, что именно так и расценили его действия, о чем враждолюбцы не преминули скорее доложить державной царице. И ее приспешники тотчас решили: «Ну, конечно, так оно и есть. Ведь и ногайцы, и кайсаки — мусульмане. Должно быть, втихомолку столковались. И вообще, кто знает, что на уме у кайсацкого хана? Не случайно он снюхался с башкирскими бунтовщиками, и те в зимнюю-то пору, подняв его на белой кошме, провозгласили своим ханом. Вероятно, он имеет виды и на ногайский трон...»

А он-то искренне полагал, что поход на калмыков принес ему большую удачу. Обернулось же все ему во вред. Эх, если бы он знал...

Но... опять-таки... если белая царица в самом деле ратует за покой и мир среди калмыков, башкир и ногайцев,

то почему бы не желать ей того же самого казахам? Разве не так? Разве не обязана она уделять своим новым подданным больше внимания, чем прежним, давним? Скорее всего, вынуждена оглядываться на них и поневоле считаться с ними. Да, да!.. Вот пусть и считается! Пусть почаще на них оглядывается! Ей это на пользу. По крайней мере, дурным салом менее обрастать будет... Нет такого закона, чтобы большинство всех попирало, а меньшинство лишь трусливо озиралось! Никого меньшинству попирать не дано, но зато большинство с ним считаться должно. Пусть царица не думает, что он лишь лакомый кусок, который приятно проглотить. Поперхнется! Будь его воля, он бы поводил ее на длинном поводке, не так-то просто дался бы ей в руки. Но что поделаешь, нет у него такой силы, нет подвластного ему единого народа. Пытался было пристегнуть к ханской тороке башкир, чтобы потом уж поторговаться малость с державной императрицей, да не вышло ничего из этой затеи. Аллаху не угодно было... Как бы он ни старался, никак не удается вырваться за пределы своих соплеменников, да и то не всех, а одного лишь остова — одного жуза. А племенным распрям и дрязгам никогда конца-края не будет. В таких условиях никто на тебя оглядываться не будет, скорее, сам оглядчивым станешь. Потому-то и не можешь никак развернуться во всю силу. Живешь, будто с путами на ногах. А между тем сейчас самое время показать, кто ты есть, набить себе цену, расправить плечи и выпятить грудь, дескать, белой царице нужно доброе расположение не одних лишь казахов, но и самого Абулхаира, а коли так, то попробуй не считаться с ним. Но где уж там... Не больно-то задерешь голову, когда вокруг тебя голо. Где она, твоя опора? Где она, твоя мощь? Гикнет враг за перевалом, и толпа, подвластная тебе, то соберется вокруг тебя, то разбежится врассыпную.

И вот надвигается еще одна напасть. А что к чему — попробуй-ка понять. В самом деле, что замышляет Татеш-мурза? Зачем ему понадобилось столь многочисленное войско? Ведь не в поход же собрался, а на переговоры. Может, для устрашения кочевников? Пусть, дескать, знают грозную цареву силу. Что ж... смысл в том есть. Мало ли опасностей на долгом пути? Тут тебе и мятежные башкиры, и враждующие между собой калмыки, и ненадежные, то враждующие с царицей, то сочувствующие ей яицкие казаки. Им ведь не помешает показать мощь русского

оружия, дабы не кичились, думая, что без их поддержки царица пропадет. Нет уж, стоит ей только поманить пальчиком, как другие ринутся с превеликой радостью в ее подданство. Да и новым подданным — казахам — следует внушить почтение к войску ее величества императрицы. Помнится, еще Нуралы рассказывал, что у русских есть обыкновение даже во время торжественной трапезы палить из пушек. Кто знает, может, и сейчас в честь переговоров затеют неслыханную пальбу? В таком случае, понятно, войско понадобится...

Да, скорее всего, так. Иначе зачем бряцать оружием? Зачем пугать новых подданных? Не дети ведь...

Но эти думы ненадолго утешают хана. Тотчас осеняет его тревожная мысль: шесть тысяч калмыцких всадников. Они-то для чего? Не маловато ли для военных игр? И разве нельзя было обойтись без калмыков? Нет! Должно быть, неспроста это...

Усугубляя тревогу хана, нагрянул однажды нарочный от русских. Ввалился, волоча на боку длинную саблю, щелкнул каблуками, с ходу объявил: «Прибыл по повелению господина Татищева!» Абулхаир удивился. Обычно гонцы, соблюдая приличия, учтиво входят в юрту, почтительно здороваются, проходят на почетное место, обмениваются словами вежливости, терпеливо ждут, когда хозяин спросит о цели приезда. А этот долговязый нечестивец гаркнул с порога: «Его превосходительство господин Татищев велел передать, что в начале августа прибудет в город на Ори. Там он изволит свидеться с досточтимым кайсацким ханом. О точном дне встречи будет заблаговременно извещено. Честь имею!»

Обескураженный хан, однако, подумал, что верзила-гонец должен быть из тех простодушных малых, у которых что на уме, то и на языке. Он принялся было осторожно выспрашивать его о том, о сем, но гонец упрямо твердил одно и то же: «Не могу знать!» Уже один этот ответ насторожил хана. Видно, дело затевается нешутейное, если даже у гонца рот на столь строгом замке...

Что же в самом деле получается? Ведь как бы там ни было, он управляет немалым людом! В конце концов он хан! А русские правители никак не желают брать это в толк и настойчиво подсылают к нему кого попало: то какого-то крещеного татарина, а то и вовсе безродного бродягу-беглеца. И откуда у них они только берутся?! Ничего толком

не объяснят, по душам не поговорят. Одно долдонят: делай так, а иначе поступать не смей! Даже его желаниями не поинтересуются. Хоть бы присылали кого-нибудь мало-мальски сведущего. Нет, одни недоумки! Почему так? Может, нарочно? Чтобы не выдавали никаких тайн? Или чтобы унизить ханское достоинство? Странная какая-то игра. Игра в прятки. Уже больше месяца, как выступил Татеш-мурза из Самары. Почему он так долго в пути? Не казах же он, которому приличествует завернуть в один аул к тетке на поклон, в другой аул — к свату на чай, в третий аул — к свояченице на игрища. То, что он по пути осматривает недавно построенные крепости и гарнизон,— только для отвода глаз. На самом деле он наверняка выведывает у тамошних народов, как они относятся к своим ближайшим соседям-казахам. И можно себе представить, как те отзываются о них. Очень, должно быть, нелестно! Калмыки, понятно, кроют последними словами. Башкиры сейчас разделились надвое, и если одна часть и промолчит, то другая — честит казахов и в хвост, и в гриву. О яицких казаках и говорить нечего. Эти охальники первым долгом лихо пройдутся по всей женской половине киргиз-кайсацкого рода. Потом обложат непотребным словцом и мужскую половину до седьмого колена. Потом, распалившись, не пощадят женской чести самой матушки императрицы в далеком Петербурге. Все ей припомнят: и то, что позволила мутить калмыцким табунам светлые воды Яика, и то, что по ее милости неуклюжие и вонючие кайсацкие верблюды топчут тучные приречные луга, и то, что она, вседержица российская, бессильна вернуть с невольничьих рынков Хивы проданных туда лживыми кайсаками несчастных пленных соотечественников...

Нет, не услышит многомудрый и хитроумный Татеш-мурза ни одного доброго слова о казахах ни от калмыков, ни от башкир, ни от казаков. Вот так-то, хан Абулхаир, сын Абдоллы!.. Намеревался ты царицу вокруг пальца обвести, да как бы самому не попасть в ее силки. Ты полагал, что она по головке тебя погладит, а теперь как бы она не щелкнула тебя по носу. Как же... ты теперь ее подданный, хочет — помилует, хочет — накажет. Захочет взять тебя в аманаты вместо сына — ты и пикнуть не посмей. Вряд ли кому-нибудь из твоих соплеменников придет в голову вызволить тебя. Да они от тебя, известное дело, тотчас отрекутся. Скажут: «Аллах упаси от красноглазого лиха и царицыного гнева! Уж в чем в чем, а в псах

и ханах у казахов никогда нехватки не было. Один околеет, другой народится. А белая царица — что волчий капкан. Хочешь спастись — держись подальше, близко подойдешь — попадешься. А как попался — так в каталажке оказался. Нет, нет... лучше с ней уж и не связываться!»

Ничего от гонца-молчуна, присланного Татешом-мурзой, хан так и не добился. Только еще больше взбаламутил душу. Отпустил его восвояси, сказав, что прибудет в крепость на Ори при первом же зове.

С этого дня в просторной майхане Абулхаиру стало тесно. Ныне он даже не решился откочевать на вольные травянистые просторы Золотого свода казахской степи, а теснился среди ущелий и барханов между Иргизом и Каракумами. Куда ни посмотри — все вокруг скудно и уныло. Голубое марево, зыбящееся у горизонта, уже не манило, как прежде, не возбуждало мысль, не возвышало душу, никуда не влекло, а, наоборот, навевало тоску и точно затягивало в омут. Ширь, еще вчера казавшаяся беспредельной, ныне сузилась до размера убогой лачужки бедняка. Куда ни повернись — сомнения. О чем бы ни подумал — печаль...

Абулхаир с нетерпением ждал хоть каких-нибудь вестей. А их все не было. Разные же слухи, доходившие до него, не утешали, а еще более усугубляли тревогу, давили тоской на душу. И потому, когда с востока показалась группа всадников на ухоженных конях, сердце его екнуло. А выслушав после обмена традиционными приветствиями рассказ шакшактинца Букенбая, и вовсе приуныл.

Выяснилось, что такой же молчун гонец от Татеша-мурзы прискакал и в улус батыра Жанибека. И доложил он то же самое, что и Абулхаиру. Оказался тот гонец, однако, менее замкнутым: не стал скрывать, что еще один гонец с тем же заданием отправлен также в далекое Прииртышье — к Абильмамбету и Абильмансуру. Должно быть, эта весть встревожила и Жанибека, и потому он тотчас снарядил к хану Букенбая из рода шакшак.

Эта весть не только обескуражила Абулхаира, но и ошеломила, даже унизила. Он пришел в бешенство. Как изволите понять поступки высокопоставленных царевых слуг? С какой стати вздумали они заигрывать с потомками Жадика, которые до сих пор не желают признать себя

подданными России? Отчего столько к ним внимания?.. Попробуй отгадай эту загадку... еще одну загадку...

От непосильных дум серое лицо хана избороздилось морщинами. Под глазами набрякли мешки. Большие круглые зрачки точно сузились и колюче поблескивали из-под нависших век.

Пока совершенно ясно только одно: предстоящей встрече у устья реки Орь белая царица придает больше значения, чем он предполагал. Судя по всему, ее величество императрица заинтересована сейчас в подданстве казахов более, чем в верности башкир и калмыков. И именно по этой причине она намерена собрать всех влиятельных казахских родоправителей. И хотя знает, что относятся они к ней по-разному, решила, должно быть, всех в равной степени одарить своим вниманием и милостью. Что побудило ее к таким действиям — тоже понятно. Кто стоит за казахами? Джунгары. А еще дальше? Китай, Бухара и Хива. Бадахшан и Индия. Честь, оказанная казахам, несомненно, заставит их задуматься. Усиление российского влияния не может их оставить равнодушными. На это царица и рассчитывает. Ей важно, чтобы на пышном торжестве в крепости на Ори присутствовало как можно больше знатных казахов, чтобы они воочию убедились в могуществе и богатстве России. Пусть они сами убедятся в выгодности быть ее подданными. И пусть о том возглашают на всех перекрестках беспредельной Азии. Без сомнения, именно к этому стремятся и царица, и ее верные люди в Самаре. Теперь-то уж все понятно.

И от этой догадки совсем худо и тягостно стало Абулхаиру. Выходит, для русских правителей и он, уже столько лет преданно служащий им и постоянно рискующий при этом своей головой, и упрямые и кичливые потомки Жадика, не желающие признать царицу,— все едины?! Как же так?! Уж не раскусили ли многомудрые царевы прислужники все его сокровенные помыслы и не затевают ли с ним хитрую игру? Очень даже может быть... Государыне императрице нужны киргиз-кайсацкие просторы и его племена, а не какой-то хан... Угодного ей хана она всегда найдет...

Конечно, Абулхаир — тюре, белая кость. Но ведь представители династии Жадика — тоже тюре. И, понятно, также мечтают о ханстве. И не только мечтают, а отчаянно рвутся к ханскому трону. Только что с этого? Царице-то какое до этого дело? «Да перегрызите вы все друг другу

глотки!»— так, должно быть, она считает. А ведь ничего более унизительного для Абулхаира придумать нельзя. Можно себе представить, как будут ликовать и злорадствовать его давние недоброжелатели — потомки Жадика. Непременно скажут: «Ну что, голубчик, далеко ли ускакал, столько лет усердно подлизываясь к белой царице?!» И что он им скажет в ответ?

И еще одно сомнение не покидало его: неужели для того, чтобы собрать всех влиятельных казахских родоправителей, главе Оренбургской комиссии понадобилось шесть тысяч калмыцких воинов? Никак это не укладывалось в голове. Однако бесспорно, что за этим что-то кроется. И вряд ли загадочный Татеш-мурза ограничится в своем походе одними калмыками. Вероятно, в своем долгом пути он прихватит и башкир, и яицких казаков. Но что им всем делать в маленькой крепости у устья реки Орь? Должно быть, они понадобились отнюдь не для того, чтобы ублажать казахскую знать или быть приставленными к ним в качестве коноводов. Может, многомудрый Татеш-мурза решил таким образом познакомить друг с другом давних и новых подданных России? Для какой, однако, цели нужно их знакомить? Они и без того друг с другом знакомы со стародавних времен. Да еще как!.. А, может, таким способом хотят их столкнуть лбами и заставить выяснять отношения? Кто преуспел во взаимных набегах? Кто кому больше должен?.. Пожалуй, так. Хотят быть посредниками и призвать всех к миру и дружбе? Но если казахи, калмыки, башкиры и яицкие казаки начнут выяснять между собой отношения, то это опять-таки на руку ненавистным потомкам Жадика. Они, понятно, тотчас встанут в позу, дескать, ни в каких дрязгах и усобицах мы не замешаны, а потому наше дело — сторона, знать ничего не желаем. Словом, опять-таки поставят под удар его, Абулхаира, и его улус. Ведь в самом деле, кто стремился стать башкирским ханом? Он, Абулхаир. Кто взял себе в жены юную дочь башкирского мятежника и преследовал тех, кто был на стороне русского правительства? Он, Абулхаир. Кто во главе бунтовщиков-башкир подошел вплотную к русской крепости? Он! Кто тем самым нарушил присягу? Он! Кто в отсутствие Дондука Омбо, исполнявшего поручение белой царицы, напал на его беззащитный улус? Опять-таки он, хан Абулхаир. Так кому же держать ответ за многочисленные прегрешения? С кого должен быть спрос? Ясно: с дерзкого Абулхаира. Во всем виновен он.

Только он! А всемилостивая государыня царица совершенно чиста и невинна и перед башкирами, и перед калмыками, и перед яицкими казаками, и вообще перед всем белым светом. И для казахов можно подобрать хана из других султанов. Слава всевышнему, в них недостатка нет. И выбор, скорее всего, падет на кого-нибудь из клана Жадика, который остался в стороне от дрязг и смут. Им того и надо. Они спят и во сне видят, как осрамится их давний соперник — хан Абулхаир. И ради этого они не остановятся ни перед чем. С готовностью примут любое подданство, лишь бы досадить Абулхаиру. В конце концов первыми вступили в переговоры с русскими они. И при Таукеле, и при Тауке, и при Каюпе их посланники не однажды побывали в Казани и Тобольске. И только при Абулхаире эти связи резко прекратились: не желала династия Жадика быть причастной к делу, затеянному отпрысками Усеке. И если теперь, спустя столько времени, царица вновь обратит свой благосклонный взор к потомкам Жадика, о, тут уж они повод удачи из рук не выпустят. В том сомневаться не приходится...

Очевидно также, что встреча в крепости у Ори — не заурядное сборище, куда следует мчаться опрометью по первому же зову. Для Абулхаира она, может быть, самое ответственное испытание. Пройдет ли он его с честью или с позором? Не уяснив этого окончательно, оседлать коня в путь нельзя. Просто так совать голову в петлю Абулхаир не станет. Пусть пока хитроумный Татеш-мурза заигрывает с потомками Жадика. Посмотрим, к чему это приведет... Если уж они столкуются между собой, тогда Абулхаир поведет себя с новым начальником Оренбургской комиссии гордо и дерзко. Терять ему в таком случае нечего. И, кто знает, может, как раз именно таким поведением он обретет в народе больше веса и популярности, чем имел до сих пор. Толпа вообще склонна поддерживать не потакающего, а возражающего, не покладистого, а дерзкого. Недаром говорят: не люби потаковщика, люби встрешника. Дерзость толпа нередко воспринимает как храбрость, как отвагу. А сочетается ли она с мудростью — это толпу интересует меньше всего. Но даже если он решится на дерзость, ему без верных союзников не обойтись. Значит, необходимо еще теснее сплотиться с батырами Жанибеком, Букенбаем, Есетом.

Решив так, хан немедля отправил к Букенбаю и Есету нарочных. В ханской резиденции — майхане — вновь уча-

стились тайные встречи и беседы. О чем там шел разговор, зачастую не ведали и приближенные хана.

После долгих переговоров между ханом и двумя Букенбаями (один из рода табын, другой — шакшактинец), а также строптивцем Есетом было принято решение послать предварительно к Татешу-мурзе послов. Их возглавят от казахов табынец Букенбай, от башкир — правитель башкирской ветви табынцев Таймас. Никто из инородцев не имеет больше заслуг перед белой царицей, чем они. И, следовательно, если уж с ними не станут считаться, то вообще трудно на что-либо уповать. Не случайно пленных аулчан калмыцкого наследника Абулхаир оставил среди жетыруйцев. Ведь калмыки по древнему обычаю должны выплатить кун, мзду за убийство, батыру Есету из рода тама. А имя батыра Букенбая известно даже державной императрице. Если бы не эти двое — Букенбай и Есет, верному посланнику царицы Мамбету-мурзе давно уже покоиться бы под каким-либо безымянным холмиком бескрайней азиатской степи. Коли при встрече Татеш-мурза очень уж настойчиво начнет попрекать казахов за их самочинный поход на калмыков, то Букенбай напомнит про свои былые заслуги перед русскими властями, а Есет — о злодейском убийстве его сына. В таком случае всякие хитрости и недомолвки отбрасываются в сторону, разговор пойдет предельно откровенный. Таков был наказ послам.

Не исключено, что Татеш-мурза примет послов радушно. Тогда они сделают вид, будто прибыли с единственной целью узнать, с какой свитой и с каким количеством сопровождающих людей надлежит приехать Абулхаиру на предстоящую встречу, и при этом попытаются осторожно выведать, с каким намерением едет в степь высокородный начальник Оренбургской комиссии и почему с ним столь многочисленное войско. Вызнав это, послы предложат обсудить порядок и цели намеченной встречи. И как бы между прочим намекнут, что было бы желательно сократить численность русского войска, особенно за счет калмыков и яицких казаков. А дабы не стравлять соседние племена, целесообразно вообще не выяснять отношения между ними. Об этом следует сказать совершенно четко и определенно. Мало ли что между ними до сих пор было! Попробуй теперь определить, кто перед кем больше провинился. Тут рискуешь зайти в такие дебри, из которых и потомкам до седьмого колена не выбраться. Раз уж все приняли

русское подданство, то следует впредь прекратить всякие распри и междоусобицы. Этого доброго начинания издавна последовательно придерживается казахский хан Абулхаир, первым со своим улусом принявший русское подданство, и потому его заслуги достойны особых почестей, которые не должны быть оказаны в такой же мере представителям клана Жадика или каким-либо другим султанам из династии Усеке. Если же эти вполне законные условия не будут соблюдены, то те родоправители, что первыми подкрепили своими подписями присягу о верности русской царице — Абулхаир, Нуралы, табынец Букенбай, Есет, Жанибек, шакшактинец Букенбай и поддерживающие их старейшины,— все как один решительно откажутся принять участие во встрече в крепости у устья реки Орь.

С таким уговором Букенбай и Таймас в сопровождении многочисленных нукеров отправились в путь в сторону заката солнца, и лишь когда они скрылись за крутосклонным длинным перевалом, Абулхаир, наконец, облегченно вздохнул. Он уже не чувствовал себя таким одиноким и потерянным, как еще совсем недавно.

На следующий день он проводил домой и шакшактинца Букенбая. Через него передал свои просьбы-наказы батыру Жанибеку. Времена надвигаются неспокойные. Пусть будет начеку. К возвращению послов надо бы еще раз свидеться. Неизвестно еще, как поведет себя новый начальник Оренбургской комиссии. В любом случае необходимо пуще прежнего крепить единство. Если, не приведи аллах, червь междоусобицы будет продолжать подтачивать единство славных сынов казахских, то в одночасье рухнут все надежды и благие намерения.

Теперь предстояло ждать возвращения послов. А ожидание — тягостно. Абулхаир не находил себе места. По его указанию в далекие казахские аулы, в улусы башкир и потомков Жадика были спешно отправлены лазутчики, которые должны были не только прислушиваться к людской молве, но и усиленно распространять разные слухи-кривотолки о предстоящей встрече с Татешом-мурзой. Дескать, новый правитель намерен столкнуть лбами казахов, башкир, калмыков и яицких казаков, что казахам Среднего жуза непременно попомнят их поход на башкир в пору правления хана Семеке, что башкиры и калмыки отторгнут часть казахских пастбищ, что отныне в аманаты будет взят сам казахский хан, а вместе с ним — по одному сыну от каждого знатного тюре и бия.

Хан знал: подобные слухи всколыхнут самых равнодушных правителей родов, ввергнут их в сомнения и тревоги, а многих заставят насторожиться: стоит ли в таком случае принять русское подданство? Видно, Татеш-мурза полагал с легкостью пристегнуть разом всех казахов к тороке своего седла. Как бы не так!.. Посмотрим, что он предпримет дальше...

Если хоть кто-нибудь из клана Жадика отправится в сторону Ори, Абулхаир встанет в позу обиженного. Как бы там ни было, он не пойдет на поводу хитроумного поверенного царицы. Интересно, как он в таком случае будет отчитываться перед нею?

Вскоре вернулся табынец Букенбай. Ввалился в ставку-резиденцию хана, грозя могучими плечами разворотить косяк. Был он в добром настроении, весело поблескивал глазами. Рассказывая, то и дело насмешливо-добродушно похохатывал. Его послушать — так ничего страшного и опасного на свете не существует.

— Я-то полагал, что ваш Татеш-мурза — грозный и могучий детина, а он так себе, жиденький и щупленький, точно перепел!..

— Однако, почтенный батыр, вас ведь не силой с ним помериться послали. Расскажите лучше о его думах-помыслах...

— Да какие там думы-помыслы!.. Встретил нас хорошо, радостно. Сам вышел. Узнав о нашей цели, лицом рассиял. «Очень кстати,— говорит.— Я и сам по этому делу собирался отправить к вам нарочных». Рядом с ним Мамбет-мурза. Тоже обрадовался встрече с нами. Все прекрасно помнит. При мне начал рассказывать Татешу-мурзе о своей поездке к нам...

Лед сомнения, сковавший душу хана, слегка тронулся.

— Почему же так долго продолжался его путь из Самары?

— Очень много, оказывается, строится укреплений. Он их по пути все осматривал. И нам одно такое укрепление показал. Сложное, оказывается, дело. Не просто рвы копать да стены воздвигать. Возни разной много. Чтобы вникнуть во все — понятно, понадобится время.

— Допустим. А зачем ему понадобилось шесть тысяч калмыков?

— Какие там шесть тысяч?! Да их всего-то еле-еле до двухсот наберется. Да и те все крещеные. Дондука

Омбо хоть живьем проглоти — они и пальчиком не пошевелят.

— Какова основная цель поездки на Орь?

— Хочу, говорит, встретиться с ханом Абулхаиром. Хочу собственными ушами услышать о его желании принять подданство русской царицы.

Добродушие батыра, однако, не убеждало хана. Он продолжал хмуриться, не зная, верить словам своего посланника или нет. Хотел бы поверить — да все уж слишком ладно-складно получается. Но как не верить, если то говорит не словоблуд какой-нибудь, а сам Букенбай?

— И ничего не сказал ни о башкирах, ни о калмыках?

— Нет.

— Ну, а сами... не пытались о них заговорить?

— С какой стати?! Сами ведь предупреждали: гляди, мол, по обстоятельствам, если не затеет разговор — помалкивай.

— Это, конечно, так. Но все же не пытались что-нибудь осторожненько так выведать?

— Да вздор все! И беспокоиться нечего! Поезжай... будет тебе и почет, и слава.

Но эта уверенность батыра не передалась хану. Наоборот, он еще сильнее сдвинул брови.

— А почему он приглашает отпрысков Жадика?

— А они и не поедут. Нам встретился нарочный, посланный к ним. Оказался башкир, знакомый Таймаса. И Абильмамбет, и Абильмансур отказались поехать, сославшись на даль.

Только теперь у Абулхаира дрогнула жилка возле глаз. Батыр вернулся довольный и безмятежный, но хан никак не мог избавиться от сомнений. Как бы многоопытный русский правитель не обвел вокруг пальца простодушного степняка...

Через неделю со стороны Ори опять показалась группа верховых. Посередине ехали давний знакомый — пожилой серолицый татарин и Таймас. Оба отчего-то радостные. Рты до ушей. Оказалось: Татеш-мурза прибыл, наконец, в крепость на реке Орь. Едва прибыв, встретился с находящимся в аманатстве наследником хана Ералы, который вновь присягнул в верности белой царице. В честь этого события был проведен грандиозный пир. Палили из пушек. Огласили всю окрестность ликующими возгласами, произносили здравицы в честь ее величества императрицы, казахского хана и его наследников-сыновей. Пожилой татарин, захле-

бываясь от восторга, перечислил все подарки, которые русский правитель вручил Ералы: несколько аршинов красного бархата, золотой парчи, лук, отделанный серебром, шкурки черно-бурой лисы, именная серебряная печать и посеребренная уздечка. И вообще много разных почестей было оказано Ералы. И Таймас, и пожилой татарин Бахметев присутствовали на том торжестве и все видели собственными глазами.

Хан не разделил восторга нарочных. Что-то настораживало. За какие заслуги Ералы такая честь? Столько лет на него, томящегося в аманатстве, внимания не обращали, и вдруг такая неслыханная милость! Уж не хотят ли его таким образом заманить в шелковые силки? Вскружат голову юнца лестью и подарками, а его, хана Абулхаира, отправят потом ни с чем восвояси?.. С них все станется...

Абулхаир не спешил с ответом и продержал посланцев Татеша-мурзы несколько дней при ханской ставке. Сам же спешно отправил во все аулы расторопных гонцов. Вскоре они вернулись один за другим возбужденные, шумные. Можно было подумать, что в гонцах ходили одни горлопаны.

— Высокочтимый хан! Аулы рода шакшак готовы сопровождать вас все от мала до велика. Но выбор пал на самых достойных. Вот они: сыновья Кошкара Жанибек и Турлыгул, сын Биркуртки Букенбай, сын Тнея Шалик, сын Улыкула Хасен, сын Арыстана Келтекара, сын Аюпа Едилбай, сын Акназара Жанибек, сын Жаманкула Базар, сын Алдияра Карапалуан.

— Это что же? Все шакшактинцы, выходит, готовы оседлать коней?!

— Не отстанут от них, судя по всему, и другие аргинцы. Из рода саржетим собираются поехать сын Буги Шагир, сын Алдияра Омирзак, сын Куттыбая Комшабай, из рода тортуул — сын Кареке Токбура, из рода алтай — сын Мырзатая Шогирбай, из рода кантыгалы — сын Жанибека Кажигул, сын Кулжамурата Байбулат.

— А как настроены ближние соседи — кипчаки?

— По слухам, готовятся в путь из рода кулденен сын Рысымбета батыр Тюле, сын Кубаная батыр Сатай, из рода узун — сын Габдрахмана батыр Тлеули, сын Куттука Касымбет.

— А что многочисленные найманцы? Среди них тоже кто-то рвется в путь?

— А как же! Вы же знаете гордеца Шурека. Он и перед

ханом головы не склонит. Так вот, представьте, надумал поехать! Ну если так, то за ним весь род найман тронется. Даже сын Кондыбая Ураз, и тот, сказывают, встрепенулся, как ястреб перед взлетом.

— Надо же! В таком случае, действительно, никто из найманцев дома не усидит...

— Должно быть, так! Сын Жанкисе Конакай, сын Кожагельды Айткул, сын Алдияра Кенжебай, сын Канбалы Сарыкул так и заявили: «Пусть потомки Жадика поступают, как хотят, а мы непременно поедем!»

Лицо хана оставалось по-прежнему непроницаемым, однако в душе он ликовал. Конечно, это было бы для него большой удачей, если старейшины названных аулов пошли бы не за потомками Жадика, а за ним. Кто бы осмелился после этого отрицать его растущее влияние среди казахов Среднего жуза?!

— Какие же вести из аулов Младшего жуза?

— Многие бии из рода байулы решили последовать за султаном Нуралы. В тех аулах, надо полагать, редко кто воздержится от поездки на Орь. О намерениях родов адай, бериш, исык, таз, есентемир, серкеш, кзылкурт, тана мы узнаем, когда на Орь прибудет молодой султан. Пока что имеются сведения от сына Сейтимбета Сейткула, сына Бутпаная Байсау, сына Кутты Маркази из рода алаша, от сына Кашкына Утетлеу, сына Байбори Токбая, сына Ханкельды Кожагула из рода жанпас. Они изъявили желание выехать в путь отсюда вместе с вами.

— До нас дошли достоверные сведения, что сын Жылкельды Кулкельды, сын Жолбалды Тулебай, сыновья Хафиза Жаманкул и Конакай, сын Тукимана Калыбай, сын Жаксыбая Сатай, сын Жанета Сатибек, сын Амандыка Куат, сын Карымсака Кубек, сын Кошкинбая Каржау съезжаются в ауле батыра Букенбая.

— А от сына Менглибека батыра Серке, сына Жумура Турлыбая, сына Кокше Жабака из рода жагалбайлы, от сына Оразкула батыра Хакима из рода кердеры, а также от сына Сары Атакуза и сына Омара Кырбаса из рода тама прискакали порученцы. Просят точно указать, когда выступить в путь.

— Ясно. Пока в здравии и силе Букенбай и Есет, можно всецело полагаться на род жетыру. Но каковы намерения сынов старшего рода?

— Пока что весть о согласии выехать на Орь пришла от сына Рсая Бестибая и сына Мамая Иглика из рода

кете, а также от бека Мамбета и сына Бурума Серке из рода шумекей.

Что ж... Хан мог быть доволен. Вести были добрые. Кажется, казахи всколыхнулись. И сбить их с пути теперь не так-то просто. Как все обернется в дальнейшем — будет видно. Главное: хану выпала возможность предстать перед русским правителем в славе и могуществе. И никого больше ему не надо уговаривать и упрашивать. Те, что до сих пор не приняли решения, пусть пеняют на себя.

Абулхаир отправил гонцов Татеша-мурзы назад, сказав, что если на то будет воля аллаха, то в новолуние он со своей свитой попытается прибыть в крепость у устья реки Орь.

В аулах началась суматоха. Шутка ли — отправляться в столь дальнюю и ответственную поездку! Понятно, шумным, многолюдным сборищем казаха не смутишь. Для него это — дело привычное. И хлопот для сборов — никаких. Подумаешь! Обвешай себя походным оружием, заседлай двух коней, прихвати с собой одного борца-палвана, одного певца-сказителя, одного брюхана-обжору и смело отправляйся в дорогу. В каком ауле остановиться, в чьей юрте заночевать, что есть и пить, какие обычаи соблюсти — все это раз и навсегда определено и заповедано твоими предками. Поэтому разбуди казаха глубокой ночью, скажи, что нужно ехать на пир или барымту, он протрет глаза и бросится к коню, стоящему наготове у коновязи. Но каково ездить к русским? Много ли казахов на белом свете гостевали в доме высокородного русского правителя? В аулах только и судили-рядили о том, кто во что вырядится и на какой масти лошади отправится в крепость на Ори.

Стали жадно расспрашивать тех, кто раньше бывал среди русских. Как русские рассаживают почетных гостей? Куда усаживают — на пол или на скамейки? Чем угощают? Творят ли после трапезы благодарственную молитву? Во время еды мужчины и женщины сидят вместе или отдельно?

В эти дни Итжемес вырос в собственных глазах. Он охотно делился своим опытом и познаниями. Особенно когда речь заходила о русских яствах, он воодушевлялся, поблескивал глазами и чмокал губами. О, русский дастархан — пальчики оближешь! Язык проглотишь!.. Однако казахов обилие дастархана волновало менее всего. Чего тут волноваться? Хватай и молоти все подряд. Твердое —

жуй, жидкое — пей. И вся премудрость. На чем сидишь — на полу ли, на стуле ли — в конце концов тоже не столь важно. Для казаха, привыкшего сидеть в седле, все едино. Если неприлично есть руками, можно как-нибудь приноровиться и к вилке-ложке. Не это страшно. Страшно то, что после обильной трапезы русские облегчаются не в привольной степи под открытым небом, а теснятся в крохотной будке, еле умещаясь на узкой, шаткой дощечке, под которой зияет зловонная яма. Не приведи аллах, еще и провалишься невзначай... Выходит, на тонкий, как волосок, адов мостик, который грозит правоверным лишь в судный час, русские вынуждены становиться по нескольку раз на дню...

Пока в аулах, разинув рты, слушали россказни бывалого Итжемеса, в просторной ханской резиденции царила тягостная тишина. Все вокруг точно погрузилось в сонную одурь. Ничто не нарушало ханский покой. Погрузившись в бесконечные думы, Абулхаир высыпал на белый войлок-подстилку сорок одно глянцевитое зерно джиды и подолгу гадал, пытая судьбу. Со стороны он походил на удильщика, сонно уставившегося на застывший поплавок. Поодаль от него, так же неподвижно, сидела погрузневшая в последние годы Бопай. Чем меньше времени оставалось до отъезда на Орь, тем тягостнее становилась тишина и, казалось, сам воздух густел, насыщенный неведомой тревогой.

Хан не решался заговорить с ханшей. Жалел ее. Он не знал, о чем она думала все эти дни, но видел, как она спала с лица, осунулась.

С младшим сыном Кожахметом супруги в последнее время не разговаривали. Глядя на него, испытывали боль и тоску. И сердце каждый раз пощипывало. С Кожахметом разговаривал большей частью его дядя Мырзатай.

— Ну что, султан, собираешься на Орь? Отец хочет забрать тебя с собой.

— А что там будет?

— Полюбуешься на пир царского посланника. Знаешь, как интересно!

— А конные скачки будут?

— Вот этого, признаться, не знаю.

— Тогда не поеду. Я ведь сейчас обучаю своего стригунка иноходи. Без меня он разучится.

Дядя Мырзатай от такого ответа растерялся.

— Знаешь что?! На пир, говорят, съезжаются царевны. Одна другой краше. Как сказочные гурии!

— А-а... Зачем они мне? Заберите лучше Злиху. А то она все спрашивает, у гурий косички длиннее, чем у нее, или нет...

Дядя Мырзатай и вовсе смутился. Чем же еще можно заинтересовать упрямого юного султана?

— А еще говорят: потчуют невиданными яствами. На дастархане у русских — все, что только душа пожелает.

— И даже хлеб со сладкой начинкой? Итжемес все похваливает...

— Ну, уж это обязательно!

— И дают сколько хочешь?

— Конечно! Хлеба у русских — хоть подавись!..

— Тогда поеду! Была не была, хоть хлеба со сладкой начинкой наемся до отвала.

Время отъезда надвигалось. Вновь поскакали в аулы гонцы, оповещая о точном сроке.

Вскоре над степью взнялась пыль. К ханской ставке отовсюду стекались разнаряженные группы всадников. Собрав знатных родоправителей, хан еще раз обговорил с ними все подробности предстоящей на Ори встречи. Договорились вести себя с честью и достоинством, как и подобает истинным представителям народа. Не выказывать жадности, скрывать свои вожделения. На условия, выдвигаемые русским правителем, соглашаться не сразу, а поговорив сначала между собой, обдумав со всех сторон, тщательно взвесив все предложения. Даже хан должен сначала посоветоваться с родоправителями, а потом уже, на следующий день, дать русскому начальнику исчерпывающий ответ. Бии обязались воздерживаться от аульных привычек и не слишком увлекаться своим красноречием. Поговорив также с биями и батырами, Абулхаир заметно повеселел.

Однако перед самым выездом случилось непредвиденное. Над чинной толпой родоправителей взвился вдруг горький плач, от которого у всех пробежала дрожь по телу.

Юный Кожахмет, как бы подчеркивая свое ханское происхождение, как и положено по обычаю, прикрепил к поясу колчан с красными стрелами и, радостный и необычайно гордый тем, что вместе с отцом отправляется в дальний путь, решительно направился к выходу. И тут кинулась к нему его старшая сестренка, повисла у него на шее и зарыдала в голос:

— Ойбай, бра-ат мой!.. Роди-и-мый!..

Кожахмет, явно озадаченный, пытался оттолкнуть сестренку от себя.

— Ты что?! Свихнулась?!

Но Злиха не могла уняться, еще сильнее прильнула к брату.

— Кожахметжан... милый... свидимся ли мы еще или нет?!

Девчонка плакала по-взрослому, навзрыд, горько и неутешно, и это растрогало всех. У суровых мужчин повлажнели глаза. Абулхаир сумрачно скосился на старшую жену. Бопай отвернулась, скрывая покрасневшие от слез глаза.

— Родной... братик мой... как ты будешь там... один на чужбине...

Юный султан, спешивший к своему белогривому скакуну, с досадой и укоризной повернулся к хану.

— Отец! Что эта девчонка тут мелет?!

Абулхаир молчал, будто не слышал. Шея его вздулась, покраснела, а в лице не было ни кровинки.

— Не обращай внимания,— сказал племяннику Мырзатай.— Просто ей жалко с тобой расстаться... Ничего, успокоится...

— Ладно, дочка, перестань,— похлопал султан Нияз девочку по плечу.— Нехорошо перед дорогой реветь.

Несколько человек, утешая и уговаривая ее, с трудом высвободили из ее судорожных объятий Кожахмета. Но тут Злиха бросилась теперь к Туяку.

— Прошу, умоляю тебя, не покидай его, не оставляй братика моего!..

Сын Тайлана тоже застыл в растерянности. Потом, побледнев, неуклюже погладил, подражая взрослым, девочку по голове, по плечу.

— Ну, ладно... не надо... успокойся... стыдно...

По дороге путники поднялись на вершину холма Даурен. Вокруг простиралась в извечном спокойствии привычная степь. У горизонта зыбилось алое марево. Повсюду горбились, торча из-под земли, серо-бурые валуны. Едва виднелись разбросанные там и сям осевшие холмики безымянных могил. Неподалеку белели рога архара, подстреленного, должно быть, кем-то из давно усопших. На рогах виднелись следы птичьего помета. Высоко, в поднебесье, величественно чертил круги одинокий беркут.

Абулхаир молча, долго всматривался в окрестности. Никаких особых перемен в степи он не заметил. Подул откуда-то легкий, свежий ветерок, весело и таинственно потрепал челки юных Кожахмета и Туяка.

Ходжа Мухамбет опустился на колени, вскинул голову. Вершину холма огласила величаво-звучная арабская молитва. Путники благоговейно сложили ладони перед лицами.

Потом, когда путники спускались с холма, Кожахмет обратился к отцу:

— А почему ты Злиху не взял с собой?

— Девочек в такой дальний путь не берут.

Кожахмет, словно довольный тем, что родился мальчиком, горделиво посмотрел на державшегося рядом Туяка. И потом всю дорогу ни о чем уже не спрашивал.

Лишь на последнем ночном привале, просыпаясь в тревоге, он шептал отцу:

— Ты слышишь голос, отец? Это же плачет Злиха! Это она зовет нас. Может, она бежит за нами? Слышишь, отец?!

Хан поднимал голову, вслушивался в тихую звездную ночь. В самом деле, чудилось, будто издалека доносился безутешный, надрывный плач. Плач девочки, истосковавшейся по любимому брату. Голос ее охрип, обессилел. Вот-вот оборвется.

Абулхаир прошептал про себя успокоительную молитву.

— Спи, сынок... Тебе померещилось...

А сам до восхода солнца так и не сомкнул глаз.

Суматоха царила и в укреплении у устья реки Орь. С приездом сюда деятельный Татищев лишился покоя. Крепость, строившаяся по плану Кирилова, имела жалкий, запущенный вид. Некогда довольно внушительный крепостной вал ныне едва ли не сровнялся с землей. Глубокий ров, который не одолевал и всякий конь в прыжке, за последние годы превратился в узкую канаву, которую могла перепрыгнуть и курица. Изгородь вокруг рва тоже давно обвалилась. Тайного советника Татищева при виде этих развалин охватила оторопь. Он тут же распорядился расширить ров на пять аршин и углубить на три сажени. По его указанию был также спешно поднят крепостной вал и укреплен пластами дерна. Укреплены и возвышены были и бастионы, а покрывшиеся ржой пушки вновь промаслены и покрашены.

С нерадивого коменданта Останкова Татищев снял три шкуры. Пропойцу и буяна протопопа Антипа Мартынова посадил на цепь. Пусть поглазеют на него прибывающие сюда кайсаки. Распустились, мерзавцы! Опустошили казну, погрязли в лихоимстве и разврате и при этом еще строчат на высочайшее имя царицы разные жалобы-кляузы. Придется проучить этих каналий!..

Приведя в кое-какой порядок крепость, Татищев начал готовиться к встрече кайсацких правителей. Он рьяно, с большим воодушевлением, как в тридцатые годы за Каменным поясом на казенных заводах, взялся за дело. Вряд ли его усердие и старание будут достойно оценены и вознаграждены ее императорским величеством и ее клевретами, но бог с ними. Он прежде всего служит отечеству и ради него ни перед чем не остановится.

Несколько дней вчетвером — он, Тевкелев, Дьяков и Едилев — просидели безвылазно в шатре. Дьяков — с пером в руке, с белым листом перед собой. По обе стороны его сидели Тевкелев и Едилев. А Татищев, подтянутый, быстрый, ловкий, точно ястребок, целыми днями ходил взад-вперед по шатру. Даже тропинку протоптал.

— Значит, для хана будет поставлен шатер за крепостью. Так?

— Так точно!

— А может, целесообразно также воздвигнуть несколько шатров для хана внутри самого лагеря? Выстроим в почетный караул роту. Пусть хан с музыкой просыпается и под музыку ложится спать. Должно быть, ему это понравится.

— Возможно. Инородцы падки на всякие церемонии и почет любят. Только хорошо ли обособлять хана от других? Как бы он что не подумал...

— Верно! Может и насторожиться... И все же поставим для него шатер и в лагере. Пусть решает сам. А мы окажем ему такую честь...

Татищев говорил вдохновенно. Дело у него спорилось.

— Если хан пожелает жить за крепостью, то кто-то должен его встретить и поздравить с прибытием. Вышлем десяток драгун во главе с поручиком.

— А вдруг хану это покажется ниже его достоинства?

— Как же быть?

— Нужно послать на встречу более высокий чин...

— Хм-хм... Пожалуй, нет. Сначала необходимо просто

приветствовать. Потом следует официально пригласить в лагерь. Потом надобно встретить на границе укрепления. Далее — выстроить весь гарнизон. Бить в барабаны и литавры. И еще встретить возле шатра для переговоров. Помочь спешиться. Потом кто-то должен встретить уже в шатре. Для всех этих церемоний, господа, высоких чинов не напасешься. Имейте в виду, что я отнюдь не фельдмаршал Миних. Поэтому встречу кайсацкого хана начнем с поручика, а кончим тайным советником. Таким образом мы понемногу, по ступеням, завоюем доброе расположение хана Абулхаира.

Тевкелев и Едилев многозначительно переглянулись: «А что... кажется, очень даже резонно...»

А Татищев, поблескивая высоким лбом, вновь зашагал по шатру взад-вперед, туда-сюда...

За четыре дня была тщательно разработана церемония встречи хана Абулхаира и принятия присяги у султана Нуралы и других казахских родоправителей. Все, до мелочей, было предусмотрено и записано аккуратным, четким почерком Дьякова на бумагу. Прочитав ее, каждый в отдельности и вместе, все остались довольны и тут же приступили к репетиции предстоящей встречи.

В течение полумесяца над широким лугом между двумя реками гремел-взвивался насмешливый, высокий голос Татищева:

— Поручик! Ты же не к девке на свидание идешь, дьявол тебя побери! Ты едешь встречать хана! Неужто непонятно? Не хорохорься, не выпячивай грудь, как петух на заборе. Держись учтивей! Не скалься попусту! И погаси наигранный восторг в глазах. Хан уважает сдержанность и подобострастие.

— Майор! Не забывай, что рядом с тобой капитан. Шагайте в ногу. И изображайте одинаковую улыбку. Вот так!

— Господин Абдурахманов! Забудьте в сей момент, что вы ахун. Чувствуйте себя сейчас кайсацким ханом. Не прикладывайте без конца руки к груди и не отвешивайте ежеминутно поклоны. Вы же не молиться идете в мечеть. Держитесь прямо! Гордо расправьте плечи!.. Вот!.. Совсем другое дело!..

— Белосельский! Хану нет дела до того, что вы поручик флота. Держите его под локоток. Помогите спешиться. Не бойтесь, лошадь вас не укусит.

— Ростославский! Не задирайте так голову! Вы ведь еще не хан, а всего лишь инженер-майор, о чем кайсацкий хан и знать ничего не знает. Улыбайтесь щедрее! Кланяйтесь ниже... еще ниже! Вот так!...

— Полковник Тевкелев! Вы, кажется, излишне усердствуете. Вероятно, вы соскучились по давнему знакомому и не в силах сдержать радость. Помните, однако, что вы представляете высокий армейский чин ее величества императрицы. Выказывать внимание и почет — хорошо, но не след забывать и о своем достоинстве. По-моему, полковник Едилев держится с большей солидностью. Любо смотреть!

— Итак, господа, зарубите себе на носу. Приглашать хана в лагерь поручается поручику. В почетном карауле будут стоять двадцать четыре гренадера и рота драгун во главе с майором и капитаном. Возле шатра для переговоров хана встретит и поможет спешиться поручик флота Белосельский. У большого шатра хана будет приветствовать инженер, майор Ростославский, а в шатре — либо полковник Тевкелев, либо полковник Едилев. При приближении хана к Астраханскому полку грянет музыка. Когда же он подойдет к Сергеевскому полку, раздастся артиллерийский залп. Надеюсь, все понятно, господа?!

И пока на вершину растянувшегося от востока к западу длинного горного холма не взметнулась группа кайсацких всадников, в крепости на берегу Ори царили небывалое оживление и суматоха.

...Когда хан Абулхаир со своей многочисленной свитой выехал на самую вершину черного холма, с ясного неба, раскатываясь гулким эхом, грянул гром.

— О, аллах!— прокатился невольный вздох по рядам опешивших всадников.

Никому из них не доводилось видеть столь величавого зрелища. Бывало, в стародавние мирные времена, в осеннюю пору, на грандиозных сборах трех казахских жузов в Сайраме случались подобные пышные торжества. Помнится, в глазах рябило от многолюдья и многоцветья. И все же на тех сборах все было привычно и знакомо. А тут... Аллах свидетель, такого великолепия никому еще из всадников на холме и во сне не снилось. Вон тот долговязый батыр Есет, неуклюже громоздившийся на сивом, в яблоках, скакуне, в молодости провел немало лет в джунгарском

плену. Джунгары имели обыкновение проводить пышные пиры, на которые собирались воины во всеоружии и пригоняли также всех пленников. Есет не раз бывал на таких пирах. Но сейчас он застыл с разинутым ртом, ибо то, что ему открылось с вершины холма, было для него внове, в диковинку.

А вот султан Нияз... с тех пор как побывал в Петербурге, усвоил привычку на все глядеть свысока, морща нос. «А-а... когда я был у царицы, и не такое видел...» «Э-э... будучи у русской царицы, вкушал такие яства, что вам и не снились...» «По сравнению с тем, что было у государыни императрицы, все это вздор!..» Так он выхвалялся на каждом шагу. При этом покачивал восторженно головой и чмокал губами, будто довелось ему однажды заглянуть в дверь рая и вновь вернуться на грешную землю. А теперь и он выкатил глаза и вцепился в редкую бороденку, точно в косу своей строптивой младшей жены. Судя по этому, можно полагать, что видел он действительно многое у царицы, однако такое все же лицезрел впервые.

Сдержанный по натуре батыр Жанибек редко чему удивлялся, а если и удивлялся, то умел не показывать виду, сейчас он тоже помимо воли притенил глаза ладонью и немигающе уставился в низину.

А вся широкая равнина под холмом и в самом деле манила, приковывала взор пестрыми, яркими красками, точно пылавшая тюльпанами весенняя степь.

Вообще, если приглядеться внимательней, для степняков ничего диковинного не было. В самом деле, зеленой травы, что ли, не видели? Или степных озер? Или бурых холмиков? Или поджарых коней? Или нарядных людей? Или торжественно убранных шатров?.. Все видано-перевидано. Однако все это вместе, в непривычном сочетании и расположении, производило ошеломляющее впечатление.

Подобную красоту и созвучие красок степнякам приходилось видеть в божьем творении из цветов и трав.

Но подобной красоты и созвучия красок, сотворенной руками человека, им лицезреть еще не доводилось.

Подобное великолепие степнякам случалось видеть в искусных узорах домотканого ковра.

Но что не из пряжи и узоров, а из тысячи людей и тысячи коней возможно соткать живой ковер, играющий причудливыми соцветиями по всей равнине, они и не предполагали.

И батыр Букенбай, недавно посетивший Татеша-мурзу, о таком великолепии не заикнулся ни единым словом. Так неужели оно сотворено русскими за какие-нибудь две недели?!

Все точно онемели. Казалось, и Абулхаир лишился дара речи. Он неподвижно сидел в седле. И только взгляд его метался по всей безбрежности долины.

Там, внизу, у устья реки — Яика и Ори, в чинном порядке выстроилась конница. В руках всадников, вставших длинным рядом вдоль берега Яика, ослепительно поблескивали обнаженные сабли. Напротив, вдоль Ори, грозно воздев пики с медными наконечниками, напряженно застыл еще один ряд верховых. Наконечники пик и острия стальных сабель горели в лучах солнца, словно тысяча враз зажженных свечей.

Вокруг крепости на месте слияния двух рек тоже выстроились конные солдаты. И на них все сияло и сверкало — и амуниция, и оружие, и сбруя — от блях на уздечках до стремян.

Еще одна группа всадников виднелась далеко за крепостью, возле древней могилы.

Вдали на бугре, похожем на верблюжий горб, белел огромный, как две спаренные восьмистворчатые юрты, шатер, над которым развевалось громадное полотнище. Видимо, то был стяг белой царицы. По обе его стороны громоздились тяжелые пушки.

На зеленом лугу поблизости к Ори радовали взор два ряда опрятных шатров: одни сплошь голубые, другие — темно-красные. И возле каждого шатра толпились люди. Все, как на подбор, нарядно одетые. Казалось, то были не живые люди, а яркие куколки, изготовленные мастерицами-девчонками.

Вокруг лагеря правильным четырехугольником стояли пушки, грозно зияя черными жерлами и поблескивая крутыми начищенными боками.

Между лагерем и черным холмом, на котором застыла ханская свита, виднелось еще несколько групп. То были караульные. Они стояли на всех возвышенностях.

Как следует понять этот пышный парад? Как высочайшую честь, оказанную казахам? Или как тонко рассчитанную хитрость? Или как показ силы и мощи, от которых в сердцах инородцев должен поселиться страх? Или все это, вместе взятое?.. В этом беспредельном, причудливо

разнообразном мире, вероятно, можно еще встретить две одинаковые былинки, два одинаковых камня и даже, быть может, не отличимых друг от друга двух коней, двух собак или еще каких-нибудь животных. Но совершенно не бывает двух одинаковых людей, двух народов, двух стран. И поэтому, прежде чем вступать в какие-то отношения, они испытывают друг друга. Стараются друг перед другом казаться умней, хитрей, могучей, богаче, грозней и красивее. Даже птицы, уж до чего бесхитростная божья тварь, и те знакомятся, спариваются не в пору линьки, а в пору расцвета силы и красы, и при этом стремятся прежде всего друг другу понравиться, друг друга очаровать, околдовать, выказать свой нрав, навязать свою волю. Так что нет ничего удивительного в том, что и люди, племена и народы, вступая во взаимные отношения, прибегают к подобным испытаниям и древним уловкам.

Однако, подумал про себя хан, чего больше в этом необыкновенно торжественном параде? Почета и чести? Хитрости и коварства? Или подспудной угрозы? А может, честь под личиной угрозы? Или, наоборот, угроза в хитром и коварном обличье почета? Что именно?

Не найдя точного ответа на эти вопросы, разумно ли вступать в тот манящий взор мир? Каким образом сохранить свое достоинство перед спесивым могуществом и богатством? Как быть, чтобы не стать посмешищем?

Бедный человек... каждый шаг его при жизни — испытание. Даже в аул невесты, которая уже завтра очутится в твоих нетерпеливых объятиях на супружеском ложе, и то вступаешь робко, неуверенно, на каждом шагу оглядываясь по сторонам. И при этом сколько приходится выслушать насмешек, сколько вынести нареканий и обид?! А сколько бродов — больших и малых — предстоит преодолеть двум аулам, вступающим в родственную связь? А тут вступают в неведомые отношения не два аула — два народа, один большой, другой малый, столь различные во всем! Сколько подводных течений, опасных бродов, крутых перевалов подстерегает их?!

И думая сейчас обо всем этом, Абулхаир почувствовал оторопь, будто предстояло ему не торжественно спускаться со своей свитой в нарядную долину, где готовились ему высокие почести, а броситься в отчаянной решимости в неведомую пучину. Можно, конечно, рискнуть. Подвернуть штанины, зажмурить глаза и плюхнуться в омут. А что

потом? Вынырнешь ли? Удержишься ли на плаву? Выкарабкаешься ли? Или проглотит тебя на веки вечные бездна? И что можно предпринять, чтобы не утонуть?

В таких случаях казахи не раз шли на риск. И, случалось, с честью одолевали горы, а, бывало, риск ввергал их в пучину позора. Риск — что необъезженный конь. Попробуй оседлай его. А оседлав, попробуй удержись...

Хан задумался.

И, словно разгоняя все его тяжкие сомнения, оглашая нарядную долину, призывно и ликующе взвился голос походной трубы и вслед за ней неистово загрохотали барабаны.

— О, аллах!— вздрогнув, вновь невольно прошептала ханская свита.

Было решено, что казахский лагерь расположится тут же, на холме. Быстро поставили юрты, раскинули шатры. И стали два лагеря — крепость в долине и белый аул на вершине холма — зорко и неотступно следить друг за другом.

В тот же день, после полудня, из крепости выехал небольшой нарядный конный отряд. Сверкая доспехами и дорогой конской сбруей, чинный отряд направился прямиком в казахский лагерь. По мере приближения к черному холму кавалькада сбавляла ход, сбилась поплотнее, теснее, точно оробев перед хвостатым стягом, трепыхавшимся на высоком шесте возле золотисто-пестрого ханского шатра посередине белого аула.

Ханская свита высыпала из юрт. Все, затаив дыхание, следили за приближающимся отрядом верховых.

Впереди отряда ехал совсем еще юный, стройный и подтянутый офицер в нарядном мундире с аксельбантами и пышными эполетами. Щеки его пылали то ли от встречных лучей солнца, то ли от волнения и смущения перед пристальным взором застывших на холме кайсаков. За ним стремя в стремя, шаг в шаг следовали еще двадцать всадников — все, как на подбор, одинаково юные, осанистые, ни дать ни взять близнецы. Даже улыбались, смущаясь, одинаково.

Кто-то в толпе кайсаков изумленно воскликнул:

— Апыр-ай, по одной мерке, что ли, их подобрали!..

Толпа промолчала. Только каждый усмехнулся про себя.

В нескольких шагах от ханской свиты отряд остановился, ожидая, пока подъедет к нему обоз из трех тяжело груженных арб.

Наконец, когда, поскрипывая, подъехал обоз, юный офицер, еще пуще прежнего залившись краской, заговорил высоким, торжественным голосом:

— Высокочтимый хан киргиз-кайсацкой орды Абулхаир Мухамбет-казы Бахадур, а также высокородные бии и батыры киргиз-кайсацкого племени, вас от всего искреннего и наищедрейшего сердца приветствует и поздравляет с благополучным прибытием начальник Оренбургской комиссии, его превосходительство господин тайный советник Василий Никитич Татищев и именем ее величества всепресветлейшей государыни самодержицы всея Руси, княгини Московской, Владимирской, Новгородской, царицы Казанской, Астраханской, Сибирской, государыни и великой княгини Псковской, Смоленской, Тверской, Югорской, Пермской, Вятской, Болгарской и иных земель, государыни и великой княгини Новгорода Низовские земли, Черниговской, Рязанской, Полоцкой, Ростовской, Ярославской, Белозерской, Эстляндской, Лифляндской, Удорской, Обдорской, Кондинской и всея Сибирския земли и Северныя страны повелительницы и государыни Иверския земли грузинских царей и Кабардинския земли, Чаркасские и Горских князей, а также киргиз-кайсацкия орды и прочия и прочия императрицы Анны Иоанновны имеет честь милостиво пригласить вас в гости в крепость.

Все продолжали стоять в глубоком безмолвии. Лишь кто-то из кайсаков нетерпеливо буркнул:

— Чего он заладил, точно суру из Корана?

И, точно услышав это, юный толмач-татарин принялся услужливо переводить сказанное офицером на казахский язык, но и из его перевода степняки ничего толком не поняли, кроме того, что русский начальник приглашает их в гости. Все ждали, что ответит хан. А он, точно глухой, продолжал молчать. Наконец едва заметно кивнул туленгуту Байбеку. Тот сразу все смекнул: хан посчитал ниже своего достоинства ответить какому-то юнцу. Байбек, важно встопорщив густые, жесткие усы, вышел вперед:

— Высокочтимый казахский хан Абулхаир Мухамбет-казы Бахадур желает дать ответ самому господину тайному советнику или полковнику Мамбету-мурзе Тевкелеву.

Пухлое юное личико офицера и вовсе побагровело. Однако, соблюдая учтивость, покорно кивнул и отступил назад.

Отряд в том же порядке, стремя в стремя, направился

в крепость, оставив казахам обоз. Догадавшись, что это продовольствие, присланное Татешом-мурзой, Байбек и Итжемес засучили рукава и принялись за разгрузку.

Хан и его свита проводили конный отряд взглядом до самой крепости.

В тот день из русского лагеря никто больше не показался.

И эту ночь Абулхаир провел в раздумьях. А на следующее утро пригласил в свой шатер двенадцать наивлиятельнейших биев во главе с Жанибеком, Есетом, Шуреком и обоими Букенбаями. Они одобрили вчерашнюю горделивую выходку хана и договорились совместно вести переговоры с будущими посланцами царской власти. И на второй день до обеда между двумя лагерями не происходило никакого общения.

В полдень солнце палило нещадно. Казалось, небо обрушится на землю. Не чувствовалось даже дуновения ветерка. Возможно, именно жара была тому причиной, кто знает, но, как бы там ни было, в тот день из русской крепости никто так и не объявлялся. Может, Татеш-мурза решил таким образом испытать выдержку и терпение хана? Что ж... пусть испытывает. Поглядим, чем это кончится...

В эту ночь Абулхаир спал крепко и безмятежно. А наутро распорядился разобрать с одного конца лагеря походные шатры и юрты. Часть джигитов, приказав оседлать коней, отослал куда-то. В стане казахов началась непонятная возня. Что к чему, не могли взять в толк не только офицеры, наблюдавшие из крепости в подзорную трубу, но и многие казахские родоправители. Один за другим входили они в недоумении в ханский шатер. Но хан загадочно молчал. Немногословными были и двенадцать приближенных к нему биев.

— Ну чего спрашивать-то? Делайте, как велят,— буркнул кто-то из них.

И обескураженные бии, так и не поняв ничего, выходили один за другим из шатра.

Однако казахи не сидели сложа руки. По ущельям, по склонам холмов лазутчики незаметно подкрались к крепости в долине и зорко следили за тем, что там происходило. Выяснилось, что и в русском стане царил переполох. Посередине укрепления выделялись два нарядных высоких шатра. Вокруг них было особенно многолюдно. Там взад-вперед озабоченно сновали офицеры. Ближе к

полудню из одного шатра вышла группа людей. Тотчас подвели коня под богато отделанным седлом. Среднего роста, плотного телом мужчину подсадил на коня ловкий юноша. Всадник вскинул руку, приветствуя провожающих, и тронул коня. За ним потянулось еще около двадцати верховых.

Новый конный отряд, еще более торжественный и нарядный, чем предыдущий, направился в сторону черного холма, где казахи продолжали спешно разбирать юрты и шатры, вьючить верблюдов, готовясь сняться с места.

Отряд приближался легкой рысью. Ханская свита неторопливо вышла из юрт. Встала с достоинством, широко расставив ноги, выставив грудь встречному северному ветру.

Вскоре все узнали всадника во главе отряда: на соловом длинногривом скакуне восседал давний знакомый — полковник Мамбет-мурза.

Когда он подъехал к коновязи неподалеку от походного ханского шатра, ему навстречу выбежали несколько молодых джигитов и помогли ему со всей учтивостью спешиться.

Все двенадцать биев разом двинулись к нему и попеременно обнялись с ним грудь в грудь.

Потом хан Абулхаир и султан Нуралы в сопровождении наивлиятельнейших родоправителей повели почетного, дорогого гостя в нарядно убранный пестро-золотистый шатер.

Удобно расположившись на почетном месте, Мамбет-мурза цепким взглядом обвел всех присутствующих и, по обычаю, поинтересовался их здравием-благополучием и житьем-бытьем. Все удовлетворенно кивали головами и коротко отвечали: «Шукир... шукир... Благодарение аллаху...»

Абулхаир представил Мамбету-мурзе всех собравшихся. Многоопытный представитель царской власти, знаток всех восточных обычаев и ритуалов при каждом названном имени прикладывал правую руку к левой части груди и учтиво отвешивал поклоны, неизменно приговаривая:

— Знаю, знаю... Весьма приятно.

— О, слышал, слышал... Польщен.

— Очень хорошо... Как же... знаю...

Выходило, будто Мамбет-мурза давным-давно знал всех приближенных хана без исключения.

Выдержав, как полагается почетным людям, паузу и отведав из большой чаши кумыса, представитель русской власти начал беседу.

— Почему, позвольте спросить, так спешно разбираете юрты?

Старейшины украдкой переглянулись. Абулхаир промолчал. Ответ дал батыр Жанибек.

— Слишком тесно нам на вершине холма. Чтобы ханская ставка имела больше простора, решили часть лагеря отвести подальше. Там и будет раскинут шатер султана Нуралы.

Старейшины снова многозначительно переглянулись.

— Господин тайный советник по вашей просьбе, досточтимый хан, послал меня к вам. Что вы хотели мне поведать?

Хан ответил не спеша:

— Верно. Именно вас я и желал увидеть. Прежде чем встретиться с представителем ее величества императрицы, хотелось бы обсудить порядок предстоящих переговоров. Об этом желают знать и сопровождающие меня знатные бии.

Тевкелев ответил с вкрадчивой улыбкой:

— Его высокопревосходительство господин тайный советник намерен принять вас как верного подданного Российского государства, а также как особенно дорогого гостя. Все это небывалое торжество, досточтимый хан, предназначено в вашу честь.

Взгляды, зоркие и настороженные, вновь скрестились.

— Но... откуда нам знать?.. Может, полагали мы про себя, вы подготовились к встрече более важных и достойных гостей, и было бы неприлично и бестактно с нашей стороны ворваться к вам и нарушить столь блистательное торжество.

Чуткий Мамбет-мурза расслышал укоризну и язвительную усмешку в голосе хана, и потому тотчас погасил улыбку и сказал серьезно:

— У ее величества императрицы в киргиз-кайсацком народе нет более дорогого и уважаемого гостя, чем вы, досточтимый хан.

Бии, польщенные ответом, заерзали, заозирались.

Лицо хана оставалось непроницаемым.

— Откуда нам знать?.. По доподлинным слухам, ваши посланцы, отправленные к Иртышу, еще не вернулись.

Губы Тевкелева дрогнули в тонкой улыбке.

— Из-за далекого расстояния султаны Абильмамбет и Абильмансур нынче не смогут пожаловать. Они дали слово в следующий год присягнуть в верности русской царице.

Сидевшие в ханском шатре опять насторожились и затихли. Промолчал на этот раз и Абулхаир. Наступившую паузу нарушил длинношеий батыр Есет:

— Верно сказывают: людская молва правды полна. Когда мы узнали, что к Иртышу отправлены царские гонцы с приглашением, мы ушам своим не поверили. За какие такие заслуги правителей Среднего жуза царица прониклась к ним такой благосклонностью? Нам это и поныне невдомек...

На этот раз от смущения заерзал Тевкелев.

— Да, действительно, мы хотели, чтобы на торжестве принятия присяги ханом Абулхаиром и влиятельными казахскими родоправителями присутствовали и другие султаны. Думали: коли пожелают, пусть также принесут присягу верности. Однако мы хорошо знаем, у кого какие заслуги перед всемилостивейшей государыней императрицей. И знаем также, кому какие почести следует воздавать. Мы особенно высоко ценим заслуги хана Абулхаира. В этом никто из других султанов с ним сравниться не может. Потому-то на верность присягает каждый в отдельности в строгом соответствии с официальной церемонией. Подобным торжествам русское правительство придает особо важное значение.

Верзила Букенбай загудел утробным басом:

— Ну, то-то же! Знал ведь я, что вчерашние ваши мальчишки что-то напутали. И оказался прав! Откуда им, мокроносым, все знать? Их отправили доставить обоз с продовольствием, а они уж решили, что им поручено пригласить самого хана в гости. Верно сказывают: нож, выкованный юнцом, всегда с зазубринами.

Тевкелев вспыхнул по самые уши. И голос его сразу осип.

— Да... да... возможно... вполне возможно...— пролепетал невнятно.

Бии встрепенулись. Важно и ликующе заозирались вокруг. Багроволицый Шурек, молчавший все это время, откашлялся и подал голос:

— Я так и не понял: что же это, по вашим порядкам, получается? Хан должен отправиться на встречу с Татешем-

мурзой, или, наоборот, Татеш-мурза придет с салемом к хану?

Мамбет-мурза на этот раз даже рот не успел открыть, как, совершенно неожиданно для всех опередив его, резко вклинился в разговор батыр Жанибек:

— Да вы что?! С какой стати высокочтимый хан-правитель пойдет на поклон к Татешу-мурзе?! Хан — он и есть хан! А представитель царицы — всего лишь представитель. Другое дело, если б на Орь припожаловала сама белая царица. Но где это видано, чтобы хан отправлялся отдавать салем чьему-то посланцу?! Такого и в помине не бывало! Каждый из присутствующих здесь в своем улусе является примерно тем же, что Татеш-мурза. Не так ли? И, значит, Татеша-мурзу может приветствовать любой из нас. От хана же требовать такое — бесчинство!

Батыр говорил быстро, горячо, а закончив речь, выхватил из кармана костяную табакерку-шакшу, насыпал на ладонь горсть бурого насваю и привычным жестом заложил за губу.

Наступила напряженная тишина. У биев под скулами возбужденно заходили желваки. Заметно смутился и Мамбет-мурза. И только Абулхаир продолжал сидеть, как ни в чем не бывало.

Наконец Тевкелев собрался с духом.

— Досточтимый хан вовсе не на поклон прибыл к господину тайному советнику Татищеву, а для того, чтобы принести присягу верности под стягом ее императорского величества Анны Иоанновны! Его высокопревосходительство господин тайный советник отнюдь не настаивает на том, чтобы высокочтимый хан лично засвидетельствовал ему свое почтение. По традициям российского правительства, всякие переговоры с его подданными начинаются лишь после того, как они, приняв присягу в верности императрице, клянутся на священном алькоране и подкрепляют царскую грамоту собственноручной подписью. А уж переговоры можно потом вести попеременно то в одном, то в другом лагере. Против этого никто не возражает. В таком случае господин Татищев с превеликой охотою и благодарностью пожалует на переговоры в ханский шатер.

Лукавые искорки, вспыхнувшие только что в глазах биев, мгновенно потухли. У многих на лице застыла растерянность. «Как же теперь быть?»

Хан внимательно оглядел своих советников. Потом, откашлявшись, спокойно ответил:

— Вот теперь все разъяснилось. Будь мы такими откровенными с самого начала, этот разговор, скорее всего, и не возник бы. Теперь же мы высказали все, что у нас на душе. Будем и впредь считаться с мнением почтенных биев, предоставим им возможность все тщательно взвесить на весах разума. Не станем торопить их с ответом. Я же хоть и хан, но мои слова — это слова сидящих здесь наивлиятельнейших родоправителей, которые, в свой черед, выражают думы и чаяния народа, вступившего под покровительство всемилостивейшей русской царицы. И потому то, что скажут достопочтенные бии, и явится по существу моим ответом. Так прошу вас и передать его превосходительству Татешу-мурзе. А теперь, дорогой Мамбет-мурза, в знак давнего знакомства и искренней признательности прошу отведать вместе с нами угощения с нашего дастархана.

Бии дружно заулыбались, закивали головами.

Вечером того же дня после обильного угощения господин полковник Тевкелев вернулся в крепость.

После этого целых два томительных дня между двумя лагерями не было никаких связей.

А на третий день...

За событиями этого дня зорко и настороженно следили обе стороны.

И было все так...

Когда в ясный утренний час нарядная и торжественная ханская свита на вершине черного холма, где расположился казахский лагерь, села на коней, перед нею во всем своем великолепии открылось там, в долине, то же самое красочное зрелище, которое она с удивлением лицезрела в первый день приезда.

Яркое летнее солнце, единственный в небесах свидетель земного торжества, выкатившись из-за вершин громадин-увалов на востоке, засветило еще ярче и веселее, словно стремясь ничего не упустить из виду.

Около ста пятидесяти всадников из казахского лагеря, отделившись от остальных, начали медленно спускаться по склону холма. То были знатные владетели и родоправители, направлявшиеся в крепость для принятия присяги в верности Российской державе. На холме под развевавшимися хвостатыми стягами остались нукеры и коноводы казахских биев и батыров. Едва ханская свита в дорогих парчовых

чапанах, в высоких войлочных шапках, густо расшитых золотом и сверкавших каменьями, на поджарых, статных иноходцах тронулась с места, в крепости враз заиграли походные трубы, и к небу взвился грохот барабанов.

Вскоре, однако, оглушительная барабанная дробь оборвалась круто, точно отрубили, и вокруг воцарилась звонкая тишь.

Впереди торжественного шествия над тремя бело-сивыми иноходцами развевалось двухвостое, с пышными шелковыми кистями ханское знамя. За ним на сплошь сивой масти конях ехали стремя в стремя сам хан и султан Нуралы. Их головы венчали войлочные тиары с высоченными тульями и цветными полями. В нескольких шагах позади от них держались султаны Нияз и Кожахмет.

Вслед за теми, кого объединял боевой клич «Архар», легкой иноходью шли на одинаково поджарых, ухоженных, тоже сивой масти конях двенадцать наивлиятельнейших предводителей улусов. А уже за ними плотными рядами не менее величаво и горделиво шли ступь в ступь на породистых иноходцах остальные избранники народа — батыры и бии.

Когда ханская свита в том же чинном порядке приблизилась к первой группе караульных, со стороны крепости подоспела к ней пышная кавалькада. Командир-усач в эполетах привстал на стременах, вздыбил коня и выкрикнул что-то зычным голосом, и тут же весь эскадрон — сплошь юные, ловкие всадники на поджарых конях — застыл, точно вколоченный в землю кол.

Теперь лихой усач обратился к хану. Напрягая голос, опять что-то прокричал. От излишнего усердия шея его вздулась, глаза выпучились, усы грозно встопорщились. По его виду можно было подумать, что он ругается. Но хан про себя решил, что, по-видимому, усач таким образом приветствует его, и потому на всякий случай приложил руку к груди и слегка склонил голову.

В тот же миг всадники выхватили из ножен сабли, высоко вскинули их над головами и что есть мочи троекратно прокричали что-то короткое, раскатистое.

Хан на мгновение растерялся, не зная, как поступать дальше, но тут подскочил к нему верткий смуглый джигит. По его улыбчивым голубоватым глазам хан догадался, что своим происхождением он отнюдь не обязан славному кайсацкому племени.

— Высокочтимый хан! Таков ритуал приветствия, принятый в русских войсках,— бойко протараторил по-казахски джигит.

В знак доброго расположения и признательности хан несколько раз кряду склонил голову.

В следующее мгновение с правой стороны Абулхаира встал лихой усач, с левой — бойкий джигит-толмач.

Нуралы-султан на корпус коня отступил назад. К нему тоже тотчас пристроились двое с двух сторон.

Лихой усач беспрестанно улыбался, выказывая крепкие зубы. А бойкий джигит-толмач так же беспрестанно шлепал губами.

— Досточтимый хан! С этого момента и с этого места начинается торжественный военный парад в вашу честь.

И тут же вновь взвился зычный голос командира с лихо закрученными усами. Дрожь прокатилась по телу, кони нервно запрядали ушами, и вздрогнули не только русские кавалеристы, но и свита хана. Бии заозирались вокруг, по обыкновению прошептали:

— О, тоба!.. Помилуй, аллах!.. Бисмилля!..

Впереди строя на рослом длинном коне громоздился долговязый детина. В руке он держал копье, такое длинное, что, казалось, острием оно упиралось в небо. На голове всадника красовался островерхий шлем. Белые штаны плотно облегали крутые бедра. Вдоль узких штанин по бокам, по самые колени, поблескивал ряд пуговиц. Багрово-красный мундир с широкими отворотами и высоким воротом тоже застегивался на пуговицы в три ряда. На одном боку болталась кривая сабля длиной в полкулаша. Все его пышное одеяние, погоны, пуговицы, бляхи на ремнях, на поясе, эфес сабли, шлем, шпоры на сапогах, уздечка, стремена, наконечник копья и само древко — все-все поблескивало, переливалось на солнце, слепило глаза. За живописным детиной выстроились в два ряда — в каждом по двенадцать — еще двадцать четыре всадника, которых было невозможно отличить друг от друга. Все необыкновенно рослые, голенастые, длиннорукие. И все, задрав головы, самонадеянно, свысока, глядели вдаль. Вот кому бы ставить и разбирать юрты в степных аулах! Вот кого бы послать на барымту — на угон скота! Такой замахнется дубинкой — никому не поздоровится! Где их только разыскали, верзилистых таких?! На жилистых шеях бугрятся кадыки величиной с кулак. В седлах сидят, будто

невзначай скалку проглотили. Пай, пай, дьяволы долговязые!..

— Кто они такие?

— Гренадеры. Специально подбирают рослых. Такие, говорят, особенно далеко швыряют ручные ядра.

— Ядра?.. Как это?..

— Есть у русских такие. Куда упадет — воронка образуется. Коня на куски разорвет.

— А копья для чего?

— Ну как же?! Таким копьем и защищаться хорошо, и противника сшибать с седла удобно.

— Да-а... С таким лучше не связываться!..

За гренадерами стояли на длинных поводьях двенадцать отборных заводских лошадей. Луки седел были посеребрены. Серебром отливали и стремена, и уздечки. Бросалась в глаза плотная вышитая атласная седельная подушка. Золотисто-пестрая попона.

— А это что за кони?

— О, это арабские скакуны — подарки почтенных гостей. Их поставляют в конюшню ее императорского величества.

За разнаряженными заводскими скакунами выстроились в три ряда полторы сотни конников. Они также были в железных шлемах с изображением двуглавого орла над надлобьем. Шлемы до самого затыльника щетинились конскими хвостами, точно гребни петухов. На конниках были плотные камзолы с узкими косыми фалдами. Рукава с широкими отворотами. На ногах — туго облегающие икры сапожки со шпорами. В руках на длинных древках — бердыши. На поясах — тяжелые шашки. Широкий белый ремень тянулся наискосок через плечо к такому же широкому поясу.

— Это драгуны,— пояснил толмач.— Они предназначены как для конных, так и для пеших военных действий.

За всадниками стояли барабанщики. За ними — трубачи. Начищенная медь поблескивала, переливаясь, как и шелк кистей.

Хан со своей свитой расположился за трубачами. А заключал парадный строй еще один конный отряд из двадцати четырех всадников во главе с офицером.

Снова взметнулся зычный голос лихого усача по правую руку хана. И тотчас оглушительно взвыли трубы. Неистово загрохотали барабаны.

Степняки взволнованно озирались вокруг. Все было им

в диковинку. Поразительно, что у русских даже кони ступали, как заведенные, нога в ногу. А всадники вытянулись в седлах и замерли, точно истуканы. Одни только трубачи надрывались да барабанщики нещадно бухали колотушками в огромные гулкие барабаны.

Гренадеры вместе с ханом и его свитой подъехали сначала к строю хмуролицых всадников в высоких папахах, в просторных бешметах из черного сукна, в широких штанах с красными лампасами. То были яицкие казаки. Они держали шашки наголо и на разнаряженную, торжественную толпу глядели с нескрываемым презрением. «Была бы наша воля, мы бы этих пропахших овчиной разбойников и на сотню верст не подпустили бы к Яику»,— было написано на их свирепых бородатых лицах. Когда до казаков оставалось саженей пятьдесят, торжественная кавалькада круто свернула к другому строю — к отряду регулярных русских войск. Таких отрядов оказалось много, и один не был похож на другой. И обмундирование, и оружие были каждый раз разными, и это особенно поражало казахов. Поражало и то, что русские сарбазы застывали неподвижно, глядели как-то вбок, вызывающе задрав головы, будто на шее вскочил чирей, и вся их строгая, грозная осанка вызывала невольный трепет и даже вселяла страх. Почему-то хотелось скорее проехать мимо. Но за отрядом следовал отряд, и, казалось, этому не будет конца. Думалось помимо воли: надо же, до чего же многочисленно мужское племя у русских! А сколько у русской царицы оружия — уму непостижимо!..

Снова прокатилась зычная команда над толпой, умолкли барабанщики и трубачи, сопровождавшие ханскую свиту при обходе войск, но зато с удесятеренной силой взревели трубачи и загрохотали барабанщики, стоявшие поодаль, и от этого грохота, казалось, всколыхнулась земля.

Кони под степняками испуганно застригли ушами, выкатили в ужасе глаза, присели, трясясь поджилками, на задние ноги. Пришлось изо всех сил сдерживать их, зажав шенкеля и до немоты в руках натягивая поводья.

В глазах рябило от пестроты красок. В ушах звенело от топота копыт и барабанной дроби. Голова кружилась от невиданного доселе зрелища, от напряжения и волнения.

И тут началась салютация, забухали пушки. Казалось, раскололось и обрушилось на землю небо. Дрожь прокатилась по литым телам степных скакунов. Того и гляди —

понесут. Перепуганные многократной пальбой, кони под опешившими степняками роняли кругляши.

Лихой усач и толмач, неотступно сопровождавшие по обеим сторонам хана, уставились на него с едва скрываемой укоризной.

Абулхаир сохранял невозмутимый вид, однако затянувшаяся церемония встречи начинала его раздражать и он с нетерпением ожидал ее конца. Что же это в самом деле? К чему этот грохот и пушечная пальба? И не поймешь: то ли честь воздают, то ли страху напускают...

Наконец шествие, оставив строй войск, свернуло к двум ослепительно нарядным шатрам посреди крепости. И здесь толпилось много вооруженных воинов.

Приближаясь к шатрам, отряд гренадеров вдруг расступился и отошел в сторону, а хан и его свита продолжали путь.

Когда до шатра осталось уже совсем близко, отъехали от хана и лихой усач, и бойкий толмач.

Тотчас к хану подошел еще один офицер в дорогом, нарядном мундире с аксельбантами и эполетами, взял ханского коня под уздцы и помог хану спешиться.

Офицер жестом показал на расстеленный к шатру ковер. Хан учтиво поклонился и направился к шатру, прошептав традиционное:

— Бисмилля!..

У входа хана встретил, белозубо улыбаясь, еще один высокий чин. Он отдал честь, крепко пожал руку и, упруго отступив на шаг в сторону, указал на следующую дверь.

И там стоял офицер в еще более дорогом и пышном облачении. Он также пожал хану руку, щелкнул каблуками и распахнул перед ним дверь.

В глубине шатра возле стола сгрудились знатные русские правители. А над ними возвышалась полногрудая дебелая, в необыкновенно громоздких и пышных нарядах женщина. Абулхаиру на мгновение почудилось, что перед ним стоит сама державная царица. Но оказалось, что то был лишь ее портрет. Глядела государыня императрица пристально, надменно и в упор, будто пыталась заглянуть в самую душу своих подданных.

С одного края величественного портрета стоял, глядя на хана и приветливо улыбаясь ему, давний знакомый Мамбет-мурза. Другого, стоявшего напротив, более поджарого, невысокого ростом, большелобого, хан принял за Татеша-мурзу. От них по обе стороны стола вытянулись

еще несколько благородных мужей. Они при появлении хана не шелохнулись, только почтительно склонили головы.

Абулхаир, не проходя вперед, начал торжественную речь:

— Уа, алдияр таксыр всемилостивейшая и всепресветлейшая государыня царица всех бескрайних земель и народов великого Российского государства! Ты, сияющая ярче луны и всех звезд и созвездий на небе, дарующая благодать и добро, солнцеликая и солнцеподобная повелительница наша, безграничной щедростью своего сердца и величием души своей озаряешь нам, подданным твоим, путь на земле. От твоего чистого и кроткого лика, осиянного божественным светом, проистекает добродетельное тепло и искреннее расположение великой и лучезарной души твоей, благость и любовь которой я испытываю в эти незабываемые, счастливейшие мгновения всем благодарным моим существом. Я припадаю к стопам твоим, выражая как верноподданный свое безграничное почтение, как один из покорных сынов твоих — свою неиссякаемую любовь, как покорный слуга — свою беспредельную преданность. Радуясь твоим блистательным победам на поле брани над злосчастными врагами, желаю новых побед славному русскому оружию и процветания твоего императорского величия и могущества! И нижайше прося тебя, великая из великих, принять меня, со всею моею фамилиею и с моими ордами под опеку твою, под твое могучее и сильное, как у орла, крыло, вознаградить за преданность мою своим милостивым покровительством, я присягаю на веки вечные быть верным и надежным подданным твоим, беспрекословно подчиняющимся твоей высочайшей воле и завещающим потомкам своим оправдать твое доверие и благодеяние. А вас, высокородный мурза-правитель, я приветствую как верного друга, поздравляю с благополучным прибытием в эти края, прошу не оставлять меня и подвластный мне народ своей милостью и благосклонностью отныне и впредь, а также, посетив нас, удостовериться в нашем щедродушии и дружеской воле.

Хан закончил свою речь, перевел дух. Татищев сделал шаг навстречу. Заговорил высоким, резковатым голосом, врастяжку:

— Почтенный Абулхаир-хан! Ваше к ея императорскому величеству подданническое поздравление не иначе, как за утверждение вашей к ея императорскому величеству

покорности и верности, при том вас всевысочайшим повелением ея императорского величества обнадеживаю, что ея императорское величество вас, хана, как со всею вашею фамилиею и ордами всемилостивейше в подданство и во всевысочайшее ея десницы защищение и матерьнюю милость принять соизволила, так и всегда вас, яко верноподданных в том содержать соизволит. Службу же и верность, показанную от вас, всемилостивейше похваляет, а при том объявляю вам всемилостивейшее ея императорского величества соизволение, чтоб вы единое обещанное свое подданническое желание присягою по закону вашему утвердили. Я же, собственно вас видя, весьма радуюсь и, от сердца желая вам всякого благополучия, поздравляю и в моей к вам любви и дружбе не иначе, как моего друга и брата, уверяю и оное непременно сохранить желаю...

Закончив речь, хан и начальник Оренбургской комиссии двинулись друг другу навстречу, обменялись рукопожатием и обнялись. Потом направились к двум креслам, покрытым парчой. В кресло с правой стороны сел Абулхаир, в левое кресло опустился Татищев. Между ними находилась низенькая, изящная подставка, покрытая скатертью из китайского шелка с кистями. На подставке стоял огромный портрет императрицы. Рядом с ханом расположился господин Тевкелев. Рядом с Татищевым — тот самый видный мужчина в пышном военном облачении, встретивший хана у двери.

— Представляю, досточтимый хан, своих помощников — господина полковника Тевкелева и господина полковника Едилева.

Оба полковника упруго вскочили с мест, склонили головы.

Хан приложил руку к груди и тоже поклонился.

Полковники сели.

Хан медленно обвел взглядом шатер. Видно, вся церемония встречи и переговоров была продумана и расписана до мелочей. На мягкие кресла — покрытые, однако, не золотом вышитой парчой, а красным бархатом,— были усажены Нуралы, Нияз, Кожахмет, Тевкелев и Едилев. Тем, кто, судя по всему, были чином пониже, достались деревянные стулья с высокими спинками. Вдоль левого крыла шатра были установлены невысокие лавки, застеленные ковром. На них расселись двенадцать ханских советников-биев во главе с Жанибеком, двумя Букенбаями,

Есетом и Шуреком. Остальных биев, должно быть, разместили в первом, наиболее просторном, шатре: оттуда доносились их гортанные, чуть приглушенные голоса.

Человек семь рослых, долговязых солдат внесли что-то громоздкое, туго скатанное, бросили, точно бревно, на пол и развернули. Это оказался огромный, толстый, необыкновенно яркий персидский ковер. Интересно, для чего он понадобился?

Не успел хан про себя так подумать, как в проеме двери показался благообразного вида молодой человек в высоченной белоснежной чалме. По одежде и по походке, жестам и манерам можно было догадаться, что это был ахун. Он встал с краешка персидского ковра. Тотчас вскочили с места оба полковника. Снова раздался высокий голос Татеша-мурзы. Слова его переводил Тевкелев.

— Высокочтимый хан Абулхаир Мухамбет-казы Бахадур! Готовы ли вы присягнуть в верности и подданстве всепресветлейшей, державнейшей великой государыне, самодержице всероссийской и прочия и прочия и прочия Анне Иоанновне?

Абулхаир встал.

— Готов, высокопревосходительный господин! Смею, однако, выразить одно лишь пожелание. Прежде чем доброй волей своей подкрепить присягу, я хотел бы выслушать ее своими ушами.

— Милости просим.

Все в шатре вслед за Татищевым встали. Полковник Едилев раскрыл плотную, обшитую шелком грамоту и принялся читать. Мамбет-мурза фразу за фразой переводил на казахский язык:

— Я, киргиз-кайсацкого народа хан Абулхаир, обещаю и клянусь всемогущим богом, что хочу и должен со всем мои родом и со всею моею ордою всепресветлейшей, державнейшей государыне императрице и самодержице всероссийской и по ней ее императорского величества высоким законным наследником, которые по изволению и самодержавной власти определены и впредь определяемы и к восприятию престола удостоены будут, верным добром и послушным рабом и подданным быть, и все к высокому ее императорского величества самодержавству сил и власти принадлежащие права и преимущества узаконенные и впредь узаконяемые по крайнему разумению сил и возможностям предостерегать и оборонять, и в том живота своего в потребном случае не щадить, и притом по крайней

мере стараться спопешествовать все, что к ее императорскому величеству верной службе и пользе во всяких случаях касаться может, об ущербе же ее величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать, и как я пред богом и судом его страшным в том всегда ответ дать могу, как суще мне господь бог душевно и телесно да поможет. В заключение же сей моей клятвы целую слова, данные от всевышнего бога.

Абулхаир внимательно вслушивался в каждое слово присяги. Потом некоторое время, погруженный в думы, молчал. В шатре воцарилась тишина. Казалось, все затаили дыхание.

Наконец хан откашлялся и сказал:

— Высокопревосходительный господин! Человек живет в свете и детьми память о себе оставляет. Но сия память и скоту равна есть, а честь, приобретения человеку, во веки не умирает. И я тем ныне наиболее должен радоваться, что мое имя в том великом и славном государстве известно...

Татищев поспешно вступил в разговор:

— Имя ваше да прославлено будет не токмо в государстве российском, но и повсюду в Европе. Благодетельные деяния, запечатленные на бумаге, распространение имеют по всем просвещенным странам.

Хан, почтительно дослушав Татищева, продолжал:

— Весьма и весьма благодарен за теплые ваши речения, высокопревосходительный мурза! Но в таком случае, может, не надобно меня столь уничижительно называть в присяге «верным, добрым и послушным рабом»? Разве недостаточно слова «подданный»?

Татищев слегка сконфузился.

— Но... высокочтимый хан, такова форма присяги, которую подкрепляют все подданные Российского государства, вступая под его покровительство.

— У каждого народа, однако, свои нравы и обычаи. Для нашего народа нет ничего унизительнее, чем быть чьим-то рабом.

— В подобных документах слово «раб» означает лишь преданность и верность.

— Но для выражения этих понятий разве не существует других слов? Зачем непотребным словом «раб» унижать достоинство человека?

— Называя себя рабом, человек тем самым признает и подчеркивает свою зависимость перед божьей избран-

ницей великой государыней императрицей.

— Тогда справедливо слово «раб» заменить словом «умбет».

— «Умбет»? Что сие означает?

— Оно выражает ту же преданность и верность. По смыслу оно близко понятию «преданный слуга». В понимании нашего народа каждый живущий на земле является рабом божьим, верным слугой пророка и другом себе подобных. Смертному подобает быть рабом только бога, высшего творца нашего. А для правителей двух дружественных народов, полагаю, вполне естественно и достаточно благоразумно, если один для одного является благодетелем, а другой — верным и преданным слугой, умбетом.

Широкий, ясный лоб Татищева избороздили продольные складки. Тонкие губы сложились было в привычную усмешку, но тотчас разлепились, и вместо усмешки получилась гримаса досады. Рука также было озадаченно потянулась к затылку, но застряла где-то на уровне груди.

Татищев пытливо вгляделся в лицо хана, сощурился.

— Пусть будет так. Учтем ваше пожелание. Но в русской речи нет слова, точно соответствующего этому понятию. А посему мы его, с вашего позволения, употребим лишь на подлинно татарском письме присяги.

Хан посмотрел на биев. Бии согласно кивнули.

— Мы согласны. Да будет так!

Хан ступил на персидский ковер, опустился на колени перед ахуном.

Ахун обеими руками протянул ему Коран.

Хан принял Коран, коснулся его губами, приложил ко лбу и вернул назад.

Потом поднялся, достал серебряную ханскую печать и крепко приложил ее к тому месту плотной гербовой бумаги, куда услужливо ткнул пальцем Мамбет-мурза.

Подошел, улыбаясь, Татищев, пожал хану руку, обнял, похлопал по спине. После него поздравили хана полковники Тевкелев и Едилев. Потом подошли один за другим все остальные.

В это время из переднего шатра зашли остальные бии, изъявив желание также присягнуть на верность белой царице. К ним тотчас отправились ахун с Кораном в руке и Мамбет-мурза с плотной папкой, тисненой золотом. Татищев взял хана под руку и повел его в другой, соседний, шатер.

Посередине нарядно убранного шатра, радостно сияя лицом, стоял рослый стройный юноша. Над верхней губой темнел пушок.

Хан не сразу узнал в нем своего сына, находящегося в аманатстве. А узнав, порывисто обнял его. Долго стояли отец и сын, не разнимая объятий.

От волнения Абулхаир не мог говорить. Обнюхал по восточному обычаю смуглый лоб сына, стиснул его плечи, горделиво встряхнул, словно хотел проверить, в добром ли он здравии и теле, и даже пытливо оглядел его с головы до ног. Сын окреп и телом, и духом. Держался учтиво и достойно. Не позволял себе ребяческой выходки.

— Иди, поздоровайся со своими родичами,— сказал ему хан.

Султан Нияз, увидев Ералы, громко и восторженно воскликнул:

— Оу, милейший, я-то думал, какая-то важная особа, а это, оказывается, наш родной Ералыжан! Как вымахал-то, а?! Сколько лет уж не виделись! Тьфу, тьфу, не сглазить бы только. Таким ладным, видным джигитом стал, хоть в царский дворец посади!

Султан Нуралы по-взрослому, грудь в грудь, обнял младшего брата. А самый младший из братьев, Кожахмет, будто не веря глазам своим, продолжал стоять в сторонке.

— Ну, ты что? Иди же, поздоровайся с братом!

Ералы, все так же сдержанно улыбаясь, сам подошел к нему.

— Что, братишка, никак узнать не можешь, да?

Кожахмет осклабился, рассиял весь.

— Смо-о-трите! Да он, оказывается, по-казахски говорить умеет!

Ералы склонился к нему и губами коснулся его лба.

Кожахмет, смерив глазами суконный мундирчик на брате, схватился за медную блестящую пуговицу.

— Слушай, а сколько длинногривых ты загнал за этот свой бешмет? А штаны твои с ширинкой, да? А мочишься, наверное, тоже стоя, как урусы?

— Не забывай, что ты здесь гость. А гостю не полагается молоть что попало.

Ералы притянул братишку-озорника к себе и шутя ткнул его в затылок. Кожахмет, возмущенный этим жестом старшего, состроил рожу.

Вошел какой-то златопогонник, подошел, чеканя шаг, к Татищеву, о чем-то громко доложил. Должно быть,

такая манера у русских — кричать как в степи. Иначе, видать, друг друга не слышат. Неужели они так же орут, когда идут на воровство или к бабе? Странные манеры...

Татищев обратился к Абулхаиру:

— Высокочтимый хан! Оказывается, нас заждались к столу. Прошу вас!..

Вслед за ханом вышли несколько биев. Вид у них был озабоченный.

— Может, прежде чем сесть за дастархан, мы совершим полуденный намаз? Не то пропустим молитву — грех будет...

Хан сказал о том Мамбету-мурзе. Мамбет-мурза сказал о том Татищеву. Татищев передал неожиданную просьбу еще одному златопогоннику. Тот — еще кому-то чином пониже. Получилось как в казахской поговорке: хозяин приказывает псу, а пес — своему хвосту. Хан полагал, что на это уйдет теперь много времени, однако очень скоро заполошенно примчался один из златопогонников и доложил, что все в порядке.

— В специальном шатре вас ждет ахун. Там и совершим полуденный намаз,— сказал Мамбет-мурза.

Шатер, отведенный для молитвы правоверных, находился поодаль. Туда и повел толмач кайсацких родоправителей. У входа в шатер стояли приготовленные для омовения медные и чугунные кувшины и кумганы с теплой водой. Ханская свита, разобрав их по одному, потянулась, точно стая степных дроф, к реке. Там, в густой траве, опустившись на корточки, кайсаки сидели долго. Наблюдавшие за ними издали караульные с трудом сдерживали смех.

Представители русской власти, стоя возле главного шатра, нетерпеливо поглядывали на часы. Намаз правоверных совершенно не предусматривался церемонией встречи. Степняки в накинутых на плечи парчовых и плюшевых чапанах явно не торопились. Обряд омовения затягивался. Было слышно, как кайсаки откашливались, отхаркивались, ополаскивали руки, лицо, рот, подолгу плескались, отряхивались, что-то бормотали. Наконец, покончив с омовением, медленно, словно считая каждый шаг, потянулись к крайнему шатру. И вскоре оттуда донесся гортанный, тягучий голос ахуна. Потом наступила долгая, благоговейная тишина. Копья, застывшие в руках воинов, поблескивали наконечниками на солнце и напоминали множество зажженных свечей. Так, бывает, горят в темной

ночи огоньки, зажженные страждущими у могилы какого-нибудь святого.

И вдруг к источавшему зной полуденному небу устремилось многоголосое, протяжное:

— Ал-лау-ак-ба-а-арр!..

Из шатра один за другим вышли умиротворенные после намаза степняки в просторных чапанах. Хан стоял, поджидая всю свою свиту. Наконец всей гурьбой двинулись к главному шатру. И тут только посланник царицы, сдерживая досаду, щелкнул крышкой часов на цепочке, положил их в карман.

Кому, где и как сидеть за торжественным столом — все было предусмотрено до мелочей. Хан, султаны, оба полковника во главе с господином тайным советником были усажены за стол в красном углу в почетном шатре. Толмачом здесь был назначен Устан Богданов. Старейшины-родоправители, ближайшие советники хана, а также штабс- и обер-офицеры расположились в большом шатре. Толмачами к ним были приставлены Арслан Бахметев и Максютов. Остальных кайсацких биев и батыров усадили под навесом. С ними находились также несколько толмачей во главе с ахуном.

Когда все расселись и воцарилась тишина, его превосходительство господин тайный советник поднялся с места.

— Предлагаю тост за здравие ее императорского величества!— провозгласил он.

Все, грохоча стульями, разом повскакивали. Неуклюже, с оглядкой, поднялись и степняки.

С резким хлопком полетели пробки затейливых заморских бутылок. В бокалах запенилось, зашипело вино. А за шатром что-то оглушительно грохнуло. И тут стоявшие за столом загорланили во всю мощь своих глоток. Не успели они затихнуть, как вновь раздался залп.

Мамбет-мурза, наклонившись к хану, пояснил:

— Это палят пушки в честь державнейшей государыни императрицы. Палить они будут после каждой здравицы. Первоначально двадцать один раз кряду. Сколько же раз в дальнейшем — сосчитаете сами.

Пальба прекратилась, когда у степняков уже начали затекать ноги. Наконец все придвинулись к столу, потянулись к яствам. Однако вскоре Татищев снова поднялся.

— За здравие семьи ее императорского величества!

И опять оглушительно грохнули пушки. И вновь

собравшиеся что-то прокричали, не щадя глоток. Залпов на этот раз было семнадцать.

Наступила недолгая пауза. Опять все склонились над блюдами. Но тут в третий раз взвился высокий голос Татищева:

— За славу доблестного и грозного русского оружия!

И опять все повторилось точь-в-точь. Только залпов оказалось меньше — одиннадцать.

За столом становилось все оживленней. Толмач едва успевал следить за разговором. И в это время в очередной раз поднялся Татеш-мурза. Казалось, голос его стал еще звонче:

— За здравие досточтимого хана киргиз-кайсацкой орды Абулхаира Мухамбет-казы Бахадура, его семьи и подвластного ему народа!

Последовал девятикратный пушечный залп. И девять раз взмывало к небу раскатистое, мощное «Ур-ра-а-а!» И каждый этот ликующий вопль почудился хану длиною в год. О, аллах всемилостивый! Услышали бы сейчас этот торжествующий возглас в его честь Абильмамбет и Абильмансур на далеком Иртыше! Докатился бы он до Барака на берегах Тургая, до Кушика возле реки Сарысу, до султана Батыра в приозерье Челкар! Они позеленели бы от досады и зависти... а если бы этот грохот и ликование услышали его родные края, его аулы, его верная Бопай, дочка Злиха и все его дети!.. Если б услышала это вся беспредельная казахская степь... Тогда бы славное имя его гремело повсюду. Оно было бы у всех на устах. Вот они, свидетели его небывалого торжества — сто пятьдесят наивлиятельнейших родоправителей. О чем они сейчас думают? Что испытывают? Что у них в закоулках души? Что они скажут потом там, в родных улусах?!

Пальба прекратилась. Опять все потянулись к вилкам и ложкам, но и на этот раз, едва гости успели прожевать и проглотить кусок, как вновь поднялся Татищев.

— За здравие всех верных и преданных подданных великой российской императрицы!

Девять раз кряду прогрохотали пушки и столько же раз возносился к небу ликующий вопль. В общий гул все явственнее вплеталась гортанная казахская речь. Видно, бии в шатре и под навесом почувствовали себя весьма польщенными здравицей царского посланца.

Покрывая своим высоким голосом всеобщую колготню за столом, Татищев через паузу провозгласил:

— За здравие высокостепенной ханши и досточтимых султанов!

Один за другим раздалось семь залпов, сопровождаемых дружным криком. Лица Нуралы, Ералы, Кожахмета вспыхнули румянцем. Султан Нияз от удовольствия начал ерзать, озираться по сторонам. Интересно, как себя чувствует там, под навесом, среди биев и батыров Мырзатай в эти мгновения? Должно быть, распирает его от гордости за своих племянников. Будет теперь выхваляться повсюду: «Имена моих племяшей услышал сам создатель на небе!»

Не успела схлынуть краска с лица султанов, как Татеш-мурза вновь прокричал:

— За здравие всех ханов, желающих быть под покровительством великой императрицы!

Хан вздрогнул, будто кольнуло его в бок. Что это значит? При чем тут другие ханы?

Он внимательно прислушался. Залпов было семь. Всего лишь семь. Столько, сколько их было в честь его жены и детей. Ни одним больше. Это его немного успокоило. Нельзя было давать повода противникам для злорадства. Иначе скажут завтра: «Хоть нас и не было на том торжестве, а чести удостоились такой же, как и ты».

Еще раз поднялся с места Татищев и объявил:

— На этом салютация из пушек прекращается. Каждый волен пить вино по потребности.

Под подсчетам хана, было провозглашено всего семь здравиц и произведено общим числом восемьдесят три пушечных залпа. Но подобный напрасный извод, судя по всему, никого из златопогонников не обескуражил. Из этого можно было заключить, что пороха у русской царицы больше, чем птичьего помета в степи.

Торжественный обед длился долго. Солнце уже клонилось к вечеру, когда гости поднялись из-за стола. Посланник царицы подошел к хану.

— Досточтимый хан, позвольте показать отведенные для вас шатры.

В центре лагеря было поставлено четыре шатра — два просторных и два — немного поменьше. Один из шатров, самый нарядный, весь в парче, в коврах, предназначался, должно быть, хану. Возле шатров стоял почетный караул — около ста солдат во главе с усатым гренадерским офицером.

18—1505

— Коль вам это по душе, милости просим, ночуйте здесь. Если же вам удобнее провести ночь в своем стане — воля ваша. О завтрашней встрече мы вас известим.

Хан поблагодарил Татеша-мурзу за прием и честь и отметил, что он и его свита предпочитают ночевать в своем стане на вершине холма.

Провожали ханскую свиту так же торжественно, как и встречали. Так же шли впереди гренадеры. Так же играли флейты и трубы, сыпали оглушительной дробью барабаны. И пока казахские родоправители не добрались до своего стана, внизу, в долине, в русской крепости, продолжали стоять в карауле нарядные отряды. Когда хан спешился возле своего шатра на холме, в последний раз загрохотали барабаны и литавры, а потом разом затихли.

Караульные внизу разошлись по гарнизонам.

На следующий день в верности российской самодержице присягнули султан Нуралы и около ста биев. Им воздали те же почести, что и хану. Говорились те же речи. Провозглашались в той же последовательности здравицы. Незначительная разница была лишь в количестве пушечных залпов.

Между казахским станом на вершине черного перевала и русским лагерем у устья реки Орь вскоре пролегла заметная тропа.

Истаял последний месяц лета.

За это время посланник русской царицы и казахский хан успели приноровиться друг к другу.

В первые дни переговоров Абулхаира не покидали беспокойство и робость. Конечно, почести ему были оказаны великие. Тут придраться, пожалуй, не к чему. Ну а если вдруг все это было обыкновенной уловкой, хитростью? Вдруг таким образом хитроумный царицын посланник усыпил его бдительность, а теперь, при беседе с глазу на глаз, покажет ему волчьи клыки? Как следует поступать в таком случае?

Про себя хан решил быть последовательным и твердым. Уговор, с каким батыр Букенбай накануне встречи на Ори отправился к Татешу-мурзе, оставался в силе. Если зайдет вдруг речь о башкирах и калмыках, Абулхаир не оробеет. Тут же встанет на дыбы и прямо скажет: «Так кто же для вас, высокопревосходительный господин, сейчас более всего важней — башкиры и калмыки или все же киргиз-кайсаки?!» И пусть решают сами...

Переговоры начались так же помпезно. С раннего утра вся крепость оказалась на ногах. В парадном строю стояли многочисленные отряды. Надрывали глотки командиры. Клубилась пыль из-под копыт коней. Трубили начищенные до блеска трубы. Грохотали, распугав всех птиц в окрестности, военные барабаны. Шатры сияли дорогим убранством. Все те же ковры, мягкие кресла. И только златопогонников заметно поубавилось. Их в шатре осталось всего четверо: сам Татеш-мурза, неизменно сопровождающий его полковник Едилев, давний знакомый казахов — Мамбет-мурза и тот самый толмач, что сидел тогда с ними за торжественным дастарханом,— Устан Богданов.

Со стороны казахов, по предварительной договоренности, в переговорах также участвовали четверо: сам хан, табынец Букенбай, аргынец Жанибек, найманец Шурек.

Господин Татищев, поблескивая широченным открытым лбом, приветливо улыбался. Потом вдруг поинтересовался, как гости почивали, как встали, каково самочувствие и настроение. На все вопросы царского посланника кайсаки отвечали однообразно и односложно:

— Благодарение аллаху!

Про себя, однако, каждый недоумевал: странные все-таки манеры у урусов; для них, выходит, главнее всего личное здравие и благополучие, а о земле-крае, о близких и дальних сородичах, о житье-бытье в аулах, о скотине и женах, наконец, они и не расспрашивают. Об этом, должно быть, у них голова не болит.

Многоопытный и многомудрый царский посланник, по-прежнему сияя добродушной улыбкой, начал разговор издалека. Его интересовала первопричина, по которой кайсаки решили вступить в русское подданство.

Странно... Разве это не яснее ясного?.. Все причины известны сидящему здесь Мамбету-мурзе. Их хорошо знал и скончавшийся недавно господин Кирилов. Прекрасно осведомлена о них и сама вседержавная царица. Надо полагать, что не хуже других знает о том и новоиспеченный глава Оренбургской комиссии. Но что поделаешь... коли спрашивает, надобно отвечать. Вероятно, начальнику любопытно знать, совпадает ли нынешний ответ хана с тем, что он говаривал прежде. Хитер, ничего не скажешь... Тем самым намерен уяснить для себя, произошли ли за это время какие-то перемены в тайных желаниях, устремлениях и настроении кайсаков, насколько они надежны

и самостоятельны и вообще можно ли надеяться на серьезные с ними отношения.

Казахам, слава всевышнему, тоже хорошо известно, что от них хотят русская царица и ее приспешники. И поэтому они уж постараются выказать единство и на словах и на деле. По крайней мере, точь-в-точь повторяют то, что не однажды говорили прежде.

Переговоры протекали необычайно осторожно. Казалось, обе стороны подбирались к главной цели кружным путем и кошачьими шажками. Казахам чудилось, что они выбирают соринки из растопленного сала. Обе стороны приглядывались, прислушивались друг к другу, выжидали, говорили намеками, вскользь, взвешивая каждое слово.

Так продолжалось две недели. За это время хан и знатные родоправители не однажды побывали в пышных шатрах русской крепости. За это время начальник Оренбургской комиссии и его помощники тоже не раз навестили кайсацкий лагерь на вершине черного холма. И если за эти две недели казахские владетели вполне научились сидеть за накрытым заморскими яствами столом на высоких стульях в позе попавшего в капкан волка и говорить пространные, обтекаемые речи, то и русские сановники приноровились восседать, скрестив под себя по-степному ноги, за обильным дастарханом, и так же упиваться собственным красноречием.

Первоначальные боязнь и опаска друг друга развеялись. Улетучились понемногу и робость, и излишняя настороженность, сковавшие поначалу обе стороны.

Переговоры проходили все более непринужденно. И все же, улыбаясь и похохатывая, искусно изображая предельную откровенность и доверчивость, и та, и другая сторона оставалась себе на уме. Чего-то недоговаривали, тщательно обходили, скрывали друг от друга. Каждая сторона знала свою слабость, свою уязвимость, понимала, где болит, старалась, насколько возможно, не касаться слабого места. И потому обе стороны говорили много и пышно, улыбались щедро и так же щедро и обильно угощали друг друга.

Все это очень походило на схватку двух опытных, искушенных в борьбе силачей-палванов. Вот они сошлись в кругу. Накрепко обхватили друг друга. Мышцы напряжены. Пот заливает глаза. Каждый зорко подмечает любое движение, любой жест соперника. Кто дрогнет первым?

У кого раньше затрясутся поджилки? Кто первым обнаружит свою слабину? Кто раньше воспользуется промахом другого? Так бывает, когда соперники любой ценой намереваются положить друг друга на лопатки. Но здесь — иная цель. Здесь обе стороны намерены не прогадать, набрать побольше очков, устояв при этом на ногах. Странная, невиданная борьба. Борьба, в которой не должно быть побежденных, а только — победители. Борьба во имя единения, созидания, а не разрушения и разъединения. Как же иначе? Без сноровки, без хитрости нынче не обойтись. Слишком много развелось палванов-силачей, способных свалить дромадера и норовящих сломать сопернику хребет и втоптать его в грязь. А хитрость в том, чтобы не побороть кого-то, а прежде всего устоять на ногах, не позволить, чтобы тебя побороли. Много ли проку оттого, что, поднатужившись и извернувшись, ты сегодня одолел грозного, превосходящего тебя силой палвана? Завтра, рассвирепев, он непременно сотрет тебя в порошок. Уж коли сам создатель изначально ограничил твои возможности, то и рыпаться особенно нечего: помышляй не о победах, а о том, чтобы не изведать горечь поражения. Ничья — вот красная тебе цена, вот вершина твоих устремлений. И потому довольствуйся ничьей. При твоих органиченных возможностях ничья — уже благо. Даже играя все время вничью, можно набрать немало очков.

В какой-то мере их переговоры смахивают также на игру в тогуз-хумалак. Прежде чем перекинуть камушек в лунку, необходимо все тщательно обдумать и взвесить, производя в уме бесконечные подсчеты. В противном случае бесповоротно проиграешь. Ну, а если ты силен в счете и благодаря этому обыграешь своего противника, то тоже еще неизвестно, обернется ли твоя победа благом. Это ведь зависит от того, кто твой противник. Если, скажем, ты выиграл у достойного, у равного тебе, то честь тебе и хвала. Тут все ясно. А если ты играешь с более опытным, хитрым и сильным? И если он нарочно, поддразнивая или вовлекая тебя в азарт, играет в поддавки, в кошки-мышки? А потом, разозлившись, разнесет тебя в щепки? Тогда как?.. Чем тогда обернется твоя судьба?

Попробуй-ка о том не подумать. Не в этом ли исток древней мудрости: мороз, знай свою силу, а мурашок — свою тропинку? Важно не переоценивать себя. В самом деле: кто русская царица-самодержица, а кто он, хан

Младшего жуза?! Какова русская империя, а каков подвластный ему улус?.. О том следует помнить при каждом шаге, иначе невзначай наступишь на раскаленные угольья. О том следует помнить при каждом слове, иначе накличешь беду. Ты мечтаешь о большей славе и могуществе, но, оступившись в своей дерзости, можешь лишиться и того, что имел. А посему не разумнее разве было с самого начала не рыпаться, памятуя о куцых своих возможностях?.. Так назойливо нашептывало ему трусливое благоразумие.

Однако кто вправе судить о его поступках и действиях? Кому ведомы причины, толкающие его на риск? «Не рыпаться с самого начала...» Скажут тоже!.. А каково ему было с самого начала? Каково было казахам?.. Разве позволяли им жить тихо да мирно? Как бы не так! И рады были бы казахи жить в мире, да зарились на них со всех сторон. Не на них, понятно, а на их простор, на их пастбища, на реки и озера, на ширь степей.

Как быть, как жить, если испокон веку ненасытный враг со всех сторон хватает тебя за подол, норовя ввязать в драку? В самом деле, сколько же можно меряться силами с одним, со вторым, с третьим? Этак не мудрено и надорваться. Врагов много. И им невтерпеж схлестнуться с тобой вновь и вновь. Они будут постоянно ставить тебе подножку и пытаться шмякнуть тебя оземь. А свалив тебя, навалятся со всей силой и не успокоятся, пока не переломят тебе хребет... Жизнь — не борцовский круг, где беспрерывно состязаются палваны. В круг богатырь-борец выходит лишь изредка, уповая на поддержку священных духов и собственную удачу. Судьба рассудила казахов, однако, иначе. Им приходится состязаться всю жизнь, без передышки, из года в год, изо дня в день. Но вечно так продолжаться не может. В один несчастный день их непременно покинут остатние силы. Косточек в безбрежной степи не соберешь. Голоса своего не услышишь. Помня об этом, следует твердо знать, с кем вступать в борьбу, а с кем — нет. Знать надо также, когда и как состязаться. Разумнее, пожалуй, схватиться с таким, кто и старше, и сильнее тебя. Сильный, как известно, более покладист и добродушен. Он способен на снисхождение и милосердие. Он может иногда простить твою задиристость. Опытный, сильный палван, борясь с более слабым и юным соперником, не швыряет его с остервенением наземь, не калечит его. Он заботится о чести-

достоинстве, опасается осуждения толпы. Конечно, для этого необходимо, чтобы сильный обладал не только силой, но и умом, и тактом, и благородством. Нельзя также, чтобы этими достоинствами был обделен и младший его соперник. Не годится хватать старшего за бороду. Старший остерегается, боясь младшему невзначай причинить боль. И младший, если он только не лишен здравомыслия, тоже остерегается, боясь задеть честь старшего. Сойдясь в схватке, старший испытывает младшего: есть ли у того понятие о почете-уважении. И младший испытывает старшего: проявит ли он благородство и снисхождение? Так уж устроена жизнь: стычки-драчки между равными или себе подобными никогда не утихают. Те же, что находятся на разных уровнях, также не перестают испытывать друг друга. Кто надеется исключительно на свою силу, не может не напасть на окружающих. Кто уповает на рассудок, не может не взирать пристально и испытующе на то, что творится вокруг. В стычках-драчках побеждает неизменно более сильный. А сила чаще всего у того, кто числом поболее. В мирных же испытаниях побеждает ум. Умом-рассудком могут быть в равной мере наделены и старший, и младший, и малые, и многочисленные. Нередко бывает так, что старшинство и большинство оказываются лишенными ума и здравого рассудка, а снисходительная природа награждает этим даром как раз осторожное и благоразумное меньшинство. Отсюда вывод: слабым и малым целесообразнее ввязываться не в открытую борьбу, а в подспудную, затяжную, невидимую. Борьба умов не всегда преследует победу, она главным образом стремится к справедливости. А справедливость предпочитает не столкновения большинства и меньшинства, сильного и слабого, а их единство, взаимопонимание и согласие. Если все разумные обитатели земли, уподобляясь хищникам, пустят в ход клыки и когти, то это обернется повальной гибелью. Если же двуногие смертные, наделенные и силой и умом, не предпочтут силе разум, а гневу — трезвый рассудок, то на земле никогда не воцарятся мир и покой. Уж кому-кому, а казахам давно пора это понять. Мало ли им выпало на долю испытаний? Мало ли набили они себе шишек? Вообще казахи чем-то напоминают неопытного юнца-наездника, который на легконогом скакуне, обряженном в дорогую сбрую, доставшуюся в наследство от храброго отца-воителя, отправился однажды в бескрайнюю степь на зависть и удивление тем, кто искони рыскал

по ней из конца в конец. И, естественно, всякий встречный-поперечный так и норовит выбить из седла юнца-наездника. Бесспорно, что казахам досталась беспредельная степь, но еще как сказать, сумеют ли они ее удержать. Уверенности в том с каждым годом все меньше и меньше. Обзаведешься чистокровным скакуном — гляди в оба, чтобы его не увели. Облачишься в дорогой чапан — смотри, чтобы не стянули его с твоих плеч. Знать свою слабость — разве не признак ума? А коли так, то в этом жестоком мире, где сильный норовил сомнуть слабого, казахов спасет не сила, а ум, расчетливость и здравомыслие...

Насколько ему, Абулхаиру, позволительно судить, русская царица-самодержица все это прекрасно знает и понимает. А раз так, то как она, интересно, поступит? Неужели станет кичиться своей силой и могуществом? Неужто попытается сразу навязать свою волю? Неужели, не раздумывая, приторочит их, точно тушу козленка, к своему седлу? Или постарается поначалу приручить к себе, приласкать, приголубить? На что рассчитывает? На свою силу? Или проявит добрую волю и великодушие? Если она уповает на силу и постарается подданных своих немедля подмять под себя, то, может, пока не поздно, скорее убраться восвояси, позаботиться о собственной шкуре? Ну а если выкажет добрую волю и благосклонность, то, пожалуй, есть смысл внушить ей, что и ты, степняк, способен на ответное движение души.

Все это должно было выявиться и прояснится на переговорах.

И потому они начались робко, осторожно. Обе стороны как бы прощупывали друг друга.

Но при всей осторожности обеих сторон обнаружилось многое тайное, сокровенное.

Начальник Оренбургской комиссии, словно щадя самолюбие новых подданных российского престола, тщательно избегал упоминать калмыков и башкир.

И казахи, явно стараясь не наступить невзначай на спящую змею, тоже ни единым словом не заикнулись о них.

Каждый знал, у кого что на уме, кого и что больше всего заботит, но все старались благоразумно обходить острые и опасные углы. Но и уходить далеко от основных вопросов никому не удавалось. И, должно быть, потому беседа вновь и вновь возвращалась к пленникам.

Русская сторона осторожно напоминала:

— По нашим, вполне достоверным сведениям, в ваших

улусах находится немало пленников из числа яицких, сакмарских, есетовских казаков, а также из калмыков и башкир. Желательно, чтобы в ближайшее время им была предоставлена возможность вернуться в родные края.

Казахская сторона это понимала так: «Отныне не смейте и пальцем тронуть соседей, принявших русское подданство!»

Казахи говорили:

— Немало наших сородичей томится в плену яицких, сакмарских, есетовских казаков, а также среди калмыков и башкир.

И русские понимали это так: «Если отныне они нас трогать не будут, и мы их не тронем...»

Долго вертелся разговор и вокруг торговых караванов. Казахи дали слово взять под свое покровительство русские торговые караваны, проходящие через их улусы. В знак верности этому уговору хан Абулхаир обязался лично провести русский караван, впервые следовавший через казахские степи в Ташкент с товаром на двадцать тысяч рублей.

Тут же бии и батыры распорядились, отправив в свои улусы нарочных, немедленно обеспечить русский караван всем необходимым. Их наказы должны были исполняться, пока присягнувшие на верность царице находились еще в русской крепости.

Никаких других просьб со стороны начальника Оренбургской комиссии не последовало. Абулхаир же при частной беседе с ним выразил желание отправить через год в царский дворец ханшу Бопай. С одной стороны, хану хотелось тем самым еще раз подчеркнуть свое превосходство перед своими противниками и тайными недоброжелателями, а с другой — в какой-то мере утешить свою старшую жену, удрученную тем, что вынуждена отдавать одного за другим своих сыновей в аманатство.

«Ах, хитрец!.. Понравилось, видно, получать царские подарки»,— подумал про себя, чуть усмехнувшись, его высокопревосходительство, однако вслух сказал:

— Хорошо. Обещаю передать ваше желание ее императорскому величеству.

В конце беседы зашел разговор о самом трудном и тяжком для Абулхаира. В присутствии всех было объявлено, что пришла пора отпустить султана Ералы домой, оставив вместо него в аманатах младшего ханского наследника Кожахмета.

Абулхаир при этих словах побледнел. Щеки его тотчас посерели, скулы обострились, кончики смоляных усов обвисли, лишившись обычного блеска.

— По нашему разумению,— деланно улыбаясь, сказал Татеш-мурза,— эта встреча должна была состояться давным-давно. Мы просим у вас извинения за то, что не смогли своевременно отпустить юного султана. Вы сами понимаете, что помехой тому послужил мятеж башкир.

— Понимаем...

— Надеюсь, с султаном Кожахметом такого не случится,— каменея лицом, сурово заметил табынец Букенбай.

— Надо полагать,— так же твердо ответил Татищев.

— Кожахмет — совсем еще мальчишка. Ему привыкать будет трудно. Может, позволите оставить при нем побольше нукеров из соплеменников?

— Не возражаем. Оставьте при нем нукеров столько, сколько считаете нужным.

Хан, по-прежнему бледный, молчал. Его так и подмывало сказать, чтобы все владетельные бии и батыры, присягнувшие в верности, тоже оставляли в аманаты по одному из сыновей, однако так и не решился это предложить, опасаясь, что тем самым отпугнет и без того излишне настороженную свиту и усложнит столь благополучно заканчивавшиеся переговоры. В душе он все-таки еще надеялся, что кто-нибудь из знатных родоправителей сам заикнется об этом.

Наступила тягостная пауза. Татищев пристально всматривался в непроницаемые лица степняков. Родоправители упорно молчали, безучастные, равнодушные. Глядя на удрученного хана, Татищев сник, поспешно отвел глаза. В зрачках его мелькнула жалость.

Он подошел к хану, сказал, сочувствуя:

— О сыне не волнуйтесь. Он будет в хороших условиях.

Абулхаир тяжело поднялся с места.

С того дня все внимание переключилось на Кожахмета. Возле него с утра до вечера увивалась толпа.

Раньше он только и делал, что целыми днями несся вскачь между казахским лагерем на вершине холма и русской крепостью, а теперь разъезжал только в крытой голубой повозке. Карету, запряженную в тройку иноходцев, присылали к нему каждое утро сразу после завтрака, и малолетний султан в островерхой пышной шапке, необычайно гордый всеобщим вниманием, отправлялся в сопровождении конной свиты в крепость.

Карета сводила султана с ума. Он был готов и дневать и ночевать в ней. Вечерами доставляли его на лихой тройке в ханскую юрту, и мальчик, возбужденный увиденным и пережитым за день, долго глядел вслед, пока крытая голубая повозка не исчезала в долине за крепостными стенами.

Зная любопытство и впечатлительность малолетнего султана, эту забаву для него придумал сам Татеш-мурза. А для Кожахмета все было внове. И каждый день приносил ему новые впечатления и радости.

Вот стали его возить спозаранок в пестрый шатер, в котором облаченные в белое мужчины ощупывали и осматривали его с головы до ног. Чего они только с ним ни делали! Заставляли открывать рот и показывать язык. Потом смотрели гортань, потом зубы, уши, глаза. Раздев догола, выстукивали его по спине, по груди, по ребрам, что-то там выслушивали. Их прикосновения были приятными и щекотными. Малолетний султан жмурил глаза, похихикивал, удивлялся ребячеству взрослых, которым, видно, делать было нечего, кроме как заниматься его особой.

Наконец его оставили в покое, но тут же пришли другие и принялись его измерять. Измерили грудь, пояс, плечи, рост, руки, ноги, ступни... о, аллах, ничего неизмеренного у него не осталось. Мальчика все это забавляло, и он иногда смеялся до коликов в животе.

В другой раз за ним с утра прислали карету, доставили в крепость и, поставив перед огромным зеркалом, стали облачать его в диковинные одежды с какими-то разноцветными кистями, шнурками, завитушками и золочеными пуговицами. Кожахмет с любопытством взирал на свое отражение в зеркале, морщил от удовольствия нос, показывал себе язык и ежеминутно хихикал, не в силах скрыть свой восторг.

Приставили к нему слугу, того самого долговязого рыжего, приезжавшего однажды в степь и прозванного казахами Сартайлаком. Куда он только ни возил своего подопечного! Султан, тараща глазенки, с любопытством смотрел, как русские сарбазы, словно поддразнивая друг друга, вышагивали в строю. При этом они так высоко вскидывали ноги, будто намеревались дать друг другу пинка. Интересно было наблюдать также, как они резко выбрасывали вперед все разом длинные ружья, потом приставляли их к ногам, потом вскидывали к плечам.

Можно было часами смотреть, как подтянутый пышноусый офицер без умолку надрывался: «Ать-два», «Ать-два».

Голубая повозка с кайсацким султаном останавливалась то возле пушкарей, то возле конницы, то возле походной кухни. И все восхищало мальчика. Глаза его горели любопытством. Всюду звучал его непринужденный веселый смех.

Ему не хотелось выходить из кареты. Ему не хотелось выезжать из крепости. Он все неохотнее возвращался вечерами в отцовскую юрту на вершине черного холма. А вернувшись, восторженно и подробно рассказывал о том, что увидел за день.

Переговоры шли к концу. Кайсаки в пестрых чапанах высказали почти все русским златопогонникам, а русским златопогонникам почти ничего не осталось сказать кайсакам в пестрых чапанах.

Август был на исходе.

Пришла пора сменить аманатов. В ханскую юрту собрались близкие родичи.

Все были удручены предстоящей разлукой с младшим наследником хана.

— Ну что, Кожахмет... Скоро тронемся в обратный путь.

— Через сколько дней?

— Самое большее дня через три-четыре.

— Так скоро?!

— А что? Не хочется?

— Ну как же... Этот пышноусый урус обещал научить меня махать саблей...

— Тогда, может, останешься здесь вместо Ералы? Он, знаешь, по аулу соскучился.

— Вот здорово! Правду говоришь?

— Конечно!

— И для меня, как для брата Ералы, поставят отдельный шатер?

— Разумеется.

— А как я буду в нем один спать?

— Ну, с тобой будет кто-нибудь из близких. Вот твой дядя Мырзатай решил остаться.

— А Туяк не останется?

— Нет. Как же мы его оставим без согласия отца?!

— Жаль...

— Но он будет приезжать к тебе в гости.

— Значит, и у меня будет такая же одежда, как у моего брата? И из такого же сукна?

— Само собой! Даже лучше.

— И сапожки из шагреневой кожи? Со скрипом?

— Какой разговор?!

— И пуговицы золоченые, блестящие, в два ряда?

— Обязательно.

— И ездить буду всегда в карете?

— Сколько угодно!

— Ай, здорово! Тогда остаюсь!..

Щеки у мальца запылали, глаза загорелись, а у ханаотца к горлу подкатил комок и в груди стало тесно.

Султан Нияз поспешно отвернулся, скрывая навернувшиеся на глаза слезы, и сказал осипшим голосом:

— Надо же!.. До чего злющий насвай... слезу вышибает...

А Мырзатай, восхищенный своим племянником, вытянулся весь, покачал головой:

— Ай, умница! Ай, молодчина! Да буду тебе жертвой!..

Снова шумно, хлопотно стало возле реки Орь. Лагерь казахов на вершине черного холма готовился в обратный путь. Были разобраны и сложены юрты, навьючены верблюды. Бесчисленные нукеры, сопровождавшие знатных родоправителей, с восхищением глазели на красочную картину, открывшуюся их взору там, в низине, у устья двух рек.

Проводы были пышными. Стояли в параде во всем блеске русские войска. Палили пушки, надрывались трубы, грохотали барабаны. Потом, извиваясь гигантской змеей, показалась из-за шатров нарядная конница. Когда она медленно выехала за крепость, на зеленом лугу возле реки разом поднялись около пяти тысяч навьюченных верблюдов. Караван замыкал еще один вооруженный отряд верховых. Потом, поскрипывая, потянулся за ним обоз.

То был первый торговый русский караван, направлявшийся через кайсацкие степи в далекий Ташкент.

Нарядный отряд, доехав до застывших на холме кайсацких верховых, остановился.

Оказалось, сам начальник Оренбургской комиссии решил проводить хана. Он подошел к Абулхаиру, пожал ему руку, потом обнялся грудь в грудь. Вслед за ним один за другим подошли другие златопогонники.

На расстоянии корпуса коня за ханом держались

его сыновья — Нуралы, Ералы, Кожахмет. Однако в момент прощания Нуралы и Ералы еще теснее приблизились к отцу, а Кожахмет остался один-одинешенек посередке, между двумя сторонами. Мальчик, должно быть, смирился со своей участью и в какой-то мере осознал, что остается в аманатах, вдалеке от родных и близких.

Юный султан неузнаваемо изменился за эти дни. Ухоженный, чистый, в новехоньком, с иголочки, суконном мундирчике, он совсем не был похож на того чумазого аульного шалопая с потрескавшимися губами, который только и знал, что играть в асыки и скакать на стригунке. Непривычно серьезный стоял он сейчас особнячком и, поблескивая глазенками, внимательно поглядывал на отъезжающих и провожающих.

Первым подошел к нему отец. Похлопал по спине, поцеловал, по степному обычаю, в лоб.

— Ну, сынок, вот ты и стал взрослым человеком. Будь умницей!

Потом один за другим подошли Нуралы, Ералы, Нияз, крепко обняли и расцеловали мальчика.

Последним смущенно толкнулся к нему Туяк. Юный султан порывисто схватил его за руки.

— Туяк, поручаю тебе моего стригунка-иноходца.

Друг ощерился, изображая благодарную улыбку. Потом, подражая взрослым, попытался было обнять султана, но тот ребячливо дернул его за рукав.

— Да, чуть не забыл, ты это... мой мешочек с асыками передай Айчуаку, ладно?..

Туяк кивнул.

— А маме моей скажи, пусть, когда будет приезжать, побольше привезет топленых сливок, ладно?

Туяк опять согласно дернул головой.

— А Злихе-сестренке скажи: пусть не скучает.

— Хорошо.

Чуть в сторонке наблюдали за мальчишками-друзьями остававшиеся пока при Кожахмете Мырзатай, Байбек, Итжемес, Калбек, а также несколько молодых русских во главе с давним знакомцем по прозвищу Сартайлак. Отныне султану-аманату предстояло оставаться под их присмотром.

— Ну ладно, мой благодетель,— сказал ему, дрогнув голосом, Мырзатай.— Не задерживай путников.

Хан тотчас изменился в лице. Желваки взбугрились, а скулы выступили заметнее обычного.

Мырзатай вплотную подошел к племяннику. За ним последовали двое русских. У мальчика-султана зрачки расширились. Казалось, они вот-вот оплывут слезами. Он через силу улыбнулся отцу, сдержанно кивнул на прощание.

— Молодчина!— одобрительно заметил Сартайлак, коснувшись плеча султана.

— Джигит! Айналайн,— погладил его по голове Мырзатай.

У всех четверых, стоявших рядом, грустью подернулись глаза. Хан про себя удивился. Волнение Мырзатая и Кожахмета можно было понять, но от чего расчувствовались двое русских, приставленных к малолетнему султану? Им-то разве не все равно?! Но, видно, и они такие же люди, как все... тоже произошли от Адама и Евы, и в груди у них тоже не камень, а сердце, способное на жалость и сочувствие. Надо же!.. Интересно, о чем думает и что испытывает сейчас сам царицын посланник?..

Хан, скрывая волнение, поспешно отвернулся. Верховые в островерхих шапках-бориках тронули коней.

И пока казахи не скрылись за перевалом, русское войско продолжало стоять, как вкопанное, на месте.

Перед тем как спуститься по склону перевала, Абулхаир еще раз оглянулся. Чуть в сторонке от провожавшего его русского вооруженного отряда едва заметно темнела горстка людей. Среди них находился его младший сын.

В левой груди хана больно кольнуло. Он еще сильнее стиснул зубы и долго, пока не одолели пять-шесть перевалов, все молчал, понуро уставясь вдаль, где однообразно зыбился горизонт.

После первой ночевки путники разделились на четыре группы. Родоправители Среднего жуза во главе с Жанибеком и Шуреком повернули на восток — в сторону Тургая.

Представители рода жетыру, сопровождавшие Букенбая и Есета, направили своих коней в противоположную сторону — в Каргалы и Елек.

Бии и батыры из рода байулы под предводительством Нуралы держали отсюда путь в сторону Жема и Темира.

С ханом остались владетели родов большого племени алим-ата, расположившегося и кочевавшего по обе стороны Мугоджарских гор.

Еще вчера там, у устья реки Орь, казахские посланцы казались представительными и внушительными, теперь же, выйдя в беспредельную великую степь, они разбрелись

во все стороны, тотчас превратившись в жалкую горстку всадников. Хану вдруг померещилась павшая в степи одинокая лошаденка, которую рвали в клочья бесчисленные голодные шакалы...

За ханом и его — теперь уже малочисленной — свитой тянулся на много верст огромный русский караван, направлявшийся в Ташкент. Конь под Абулхаиром шел мелким скоком, трусцой, приноравливаясь к ходу каравана, и чудилось, что это трусит ишачок, ведущий в поводу тяжело груженного громадного красного нара-дромадера...

Хан всецело отдался своим думам. Ни с кем не вступал в разговоры. Пристальный взгляд устремил вдаль, будто впервые видел и ширь степи, и длинные дремливые увалы, и загадочные холмы и барханы, и острые, точно птичий клюв, сопки, и неподступно-отрешенные вершины, окутанные зыбкой мглой.

Тянулась бесконечная степь. Проходили дни. А хан молчал, думал и, казалось, даже не менял позы в седле.

Куда ни повернись — всюду одно и то же: серо-бурое всхолмленное плато, покрытое вперемежку ежовником, полынью, типчаком и ковылью.

А в мыслях хана упорно преследовали недавние события, и перед глазами стояли картины, увиденные у устья реки Орь — нарядные стройные колонны, пышное убранство шатров, высоколобый царицын посланник с неизменной усмешкой в уголке губ.

И вновь и вновь вспоминались слова, обрывки фраз, речи, сказанные и произнесенные Татешом-мурзой, златопогонными его помощниками, самим ханом, его свитой при встрече, во время переговоров, в частной беседе, на прощание. Все-все в который раз обдумывалось и взвешивалось до мельчайших подробностей.

Должно быть, такое состояние переживает лихой конокрад, возвращающийся с первой в своей жизни удачной барымты. Его тоже одолевают тревожные думы и сомнения: «Интересно, достаточно ли осторожно вел я себя там-то и там-то...»; «Не допустил ли вон в том месте промашку...»; «Не выдал ли себя чем-нибудь...»; «Достал ли в темноте противника своей дубинкой...»; «Не проломил ли невзначай ему башку...»; «Сколько голов угнанного скота достанется мне лично...»; «Удастся ли уйти благополучно от погони...»; «Стоит ли заниматься впредь этим опасным делом...»

Похожее состояние испытывает, видимо, и пылкий

джигит, впервые навестивший, по степному обычаю, аул избранницы-невесты. И его раздирают разные сомнения. «Так какова моя суженая?.. Не хохотушка ли?..»; «Чем объяснить блеск ее глаз? Лукавством, игривостью?»; «Не слишком ли легкомысленна?»; «По-настоящему красива, или так себе?»; «А почему хихикали ее тетушки-подружки, развязав мой коржун? То ли обрадовались моим подаркам, то ли смеялись надо мной?»; «А с чего моя будущая теща и без того толстые свои губы надула? Не вздорная ли? Или, может, сварливая?»; «И тесть вроде хмурил брови. Неужели я ему чем-то не угодил?»; «А не забияки ли ее братья? Вели себя вызывающе, задиристо, точно молодые жеребчики в табуне...»

Да, да... нечто подобное человек переживает всегда накануне каких-то решительных крутых перемен.

А разве эти перемены уже не случились с ним? Разве они не коснулись его? Да что он?.. Неизвестно, куда повернет судьба и что станет с самой этой степью. Какой следует делать вывод из первой встречи с посланником белой царицы? Каковы первые впечатления? Кажется, Татеш-мурза и не пытался навязывать свою волю и не прибегнул ни к силе, ни к угрозам. Наоборот, был вежлив и предупредителен. И даже вроде считался с ним, приноравливался к нему. А вот как он, хан, вел себя с ним? Не слишком ли надменно и кичливо? Не слишком ли набивал себе цену? Что о нем подумал про себя царицын посланник? Может, решил, что он хитрец и пройдоха, с которым надобно держать ухо востро? Или, наоборот, вынес впечатление, что хан — тщеславный глупец, возомнивший себя без всяких на то оснований властелином? Кто знает... Разве поймешь, что означает мягкая улыбка, затаившаяся в уголках тонких губ гололобого начальника: то ли поддержка, то ли насмешка, то ли сочувствие, то ли злорадство?..

Как бы там ни было, переговоры на реке Орь прошли для хана, кажется, успешно. Уезжает он оттуда, не уронив чести-достоинства. Пышный и богатый прием, оказанный в его честь, ошеломил многих его тайных и явных недоброжелателей. В самом деле, когда, где и какой хан или султан удостаивался такого почета? Нет, не припомнит степь другого такого случая...

Ну а царицын посланник, лобастый начальник Оренбургской комиссии, по всему видать,— матерый лис-хитрован. Такого голыми руками не возьмешь и вокруг

пальца не обведешь. Ох, умен и ловок! Сквозь землю все видит. А какой обходительный да предупредительный! Хитро он это придумал с подарками после прощальной трапезы. Все бии и батыры сразу растаяли. Говорят, тысячи две казенных денег ухлопал на ублажение казахских родоправителей. Ну и аллах с ними, с деньгами! Зато своего добился. Недавно еще над ним, над ханом, посмеивались иные спесивцы, распространяя слухи, что его, дескать, русские разноцветным тряпьем по рукам и ногам связали, а теперь при распределении царских подарков сами вели себя точно голодные псы, дерущиеся из-за плошки свежей крови при убое скотины. Интересно, что теперь они, насмешники, скажут? Как поведут себя отныне? Можно себе представить, с каким видом вернутся они завтра в аул. Должно быть, от спеси и важности раздуются, как болотные жабы. Можно подумать, что горы на пути своем свернули, макушкой едва ли не в небо уперлись. И, глядя на них, те строптивцы, что пренебрегли приглашением царского посланника и остались в своих улусах, наверняка позеленеют от досады и зависти.

Пусть! И поделом им! Возможно, в этом и заключается главное достижение Абулхаира — в том, что в результате своей поездки к устью реки Орь он без особых усилий переломил хребет своим давним противникам и сбил с них спесь, лишив возможности смотреть на него свысока...

И еще одно определенное впечатление он вынес из этой поездки: время безмятежности и благодушия, веками царившее в казахской степи, судя по всему, прошло. И прошло — навсегда. Отныне казахам уже невозможно жить по-прежнему, так, как бог на душу положил, ввязываясь, как бывало, в безрассудные стычки со всеми подряд. Теперь придется считаться со множеством обстоятельств, зорко приглядываясь и чутко прислушиваясь ко всему, что вокруг происходит. Одним словом, наступает новая пора — пора жизни в оглядку. Пора, когда тяжесть решений падает не на силу, а на ум, на хитрость, на здравый рассудок. И к этому необходимо привыкнуть.

Он, Абулхаир, это почувствовал, и почувствовал, кажется, одним из первых, и, пожалуй, учитывая поступь времени, медленно, но верно, по-кошачьи, подкрадывается к вожделенной своей цели.

Во время встречи у устья реки Орь Абулхаир пришел к убеждению, что верные приспешники русской царицы

своими повадками, пожалуй, больше смахивают на умных, зорко подмечающих каждое твое движение борзых, нежели на свирепых, безоглядных волкодавов, уповающих лишь на свою силу. И еще неизвестно, что легче и проще: то ли отчаянно биться с волкодавами, то ли все время остерегаться, хитря и лукавя, борзых. Но что делать? Из двух зол следует выбирать меньшее. Придется потерпеть. В самом деле, что разумнее: погибнуть, истекая кровью, под дубинками бесчисленных врагов, или растить детей и пасти скот под неусыпным взором сильного соседа, не спуская с него, однако, настороженных глаз? Для тех, кто вовсе не желает исчезнуть бесследно с лица земли, основной, в конечном счете, смысл жизни заключается в заботе о потомках. Ради подрастающих детей своих какой отец, какая мать не идут на самые тяжкие испытания и лишения?!

Вот и он оставил — по горькой необходимости — неокрепшего, неоперившегося птенца своего в силках на чужбине. А каково ему, отцу безутешному?!

Перед глазами хана живо предстал Кожахмет в последние мгновения прощания. Какая тревога застыла в его невинных глазах! Так, случается, смотрит мальчонка на строптивого стригунка, которого предстоит ему укротить. Такое выражение глаз бывает и тогда, когда малец, переборов страх и ужас, впервые взбирается на неука. В такие минуты сердобольного родителя охватывает оторопь. Так и хочется подбежать к стригунку, сорвать с него свое оцепеневшее чадо, спасти его, уберечь от неведомого, неизбежного. Но, поступив так, ты лишаешь сына истинно мужской доли. И ни от чего его не убережешь. И, понимая это, смиряешься с участью, уготованной всевышним, и покорно идешь на риск. И сам себя успокаиваешь, и сыну внушаешь: смелее, дескать, дерзай, не трусь, ибо тому, кому уготовано всю жизнь провести в седле, упасть со строптивого стригунка — еще не самое страшное.

Риск всю жизнь сопутствует мужчине. На риск идешь, думая о будущем родного, плоть от плоти, твоего чада; без риска также не обойдешься, заботясь о лучшей доли своих соплеменников.

Вот почему, простившись с малолетним сыном, он заставил себя не обернуться, не взглянуть на него еще разок, хотя в эти минуты сердце его обливалось кровью от жалости, тоски и сострадания.

Кожахмет, надо думать, ничего не понял. Он даже не знает, приедут ли за ним вскоре или нет. Ему, пожалуй, и невдомек, что он оставлен в аманаты. Более того, ему и неведомо, что это такое — аманат.

Ну, это и не беда. Важно, чтобы это поняли другие. А уж одобрят или осудят — их воля. Главное, чтобы поддержали аруахи — священные духи...

Абулхаиру не терпелось добраться скорее до холма Даурена. Он и сам не знал, почему, но ему все мерещилось, что именно там откроется ему, наконец, затаенный смысл теперешнего его путешествия, будто там должен объявиться какой-то знак, некое весьма важное для него предзнаменование — или предостережение.

До желанного рубежа — красного холма — путники добрались в предзакатный час. Никаких перемен вокруг хан не заметил. Все тот же одинокий холм из красной глины, под которым покоились неизвестно чьи останки. И все тот же старый бурый, с пежинами, беркут однообразно кружился над холмом, не находя, должно быть, во всей округе достойной его внимания верхушки на уныло ровной равнине.

Хан насторожился. Как понять это беспеременное, отрешенное бытие? Что таится за извечным молчанием холма? Что означает бесконечное кружение одинокого беркута? Неужели это намек на то, что все в мире незыблемо, изначально? И неужто этот холм и тот беркут в вышине олицетворяют бесплодность всех его, хана, усилий и стремлений? Неужели после его поездки к устью реки Орь в этой степи ничего не изменится? Как же так? Красный холм как молчал, так и теперь молчит. Одинокий беркут как парил под небосводом, чертя за кругом круг, так и продолжает парить и теперь. Раскаленное солнце как закатывалось, таинственно багровея, за горизонт, так и закатывается и теперь. Все то же, что и вчера, что и десятки, сотни лет назад. Неужели нет ничего, отчего бы душа пришла в смятение?..

Ну а почему это его расстраивает? Зачем ему душевная смута? Разве не нужно ему, чтобы в степи царили покой и безмятежность? Разве его многочисленные недоброжелатели и противники не долдонили везде и всюду, что, дескать, Абулхаир своими действиями навлечет на степь беду, что по его злой воле черный пожар неминуемо захлестнет ее? И если кликушество его заклятых врагов не сбылось и степи не грозит никакое лихо, то разве это не благо, не утешение, не радость для него? Да не оставит нас, грешных, всевышний

своими милостями!.. Да сопутствует всем нам божье благодеяние!..

Хан почувствовал, как отчего-то больно защемило в груди. Гулко забилось сердце.

Ходжа Мухамбет заставил всех опуститься коленями в податливую супесь, благоговейно сложить ладони и после молитвы огладить кончиками пальцев лица.

— Ауминь!— прокатилось у склона холма.

И снова путники выехали на равнину. И если до красного холма хан всю дорогу ни разу не оборачивался, будто онемела его шея, то теперь, отъехав от сопки Даурена, вновь и вновь оглядывался назад. Казалось, он что-то упорно выискивал, высматривал, но все тщетно. Все так же таинственно-отрешенно возвышался одинокий холм. Все так же плавно, безучастно ко всему, кружился в вышине одинокий бурый, в пестринах, беркут. И, покорное извечному своему ходу, заливая степь багряными лучами, заходило раскаленное солнце.

Поднявшись на гребень следующего перевала, похожего на гриву жеребца, хан еще раз обернулся. Солнце закатилось, расплавившись у горизонта громадным золотым слитком. Бурый старый беркут исчез из виду. А одинокий красный бугор, на склоне которого мерцали последние лучи заката, почудился вдруг хану красной лисой, стремительно убегавшей вдаль.

Что это? Привычная и извечная картина степи в час заката или необычное явление, знак, исполненный особого и глубокого смысла?

Хан закрыл глаза... задумался...

А красная лиса падучей звездой неслась по степи. Пышный хвост ее только и мелькал между караганником и колючим тростником. Спинка ее от напряжения выгнулась, и чудилось ей, будто чья-то тяжелая и ледяная рука гладила ее по хребту. Маленькие, точно пуговки, ноздри со свистом втягивали воздух, но его все равно не хватало, и лиса задыхалась. Крохотное сердчишко, трепыхаясь, не находило себе места в щуплом тельце и куда-то проваливалось, откатывалось назад, к хвосту. Казалось, еще немного, и оно лопнет, замрет, и лиса тут же замертво рухнет под кустиком, сжавшись клубком в судорожном страхе.

Что же вдруг стряслось с ней? Разве мало погоней

знавала она за свою жизнь? Разве не прибегала она в таких случаях к извечной хитрости и испытанным повадкам и уловкам? Разве не увертывалась от любого хищника? Или она из многохитрой лисы превратилась в трусливого зайчишку, который испокон веку только и знает, что улепетывать от любой опасности? Неужели страх вмиг лишил ее всех лисьих уловок? Много ли от страха проку, кроме того, что замараешь хвост?.. И откуда он, страх? Какой же ужас вселился вдруг в нее? Что случилось?

У лисы, шмыгающей по кустам-зарослям, самый опасный враг — орел, парящий в заоблачной вышине. Лишь он, зоркоглазый, способен высмотреть ее. От других же, что летают на высоте одного-двух кулашей, она обычно уходит без труда, юркнув под первый же кустик.

Почему же она сплоховала на этот раз? Каким образом она позволила обнаружить себя когтистому хищнику в небе? И почему она выскочила на эту голую, гладкую равнину, где негде схорониться от настигающей беды? И как теперь быть? Если ли еще спасение?

Почему то красноглазое лихо над нею с таким остервенением преследует ее? Почему не ринется на нее камнем, с лёту переломив ей хребет? Почему не вонзает в ее потное, трепещущее тельце стальные когти? Почему, схватив клювом и вытряхивая душу, не бьет ее о землю? Или решило поиграть, поизмываться? Насладиться ее мукой? Загнать до смерти? Покуражиться над хитрым, лукавым зверьком перед разными ползучими тварями в степи? Сколько еще можно бежать? Да и какой в том смысл, если гибель неизбежна? И что это за бурая точка неотступно маячит над ее головой? Птица ли? Или оборотень-палач, столько лет подстерегавший и выслеживавший ее повсюду и, наконец, настигший ее? Или это ее судьба-жизнь, превратившаяся вдруг в едва различимую точку и готовая вот-вот растворяться в безбрежной небесной сини?.. Что это?.. Что?.. Что?..

Небесный хищник ринулся вниз и, казалось, вот-вот вкогтится в ее спину, но вдруг снова круто взмыл в небо. И тут же издал злорадный клекот, будто захохотал торжествующе. О боже, кто это — орел или человек?

Мчась из последних сил, лиса посмотрела на мгновение вверх. Нет, не человек — птица. Орел. А еще точнее — обыкновенный беркут с растопыренными когтями. Тот

самый одинокий старый бурый, с пестринами, беркут, кружащий над одиноким холмом Даурен...

Странно... Как это понять? Что вдруг стало с тем спокойно отрешенным, равнодушным ко всему на свете дряхлым беркутом? Отчего он так рассвирепел? И если он возжелал свежей крови, то неужели в этой неоглядной степи никого больше, кроме нее, не нашел?..

Может, она чем-то разгневала его? Но чем? Что она такого сделала, чтобы привести его в ярость? Какое ей дело до одинокого беркута, стерегущего покой безымянной могилы на вершине красного холмика? Разве ей, лисе, дано осквернять дух усопшего?

А кто это мчится в безумном страхе по открытой степи? Лиса ли? Или некое другое существо, обернувшееся лисой? Разве у лисы бывает пять пальцев? Но если не лиса, то кто же? Кто еще способен нестись так стремительно, прижимаясь брюшком к земле и не чуя под собою ног? У кого еще мельтешит ярким огоньком вслед столь пышный хвост?

Все яростней клекочет бурый, с пестринами, беркут. Что он хочет? Чем он так возмущается? Может, недоволен тем, что жертва от него убегает? Или тем, что не сопротивляется? Не прибегает к хитрости? Не бьется отчаянно за жизнь? А что толку, если бы не понеслась опрометью, куда глаза глядят, если бы сопротивлялась, ловчила, отчаянно отбивалась? Разве конец не один? Что он видел, беркут, здесь, в этой степи с тех пор, как кружится над ней, кроме напрасно пролитой крови и высохших от времени черепов? Чего достигли те, что некогда проявляли здесь мужество и отвагу? Ничего, кроме смерти и забвения... Так что же хочет беркут от нее? Неужто он жаждет повальной гибели? Неужто призывает к самоистреблению? А если, наоборот, ратует за жизнь, то какую еще возможность выживания он предлагает? На что еще уповать, кроме хитрости и приспосабливаемости? Ведь схлестнуться врукопашную с каждым встречным-поперечным — на это просто сил не хватит. Упрямство, когда ни с кем не считаешься, а настаиваешь только на своем,— тоже к добру не приводит. Так, может, мудрость и спасение в том, чтобы не всякого чужака считать врагом, в том, чтобы попытаться найти общий язык, столковаться и жить с ним в согласии и уважении? Неужели это не нравится священным духам? Неужели они упорствуют в своих давних заблуждениях? Неужели им не терпится, чтобы все живущие на этой многострадальной

земле скорее отправились в мир иной и разделили с ними общую участь? Если так, то придется отречься от них, не согласиться с их путем, ведущим к гибели, а примкнуть к тем, кто устремлен к грядущему, кто уповает на жизнь. И если священные духи покарают за это, то пусть будет что будет...

Что-то хлынуло в грудь, точно полую, пустую, онемевшую от недавнего страха. А-а... это сердце вновь вернулось на место. Вернулось и забилось сильно, ровно. И точно откуда-то снова вернулись силы. Только что ватные ноги обрели упругость. Спина круто выгнулась. Мгновенно исчезла, улетучилась вялость; былая бодрость вспружинила тельце; уши, обмякшие и повисшие, точно штанины чумазого пастуха, вновь встопорщились; горячая дрожь прокатилась вдоль всего туловища; и все существо пронизали отвага и решимость. На всем бегу лиса вдруг круто остановилась и, перевернувшись, яростным комком метнулась ввысь против беркута. При этом грозно ощерилась, заклацала, обнажив мелкие, но острые, как лезвие, зубки.

Беркут, чьи глаза налились кровью, от неожиданности опешил, вздрогнул. Он уже хищно расправил, растопырил было свои иссиня-серые когти, но тотчас вновь подобрал их, хлопнул крыльями и запущенным камнем метнулся вверх. Потом снова принялся кружить над ней. Однако глядел уже не так грозно и яростно. Наоборот, казалось, он сочувствовал бедной лисе, затравленной, загнанной, тяжело водившей боками и высунувшей влажный розовый язык.

Долго сидела так лиса, одна-одинешенька в пустынной степи. Озиралась вокруг, высматривая хоть какую-нибудь кочку или кустик, где бы она могла затаиться, переждать беду. И вдруг увидела: что-то темнело неподалеку. Волоча хвост, подалась туда. Оказалось: два огромных железных колеса. Новехонькие, блестящие, еще не покрывшиеся ржой. Что за чудище? Не похоже на колеса арбы, на которой, случается, проезжают по степи ушлые торговцы в пестрых чапанах. Что-то неуклюже-громоздкое, литое, сплошь из чугуна. Между колесами торчит, зияя зевом, жерло. А-а... это, наверное, то самое русское орудие, которое, по слухам, изрыгает огонь. Если так, то сюда не посмеет приблизиться не только бурый беркут, но и сам дьявол. Значит, здесь, возле этого чудовища, никакая погоня не страшна. Да еще и в тенечке можно отлежаться... Более надежного и укромного местечка, пожалуй, не

сыскать. Лиса прилегла в тени возле колеса, посмотрела вверх. Там по-прежнему парил-кружился бурый, в пестринах, беркут. Казалось, он раздумывал: что же теперь станет с бедной лисой...

Хан проснулся, чувствуя, что задыхается. Потом долго приходил в себя, соображая, что с ним, где он. Над ним простиралась черная ночь. С севера дул холодный, пронизывающий ветер. Высоко на аспидно-черном небе отрешенно мерцали, перемигивались звезды. Казалось, они вот-вот сорвутся с небосклона. Казалось, чья-то могущественная рука целыми пригоршнями расшвыряла, рассыпала их по черной глади ночного неба. Так, бывает, небрежно раскидывает по ковру горсть кумалаков-бобов опытный гадальщик. Вот они, роятся звезды в таинственно-причудливом сочетании, точно магические письмена судьбы.

Хан приподнялся, посмотрел вокруг. Во все стороны тянулась степь. Неподалеку темнело что-то громоздкое. Так это же та самая чугунная пушка, которую он видел во сне! Как она сюда попала?!

Все сразу же вспомнилось хану. После долгого и изнурительного пути, как только зашла луна, они остановились здесь на привал. Расседлали лошадей, скинули с себя все доспехи. Горстка ханских нукеров, испытывая непонятную тревогу, решила ночевать вместе с русскими караванщиками. Полагали, что так будет безопаснее. И, действительно, недалеко от хана находилась пушка. Таких пушек в караване было пять или шесть. И еще днем, глядя на них, хан вдруг подумал: «Если одну такую штучку буду постоянно держать при себе, мне ведь никакая опасность не грозит». Да-а... но откуда здесь взялся бурый беркут? Одинокий красный холм с безымянной могилой на вершине они ведь проехали еще на закате. И никакой перемены на том священном месте хан, как ни вглядывался, не заметил. Лишь отъехав на приличное расстояние, он оглянулся в последний раз, и склон холма в багровых лучах заходящего солнца померещился вдруг на мгновение огненно-рыжей лисой, стремительно убегавшей вдаль. Он еще тогда подумал: «Может, это и есть знак, поданный мне священными духами?» Но что он означает? И почему в обличье лисы? Тем самым одобряют ли его духи, или, наоборот, осуждают? И если духи считают, что он обернулся лисой, то почему над ним неотступно кружится бурый беркут? Разве беркут и лиса уживутся вместе? Разве с самого сотворения мира хищник неба не подстерегает

всюду лукавую и ловкую красотку вольной степи? И разве не искони сотворено так, что она неизменно становится его добычей, его жертвой? Тогда какой смысл в том, что он, хан, прибегает к лисьим уловкам? Выходит, ум и хитрость так же несостоятельны и изменчивы, как гнев и ярость? Тогда на что еще можно уповать?..

И когда хан подумал об этом, ему померещилось, будто бурый беркут, кружившийся давеча над холмом Даурена, неотступно преследует его и сейчас. Кто знает может, зоркоглазому орлу все прекрасно видно и в непроглядной темноте? Может, он способен найти дорогу и в ночи? Еще ночью, устраиваясь на привал, хан ощутил необъяснимую тревогу. Ему казалось, что одинокий бурый беркут непременно настигнет его здесь, на привале в открытой степи. И потому, избегая возможной напасти, он решил не ночевать сегодня по обыкновению в одиночку, а смешаться с караваном. Только в тесном окружении свиты и караванщиков он немного успокоился, утешая себя тем, что беркут — не летучая мышь, и здесь, среди многолюдья, темной ночью он никак его не высмотрит, не подстережет. И все же опасения не совсем оставили хана. Помня, что всякая нечисть не переносит запаха гари и пороха, он распорядился соорудить для себя постель неподалеку от пушки.

Что, однако, означает его сон? Неужто то был знак или голос священных духов — аруахов? И то, что он увидел себя в обличье лисы, за которой неотступно гнался бурый беркут, скорее всего, означает затаенную тревогу духов. А то, что беркут все же не ринулся на него камнем, не вонзил в него кровавые когти, должно быть, свидетельствует о понимании аруахами его положения и состояния. И если беркут по-прежнему продолжал над ним кружиться, то это, надо полагать, потому, что духи не отрекаются от него, не отказываются от поддержки, от сочувствия и сострадания к нему.

А означает все это, бесспорно, одно: наступило новое время — время лисьих уловок, о котором когда-то убежденно говорил Матэ-бий. Но чем объяснить неистовство бурого беркута, угрожавшего его растерзать? Непониманием неминуемых перемен? Упрямством? Или жизнестойкостью?

Что ж... видно будет... Грядущее покажет...

Хан плотнее укутался, почувствовал, что озяб. Глянул было на небо и поразился: еще недавно яркие звезды погасли, точно растаяли бесследно. И весь беспредельный

небесный свод подернулся сизой стынью и мглой. Тяжкий, угнетающий мрак на мгновение точно вспарывали далекие всполохи, усугубляя тревогу и смятение. Всполохи шли с севера, то удаляясь, то приближаясь, словно силясь развеять ночную темь над степью.

В эту смутную пору суток даже самый отчаянный путник, как бы он ни спешил, не отправляется в путь: он ждет, когда на небе зажгутся звезды, а когда они меркнут, дожидается рассвета. Существует давнее поверье: караван, вышедший в путь до рассвета, подстережет беда. Злые духи непременно собьют его с дороги.

Хан не стал будить караванщиков, объятых сладким зоревым сном.

Далеко за горизонтом неотвратимо надвигался новый день — еще неясный, призрачный, но уже суливший извечную надежду.

Плыли-зыбились над степью предутренние сумерки.

1980—1983

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

РИСК

5

Часть вторая

ПРЕДРАССВЕТНЫЕ СУМЕРКИ

238

Художественное издание

Для юношества

АБИШ КЕКИЛЬБАЕВ

ВСПОЛОХИ

Роман

Перевод с казахского Г. Бельгера

Редактор
Б. МУРТАЗАЕВ

Художник
Д. СЛАНОВ

Художественный редактор
Б. ОСПАНОВ

Технический редактор
Р. ВИНОКУРОВА

Корректор
Р. СОБОЛЕВА

ИБ № 4206

Сдано в набор 24.10.90. Подписано в печать 4.02.91. Формат 84×108 1/32. Бумага тип № 1. Печать высокая. Гарнитура «Тип Таймс». Усл. кр.-отт. 30,66. Усл. п. л. 30,24. Уч.-изд. л. 32,81. Тираж 50.000 экз. Заказ 1505. Цена 1 р. 70 к

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по печати, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по печати, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

Кекильбаев А.

К38 Всполохи: роман/Пер. с каз. Г. Бельгера.— Алма-Ата: Жалын, 1991.— 576 с.

ISBN 5—610—00501—9

Роман известного казахского писателя Абиша Кекильбаева «Всполохи» является продолжением его книги «Плеяды — созвездие надежды». Историческое повествование, объемное по охвату историко-философских проблем того сложного и трудного времени в отношениях Степи с могущественным русским государством, пронизано объективной, фундаментально аргументированной научно-художественной концепцией.

А $\frac{4803250201—033}{408(05)91}$ 38—90

ББК 84 Каз7-44

ISBN 5-610-00501-9

Дорогие читатели!

Отзывы об этой книге
просим Вас
присылать по адресу:
480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.
Издательство «Жалын».